Николай Васильевич
ГОГОЛЬ

Полное собрание сочинений и писем

и писем

томa

III–IV

Николай Васильевич
ГОГОЛЬ



Н. Гоголь

Полное собрание сочинений и писем
в семнадцати томах



Н. Гоголь

Николай Васильевич Гоголь

1809–1852

Н. В. Гоголь

Полное собрание сочинений и писем

в семнадцати томах



Издательство Московской Патриархии
Москва – Киев
2009

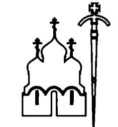
Н. В. Гоголь

Том III

Повести

Том IV

Комедии



Издательство Московской Патриархии
Москва – Киев
2009

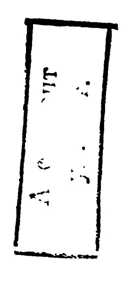
По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА

По благословению
Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины
ВЛАДИМИРА

Составление, подготовка текстов и комментарии:

И. А. Виноградов, доктор филологических наук,
старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН

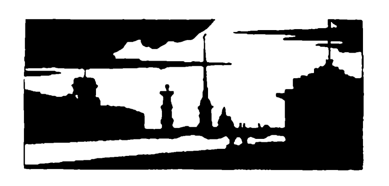
В. А. Воропаев, доктор филологических наук,
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,
председатель Гоголевской комиссии
Научного совета «История мировой культуры» РАН



Издание выпущено при содействии
Некоммерческого партнерства
«Полтавское землячество» (Москва)
и Благотворительного фонда «Богуслав» (Киев)

Том III

Повести



Невский проспект

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица — красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть, и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестию которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, — все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток! Начнем с самого раннего утра,

когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопах, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст: плотные содержатели магазинов и их комми еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофий; нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед, летавши вчера, как муха, с шоколадом, вылезает, с метлой в руке, без галстука, и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ: иногда переходят ее русские мужики, спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своею чистотою, не в состоянии бы был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до двенадцати часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством: он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит о гривне или о семи грошах меди, старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах, с пустыми штофами или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука, — никто этого не заметит.

В двенадцать часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские Джонсы и французские Коки идут под руку с вверенными их родительскому попечению питомцами и с приличною солидностию изъясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные миссы и розовые славянки, идут величаво позади своих легеньких,

вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько выше плечо и держаться прямее; короче сказать, в это время Невский проспект — педагогический Невский проспект. Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей: они наконец вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как-то: поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочем показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих, наконец выпивших чашку кофию и чаю; к ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особенным поручениям. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу! но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных редингогах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах Провидение отказало в черных бакенбардах, они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, — предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорты помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, — пестрых, легких, к которым

иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми, вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и, если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но, однако же, ничуть не бывало: они большею частию служат в разных департаментах, многие из них превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое; или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским, — словом, большею частию всё порядочные люди. В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущеюся столицею Невского проспекта, происходит главная

выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой — греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая — ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстук, возбуждающий удивление, осьмой — усы, повергающие в изумление. Но бьет три часа, и выставка оканчивается, толпа редеет... В три часа — новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна: он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройтиться по Невскому проспекту с осанкою, показывающею, что они вовсе не сидели шесть часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову: им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих; они еще не вполне оторвались от забот своих; в их голове ералаш и целый архив начатых и неоконченных дел; им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами или полное лицо правителя канцелярии.

С четырех часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина перебежит через Невский проспект с коробкою в руках, какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого повытчика, пущенная по миру во фризовой шинели, какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы равны, какая-нибудь длинная высокая англичанка с ридикулем и книжкою в руках, какой-нибудь артельщик, русский человек в демикотоновом сюртуке с талией на спине, с узенькою бородою, живущий всю жизнь на живую нитку, в котором все шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда он учтиво проходит по тротуару, иногда низкий ремесленник; больше никого не встретите вы на Невском проспекте.

Но как только сумерки упадут на домы и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский

проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. Вы встретите очень много молодых людей, большею частию холостых, в теплых сюртуках и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель, или, лучше, что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчетное; шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами Полицейского моста. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари очень долго прохаживаются; но старые коллежские регистраторы, титулярные и надворные советники большею частию сидят дома, или потому, что это народ женатый, или потому, что им очень хорошо готовят кушанье живущие у них в домах кухарки-немки. Здесь вы встретите почтенных стариков, которые с такою важностью и с таким удивительным благородством прогуливались в два часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим, а более всего сидельцам, артельщикам, купцам, всегда в немецких сюртуках гуляющим целою толпою и обыкновенно под руку.

— Стой! — закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще. — Видел?

— Видел, чудная, совершенно Перуджинова Бианка.

— Да ты о ком говоришь?

— Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! Боже, какие глаза! Все положение, и контура, и оклад лица — чудеса!

— Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону. Что ж ты не идешь за брюнеткою, когда она так тебе понравилась?

— О, как можно! — воскликнул, закрасневшись, молодой человек во фраке. — Как будто она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама, — продолжал он, вздохнувши, — один плащ на ней стоит рублей восемьдесят!

— Простак! — закричал Пирогов, насильно толкнувши его в ту сторону, где развевался яркий плащ ее. — Ступай, простофиля, прозеваешь! а я пойду за блондинкою.

Оба приятеля разошлись.

«Знаем мы вас всех», — думал про себя с самодовольною и самонадеянною улыбкою Пирогов, уверенный, что нет красоты, могшей бы ему противиться.

Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным шагом пошел в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ, то окидывавшийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря, то мгновенно покрывавшийся тьмою по удалении от него. Сердце его билось, и он невольно ускорял шаг свой. Он не смел и думать о том, чтобы получить какое-нибудь право на внимание улетавшей вдали красавицы, тем более допустить такую черную мысль, о какой намекал ему поручик Пирогов; но ему хотелось только видеть дом, заметить, где имеет жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетело с неба прямо на Невский проспект и, верно, улетит неизвестно куда. Он летел так скоро, что сталкивал беспрестанно с тротуара солидных господ с седыми бакенбардами. Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас довольно странное Явление и столько же принадлежит к гражданам Петербурга, сколько лицо, являющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному миру. Это исключительное сословие очень необыкновенно в том городе, где всё или чиновники, или купцы, или мастеровые немцы. Это был художник. Не правда ли, странное явление? Художник петербургский! художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно. Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо; напротив того, это большею частию добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате, скромно толкующий о любимом предмете и вовсе небрегущий об излишнем. Он вечно зазовет к себе какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов шесть, с тем, чтобы перевести на полотно ее жалкую, бесчувственную мину. Он рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякий художественный

вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, приятель, играющий на гитаре, стены, запачканные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках. У них всегда почти на всем серенький мутный колорит — неизгладимая печать севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своею работою. Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят наконец из комнаты на чистый воздух. Они вообще очень робки: звезда и толстый эполет приводят их в такое замешательство, что они невольно понижают цену своих произведений. Они любят иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на них слишком резким и несколько походит на заплату. На них встретите вы иногда отличный фрак и запачканный плащ, дорогой бархатный жилет и сюртук весь в красках. Таким же самым образом, как на неоконченном их пейзаже увидите вы иногда нарисованную вниз головою нимфу, которую он, не найдя другого места, набросал на запачканном грунте прежнего своего произведения, когда-то писанного им с наслаждением. Он никогда не глядит вам прямо в глаза; если же глядит, то как-то мутно, неопределенно; он не вонзает в вас ястребиного взора наблюдателя или соколиного взгляда кавалерийского офицера. Это происходит оттого, что он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсового Геркулеса, стоящего в его комнате, или ему представляется его же собственная картина, которую он еще думает произвесть. От этого он отвечает часто несвязно, иногда невпопад, и мешающиеся в его голове предметы еще более увеличивают его робость. К такому роду принадлежал описанный нами молодой человек, художник Пискарев, застенчивый, робкий, но в душе своей носивший искры чувства, готовые при удобном случае превратиться в пламя. С тайным трепетом спешил он за своим предметом, так сильно его поразившим, и, казалось, дивился сам своей дерзости. Незнакомое существо, к которому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны прелестнейший лоб осенен был прекрасными, как агат, волосами.

Они вились, эти чудные локоны, и часть их, падая из-под шляпки, касалась щеки, тронутой тонким свежим румянцем, проступившим от вечернего холода. Уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез. Все, что остается от воспоминания о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, — все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах. Она взглянула на Пискарева, и при этом взгляде затрепетало его сердце; она взглянула сурово, чувство негодования проступило у ней на лице при виде такого наглого преследования; но на этом прекрасном лице и самый гнев был обворожителен. Постигнутый стыдом и робостью, он остановился, потупив глаза; но как утерять это божество и не узнать даже той святыни, где оно опустилось гостить? Такие мысли пришли в голову молодому мечтателю, и он решился преследовать. Но, чтобы не дать этого заметить, он отдалился на дальнее расстояние, беспечно глядел по сторонам и рассматривал вывески, а между тем не упускал из виду ни одного шага незнакомки. Проходящие реже начали мелькать, улица становилась тише; красавица оглянулась, и ему показалось, как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее. Он весь задрожал и не верил своим глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом своим выразил на лице ее подобие улыбки; нет, это собственные мечты смеются над ним. Но дыхание занялось в его груди, все в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели, и все перед ним окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. И все это произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, он несся по легким следам прекрасных ножек, стараясь сам умерить быстроту своего шага, летевшего под такт сердца. Иногда овладевало им сомнение: точно ли выражение лица ее было так благосклонно, — и тогда он на минуту останавливался, но сердечное биение, непреодолимая сила и тревога всех чувств стремила его вперед. Он даже не заметил, как вдруг возвысился перед ним четырехэтажный дом, все четыре ряда окон, светившиеся огнем, глянули на него разом, и перилы у подъезда

противопоставили ему железный толчок свой. Он видел, как незнакомка летела по лестнице, оглянулась, положила на губы палец и дала знак следовать за собой. Колени его дрожали; чувства, мысли горели; молния радости нестерпимым острием вонзилась в его сердце. Нет, это уже не мечта! Боже! столько счастия в один миг! такая чудесная жизнь в двух минутах!

Но не во сне ли это все? ужели та, за один небесный взгляд которой он готов бы был отдать всю жизнь, приблизиться к жилищу которой уже он почитал за неизъяснимое блаженство, ужели та была сейчас так благосклонна и внимательна к нему? Он взлетел на лестницу. Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был разогрет пламенем земной страсти, нет, он был в эту минуту чист и непорочен, как девственный юноша, еще дышащий неопределенною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы в развратном человеке дерзкие помышления, то самое, напротив, еще более освятило их. Это доверие, которое оказало ему слабое прекрасное существо, это доверие наложило на него обет строгости рыцарской, обет рабски исполнять все повеления ее. Он только желал, чтоб эти веления были как можно более трудны и неудобоисполняемы, чтобы с большим напряжением сил лететь преодолевать их. Он не сомневался, что какое-нибудь тайное и вместе важное происшествие заставило незнакомку ему ввериться; что от него, верно, будут требоваться значительные услуги, и он чувствовал уже в себе силу и решимость на все.

Лестница вилась, и вместе с нею вились его быстрые мечты. «Идите осторожнее!» — зазвучал, как арфа, голос и наполнил все жилы его новым трепетом. В темной вышине четвертого этажа незнакомка постучала в дверь, — она отворилась, и они вошли вместе. Женщина довольно недурной наружности встретила их со свечою в руке, но так странно и нагло посмотрела на Пискарева, что он опустил невольно свои глаза. Они вошли в комнату. Три женские фигуры в разных углах представились его глазам. Одна раскладывала карты; другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза; третья сидела перед зеркалом, расчесывая гребнем свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входе незнакомого лица. Какой-то неприятный беспорядок,

который можно встретить только в беспечной комнате холостяка, царствовал во всем. Мебели довольно хорошие были покрыты пылью; паук застилал своею паутиною лепной карниз; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпушка мундира; громкий мужской голос и женский смех раздавались без всякого принуждения.

Боже, куда зашел он! Сначала он не хотел верить и начал пристальнее всматриваться в предметы, наполнявшие комнату; но голые стены и окна без занавес не показывали никакого присутствия заботливой хозяйки; изношенные лица этих жалких созданий, из которых одна села почти перед его носом и так же спокойно его рассматривала, как пятно на чужом платье, — все это уверило его, что он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурною образованностию и страшным многолюдством столицы. Тот приют, где человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом. Пискарев мерил ее с ног до головы изумленными глазами, как бы еще желая увериться, та ли это, которая так околдовала и унесла его на Невском проспекте. Но она стояла перед ним так же хороша; волосы ее были так же прекрасны; глаза ее казались все еще небесными. Она была свежа; ей было только семнадцать лет; видно было, что еще недавно настигнул ее ужасный разврат; он еще не смел коснуться к ее щекам, они были свежи и легко оттенены тонким румянцем, — она была прекрасна.

Он неподвижно стоял перед нею и уже готов был так же простодушно позабыться, как позабылся прежде. Но красавица наскучила таким долгим молчанием и значительно улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости; она так была странна и так же шла к ее лицу, как идет выражение набожности роже взяточника или бухгалтерская книга поэту. Он содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькие уста и стала говорить что-то, но все это было так глупо, так пошло…

Как будто вместе с непорочностию оставляет и ум человека. Он уже ничего не хотел слышать. Он был чрезвычайно смешон и прост, как дитя. Вместо того чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вместо того чтобы обрадоваться такому случаю, какому, без сомнения, обрадовался бы на его месте всякий другой, он бросился со всех ног, как дикая коза, и выбежал на улицу.

Повесивши голову и опустивши руки, сидел он в своей комнате, как бедняк, нашедший бесценную жемчужину и тут же выронивший ее в море. «Такая красавица, такие божественные черты — и где же? в каком месте!..» Вот все, что он мог выговорить.

В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата. Пусть бы еще безобразие дружилось с ним, но красота, красота нежная... она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях. Красавица, так околдовавшая бедного Пискарева, была действительно чудесное, необыкновенное явление. Ее пребывание в этом презренном кругу еще более казалось необыкновенным. Все черты ее были так чисто образованы, все выражение прекрасного лица ее было означено таким благородством, что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страшные свои когти. Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, все богатство страстного супруга; она была бы прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы составила божество в многолюдном зале, на светлом паркете, при блеске свечей, при безмолвном благоговении толпы поверженных у ног ее поклонников; но, увы! она была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидел он перед нагоревшею свечою. Уже и полночь давно минула, колокол башни бил половину первого, а он сидел неподвижный, без сна, без деятельного бдения. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его, уже комната начала исчезать, один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошел лакей в богатой ливрее.

В его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, притом в такое необыкновенное время... Он недоумевал и с нетерпеливым любопытством смотрел на пришедшего лакея.

— Та барыня, — произнес с учтивым поклоном лакей, — у которой вы изволили за несколько часов пред сим быть, приказала просить вас к себе и прислала за вами карету.

Пискарев стоял в безмолвном удивлении: «Карету, лакей в ливрее!.. Нет, здесь, верно, есть какая-нибудь ошибка...»

— Послушайте, любезный, — произнес он с робостью, — вы, верно, не туда изволили зайти. Вас барыня, без сомнения, прислала за кем-нибудь другим, а не за мною.

— Нет, сударь, я не ошибся. Ведь вы изволили проводить барыню пешком к дому, что в Литейной, в комнату четвертого этажа?

— Я.

— Ну, так пожалуйте поскорее, барыня непременно желает видеть вас и просит вас уже пожаловать прямо к ним на дом.

Пискарев сбежал с лестницы. На дворе точно стояла карета. Он сел в нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремели под колесами и копытами — и освещенная перспектива домов с яркими вывесками понеслась мимо каретных окон. Пискарев думал во всю дорогу и не знал, как разрешить это приключение. Собственный дом, карета, лакей в богатой ливрее... — все это он никак не мог согласить с комнатою в четвертом этаже, пыльными окнами и расстроенным фортепианом.

Карета остановилась перед ярко освещенным подъездом, и его разом поразили: ряд экипажей, говор кучеров, ярко освещенные окна и звуки музыки. Лакей в богатой ливрее высадил его из кареты и почтительно проводил в сени с мраморными колоннами, с облитым золотом швейцаром, с разбросанными плащами и шубами, с яркою лампою. Воздушная лестница с блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверх. Он уже был на ней, уже взошел в первую залу, испугавшись и попятившись с первым шагом от ужасного многолюдства. Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи и черные фраки, люстры, лампы,

воздушные летящие газы, эфирные ленты и толстый контрабас, выглядывавший из-за перил великолепных хоров, — все было для него блистательно. Он увидел за одним разом столько почтенных стариков и полустариков с звездами на фраках, дам, так легко, гордо и грациозно выступавших по паркету или сидевших рядами, он услышал столько слов французских и английских, к тому же молодые люди в черных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстук, дамы так были воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение, так очаровательно потупляли глаза, что... но один уже смиренный вид Пискарева, прислонившегося с боязнию к колонне, показывал, что он растерялся вовсе. В это время толпа обступила танцующую группу. Они неслись, увитые прозрачным созданием Парижа, в платьях, сотканных из самого воздуха; небрежно касались они блестящими ножками паркета и были более эфирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ими всех лучше, всех роскошнее и блистательнее одета. Невыразимое, самое тонкое сочетание вкуса разлилось во всем ее уборе, и при всем том она, казалось, вовсе о нем не заботилась и оно вылилось невольно, само собою. Она и глядела и не глядела на обступившую толпу зрителей, прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно, и сверкающая белизна лица ее еще ослепительнее бросилась в глаза, когда легкая тень осенила при наклоне головы очаровательный лоб ее.

Пискарев употребил все усилия, чтобы раздвинуть толпу и рассмотреть ее; но, к величайшей досаде, какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла ее беспрестанно; притом толпа его притиснула так, что он не смел податься вперед, не смел попятиться назад, опасаясь толкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тайного советника. Но вот он продрался-таки вперед и взглянул на свое платье, желая прилично оправиться. Творец Небесный, что это! На нем был сюртук и весь запачканный красками: спеша ехать, он позабыл даже переодеться в пристойное платье. Он покраснел до ушей и, потупив голову, хотел провалиться, но провалиться решительно было

некуда: камер-юнкеры в блестящем костюме сдвинулись позади его совершенною стеною. Он уже желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами. Со страхом поднял он глаза посмотреть, не глядит ли она на него: Боже! она стоит перед ним… Но что это? что это? «Это она!» — вскрикнул он почти во весь голос. В самом деле, это была она, та самая, которую встретил он на Невском и которую проводил к ее жилищу.

Она подняла между тем свои ресницы и глянула на всех своим ясным взглядом. «Ай, ай, ай, как хороша!..» — мог только выговорить он с захватившимся дыханием. Она обвела своими глазами весь круг, наперерыв жаждавший остановить ее внимание, но с каким-то утомлением и невниманием она скоро отвратила их и встретилась с глазами Пискарева. О, какое небо! какой рай! дай силы, Создатель, перенести это! жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу! Она подала знак, но не рукою, не наклонением головы, нет, в ее сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким незаметным выражением, что никто не мог его видеть, но он видел, он понял его. Танец длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремела; наконец — конец! Она села, грудь ее воздымалась под тонким дымом газа; рука ее (Создатель, какая чудесная рука!) упала на колени, сжала под собою ее воздушное платье, и платье под нею, казалось, стало дышать музыкою, и тонкий сиреневый цвет его еще виднее означил яркую белизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ее — и ничего больше! Никаких других желаний — они все дерзки… Он стоял у ней за стулом, не смея говорить, не смея дышать.

— Вам было скучно? — произнесла она. — Я также скучала. Я замечаю, что вы меня ненавидите… — прибавила она, потупив свои длинные ресницы…

— Вас ненавидеть! мне? я… — хотел было произнесть совершенно потерявшийся Пискарев и наговорил бы, верно, кучу самых несвязных слов, но в это время подошел камергер с острыми и приятными замечаниями, с прекрасным завитым на голове хохлом. Он довольно приятно показывал ряд довольно недурных зубов и каждою остротою своею вбивал острый гвоздь в его сердце. Наконец кто-то из посторонних, к счастию, обратился к камергеру с каким-то вопросом.

— Как это несносно! — сказала она, подняв на него свои небесные глаза. — Я сяду на другом конце зала; будьте там!

Она проскользнула между толпою и исчезла. Он как помешанный растолкал толпу и был уже там.

Так, это она! она сидела, как царица, всех лучше, всех прекраснее, и искала его глазами.

— Вы здесь, — произнесла она тихо. — Я буду откровенна перед вами: вам, верно, странными показались обстоятельства нашей встречи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать к тому презренному классу творений, в котором вы встретили меня? Вам кажутся странными мои поступки, но я вам открою тайну: будете ли вы в состоянии, — произнесла она, устремив пристально на его глаза свои, — никогда не изменить ей?

— О, буду! буду! буду!..

Но в это время подошел довольно пожилой человек, заговорил с ней на каком-то непонятном для Пискарева языке и подал ей руку. Она умоляющим взглядом посмотрела на Пискарева и дала знак остаться на своем месте и ожидать ее прихода, но в припадке нетерпения он не в силах был слушать никаких приказаний даже из ее уст. Он отправился вслед за нею; но толпа разделила их. Он уже не видел сиреневого платья; с беспокойством проходил он из комнаты в комнату и толкал без милосердия всех встречных, но во всех комнатах всё сидели тузы за вистом, погруженные в мертвое молчание. В одном углу комнаты спорило несколько пожилых людей о преимуществе военной службы перед статскою; в другом люди в превосходных фраках бросали легкие замечания о многотомных трудах поэта-труженика. Пискарев чувствовал, что один пожилой человек с почтенною наружностью схватил за пуговицу его фрака и представлял на его суждение одно весьма справедливое свое замечание, но он грубо оттолкнул его, даже не заметивши, что у него на шее был довольно значительный орден. Он перебежал в другую комнату — и там нет ее. В третью — тоже нет. «Где же она? дайте ее мне! о, я не могу жить, не взглянувши на нее! мне хочется выслушать, что она хотела сказать», — но все поиски его оставались тщетными. Беспокойный, утомленный, он прижался к углу и смотрел на толпу; но напряженные глаза его начали ему представлять все в каком-то неясном виде. Наконец ему начали явственно показываться

стены его комнаты. Он поднял глаза; перед ним стоял подсвечник с огнем, почти потухавшим в глубине его; вся свеча истаяла; сало было налито на столе его.

Так это он спал! Боже, какой сон! И зачем было просыпаться? зачем было одной минуты не подождать: она бы, верно, опять явилась! Досадный свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в его окна. Комната в таком сером, таком мутном беспорядке... О, как отвратительна действительность! Что она против мечты? Он разделся наскоро и лег в постель, закутавшись одеялом, желая на миг призвать улетевшее сновидение. Сон, точно, не замедлил к нему явиться, но представлял ему вовсе не то, что бы желал он видеть: то поручик Пирогов являлся с трубкою, то академический сторож, то действительный статский советник, то голова чухонки, с которой он когда-то рисовал портрет, и тому подобная чепуха.

До самого полудня пролежал он в постеле, желая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасные черты свои, хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка, хотя бы ее обнаженная, яркая, как заоблачный снег, рука мелькнула перед ним.

Все откинувши, все позабывши, сидел он с сокрушенным, с безнадежным видом, полный только одного сновидения. Ни к чему не думал он притронуться; глаза его без всякого участия, без всякой жизни глядели в окно, обращенное в двор, где грязный водовоз лил воду, мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал: «Старого платья продать». Вседневное и действительное странно поражало его слух. Так просидел он до самого вечера и с жадностию бросился в постель. Долго боролся он с бессонницею, наконец пересилил ее. Опять какой-то сон, какой-то пошлый, гадкий сон. «Боже, умилосердись: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее!» Он опять ожидал вечера, опять заснул, опять снился какой-то чиновник, который был вместе и чиновник и фагот; о, это нестерпимо! Наконец она явилась! ее головка и локоны... она глядит... О, как ненадолго! опять туман, опять какое-то глупое сновидение.

Наконец сновидения сделались его жизнию, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. Если бы его кто-нибудь видел

сидящим безмолвно перед пустым столом или шедшим по улице, то, верно бы, принял его за лунатика или разрушенного крепкими напитками; взгляд его был вовсе без всякого значения, природная рассеянность наконец развилась и властительно изгоняла на лице его все чувства, все движения. Он оживлялся только при наступлении ночи.

Такое состояние расстроило его силы, и самым ужасным мучением было для него то, что наконец сон начал его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, он употреблял все средства восстановить его. Он слышал, что есть средство восстановить сон — для этого нужно принять только опиум. Но где достать этого опиума? Он вспомнил про одного персиянина, содержавшего магазин шалей, который всегда почти, когда ни встречал его, просил нарисовать ему красавицу. Он решился отправиться к нему, предполагая, что у него, без сомнения, есть этот опиум. Персиянин принял его сидя на диване и поджавши под себя ноги.

— На что тебе опиум? — спросил он его.

Пискарев рассказал ему про свою бессонницу.

— Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу. Чтоб хорошая была красавица! чтобы брови были черные и очи большие, как маслины; а я сама чтобы лежала возле нее и курила трубку! слышишь? чтобы хорошая была! чтобы была красавица!

Пискарев обещал все. Персиянин на минуту вышел и возвратился с баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлил часть ее в другую баночку и дал Пискареву с наставлением употреблять не больше как по семи капель в воде. С жадностию схватил он эту драгоценную баночку, которую не отдал бы за груду золота, и опрометью побежал домой.

Пришедши домой, он отлил несколько капель в стакан с водою и, проглотив, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она! но уже совершенно в другом виде. О, как хорошо сидит она у окна деревенского светлого домика! наряд ее дышит такою простотою, в какую только облекается мысль поэта. Прическа на голове ее... Создатель, как проста эта прическа и как она идет к ней! Коротенькая косынка была слегка накинута на стройной ее шейке; все в ней скромно,

все в ней — тайное, неизъяснимое чувство вкуса. Как мила ее грациозная походка! как музыкален шум ее шагов и простенького платья! как хороша рука ее, стиснутая волосяным браслетом! Она говорит ему со слезою на глазах: «Не презирайте меня: я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнее и скажите: разве я способна к тому, что вы думаете?» — «О! нет, нет! пусть тот, кто осмелится подумать, пусть тот...» Но он проснулся, растроганный, растерзанный, с слезами на глазах. «Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника! Я бы не отходил от холста, я бы вечно глядел на тебя и целовал бы тебя. Я бы жил и дышал тобою, как прекраснейшею мечтою, и я бы был тогда счастлив. Никаких бы желаний не простирал далее. Я бы призывал тебя, как ангела-хранителя, пред сном и бдением, и тебя бы ждал я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь... какая ужасная жизнь! Что пользы в том, что она живет? Разве жизнь сумасшедшего приятна его родственникам и друзьям, некогда его любившим? Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существенностью!» Почти такие мысли занимали его беспрестанно. Ни о чем он не думал, даже почти ничего не ел и с нетерпением, со страстию любовника ожидал вечера и желанного видения. Беспрестанное устремление мыслей к одному наконец взяло такую власть над всем бытием его и воображением, что желанный образ являлся ему почти каждый день, всегда в положении противуположном действительности, потому что мысли его были совершенно чисты, как мысли ребенка. Чрез эти сновидения самый предмет как-то более делался чистым и вовсе преображался.

Приемы опиума еще более раскалили его мысли, и если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он.

Из всех сновидений одно было радостнее для него всех: ему представилась его мастерская, он так был весел, с таким наслаждением сидел с палитрою в руках! И она тут же. Она была уже его женою. Она сидела возле него, облокотившись прелестным локотком своим на спинку его стула, и смотрела на его работу. В ее глазах, томных, усталых, написано было бремя блаженства;

все в комнате его дышало раем; было так светло, так убрано. Создатель! она склонила к нему на грудь прелестную свою головку... Лучшего сна он еще никогда не видывал. Он встал после него как-то свежее и менее рассеянный, нежели прежде. В голове его родились странные мысли. «Может быть, — думал он, — она вовлечена каким-нибудь невольным ужасным случаем в разврат; может быть, движения души ее склонны к раскаянию; может быть, она желала бы сама вырваться из ужасного состояния своего. И неужели равнодушно допустить ее гибель, и притом тогда, когда только стоит подать руку, чтобы спасти ее от потопления?» Мысли его простирались еще далее. «Меня никто не знает, — говорил он сам себе, — да и кому какое до меня дело, да и мне тоже нет до них дела. Если она изъявит чистое раскаяние и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней жениться и, верно, сделаю гораздо лучше, нежели многие, которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже великим. Я возвращу миру прекраснейшее его украшение».

Составивши такой легкомысленный план, он почувствовал краску, вспыхнувшую на его лице; он подошел к зеркалу и испугался сам впалых щек и бледности своего лица. Тщательно начал он принаряжаться; приумылся, пригладил волоса, надел новый фрак, щегольской жилет, набросил плащ и вышел на улицу. Он дохнул свежим воздухом и почувствовал свежесть на сердце, как выздоравливающий, решившийся выйти в первый раз после продолжительной болезни. Сердце его билось, когда он подходил к той улице, на которой нога его не была со времени роковой встречи.

Долго он искал дома; казалось, память ему изменила. Он два раза прошел улицу и не знал, перед которым остановиться. Наконец один показался ему похожим. Он быстро взбежал на лестницу, постучал в дверь: дверь отворилась, и кто же вышел к нему навстречу? Его идеал, его таинственный образ, оригинал мечтательных картин, та, которою он жил, так ужасно, так страдательно, так сладко жил. Она сама стояла перед ним: он затрепетал; он едва мог удержаться на ногах от слабости, обхваченный порывом радости. Она стояла перед ним так же прекрасна, хотя глаза ее были заспаны, хотя бледность кралась на лице ее, уже не так свежем, но она все была прекрасна.

— А! — вскрикнула она, увидевши Пискарева и протирая глаза свои (тогда было уже два часа). — Зачем вы убежали тогда от нас?

Он в изнеможении сел на стул и глядел на нее.

— А я только что теперь проснулась; меня привезли в семь часов утра. Я была совсем пьяна, — прибавила она с улыбкою.

О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, чем произносить такие речи! Она вдруг показала ему, как в панораме, всю жизнь ее. Однако ж, несмотря на это, скрепившись сердцем, решился попробовать он, не будут ли иметь над нею действия его увещания. Собравшись с духом, он дрожащим и вместе пламенным голосом начал представлять ей ужасное ее положение. Она слушала его с внимательным видом и с тем чувством удивления, которое мы изъявляем при виде чего-нибудь неожиданного и странного. Она взглянула, легко улыбнувшись, на сидевшую в углу свою приятельницу, которая, оставивши вычищать гребешок, тоже слушала со вниманием нового проповедника.

— Правда, я беден, — сказал наконец после долгого и поучительного увещания Пискарев, — но мы станем трудиться; мы постараемся наперерыв, один перед другим, улучшить нашу жизнь. Нет ничего приятнее, как быть обязану во всем самому себе. Я буду сидеть за картинами, ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другим рукоделием, и мы ни в чем не будем иметь недостатка.

— Как можно! — прервала она речь с выражением какого-то презрения. — Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.

Боже! в этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь, — жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спутников разврата.

— Женитесь на мне! — подхватила с наглым видом молчавшая дотоле в углу ее приятельница. — Если я буду женою, я буду сидеть вот как!

При этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, которою чрезвычайно рассмешила красавицу.

О, это уже слишком! этого нет сил перенести. Он бросился вон, потерявши чувства и мысли. Ум его помутился: глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродил он весь день.

Никто не мог знать, ночевал он где-нибудь или нет; на другой только день каким-то глупым инстинктом зашел он на свою квартиру, бледный, с ужасным видом, с растрепанными волосами, с признаками безумия на лице. Он заперся в свою комнату и никого не впускал, ничего не требовал. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконец прошла неделя, и комната все так же была заперта. Бросились к дверям, начали звать его, но никакого не было ответа; наконец выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутым рукам и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была неверна и что он долго еще мучился, прежде нежели грешная душа его оставила тело.

Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихий, робкий, скромный, детски простодушный, носивший в себе искру таланта, быть может со временем бы вспыхнувшего широко и ярко. Никто не поплакал над ним; никого не видно было возле его бездушного трупа, кроме обыкновенной фигуры квартального надзирателя и равнодушной мины городового лекаря. Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту; за ним идучи, плакал один только солдат-сторож, и то потому, что выпил лишний штоф водки. Даже поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка, которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство. Впрочем, ему было вовсе не до того: он был занят чрезвычайным происшествием. Но обратимся к нему.

Я не люблю трупов и покойников, и мне всегда неприятно, когда переходит мою дорогу длинная погребальная процессия и инвалидный солдат, одетый каким-то капуцином, нюхает левою рукою табак, потому что правая занята факелом. Я всегда чувствую на душе досаду при виде богатого катафалка и бархатного гроба; но досада моя смешивается с грустью, когда я вижу, как ломовой извозчик тащит красный, ничем не покрытый гроб бедняка и только одна какая-нибудь нищая, встретившись на перекрестке, плетется за ним, не имея другого дела.

Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легенькое, довольно интересное созданьице.

Она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные в окнах кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безделушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад. «Ты, голубушка, моя!» — говорил с самоуверенностию Пирогов, продолжая свое преследование и закутавши лицо свое воротником шинели, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Но не мешает известить читателей, кто таков был поручик Пирогов.

Но прежде нежели мы скажем, кто таков был поручик Пирогов, не мешает кое-что рассказать о том обществе, к которому принадлежал Пирогов. Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества. На вечере, на обеде у статского советника или у действительного статского, который выслужил этот чин сорокалетними трудами, вы всегда найдете одного из них. Несколько бледных, совершенно бесцветных, как Петербург, дочерей, из которых иные перезрели, чайный столик, фортепиано, домашние танцы — все это бывает нераздельно с светлым эполетом, который блещет при лампе, между благонравной блондинкой и черным фраком братца или домашнего знакомого. Этих хладнокровных девиц чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смеяться; для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совсем не иметь никакого искусства. Нужно говорить так, чтобы не было ни слишком умно, ни слишком смешно, чтобы во всем была та мелочь, которую любят женщины. В этом надобно отдать справедливость означенным господам. Они имеют особенный дар заставлять смеяться и слушать этих бесцветных красавиц. Восклицания, задушаемые смехом: «Ах, перестаньте! не стыдно ли вам так смешить!» — бывают им часто лучшею наградою. В высшем классе они попадаются очень редко или, лучше сказать, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем, что называют в этом обществе аристократами; впрочем, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове. Они не пропускают ни одной публичной лекции, будь она о бухгалтерии или даже о лесоводстве. В театре, какая бы ни была пьеса, вы всегда найдете одного из них, выключая разве если уже играются какие-нибудь «Филатки», которыми очень

оскорбляется их разборчивый вкус. В театре они бессменно. Это самые выгодные люди для театральной дирекции. Они особенно любят в пьесе хорошие стихи, также очень любят громко вызывать актеров; многие из них, преподавая в казенных заведениях или приготовляя к казенным заведениям, заводятся наконец кабриолетом и парою лошадей. Тогда круг их становится обширнее; они достигают наконец до того, что женятся на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, с сотнею тысяч или около того наличных и кучею брадатой родни. Однако ж этой чести они не прежде могут достигнуть, как выслуживши, по крайней мере, до полковничьего чина. Потому что русские бородки, несмотря на то что от них еще несколько отзывается капустою, никаким образом не хотят видеть дочерей своих ни за кем, кроме генералов или, по крайней мере, полковников. Таковы главные черты этого сорта молодых людей. Но поручик Пирогов имел множество талантов, собственно ему принадлежавших. Он превосходно декламировал стихи из «Димитрия Донского» и «Горе от ума», имел особенное искусство пускать из трубки дым кольцами так удачно, что вдруг мог нанизать их около десяти одно на другое. Умел очень приятно рассказать анекдот о том, что пушка сама по себе, а единорог сам по себе. Впрочем, оно несколько трудно перечесть все таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Он любил поговорить об актрисе и танцовщице, но уже не так резко, как обыкновенно изъясняется об этом предмете молодой прапорщик. Он был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя иногда, ложась на диван, он говорил: «Ох, ох! суета, все суета! что из этого, что я поручик?» — но втайне его очень льстило это новое достоинство; он в разговоре часто старался намекнуть о нем обиняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его и в немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой офицер. Тем более старался он изложить это красноречивее, что тогда проходили мимо его две весьма недурные дамы. Пирогов вообще показывал страсть ко всему изящному и поощрял художника Пискарева; впрочем, это происходило, может быть, оттого, что ему весьма желалось видеть мужественную физиономию свою на портрете. Но довольно о качествах Пирогова. Человек такое

дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно.

Итак, Пирогов не переставал преследовать незнакомку, от времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвечала резко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они вошли темными Казанскими воротами в Мещанскую улицу, улицу табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома. Пирогов — за нею. Она взбежала по узенькой темной лестнице и вошла в дверь, в которую тоже смело пробрался Пирогов. Он увидел себя в большой комнате с черными стенами, с закопченным потолком. Куча железных винтов, слесарных инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе; пол был засорен медными и железными опилками. Пирогов тотчас смекнул, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далее в боковую дверь. Он было на минуту задумался, но, следуя русскому правилу, решился идти вперед. Он вошел в комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец. Он был поражен необыкновенно странным видом.

Перед ним сидел Шиллер, — не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, — не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявши вверх голову; а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности. Обе особы говорили на немецком языке, и потому поручик Пирогов, который знал по-немецки только «гут морген», ничего не мог понять из всей этой истории. Впрочем, слова Шиллера заключались вот в чем.

«Я не хочу, мне не нужен нос! — говорил он, размахивая руками. — У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц.

И я плачу в русский скверный магазин, потому что немецкий магазин не держит русского табаку, я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по сорок копеек; это будет рубль двадцать копеек; двенадцать раз рубль двадцать копеек — это будет четырнадцать рублей сорок копеек. Слышишь, друг мой Гофман? на один нос четырнадцать рублей сорок копеек! Да по праздникам я нюхаю рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхал два фунта рапе, по два рубля фунт. Шесть да четырнадцать — двадцать рублей сорок копеек на один табак. Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли? — Гофман, который сам был пьян, отвечал утвердительно. — Двадцать рублей сорок копеек! Я швабский немец; у меня есть король в Германии. Я не хочу носа! режь мне нос! вот мой нос!»

И если бы не внезапное поЯвление поручика Пирогова, то, без всякого сомнения, Гофман отрезал бы ни за что ни про что Шиллеру нос, потому что он уже привел нож свой в такое положение, как бы хотел кроить подошву.

Шиллеру показалось очень досадно, что вдруг незнакомое, непрошеное лицо так некстати ему помешало. Он, несмотря на то что был в упоительном чаду пива и вина, чувствовал, что несколько неприлично в таком виде и при таком действии находиться в присутствии постороннего свидетеля. Между тем Пирогов слегка наклонился и с свойственною ему приятностию сказал:

— Вы извините меня...

— Пошел вон! — отвечал протяжно Шиллер.

Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лице, вдруг пропала. С чувством огорченного достоинства он сказал:

— Мне странно, милостивый государь... вы, верно, не заметили... я офицер...

— Что такое офицер! Я — швабский немец. Мой сам (при этом Шиллер ударил кулаком по столу) будет офицер: полтора года юнкер, два года поручик, и я завтра сейчас офицер. Но я не хочу служить. Я с офицером сделает этак: фу! — при этом Шиллер подставил ладонь и фукнул на нее.

Поручик Пирогов увидел, что ему больше ничего не оставалось, как только удалиться; однако ж такое обхождение, вовсе

не приличное его званию, ему было неприятно. Он несколько раз останавливался на лестнице, как бы желая собраться с духом и подумать о том, каким бы образом дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконец рассудил, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивом; к тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и он решился предать это забвению. На другой день поручик Пирогов рано поутру явился в мастерской жестяных дел мастера. В передней комнате встретила его хорошенькая блондинка и довольно суровым голосом, который очень шел к ее личику, спросила:

— Что вам угодно?

— А, здравствуйте, моя миленькая! вы меня не узнали? плутовочка, какие хорошенькие глазки! — при этом поручик Пирогов хотел очень мило поднять пальцем ее подбородок.

Но блондинка произнесла пугливое восклицание и с тою же суровостию спросила:

— Что вам угодно?

— Вас видеть, больше ничего мне не угодно, — произнес поручик Пирогов, довольно приятно улыбаясь и подступая ближе; но, заметив, что пугливая блондинка хотела проскользнуть в дверь, прибавил: — Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мне сделать шпоры? хотя для того, чтобы любить вас, вовсе не нужно шпор, а скорее бы уздечку. Какие миленькие ручки!

Поручик Пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях подобного рода.

— Я сейчас позову моего мужа, — вскрикнула немка и ушла, и через несколько минут Пирогов увидел Шиллера, выходившего с заспанными глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. Взглянувши на офицера, он припомнил, как в смутном сне, происшествие вчерашнего дня. Он ничего не помнил в таком виде, в каком было, но чувствовал, что сделал какую-то глупость, и потому принял офицера с очень суровым видом.

— Я за шпоры не могу взять меньше пятнадцати рублей, — произнес он, желая отделаться от Пирогова, потому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть на того, кто видел его в неприличном положении. Шиллер любил пить совершенно без свидетелей, с двумя, тремя приятелями, и запирался на это время даже от своих работников.

— Зачем же так дорого? — ласково сказал Пирогов.

— Немецкая работа, — хладнокровно произнес Шиллер, поглаживая подбородок. — Русский возьмется сделать за два рубля.

— Извольте, чтобы доказать, что я вас люблю и желаю с вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей.

Шиллер минуту оставался в размышлении: ему, как честному немцу, сделалось немного совестно. Желая сам отклонить его от заказывания, он объявил, что раньше двух недель не может сделать. Но Пирогов без всякого прекословия изъявил совершенное согласие.

Немец задумался и стал размышлять о том, как бы лучше сделать свою работу, чтобы она действительно стоила пятнадцать рублей. В это время блондинка вошла в мастерскую и начала рыться на столе, уставленном кофейниками. Поручик воспользовался задумчивостью Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до самого плеча. Это Шиллеру очень не понравилось.

— Мейн фрау! — закричал он.

— Вас волен зи дох? — отвечала блондинка.

— Гензи на кухня!

Блондинка удалилась.

— Так через две недели? — сказал Пирогов.

— Да, через две недели, — отвечал в размышлении Шиллер, — у меня теперь очень много работы.

— До свидания! я к вам зайду.

— До свидания, — отвечал Шиллер, запирая за ним дверь.

Поручик Пирогов решился не оставлять своих исканий, несмотря на то что немка оказала явный отпор. Он не мог понять, чтобы можно было ему противиться, тем более что любезность его и блестящий чин давали полное право на внимание. Надобно, однако же, сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа.

Впрочем, глупость составляет особенную прелесть в хорошенькой жене. По крайней мере, я знал много мужей, которые в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки младенческой невинности. Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице, вместо того чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый порок дышит в них миловидностью; но исчезни

она — и женщине нужно быть в двадцать раз умнее мужчины, чтобы внушить к себе если не любовь, то, по крайней мере, уважение. Впрочем, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда верна своей обязанности, и потому Пирогову довольно трудно было успеть в смелом своем предприятии; но с победою препятствий всегда соединяется наслаждение, и блондинка становилась для него интереснее день ото дня. Он начал довольно часто осведомляться о шпорах, так что Шиллеру это наконец наскучило. Он употреблял все усилия, чтобы окончить скорее начатые шпоры; наконец шпоры были готовы.

— Ах, какая отличная работа! — закричал поручик Пирогов, увидевши шпоры. — Господи, как это хорошо сделано! У нашего генерала нет этаких шпор.

Чувство самодовольствия распустилось по душе Шиллера. Глаза его начали глядеть довольно весело, и он совершенно примирился с Пироговым. «Русский офицер — умный человек», — думал он сам про себя.

— Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например, к кинжалу или другим вещам?

— О, очень могу, — сказал Шиллер с улыбкою.

— Так сделайте мне оправу к кинжалу. Я вам принесу; у меня очень хороший турецкий кинжал, но мне бы хотелось оправу к нему сделать другую.

Шиллера это как бомбою хватило. Лоб его вдруг наморщился. «Вот тебе на!» — подумал он про себя, внутренне ругая себя за то, что накликал сам работу. Отказаться он почитал уже бесчестным, притом же русский офицер похвалил его работу. Он, несколько покачавши головою, изъявил свое согласие; но поцелуй, который, уходя, Пирогов влепил нахально в самые губки хорошенькой блондинки, поверг его в совершенное недоумение.

Я почитаю не излишним познакомить читателя несколько покороче с Шиллером. Шиллер был совершенный немец, в полном смысле всего этого слова. Еще с двадцатилетнего возраста, с того счастливого времени, в которое русский живет на фу-фу, уже Шиллер размерил всю свою жизнь и никакого, ни в каком случае, не делал исключения. Он положил вставать в семь часов, обедать в два, быть точным во всем и быть пьяным каждое

воскресенье. Он положил себе в течение десяти лет составить капитал из пятидесяти тысяч, и уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово. Ни в каком случае не увеличивал он своих издержек, и если цена на картофель слишком поднималась против обыкновенного, он не прибавлял ни одной копейки, но уменьшал только количество, и хотя оставался иногда несколько голодным, но, однако же, привыкал к этому. Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более двух раз, а чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, он никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп; впрочем, в воскресный день это правило не так строго исполнялось, потому что Шиллер выпивал тогда две бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую, однако же, он всегда бранил. Пил он вовсе не так, как англичанин, который тотчас после обеда запирает дверь на крючок и нарезывается один. Напротив, он, как немец, пил всегда вдохновенно, или с сапожником Гофманом, или с столяром Кунцом, тоже немцем и большим пьяницею. Таков был характер благородного Шиллера, который наконец был приведен в чрезвычайно затруднительное положение. Хотя он был флегматик и немец, однако ж поступки Пирогова возбудили в нем что-то похожее на ревность. Он ломал голову и не мог придумать, каким образом ему избавиться от этого русского офицера. Между тем Пирогов, куря трубку в кругу своих товарищей, — потому что уже так Провидение устроило, что где офицеры, там и трубки, — куря трубку в кругу своих товарищей, намекал значительно и с приятною улыбкою об интрижке с хорошенькою немкою, с которою, по словам его, он уже совершенно был накоротке и которую он на самом деле едва ли не терял уже надежды преклонить на свою сторону.

В один день прохаживался он по Мещанской, поглядывая на дом, на котором красовалась вывеска Шиллера с кофейниками и самоварами; к величайшей радости своей, увидел он головку блондинки, свесившуюся в окошко и разглядывавшую прохожих. Он остановился, сделал ей ручкою и сказал: «Гут морген!» Блондинка поклонилась ему как знакомому.

— Что, ваш муж дома?

— Дома, — отвечала блондинка.

— А когда он не бывает дома?

— Он по воскресеньям не бывает дома, — сказала глупенькая блондинка.

«Это недурно, — подумал про себя Пирогов, — этим нужно воспользоваться».

И в следующее воскресенье как снег на голову явился пред блондинкою. Шиллера действительно не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась; но Пирогов поступил на этот раз довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланявшись, показал всю красоту своего гибкого перетянутого стана. Он очень приятно и учтиво шутил, но глупенькая немка отвечала на все односложными словами. Наконец, заходивши со всех сторон и видя, что ничто не может занять ее, он предложил ей танцевать. Немка согласилась в одну минуту, потому что немки всегда охотницы до танцев. На этом Пирогов очень много основывал свою надежду: во-первых, это уже доставляло ей удовольствие, во-вторых, это могло показать его торнюру и ловкость, в-третьих, в танцах ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую немку и проложить начало всему; короче, он выводил из этого совершенный успех. Он начал какой-то гавот, зная, что немкам нужна постепенность. Хорошенькая немка выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение так восхитило Пирогова, что он бросился ее целовать. Немка начала кричать и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах Пирогова; он ее засыпал поцелуями. Как вдруг дверь отворилась, и вошел Шиллер с Гофманом и столяром Кунцом. Все эти достойные ремесленники были пьяны как сапожники.

Но я предоставляю самим читателям судить о гневе и негодовании Шиллера.

— Грубиян! — закричал он в величайшем негодовании, — как ты смеешь целовать мою жену? Ты подлец, а не русский офицер. Черт побери, мой друг Гофман, я немец, а не русская свинья!

Гофман отвечал утвердительно.

— О, я не хочу иметь роги! бери его, мой друг Гофман, за воротник, я не хочу, — продолжал он, сильно размахивая руками, причем лицо его было похоже на красное сукно его жилета. —

Я восемь лет живу в Петербурге, у меня в Швабии мать моя, и дядя мой в Нюренберге; я немец, а не рогатая говядина! прочь с него всё, мой друг Гофман! держи его за рука и нога, камрат мой Кунц!

И немцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился он отбиваться; эти три ремесленника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев и поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события.

Я уверен, что Шиллер на другой день был в сильной лихорадке, что он дрожал как лист, ожидая с минуты на минуту прихода полиции, что он Бог знает чего бы не дал, чтобы все происходившее вчера было во сне. Но что уже было, того нельзя переменить. Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство. Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера. Он летел домой, чтобы, одевшись, оттуда идти прямо к генералу, описать ему самыми разительными красками буйство немецких ремесленников. Он разом хотел подать и письменную просьбу в Главный штаб. Если же Главный штаб определит недостаточным наказание, тогда прямо в Государственный совет, а не то самому Государю.

Но все это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной Пчелы» и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно приятный прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту; к девяти часам он успокоился и нашел, что в воскресенье нехорошо беспокоить генерала, притом он, без сомнения, куда-нибудь отозван, и потому он отправился на вечер к одному правителю Контрольной коллегии, где было очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с удовольствием провел вечер и так отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам, но даже и кавалеров.

«Дивно устроен свет наш! — думал я, идя третьего дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия. — Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все

происходит наоборот. Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красоты, — тогда как другой, которого сердце горит лошадиною страстью, идет пешком и довольствуется только тем, что пощелкивает языком, когда мимо его проводят рысака. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот величиною в арку Главного штаба, но, увы! должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами судьба наша!»

Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему вовсе офицера? Совсем нет, он говорит о Лафайете. Вы думаете, что эти дамы... но дамам меньше всего верьте. Менее заглядывайте в окна магазинов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством ассигнаций. Но Боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради Бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря, все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.

Нос

I

Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его — где изображен господин с намыленною щекою и надписью: «И кровь отворяют» — не выставлено ничего более), цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофий, вынимала из печи только что испеченные хлебы.

— Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофию, — сказал Иван Яковлевич, — а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком.

(То есть Иван Яковлевич хотел бы и того и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей.) «Пусть дурак ест хлеб; мне же лучше, — подумала про себя супруга, — останется кофию лишняя порция». И бросила один хлеб на стол.

Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное! — сказал он сам про себя, — что бы это такое было?»

Он засунул пальцы и вытащил — нос!.. Иван Яковлевич и руки опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! и еще, казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою.

— Где это ты, зверь, отрезал нос? — закричала она с гневом. — Мошенник! пьяница! Я сама на тебя донесу полиции.

Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся.

Но Иван Яковлевич был ни жив ни мертв. Он узнал, что этот нос был не чей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье.

— Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок; пусть там маленечко полежит, а после его вынесу.

— И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу?.. Сухарь поджаристый! Знай умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции?.. Ах ты, пачкун, бревно глупое! Вон его! вон! неси куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!

Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал — и не знал, что подумать.

— Черт его знает, как это сделалось, — сказал он наконец, почесав рукою за ухом. — Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж наверное сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное: ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!..

Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага... и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу.

Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но, на беду, ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас запросом: «Куда идешь?», или: «Кого так рано собрался брить?» — так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, примолвив: «Подыми! вон ты что-то уронил!» И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно

умножался на улице, по мере того так начали отпираться магазины и лавочки.

Он решился идти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву?.. Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях.

Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно небрит. Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был пегий; то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках; воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!» — то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» — «Не знаю, братец, только воняют», — говорил коллежский асессор, и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою — одним словом, где только ему была охота.

Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся; потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост: много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пуд; Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер; а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил:

— А подойди сюда, любезный!

Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедши проворно, сказал:

— Желаю здравия вашему благородию!

— Нет, нет, братец, не благородию; скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?

— Ей-Богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

— Врешь, врешь! Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать!

— Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить без всякого прекословия, — отвечал Иван Яковлевич.

— Нет, приятель, это пустяки! Меня три цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?

Иван Яковлевич побледнел... Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно.

II

Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами: «брр...» — что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место! Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза: точно, нет носа! Он начал щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет носа!.. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.

Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощию ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры... Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса,

он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка, — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки, — ты приходи ко мне на дом; квартира моя в Садовой; спроси только: здесь ли живет майор Ковалев? — тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». По этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором.

Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, которые имеют полные, румяные щеки и очень хорошо играют в бостон: эти бакенбарды идут по самой средине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано: середа, четверг, понедельник и проч. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то — экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь и жениться, но только в таком случае, когда за невестою случится двести тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа преглупое, ровное и гладкое место.

Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. «Но авось-либо мне так представилось: не может быть, чтобы нос пропал сдуру», — подумал он и зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастию, в кондитерской никого не было; мальчишки мели комнаты и расставляли стулья; некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки; на столах и стульях валялись залитые кофием вчерашние газеты. «Ну, слава Богу, никого нет, — произнес он, — теперь

можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул. «Черт знает что, какая дрянь! — произнес он, плюнувши. — Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..»

С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился, против своего обыкновения, не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло Явление неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, все переворотилось у него в глазах; он чувствовал, что едва мог стоять; но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Чрез две минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: «Подавай!» — сел и уехал.

Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, — был в мундире! Он побежал за каретою, которая, к счастию, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором.

Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного; они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился.

«Как подойти к нему? — думал Ковалев. — По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!»

Он начал около него покашливать; но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны.

— Милостивый государь... — сказал Ковалев, внутренне принуждая себя ободриться, — милостивый государь...

— Что вам угодно? — отвечал нос, оборотившись.

— Мне странно, милостивый государь... мне кажется... вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? — в церкви. Согласитесь...

— Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить... Объяснитесь...

«Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал:

— Конечно, я... впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду получить... притом будучи во многих домах знаком с дамами: Чехтарева, статская советница, и другие... Вы посудите сами... я не знаю, милостивый государь. (При этом майор Ковалев пожал плечами.) Извините... если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести... вы сами можете понять...

— Ничего решительно не понимаю, — отвечал нос. — Изъяснитесь удовлетворительнее.

— Милостивый государь... — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, — я не знаю, как понимать слова ваши... Здесь все дело, кажется, совершенно очевидно... Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос!

Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились.

— Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству.

Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться.

Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья; подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшемся

на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников.

Ковалев подступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он оборотился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец и что он больше ничего, как только его собственный нос... Но носа уже не было; он успел ускакать, вероятно опять к кому-нибудь с визитом.

Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем; но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливрее. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такою быстротою, что трудно было даже приметить; но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма; дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от Полицейского до Аничкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыгин, столоначальник в сенате, большой приятель, который вечно в бостоне обремизивался, когда играл восемь. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему...

— А, черт возьми! — сказал Ковалев. — Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру!

Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю ивановскую!»

— У себя обер-полицмейстер? — вскричал он, зашедши в сени.

— Никак нет, — отвечал привратник, — только что уехал.

— Вот тебе раз!

— Да, — прибавил привратник, — оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома.

Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом:

— Пошел!

— Куда? — сказал извозчик.

— Пошел прямо!

— Как прямо? тут поворот: направо или налево?

Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в Управу благочиния, не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах; искать же удовлетворения по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного и он мог так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в Управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города, — и тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего Боже сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само Небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! скорей,

мошенник!» — «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стегая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на болонке. Дрожки наконец остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник, в старом фраке и очках, сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.

— Кто здесь принимает объявления? — закричал Ковалев. — А, здравствуйте!

— Мое почтение, — сказал седой чиновник, поднявши на минуту глаза и опустивши их снова на разложенные кучи денег.

— Я желаю припечатать...

— Позвольте. Прошу немножко повременить, — произнес чиновник, ставя одною рукою цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах.

Лакей с галунами и наружностию, показывавшею пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола, с запискою в руках, и почел приличным показать свою общежительность:

— Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит восьми гривен, то есть я не дал бы за нее и восьми грошей; а графиня любит, ей-Богу, любит, — и вот тому, кто ее отыщет, сто рублей! Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны: уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя; не пожалей пятисот, тысячу дай, но зато уж чтоб была собака хорошая.

Почтенный чиновник слушал это с значительною миною и в то же время занимался сметою: сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения; в другой — малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа; там отпускалась дворовая девка девятнадцати лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ; прочные дрожки без одной рессоры; молодая горячая лошадь в серых яблоках, семнадцати лет от роду; новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса; дача со всеми угодьями: двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад; там же находился вызов желающих купить старые подошвы, с приглашением явиться к переторжке каждый день

от восьми до трех часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ; но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился Бог знает в каких местах.

— Милостивый государь, позвольте вас попросить... Мне очень нужно, — сказал он наконец с нетерпением.

— Сейчас, сейчас! Два рубля сорок три копейки! Сию минуту! Рубль шестьдесят четыре копейки! — говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза. — Вам что угодно? — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.

— Я прошу... — сказал Ковалев, — случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение.

— Позвольте узнать, как ваша фамилия?

— Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых: Чехтарева, статская советница, Палагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша... Вдруг узнают. Боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежский асессор, или, еще лучше, состоящий в майорском чине.

— А сбежавший был ваш дворовый человек?

— Какое дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество! Сбежал от меня... нос...

— Гм! какая странная фамилия! И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?

— Нос то есть... вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною!

— Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.

— Да я не могу вам сказать, каким образом; но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите, в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую я в сапог — и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой;

Подточина Палагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые, и вы посудите сами, как же мне теперь... Мне теперь к ним нельзя явиться.

Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы.

— Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах, — сказал он наконец после долгого молчания.

— Как? отчего?

— Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то... И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов.

— Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого.

— Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку, денег по расчету пришлось два рубля семьдесят три копейки, и все объЯвление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения.

— Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе: стало быть, почти то же, что о самом себе.

— Нет, такого объявления я никак не могу поместить.

— Да когда у меня точно пропал нос!

— Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.

— Клянусь вам, вот как Бог свят! Пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.

— Зачем беспокоиться! — продолжал чиновник, нюхая табак. — Впрочем, если не в беспокойство, — прибавил он с движением любопытства, — то желательно бы взглянуть.

Коллежский асессор отнял от лица платок.

— В самом деле, чрезвычайно странно! — сказал чиновник, — место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное!

— Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен; и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться...

Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличать.

— Напечатать-то, конечно, дело небольшое, — сказал чиновник, — только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной Пчеле» (тут он понюхал еще раз табаку) для пользы юношества (тут он утер нос) или так, для общего любопытства.

Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза в низ газеты, где было извещение о спектаклях; уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карман: есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах, — но мысль о носе все испортила!

Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах:

— Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? это разбивает головные боли и печальные расположения; даже в отношении к геморроидам это хорошо.

Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко повернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпке.

Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.

— Я не понимаю, как вы находите место шуткам, — сказал он с сердцем, — разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать? Чтоб черт побрал ваш табак! Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе.

Сказавши это, он вышел, глубоко раздосадованный, из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же

и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты; шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную треугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его; и он после боевой, бранной жизни готовился вкусить удовольствия мира.

Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя; и не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь, — обыкновенно говорил он, — уж нет ничего лучше этой вещи: есть не просит, места займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется».

Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть (из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов), что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам.

То есть не в бровь, а прямо в глаз! Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб-офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить...» — и вышел.

Он приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальною или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего

Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его; он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!»

Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ.

Вошедший в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресла и наконец после нескольких вздохов сказал:

— Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастие? Будь я без руки или без ноги — все бы это лучше; будь я без ушей — скверно, однако ж все сноснее; но без носа человек — черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин, — просто возьми да и вышвырни за окошко! И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиною; но ведь пропал ни за что ни про что, пропал даром, ни за грош!.. Только нет, не может быть, — прибавил он, немного подумав. — Невероятно, чтобы нос пропал; никаким образом невероятно. Это, верно, или во сне снится, или просто грезится; может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которою вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее.

Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с тою мыслию, что авось-либо нос покажется на своем месте; но в ту же минуту отскочил назад, сказавши:

— Экой пасквильный вид!

Это было, точно, непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное; но пропасть, и кому же пропасть? и притом еще на собственной квартире!.. Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть не кто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил с своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже

ровно было сорок два года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок-баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан: никто не входил к нему в комнату; цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел — это он помнил и знал очень хорошо; притом была бы им чувствуема боль, и, без сомнения, рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы: звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее. Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидя у барина такую странность.

Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший:

— Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?

— Войдите. Майор Ковалев здесь, — сказал Ковалев, вскочивши поспешно и отворяя дверь.

Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исакиевского моста.

— Вы изволили затерять нос свой?

— Так точно.

— Он теперь найден.

— Что вы говорите? — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба на стоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи. — Каким образом?

— Странным случаем: его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастию, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук,

и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит.

Ковалев был вне себя.

— Где же он? Где? Я сейчас побегу.

— Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был.

При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос.

— Так, он! — закричал Ковалев. — Точно, он! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю.

— Почел бы за большую приятность, но никак не могу: мне нужно заехать отсюда в смирительный дом... Очень большая поднялась дороговизна на все припасы... У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети; старший особенно подает большие надежды: очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких...

Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь, и в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего с своею телегою как раз на бульвар.

Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать: в такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.

— Так, он, точно он! — говорил майор Ковалев. — Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня.

Майор чуть не засмеялся от радости.

Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первою уже не так жива; в третью минуту она становится еще слабее и наконец незаметно сливается

с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено: нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место.

— А что, если он не пристанет?

При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел.

С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О ужас! Нос не приклеивался!.. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек; но нос никаким образом не держался.

— Ну! ну же! полезай, дурак! — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось. — Неужели он не прирастет? — говорил он в испуге. Но сколько раз ни подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно.

Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в бельэтаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую, здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивши, как давно случилось несчастие, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такою силою, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: «Гм!» Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал: «Гм!» — и в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому

смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал:

— Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно; я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его; но я вас уверяю, что это для вас хуже.

— Вот хорошо! как же мне оставаться без носа? — сказал Ковалев. — Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что! Куда же я с этакою пасквильностию покажуся? Я имею хорошее знакомство; вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком: статская советница Чехтарева, Подточина — штаб-офицерша... хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только чрез полицию. Сделайте милость, — произнес Ковалев умоляющим голосом, — нет ли средства? как-нибудь приставьте; хоть не хорошо, лишь бы только держался; я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства...

— Верите ли, — сказал доктор ни громким, ни тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим, — что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос; но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодною водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом или, еще лучше, влить туда две столовые ложки острой водки и подогретого уксуса, — и тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь.

— Нет, нет! ни за что не продам! — вскричал отчаянный майор Ковалев, — лучше пусть он пропадет!

— Извините! — сказал доктор, откланиваясь, — я хотел быть вам полезным... Что ж делать! По крайней мере, вы видели мое старание.

Сказавши это, доктор с благородною осанкою вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки.

Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания:

«Милостивая государыня
Александра Григорьевна!

Не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а не кто другой. Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствие волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я с своей стороны почитаю долгом вас предуведомить: если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов.

Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть.

Ваш покорный слуга Платон Ковалев».

«Милостивый государь
Платон Кузьмич!

Чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потачников. И хотя он, точно, искал руки моей дочери, будучи сам хорошего, трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ, то меня удивляет, что вы сами об этом

говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения, и если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовою к услугам вашим

Александра Подточина».

«Нет, — говорил Ковалев, прочитавший письмо. — Она точно не виновата. Не может быть! Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении. — Коллежский асессор был в этом сведущ потому, что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области. — Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это!» — сказал он наконец, опустив руки.

Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице, и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали публику опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера — и возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор почтенной наружности, с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за восемьдесят копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу; но, к большому негодованию своему, увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок, и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшою бородкою, — картинку, уже более десяти лет висящую все на одном месте. Отошед, он сказал с досадою: «Как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ?»

Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там; что когда еще проживал там Хозрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов Хирургической академии отправились туда. Одна знатная, почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей.

Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во всё, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим... но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.

III

Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шуму в городе, очутился как ни в чем не бывало вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля седьмого числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он: нос! — хвать рукою — точно нос! «Эге!» — сказал Ковалев и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тот же час дать себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало: нос! Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало: нос!

— А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик, — сказал он и между тем думал: «Вот беда, как Иван скажет: да нет, сударь, не только прыщика, и самого носа нет!»

Но Иван сказал:

— Ничего-с, никакого прыщика: нос чистый!

«Хорошо, черт побери!» — сказал сам себе майор и щелкнул пальцами. В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала.

— Говори вперед: чисты руки? — кричал еще издали ему Ковалев.

— Чисты.

— Врешь!

— Ей-Богу-с, чисты, сударь.

— Ну, смотри же.

Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно мгновенье с помощью кисточки превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческих именинах.

«Вишь ты! — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувши на нос, и потом перегнул голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку. — Вона! эк его, право, как подумаешь», — продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца, с тем чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича.

— Ну, ну, ну, смотри! — закричал Ковалев.

Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою; и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без придержки за нюхательную часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил.

Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку шоколаду!» — а сам в ту же минуту к зеркалу: есть нос! Он весело оборотился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал об вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя чрез приемную, он

взглянул в зеркало: есть нос! Потом поехал он к другому коллежскому асессору, или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: «Ну, уж ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Дорогою он подумал: «Если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что ни есть, сидит на своем месте». Но коллежский асессор ничего. «Хорошо, хорошо, черт побери!» — подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаньями: стало быть, ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: «Вот, мол, вам, бабьё, куриный народ! а на дочке все-таки не женюсь. Так просто, par amour, — изволь!» И майор Ковалев с тех пор прогуливался как ни в чем не бывало и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже как ни в чем не бывало сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в Гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена.

Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появленье его в разных местах в виде статского советника, — как Ковалев не смекнул, что нельзя чрез газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо! И опять тоже — как нос очутился в печеном хлебе и как сам Иван Яковлевич?.. нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю! Но что страннее, что непонятнее всего, — это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой;

во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это...

А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают.

Портрет

Часть I

Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека, — вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарованье русского человека. На одном была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей — куча. Какой-нибудь забулдыга лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже, верно, стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка-охтенка с коробкою, наполненною башмаками. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают серьезно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит.

В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренне смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец овладело им невольное размышление: он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на Ерусланов Лазаревичей, на объедал и обпивал, на Фому и Ерему, это не казалось ему удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но где покупатели этих пестрых, грязных масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей бесчувственной карикатурности целого, вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесл, бездарность, которая была верна, однако ж, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку!.. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже наконец не думая вовсе о них, а между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели, с бородой, не бритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно.

— Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая! Просто глаз прошибет; только что получены с биржи; еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей! Одна рамка чего стоит. Вон она какая зима! — Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно чтобы показать всю доброту зимы. — Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку.

— Постой, брат, не так скоро, — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал:

— А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь, — и, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко, истертые, запыленные старые малеванья, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, — словом, всякий ветхий сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «Авось что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров.

Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку: «Сюда, батюшка, вот картины! зайдите, зайдите; с биржи получены». Уже накричался он вдоволь и большею частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и, наконец вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты.

Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движенья и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда

поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит», — и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.

— А что ж, возьмите портрет! — сказал хозяин.

— А сколько? — сказал художник.

— Да что за него дорожиться? три четвертачка давайте!

— Нет.

— Ну, да что ж дадите?

— Двугривенный, — сказал художник, готовясь идти.

— Эк цену какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин, господин, воротитесь! гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только, вот только что первый покупатель.

Засим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть, пропадай картина!»

Таким образом Чартков совершенно неожиданно купил старый портрет и в то же время подумал: «Зачем я его купил? на что он мне?» Но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились; досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Черт побери! гадко на свете!» — сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба; еще домы, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между тем уже холодное синеватое сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: «Какой легкий тон!» — и слова: «Досадно, черт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг.

Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в Пятнадцатую линию на Васильевский остров. С трудом и с отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа: человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались наконец позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и вымогателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе не заметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта. Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожею, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он наконец спросил свечу.

— Свечи нет, — сказал Никита.

— Как нет?

— Да ведь и вчера еще не было, — сказал Никита.

Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепко и сильно заношенный халат.

— Да вот еще, хозяин был, — сказал Никита.

— Ну, приходил за деньгами? знаю, — сказал художник, махнув рукой.

— Да он не один приходил, — сказал Никита.

— С кем же?

— Не знаю, с кем... какой-то квартальный.

— А квартальный зачем?

— Не знаю зачем; говорит, затем, что за квартиру не плачено.

— Ну, что ж из того выйдет?

— Я не знаю, что выйдет; он говорил: коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры; хотели завтра еще прийти оба.

— Пусть их приходят, — сказал с грустным равнодушием Чартков. И ненастное расположение духа овладело им вполне.

Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим многое; вспышками и мгновениями его кисть отзывалась наблюдательностию, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат, — говорил ему не раз его профессор, — у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится — ты им занят, а прочее у тебя дрянь, прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна; ты уж гоняешься за модным освещеньем, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский род. Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском... Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство — пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет».

Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось, точно, нашему художнику кутнуть, щегольнуть — словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел

пред ним; но он уже прозревал в них кое-что, хотя внутренне не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосягаемо ушли от нас; ему казалось даже, что девятнадцатый век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе; словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда наконец сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображенье участь богача-живописца; тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове: бросить все и закутить с горя назло всему. И теперь он почти был в таком положении.

— Да! терпи, терпи! — произнес он с досадою. — Есть же наконец и терпенью конец. Терпи! а на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все двугривенный дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую: каждая из них предпринята недаром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? этюды, попытки — и всё будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени? да и кому нужны рисунки с антиков из натурного класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца? Что, в самом деле? Зачем я мучусь и, как ученик, копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами.

Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел: на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах написано было

грозное повеленье молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпенье; но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе: все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он наконец вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами!» Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и все еще почитал его неоконченным и который, по словам Вазари, был, однако же, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники; даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, в сем, ныне бывшем пред ним, портрете было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это? — невольно вопрошал себя художник. — Ведь это, однако же, натура, это живая натура; отчего же это странно-неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его

внутренность и видишь отвратительного человека? Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим, он так же был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Все равно как вид в природе: как он ни великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца».

Он опять подошел к портрету, с тем чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, только ему сделалось вдруг, неизвестно отчего, страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно, сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив; но воображенье и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он наконец робко, не подымая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширму и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего.

Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сиянье месяца

усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но наконец уже в самом деле… он видит, видит ясно: простыни уже нет… портрет открыт весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, глядит просто к нему вовнутрь… У него захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам… Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который наконец становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул, точно, за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чартков силился вскрикнуть — и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движенье — не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем смотрел он на этот страшный фантом высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе, и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено: «1000 червонных». Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других, у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и, полный страха, смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги

вновь приближаются к ширмам, — видно, старик вспомнил, что недоставало одного свертка. И вот — он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул — и проснулся.

Холодный пот облил его всего; сердце его билось так сильно, как только можно было биться; грудь была так стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее дыханье. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши себя обеими руками за голову, но страшная живость явленья не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищеные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постеле, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда — уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он: это уже не сон: черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать... С воплем отчаянья отскочил он — и проснулся.

«Неужели и это был сон?» С биющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постеле в таком точно положенье, как заснул. Пред ним ширмы; свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах — виден был портрет, закрытый как следует простынею, — так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это!» — вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся.

И это был также сон! Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара как домового, бред ли горячки или живое виденье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волненье и расколыхнувшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо: изредка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул как убитый, самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара; голова его неприятно болела. В комнате было тускло; неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил наконец весь свой сон. По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображенье так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это виденье. Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза, точно, поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них необыкновенно страшного; только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он все-таки не мог совершенно увериться, что это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выражении старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь; рука его чувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред сим ее выхватил у него. Ему казалось, что, если бы он держал

покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения.

«Боже мой, если бы хотя часть этих денег!» — сказал он, тяжело вздохнувши, и в воображенье его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью: «1000 червонных». Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянье оторваться от такого предмета, — как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого поЯвление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чартков, был одно из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в Пятнадцатой линии Васильевского острова, на Петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны, — творенье, каких много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп; но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил по комнате, поправлял сальный огарок; аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами; выходил на улицу с ключом в руке, для того чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать; одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки.

— Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич, — сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки, — вот не платит за квартиру, не платит.

— Что ж, если нет денег? Подождите, я заплачу.

— Мне, батюшка, ждать нельзя, — сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке, — у меня вот

Потогонкин подполковник живет, семь лет уж живет; Анна Петровна Бухмистерова и сарай и конюшню нанимает на два стойла, три при ней дворовых человека, — вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведенья, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон.

— Да, уж если порядились, так извольте платить, — сказал квартальный надзиратель, с небольшим потряхиваньем головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.

— Да чем платить? — вопрос. У меня нет теперь ни гроша.

— В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича издельями своей профессии, — сказал квартальный, — он, может быть, согласится взять картинами.

— Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить, хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет, а то вон мужика нарисовал, мужика в рубахе, слухи-то, что трет краски. Еще с него, свиньи, портрет рисовать; ему я шею наколочу: он у меня все гвозди из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы: вот комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее, со всем сором и дрязгом, какой ни валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, изволите сами видеть. Да у меня по семи лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна... Нет, я вам скажу: нет хуже жильца, как живописец: свинья свиньей живет, просто не приведи Бог.

И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриваньем картин и этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлениям.

— Хе, — сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина, — предмет, того... игривый. А у этого зачем так под носом черно? табаком, что ли, он себе засыпал?

— Тень, — отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чартков.

— Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место, — сказал квартальный, —

а это чей портрет? — продолжал он, подходя к портрету старика, — уж страшен слишком. Будто он в самом деле был такой страшный; ахти, да он просто глядит! Эх, какой Громобой! С кого вы писали?

— А это с одного… — сказал Чартков и не кончил слова: послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих; боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Чарткову бросилась в глаза надпись: «1000 червонных». Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившейся вниз от тяжести.

— Никак, деньги зазвенели, — сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его-за быстротой движенья, с какою бросился Чартков прибрать.

— А вам какое дело знать, что у меня есть?

— А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру; что у вас есть деньги, да вы не хотите платить, — вот что.

— Ну, я заплачу ему сегодня.

— Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде, да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите?

— Потому что этих денег мне не хотелось трогать; я ему сегодня же ввечеру все заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина.

— Ну, Иван Иванович, он вам заплатит, — сказал квартальный, обращаясь к хозяину. — А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня ввечеру, тогда уж извините, господин живописец.

Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени, а за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумье.

— Слава Богу, черт их унес! — сказал Чартков, когда услышал затворившуюся в передней дверь.

Он выглянул в переднюю, услал за чем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетаньем разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые,

жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотою кучею, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это. В свертке было ровно их тысяча; наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал, и все еще не мог прийти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так: «Не придумал ли и теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета?» Полный романического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою: не связано ли существованье портрета с его собственным существованьем, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение? Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желоб, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз; они уже не казались ему страшными, но все еще в душе оставалось всякий раз невольно неприятное чувство. «Нет, — сказал он сам в себе, — чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновенья. «Что с ними сделать? — думал он, уставив на них глаза. — Теперь я обеспечен, по крайней мере, на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не станет; куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть славным художником».

Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком; но извнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем двадцать два года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что

он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в... и прочее, — и он, схвативши деньги, был уже на улице.

Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы и, как ребенок, стал обсматривать себя беспрестанно; накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, с зеркалами и цельными стеклами; купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно накупил тоже бездну всяких галстуков, более, нежели было нужно, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины, объелся без меры конфектов в кондитерской и зашел к ресторану-французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо его, как будто бы не заметив его вовсе, так что остолбеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем.

Все вещи и все, что ни было: станок, холст, картины — были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил то, что было получше, на видные места, что похуже — забросил в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: «Чартков, Чартков! видали вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова!» Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате, уносился невесть куда. На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; был принят радушно

журналистом, назвавшим его тот же час «почтеннейший», пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием: «О необыкновенных талантах Чарткова»: «Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиогномий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст, для передачи потомству; теперь недостаток этот пополнен: отыскался художник, соединяющий в себе что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж — всякий с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гулянья, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин, спешите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника (Невский проспект, такой-то номер) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться: верности ли и сходству с оригиналами или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник! вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович (журналист, как видно, любил фамильярность)! Прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою».

С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нем заговорили печатно — это было для него новостию; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза «Виват, Андрей Петрович!» также очень понравилась; печатным образом называют его по имени и по отчеству — честь, доныне ему совершенно неизвестная. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса, то садился на кресла, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет

принимать посетителей и посетительниц, подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался колокольчик у дверей его; он побежал отворять. Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая восемнадцатилетняя девочка, дочь ее.

— Вы мсьё Чартков? — сказала дама.

Художник поклонился.

— Об вас столько пишут; ваши портреты, говорят, верх совершенства. — Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. — А где же ваши портреты?

— Вынесли, — сказал художник, несколько смешавшись, — я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге... не доехали.

— Вы были в Италии? — сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навесть его.

— Нет, я не был, но хотел быть... впрочем, теперь покамест я отложил... Вот кресла-с, вы устали?..

— Благодарю, я сидела долго в карете. А, вон наконец вижу вашу работу! — сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет на стоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. — C'est charmant! Lise, Lise, venez ici! Комната во вкусе Теньера, видишь: беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра; вон пыль, — видишь, как пыль нарисована! C'est charmant! А вот на другом холсте женщина, моющая лицо, — quelle jolie figure! Ах, мужичок! Lise, Lise, мужичок в русской рубашке! смотри: мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами?

— О, это вздор... Так, шалил... этюды...

— Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той... как жаль, что я не могу вам выразить по-русски (дама была любительница живописи и оббегала с лорнетом все галереи в Италии). Однако мсьё Ноль... ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсьё Ноля?

— Кто этот Ноль? — спросил художник.

— Мсьё Ноль. Ах, какой талант! он написал с нее портрет, когда ей было только двенадцать лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Lise, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет.

— Как же, я готов сию минуту.

И в одно мгновенье придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желанья побегать в новом платье на гуляньях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых моделей, с строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет это легонькое личико.

— Знаете ли, — сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица, — я бы хотела... на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли; я бы хотела, чтоб она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща... чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств... простоты, простоты чтобы было больше.

Увы! на лицах и матушки и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми.

Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько все это в голове; провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали — и в один час начал и кончил подмалевку.

Довольный ею, он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл все, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии, одним движеньем кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который наконец начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.

— Довольно, на первый раз довольно, — сказала дама.

— Еще немножко, — говорил позабывшийся художник.

— Нет, пора! Lise, три часа! — сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула: — Ах, как поздно!

— Минуточку только, — говорил Чартков простодушным и просящим голосом ребенка.

Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долее.

«Это, однако ж, досадно, — подумал про себя Чартков, — рука только что расходилась». И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове; Никита, бывало, сидел не ворохнувшись на одном месте — пиши с него сколько угодно; он даже засыпал в заказанном ему положении. И, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно пред холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их; на лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующей неделе обедать и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком, в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату; он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное; он был упоен совершенно и наградил себя за это славным

обедом, вечерним спектаклем и опять проехался в карете по городу без всякой нужды.

Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с своею бледненькою дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери. «Ах, зачем это? это не нужно, — говорила дама. — У вас тоже... вот, в некоторых местах... как будто бы несколько желто и вот здесь совершенно как темные пятнышки». Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются; и что это ему только так кажется. «Но позвольте здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской», — сказал простодушно художник. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко не расположена, а что желтизны в ней никакой не бывает и лицо поражает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на ученических программах.

Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивленье, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и чрез то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжение нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумленья и всплеснули руками.

— Lise, Lise! Ах, как похоже! Superbe, superbe! Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм. Ах, какой сюрприз!

Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совестясь и потупя голову, он произнес тихо:

— Это Психея.

— В виде Психеи? C'est charmant! — сказала мать, улыбнувшись, причем улыбнулась также и дочь. — Не правда ли, Lise, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи?

Quelle idee delicieuse! Но какая работа! Это Корреджь. Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет.

Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь Психеи.

«Что мне с ними делать? — подумал художник. — Если они сами того хотят, так пусть Психея пойдет за то, что им хочется», — и произнес вслух:

— Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону.

— Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не... она так теперь похожа.

Но художник понял, что опасенья были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выраженья глазам. А по справедливости, ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходства с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно, черты бледной девушки стали наконец выходить яснее из облика Психеи.

— Довольно! — сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось наконец уже чересчур близко.

Художник был награжден всем: улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатьем руки, приглашеньем на обеды; словом, получил тысячу лестных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам; все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется, не без легкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множеством лиц. Но, на беду, это всё был народ, с которым было трудно ладить, народ торопливый, занятой или же принадлежащий свету, — стало быть, еще более занятой, нежели всякий другой, и потому нетерпеливый до крайности. Со всех сторон только требовали, чтоб было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой

бойкостью кисти. Схватывать одно только целое, одно общее выраженье и не углубляться кистью в утонченные подробности; одним словом, следить природу в ее окончательности было решительно невозможно. Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изображались в портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъянцы и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться. И вследствие этого, садясь писаться, они принимали иногда такие выражения, которые приводили в изумленье художника: та старалась изобразить в лице своем меланхолию, другая мечтательность, третья во что бы ни стало хотела уменьшить рот и сжимала его до такой степени, что он обращался наконец в одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря на все это, требовали от него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном, энергическом повороте головы; другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс; гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: «Всегда стоял за правду». Сначала художника бросали в пот такие требованья: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух, трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положенье и поворот. Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на всё и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собою разумеется, были в восторге и провозглашали его гением.

Чартков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддержать его званье, что художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на дам; одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачужке на Васильевском острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко: утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль даже писал не все хорошо и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава; что Микель-Анжел хвастун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут натурально, невольным образом доходило дело и до себя.

— Нет, я не понимаю, — говорил он, — напряженья других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне, труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. Вот у меня, — говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям, — этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час с небольшим. Нет, я… я, признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой; это уж ремесло, а не художество.

Так рассказывал он своим посетителям, и посетители дивились силе и бойкости его кисти, издавали даже восклицания,

услышав, как быстро они производились, и потом пересказывали друг другу: «Это талант, истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure!»

Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался, как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги. Он разносил такой печатный лист везде и, будто бы ненарочно, показывал его знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положенье и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал и, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он все-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать. Это было ему невмочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть роль светского человека, — все это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских не много представляли поля для кисти: она позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения, и страсти. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир, да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они всё еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие Чарткова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале, и напрасно старались разгадать, каким образом может угаснуть дарованье в человеке, тогда как он только что достигнул еще полного развития всех сил своих.

Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры степенности ума и лет; стал толстеть и видимо раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он прилагательные: «почтенный наш Андрей Петрович», «заслуженный наш Андрей Петрович». Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников, — не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал, по обычаю всех, вступающих в такие лета, укорять без изъятья молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начинал он верить, что все на свете делается просто, вдохновенья свыше нет и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразья. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда все дышащее порывом сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновенье красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательней в его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может дать наслажденья тому, кто украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем и уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, которых много попадается в нашем бесчувственном свете, на которых с ужасом глядит исполненный жизни и сердца человек, которому кажутся они движущимися каменными гробами с мертвецом внутри наместо сердца. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав.

В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом, присланном из Италии,

произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душою своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств, — в тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в труд и в не развлекаемые ничем занятия. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника своим скудным, нещегольским нарядом. Ему не было нужды, сердилась ли или нет на него его братья. Всем пренебрегал он, все отдал искусству. Неутомимо посещал галереи, по целым часам застаивался перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с сими великими учителями и чтобы не прочесть в их созданьях безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры; он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нем прекрасно, и наконец оставил себе в учители одного божественного Рафаэля. Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот, оставлял наконец себе настольною книгой одну только «Илиаду» Гомера, открыв, что в ней все есть, чего хочешь, и что нет ничего, что бы не отразилось уже здесь в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши в залу, Чартков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиогномию знатока и приблизился к картине; но, Боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло пред ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно

и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Все тут, казалось, соединилось вместе: изученье Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Корреджия, дышавшее в окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста. Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объяты все, вперившие глаза на картину, — ни шелеста, ни звука; а картина между тем ежеминутно казалась выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась наконец в один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли, миг, к которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чартков перед картиною, и наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения и когда наконец обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников, вроде следующего: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника; есть кое-что; видно, что хотел он выразить что-то; однако же, что касается до главного...» И вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать,

но речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из залы.

С минуту, неподвижный и бесчувственный, стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже! и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности; истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть, развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить все это, погубить без всякой жалости! Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице; весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Но увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. Досада его проникла. Он велел вынесть прочь из своей мастерской все последние произведенья, все безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик, сидел он за своим трудом. Но как беспощадно-неблагодарно было все то, что выходило из-под его кисти! На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял непрескочимым порогом для воображения. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам!

«Но точно ли был у меня талант? — сказал он наконец, — не обманулся ли я?» И, произнесши эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной лачужке на уединенном Васильевском острову, вдали людей, изобилья и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все, и вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его. «Да, — проговорил он отчаянно, — у меня был талант. Везде, на всем видны его признаки и следы...»

Он остановился и вдруг затрясся всем телом: глаза его встретились с неподвижно вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Все время он был закрыт, загроможден другими картинами и вовсе вышел у него из мыслей. Теперь же, как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул наверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращенья, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побужденья, погубившие его талант, — почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту же минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волненье оттого не умирилось: все чувства и весь состав были потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая, как поразительное исключение, является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться; ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду; ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска. В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра

на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслажденья. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него: вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворялся тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин. Кроме ядовитого слова и вечного порицанья, ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпии, попадался он на улице, и все его даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, что она достаточна отравить потом весь день.

К счастию мира и искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и наконец все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладела им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользовать и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему

привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств; но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

Часть II

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпой посетителей, налетевших, как хищные птицы на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из Гостиного двора и даже толкучего рынка, в синих немецких сюртуках. Вид их и выраженье лиц были здесь как-то тверже, вольнее и не означались той приторной услужливостью, которая так видна в русском купце, когда он у себя в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились, несмотря на то что в этой же зале находилось множество тех аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанёсенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1 часа; наконец, те благородные

господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно, чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется. Множество картин было разбросано совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели, и книги с вензелями прежнего владетеля, может быть, не имевшего вовсе похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты — все было навалено, и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона страшно: в нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах, и погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь искусствам. Все это, кажется, усиливает еще более странную неприятность впечатленья.

Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотала о чем-то наперерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова: «Рубль, рубль, рубль», — не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших сколько-нибудь понятия в живописи. Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно. Портрет, по-видимому, уже несколько раз был ресторирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиатца в широком платье, с необыкновенным, странным выраженьем в лице; но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли вниманье почти всех. Много уже из состязавшихся о нем отступились, потому что цену набили неимоверную. Остались только два известные аристократа, любители живописи, не хотевшие ни за что отказаться от такого

приобретенья. Они горячились и набили бы, вероятно, цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес:

— Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более, нежели всякий другой, имею право на этот портрет.

Слова эти вмиг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек, лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду: все показывало в нем артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших.

— Как ни странны вам покажутся слова мои, — продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание, — но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их. Всё меня уверяют, что портрет есть тот самый, которого я ищу.

Весьма естественное любопытство загорелось почти на лицах всех, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика, по мере того как рассказ его становился занимательней.

— Вам известна та часть города, которую называют Коломною. — Так он начал. — Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на пять копеек кофию да на четыре сахару, и, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, — людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури,

ни солнца, а бывает просто ни се ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их не много добра; иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за двенадцать часов ночи.

Жизнь в Коломне страх уединенна: редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звóном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут всё пешеходы; извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц, даже с кофием поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии; они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслажденья. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеют из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты, и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединеньем коекогда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют; старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи — таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина мосту до толкучего рынка, с тем чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный осадок

человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние.

Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам; и тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственней всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано умирает в душах их всякое чувство человечества. Между такими ростовщиками был один... но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной Государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться. Итак, между ростовщиками был один — существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно в сей части города. Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависнувшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение, вроде тех, которых когда-то настроили вдоволь генуэзские купцы, — с неправильными, неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какою угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. Пред домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон которых иногда глядела голова роскошной светской дамы. Молва, по обыкновению, разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти,

какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей; но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так, по крайней мере, говорила молва. Но что страннее всего и что не могло не поразить многих — это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или с умыслом распущенные слухи — это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны.

Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии, отличившийся уже в молодых летах на государственном поприще, жаркий почитатель всего истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, пророчивший в себе мецената. Скоро он был достойно отличен самой Государыней, вверившей ему значительное место, совершенно согласное с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотелось всему дать работу, все поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучи денег и наконец расстроился. Но, полный великодушного движенья, он не хотел отстать от своего дела, искал везде занять и наконец обратился к известному ростовщику. Сделавши значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно: стал гонителем, преследователем развивающегося ума и таланта. Во всех сочинениях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда, на беду, случилась французская революция. Это послужило ему вдруг орудием для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление, во всем ему чудились намеки. Он сделался подозрительным до такой степени, что начал наконец подозревать самого себя, стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разумеется, что такие поступки не могли не достигнуть наконец престола. Великодушная Государыня ужаснулась и, полная благородства

души, украшающего венценосцев, произнесла слова, которые хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлелся в сердцах многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие, благородные движенья души, не там презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителями; что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта; что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волненье и ропот; что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне: ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом, Государыня, произнесшая сии слова, была в эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие. К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды — все соединилось вместе, и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь.

Другой разительный пример произошел тоже в виду всех: из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слиянье нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, какой попадается на свете редко. Отец мой признавался, что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Все, казалось, в ней соединилось: богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р., благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший и лицом, и рыцарскими,

великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, Грандисон во всех отношениях. Князь Р. был влюблен страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровною. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале, и плохое положенье дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и спустя непродолжительное время является окруженный пышностью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным, и в городе разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха, этого не мог наверно изъяснить никто; но поговаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал у него заем. Как бы то ни было, но свадьба заняла весь город. И жених и невеста были предметом общей зависти. Всем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томленья, претерпенные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блаженство, которым будут наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился дотоле благородный и прекрасный характер. Он стал тираном и мучителем жены своей и, чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорных поклонников. Наконец, не в силах будучи выносить долее тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движенье неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и, без сомнения, заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали. В порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя — и в ужаснейших муках окончил жизнь.

Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный, трезвый человек делался пьяницей; там купеческий приказчик

обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род какого-то невольного ужаса на скромных обитателей Коломны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волоса и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому; что деньги его имеют прожигающее свойство, раскаляются сами собою и носят какие-то странные знаки... словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что все это коломенское население, весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику; находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу. Встречаясь с ним на улице, невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдали его непомерную высокую фигуру. В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не случается у человека; этот горячий бронзовый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды — все, казалось, как будто говорило, что пред страстями, двигавшимися в этом теле, были бледны все страсти других людей. Отец мой всякий раз останавливался неподвижно, когда встречал его, и всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести: «Дьявол, совершенный дьявол!» Но надобно вас поскорее познакомить с моим отцом, который, между прочим, есть настоящий сюжет этой истории.

Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованья и шедший, по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою; одно из тех

самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом «невежи» и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы, и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титло невежи. Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете; постигнул сам собой истинное значение слова «историческая живопись»; постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью и почему огромная картина исторического содержания все-таки будет tableau de genre, несмотря на все притязанья художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько черствой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно и резко. «Что на них глядеть, — обыкновенно говорил он, — ведь я не для них работаю. Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь. Кто поймет меня — поблагодарит, не поймет — все-таки помолится Богу. Светского человека нечего винить, что он не смыслит живописи; зато он смыслит в картах, знает толк в хорошем вине, в лошадях, — зачем знать больше барину? Еще, пожалуй, как попробует того да другого да пойдет умничать, тогда и житья от него не будет! Всякому свое, всякий пусть занимается своим. По мне, уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит». Он работал за небольшую плату, то есть за плату, которая была нужна ему только для поддержанья семейства и для доставленья возможности трудиться. Кроме того, он ни в каком случае не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художнику; веровал простой, благочестивой верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты. Наконец постоянством своего труда и неуклонностью начертанного себе пути он стал

даже приобретать уважение со стороны тех, которые честили его невежей и доморощенным самоучкой. Ему давали беспрестанно заказы в церкви, и работа у него не переводилась. Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее, знаю только то — на картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ; ему хотелось осуществить в лице его все тяжелое, гнетущее человека. При таких размышлениях иногда проносился в голове его образ таинственного ростовщика, и он думал невольно: «Вот бы с кого мне следовало написать дьявола». Судите же об его изумлении, когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь, и вслед за тем прямо вошел к нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробежала невольно по его телу.

— Ты художник? — сказал он без всяких церемоний моему отцу.

— Художник, — сказал отец в недоуменье, ожидая, что будет далее.

— Хорошо. Нарисуй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно как живой?

Отец мой подумал: «Чего лучше? — он сам просится в дьяволы ко мне на картину». Дал слово. Они уговорились во времени и цене, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери и затворы, дугообразные окна, сундуки, покрытые старинными коврами, и, наконец, сам необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним, — все это произвело на него странное впечатление. Окна, как нарочно, были заставлены и загромождены снизу так, что давали свет только с одной верхушки. «Черт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо!» — сказал он про себя и принялся жадно писать, как бы опасаясь, чтобы как-нибудь не исчезло счастливое освещенье. «Экая сила! — повторил он про себя. — Если я хотя вполовину изображу его так, как он есть теперь, он убьет всех моих святых и ангелов; они побледнеют пред ним. Какая дьявольская сила! он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду верен

натуре. Какие необыкновенные черты!» — повторял он беспрестанно, усугубляя рвенье, и уже видел сам, как стали переходить на полотно некоторые черты. Но чем более он приближался к ним, тем более чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себе самому. Однако же, несмотря на то, он положил себе преследовать с буквальною точностью всякую незаметную черту и выраженье. Прежде всего занялся он отделкою глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать их точно, как были в натуре. Однако же во что бы то ни стало он решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну... Но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращенье, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую. На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надобно было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик. Он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от сего зависит судьба его и существование в мире, что уже он тронул своею кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете, что он чрез то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов: они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти и палитру и бросился опрометью вон из комнаты.

Мысль о том тревожила его весь день и всю ночь, а поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившая тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад. Ввечеру того же дни узнал он, что ростовщик умер и что собираются уже хоронить его по обрядам его религии. Все это казалось ему неизъяснимо странно. А между тем с этого времени оказалась в характере его ощутительная перемена: он чувствовал неспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины, и скоро

произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать. С некоторого времени труды одного из учеников его начали привлекать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой всегда видел в нем талант и оказывал ему зато свое особенное расположение. Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы. Наконец, к довершенью досады, узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. «Нет, не дам же молокососу восторжествовать! — говорил он. — Рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь! Еще, слава Богу, есть у меня силы. Вот мы увидим, кто кого скорее посадит в грязь». И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми дотоле всегда гнушался; добился наконец того, что на картину объявлен был конкурс и другие художники могли войти также с своими работами. После чего заперся он в свою комнату и с жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь, духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. «В картине художника, точно, есть много таланта, — сказал он, — но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски-сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был, к неописанной своей досаде, услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в камине, намереваясь изрезать его в куски и сжечь. На этом движенье застал его вошедший

в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак, всегда довольный собой, не заносившийся никакими отдаленными желаньями, работавший весело все, что попадалось, и еще веселей того принимавшийся за обед и пирушку.

— Что ты делаешь, что собираешься жечь? — сказал он и подошел к портрету. — Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. Это ростовщик, который недавно умер; да это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя.

— А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне, — сказал отец, сделавши движенье швырнуть его в камин.

— Остановись, ради Бога! — сказал приятель, удержав его, — отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаз.

Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою.

По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемене своего характера. Рассмотревши поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес:

— Нет, это Бог наказал меня; картина моя поделом понесла посрамленье. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться в ней.

Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощенья и старался сколько мог загладить пред ним вину свою. Работы его вновь потекли попрежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях; самая грубая наружность его характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Уже собирался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон он сказал:

— Ну, брат, недаром ты хотел сжечь портрет. Черт его побери, в нем есть что-то странное... Я ведьмам не верю, но, воля твоя: в нем сидит нечистая сила...

— Как? — сказал отец мой.

— А так, что с тех пор как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую... точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие... я и сам не умею сказать, сны ли это или что другое: точно домовой тебя душит, и все мерещится проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни: чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова; точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор, как отдал портрет племяннику, который напросился на него, почувствовал, что с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч: вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. Ну, брат, состряпал ты черта!

Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и наконец спросил:

— И портрет теперь у твоего племянника?

— Куда у племянника! не выдержал, — сказал весельчак, — знать, душа самого ростовщика переселилась в него: он выскакивает из рам, расхаживает по комнате; и то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и тоже кому-то сбыл с рук.

Этот рассказ произвел сильное впечатление на моего отца. Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и наконец совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника с пути, порождая страшные терзанья зависти, и проч., и проч. Три случившиеся вслед за тем несчастия, три внезапные смерти — жены, дочери и малолетнего сына — почел он небесною казнью себе и решился непременно

оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств и, расплатясь с своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил он изумил всю братью. Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти, требовал от него написать главный образ в церковь. Но смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконец уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Он удалился с благословенья настоятеля в пустынь, чтоб быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы. Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпенья и того непостижимого самоотверженья, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых. Таким образом долго, в продолжение нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительною силою молитвы. Наконец в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю: «Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд». Предмет, взятый им, было Рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было, точно, чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смиренья и кротости в лице Пречистой Матери, склонившейся над Младенцем, глубокий разум в очах Божественного Младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчанье пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам Его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину, — все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатление было магическое.

Вся братья повергласъ на колена пред новым образом, и умиленный настоятель произнес: «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину: святая, высшая сила водила твоею кистью, и благословенье небес почило на труде твоем».

В это время окончил я свое ученье в Академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду на путешествие в Италию — лучшую мечту двадцатилетнего художника. Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже двенадцать лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно исчезнул из моей памяти. Я уже несколько наслышался о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста и бденья. Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти божественный старец! И следов изможденния не было заметно на его лице: оно сияло светлостью небесного веселия. Белая, как снег, борода и тонкие, почти воздушные волосы такого же серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия, которым опоясывалась его убогая монашеская одежда; но более всего изумительно было для меня услышать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которое, признаюсь, я долго буду хранить в душе и желал бы искренно, чтобы всякий мой собрат сделал то же.

— Я ждал тебя, сын мой, — сказал он, когда я подошел к его благословенью. — Тебе предстоит путь, по которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть талант; талант есть драгоценнейший дар Бога — не погуби его. Исследуй, изучай все, что ни видишь, покори всё кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько раз

торжественный покой выше всякого волненья мирского; во сколько раз творенье выше разрушенья; во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны, — во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое созданье искусства. Все принеси ему в жертву и возлюби его всею страстью. Не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью; без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к Богу. Но есть минуты, темные минуты...

Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако.

— Есть одно происшествие в моей жизни, — сказал он. — Доныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существованье дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив все, быть верным природе. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, — не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассевает томительные впечатленья, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранит тебя Всевышний от сих страстей! Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его, и указывает на него пальцем, и толкуют об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других

проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна.

Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах.

— Исполни, сын мой, одну мою просьбу, — сказал он мне уже при самом расставанье. — Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению, — во что бы то ни было истреби его...

Вы можете судить сами, мог ли я не обещать клятвенно исполнить такую просьбу. В продолжение целых пятнадцати лет не случалось мне встретить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом, как вдруг теперь, на аукционе...

Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену, с тем чтобы взглянуть еще раз на портрет. То же самое движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова: «Украден». Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманьем слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием старинных картин.

Шинель

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным... Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить

ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Сессия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, — подумала покойница, — имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, — проговорила старуха, — какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу, — сказала старуха, — что, видно, его такая судьба. Уже если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько не переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите», или «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые

чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным...

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, — нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники;

но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела ведено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, — что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на средине улицы. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что

ни посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, — когда все уже отдохнуло после департаментского скрыпенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже, чем нужно, неугомонный человек, — когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер — истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний, — словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, — словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, — Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог пошлет переписывать завтра? Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы,

может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка; сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле, она имела какое-то странное устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачиванье других частей ее. Подтачиванье не показывало искусства портного и выходило, точно, мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, — разумеется, когда бывал

в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то, нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, называл ее мирскою женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней не много было известно, разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, она не могла похвастаться; по крайней мере, при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, — взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше двух рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, не замеченный даже самою хозяйкою, и вступил наконец в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашеном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча

вполголоса: «Не лезет, варварка; уела ты меня, шельма этакая!» Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился: он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражем, или, как выражалась жена его, «осадился сивухой, одноглазый черт». В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж-де был пьян и потому дешево взялся; но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать черт знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакиевич невольно выговорил:

— Здравствуй, Петрович!

— Здравствовать желаю, сударь, — сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.

— А я вот к тебе, Петрович, того...

Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: «Это, право, совершенно того...» — а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил.

— Что же такое? — сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалд и петлей, — что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у портных: это первое, что он сделает при встрече.

— А я вот того, Петрович... шинель-то, сукно... вот видишь, везде в других местах, совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того... на спине, да еще вот на плече одном немного попротерлось, да вот на этом плече немножко — видишь, вот и все. И работы немного...

Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал, вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и наконец сказал:

— Нет, нельзя поправить: худой гардероб!

У Акакия Акакиевича при этих словах екнуло сердце.

— Отчего же нельзя, Петрович? — сказал он почти умоляющим голосом ребенка, — ведь только всего что на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки...

— Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся, — сказал Петрович, — да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет.

— Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку.

— Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что, подержка больно велика. Только слава что сукно, а подуй ветер, так разлетится.

— Ну, да уж прикрепи. Как же этак, право, того!..

— Нет, — сказал Петрович решительно, — ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе онучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович любил при случае кольнуть немцев); а шинель уж, видно, вам придется новую делать.

При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки.

— Как же новую? — сказал он, все еще как будто находясь во сне, — ведь у меня и денег на это нет.

— Да, новую, — сказал с варварским спокойствием Петрович.

— Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того...

— То есть что будет стоить?

— Да.

— Да три полсотни с лишком надо будет приложить, — сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов.

— Полтораста рублей за шинель! — вскрикнул бедный Акакий Акакиевич, вскрикнул, может быть, в первый раз от роду, ибо отличался всегда тихостью голоса.

— Да-с, — сказал Петрович, — да еще какова шинель. Если положить на воротник куницу да пустить капишон на шелковой подкладке, так и в двести войдет.

— Петрович, пожалуйста, — говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов, — как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила.

— Да нет, это выйдет: и работу убивать и деньги попусту тратить, — сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный.

А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал.

Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. «Этаково-то дело этакое, — говорил он сам себе, — я, право, и не думал, чтобы оно вышло того... — а потом, после некоторого молчания, прибавил: — Так вот как! наконец вот что вышло, а я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак». Засим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес: «Так этак-то! вот какое уж, точно, никак неожиданное, того... этого бы никак... этакое-то обстоятельство!» Сказавши это, он, вместо того чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся,

и то потому, что будочник сказал: «Чего лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле самом сердечном и близком. «Ну нет, — сказал Акакий Акакиевич, — теперь с Петровичем нельзя толковать: он теперь того... жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром: он после канунешной субботы будет косить глазом и заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст, а в это время я ему гривенничек и того, в руку, он и будет сговорчивее и шинель тогда и того...» Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и, увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул. «Нельзя, — сказал, — извольте заказать новую». Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек. «Благодарствую, судырь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье, — сказал Петрович, — а уж об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим».

Акакий Акакиевич еще было насчет починки, но Петрович не дослышал и сказал: «Уж новую я вам сошью беспременно, в этом извольте положиться, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода: воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике».

Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же, в самом деле, на что, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уж размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым голенищам, да следовало заказать швее три рубахи да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге, — словом, все деньги совершенно

должны были разойтися; и если бы даже директор был так милостив, что вместо сорока рублей наградных определил бы сорок пять или пятьдесят, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: «Что ты с ума сходишь, дурак такой! В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит». Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмется сделать; однако все же откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; может быть, даже немножко и больше; но где взять другую половину?.. Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанною в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и, таким образом, в продолжение нескольких лет оказалось накопившейся суммы более чем на сорок рублей. Итак, половина была в руках; но где же взять другую половину? Где взять другие сорок рублей? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее, по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как

будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник? Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул «ух!» и перекрестился. В продолжение каждого месяца он хотя один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что наконец придет же время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей; уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него чрез это очутилось лишних двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь два-три месяца небольшого голодания — и у Акакия Акакиевича набралось точно около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего — и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога; а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович

провозился за шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял двенадцать рублей — меньше никак нельзя было: все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. Это было... трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес наконец шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес; платок был только что от прачки, он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава; Петрович помог надеть и в рукава, — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз впору. Петрович не упустил при сем случае сказать, что он так только, потому что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево; а на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу

и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте; в швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, сказал: «Так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня именинник». Чиновники, натурально, тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотою предложение. Акакий Акакиевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь чрезто случай пройтись даже и ввечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил, для сравненья, прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него, и сам даже засмеялся: такая была далекая разница! И долго еще потом за обедом он все усмехался,

как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постеле, пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и всё, что ни есть в Петербурге, все улицы и домы слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно, по крайней мере, то, что чиновник жил в лучшей части города, — стало быть, очень не близко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками, — напротив, всё попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич глядел на все это, как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши, таким образом, всю ногу, очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой эспаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой и усмехнулся и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе не знакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: «Ну, уж эти французы! что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того...» А может быть, даже и этого не подумал — ведь нельзя же залезть в душу человека и узнать все, что он ни думает. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу:

на лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедши в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели всё шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиною сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакий Акакиевич, повесивши сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его беглый, со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его и шинель и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это: шум, говор и толпа людей, — все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою; наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более что уж давно наступилото время, в которое он, по обыкновению, ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшею на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел

на плеча и опустился по лестнице на улицу. На улице все еще было светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты, другие же, которые были заперты, показывали, однако ж, длинную струю света во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего местопребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже — масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные домы, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею.

Вдали, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшей на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. «Нет, лучше и не глядеть», — подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. «А ведь шинель-то моя!» — сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже закричать «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в чиновничью голову, примолвив: «А вот только крикни!» Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег

и ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он, вместо того чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить; а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному; но сказали, что спит; он пришел в десять — сказали опять: спит; он пришел в одиннадцать часов — сказали: да нет частного дома; он в обеденное время — но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели

непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела и что такое случилось. Так что наконец Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича: да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме, так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дело о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии (единственный случай в его жизни). На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, однако же, многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу, по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю, — итак, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он пошел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему; а лучше всего, чтобы он обратился к одному значительному лицу, что значительное лицо, спишась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решился идти к значительному лицу. Какая именно и в чем состояла должность значительного лица, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что одно значительное лицо недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным

лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими, еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами, именно: завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность; чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло все порядком строжайшим: коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь — титулярному или какому приходилось другому, и чтобы уже, таким образом, доходило дело до него. Так уж на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят даже, какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши ее «комнатой присутствия», и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в «комнате присутствия» насилу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи значительного лица были солидны и величественны, но не многосложны. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и — строгость», — говаривал он обыкновенно и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе; завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал стоя ввытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе,

где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость, тем более что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамилиярно, и не уронит ли он чрезто своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то значительному лицу явился наш Акакий Акакиевич, и явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати для себя, хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто такой?» Ему отвечали: «Какой-то чиновник». — «А! может подождать, теперь не время», — сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прилгнул: ему было время, они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаньями, слегка только потрепливая друг друга по ляжке и приговаривая: «Так-то, Иван Абрамович!» — «Этак-то, Степан Варламович!» Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он наконец как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник; скажите ему, что он может войти». Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, он оборотился к нему вдруг и сказал: «Что вам угодно?» — голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заране у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до получения

нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц «того», что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с господином обер-полицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамилиярным.

— Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывисто, — не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, как водятся дела? Об этом вы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне…

— Но, ваше превосходительство, — сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом, — я ваше превосходительство осмелился утрудить потому, что секретари того… ненадежный народ…

— Что, что, что? — сказал значительное лицо. — Откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей таких набрались? что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших!

Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было семьдесят лет.

— Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю.

Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольный тем, что эффект превзошел

даже ожидание, и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх.

Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать, и когда явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку, единственно уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины; а впрочем, тут же объявил ему чрез полтора суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал: «А вы, матушка, и времени даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог». Слышал ли Акакий Акакиевич эти произнесенные роковые для него слова, а если и слышал, произвели ли они на него потрясающее действие, пожалел ли он о горемычной своей жизни, — ничего этого не известно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно:то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла;то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель;то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье, и приговаривает: «Виноват, ваше превосходительство!» — то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего

подобного, тем более что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство». Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось. Бог знает: в этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как обрушивалось на царей и повелителей мира... Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож, с приказанием немедленно явиться: начальник-де требует; но сторож должен был возвратиться ни с чем, давши отчет, что не может больше прийти, и на запрос «почему?» выразился словами: «Да так, уж он умер, четвертого дня похоронили». Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича, и на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее.

Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за не примеченную никем жизнь. Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание.

По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы — словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, и в том едва было даже не успели. Именно будочник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте. Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время шесть раз на веку примороженный нос свой; но табак, верно, был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будочник, закрывши пальцем свою правую ноздрю, потянуть левою полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не знали даже, был ли он, точно, в их руках. С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: «Эй, ты, ступай своею дорогою!» — и мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы, однако же, совершенно оставили одно значительное лицо, который, по-настоящему, едва ли не был причиною

фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего долг справедливости требует сказать, что одно значительное лицо скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакиевича почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать, что он и как и нельзя ли в самом деле чем помочь ему; и когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а что всего лучше — все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен — словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского — средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно: он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надобно сказать, что значительное лицо был уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная шестнадцатилетняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком приходили всякий день целовать его руку, приговаривая: «bonjour, papa». Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку и потом, переворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для

дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его; но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру: «К Каролине Ивановне», — а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия, он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова, заставившие хохотать небольшой круг; многие из них он даже повторял вполголоса и нашел, что они всё так же смешны, как и прежде, а потому не мудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг Бог знает откуда и невесть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на голову и доставляя, таким образом, вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек, — отдавай же теперь свою!» Бедное значительное лицо чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувши на один мужественный вид его и фигуру, всякий говорил: «У, какой характер!» — но здесь он, подобно весьма многим, имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: «Пошел во весь дух домой!» Кучер, услышавши голос, который

произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался как стрела. Минут в шесть с небольшим значительное лицо уже был пред подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?»; если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось поЯвление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак, — итак, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» — и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: «Ничего», — да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.

Коляска

Городок Б. очень повеселел, когда начал в нем стоять *** кавалерийский полк. А до того времени было в нем страх скучно. Когда, бывало, проезжаешь его и взглянешь на низенькие мазаные домики, которые смотрят на улицу до невероятности кисло, то... невозможно выразить, что делается тогда на сердце: тоска такая, как будто бы или проигрался, или отпустил некстати какую-нибудь глупость, — одним словом: нехорошо. Глина на них обвалилась от дождя, и стены вместо белых сделались пегими; крыши большею частию крыты тростником, как обыкновенно бывает в южных городах наших; садики, для лучшего вида, городничий давно приказал вырубить. На улицах ни души не встретишь, разве только петух перейдет чрез мостовую, мягкую, как подушка, от лежащей на четверть пыли, которая при малейшем дожде превращается в грязь, и тогда улицы городка Б. наполняются теми дородными животными, которых тамошний городничий называет французами. Выставив серьезные морды из своих ванн, они подымают такое хрюканье, что проезжающему остается только погонять лошадей поскорее. Впрочем, проезжающего трудно встретить в городке Б. Редко, очень редко какой-нибудь помещик, имеющий одиннадцать душ крестьян, в нанковом сюртуке, тарабанит по мостовой в какой-то полубричке и полутележке, выглядывая из мучных наваленных мешков и пристегивая гнедую кобылу, вслед за которою бежит жеребенок. Самая рыночная площадь имеет несколько печальный вид: дом портного выходит чрезвычайно глупо не всем фасадом, но углом; против него строится лет пятнадцать какое-то каменное строение о двух окнах; далее стоит сам по себе модный дощатый забор, выкрашенный серою краскою под цвет грязи, который, на образец другим строениям, воздвиг городничий во время своей молодости, когда не имел еще обыкновения спать тотчас после обеда и пить на ночь какой-то декокт, заправленный сухим крыжовником. В других местах всё почти плетень; посреди площади самые маленькие лавочки; в них всегда можно заметить связку баранков, бабу в красном платке, пуд мыла, несколько фунтов горького миндалю, дробь для стреляния, демикотон и двух купеческих приказчиков, во всякое время играющих около дверей

в свайку. Но как начал стоять в уездном городке Б. кавалерийский полк, все переменилось. Улицы запестрели, оживились — словом, приняли совершенно другой вид. Низенькие домики часто видели проходящего мимо ловкого, статного офицера с султаном на голове, шедшего к товарищу поговорить о производстве, об отличнейшем табаке, а иногда поставить на карточку дрожки, которые можно было назвать полковыми, потому что они, не выходя из полку, успевали обходить всех: сегодня катался в них майор, завтра они появлялись в поручиковой конюшне, а чрез неделю, смотри, опять майорский денщик подмазывал их салом. Деревянный плетень между домами весь был усеян висевшими на солнце солдатскими фуражками; серая шинель торчала непременно где-нибудь на воротах; в переулках попадались солдаты с такими жесткими усами, как сапожные щетки. Усы эти были видны во всех местах. Соберутся ли на рынке с ковшиками мещанки, из-за плеч их, верно, выглядывают усы. На лобном месте солдат с усами уж верно мылил бороду какому-нибудь деревенскому пентюху, который только покряхтывал, выпуча глаза вверх. Офицеры оживили общество, которое до того времени состояло только из судьи, жившего в одном доме с какою-то диаконицею, и городничего, рассудительного человека, но спавшего решительно весь день: от обеда до вечера и от вечера до обеда. Общество сделалось еще многолюднее и занимательнее, когда переведена была сюда квартира бригадного генерала. Окружные помещики, о которых существовании никто бы до того времени не догадался, начали приезжать почаще в уездный городок, чтобы видеться с господами офицерами, а иногда поиграть в банчик, который уже чрезвычайно темно грезился в голове их, захлопотанной посевами, жениными поручениями и зайцами. Очень жаль, что не могу припомнить, по какому обстоятельству случилось бригадному генералу давать большой обед; заготовление к нему было сделано огромное: стук поваренных ножей на генеральской кухне был слышен еще близ городской заставы. Весь рынок был забран совершенно для обеда, так что судья с своею диаконицею должен был есть одни только лепешки из гречневой муки да крахмальный кисель. Небольшой дворик генеральской квартиры был весь уставлен дрожками и колясками. Общество состояло из мужчин: офицеров и некоторых окружных помещиков. Из помещиков

более всех был замечателен Пифагор Пифагорович Чертокуцкий, один из главных аристократов Б… уезда, более всех шумевший на выборах и приезжавший туда в щегольском экипаже. Он служил прежде в одном из кавалерийских полков и был один из числа значительных и видных офицеров. По крайней мере, его видали на многих балах и собраниях, где только кочевал их полк; впрочем, об этом можно спросить у девиц Тамбовской и Симбирской губерний. Весьма может быть, что он распустил бы и в прочих губерниях выгодную для себя славу, если бы не вышел в отставку по одному случаю, который обыкновенно называется неприятною историею: он ли дал кому-то в старые годы оплеуху или ему дали ее, об этом наверное не помню, дело только в том, что его попросили выйти в отставку. Впрочем, он этим ничуть не уронил своего весу: носил фрак с высокою талией на манер военного мундира, на сапогах шпоры и под носом усы, потому что без того дворяне могли бы подумать, что он служил в пехоте, которую он презрительно называл иногда пехтурой, а иногда пехонтарией. Он бывал на всех многолюдных ярмарках, куда внутренность России, состоящая из мамок, дочек и толстых помещиков, наезжала веселиться бричками, таратайками, тарантасами и такими каретами, какие и во сне никому не снились. Он пронюхивал носом, где стоял кавалерийский полк, и всегда приезжал видеться с господами офицерами. Очень ловко соскакивал перед ними с своей легонькой колясочки или дрожек и чрезвычайно скоро знакомился. В прошлые выборы дал он дворянству прекрасный обед, на котором объявил, что если только его выберут предводителем, то он поставит дворян на самую лучшую ногу. Вообще вел себя по-барски, как выражаются в уездах и губерниях, женился на довольно хорошенькой, взял за нею двести душ приданого и несколько тысяч капиталу. Капитал был тотчас употреблен на шестерку действительно отличных лошадей, вызолоченные замки к дверям, ручную обезьяну для дома и француза-дворецкого. Двести же душ вместе с двумястами его собственных были заложены в ломбард для каких-то коммерческих оборотов. Словом, он был помещик как следует… Изрядный помещик. Кроме него, на обеде у генерала было несколько и других помещиков, но об них нечего говорить. Остальные были все военные того же полка и два штаб-офицера: полковник и довольно толстый майор.

Сам генерал был дюж и тучен, впрочем хороший начальник, как отзывались о нем офицеры. Говорил он довольно густым, значительным басом. Обед был чрезвычайный: осетрина, белуга, стерляди, дрофы, спаржа, перепелки, куропатки, грибы доказывали, что повар еще со вчерашнего дня не брал в рот горячего, и четыре солдата с ножами в руках работали на помощь ему всю ночь фрикасеи и желеи. Бездна бутылок, длинных с лафитом, короткошейных с мадерою, прекрасный летний день, окна, открытые напролет, тарелки со льдом на столе, отстегнутая последняя пуговица у господ офицеров, растрепанная манишка у владетелей укладистого фрака, перекрестный разговор, покрываемый генеральским голосом и заливаемый шампанским, — все отвечало одно другому. После обеда все встали с приятною тяжестью в желудках и, закурив трубки с длинными и короткими чубуками, вышли с чашками кофию в руках на крыльцо.

У генерала, полковника и даже майора мундиры были вовсе расстегнуты, так что видны были слегка благородные подтяжки из шелковой материи, но господа офицеры, сохраняя должное уважение, пребыли с застегнутыми, выключая трех последних пуговиц.

— Вот ее можно теперь посмотреть, — сказал генерал. — Пожалуйста, любезнейший, — примолвил он, обращаясь к своему адъютанту, довольно ловкому молодому человеку приятной наружности, — прикажи, чтобы привели сюда гнедую кобылу! Вот вы увидите сами. — Тут генерал потянул из трубки и выпустил дым. — Она еще не слишком в холе: проклятый городишко, нет порядочной конюшни. Лошадь, пуф, пуф, очень порядочная!

— И давно, ваше превосходительство, пуф, пуф, изволите иметь ее? — сказал Чертокуцкий.

— Пуф, пуф, пуф, пу... пуф, не так давно. Всего только два года, как она взята мною с завода!

— И получить ее изволили объезженную или уже здесь изволили объездить?

— Пуф, пуф, пу, пу, пу... у... у... ф, здесь, — сказавши это, генерал весь исчезнул в дыме.

Между тем из конюшни выпрыгнул солдат, послышался стук копыт, наконец показался другой, в белом балахоне, с черными огромными усами, ведя за узду вздрагивавшую и пугавшуюся лошадь, которая, вдруг подняв голову, чуть не подняла вверх

присевшего к земле солдата вместе с его усами. «Ну ж, ну! Аграфена Ивановна!» — говорил он, подводя ее под крыльцо.

Кобыла называлась Аграфена Ивановна; крепкая и дикая, как южная красавица, она грянула копытами в деревянное крыльцо и вдруг остановилась.

Генерал, опустивши трубку, начал смотреть с довольным видом на Аграфену Ивановну. Сам полковник, сошедши с крыльца, взял Аграфену Ивановну за морду. Сам майор потрепал Аграфену Ивановну по ноге, прочие пощелкали языком.

Чертокуцкий сошел с крыльца и зашел ей взад. Солдат, вытянувшись и держа узду, глядел прямо посетителям в глаза, будто бы хотел вскочить в них.

— Очень, очень хорошая! — сказал Чертокуцкий, — статистая лошадь! А позвольте, ваше превосходительство, узнать, как она ходит?

— Шаг у нее хорош; только... черт его знает... этот дурак фершел дал ей каких-то пилюль, и вот уже два дня все чихает.

— Очень, очень хороша. А имеете ли, ваше превосходительство, соответствующий экипаж?

— Экипаж?.. Да ведь это верховая лошадь.

— Я это знаю; но я спросил ваше превосходительство для того, чтобы узнать, имеете ли к другим лошадям соответствующий экипаж.

— Ну, экипажей у меня не слишком достаточно. Мне, признаться вам сказать, давно хочется иметь нынешнюю коляску. Я писал об этом к брату моему, который теперь в Петербурге, да не знаю, пришлет ли он или нет.

— Мне кажется, ваше превосходительство, — заметил полковник, — нет лучше коляски, как венская.

— Вы справедливо думаете, пуф, пуф, пуф.

— У меня, ваше превосходительство, есть чрезвычайная коляска настоящей венской работы.

— Какая? Та, в которой вы приехали?

— О нет. Это так, разъездная, собственно для моих поездок, но та... это удивительно, легка как перышко; а когда вы сядете в нее, то просто как бы, с позволения вашего превосходительства, нянька вас в люльке качала!

— Стало быть, покойна?

— Очень, очень покойна; подушки, рессоры, — это все как будто на картинке нарисовано.

— Это хорошо.

— А уж укладиста как! то есть я, ваше превосходительство, и не видывал еще такой. Когда я служил, то у меня в ящики помещалось десять бутылок рому и двадцать фунтов табаку; кроме того, со мною еще было около шести мундиров, белье и два чубука, ваше превосходительство, такие длинные, как, с позволения сказать, солитер, а в карманы можно целого быка поместить.

— Это хорошо.

— Я, ваше превосходительство, заплатил за нее четыре тысячи.

— Судя по цене, должна быть хороша; и вы купили ее сами?

— Нет, ваше превосходительство; она досталась по случаю. Ее купил мой друг, редкий человек, товарищ моего детства, с которым бы вы сошлись совершенно; мы с ним — что твое, что мое, все равно. Я выиграл ее у него в карты. Не угодно ли, ваше превосходительство, сделать мне честь пожаловать завтра ко мне отобедать, и коляску вместе посмотрите.

— Я не знаю, что вам на это сказать. Мне одному как-то... Разве уж позволите вместе с господами офицерами?

— И господ офицеров прошу покорнейше. Господа, я почту себе за большую честь иметь удовольствие видеть вас в своем доме!

Полковник, майор и прочие офицеры отблагодарили учтивым поклоном.

— Я, ваше превосходительство, сам того мнения, что если покупать вещь, то непременно хорошую, а если дурную, то нечего и заводить. Вот у меня, когда сделаете мне честь завтра пожаловать, я покажу кое-какие статьи, которые я сам завел по хозяйственной части.

Генерал посмотрел и выпустил изо рту дым. Чертокуцкий был чрезвычайно доволен, что пригласил к себе господ офицеров; он заранее заказывал в голове своей паштеты и соусы, посматривал очень весело на господ офицеров, которые также с своей стороны как-то удвоили к нему свое расположение, что было заметно из глаз их и небольших телодвижений вроде полупоклонов.

Чертокуцкий выступал вперед как-то развязнее, и голос его принял расслабление: выражение голоса, обремененного удовольствием.

— Там, ваше превосходительство, познакомитесь с хозяйкой дома.

— Мне очень приятно, — сказал генерал, поглаживая усы.

Чертокуцкий после этого хотел немедленно отправиться домой, чтобы заблаговременно приготовить все к принятию гостей к завтрашнему обеду; он взял уже было и шляпу в руки, но как-то так странно случилось, что он остался еще на несколько времени. Между тем уже в комнате были расставлены ломберные столы. Скоро все общество разделилось на четверные партии в вист и расселось в разных углах генеральских комнат.

Подали свечи. Чертокуцкий долго не знал, садиться или не садиться ему за вист. Но как господа офицеры начали приглашать, то ему показалось очень несогласно с правилами общежития отказаться. Он присел. Нечувствительно очутился перед ним стакан с пуншем, который он, позабывшись, в ту же минуту выпил. Сыгравши два роберта, Чертокуцкий опять нашел под рукою стакан с пуншем, который тоже, позабывшись, выпил, сказавши наперед: «Пора, господа, мне домой, право, пора». Но опять присел и на вторую партию. Между тем разговор в разных углах комнаты принял совершенно частное направление. Играющие в вист были довольно молчаливы; но неигравшие, сидевшие на диванах в стороне, вели свой разговор. В одном углу штаб-ротмистр, подложивши себе под бок подушку, с трубкою в зубах, рассказывал довольно свободно и плавно любовные свои приключения и овладел совершенно вниманием собравшегося около него кружка. Один чрезвычайно толстый помещик с короткими руками, несколько похожими на два выросшие картофеля, слушал с необыкновенно сладкою миною и только по временам силился запустить коротенькую свою руку за широкую спину, чтобы вытащить оттуда табакерку. В другом углу завязался довольно жаркий спор об эскадронном учении, и Чертокуцкий, который в это время уже вместо дамы два раза сбросил валета, вмешивался вдруг в чужой разговор и кричал из своего угла: «В котором году?» или «Которого полка?» — не замечая, что иногда вопрос совершенно не приходился к делу. Наконец,

за несколько минут до ужина, вист прекратился, но он продолжался еще на словах, и казалось, головы всех были полны вистом. Чертокуцкий очень помнил, что выиграл много, но руками не взял ничего и, вставши из-за стола, долго стоял в положении человека, у которого нет в кармане носового платка. Между тем подали ужин. Само собою разумеется, что в винах не было недостатка и что Чертокуцкий почти невольно должен был иногда наливать в стакан себе потому, что направо и налево стояли у него бутылки.

Разговор затянулся за столом предлинный, но, впрочем, как-то странно он был веден. Один помещик, служивший еще в кампанию 1812 года, рассказал такую баталию, какой никогда не было, и потом, совершенно неизвестно по каким причинам, взял пробку из графина и воткнул ее в пирожное. Словом, когда начали разъезжаться, то уже было три часа, и кучера должны были нескольких особ взять в охапку, как бы узелки с покупкою, и Чертокуцкий, несмотря на весь аристократизм свой, сидя в коляске, так низко кланялся и с таким размахом головы, что, приехавши домой, привез в усах своих два репейника.

В доме все совершенно спало; кучер едва мог сыскать камердинера, который проводил господина чрез гостиную, сдал горничной девушке, за которою кое-как Чертокуцкий добрался до спальни и уложился возле своей молоденькой и хорошенькой жены, лежавшей прелестнейшим образом, в белом как снег спальном платье. Движение, произведенное падением ее супруга на кровать, разбудило ее. Протянувшись, поднявши ресницы и три раза быстро зажмуривши глаза, она открыла их с полусердитою улыбкою; но, видя, что он решительно не хочет оказать на этот раз никакой ласки, с досады поворотилась на другую сторону и, положив свежую свою щеку на руку, скоро после него заснула.

Было уже такое время, которое по деревням не называется рано, когда проснулась молодая хозяйка возле храпевшего супруга. Вспомнивши, что он возвратился вчера домой в четвертом часу ночи, она пожалела будить его и, надев спальные башмачки, которые супруг ее выписал из Петербурга, в белой кофточке, драпировавшейся на ней, как льющаяся вода, она вышла в свою уборную, умылась свежею, как сама, водою и подошла к туалету. Взглянувши на себя раза два, она увидела, что сегодня очень недурна.

Это, по-видимому, незначительное обстоятельство заставило ее просидеть перед зеркалом ровно два часа лишних. Наконец она оделась очень мило и вышла освежиться в сад. Как нарочно, время было тогда прекрасное, каким может только похвалиться летний южный день. Солнце, вступивши на полдень, жарило всею силою лучей, но под темными густыми аллеями гулять было прохладно, и цветы, пригретые солнцем, утрояли свой запах. Хорошенькая хозяйка вовсе позабыла о том, что уже двенадцать часов и супруг ее спит. Уже доходило до слуха ее послеобеденное храпенье двух кучеров и одного форейтора, спавших в конюшне, находившейся за садом. Но она все сидела в густой аллее, из которой был открыт вид на большую дорогу, и рассеянно глядела на безлюдную ее пустынность, как вдруг показавшаяся вдали пыль привлекла ее внимание. Всмотревшись, она скоро увидела несколько экипажей. Впереди ехала открытая двуместная легонькая колясочка; в ней сидел генерал с толстыми, блестевшими на солнце эполетами и рядом с ним полковник. За ней следовала другая, четвероместная; в ней сидел майор с генеральским адъютантом и еще двумя насупротив сидевшими офицерами; за коляской следовали известные всем полковые дрожки, которыми владел на этот раз тучный майор; за дрожками четвероместный бонвояж, в котором сидели четыре офицера и пятый на руках... за бонвояжем рисовались три офицера на прекрасных гнедых лошадях в темных яблоках.

«Неужели это к нам? — подумала хозяйка дома. — Ах, Боже мой! в самом деле они поворотили на мост!» Она вскрикнула, всплеснула руками и побежала чрез клумбы и цветы прямо в спальню своего мужа. Он спал мертвецки.

— Вставай, вставай! вставай скорее! — кричала она, дергая его за руку.

— А? — проговорил, потягиваясь, Чертокуцкий, не раскрывая глаз.

— Вставай, пульпультик! слышишь ли? гости!

— Гости, какие гости? — сказавши это, он испустил небольшое мычание, какое издает теленок, когда ищет мордою сосцов своей матери. — Мм... — ворчал он, — протяни, моньмуня, свою шейку! я тебя поцелую.

— Душенька, вставай, ради Бога, скорей. Генерал с офицерами! Ах, Боже мой, у тебя в усах репейник.

— Генерал? А, так он уже едет? Да что же это, черт возьми, меня никто не разбудил? А обед, что ж обед, все ли там как следует готово?

— Какой обед?

— А я разве не заказывал?

— Ты? ты приехал в четыре часа ночи, и, сколько я ни спрашивала тебя, ты ничего не сказал мне. Я тебя, пульпультик, потому не будила, что мне жаль тебя стало: ты ничего не спал... — Последние слова сказала она чрезвычайно томным и умоляющим голосом.

Чертокуцкий, вытаращив глаза, минуту лежал на постеле, как громом пораженный. Наконец вскочил он в одной рубашке с постели, позабывши, что это вовсе неприлично.

— Ах я лошадь! — сказал он, ударив себя по лбу. — Я звал их на обед. Что делать? далеко они?

— Я не знаю... они должны сию минуту уже быть.

— Душенька... спрячься!.. Эй, кто там! ты, девчонка! ступай, чего, дура, боишься? Приедут офицеры сию минуту. Ты скажи, что барина нет дома, скажи, что и не будет совсем, что еще с утра выехал, слышишь? И дворовым всем объяви, ступай скорее!

Сказавши это, он схватил наскоро халат и побежал спрятаться в экипажный сарай, полагая там положение свое совершенно безопасным. Но, ставши в углу сарая, он увидел, что и здесь можно было его как-нибудь увидеть. «А вот это будет лучше», — мелькнуло в его голове, и он в одну минуту отбросил ступени близ стоявшей коляски, вскочил туда, закрыл за собою дверцы, для большей безопасности закрылся фартуком и кожею и притих совершенно, согнувшись в своем халате.

Между тем экипажи подъехали к крыльцу.

Вышел генерал и встряхнулся, за ним полковник, поправляя руками султан на своей шляпе. Потом соскочил с дрожек толстый майор, держа под мышкою саблю. Потом выпрыгнули из бонвояжа тоненькие подпоручики с сидевшим на руках прапорщиком, наконец сошли с седел рисовавшиеся на лошадях офицеры.

— Барина нет дома, — сказал, выходя на крыльцо, лакей.

— Как нет? стало быть, он, однако ж, будет к обеду?

— Никак нет. Они уехали на весь день. Завтра разве около этого только времени будут.

— Вот тебе на! — сказал генерал. — Как же это?..

— Признаюсь, это штука, — сказал полковник, смеясь.

— Да нет, как же этак делать? — продолжал генерал с неудовольствием. — Фить... Черт... Ну, не можешь принять, зачем напрашиваться?

— Я, ваше превосходительство, не понимаю, как можно это делать, — сказал один молодой офицер.

— Что? — сказал генерал, имевший обыкновение всегда произносить эту вопросительную частицу, когда говорил с обер-офицером.

— Я говорил, ваше превосходительство: как можно поступать таким образом?

— Натурально... Ну, не случилось, что ли, — дай знать, по крайней мере, или не проси.

— Что ж, ваше превосходительство, нечего делать, поедемте назад! — сказал полковник.

— Разумеется, другого средства нет. Впрочем, коляску мы можем посмотреть и без него. Он, верно, ее не взял с собою. Эй, кто там, подойди, братец, сюда!

— Чего изволите?

— Ты конюх?

— Конюх, ваше превосходительство.

— Покажи-ка нам новую коляску, которую недавно достал барин.

— А вот пожалуйте в сарай!

Генерал отправился вместе с офицерами в сарай.

— Вот извольте, я ее немного выкачу, здесь темненько.

— Довольно, довольно, хорошо!

Генерал и офицеры обошли вокруг коляску и тщательно осмотрели колеса и рессоры.

— Ну, ничего нет особенного, — сказал генерал, — коляска самая обыкновенная.

— Самая неказистая, — сказал полковник, — совершенно нет ничего хорошего.

— Мне кажется, ваше превосходительство, она совсем не стоит четырех тысяч, — сказал один из молодых офицеров.

— Что?

— Я говорю, ваше превосходительство, что, мне кажется, она не стоит четырех тысяч.

— Какое четырех тысяч! она и двух не стоит. Просто ничего нет. Разве внутри есть что-нибудь особенное... Пожалуйста, любезный, отстегни кожу...

И глазам офицеров предстал Чертокуцкий, сидящий в халате и согнувшийся необыкновенным образом.

— А, вы здесь!.. — сказал изумившийся генерал.

Сказавши это, генерал тут же захлопнул дверцы, закрыл опять Чертокуцкого фартуком и уехал вместе с господами офицерами.

Записки сумасшедшего

Октября 3.

Сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Я встал поутру довольно поздно, и когда Мавра принесла мне вычищенные сапоги, я спросил, который час. Услышавши, что уже давно било десять, я поспешил поскорее одеться. Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, какую кислую мину сделает наш начальник отделения. Он уже давно мне говорит: «Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой? Ты иной раз метаешься как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет, в титуле поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера». Проклятая цапля! он, верно, завидует, что я сижу в директорском кабинете и очиниваю перья для его превосходительства. Словом, я не пошел бы в департамент, если бы не надежда видеться с казначеем и авось-либо выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь из жалованья вперед. Вот еще создание! Чтобы он выдал когда-нибудь вперед за месяц деньги — Господи, Боже мой, да скорее Страшный Суд придет. Проси, хоть тресни, хоть будь в разнужде, — не выдаст, седой черт. А на квартире собственная кухарка бьет его по щекам. Это всему свету известно. Я не понимаю выгод служить в департаменте. Никаких совершенно ресурсов. Вот в губернском правлении, гражданских и казенных палатах совсем другое дело: там, смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Фрачишка на нем гадкий, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую он дачу нанимает! Фарфоровой вызолоченной чашки и не неси к нему: «Это, говорит, докторский подарок»; а ему давай пару рысаков, или дрожки, или бобер рублей в триста. С виду такой тихенький, говорит так деликатно: «Одолжите ножичка починить перышко», — а там обчистит так, что только одну рубашку оставит на просителе. Правда, у нас зато служба благородная, чистота во всем такая, какой вовеки не видеть губернскому правлению, столы из красного дерева, и все начальники на вы. Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставил департамент.

Я надел старую шинель и взял зонтик, потому что шел проливной дождик. На улицах не было никого; одни только бабы,

накрывшись полами платья, да русские купцы под зонтиками, да курьеры попадались мне на глаза. Из благородных только наш брат чиновник попался мне. Я увидел его на перекрестке. Я, как увидел его, тотчас сказал себе: «Эге! нет, голубчик, ты не в департамент идешь, ты спешишь вон за тою, что бежит впереди, и глядишь на ее ножки». Что это за бестия наш брат чиновник! Ей-Богу, не уступит никакому офицеру: пройди какая-нибудь в шляпке, непременно зацепит. Когда я думал это, увидел подъехавшую карету к магазину, мимо которого я проходил. Я сейчас узнал ее: это была карета нашего директора. «Но ему незачем в магазин, — я подумал, — верно, это его дочка». Я прижался к стенке. Лакей отворил дверцы, и она выпорхнула из кареты, как птичка. Как взглянула она направо и налево, как мелькнула своими бровями и глазами... Господи, Боже мой! пропал я, пропал совсем. И зачем ей выезжать в такую дождевую пору. Утверждай теперь, что у женщин не велика страсть до всех этих тряпок. Она не узнала меня, да и я сам нарочно старался закутаться как можно более, потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона. Теперь плащи носят с длинными воротниками, а на мне были коротенькие, один на другом; да и сукно совсем не дегатированное. Собачонка ее, не успевши вскочить в дверь магазина, осталась на улице. Я знаю эту собачонку. Ее зовут Меджи. Не успел я пробыть минуту, как вдруг слышу тоненький голосок: «Здравствуй, Меджи!» Вот тебе на! кто это говорит? Я обсмотрелся и увидел под зонтиком шедших двух дам: одну старушку, другую молоденькую; но они уже прошли, а возле меня опять раздалось: «Грех тебе, Меджи!» Что за черт! я увидел, что Меджи обнюхивалась с собачонкою, шедшею за дамами. «Эге! — сказал я сам себе, — да полно, не пьян ли я? Только это, кажется, со мною редко случается». — «Нет, Фидель, ты напрасно думаешь, — я видел сам, что произнесла Меджи, — я была, ав! ав! я была, ав, ав, ав! очень больна». Ах ты ж, собачонка! Признаюсь, я очень удивился, услышав ее говорящею по-человечески. Но после, когда я сообразил все это хорошенько, то тогда же перестал удивляться. Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров. Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли.

Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю. Но, признаюсь, я гораздо более удивился, когда Меджи сказала: «Я писала к тебе, Фидель; верно, Полкан не принес письма моего!» Да чтоб я не получил жалованья! Я еще в жизни не слыхивал, чтобы собака могла писать. Правильно писать может только дворянин. Оно, конечно, некоторые и купчики-конторщики и даже крепостной народ пописывает иногда; но их писание большею частью механическое: ни запятых, ни точек, ни слога.

Это меня удивило. Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал. «Пойду-ка я, — сказал я сам себе, — за этой собачонкою и узнаю, что она и что такое думает».

Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную, наконец к Кокушкину мосту и остановились перед большим домом. «Этот дом я знаю, — сказал я сам себе. — Это дом Зверкова». Эка машина! Какого в нем народа не живет: сколько кухарок, сколько приезжих! а нашей братьи чиновников — как собак, один на другом сидит. Там есть и у меня один приятель, который хорошо играет на трубе. Дамы взошли в пятый этаж. «Хорошо, — подумал я, — теперь не пойду, а замечу место и при первом случае не премину воспользоваться».

Октября 4.

Сегодня середа, и потому я был у нашего начальника в кабинете. Я нарочно пришел пораньше и, засевши, перечинил все перья. Наш директор должен быть очень умный человек. Весь кабинет его уставлен шкафами с книгами. Я читал название некоторых: всё ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нет: всё или на французском, или на немецком. А посмотреть в лицо ему: фу, какая важность сияет в глазах! Я еще никогда не слышал, чтобы он сказал лишнее слово. Только разве, когда подашь бумаги, спросит: «Каково на дворе?» — «Сыро, ваше превосходительство!» Да, не нашему брату чета! Государственный человек. Я замечаю, однако же, что он меня особенно любит. Если бы и дочка... эх, канальство!.. Ничего, ничего, молчание! Читал «Пчелку». Эка глупый народ французы! Ну, чего хотят они? Взял бы,

ей-Богу, их всех, да и перепорол розгами! Там же читал очень приятное изображение бала, описанное курским помещиком. Курские помещики хорошо пишут. После этого заметил я, что уже било половину первого, а наш не выходил из своей спальни. Но около половины второго случилось происшествие, которого никакое перо не опишет. Отворилась дверь, я думал, что директор, и вскочил со стула с бумагами; но это была она, она сама! Святители, как она была одета! платье на ней было белое, как лебедь: фу, какое пышное! а как глянула: солнце, ей-Богу, солнце! Она поклонилась и сказала: «Папа здесь не было?» Ай, ай, ай! какой голос! Канарейка, право, канарейка! «Ваше превосходительство, — хотел я было сказать, — не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашею генеральскою ручкою». Да, черт возьми, как-то язык не поворотился, и я сказал только: «Никак нет-с». Она поглядела на меня, на книги и уронила платок. Я кинулся со всех ног, подскользнулся на проклятом паркете и чуть-чуть не расклеил носа, однако ж удержался и достал платок. Святые, какой платок! тончайший, батистовый — амбра, совершенная амбра! так и дышит от него генеральством. Она поблагодарила и чуть-чуть усмехнулась, так что сахарные губки ее почти не тронулись, и после этого ушла. Я еще час сидел, как вдруг пришел лакей и сказал: «Ступайте, Аксентий Иванович, домой, барин уже уехал из дому». Я терпеть не могу лакейского круга: всегда развалится в передней, и хоть бы головою потрудился кивнуть. Этого мало: один раз одна из этих бестий вздумала меня, не вставая с места, потчевать табачком. Да знаешь ли ты, глупый холоп, что я чиновник, я благородного происхождения. Однако ж я взял шляпу и надел сам на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадут, и вышел. Дома большею частию лежал на кровати. Потом переписал очень хорошие стишки: «Душеньки часок не видя, Думал, год уж не видал; Жизнь мою возненавидя, Льзя ли жить мне, я сказал». Должно быть, Пушкина сочинение. Ввечеру, закутавшись в шинель, ходил к подъезду ее превосходительства и поджидал долго, не выйдет ли сесть в карету, чтобы посмотреть еще разик, — но нет, не выходила.

Ноября 6.

Разбесил начальник отделения. Когда я пришел в департамент, он подозвал меня к себе и начал мне говорить так:

«Ну, скажи, пожалуйста, что ты делаешь?» — «Как что? Я ничего не делаю», — отвечал я. «Ну, размысли хорошенько! ведь тебе уже за сорок лет — пора бы ума набраться. Что ты воображаешь себе? Ты думаешь, я не знаю всех твоих проказ? Ведь ты волочишься за директорскою дочерью? Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты? ведь ты нуль, более ничего. Ведь у тебя нет ни гроша за душою. Взгляни хоть в зеркало на свое лицо, куды тебе думать о том!» Черт возьми, что у него лицо похоже несколько на аптекарский пузырек, да на голове клочок волос, завитый хохолком, да держит ее кверху, да примазывает ее какою-то розеткою, так уже думает, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, отчего он злится на меня. Ему завидно; он увидел, может быть, предпочтительно мне оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него! Велика важность надворный советник! вывесил золотую цепочку к часам, заказывает сапоги по тридцати рублей — да черт его побери! я разве из каких-нибудь разночинцев, из портных или из унтер-офицерских детей? Я дворянин. Что ж, и я могу дослужиться. Мне еще сорок два года — время такое, в которое, по-настоящему, только что начинается служба. Погоди, приятель! будем и мы полковником, а может быть, если Бог даст, то чем-нибудь и побольше. Заведем и мы себе репутацию еще и получше твоей. Что ж ты себе забрал в голову, что, кроме тебя, уже нет вовсе порядочного человека? Дай-ка мне ручевский фрак, сшитый по моде, да повяжи я себе такой же, как ты, галстук, — тебе тогда не стать мне и в подметки. Достатков нет — вот беда.

Ноября 8.

Был в театре. Играли русского дурака Филатку. Очень смеялся. Был еще какой-то водевиль с забавными стишками на стряпчих, особенно на одного коллежского регистратора, весьма вольно написанные, так что я дивился, как пропустила цензура, а о купцах прямо говорят, что они обманывают народ и что сынки их дебошничают и лезут в дворяне. Про журналистов тоже очень забавный куплет: что они любят всё бранить и что автор просит от публики защиты. Очень забавные пьесы пишут нынче сочинители. Я люблю бывать в театре. Как только грош заведется в кармане — никак не утерпишь не пойти. А вот из нашей братьи

чиновников есть такие свиньи: решительно не пойдет, мужик, в театр; разве уже дашь ему билет даром. Пела одна актриса очень хорошо. Я вспомнил о той... эх, канальство!.. ничего, ничего... молчание.

Ноября 9.

В восемь часов отправился в департамент. Начальник отделения показал такой вид, как будто бы он не заметил моего прихода. Я тоже с своей стороны, как будто бы между нами ничего не было. Пересматривал и сверял бумаги. Вышел в четыре часа. Проходил мимо директорской квартиры, но никого не было видно. После обеда большею частию лежал на кровати.

Ноября 11.

Сегодня сидел в кабинете нашего директора, починил для него двадцать три пера и для ее, ай! ай!.. для ее превосходительства четыре пера. Он очень любит, чтобы стояло побольше перьев. У! должен быть голова! Все молчит, а в голове, я думаю, все обсуживает. Желалось бы мне узнать, о чем он больше всего думает; что такое затевается в этой голове. Хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ, все эти экивоки и придворные штуки — как они, что они делают в своем кругу, — вот что бы мне хотелось узнать! Я думал несколько раз завести разговор с его превосходительством, только, черт возьми, никак не слушается язык: скажешь только, холодно или тепло на дворе, а больше решительно ничего не выговоришь. Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостиною еще в одну комнату. Эх, какое богатое убранство! Какие зеркала и фарфоры! Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где ее превосходительство, — вот куда хотелось бы мне! В будуар: как там стоят все эти баночки, скляночки, цветы такие, что и дохнуть на них страшно; как лежит там разбросанное ее платье, больше похожее на воздух, чем на платье. Хотелось бы заглянуть в спальню... там-то, я думаю, чудеса, там-то, я думаю, рай, какого и на небесах нет. Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она становит, вставая с постели, свою ножку, как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек... ай! ай! ай! ничего, ничего... молчание.

Сегодня, однако ж, меня как бы светом озарило: я вспомнил тот разговор двух собачонок, который слышал я на Невском проспекте. «Хорошо, — подумал я сам в себе, — я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти дрянные собачонки. Там я, верно, кое-что узнаю». Признаюсь, я даже подозвал было к себе один раз Меджи и сказал: «Послушай, Меджи, вот мы теперь одни; я, когда хочешь, и дверь запру, так что никто не будет видеть, — расскажи мне все, что знаешь про барышню, что она и как? Я тебе побожусь, что никому не открою». Но хитрая собачонка поджала хвост, съежилась вдвое и вышла тихо в дверь так, как будто бы ничего не слышала. Я давно подозревал, что собака гораздо умнее человека; я даже был уверен, что она может говорить, но что в ней есть только какое-то упрямство. Она чрезвычайный политик: все замечает, все шаги человека. Нет, во что бы то ни стало, я завтра же отправляюсь в дом Зверкова, допрошу Фидель и, если удастся, перехвачу все письма, которые писала к ней Меджи.

Ноября 12.

В два часа пополудни отправился с тем, чтобы непременно увидеть Фидель и допросить ее. Я терпеть не люблю капусты, запах которой валит из всех мелочных лавок в Мещанской; к тому же из-под ворот каждого дома несет такой ад, что я, заткнув нос, бежал во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускают копоти и дыму из своих мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно здесь прогуливаться. Когда я пробрался в шестой этаж и зазвонил в колокольчик, вышла девчонка, не совсем дурная собою, с маленькими веснушками. Я узнал ее. Это была та самая, которая шла вместе со старушкою. Она немножко закраснелась, и я тотчас смекнул: ты, голубушка, жениха хочешь. «Что вам угодно?» — сказала она. «Мне нужно поговорить с вашей собачонкой». Девчонка была глупа! я сейчас узнал, что глупа! Собачонка в это время прибежала с лаем; я хотел ее схватить, но, мерзкая, чуть не схватила меня зубами за нос. Я увидал, однако же, в углу ее лукошко. Э, вот этого мне и нужно! Я подошел к нему, перерыл солому в деревянной коробке и, к необыкновенному удовольствию своему, вытащил небольшую связку маленьких бумажек. Скверная собачонка, увидевши это,

сначала укусила меня за икру, а потом, когда пронюхала, что я взял бумаги, начала визжать и ластиться, но я сказал: «Нет, голубушка, прощай!» — и бросился бежать. Я думаю, что девчонка приняла меня за сумасшедшего, потому что испугалась чрезвычайно. Пришедши домой, я хотел было тот же час приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свечах несколько дурно вижу. Но Мавра вздумала мыть пол. Эти глупые чухонки всегда некстати чистоплотны. И потому я пошел прохаживаться и обдумывать это происшествие. Теперь-то наконец я узнаю все дела, помышления, все эти пружины и доберусь наконец до всего. Эти письма мне всё откроют. Собаки народ умный, они знают все политические отношения, и потому, верно, там будет все: портрет и все дела этого мужа. Там будет что-нибудь и о той, которая... ничего, молчание! К вечеру я пришел домой. Большею частию лежал на кровати.

Ноября 13.

А ну, посмотрим: письмо довольно четкое. Однако же в почерке все есть как будто что-то собачье. Прочитаем:

Милая Фидель, я все не могу привыкнуть к твоему мещанскому имени. Как будто бы уже не могли дать тебе лучшего? Фидель, Роза — какой пошлый тон! однако ж все это в сторону. Я очень рада, что мы вздумали писать друг к другу.

Письмо писано очень правильно. Пунктуация и даже буква ѣ везде на своем месте. Да эдак просто не напишет и наш начальник отделения, хотя он и толкует, что где-то учился в университете. Посмотрим далее:

Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другим есть одно из первых благ на свете.

Гм! мысль почерпнута из одного сочинения, переведенного с немецкого. Названия не припомню.

Я говорю это по опыту, хотя и не бегала по свету далее ворот нашего дома. Моя ли жизнь не протекает в удовольствии? Моя барышня, которую папа называет Софи, любит меня без памяти.

Ай, ай!.. ничего, ничего. Молчание!

Папá тоже очень часто ласкает. Я пью чай и кофий со сливками. Ах, ma chere, я должна тебе сказать, что я вовсе не вижу удовольствия

в больших обглоданных костях, которые жрет на кухне наш Полкан. Кости хороши только из дичи, и притом тогда, когда еще никто не высосал из них мозга. Очень хорошо мешать несколько соусов вместе, но только без каперсов и без зелени; но я не знаю ничего хуже обыкновения давать собакам скатанные из хлеба шарики. Какой-нибудь сидящий за столом господин, который в руках своих держал всякую дрянь, начнет мять этими руками хлеб, подзовет тебя и сунет тебе в зубы шарик. Отказаться как-то неучтиво, ну и ешь; с отвращением, а ешь...

Черт знает что такое! Экой вздор! Как будто бы не было предмета получше, о чем писать. Посмотрим на другой странице. Не будет ли чего подельнее.

Я с большою охотою готова тебя уведомлять о всех бывающих у нас происшествиях. Я уже тебе кое-что говорила о главном господине, которого Софи называет папа. Это очень странный человек.

А! вот наконец! Да, я знал: у них политический взгляд на все предметы. Посмотрим, что папа:

...очень странный человек. Он больше молчит. Говорит очень редко; но неделю назад беспрестанно говорил сам с собою: «Получу или не получу?» Возьмет в одну руку бумажку, другую сложит пустую и говорит: «Получу или не получу?» Один раз он обратился и ко мне с вопросом: «Как ты думаешь, Меджи? получу или не получу?» Я ровно ничего не могла понять, понюхала его сапог и ушла прочь. Потом, ma chère, через неделю папа́ пришел в большой радости. Все утро ходили к нему господа в мундирах и с чем-то поздравляли. За столом он был так весел, как я еще никогда не видала, отпускал анекдоты, а после обеда поднял меня к своей шее и сказал: «А посмотри, Меджи, что это такое». Я увидела какую-то ленточку. Я нюхала ее, но решительно не нашла никакого аромата; наконец потихоньку лизнула: соленое немного.

Гм! Эта собачонка, мне кажется, уже слишком... чтобы ее не высекли! А! так он честолюбец! Это нужно взять к сведению.

Прощай, ma chère, я бегу и прочее... и прочее... Завтра окончу письмо. Ну, здравствуй! Я теперь снова с тобою. Сегодня барышня моя Софи...

А! ну, посмотрим, что Софи. Эх, канальство!.. Ничего, ничего... будем продолжать.

...барышня моя Софи была в чрезвычайной суматохе. Она собиралась на бал, и я обрадовалась, что в отсутствие ее могу писать к тебе. Моя Софи всегда чрезвычайно рада ехать на бал, хотя при одевании всегда почти сердится. Я никак не понимаю, ma chère, удовольствия ехать на бал. Софи приезжает с балу домой в шесть часов утра, и я всегда почти угадываю

по ее бледному и тощему виду, что ей, бедняжке, не давали там есть. Я, признаюсь, никогда бы не могла так жить. Если бы мне не дали соуса с рябчиком или жаркого куриных крылышек, то... я не знаю, что бы со мною было. Хорош также соус с кашкою. А морковь, или репа, или артишоки никогда не будут хороши...

Чрезвычайно неровный слог. Тотчас видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит собачиною. Посмотрим-ка еще в одно письмецо. Что-то длинновато. Гм! и числа не выставлено.

Ах, милая! как ощутительно приближение весны. Сердце мое бьется, как будто все чего-то ожидает. В ушах у меня вечный шум, так что я часто, поднявши ножку, стою несколько минут, прислушиваясь к дверям. Я тебе открою, что у меня много куртизанов. Я часто, сидя на окне, рассматриваю их. Ах, если б ты знала, какие между ними есть уроды. Иной преаляповатый, дворняга, глуп страшно, на лице написана глупость, преважно идет по улице и воображает, что он презнатная особа, думает, что так на него и заглядятся все. Ничуть. Я даже и внимания не обратила, так как бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается перед моим окном! Если бы он стал на задние лапы, чего, грубиян, он, верно, не умеет, — то он бы был целою головою выше папа моей Софи, который тоже довольно высокого роста и толст собою. Этот болван, должно быть, наглец преужасный. Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало. Хотя бы поморщился! высунул свой язык, повесил огромные уши и глядит в окно — такой мужик! Но неужели ты думаешь, ma chere, что сердце мое равнодушно ко всем исканиям, — ах нет... Если бы ты видела одного кавалера, перелезающего через забор соседнего дома, именем Трезора. Ах, ma chere, какая у него мордочка!

Тьфу, к черту!.. Экая дрянь!.. И как можно наполнять письма эдакими глупостями. Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека; я требую пита — той, которая бы питала и услаждала мою душу; а вместо того эдакие пустяки... перевернем через страницу, не будет ли лучше:

...Софи сидела за столиком и что-то шила. Я глядела в окно, потому что я люблю рассматривать прохожих. Как вдруг вошел лакей и сказал: «Теплов!» — «Проси, — закричала Софи и бросилась обнимать меня... — Ах, Меджи, Меджи! Если б ты знала, кто это: брюнет, камер-юнкер, а глаза какие! черные и светлые, как огонь», — и Софи убежала к себе. Минуту спустя вошел молодой камер-юнкер с черными бакенбардами, подошел к зеркалу, поправил волоса и осмотрел комнату. Я поворчала и села на свое место. Софи скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье; а я себе так, как будто не замечая ничего, продолжала глядеть в окошко; однако ж

голову наклонила несколько набок и старалась услышать, о чем они говорят. Ах, ma chère! о каком вздоре они говорили! Они говорили о том, как одна дама в танцах вместо одной какой-то фигуры сделала другую; также, что какой-то Бобов был очень похож в своем жабо на аиста и чуть было не упал; что какая-то Лидина воображает, что у ней голубые глаза, между тем как они зеленые, — и тому подобное. «Куда ж, — подумала я сама в себе, — если сравнить камер-юнкера с Трезором!» Небо! какая разница! Во-первых, у камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, как будто бы он обвязал его черным платком; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самом лбу белая лысинка. Талию Трезора и сравнить нельзя с камер-юнкерскою. А глаза, приемы, ухватки совершенно не те. О, какая разница! Я не знаю, ma chère, что она нашла в своем Теплове. Отчего она так им восхищается?..

Мне самому кажется, здесь что-нибудь да не так. Не может быть, чтобы ее мог так обворожить камер-юнкер. Посмотрим далее:

Мне кажется, если этот камер-юнкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у папа в кабинете. Ах, ma chere, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке…

Какой же бы это чиновник?..

Фамилия его престранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папа всегда посылает его вместо слуги.

Мне кажется, что эта мерзкая собачонка метит на меня. Где ж у меня волоса как сено?

Софи никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него.

Врешь ты, проклятая собачонка! Экой мерзкий язык! Как будто я не знаю, что это дело зависти. Как будто я не знаю, чьи здесь штуки. Это штуки начальника отделения. Ведь поклялся же человек непримиримою ненавистью — и вот вредит да и вредит, на каждом шагу вредит. Посмотрим, однако же, еще одно письмо. Там, может быть, дело раскроется само собою.

Ma chère Фидель, ты извини меня, что так давно не писала. Я была в совершенном упоении. Подлинно справедливо сказал какой-то писатель, что любовь есть вторая жизнь. Притом же у нас в доме теперь большие перемены. Камер-юнкер теперь у нас каждый день. Софи влюблена в него до безумия. Папа очень весел. Я даже слышала от нашего Григория, который метет пол и всегда почти разговаривает сам с собою, что скоро будет свадьба; потому что папа хочет непременно видеть Софи или за генералом, или за камер-юнкером, или за военным полковником…

Черт возьми! я не могу более читать... Всё или камер-юнкер, или генерал. Все, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам. Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою, — срывает у тебя камер-юнкер или генерал. Черт побери! Желал бы я сам сделаться генералом: не для того, чтобы получить руку и прочее, нет, хотел бы быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут увиваться и делать все эти разные придворные штуки и экивоки, и потом сказать им, что я плюю на вас обоих. Черт побери. Досадно! Я изорвал в клочки письма глупой собачонки.

Декабря 3.

Не может быть. Враки! Свадьбе не бывать! Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего, кроме достоинство; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Может быть, я сам не знаю, кто я таков. Ведь сколько примеров по истории: какой-нибудь простой, не то уже чтобы дворянин, а просто какой-нибудь мещанин или даже крестьянин, — и вдруг открывается, что он какой-нибудь вельможа, а иногда даже и государь. Когда из мужика да иногда выходит эдакое, что же из дворянина может выйти? Вдруг, например, я вхожу в генеральском мундире: у меня и на правом плече эполета, и на левом плече эполета, через плечо голубая лента — что? как тогда запоет красавица моя? что скажет и сам папа, директор наш? О, это большой честолюбец! это масон, непременно масон, хотя он и прикидывается таким и эдаким, но я тотчас заметил, что он масон: он если даст кому руку, то высовывает только два пальца. Да разве я не могу быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором, или интендантом, или там другим каким-нибудь? Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?

Декабря 5.

Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника и оттого происходят возмущения. Мне кажется это чрезвычайно странным. Как же может быть престол упразднен? Говорят, какая-то донна должна взойти на престол. Не может взойти донна на престол. Никак не может. На престоле должен быть король. Да, говорят, нет короля, — не может статься, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь находится в неизвестности. Он, статься может, находится там же, но какие-нибудь или фамильные причины, или опасения со стороны соседственных держав, как-то: Франции и других земель, заставляют его скрываться, или есть какие-нибудь другие причины.

Декабря 8.

Я было уже совсем хотел идти в департамент, но разные причины и размышления меня удержали. У меня всё не могли выйти из головы испанские дела. Как же может это быть, чтобы донна сделалась королевою? Не позволят этого. И, во-первых, Англия не позволит. Да притом и дела политические всей Европы: австрийский Император, наш Государь… Признаюсь, эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться во весь день. Мавра замечала мне, что я за столом был чрезвычайно развлечен. И точно, я две тарелки, кажется, в рассеянности бросил на пол, которые тут же расшиблись. После обеда ходил под горы. Ничего поучительного не мог извлечь. Большею частию лежал на кровати и рассуждал о делах Испании.

Год 2000 апреля 43 числа.

Сегодняшний день — есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался

никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря. Сначала я объявил Мавре, кто я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха. Она, глупая, еще никогда не видала испанского короля. Я, однако же, старался ее успокоить и в милостивых словах старался ее уверить в благосклонности, и что я вовсе не сержусь за то, что она мне иногда дурно чистила сапоги. Ведь это черный народ. Им нельзя говорить о высоких материях. Она испугалась оттого, что находится в уверенности, будто все короли в Испании похожи на Филиппа II. Но я растолковал ей, что между мною и Филиппом нет никакого сходства и что у меня нет ни одного капуцина... В департамент не ходил... Черт с ним! Нет, приятели, теперь не заманите меня; я не стану переписывать гадких бумаг ваших!

Мартобря 86 числа.
Между днем и ночью.

Сегодня приходил наш экзекутор с тем, чтобы я шел в департамент, что уже более трех недель как я не хожу на должность. Я для шутки пошел в департамент. Начальник отделения думал, что я ему поклонюсь и стану извиняться, но я посмотрел на него равнодушно, не слишком гневно и не слишком благосклонно, и сел на свое место, как будто никого не замечая. Я глядел на всю канцелярскую сволочь и думал: «Что, если бы вы знали, кто между вами сидит... Господи Боже! какую бы вы ералашь подняли, да и сам начальник отделения начал бы мне так же кланяться в пояс, как он теперь кланяется перед директором». Передо мною положили какие-то бумаги, чтобы я сделал из них экстракт. Но я и пальцем не притронулся. Через несколько минут все засуетилось. Сказали, что директор идет. Многие чиновники побежали наперерыв, чтобы показать себя перед ним. Но я ни с места. Когда он проходил чрез наше отделение, все застегнули на пуговицы свои фраки; но я совершенно ничего! Что за директор! чтобы я встал перед ним — никогда! Какой он директор?

Он пробка, а не директор. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего. Вот которою закупоривают бутылки. Мне больше всего было забавно, когда подсунули мне бумагу, чтобы я подписал. Они думали, что я напишу на самом кончике листа: столоначальник такой-то. Как бы не так! а я на самом главном месте, где подписывается директор департамента, черкнул: «Фердинанд VIII». Нужно было видеть, какое благоговейное молчание воцарилось; но я кивнул только рукою, сказав: «Не нужно никаких знаков подданничества!» — и вышел. Оттуда я пошел прямо в директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотел меня не впустить, но я ему такое сказал, что он и руки опустил. Я прямо пробрался в уборную. Она сидела перед зеркалом, вскочила и отступила от меня. Я, однако же, не сказал ей, что я испанский король. Я сказал только, что счастие ее ожидает такое, какого она и вообразить себе не может, и что, несмотря на козни неприятелей, мы будем вместе. Я больше ничего не хотел говорить и вышел. О, это коварное существо — женщина! Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена: я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что онато и то, — она любит только одного черта. Вон видите, из ложи первого яруса она наводит лорнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет, она глядит на черта, что у него стоит за спиною. Вон он спрятался к нему во фрак. Вон он кивает оттуда к ней пальцем! И она выйдет за него. Выйдет. А вот эти все, чиновные отцы их, вот эти все, что юлят во все стороны и лезут ко двору и говорят, что они патриоты и то и се: аренды, аренды хотят эти патриоты! Мать, отца, Бога продадут за деньги, честолюбцы, христопродавцы! Все это честолюбие, и честолюбие оттого, что под язычком находится маленький пузырек и в нем небольшой червячок величиною с булавочную головку, и это все делает какой-то цирюльник, который живет в Гороховой. Я не помню, как его зовут; но достоверно известно, что он, вместе с одною повивальною бабкою, хочет по всему свету распространить магометанство, и оттого уже, говорят, во Франции большая часть народа признает веру Магомета.

Никоторого числа.
День был без числа.

Ходил инкогнито по Невскому проспекту. Проезжал Государь Император. Весь город снял шапки, и я также; однако же не подал никакого вида, что я испанский король. Я почел неприличным открыться тут же при всех; потому, что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сих пор не имею королевского костюма. Хотя бы какую-нибудь достать мантию. Я хотел было заказать портному, но это совершенные ослы, притом же они совсем небрегут своею работою, ударились в аферу и большею частию мостят камни на улице. Я решился сделать мантию из нового вицмундира, который надевал всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я сам решился шить, заперши дверь, чтобы никто не видал. Я изрезал ножницами его весь, потому что покрой должен быть совершенно другой.

Числа не помню. Месяца тоже не было.
Было черт знает что такое.

Мантия совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надел ее. Однако же я еще не решаюсь представляться ко двору. До сих пор нет депутации из Испании. Без депутатов неприлично. Никакого не будет веса моему достоинству. Я ожидаю их с часа на час.

Числа 1-го.

Удивляет меня чрезвычайно медленность депутатов. Какие бы причины могли их остановить. Неужели Франция? Да, это самая неблагоприятствующая держава. Ходил справляться на почту, не прибыли ли испанские депутаты. Но почтмейстер чрезвычайно глуп, ничего не знает: нет, говорит, здесь нет никаких испанских депутатов, а письма если угодно написать, то мы примем по установленному курсу. Черт возьми! что письмо! Письмо вздор. Письма пишут аптекари...

Мадрид. Февруарий тридцатый.

Итак, я в Испании, и это случилось так скоро, что я едва мог очнуться. Сегодня поутру явились ко мне депутаты испанские, и я вместе с ними сел в карету. Мне показалась странною

необыкновенная скорость. Мы ехали так шибко, что через полчаса достигли испанских границ. Впрочем, ведь теперь по всей Европе чугунные дороги, и пароходы ездят чрезвычайно скоро. Странная земля Испания: когда мы вошли в первую комнату, то я увидел множество людей с выбритыми головами. Я, однако же, догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они бреют головы. Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного канцлера, который вел меня за руку; он толкнул меня в небольшую комнату и сказал: «Сиди тут, и если ты будешь называть себя королем Фердинандом, то я из тебя выбью эту охоту». Но я, зная, что это было больше ничего кроме искушение, отвечал отрицательно, — за что канцлер ударил меня два раза палкою по спине так больно, что я чуть было не вскрикнул, но удержался, вспомнивши, что это рыцарский обычай при вступлении в высокое звание, потому что в Испании еще и доныне ведутся рыцарские обычаи. Оставшись один, я решился заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай. Но меня, однако же, чрезвычайно огорчало событие, имеющее быть завтра. Завтра в семь часов совершится странное явление: земля сядет на луну. Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна — такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И по тому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля вещество тяжелое и может, насевши, размолоть в муку носы наши, то мною овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу Государственного совета, с тем чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну. Бритые

гранды, которых я застал в зале Государственного совета великое множество, были народ очень умный, и когда я сказал: «Господа, спасем луну, потому что земля хочет сесть на нее», — то все в ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желание, и многие полезли на стену, с тем чтобы достать луну; но в это время вошел великий канцлер. Увидевши его, все разбежались. Я, как король, остался один. Но канцлер, к удивлению моему, ударил меня палкою и прогнал в мою комнату. Такую имеют власть в Испании народные обычаи!

Январь того же года,
случившийся после февраля.

До сих пор не могу понять, что это за земля Испания. Народные обычаи и этикеты двора совершенно необыкновенны. Не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю ничего. Сегодня выбрили мне голову, несмотря на то что я кричал изо всей силы о нежелании быть монахом. Но я уже не могу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мне на голову капать холодною водою. Такого ада я еще никогда не чувствовал. Я готов был впасть в бешенство, так что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значения этого странного обычая. Обычай глупый, бессмысленный! Для меня непостижима безрассудность королей, которые до сих пор не уничтожают его. Судя по всем вероятиям, догадываюсь: не попался ли я в руки инквизиции, и тот, которого я принял за канцлера, не есть ли сам великий инквизитор. Только я все не могу понять, как же мог король подвергнуться инквизиции. Оно, правда, могло со стороны Франции, и особенно Полинияк. О, это бестия Полинияк! Поклялся вредить мне по смерть. И вот гонит да и гонит; но я знаю, приятель, что тебя водит англичанин. Англичанин большой политик. Он везде юлит. Это уже известно всему свету, что когда Англия нюхает табак, то Франция чихает.

Число 25.

Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал: «Поприщин!» — я ни слова. Потом: «Аксентий Иванов! титулярный советник!

дворянин!» Я все молчу. «Фердинанд VIII, король испанский!» Я хотел было высунуть голову, но после подумал: «Нет, брат, не надуешь! знаем мы тебя: опять будешь лить холодную воду мне на голову». Однако же он увидел меня и выгнал палкою из-под стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочем, за все это вознаградило меня нынешнее открытие: я узнал, что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями. Великий инквизитор, однако же, ушел от меня разгневанный и грозя мне каким-то наказанием. Но я совершенно пренебрег его бессильною злобою, зная, что он действует, как машина, как орудие англичанина.

Чи 34 сло Мц гдао. ϥvϑdǝǝф 349.

Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом лито мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?

Рим

Отрывок

Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши черные, как уголь, тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска. Таковы очи у альбанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос тяжеловесной косою вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как ни поворотит она сияющий снег своего лица — образ ее весь отпечатлелся в сердце. Станет ли профилем — благородством дивным дышит профиль, и мечется красота линий, каких не создавала кисть. Обратится ли затылком с подобранными кверху чудесными волосами, показав сверкающую позади шею и красоту не виданных землею плеч, — и там она чудо! Но чудеснее всего, когда глянет она прямо очами в очи, водрузивши хлад и замиранье в сердце. Полный голос ее звенит, как медь. Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец созданья, от плеч до античной дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге. Куда ни пойдет она — уже несет с собой картину: спешит ли ввечеру к фонтану с кованой медной вазой на голове, — вся проникается чудным согласием обнимающая ее окрестность: легче уходят вдаль чудесные линии альбанских гор, синее глубина римского неба, прямей летит вверх кипарис, и красавица южных дерев, римская пинна, тонее и чище рисуется на небе своею зонтикообразною, почти плывущею на воздухе верхушкою. И всё: и самый фонтан, где уже столпились в кучу на мраморных ступенях, одна выше другой, альбанские горожанки, переговаривающиеся сильными серебряными голосами, пока поочередно бьет вода звонкой алмазной дугой в подставляемые медные чаны, и самый фонтан, и самая толпа — все, кажется, для нее, чтобы ярче выказать торжествующую красоту, чтобы видно было, как она предводит всем, подобно как царица предводит за собою придворный чин свой. В праздничный ли день, когда темная древесная галерея, ведущая из Альбано в Кастель-Гандольфо, вся полна

празднично убранного народа, когда мелькают под сумрачными ее сводами щеголи миненти в бархатном убранстве, с яркими поясами и золотистым цветком на пуховой шляпе, бредут или несутся вскачь ослы с полузажмуренными глазами, живописно неся на себе стройных и сильных альбанских и фраскатанских женщин, далеко блистающих белыми головными уборами, или таща вовсе не живописно, с трудом и спотыкаясь, длинного неподвижного англичанина в гороховом непроникаемом макинтоше, скорчившего в острый угол свои ноги, чтобы не зацепить ими земли, или неся художника в блузе, с деревянным ящиком на ремне и ловкой вандиковской бородкой, а тень и солнце бегут попеременно по всей группе, — и тогда, и в оный праздничный день при ней далеко лучше, чем без нее. Глубина галереи выдает ее из сумрачной темноты своей всю сверкающую, всю в блеске. Пурпурное сукно альбанского ее наряда вспыхивает, как ищерь, тронутое солнцем. Чудный праздник летит из лица ее навстречу всем. И, повстречав ее, останавливаются как вкопанные и щеголь миненте с цветком за шляпой, издавши невольное восклицание; и англичанин в гороховом макинтоше, показав вопросительный знак на неподвижном лице своем; и художник с вандиковской бородкой, долее всех остановившийся на одном месте, подумывая: «То-то была бы чудная модель для Дианы, гордой Юноны, соблазнительных Граций и всех женщин, какие только передавались на полотно!» — и дерзновенно думая в то же время: то-то был бы рай, если б такое диво украсило навсегда смиренную его мастерскую!

Но кто же тот, чей взгляд неотразимее вперился за ее следом? Кто сторожит ее речи, движенья и движенья мыслей на ее лице? Двадцатипятилетний юноша, римский князь, потомок фамилии, составлявшей когда-то честь, гордость и бесславие средних веков, ныне пустынно догорающей в великолепном дворце, исписанном фресками Гверчина и Караччей, с потускневшей картинной галереей, с полинявшими штофами, лазурными столами и поседевшим как лунь maestro di casa. Его-то увидали недавно римские улицы, несущего свои черные очи, метатели огней из-за перекинутого через плечо плаща, нос, очеркнутый античной линией, слоновую белизну лба и брошенный на него летучий шелковый локон. Он появился в Риме после пятнадцати лет отсутствия, появился гордым юношею вместо еще недавно бывшего дитяти.

Но читателю нужно знать непременно, как все это свершилось, и потому пробежим наскоро историю его жизни, еще молодой, но уже обильной многими сильными впечатлениями. Первоначальное детство его протекло в Риме; воспитывался он так, как в обычае у доживающих век свой римских вельмож. Учитель, гувернер, дядька и все что угодно, был у него аббат, строгий классик, почитатель писем Пиетра Бембо, сочинений Джиованни делла Casa и пяти-шести песней Данта, читавший их не иначе как с сильными восклицаниями: «Dio, che cosa divina!» — и потом через две строки: «Diavolo, che divina cosa!» — в чем состояла почти вся художественная оценка и критика, обращавший остальной разговор на броколи и артишоки, любимый свой предмет, знавший очень хорошо, в какое время лучше телятина, с какого месяца нужно начинать есть козленка, любивший обо всем этом поболтать на улице, встретясь с приятелем, другим аббатом, обтягивавший весьма ловко полные икры свои в шелковые черные чулки, прежде запихнувши под них шерстяные, чистивший себя регулярно один раз в месяц лекарством olio di ricino в чашке кофию и полневший с каждым днем и часом, как полнеют все аббаты. Натурально, что молодой князь узнал не много под таким началом. Узнал он только, что латинский язык есть отец итальянского, что монсиньоры бывают трех родов — одни в черных чулках, другие в лиловых, а третьи такие, которые бывают почти то же, что кардиналы; узнал несколько писем Пиетра Бембо к тогдашним кардиналам, большею частью поздравительных; узнал хорошо улицу Корсо, по которой ходил прогуливаться с аббатом, да виллу Боргезе, да две-три лавки, перед которыми останавливался аббат для закупки бумаги, перьев и нюхательного табаку, да аптеку, где брал он свое olio di ricino. В этом заключался весь горизонт сведений воспитанника. О других землях и государствах аббат намекнул в каких-то неясных и нетвердых чертах: что есть земля Франция, богатая земля, что англичане — хорошие купцы и любят ездить, что немцы — пьяницы, и что на севере есть варварская земля Московия, где бывают такие жестокие морозы, от которых может лопнуть мозг человеческий. Далее сих сведений воспитанник вероятно бы не узнал, достигнув до двадцатипятилетнего своего возраста, если б старому князю не пришла вдруг в голову идея переменить старую методу воспитанья и дать

сыну образование европейское, что можно было отчасти приписать влиянию какой-то французской дамы, на которую он с недавнего времени стал наводить беспрестанно лорнет на всех театрах и гуляньях, засовывая поминутно свой подбородок в огромный белый жабо и поправляя черный локон на парике. Молодой князь был отправлен в Лукку, в университет. Там, во время шестилетнего его пребыванья, развернулась его живая итальянская природа, дремавшая под скучным надзором аббата. В юноше оказалась душа, жадная наслаждений избранных, и наблюдательный ум. Итальянский университет, где наука влачилась, скрытая в черствых схоластических образах, не удовлетворял новой молодежи, которая уже слышала урывками о ней живые намеки, перелетавшие через Альпы. Французское влияние становилось заметно в Верхней Италии: оно заносилось туда вместе с модами, виньетками, водевилями и напряженными произведениями необузданной французской музы, чудовищной, горячей, но местами не без признаков таланта. Сильное политическое движение в журналах с июльской революции отозвалось и здесь. Мечтали о возвращении погибшей итальянской славы, с негодованием глядели на ненавистный белый мундир австрийского солдата. Но итальянская природа, любительница покойных наслаждений, не вспыхнула восстанием, над которым не позадумался бы француз; все окончилось только непреодолимым желанием побывать в заальпийской, в настоящей Европе. Вечное ее движение и блеск заманчиво мелькали вдали. Там была новость, противуположность ветхости итальянской, там начиналось XIX столетие, европейская жизнь. Сильно порывалась туда душа молодого князя, чая приключений и света, и всякий раз тяжелое чувство грусти его осеняло, когда он видел совершенную к тому невозможность: ему был известен непреклонный деспотизм старого князя, с которым было не под силу ладить, — как вдруг получил он от него письмо, в котором предписано было ему ехать в Париж, окончить ученье в тамошнем университете и дождаться в Лукке только приезда дяди, с тем чтобы отправиться с ним вместе. Молодой князь прыгнул от радости, перецеловал всех своих друзей, угостил всех в загородной остерии и через две недели был уже в дороге, с сердцем, готовым встретить радостным биеньем всякий предмет. Когда переехали Симплон, приятная мысль пробежала в голове его: он на другой

стороне, он в Европе! Дикое безобразие швейцарских гор, громоздившихся без перспективы, без легких далей, несколько ужаснуло его взор, приученный к высоко-спокойной нежащей красоте итальянской природы. Но он просветлел вдруг при виде европейских городов, великолепных светлых гостиниц, удобств, расставленных всякому путешественнику, располагающемуся как дома. Щеголеватая чистота, блеск — все было ему ново. В немецких городах несколько поразил его странный склад тела немцев, лишенный стройного согласия красоты, чувство которой зарождено уже в груди итальянца; немецкий язык так же поразил неприятно его музыкальное ухо. Но перед ним была уже французская граница, сердце его дрогнуло. Порхающие звуки европейского модного языка, лаская, облобызали слух его. Он с тайным удовольствием ловил скользящий шелест их, который уже в Италии казался ему чем-то возвышенным, очищенным от всех судорожных движений, какими сопровождаются сильные языки полуденных народов, не умеющих держать себя в границах. Еще большее впечатление произвел на него особый род женщин — легких, порхающих. Его поразило это улетучившееся существо с едва вызначавшимися легкими формами, с маленькой ножкой, с тоненьким воздушным станом, с ответным огнем во взорах и легкими, почти невыговаривающимися речами. Он ждал с нетерпением Парижа, населял его башнями, дворцами, составил себе по-своему образ его и с сердечным трепетом увидел наконец близкие признаки столицы: наклеенные афиши, исполинские буквы, умножавшиеся дилижансы, омнибусы... наконец понеслись домы предместья. И вот он в Париже, бессвязно обнятый его чудовищною наружностью, пораженный движением, блеском улиц, беспорядком крыш, гущиной труб, безархитектурными сплоченными массами домов, облепленных тесной лоскутностью магазинов, безобразьем нагих, неприслоненных боковых стен, бесчисленной смешанной толпой золотых букв, которые лезли на стены, на окна, на крыши и даже на трубы, светлой прозрачностью нижних этажей, состоявших только из одних зеркальных стекол. Вот он, Париж, это вечное волнующееся жерло, водомет, мечущий искры новостей, просвещенья, мод, изысканного вкуса и мелких, но сильных законов, от которых не властны оторваться и сами порицатели их, великая выставка всего, что

производит мастерство, художество и всякий талант, скрытый в невидных углах Европы, трепет и любимая мечта двадцатилетнего человека, размен и ярмарка Европы! Как ошеломленный, не в силах собрать себя, пошел он по улицам, пересыпавшимся всяким народом, исчерченным путями движущихся омнибусов, поражаясьто видом кафе, блиставшего неслыханным царским убранством, то знаменитыми крытыми переходами, где оглушал его глухой шум нескольких тысяч шумевших шагов сплошно двигавшейся толпы, которая вся почти состояла из молодых людей, и где ослеплял его трепещущий блеск магазинов, озаряемых светом, падавшим сквозь стеклянный потолок в галерею;то останавливаясь перед афишами, которые миллионами пестрели и толпились в глаза, крича о двадцати четырех ежедневных представлениях и бесчисленном множестве всяких музыкальных концертов;то растерявшись, наконец, совсем, когда вся эта волшебная куча вспыхнула ввечеру при волшебном освещении газа — все домы вдруг стали прозрачными, сильно засиявши снизу; окна и стекла в магазинах, казалось, исчезли, пропали вовсе, и все, что лежало внутри их, осталось прямо среди улицы нехранимо, блистая и отражаясь в углубленье зеркалами. «Ma quest'è una cosa divina!» — повторял живой итальянец.

И жизнь его потекла живо, как течет жизнь многих парижан и толпы молодых иностранцев, наезжающих в Париж. В девять часов утра, схватившись с постели, он уже был в великолепном кафе с модными фресками за стеклом, с потолком, облитым золотом, с листами длинных журналов и газет, с благородным приспешником, проходившим мимо посетителей, держа великолепный серебряный кофейник в руке. Там пил он с сибаритским наслаждением свой жирный кофий из громадной чашки, нежась на эластическом, упругом диване и вспоминая о низеньких, темных итальянских кафе с неопрятным боттегой, несущим невымытые стеклянные стаканы. Потом принимался он за чтение колоссальных журнальных листов и вспомнил о чахоточных журналишках Италии, о каком-нибудь «Diario di Roma», «il Pirato» и тому подобных, где помещались невинные политические известия и анекдоты чуть не о Термопилах и персидском царе Дарии. Тут, напротив, везде видно было кипевшее перо. Вопросы на вопросы, возраженья на возраженья — казалось, всякий из всех

сил топорщился: тот грозил близкой переменой вещей и предвещал разрушенье государству. Всякое чуть заметное движение и действие камер и министерства разрасталось в движение огромного размаха между упорными партиями и почти отчаянным криком слышалось в журналах. Даже страх чувствовал итальянец, читая их, думая, что завтра же вспыхнет революция, как будто в чаду выходил из литературного кабинета, и только один Париж с своими улицами мог выветрить в одну минуту из головы весь этот груз. Его порхающий по всему блеск и пестрое движение, после этого тяжелого чтения, казались чем-то похожим на легкие цветки, взбежавшие по оврагу пропасти. В один миг он переселялся весь на улицу и сделался, подобно всем, зевакою во всех отношениях. Он зевал пред светлыми, легкими продавицами, только что вступившими в свою весну, которыми были наполнены все парижские магазины, как будто бы суровая наружность мужчины была неприлична и мелькала бы темным пятном из-за цельных стекол. Он глядел, как заманчиво щегольские тонкие руки, вымытые всякими мылами, блистая, заворачивали бумажки конфект, меж тем как глаза светло и пристально вперялись на проходящих, как рисовалась в другом месте светловолосая головка в картинном склоне, опустивши длинные ресницы в страницы модного романа, не видя, что около нее собралась уже куча молодежи, рассматривающая и ее легкую снежную шейку, и всякий волосок на голове ее, подслушивающая самое колебание груди, произведенное чтением. Он зевал и перед книжной лавкой, где, как пауки, темнели на слоновой бумаге черные виньетки, набросанные размашисто, сгоряча, так что иногда и разобрать нельзя было, что на них такое, и глядели иероглифами странные буквы. Он зевал и перед машиной, которая одна занимала весь магазин и ходила за зеркальным стеклом, катая огромный вал, растирающий шоколад. Он зевал перед лавками, где останавливаются по целым часам парижские крокодилы, засунув руки в карманы и разинув рот, где краснел в зелени огромный морской рак, воздымалась набитая трюфелями индейка с лаконическою надписью: «300 fr.» и мелькали золотистым пером и хвостами желтые и красные рыбы в стеклянных вазах. Он зевал и на широких булеварах, царственно проходящих поперек весь тесный Париж, где среди города стояли дерева в рост шестиэтажных домов, где на

асфальтовые тротуары валила наездная толпа и куча доморощенных парижских львов и тигров, не всегда верно изображаемых в повестях. И, назевавшись вдоволь и досыта, взбирался он к ресторану, где уже давно сияли газом зеркальные стены, отражая в себе бесчисленные толпы дам и мужчин, шумевших речами за маленькими столиками, разбросанными по залу. После обеда уже он спешил в театр, недоумевая только, который выбрать: на каждом из них своя знаменитость, на каждом свой автор, свой актер. Везде новость. Там блещет водевиль, живой, ветреный, как сам француз, новый всякий день, создавшийся весь в три минуты досуга, смешивший весь от начала до конца благодаря неистощимым капризам веселости актера; там горячая драма. И он невольно сравнил сухую, тощую драматическую сцену Италии, где повторялись один и тот же старик Гольдони, знаемый всеми наизусть, или же новые комедийки, невинные и наивные до того, что ребенок бы соскучился над ними; он сравнил их тощую группу с этим живым, торопливым драматическим наводнением, где всё ковалось, пока было горячо, где всякий боялся только, чтобы не простыла его новость. Насмеявшись досыта, наволновавшись, наглядевшись, утомленный, подавленный впечатлениями, возвращался он домой и бросался в постель, которая, как известно, одна только нужна французу в его комнате; кабинетом, обедом и вечерним освещением он пользуется в публичных местах. Но князь, однако же, не позабыл с этим разнообразным зеваньем соединить занятий ума, которых требовала нетерпеливо душа его. Он принялся слушать всех знаменитых профессоров. Живая речь, часто восторженная, новые точки и стороны, подмеченные речивым профессором, были неожиданны для молодого итальянца. Он чувствовал, как стала спадать с глаз его пелена, как в другом, ярком виде восставали перед ним прежде не замеченные предметы и самый приобретенный им хлам кое-каких знаний, которые обыкновенно погибают у большей части людей без всяких применений, пробуждался и, оглянутый другим глазом, утверждался навсегда в его памяти. Он не пропустил также услышать ни одного знаменитого проповедника, публициста, оратора камерных прений и всего, чем шумно гремит в Европе Париж. Несмотря на то, что не всегда доставало ему средств, что старый князь присылал ему содержание как студенту, а не как князю,

он успел, однако же, найти случай побывать везде, найти доступ ко всем знаменитостям, о которых трубят, повторяя друг друга, европейские листки, даже увидал в лицо тех модных писателей, которых странными созданьями была поражена, наряду с другими, его пылкая молодая душа и в которых всем мнилось слышать еще небранные дотоле струны, неуловимые доселе изгибы страстей. Словом, жизнь итальянца приняла широкий, многосторонний образ, обнялась всем громадным блеском европейской деятельности. Разом, в один и тот же день, беззаботное зеванье и тревожное пробужденье, легкая работа глаз и напряженная ума, водевиль на театре, проповедник в церкви, политический вихрь журналов и камер, рукоплесканье в аудиториях, потрясающий гром консерваторного оркестра, воздушное блистанье танцующей сцены, громотня уличной жизни — какая исполинская жизнь для двадцатипятилетнего юноши! Нет лучшего места, как Париж; ни за что не променял бы он такой жизни. Как весело и любо жить в самом сердце Европы, где, идя, подымаешься выше, чувствуешь, что член великого всемирного общества! В голове его даже вертелась мысль отказаться вовсе от Италии и основаться навсегда в Париже. Италия казалась ему теперь каким-то темным заплеснелым углом Европы, где заглохла жизнь и всякое движенье.

Так пронеслись четыре пламенные года его жизни, — четыре года, слишком значительные для юноши, и к концу их уже многое показалось не в том виде, как было прежде. Во многом он разочаровался. Тот же Париж, вечно влекущий к себе иностранцев, вечная страсть парижан, уже казался ему много, много не тем, чем был прежде. Он видел, как вся эта многосторонность и деятельность его жизни исчезала без выводов и плодоносных душевных осадков. В движении вечного его кипенья и деятельности виделась теперь ему странная недеятельность, страшное царство слов вместо дел. Он видел, как всякий француз, казалось, только работал в одной разгоряченной голове; как это журнальное чтение огромных листов поглощало весь день и не оставляло часа для жизни практической; как всякий француз воспитывался этим странным вихрем книжной, типографически движущейся политики и, еще чуждый сословия, к которому принадлежал, еще не узнав на деле всех прав и отношений своих, уже приставал к той или другой партии, горячо и жарко принимая к сердцу все

интересы, становясь свирепо против своих супротивников, еще не зная в глаза ни интересов своих, ни супротивников... и слово политика опротивело наконец сильно итальянцу.

В движенье торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие и стремление к новости. Один силился пред другим во что бы то ни стало взять верх хотя бы на одну минуту. Купец весь капитал свой употреблял на одну только уборку магазина, чтобы блеском и великолепием его заманить к себе толпу. Книжная литература прибегала к картинкам и типографической роскоши, чтоб ими привлечь к себе охлаждающееся внимание. Странностью неслыханных страстей, уродливостью исключений из человеческой природы силились повести и романы овладеть читателем. Все, казалось, нагло навязывалось и напрашивалось само, без зазыва, как непотребная женщина, ловящая человека ночью на улице; все, одно перед другим, вытягивало повыше свою руку, как обступившая толпа надоедливых нищих. В самой науке, в ее одушевленных лекциях, которых достоинство не мог не признать он, теперь стало ему заметно везде желание выказаться, хвастнуть, выставить себя; везде блестящие эпизоды, и нет торжественного, величавого теченья всего целого. Везде усилия поднять доселе не замеченные факты и дать им огромное влияние иногда в ущерб гармонии целого, с тем только, чтобы оставить за собой честь открытия; наконец, везде почти дерзкая уверенность и нигде смиренного сознания собственного неведения, — и он привел себе на память стих, которым итальянец Альфиери, в едком расположенье своего духа, попрекнул французов:

Tutto fanno, nulla sanno,
Tutto sanno, nulla fanno;
Gira volta son Francesi,
Piu gli pesi, men ti danno.

Тоскливое расположение духа им овладело. Напрасно старался он развлекать себя, старался сойтись с людьми, которых уважал, но не сошлась итальянская природа с французским элементом. Дружба завязывалась быстро, но уже в один день француз выказывал себя всего до последней черты: на другой день нечего было и узнавать в нем, далее известной глубины уже нельзя было погрузить вопроса в его душу, не вонзалось далее острие мысли;

а чувства итальянца были слишком сильны, чтобы встретить себе полный ответ в легкой природе. И нашел он какую-то странную пустоту даже в сердцах тех, которым не мог отказать в уваженье. И увидел он наконец, что, при всех своих блестящих чертах, при благородных порывах, при рыцарских вспышках, вся нация была что-то бледное, несовершенное, легкий водевиль, ею же порожденный. Не почила на ней величественно-степенная идея. Везде намеки на мысли, и нет самых мыслей; везде полустрасти, и нет страстей, все не окончено, все наметано, набросано с быстрой руки; вся нация — блестящая виньетка, а не картина великого мастера.

Нашедшая ли внезапно на него хандра дала ему возможность увидать все в таком виде или внутреннее верное и свежее чувство итальянца было тому причиною, — то или другое, только Париж со всем своим блеском и шумом скоро сделался для него тягостной пустыней, и он невольно выбирал глухие, отдаленные концы его. Только в одну еще итальянскую оперу заходил он, там только как будто отдыхала душа его, и звуки родного языка теперь вырастали пред ним во всем могуществе и полноте. И стала представляться ему чаще забытая им Италия, вдали, в каком-то манящем свете; с каждым днем зазывы ее становились слышнее, и он решился наконец писать к отцу, чтобы позволил ему возвратиться в Рим, что в Париже оставаться более он не видит для себя нужды. Два месяца не получал он никакого ответа, ни даже обычных векселей, которые давно следовало ему получить. Сначала ожидал он терпеливо, зная капризный характер своего отца, наконец начало овладевать им беспокойство. Несколько раз на неделю наведывался к своему банкиру и всегда получал один и тот же ответ, что из Рима нет никаких известий. Отчаяние готово было вспыхнуть в душе его. Средства содержания уже давно у него все прекратились, уже давно сделал он у банкира заем, но и эти деньги давно вышли, давно уже он обедал, завтракал и жил кое-как в долг; косо и неприятно начинали посматривать на него — и хоть бы от когонибудь из друзей какое-нибудь известие. Тут-то он сильно почувствовал свое одиночество. В беспокойном ожидании бродил он в этом надоевшем насмерть городе. Летом он был для него еще невыносимее: все наездные толпы разлетелись по минеральным водам, по европейским гостиницам и дорогам. Призрак пустоты

виделся на всем. Домы и улицы Парижа были несносны, сады его томились сокрушительно между домов, палимых солнцем. Как убитый останавливался он над Сеной, на грузном, тяжелом мосту, на ее душной набережной, напрасно стараясь чем-нибудь позабыться, на что-нибудь заглядеться; тоска необъятная жрала его, и безыменный червь точил его сердце. Наконец судьба над ним умилосердилась — и в один день банкир вручил ему письмо. Оно было от дяди, который извещал его, что старый князь уже не существует, что он может приехать распорядиться наследством, которое требует его личного присутствия, потому что расстроено сильно. В письме был тощий билет, едва доставший на дорогу и на расплату четвертой доли долгов. Молодой князь не хотел медлить минуты, уговорил кое-как банкира отсрочить долг и взял место в курьерской карете. Казалось, страшная тягость свалилась с души его, когда скрылся из вида Париж и дохнуло на него свежим воздухом полей. В двое суток он уже был в Марселе, не хотел отдохнуть часу и того же вечера пересел на пароход. Средиземное море показалось ему родным: оно омывало берега его отчизны, и он посвежел уже, только глядя на одни бесконечные его волны. Трудно было изъяснить чувство, его обнявшее при виде первого итальянского города, — это была великолепная Генуя. В двойной красоте вознеслись над ним ее пестрые колокольни, полосатые церкви из белого и черного мрамора и весь многобашенный амфитеатр ее, вдруг обнесший его со всех сторон, когда пароход пришел к пристани. Никогда не видал он Генуи. Эта играющая пестрота домов, церквей и дворцов на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною, была единственна. Сошедши на берег, он очутился вдруг в этих темных, чудных, узеньких, мощенных плитами улицах, с одной узенькой вверху полоской голубого неба. Его поразила эта теснота между домами, высокими, огромными, отсутствие экипажного стуку, треугольные маленькие площадки и между ними, как тесные коридоры, изгибающиеся линии улиц, наполненных лавочками генуэзских серебряников и золотых мастеров. Живописные кружевные покрывала женщин, чуть волнуемые теплым широкко; их твердые походки, звонкий говор в улицах; отворенные двери церквей, кадильный запах, несшийся оттуда, — все это дунуло на него чем-то далеким, минувшим. Он вспомнил, что уже много лет не был

в церкви, потерявшей свое чистое, высокое значение в тех умных землях Европы, где он был. Тихо вошел он и стал в молчании на колени у великолепных мраморных колонн и долго молился, сам не зная за что: молился, что его приняла Италия, что снизошло на него желанье молиться, что празднично было у него на душе, — и молитва эта, верно, была лучшая. Словом, как прекрасную станцию унес он за собою Геную: в ней принял он первый поцелуй Италии. С таким же ясным чувством увидел он Ливорно, пустеющую Пизу, Флоренцию, слабо знаемую им прежде. Величаво глянул на него тяжелый граненый купол ее собора, темные дворцы царственной архитектуры и строгое величье небольшого городка. Потом понесся через Апеннины, сопровождаемый тем же светлым расположением духа, и когда наконец после шестидневной дороги показался в ясной дали, на чистом небе, чудесно круглившийся купол — о!.. сколько чувств тогда столпилось разом в его груди! Он не знал и не мог передать их; он оглядывал всякий холмик и отлогость. И вот уже наконец Ponte Molle, городские ворота, и вот обняла его красавица площадей Piazza del Popolo, глянул Monte Pincio с террасами, лестницами, статуями и людьми, прогуливающимися на верхушках. Боже! как забилось его сердце! Ветурин понесся по улице Корсо, где когда-то ходил он с аббатом, невинный, простодушный, знавший только, что латинский язык есть отец итальянского. Вот предстали пред ним опять все домы, которые он знал наизусть: Palazzo Ruspoli с своим огромным кафе. Piazza Colonna, Palazzo Sciarra, Palazzo Doria; наконец поворотил он в переулки, так бранимые иностранцами, не кипящие переулки, где изредка только попадалась лавка брадобрея с нарисованными лилиями над дверьми, да лавка шляпочника, высунувшего из дверей долгополую кардинальскую шляпу, да лавчонка плетеных стульев, делавшихся тут же на улице. Наконец карета остановилась перед величавым дворцом брамантовского стиля. Никого не было в нагих неубранных сенях. На лестнице встретил его дряхлый maestro di casa, потому что швейцар с своей булавой ушел, по обыкновению, в кафе, где проводил все время. Старик побежал отворять ставни и освещать мало-помалу старинные величественные залы. Грустное чувство овладело им, — чувство, понятное всякому приезжающему после нескольких лет отсутствия домой, когда все что ни было кажется еще старее, еще

пустее и когда тягостно говорит всякий предмет, знаемый в детстве, — и чем веселее были с ним сопряженные случаи, тем сокрушительней грусть, насылаемая им на сердце. Он прошел длинный ряд зал, оглянул кабинет и спальню, где еще не так давно старый владетель дворца засыпал в кровати под балдахином с кистями и гербом и потом выходил в шлафроке и туфлях в кабинет выпить стакан ослиного молока, с намереньем пополнеть; уборную, где он наряжался с утонченным стараньем старой кокетки и откуда отправлялся потом в коляске с своими лакеями на гулянье в виллу Боргезе, лорнировать постоянно какую-то англичанку, приезжавшую туда также прогуливаться. На столах и в ящиках видны были еще остатки румян, белил и всяких притираний, которыми молодил себя старик. Maestro di casa объявил, что уже за две недели до смерти он принял было твердое намерение жениться и сделал нарочно консультацию с иностранными докторами, как поддержать con onore i doveri di marito; но что в один день, сделавши два или три визита кардиналам и какому-то приору, он возвратился усталый домой, сел в кресло и умер смертью праведника, хотя смерть его была бы еще блаженнее, если бы он, по словам maestro di casa, догадался послать за две минуты прежде за своим духовником il padre Benvenuto. Все это слушал молодой князь, рассеянный, не принадлежа мыслью ни к чему. Отдохнувши от дороги и от странных впечатлений, он занялся своими делами. Его поразил страшный беспорядок их. Все, от малого до большого, было в бестолковом, запутанном виде. Четыре бесконечные тяжбы за обвалившиеся дворцы и земли в Ферраре и Неаполе, совершенно опустошенные доходы за три года вперед, долги и нищенский недостаток среди великолепия — вот что представилось глазам его. Старый князь был непонятное соединение скупости и пышности. Он держал огромную прислугу, которая не получала никакой платы, ничего, кроме ливреи, и довольствовалась подаяниями иностранцев, приходивших смотреть галерею. При князе были егери, официанты, лакеи, которые ездили у него за коляской, лакеи, которые никуда не ездили и просиживали по целым дням в ближнем кафе или остерии, болтая всякий вздор. Он распустил тот же час всю эту сволочь, всех егерей и охотников, и оставил одного только старика maestro di casa; уничтожил почти вовсе конюшню, продав никогда не употреблявшихся лошадей;

призвал адвокатов и распорядился с своими тяжбами, по крайней мере, так, что из четырех составил две, бросив остальные, как вовсе бесполезные; решился ограничить себя во всем и вести жизнь со всею строгостью экономии. Это было ему нетрудно сделать, потому что уже заблаговременно он привык ограничивать себя. Ему нетрудно было также отказаться от всякого сообщества с своим сословием, — которое, впрочем, все состояло из двух-трех доживавших фамилий, — общества, воспитанного кое-как отголосками французского образованья, да богача банкира, собиравшего около себя круг иностранцев, да неприступных кардиналов, людей необщительных, черствых, уединенно проводивших время за карточной игрой в tresette (род дурачка) с своим камердинером или брадобреем. Словом, он уединился совершенно, принялся рассматривать Рим и сделался в этом отношении подобен иностранцу, который сначала бывает поражен мелочной, неблестящей его наружностью, испятнанными, темными домами, и с недоумением вопрошает, попадая из переулка в переулок: где же огромный древний Рим? — и потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулков начинает выдвигаться древний Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой потемневшей колонной, где фронтоном посреди вонючего рыбного рынка, где целым портиком перед нестаринной церковью, и, наконец, далеко, там, где оканчивается вовсе живущий город, громадно воздымается он среди тысячелетних плющей, алоэ и открытых равнин необъятным Колизеем, триумфальными арками, останками необозримых цезарских дворцов, императорскими банями, храмами, гробницами, разнесенными по полям; и уже не видит иноземец нынешних тесных его улиц и переулков, весь объятый древним миром: в памяти его восстают колоссальные образы цезарей; криками и плесками древней толпы поражается ухо...

Но не так, как иностранец, преданный одному Титу Ливию и Тациту, бегущий мимо всего, к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма срыть весь новый город, — нет, он находил все равно прекрасным: мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могучий средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век

с толпящимся новым народонаселением. Ему нравилось это чудное их слияние в одно, эти признаки людной столицы и пустыни вместе: дворец, колонны, трава, дикие кусты, бегущие по стенам, трепещущий рынок среди темных, молчаливых, заслоенных снизу громад, живой крик рыбного продавца у портика, лимонадчик с воздушной, украшенной зеленью лавчонкой перед Пантеоном. Ему нравилась самая невзрачность улиц — темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок на домах, идиллия среди города: отдыхавшее стадо козлов на уличной мостовой, крики ребятишек и какое-то невидимое присутствие на всем ясной, торжественной тишины, обнимавшей человека. Ему нравились эти беспрерывные внезапности, нежданности, поражающие в Риме. Как охотник, выходящий с утра на ловлю, как старинный рыцарь, искатель приключений, он отправлялся отыскивать всякий день новых и новых чудес и останавливался невольно, когда вдруг среди ничтожного переулка возносился пред ним дворец, дышавший строгим, сумрачным величием. Из темного травертина были сложены его тяжелые, несокрушимые стены, вершину венчал великолепно набранный колоссальный карниз, мраморными брусьями обложена была большая дверь, и окна глядели величаво, обремененные роскошным архитектурным убранством; или как вдруг нежданно вместе с небольшой площадью выглядывал картинный фонтан, обрызгивавший себя самого и свои обезображенные мхом гранитные ступени; как темная грязная улица оканчивалась нежданно играющей архитектурной декорацией Бернини, или летящим кверху обелиском, или церковью и монастырской стеною, вспыхивавшими блеском солнца на темно-лазурном небе, с черными, как уголь, кипарисами. И чем далее вглубь уходили улицы, тем чаще росли дворцы и архитектурные созданья Браманта, Борромини, Сангалло, Деллапорта, Виньолы, Бонаротти, — и понял он наконец ясно, что только здесь, только в Италии, слышно присутствие архитектуры и строгое ее величие как художества. Еще выше было духовное его наслажденье, когда он переносился во внутренность церквей и дворцов, где арки, плоские столпы и круглые колонны из всех возможных сортов мрамора, перемешанные с базальтовыми, лазурными карнизами, порфиром, золотом и античными камнями, сочетались согласно, покоренные обдуманной мысли, и выше их всех вознеслось

бессмертное создание кисти. Они были высоко прекрасны, эти обдуманные убранства зал, полные царского величия и архитектурной роскоши, везде умевшей почтительно преклониться пред живописью в сей плодотворный век, когда художник бывал и архитектор, и живописец, и даже скульптор вместе. Могучие созданья кисти, уже не повторяющейся ныне, возносились сумрачно пред ним на потемневших стенах, все еще непостижимые и недоступные для подражания. Входя и погружаясь более и более в созерцание их, он чувствовал, как развивался видимо его вкус, залог которого уже хранился в душе его. И как пред этой величественной, прекрасной роскошью показалась ему теперь низкою роскошь XIX столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшенья магазинов, выведшая на поле деятельности золотильщиков, мебельщиков, обойщиков, столяров и кучи мастеровых и лишившая мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анжелов, низведшая к ремеслу искусство. Как низкою показалась ему эта роскошь, поражающая только первый взгляд и озираемая потом равнодушно, перед этой величавой мыслью украсить стены вековечным созданьем кисти, перед этой прекрасной мыслью владельца дворца доставить себе вечный предмет наслажденья в часы отдыха от дел и от шумного жизненного дрязга, уединившись там, в углу, на старинной софе, далеко от всех, вперя безмолвно взор и вместе со взором входя глубже душою в тайны кисти, зрея невидимо в красе душевных помыслов. Ибо высоко возвышает искусство человека, придавая благородство и красоту чудную движеньям души. Как низки казались ему пред этой незыблемой плодотворной роскошью, окружившею человека предметами движущими и воспитывающими душу, нынешние мелочные убранства, ломаемые и выбрасываемые ежегодно беспокойною модою, странным, непостижимым порожденьем XIX века, пред которым безмолвно преклонились мудрецы, губительницей и разрушительницей всего, что колоссально, величественно, свято. При таких рассуждениях невольно приходило ему на мысль: не оттого ли сей равнодушный хлад, обнимающий нынешний век, торговый, низкий расчет, ранняя притупленность еще не успевших развиться и возникнуть чувств? Иконы вынесли из храма — и храм уже не храм; летучие мыши и злые духи обитают в нем.

Чем более он всматривался, тем более поражала его сия необыкновенная плодотворность века, и он невольно восклицал: «Когда и как успели они это наделать!» Эта великолепная сторона Рима как будто бы росла перед ним ежедневно. Галереи и галереи, и конца им нет… И там, и в той церкви, хранится какое-нибудь чудо кисти. И там, на дряхлеющей стене, еще дивит готовый исчезнуть фреск. И там, на вознесенных мраморах и столпах, набранных из древних языческих храмов, блещет неувядаемой кистью плафон. Все это было похоже на скрытые золотые рудники, покровенные обыкновенной землей, знакомые одному только рудокопу. Как полно было у него всякий раз на душе, когда возвращался он домой; как было различно это чувство, объятое спокойной торжественностью тишины, от тех тревожных впечатлений, которыми бессмысленно наполнялась душа его в Париже, когда он возвращался домой усталый, утомленный, редко будучи в силах поверить итог их.

Теперь ему казалось еще более согласною с этими внутренними сокровищами Рима его неприглядная, потемневшая, запачканная наружность, так бранимая иностранцами. Ему неприятно было бы выйти после всего этого в модную улицу с блестящими магазинами, щеголеватостью людей и экипажей: это было бы чем-то развлекающим, святотатственным. Ему лучше нравилась эта скромная тишина улиц, это особенное выражение римского населения, этот призрак восемнадцатого века, еще мелькавший по улице то в виде черного аббата с треугольною шляпой, черными чулками и башмаками, то в виде старинной пурпурной кардинальской кареты с позлащенными осями, колесами, карнизами и гербами, — все как-то согласовалось с важностью Рима: этот живой, неторопящийся народ, живописно и покойно расхаживающий по улицам, закинув полуплащ или набросив себе на плечо куртку, без тягостного выраженья в лицах, которое так поражало его на синих блузах и на всем народонаселенье Парижа. Тут самая нищета являлась в каком-то светлом виде, беззаботная, незнакомая с терзаньем и слезами, беспечно и живописно протягивавшая руку; картинные полки монахов, переходившие улицы в длинных белых или черных одеждах; нечистый рыжий капуцин, вдруг вспыхнувший на солнце светловерблюжьим цветом; наконец, это населенье художников, собравшихся со всех сторон света,

которые бросили здесь узенькие лоскуточки одеяний европейских и явились в свободных живописных нарядах; их величественные осанистые бороды, снятые с портретов Леонардо да Винчи и Тициана, так непохожие на те уродливые узкие бородки, которые француз переделывает и стрижет себе по пяти раз в месяц. Тут художник почувствовал красоту длинных волнующихся волос и позволил им рассыпаться кудрями. Тут самый немец с кривизной ног своих и бесперехватностью стана получил значительное выражение, разнеся по плечам золотистые свои локоны, драпируясь легкими складками греческой блузы или бархатным нарядом, известным под именем cinquecento, которое усвоили себе только одни художники в Риме. Следы строгого спокойствия и тихого труда отражались на их лицах. Самые разговоры и мненья, слышимые на улицах, в кафе, в остериях, были вовсе противоположны или непохожи на те, которые слышались ему в городах Европы. Тут не было толков о понизившихся фондах, о камерных преньях, об испанских делах: тут слышались речи об открытой недавно древней статуе, о достоинстве кистей великих мастеров, раздавались споры и разногласья о выставленном произведении нового художника, толки о народных праздниках и, наконец, частные разговоры, в которых раскрывался человек, вытесненные из Европы скучными общественными толками и политическими мнениями, изгнавшими сердечное выражение из лиц.

Часто оставлял он город для того, чтобы оглянуть его окрестности, и тогда его поражали другие чудеса. Прекрасны были эти немые пустынные римские поля, усеянные останками древних храмов, с невыразимым спокойством расстилавшиеся вокруг, где пламенея сплошным золотом от слившихся вместе желтых цветков, где блеща жаром раздутого угля от пунцовых листов дикого мака. Они представляли четыре чудные вида на четыре стороны. С одной — соединялись они прямо с горизонтом одной резкой ровной чертой, арки водопроводов казались стоящими на воздухе и как бы наклеенными на блистающем серебряном небе. С другой — над полями сияли горы; не вырываясь порывисто и безобразно, как в Тироле или Швейцарии, но согласными плывучими линиями выгибаясь и склоняясь, озаренные чудною ясностью воздуха, они готовы были улететь в небо; у подошвы их неслася длинная аркада водопроводов, подобно длинному

фундаменту, и вершина гор казалась воздушным продолжением чудного зданья, и небо над ними было уже не серебряное, но невыразимого цвета весенней сирени. С третьей — эти поля увенчались тоже горами, которые уже ближе и выше возносились, выступая сильнее передними рядами и легкими уступами уходя вдаль. В чудную постепенность цветов облекал их тонкий голубой воздух; и сквозь это воздушно-голубое их покрывало сияли чуть приметные домы и виллы Фраскати, где тонко и легко тронутые солнцем, где уходящие в светлую мглу пылившихся вдали чуть приметных рощ. Когда же обращался он вдруг назад, тогда представлялась ему четвертая сторона вида: поля оканчивались самим Римом. Сияли резко и ясно углы и линии домов, круглость куполов, статуи Латранского Иоанна и величественный купол Петра, вырастающий выше и выше по мере отдаленья от него и властительно остающийся, наконец, один на всем полгоризонте, когда уже совершенно скрылся весь город. Еще лучше любил он оглянуть эти поля с террасы которой-нибудь из вилл Фраскати или Альбано в часы захожденья солнца. Тогда они казались необозримым морем, сиявшим и возносившимся из темных перил террасы; отлогости и линии исчезали в обнявшем их свете. Сначала они еще казались зеленоватыми, и по ним еще виднелись там и там разбросанные гробницы и арки, потом они сквозили уже светлой желтизною в радужных оттенках света, едва выказывая древние остатки, и наконец, становились пурпурней и пурпурней, поглощая в себе и самый безмерный купол и сливаясь в один густой малиновый цвет, и одна только сверкающая вдали золотая полоса моря отделяла их от пурпурного, так же как и они, горизонта. Нигде, никогда ему не случалось видеть, чтобы поле превращалось в пламя, подобно небу. Долго, полный невыразимого восхищенья, стоял он пред таким видом, и потом уже стоял так, просто, не восхищаясь, позабыв все, когда и солнце уже скрывалось, потухал быстро горизонт и еще быстрее потухали вмиг померкнувшие поля, везде устанавливал свой темный образ вечер, над развалинами огнистыми фонтанами подымались светящиеся мухи, и неуклюжее крылатое насекомое, несущееся стоймя, как человек, известное под именем дьявола, ударялось без толку ему в очи. Тогда только он чувствовал, что наступивший холод южной ночи уже прохватил

его всего, и спешил в городские улицы, чтобы не схватить южной лихорадки.

Так протекала жизнь его в созерцаньях природы, искусств и древностей. Среди сей жизни почувствовал он, более нежели когда-либо, желание проникнуть поглубже историю Италии, доселе ему известную эпизодами, отрывками; без нее казалось ему неполно настоящее, и он жадно принялся за архивы, летописи и записки. Он теперь мог их читать не так, как итальянец-домосед, входящий и телом и душою в читаемые события и не видящий из-за обступивших его лиц и происшествий всей массы целого. Он теперь мог оглядывать все покойно, как из ватиканского окна. Пребыванье вне Италии, в виду шума и движенья действующих народов и государств, служило ему строгою поверкою всех выводов, сообщило многосторонность и всеобъемлющее свойство его глазу. Читая, теперь он еще более и вместе с тем беспристрастней был поражен величием и блеском минувшей эпохи Италии. Его изумляло такое быстрое разнообразное развитие человека на таком тесном углу земли, таким сильным движением всех сил. Он видел, как здесь кипел человек, как каждый город говорил своею речью, как у каждого города были целые томы истории, как разом возникли здесь все образы и виды гражданства правлений: волнующиеся республики сильных, непокорных характеров и полновластные деспоты среди их; целый город царственных купцов, опутанный сокровенными правительственными нитями под призраком единой власти дожа; призванные чужеземцы среди туземцев; сильные напоры и отпоры в недре незначительного городка; почти сказочный блеск герцогов и монархов крохотных земель; меценаты, покровители и гонители; целый ряд великих людей, столкнувшихся в одно и то же время; лира, циркуль, меч и палитра; храмы, воздвигающиеся среди браней и волнений; вражда, кровавая месть, великодушные черты и кучи романических происшествий частной жизни среди политического общественного вихря и чудная связь между ими: такое изумляющее раскрытие всех сторон жизни политической и частной, такое пробуждение в столь тесном объеме всех элементов человека, совершавшихся в других местах только частями и на больших пространствах! И все это исчезло и прошло вдруг, все застыло, как погаснувшая лава, и выброшено даже из памяти Европою, как старый,

ненужный хлам. Нигде, даже в журналах, не выказывает бедная Италия своего развенчанного чела, лишенная значенья политического, а с ним и влиянья на мир.

«И неужели, — думал он, — не воскреснет никогда ее слава? Неужели нет средств возвратить минувший блеск ее?» И вспомнил онто время, когда еще в университете, в Лукке, бредил он о возобновлении ее минувшей славы, как это было любимой мыслью молодежи, как за стаканами добродушно и простосердечно мечтала она о том; и увидел он теперь, как близорука была молодежь и как близоруки бывают политики, упрекающие народ в беспечности и лени. Почуял он теперь, смутясь, Великий Перст, пред ним же повергается в прах немеющий человек, — Великий Перст, чертящий свыше всемирные события. Он вызвал из среды ее же гонимого ее гражданина, бедного генуэзца, который один убил свою отчизну, указав миру неведомую землю и другие широкие пути. Раздался всемирный горизонт, огромным размахом закипели движенья Европы, понеслись вокруг света корабли, двинув могучие северные силы. Осталось пусто Средиземное море; как обмелевшее речное русло, обмелела обойденная Италия. Стоит Венеция, отразив в адриатические волны свои потухнувшие дворцы, и разрывающей жалостью проникается сердце иностранца, когда поникший гондольер влечет его под пустынными стенами и разрушенными перилами безмолвных мраморных балконов. Онемела Феррара, пугая дикой мрачностью своего герцогского дворца. Глядят пустынно на всем пространстве Италии ее наклоненные башни и архитектурные чуда, очутясь среди равнодушного к ним поколенья. Звонкое эхо раздается в шумевших когда-то улицах, и бедный ветурин подъезжает к грязной остерии, поселившейся в великолепном дворце. В нищенском вретище очутилась Италия, и пыльными отрепьями висят на ней куски ее померкнувшей царственной одежды.

В порыве душевной жалости готов он был даже лить слезы. Но утешительная, величественная мысль приходила сама к нему в душу, и чуял он другим, высшим чутьем, что не умерла Италия, что слышится ее неотразимое вечное владычество над всем миром, что вечно веет над нею ее великий гений, уже в самом начале завязавший в груди ее судьбу Европы, внесший крест в европейские темные леса, захвативший гражданским багром

на дальнем краю их дикообразного человека, закипевший здесь впервые всемирной торговлей, хитрой политикой и сложностью гражданских пружин, вознесшийся потом всем блеском ума, венчавший чело свое святым венцом поэзии и, когда уже политическое влияние Италии стало исчезать, развернувшийся над миром торжественными дивами — искусствами, подарившими человеку неведомые наслажденья и божественные чувства, которые дотоле не подымались из лона души его. Когда же и век искусства сокрылся и к нему охладели погруженные в расчеты люди, он веет и разносится над миром в завывающих воплях музыки, и на берегах Сены, Невы, Темзы, Москвы, Средиземного, Черного моря, в стенах Алжира и на отдаленных, еще недавно диких, островах гремят восторженные плески звонким певцам. Наконец, самой ветхостью и разрушеньем своим он грозно владычествует ныне в мире: эти величавые архитектурные чуда остались, как призраки, чтобы попрекнуть Европу в ее китайской мелочной роскоши, в игрушечном раздроблении мысли. И самое это чудное собрание отживших миров, и прелесть соединенья их с вечно цветущей природой — все существует для того, чтобы будить мир, чтоб жителю севера, как сквозь сон, представлялся иногда этот юг, чтоб мечта о нем вырывала его из среды хладной жизни, преданной занятиям, очерствляющим душу, — вырывала бы его оттуда, блеснув ему нежданно уносящею вдаль перспективой, колизейскою ночью при луне, прекрасно умирающей Венецией, невидимым небесным блеском и теплыми поцелуями чудесного воздуха, — чтобы хоть раз в жизни был он прекрасным человеком...

В такую торжественную минуту он примирялся с разрушеньем своего отечества, и зрелись тогда ему во всем зародыши вечной жизни, вечно лучшего будущего, которое вечно готовит миру его вечный Творец. В такие минуты он даже весьма часто задумывался над нынешним значением римского народа. Он видел в нем материал еще непочатый. Еще ни разу не играл он роли в блестящую эпоху Италии. Отмечали на страницах истории имена свои папы да аристократические домы, но народ оставался незаметен. Его не зацеплял ход двигавшихся внутри и вне его интересов. Его не коснулось образованье и не взметнуло вихрем сокрытые в нем силы. В его природе заключалось что-то младенчески

благородное. Эта гордость римским именем, вследствие которой часть города, считая себя потомками древних квиритов, никогда не вступала в брачные союзы с другими. Эти черты характера, смешанного из добродушия и страстей, показывающие светлую его натуру: никогда римлянин не забывал ни зла, ни добра, он или добрый или злой, или расточитель или скряга, в нем добродетели и пороки в своих самородных слоях и не смешались, как у образованного человека, в неопределенные образы, у которого всяких страстишек понемногу под верховным начальством эгоизма. Эта невоздержность и порыв развернуться на все деньги, — замашка сильных народов, — все это имело для него значение. Эта светлая непритворная веселость, которой теперь нет у других народов: везде, где он ни был, ему казалось, что стараются тешить народ; здесь, напротив, он тешится сам. Он сам хочет быть участником, его насилу удержишь в карнавале; все, что ни накоплено им в продолжение года, он готов промотать в эти полторы недели; все усадит он на один наряд: оденется паяцом, женщиной, поэтом, доктором, графом, врет чепуху и лекции и слушающему и неслушающему, — и веселость эта обнимает, как вихорь, всех — от сорокалетнего до ребятишки: последний бобыль, которому не во что одеться, выворачивает себе куртку, вымазывает лицо углем и бежит туда же, в пеструю кучу. И веселость эта прямо из его природы; ею не хмель действует, — тот же самый народ освищет пьяного, если встретит его на улице. Потом черты природного художественного инстинкта и чувства: он видел, как простая женщина указывала художнику погрешность в его картине; он видел, как выражалось невольно это чувство в живописных одеждах, в церковных убранствах, как в Дженсано народ убирал цветочными коврами улицы, как разноцветные листики цветов обращались в краски и тени, на мостовой выходили узоры, кардинальские гербы, портрет папы, вензеля, птицы, звери и арабески. Как накануне Светлого Воскресенья продавцы съестных припасов, пицикаролы, убирали свои лавчонки: свиные окорока, колбасы, белые пузыри, лимоны и листья обращались в мозаику и составляли плафон; круги пармезанов и других сыров, ложась один на другой, становились в колонны; из сальных свечей составлялась бахрома мозаичного занавеса, драпировавшего внутренние стены; из сала, белого как снег, отливались целые статуи,

исторические группы христианских и библейских содержаний, которые изумленный зритель принимал за алебастровые, — вся лавочка обращалась в светлый храм, сияя позлащенными звездами, искусно освещаясь развешанными шкаликами и отражая зеркалами бесконечные кучи яиц. Для всего этого нужно было присутствие вкуса, и пицикароло делал это не из каких-нибудь доходов, но для того, чтобы полюбовались другие и полюбоваться самому. Наконец, народ, в котором живет чувство собственного достоинства: здесь он il popolo, а не чернь, и носит в своей природе прямые начала времен первоначальных квиритов; его не могли даже совратить наезды иностранцев, развратителей недействующих наций, порождающие по трактирам и дорогам презреннейший класс людей, по которым путешественник произносит часто суждение обо всем народе. Самая нелепость правительственных постановлений, эта бессвязная куча всяких законов, возникших во все времена и отношенья и не уничтоженных поныне, между которыми даже есть эдикты времен древней римской республики, — все это не искоренило высокого чувства справедливости в народе. Он порицает неправедного притязателя, освистывает гроб покойника и впрягается великодушно в колесницу, везущую тело, любезное народу. Самые поступки духовенства, часто соблазнительные, произведшие бы в других местах разврат, почти не действуют на него: он умеет отделить религию от лицемерных исполнителей и не заразился холодной мыслью неверия. Наконец, самая нужда и бедность, неизбежный удел стоячего государства, не ведут его к мрачному злодейству: он весел и переносит все, и только в романах да повестях режет по улицам. Все это показывало ему стихии народа сильного, непочатого, для которого как будто бы готовилось какое-то поприще впереди. Европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось его и не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования. Самое духовное правительство, этот странный уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния, чтоб никто из честолюбивых соседей не посягнул на его личность, чтобы до времени таилась его гордая народность. Притом здесь, в Риме, не слышалось что-то умершее; в самых развалинах и великолепной бедности Рима не было того томительного, проникающего чувства, которым объемлется

невольно человек, созерцающий памятники заживо умирающей нации. Тут противоположное чувство; тут ясное, торжественное спокойство. И всякий раз, соображая все это, князь предавался невольно размышлениям и стал подозревать какое-то таинственное значение в слове «вечный Рим».

Итог всего этого был тот, что он старался узнавать более и более свой народ. Он его следил на улицах, в кафе, где в каждом были свои посетители: в одном антикварии, в другом стрелки и охотники, в третьем кардинальские слуги, в четвертом художники, в пятом вся римская молодежь и римское щегольство; следил в остериях, чисто римских остериях, куда не заходит иностранец, где римский nobile садится иногда рядом с миненте и общество скидает с себя сюртуки и галстуки в жаркие дни; следил его в загородных живописно-невзрачных трактиришках с воздушными окнами без стекол, куда фамилиями и компаниями наезжали римляне обедать, или, по их выражению, far allegria. Он садился и обедал вместе с ними, вмешивался охотно в разговор, дивясь весьма часто простому здравомыслию и живой оригинальности рассказа простых, неграмотных горожан. Но более всего он имел случай узнавать его во время церемоний и празднеств, когда всплывает наверх все народонаселение Рима и вдруг показывается несметное множество дотоле неподозреваемых красавиц, — красавиц, которых образы мелькают только в барельефах да в древних антологических стихотворениях. Эти полные взоры, алебастровые плечи, смолистые волосы, в тысяче разных образов поднятые на голову или опрокинутые назад, картинно пронзенные насквозь золотой стрелой, руки, гордая походка, везде черты и намеки на серьезную классическую красоту, а не легкую прелесть грациозных женщин. Тут женщины казались подобны зданьям в Италии: они или дворцы или лачужки, или красавицы или безобразные; середины нет между ними: хорошеньких нет. Он ими наслаждался, как наслаждался в прекрасной поэме стихами, выбившимися из ряда других и насылавшими свежительную дрожь на душу.

Но скоро к таким наслажденьям присоединилось чувство, объявившее сильную борьбу всем прочим, — чувство, которое вызвало из душевного дна сильные человеческие страсти, подымающие демократический бунт против высокого единодержавия души: он увидел Аннунциату. И вот таким образом мы

добрались наконец до светлого образа, который озарил начало нашей повести.

Это было во время карнавала.

— Сегодня я не пойду на Корсо, — сказал принчипе своему maestro di casa, выходя из дому, — мне надоедает карнавал, мне лучше нравятся летние праздники и церемонии...

— Но разве это карнавал? — сказал старик. — Это карнавал ребят. Я помню карнавал: когда по всему Корсо ни одной кареты не было и всю ночь гремела по улицам музыка; когда живописцы, архитекторы и скульпторы выдумывали целые группы, истории; когда народ, — князь понимает: весь народ, все — все золотильщики, рамщики, мозаичисты, прекрасные женщины, вся синьория, все nobili, все, все, все... о quanta allegria! Вот когда был карнавал так карнавал, а теперь что за карнавал? Э! — сказал старик и пожал плечами, потом опять сказал: — Э! — и пожал плечами; и потом уже произнес: — E una porcheria.

Затем maestro di casa в душевном порыве сделал необыкновенно сильный жест рукою, но утишился, увидев, что князя давно пред ним не было. Он был уже на улице. Не желая участвовать в карнавале, он не взял с собой ни маски, ни железной сетки на лицо и, забросившись плащом, хотел только пробраться через Корсо на другую половину города. Но народная толпа была слишком густа. Едва только продрался он между двух человек, как уже попотчевали его сверху мукой; пестрый арлекин ударил его по плечу трещоткою, пролетев мимо с своей коломбиною; конфетти и пучки цветов полетели ему в глаза; с двух сторон стали ему жужжать в уши: с одной стороны граф, с другой медик, читавший ему длинную лекцию о том, что у него находится в желудочной кишке. Пробиться между них не было сил, потому что народная толпа возросла; цепь экипажей, уже не будучи в возможности двинуться, остановилась. Внимание толпы занял какой-то смельчак, шагавший на ходулях вравне с домами, рискуя всякую минуту быть сбитым с ног и грохнуться насмерть о мостовую. Но об этом, кажется, у него не было забот. Он тащил на плечах чучело великана, придерживая его одной рукою, неся в другой написанный на бумаге сонет с приделанным к нему бумажным хвостом, какой бывает у бумажного змея, и крича во весь голос: «Ecco il gran poeta morto. Ecco il suo sonetto colla coda!»

(«Вот умерший великий поэт! вот его сонет с хвостом!»)[1] Этот смельчак сгустил за собою толпу до такой степени, что князь едва мог перевести дух. Наконец вся толпа двинулась вперед за мертвым поэтом; цепь экипажей тронулась, чему он обрадовался сильно, хоть народное движение сбило с него шляпу, которую он теперь бросился подымать. Поднявши шляпу, он поднял вместе и глаза и остолбенел: перед ним стояла неслыханная красавица. Она была в сияющем альбанском наряде, в ряду двух других, тоже прекрасных женщин, которые были пред ней, как ночь пред днем. Это было чудо в высшей степени. Все должно было померкнуть пред этим блеском. Глядя на нее, становилось ясно, почему итальянские поэты и сравнивают красавиц с солнцем. Это именно было солнце, полная красота. Все, что рассыпалось и блистает поодиночке в красавицах мира, все это собралось сюда вместе. Взглянувши на грудь и бюст ее, уже становилось очевидно, чего недостает в груди и бюстах прочих красавиц. Пред ее густыми блистающими волосами показались бы жидкими и мутными все другие волосы. Ее руки были для того, чтобы всякого обратить в художника, — как художник, глядел бы он на них вечно, не смея дохнуть. Пред ее ногами показались бы щепками ноги англичанок, немок, француженок и женщин всех других наций; одни только древние ваятели удержали высокую идею красоты их в своих статуях. Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить! Тут не нужно было иметь какой-нибудь особенный вкус: тут все вкусы должны были сойтиться, все должны были повергнуться ниц: и верующий и неверующий упали бы пред ней, как пред внезапным появленьем божества. Он видел, как весь народ, сколько его там ни было, загляделся на нее, как женщины выразили невольное изумленье на своих лицах, смешанное с наслажденьем, и повторяли: «О bella!» — как все, что ни было, казалось, превратилось в художника и смотрело пристально на одну ее. Но в лице красавицы написано было только одно вниманье к карнавалу: она смотрела только на толпу и на маски, не замечая обращенных на нее глаз, едва слушая стоявших позади ее мужчин

[1] В итальянской поэзии существует род стихотворенья, известного под именем сонета с хвостом (con la coda), — когда мысль не вместилась и ведет за собою прибавление, которое часто бывает длиннее самого сонета.

в бархатных куртках, вероятно родственников, пришедших вместе с ними. Князь принимался было расспрашивать у близ стоявших около себя, кто была такая чудная красавица и откуда. Но везде получал в ответ одно только пожатье плечьми, сопровождаемое жестом, и слова: «Не знаю, должно быть, иностранка»[1]. Недвижный, утаив дыханье, он поглощал ее глазами. Красавица наконец навела на него свои полные очи, но тут же смутилась и отвела их в другую сторону. Его пробудил крик: пред ним остановилась громадная телега. Толпа находившихся в ней масок в розовых блузах, назвав его по имени, принялась качать в него мукой, сопровождая одним длинным восклицаньем: «У, у, у!..» И в одну минуту с ног до головы был он обсыпан белою пылью, при громком смехе всех обступивших его соседей. Весь белый, как снег, даже с белыми ресницами, князь побежал наскоро домой переодеться.

Покамест он сбегал домой, пока успел переодеться, уже только полтора часа оставалось до Ave Maria. С Корсо возвращались пустые кареты: сидевшие в них перебрались на балконы — смотреть оттуда не перестававшую двигаться толпу, в ожидании конного бега. При повороте на Корсо встретил он телегу, полную мужчин в куртках и сияющих женщин с цветочными венками на головах, с бубнами и тимпанами в руках. Телега, казалось, весело возвращалась домой, бока ее были убраны гирляндами, спицы и ободья колес увиты зелеными ветвями. Сердце его захолонуло, когда он увидел, что среди женщин сидела в ней поразившая его красавица. Сверкающим смехом озарялось ее лицо. Телега быстро промчалась при кликах и песнях. Первым делом его было бежать вслед ее, но дорогу перегородил ему огромный поезд музыкантов: на шести колесах везли страшилищной величины скрыпку. Один человек сидел верхом на подставке, другой, идя сбоку ее, водил громадным смычком по четырем канатам, натянутым на нее вместо струн. Скрыпка, вероятно, стоила больших трудов, издержек и времени. Впереди шел исполинский барабан. Толпа народа и мальчишек тесно валила вслед за музыкальным поездом, и шествие замыкал известный в Риме своею толщиною пицикароло, неся клистирную трубку вышиною в колокольню. Когда улица

[1] Римляне всех, кто не живет в Риме, называют иностранцами (forestieri), хотя бы они обитали только в десяти милях от города.

очистилась от поезда, князь увидел, что бежать за телегой глупо и поздно, и притом неизвестно, по каким дорогам понеслась она. Он не мог, однако же, отказаться от мысли искать ее. В воображенье его порхал этот сияющий смех и открытые уста с чудными рядами зубов. «Это блеск молнии, а не женщина, — повторял он в себе и в то же время с гордостью прибавлял: — Она римлянка. Такая женщина могла только родиться в Риме. Я должен непременно ее увидеть. Я хочу ее видеть не с тем, чтобы любить ее, нет, — я хотел бы только смотреть на нее, смотреть на всю ее, смотреть на ее очи, смотреть на ее руки, на ее пальцы, на блистающие волосы. Не целовать ее, хотел бы только глядеть на нее. И что же? Ведь это так должно быть, это в законе природы; она не имеет права скрыть и унести красоту свою. Полная красота дана для того в мир, чтобы всякий ее увидал, чтобы идею о ней сохранял навечно в своем сердце. Если бы она была просто прекрасна, а не такое верховное совершенство, она бы имела право принадлежать одному, ее бы мог он унести в пустыню, скрыть от мира. Но красота полная должна быть видима всем. Разве великолепный храм строит архитектор в тесном переулке? Нет, он ставит его на открытой площади, чтобы человек со всех сторон мог оглянуть его и подивиться ему. Разве для того зажжен светильник, сказал Божественный Учитель, чтобы скрывать его и ставить под стол? Нет, светильник зажжен для того, чтобы стоять на столе, чтобы всем было видно, чтобы все двигались при его свете. Нет, я должен ее видеть непременно». Так рассуждал князь и потом долго передумывал и перебирал все средства, как достигнуть этого, — наконец, как казалось, остановился на одном и отправился тут же, нимало не медля, в одну из тех отдаленных улиц, которых много в Риме, где нет даже кардинальского дворца с выставленными расписными гербами на деревянных овальных щитах, где виден нумер над каждым окном и дверью тесного домишка, где идет горбом выпученная мостовая, куда из иностранцев заглядывает только разве пройдоха немецкий художник с походным стулом и красками да козел, отставший от проходящего стада и остановившийся посмотреть с изумленьем, что за улица, им никогда не виданная. Тут раздается звонко лепет римлянок: со всех сторон, изо всех окон несутся речи и переговоры. Тут все откровенно, и проходящий может совершенно знать все домашние тайны;

даже мать с дочерью разговаривают не иначе между собою, как высунув обе свои головы на улицу; тут мужчин не заметно вовсе. Едва только блеснет утро, уже открывает окно и высовывается сьора Сусанна, потом из другого окна выказывается сьора Грация, надевая юбку. Потом открывает окно сьора Нанна. Потом вылезает сьора Лучия, расчесывая гребнем косу; наконец, сьора Чечилия высовывает руку из окна, чтобы достать белье на протянутой веревке, которое тут же и наказывается за то, что долго не дало достать себя, наказывается скомканьем, киданьем на пол и словами: «Che bestia!» Тут все живо, все кипит: летит из окна башмак с ноги в шалуна сына или в козла, который подошел к корзинке, где поставлен годовой ребенок, принялся его нюхать и, наклоня голову, готовился ему объяснить, что такое значат рога. Тут ничего не было неизвестно: все известно. Синьоры все знали, что ни есть: какой сьора Джюдита купила платок, у кого будет рыба за обедом, кто любовник у Барбаручьи, какой капуцин лучше исповедует. Изредка только вставляет свое слово муж, стоящий обыкновенно на улице, облокотясь у стены, с коротенькою трубкою в зубах, почитавший необходимостью, услыша о капуцине, прибавить короткую фразу: «Все мошенники», — после чего продолжал снова пускать под нос себе дым. Сюда не заезжала никакая карета, кроме разве только одной двухколесной трясучки, запряженной мулом, привезшим хлебнику муку, и сонного осла, едва дотащившего перекидную корзину с броколями, несмотря на все понуканья мальчишек, угобжающих каменьями его нещекотливые бока. Тут нет никаких магазинов, кроме лавчонки, где продавался хлеб и веревки, с стеклянными бутылями, да темного узенького кафе, находившегося в самом углу улицы, откуда виден был беспрестанно выходивший боттега, разносивший синьорам кофий или шоколад на козьем молоке в жестяных маленьких кофейничках, известный под именем Авроры. Домы тут принадлежали двум, трем, а иногда и четырем владельцам, из которых один имеет только пожизненное право, другой владеет одним этажом и имеет право пользоваться с него доходом только два года, после чего, вследствие завещания, этаж должен был перейти от него к padre Viocenzo на десять лет, у которого, однако же, хочет оттягать его какой-то родственник прежней фамилии, живущий во Фраскати и уже заблаговременно затеявший процесс. Были

и такие владельцы, которые владели одним окном в одном доме, да другими двумя в другом доме, да пополам с братом пользовались доходами с окна, за которое, впрочем, вовсе не платил неисправный жилец, — словом, предмет неистощимый тяжб и продовольствия адвокатов и куриалов, наполняющих Рим. Дамы, о которых только что было упомянуто, — все, как первоклассные, честимые полными именами, так и второстепенные, называвшиеся уменьшительными именами, все Тетты, Тутты, Нанны, — большею частию ничем не занимались; они были супруги: адвоката, мелкого чиновника, мелкого торгаша, носильщика, факина, а чаще всего незанятого гражданина, умевшего только красиво драпироваться не весьма надежным плащом.

Многие из синьор служили моделями для живописцев. Тут были всех родов модели. Когда бывали деньги — они проводили весело время в остерии с мужьями и целой компанией; не было денег — не были скучны и глядели в окно. Теперь улица была тише обыкновенного, потому что некоторые отправились в народную толпу на Корсо. Князь подошел к ветхой двери одного домишка, которая вся была выверчена дырами, так что сам хозяин долго тыкал в них ключом, покамест попадал в настоящую. Уже готов он был взяться за кольцо, как вдруг услышал слова:

— Сьор принчипе хочет видеть Пеппе? — Он поднял голову вверх: из третьего этажа глядела, высунувшись, сьора Тутта.

— Экая крикунья, — сказала из супротивного окна сьора Сусанна. — Принчипе, может быть, совсем пришел не с тем, чтобы видеть Пеппе.

— Конечно, с тем, чтобы видеть Пеппе, не правда ли, князь? С тем, чтобы видеть Пеппе, не так ли, князь? Чтобы увидеть Пеппе?

— Какой Пеппе, какой Пеппе! — продолжала с жестом обеими руками сьора Сусанна. — Князь стал бы думать теперь о Пеппе! Теперь время карнавала, князь поедет вместе с своей куджиной, маркезой Монтелли, поедет с друзьями в карете бросать цветы, поедет за город far allegria. Какой Пеппе! Какой Пеппе!

Князь изумился таким подробностям о своем препровождении времени; но изумляться ему было нечего, потому что сьора Сусанна знала все.

— Нет, мои любезные синьоры, — сказал князь, — мне, точно, нужно видеть Пеппе.

На это дала ответ князю уже синьора Грация, которая давно высунулась из окошка второго этажа и слушала. Ответ дала она, слегка пощелкав языком и покрутив пальцем, — обыкновенный отрицательный знак у римлянок, — и потом прибавила:

— Нет дома.

— Но, может быть, вы знаете, где он, куда ушел?

— Э! куда ушел! — повторила сьора Грация, приклонив голову к плечу. — Статься может, в остерии, на площади, у фонтана; верно, кто-нибудь позвал его, куда-нибудь ушел, chi lo sa (кто его знает)!

— Если хочет принчипе что-нибудь сказать ему, — подхватила из супротивного окна Барбаручья, надевая в то же время серьгу в свое ухо, — пусть скажет мне, я ему передам.

«Ну, нет», — подумал князь и поблагодарил за такую готовность.

В это время выглянул из перекрестного переулка огромный запачканный нос и, как большой топор, повиснул над показавшимися вслед за ними губами и всем лицом. Это был сам Пеппе.

— Вот Пеппе! — воскликнула сьора Сусанна.

— Вот идет Пеппе, sior principe! — вскрикнула живо из своего окна синьора Грация.

— Идет, идет Пеппе! — зазвенела из самого угла улицы сьора Чечилия.

— Принчипе, принчипе! вон Пеппе, вон Пеппе (ессо Реppe, ессо Реppe)! — кричали на улице ребятишки.

— Вижу, вижу, — сказал князь, оглушенный таким живым криком.

— Вот я, eccelenza, вот! — сказал Пеппе, снимая шапку. Он, как видно, уже успел попробовать карнавала. Его откуда-то сбоку хватило сильно мукою. Весь бок и спина были у него выбелены совершенно, шляпа изломана, и все лицо было убито белыми гвоздями. Пеппе уже был замечателен потому, что всю жизнь свою остался с уменьшительным именем своим Пеппе. До Джузеппе он никак не добрался, хотя и поседел. Он происходил даже из хорошей фамилии, из богатого дома негоцианта, но последний домишко был у него оттяган тяжбой. Еще отец его,

человек тоже вроде самого Пеппе, хотя и назывался sior Джиованни, проел последнее имущество, и он мыкал теперь свою жизнь, подобно многим, — то есть как приходилось: то вдруг определялся слугой у какого-нибудь иностранца, то был на посылках у адвоката, то являлся убирателем студии какого-нибудь художника, то сторожем виноградника или виллы; и по мере того изменялся на нем беспрестанно костюм. Иногда Пеппе попадался на улице в круглой шляпе и широком сюртуке, иногда в узеньком кафтане, лопнувшем в двух или трех местах, с такими узенькими рукавами, что длинные руки его выглядывали оттуда, как метлы; иногда на ноге его являлся поповский чулок и башмак, иногда он показывался в таком костюме, что уж и разобрать было трудно, тем более, что все это было надето вовсе не так, как следует: иной раз просто можно было подумать, что он надел на ноги вместо панталон куртку, собравши и завязавши ее кое-как сзади. Он был самый радушный исполнитель всех возможных поручений, часто вовсе безынтересно: тащил продавать всякую ветошь, которую поручали дамы его улицы, пергаментные книги разорившегося аббата или антиквария, картину художника; заходил по утрам к аббатам забирать их панталоны и башмаки для почистки к себе на дом, которые потом позабывал в урочное время отнести назад от излишнего желанья услужить кому-нибудь попавшемуся третьему, и аббаты оставались арестованными, без башмаков и панталон, на весь день. Часто ему перепадали порядочные деньги, но деньгами он распоряжался по-римски: то есть на завтра никогда почти их не ставало; не потому, чтобы он тратил на себя или проедал, но потому, что все у него шло на лотерею, до которой был он страшный охотник. Вряд ли существовал такой нумер, которого бы он не попробовал. Всякое незначащее ежедневное происшествие у него имело важное значение. Случилось ли ему найти на улице какую-нибудь дрянь, он тот же час справлялся в гадательной книге, за каким нумером она там стоит, с тем чтобы его тотчас же взять в лотерее. Приснился ему однажды сон, что сатана, который и без того ему снился неизвестно по какой причине в начале каждой весны, — что сатана потащил его за нос по всем крышам всех домов, начиная от церкви Св. Игнатия, потом по всему Корсо, потом по переулку tre Ladroni, потом по via della stamperia и остановился наконец у самой Trinita

на лестнице, приговаривая: «Вот тебе, Пеппе, за то, что ты молился святому Панкратию: твой билет не выиграет». Сон этот произвел большие толки между сьорой Чечилией, сьорой Сусанной и всей почти улицей; но Пеппе разрешил его по-своему: сбегал тот же час за гадательной книгой, узнал, что черт значит 13 нумер, нос 24, святой Панкратий 30, и взял того же утра все три нумера. Потом сложил все три нумера, вышел: 67, он взял и 67. Все четыре нумера, по обыкновению, лопнули. В другой раз случилось ему завести перепалку с виноградарем, толстым римлянином, сьором Рафаэлем Томачели. За что они поссорились — Бог их ведает, но кричали они громко, производя сильные жесты руками, и, наконец, оба побледнели — признак ужасный, при котором обыкновенно со страхом высовываются из окон все женщины и проходящий пешеход отсторанивается подальше, — признак, что делю доходит наконец до ножей. И точно, толстый Томачели запустил уже руку за ременное голенище, обтягивавшее его толстую икру, чтобы вытащить оттуда нож, и сказал: «Погоди ты, вот я тебя, телячья голова!» — как вдруг Пеппе ударил себя рукою по лбу и убежал с места битвы. Он вспомнил, что на телячью голову он еще ни разу не взял билета; отыскал нумер телячьей головы и побежал бегом в лотерейную контору, так что все, приготовившиеся смотреть кровавую сцену, изумились такому нежданному поступку, и сам Рафаэль Томачели, засунувши обратно нож в голенище, долго не знал, что ему делать, и наконец сказал: «Che uomo curioso!» (Какой странный человек!) Что билеты лопались и пропадали, этим не смущался Пеппе. Он был твердо уверен, что будет богачом, и потому, проходя мимо лавок, спрашивал почти всегда, что стоит всякая вещь. Один раз, узнавши, что продается большой дом, он зашел нарочно поговорить об этом с продавцом, и когда стали над ним смеяться знавшие его, он отвечал очень простодушно: «Но к чему смеяться, к чему смеяться? Я ведь не теперь хотел купить, а после, со временем, когда будут деньги. Тут ничего нет такого... всякий должен приобретать состояние, чтобы оставить потом детям, на церковь, бедным, на другие разные вещи... chi lo sa!» Он уже давно был известен князю, был даже когда-то взят отцом его в дом в качестве официанта и тогда же прогнан — за то, что в месяц износил свою ливрею и выбросил за окно весь туалет старого князя, нечаянно толкнув его локтем.

— Послушай, Пеппе! — сказал князь.

— Что хочет приказать eccelenza? — говорил Пеппе, стоя с открытою головою. — Князю стоит только сказать:

«Пеппе!» — а я: «Вот я». Потом князь пусть только скажет:

«Слушай, Пеппе», — а я: «Ecco me, eccelenza!»

— Ты должен, Пеппе, сделать мне теперь вот какую услугу... — При сих словах князь взглянул вокруг себя и увидел, что все сьоры Грации, сьоры Сусанны, Барбаручьи, Тетты, Тутты — все, сколько их ни было, — выставились любопытно из окна, а бедная сьора Чечилия чуть не вывалилась вовсе на улицу.

«Ну, дело плохо!» — подумал князь.

— Пойдем, Пеппе, ступай за мною.

Сказавши это, он пошел вперед, а за ним Пеппе, потупив голову и разговаривая сам с собою: «Э! женщины потому и любопытны, потому что женщины, потому что любопытны».

Долго шли они из улицы в улицу, погрузясь каждый в свои соображения. Пеппе думал вот о чем: «Князь даст, верно, какое-нибудь поручение, может быть важное, потому что не хочет сказать при всех; стало быть, даст хороший подарок или деньги. Если же князь даст денег, что с ними делать? Отдавать ли их сьору Сервилию, содержателю кафе, которому он давно должен? потому что сьор Сервилио на первой же неделе Поста непременно потребует с него денег, потому что сьор Сервилио усадил все деньги на чудовищную скрыпку, которую собственноручно делал три месяца для карнавала, чтоб проехаться с нею по всем улицам, — теперь, вероятно, сьор Сервилио долго будет есть вместо жаренного на вертеле козленка одни броколи, варенные в воде, пока не наберет вновь денег за кофий. Или же не платить сьору Сервилио да вместо того позвать его обедать в остерию? потому что сьор Сервилио il vero Romano и за предложенную ему честь будет готов потерпеть долг, — а лотерея непременно начнется со второй недели Поста. Только каким образом до того времени уберечь деньги, как сохранить их так, чтобы не узнал ни Джякомо, ни мастер Петручьо, точильщик, которые непременно попросят у него взаймы, потому что Джякомо заложил в Гету жидам все свое платье, а мастер Петручьо тоже заложил свое платье в Гету жидам и разорвал на себе юбку и последний платок жены, нарядясь женщиною...

как сделать так, чтобы не дать им взаймы?» Вот о чем думал Пеппе.

Князь думал вот о чем: «Пеппе может разыскать и узнать имя, где живет, и откуда, и кто такая красавица. Во-первых, он всех знает и потому больше, нежели всякий другой, может встретить в толпе приятелей, может чрез них разведать, может заглянуть во все кафе и остерии, может заговорить даже, не возбудив ни в ком подозрения своей фигурой. И хотя он подчас болтун и рассеянная голова, но если обязать его словом настоящего римлянина, он сохранит все в тайне».

Так думал князь, идя из улицы в улицу, и наконец остановился, увидевши, что уже давно перешел мост, давно уже был в Транстеверской стороне Рима, давно взбирается на гору и недалеко от него церковь S. Pietro in Montorio. Чтобы не стоять на дороге, он взошел на площадку, с которой открывался весь Рим, и произнес, оборотившись к Пеппе:

— Слушай, Пеппе, я от тебя потребую одной услуги.

— Что хочет eccelenza? — сказал опять Пеппе.

Но здесь князь взглянул на Рим и остановился: пред ним в чудной сияющей панораме предстал вечный город. Вся светлая груда домов, церквей, куполов, остроконечий сильно освещена была блеском понизившегося солнца. Группами и поодиночке один из-за другого выходили домы, крыши, статуи, воздушные террасы и галереи; там пестрела и разыгрывалась масса тонкими верхушками колоколен и куполов с узорною капризностью фонарей; там выходил целиком темный дворец; там плоский купол Пантеона; там убранная верхушка Антониновской колонны с капителью и статуей апостола Павла; еще правее возносили верхи капитолийские здания с конями, статуями; еще правее, над блещущей толпой домов и крыш, величественно и строго подымалась темная ширина колизейской громады; там опять играющая толпа стен, террас и куполов, покрытая ослепительным блеском солнца. И над всей сверкающей сей массой темнели вдали своей черною зеленью верхушки каменных дубов из вилл Людовизи, Медичис, и целым стадом стояли над ними в воздухе куполообразные верхушки римских пинн, поднятые тонкими стволами. И потом во всю длину всей картины возносились и голубели прозрачные горы, легкие, как воздух, объятые каким-то фосфорическим светом.

Ни словом, ни кистью нельзя было передать чудного согласия и сочетанья всех планов этой картины. Воздух был до того чист и прозрачен, что малейшая черточка отдаленных зданий была ясна, и все казалось так близко, как будто можно было схватить рукою. Последний мелкий архитектурный орнамент, узорное убранство карниза — все вызначалось в непостижимой чистоте. В это время раздались пушечный выстрел и отдаленный слившийся крик народной толпы — знак, что уже пробежали кони без седоков, завершающие день карнавала. Солнце опускалось ниже к земле; румянее и жарче стал блеск его на всей архитектурной массе; еще живей и ближе сделался город; еще темней зачернели пинны; еще голубее и фосфорнее стали горы; еще торжественней и лучше готовый погаснуть небесный воздух… Боже, какой вид! Князь, объятый им, позабыл и себя, и красоту Аннунциаты, и таинственную судьбу своего народа, и все, что ни есть на свете.

Том IV

Комедии



Ревизор

Комедия в пяти действиях

На зеркало неча пенять, коли рожа крива.
Народная пословица



Действующие лица

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, *городничий.*
Анна Андреевна, *жена его.*
Марья Антоновна, *дочь его.*
Лука Лукич Хлопов, *смотритель училищ.*
Жена его.
Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, *судья.*
Артемий Филиппович Земляника, *попечитель богоугодных заведений.*
Иван Кузьмич Шпекин, *почтмейстер.*
Петр Иванович Добчинский } *городские*
Петр Иванович Бобчинский } *помещики.*
Иван Александрович Хлестаков, *чиновник из Петербурга.*
Осип, *слуга его.*
Христиан Иванович Гибнер, *уездный лекарь.*
Федор Андреевич Люлюков } *отставные чиновники,*
Иван Лазаревич Растаковский } *почетные лица*
Степан Иванович Коробкин } *в городе.*
Степан Ильич Уховертов, *частный пристав.*
Свистунов }
Пуговицын } *полицейские.*
Держиморда }
Абдулин, *купец.*
Февронья Петровна Пошлепкина, *слесарша.*
Жена унтер-офицера.
Мишка, *слуга городничего.*
Слуга трактирный.
Гости и гостьи, купцы, мещане, просители.

Характеры и костюмы

Замечания для господ актеров

Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженые, с проседью.

Анна Андреевна, жена его, провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная вполовину на романах и альбомах, вполовину на хлопотах в своей кладовой и девичьей. Очень любопытна и при случае выказывает тщеславие. Берет иногда власть над мужем потому только, что тот не находится что отвечать ей; но власть эта распространяется только на мелочи и состоит в выговорах и насмешках. Она четыре раза переодевается в разные платья в продолжение пьесы.

Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, — один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде.

Осип, слуга, таков, как обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит сурьезно, смотрит несколько вниз, резонер и любит себе самому читать нравоучения для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барином принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выражение. Он умнее своего барина и потому скорее догадывается, но не любит много говорить и молча плут. Костюм его — серый или синий поношенный сюртук.

Бобчинский и Добчинский, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского.

Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своем значительную мину. Говорит басом с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом — как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют.

Земляника, попечитель богоугодных заведений, очень толстый, неповоротливый и н еуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив.

Почтмейстер, простодушный до наивности человек.

Прочие роли не требуют особых изъяснений. Оригиналы их всегда почти находятся пред глазами.

Господа актеры особенно должны обратить внимание на последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно произвесть электрическое потрясение на всех разом, вдруг. Вся группа должна переменить положение в один миг ока. Звук изумления должен вырваться у всех женщин разом, как будто из одной груди. От несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект.

Действие первое

Комната в доме городничего.

Явление I

Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных.

Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.

Аммос Федорович. Как ревизор?

Артемий Филиппович. Как ревизор?

Городничий. Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем.

Аммос Федорович. Вот те на!

Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай!

Лука Лукич. Господи Боже! еще и с секретным предписаньем!

Городничий. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель *(бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами)*... и уведомить тебя». А! вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд *(значительно поднимает палец вверх)*. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки...» *(остановясь)*, ну, здесь свои... «то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито... Вчерашнего дни я...» Ну, тут уж пошли дела семейные: «...сестра Анна Кирилловна приехала к нам с своим мужем; Иван Кириллович очень потолстел и все играет на скрыпке...» — и прочее, и прочее. Так вот какое обстоятельство!

Аммос Федорович. Да, обстоятельство такое... необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.

Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор?

Городничий. Зачем! Так уж, видно, судьба! *(Вздохнув.)* До сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему.

Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что: Россия... да... хочет вести войну, и министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.

Городничий. Эк куда хватили! Еще умный человек! В уездном городе измена! Что он, пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.

Аммос Федорович. Нет, я вам скажу, вы не того... вы не... Начальство имеет тонкие виды: даром что далеко, а оно себе мотает на ус.

Городничий. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряженья сделал, советую и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович! Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения — и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.

Артемий Филиппович. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.

Городничий. Да, и тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом каком языке... это уж по вашей части. Христиан Иванович, — всякую болезнь: когда кто заболел, которого дня и числа... Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если б их было меньше: тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача.

Артемий Филиппович. О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, — лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так

выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает.

Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву и *и несколько на* е.

Городничий. Вам тоже посоветовал бы, Аммос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему ж сторожу и не завесть его? только, знаете, в таком месте неприлично... Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал.

Аммос Федорович. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать.

Городничий. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь и над самым шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш... он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода, — это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.

Христиан Иванович издает тот же звук.

Аммос Федорович. Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.

Городничий. Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить: нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так Самим Богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят.

Аммос Федорович. Что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам — рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.

Городничий. Ну, щенками или чем другим — всё взятки.

Аммос Федорович. Ну нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге шаль...

Городничий. Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите; а я по крайней мере в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.

Аммос Федорович. Да ведь сам собою дошел, собственным умом.

Городничий. Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде; а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда: это уж такое завидное место, Сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так, как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо... не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак *(делает гримасу)*, и потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего: может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить; но вы посудите сами, если он сделает это посетителю, — это может быть очень худо: господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает что может произойти.

Лука Лукич. Что ж мне, право, с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству.

Городничий. То же я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах — еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-Богу! Сбежал с кафедры и что силы есть хвать стулом об пол. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне.

Лука Лукич. Да, он горяч! Я ему это несколько раз уже замечал... Говорит: «Как хотите, для науки я жизни не пощажу».

Городничий. Да, таков уже неизъяснимый закон судеб: умный человек — или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.

Лука Лукич. Не приведи Бог служить по ученой части! Всего боишься: всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.

Городничий. Это бы еще ничего, — инкогнито проклятое! Вдруг заглянет: «А, вы здесь, голубчики! А кто, скажет, здесь судья?» — «Ляпкин-Тяпкин». — «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодных заведений?» — «Земляника». — «А подать сюда Землянику!» Вот что худо!

Явление II

Те же и почтмейстер.

Почтмейстер. Объясните, господа, что, какой чиновник едет?

Городничий. А вы разве не слышали?

Почтмейстер. Слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.

Городничий. Ну, что? Как вы думаете об этом?

Почтмейстер. А что думаю? война с турками будет.

Аммос Федорович. В одно слово! я сам то же думал.

Городничий. Да, оба пальцем в небо попали!

Почтмейстер. Право, война с турками. Это все француз гадит.

Городничий. Какая война с турками! Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: у меня письмо.

Почтмейстер. А если так, то не будет войны с турками.

Городничий. Ну что же, как вы, Иван Кузьмич?

Почтмейстер. Да что я? Как вы, Антон Антонович?

Городничий. Да что я? Страху-то нет, а так, немножко… Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся, а я, вот ей-Богу, если и взял с иного, то, право, без всякой ненависти. Я даже думаю *(берет его под руку и отводит в сторону)*, я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечатать и прочитать: не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки. Если же нет, то можно опять запечатать; впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное.

Почтмейстер. Знаю, знаю… Этому не учите, это я делаю не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства: смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслажденьем прочтешь — так описываются разные пассажи… а назидательность какая… лучше, чем в «Московских Ведомостях»!

Городничий. Ну что ж, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?

Почтмейстер. Нет, о петербургском ничего нет, а о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако ж, что вы не читаете писем: есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом… очень, очень хорошо: «Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в эмпиреях: барышень много, музыка играет, штандарт скачет…» — с большим, с большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту?

Городничий. Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич: если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте.

Почтмейстер. С большим удовольствием.

Аммос Федорович. Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.

Почтмейстер. Ах, батюшки!

Городничий. Ничего, ничего. Другое дело, если бы вы из этого публичное что-нибудь сделали, но ведь это дело семейственное.

Аммос Федорович. Да, нехорошее дело заварилось! А я, признаюсь, шел было к вам, Антон Антонович, с тем чтобы попотчевать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу, и теперь мне роскошь: травлю зайцев на землях и у того и у другого.

Городничий. Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы: у меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и — шасть...

Явление III

Те же, Бобчинский и Добчинский, оба входят, запыхавшись.

Бобчинский. Чрезвычайное происшествие!

Добчинский. Неожиданное известие!

Все. Что, что такое?

Добчинский. Непредвиденное дело: приходим в гостиницу...

Бобчинский *(перебивая)*. Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу...

Добчинский *(перебивая)*. Э, позвольте, Петр Иванович, я расскажу.

Бобчинский. Э, нет, позвольте уж я... позвольте, позвольте... вы уж и слога такого не имеете...

Добчинский. А вы собьетесь и не припомните всего.

Бобчинский. Припомню, ей-Богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте! Скажите, господа, сделайте милость, чтоб Петр Иванович не мешал.

Городничий. Да говорите, ради Бога, что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа! Возьмите стулья! Петр Иванович, вот вам стул.

Все усаживаются вокруг обоих Петров Ивановичей.

Ну, что, что такое?

Бобчинский. Позвольте, позвольте: я все по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с, — так я тогда же забежал... уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович! Я уж все, все, все знаю-с. Так я, вот изволите видеть, забежал к Коробкину. А не заставши Коробкина-то дома, заворотил к Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость, да, идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем...

Добчинский *(перебивая)*. Возле будки, где продаются пироги.

Бобчинский. Возле будки, где продаются пироги. Да, встретившись с Петром Ивановичем, и говорю ему: «Слышали ли вы о новости-та, которую получил Антон Антонович из достоверного письма?» А Петр Иванович уж услыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, за чем-то была послана к Филиппу Антоновичу Почечуеву.

Добчинский *(перебивая)*. За бочонком для французской водки.

Бобчинский *(отводя его руки)*. За бочонком для французской водки. Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к Почечуеву... Уж вы, Петр Иванович... энтого... не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте!.. Пошли к Почечуеву, да на дороге Петр Иванович говорит: «Зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня... с утра я ничего не ел, так желудочное трясение...» — да-с, в желудке-то у Петра Ивановича... «А в трактир, говорит, привезли теперь свежей семги, так мы закусим». Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...

Добчинский *(перебивая)*. Недурной наружности, в партикулярном платье...

Бобчинский. Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь *(вертит рукою около лба)* много, много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели назад тому родила, и такой

пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек?» — а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте; вы не расскажете, ей-Богу не расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга, а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!» — говорю я Петру Ивановичу...

Д о б ч и н с к и й. Нет, Петр Иванович, это я сказал «э!»

Б о б ч и н с к и й. Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем. А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию?» Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.

Г о р о д н и ч и й. Кто, какой чиновник?

Б о б ч и н с к и й. Чиновник-та, о котором изволили получить нотицию, — ревизор.

Г о р о д н и ч и й *(в страхе).* Что вы, Господь с вами! это не он.

Д о б ч и н с к и й. Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная прописана в Саратов.

Б о б ч и н с к и й. Он, он, ей-Богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.

Г о р о д н и ч и й. Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?

Д о б ч и н с к и й. В пятом номере, под лестницей.

Б о б ч и н с к и й. В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.

Г о р о д н и ч и й. И давно он здесь?

Д о б ч и н с к и й. А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.

Городничий. Две недели! *(В сторону.)* Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак, нечистота! Позор! поношенье! *(Хватается за голову.)*

Артемий Филиппович. Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.

Аммос Федорович. Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге «Деяния Иоанна Масона»...

Городничий. Нет, нет: позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. Авось Бог вынесет и теперь. *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Вы говорите, он молодой человек?

Бобчинский. Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.

Городничий. Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей. Эй, Свистунов!

Свистунов. Что угодно?

Городничий. Ступай сейчас за частным приставом; или нет, ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава, и приходи сюда.

Квартальный бежит впопыхах.

Артемий Филиппович. Идем, идем, Аммос Федорович! В самом деле может случиться беда.

Аммос Федорович. Да вам чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду.

Артемий Филиппович. Какое колпаки! Больным велено габерсуп давать, а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.

Аммос Федорович. А я на этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот уж пятнадцать лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку — а! только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда.

Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и почтмейстер уходят и в дверях сталкиваются с возвращающимся квартальным.

Явление IV

Городничий, Бобчинский, Добчинский и квартальный.

Городничий. Что, дрожки там стоят?

Квартальный. Стоят.

Городничий. Ступай на улицу... или нет, постой! Ступай принеси... Да другие-то где? неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?

Квартальный. Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен.

Городничий. Как так?

Квартальный. Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился.

Городничий *(хватаясь за голову).* Ах, Боже мой, Боже мой! Ступай скорее на улицу, или нет — беги прежде в комнату, слышь! и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем!

Бобчинский. И я, и я... позвольте и мне, Антон Антонович!

Городничий. Нет, нет, Петр Иванович, нельзя, нельзя! Неловко, да и на дрожках не поместимся.

Бобчинский. Ничего, ничего, я так: петушком, петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в щелочку-та, в дверь этак посмотреть, как у него эти поступки...

Городничий *(принимая шпагу, к квартальному).* Беги сейчас возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет... Эк шпага как исцарапалась! Проклятый купчишка Абдулин — видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. О, лукавый народ! А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице... черт возьми, по улице — по метле! и вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто... Слышишь! Да смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты там кумаешься да крадешь в ботфорты серебряные ложечки, — смотри, у меня ухо востро!.. Что ты сделал с купцом Черняевым — а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! не по чину берешь! Ступай!

Явление V

Те же и Частный пристав.

Городничий. А, Степан Ильич! Скажите, ради Бога: куда вы запропастились? На что это похоже?

Частный пристав. Я был тут сейчас за воротами.

Городничий. Ну, слушайте же, Степан Ильич! Чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?

Частный пристав. Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.

Городничий. А Держиморда где?

Частный пристав. Держиморда поехал на пожарной трубе.

Городничий. А Прохоров пьян?

Частный пристав. Пьян.

Городничий. Как же вы это так допустили?

Частный пристав. Да Бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка, — поехал туда для порядка, а возвратился пьян.

Городничий. Послушайте ж, вы сделайте вот что: квартальный Пуговицын… он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, Боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город! только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор — черт их знает откудова и нанесут всякой дряни! *(Вздыхает.)* Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу: довольны ли? — чтобы говорили: «Всем довольны, ваше благородие»; а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия… О, ох, хо, хо, х! грешен, во многом грешен. *(Берет вместо шляпы футляр.)* Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по три пуда воску. О Боже мой, Боже мой! Едем, Петр Иванович! *(Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр.)*

Частный пристав. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.

Городничий *(бросая коробку)*. Коробка так коробка. Черт с ней! Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим; он, для порядка, всем ставит фонари под глазами — и правому и виноватому. Едем, едем, Петр Иванович! *(Уходит и возвращается.)* Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта дрянная гарниза наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет.

Все уходят.

Явление VI

Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену.

Анна Андреевна. Где ж, где ж они? Ах, Боже мой!.. *(Отворяя дверь.)* Муж! Антоша! Антон! *(Говорит скоро.)* А все ты, а всё за тобой. И пошла копаться: «Я булавочку, я косынку». *(Подбегает к окну и кричит.)* Антон, куда, куда? Что, приехал? ревизор? с усами! с какими усами?

Голос городничего. После, после, матушка!

Анна Андреевна. После? Вот новости — после! Я не хочу после... Мне только одно слово: что он, полковник? А? *(С пренебрежением.)* Уехал! Я тебе вспомню это! А все эта: «Маменька, маменька, погодите, зашпилю сзади косынку; я сейчас». Вот тебе и сейчас! Вот тебе ничего и не узнали! А все проклятое кокетство; услышала, что почтмейстер здесь, и давай пред зеркалом жеманиться; и с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится, а он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься.

Марья Антоновна. Да что ж делать, маменька? Все равно чрез два часа мы всё узнаем.

Анна Андреевна. Чрез два часа! покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом! Как ты не догадалась сказать, что

чрез месяц еще лучше можно узнать! *(Свешивается в окно.)* Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то?.. Не слышала? Глупая какая! Машет руками? Пусть машет, а ты все бы таки его расспросила. Не могла этого узнать! В голове чепуха, всё женихи сидят. А? Скоро уехали! да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас! Слышишь, побеги расспроси, куда поехали; да расспроси хорошенько: что за приезжий, каков он, — слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все, и глаза какие: черные или нет, и сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорее, скорее, скорее, скорее! *(Кричит до тех пор, пока не опускается занавес. Так занавес и закрывает их обеих, стоящих у окна.)*

Действие второе

Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее.

Явление I

Осип лежит на барской постеле.

Черт побери, есть так хочется и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только, домой! Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера! Профинтил дорогою денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны; нет, вишь ты, нужно в каждом городе показать себя! *(Дразнит его.)* «Эй, Осип, ступай посмотри комнату, лучшую, да обед спроси самый лучший: я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед». Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой! С проезжающим знакомится, а потом в картишки — вот тебе и доигрался! Эх, надоела такая жизнь! Право, на деревне лучше: оно хоть нет публичности, да и заботности меньше; возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на полатях да ешь пироги. Ну, кто ж спорит: конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная: кеятры, собаки тебе танцуют, и все что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит; пойдешь на Щукин — купцы тебе кричат: «Почтенный!»; на перевозе в лодке с чиновником сядешь; компании захотел — ступай в лавочку: там тебе кавалер расскажет про лагери и объявит, что всякая звезда значит на небе, так вот как на ладони все видишь. Старуха офицерша забредет; горничная иной раз заглянет такая… фу, фу, фу! *(Усмехается и трясет головою.)* Галантерейное, черт возьми, обхождение! Невежливого слова никогда не услышишь, всякой тебе говорит «вы». Наскучило идти — берешь извозчика и сидишь себе как барин, а не хочешь заплатить ему — изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо: иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет

денежки, чем бы их попридержать — и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, каждый день ты доставай в кеятр билет, а там через неделю, глядь — и посылает на толкучий продавать новый фрак. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка... Ей-Богу, правда! И сукно такое важное, аглицкое! рублев полтораста ему один фрак станет, а на рынке спустит рублей за двадцать; а о брюках и говорить нечего — нипочем идут. А отчего? — оттого, что делом не занимается: вместо того чтобы в должность, а он идет гулять по прешпекту, в картишки играет. Эх, если б узнал это старый барин! Он не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б четыре ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее; ну, а коли не заплатим? *(Со вздохом.)* Ах, Боже Ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится; верно, это он идет. *(Поспешно схватывается с постели.)*

Явление II

Осип и Хлестаков.

Хлестаков. На, прими это. *(Отдает фуражку и тросточку.)* А, опять валялся на кровати?

Осип. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровати, что ли?

Хлестаков. Врешь, валялся; видишь, вся склочена.

Осип. Да на что мне она? Не знаю я разве, что такое кровать? У меня есть ноги; я и постою. Зачем мне ваша кровать?

Хлестаков *(ходит по комнате)*. Посмотри, там в картузе табаку нет?

Осип. Да где ж ему быть, табаку? Вы четвертого дня последнее выкурили.

Хлестаков *(ходит и разнообразно сжимает свои губы; наконец говорит громким и решительным голосом)*. Послушай... эй, Осип!

Осип. Чего изволите?

Хлестаков *(громким, но не столь решительным голосом)*. Ты ступай туда.

Осип. Куда?

Хлестаков *(голосом вовсе не решительным и не громким, очень близким к просьбе).* Вниз, в буфет... Там скажи... чтобы мне дали пообедать.

Осип. Да нет, я и ходить не хочу.

Хлестаков. Как ты смеешь, дурак!

Осип. Да так; все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать.

Хлестаков. Как он смеет не дать? Вот еще вздор!

Осип. «Еще, говорит, и к городничему пойду; третью неделю барин денег не плотит. Вы-де с барином, говорит, мошенники, и барин твой — плут. Мы-де, говорит, этаких шерамыжников и подлецов видали».

Хлестаков. А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это.

Осип. Говорит: «Этак всякий приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо с жалобою, чтоб на съезжую да в тюрьму».

Хлестаков. Ну, ну, дурак, полно! Ступай, ступай скажи ему. Такое грубое животное!

Осип. Да лучше я самого хозяина позову к вам.

Хлестаков. На что ж хозяина? Ты поди сам скажи.

Осип. Да, право, сударь...

Хлестаков. Ну, ступай, черт с тобой! позови хозяина.

Осип уходит.

Явление III

Хлестаков один.

Ужасно как хочется есть! Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит, — нет, черт возьми, не проходит. Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня: штосы удивительно, бестия, срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел — и всё обобрал. А при всем том страх хотелось бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Какой скверный городишко! В овошенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло. *(Насвистывает сначала из «Роберта», потом «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни се ни то.)* Никто не хочет идти.

Явление IV

Хлестаков, Осип и трактирный слуга.

Слуга. Хозяин приказал спросить, что вам угодно?

Хлестаков. Здравствуй, братец! Ну, что ты, здоров?

Слуга. Слава Богу.

Хлестаков. Ну что, как у вас в гостинице? хорошо ли все идет?

Слуга. Да, слава Богу, все хорошо.

Хлестаков. Много проезжающих?

Слуга. Да, достаточно.

Хлестаков. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят, так, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее, — видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.

Слуга. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он, никак, хотел идти сегодня жаловаться городничему.

Хлестаков. Да что ж жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? ведь мне нужно есть. Этак могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется; я не шутя это говорю.

Слуга. Так-с. Он говорил: «Я ему обедать не дам, покамест он не заплатит мне за прежнее». Таков уж ответ его был.

Хлестаков. Да ты урезонь, уговори его.

Слуга. Да что ж ему такое говорить?

Хлестаков. Ты растолкуй ему сурьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собою... Он думает, что, как ему, мужику, ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости!

Слуга. Пожалуй, я скажу.

Явление V

Хлестаков один.

Это скверно, однако ж, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты, а хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить этаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо, с фонарями,

а Осипа сзади, одеть в ливрею. Как бы, я воображаю, все переполошились: «Кто такой, что такое?» А лакей входит *(вытягиваясь и представляя лакея)*: «Иван Александрович Хлестаков из Петербурга, прикажете принять?» Они, пентюхи, и не знают, что такое значит «прикажете принять». К ним если приедет какой-нибудь гусь помещик, так и валит, медведь, прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдешь: «Сударыня, как я...» *(Потирает руки и подшаркивает ножкой.)* Тьфу! *(плюет)* даже тошнит, так есть хочется.

Явление VI

Хлестаков, Осип, потом слуга.

Хлестаков. А что?

Осип. Несут обед.

Хлестаков *(прихлопывает в ладоши и слегка подпрыгивает на стуле)*. Несут! несут! несут!

Слуга *(с тарелками и салфеткой)*. Хозяин в последний раз уж дает.

Хлестаков. Ну, хозяин, хозяин... Я плевать на твоего хозяина! Что там такое?

Слуга. Суп и жаркое.

Хлестаков. Как, только два блюда?

Слуга. Только-с.

Хлестаков. Вот вздор какой! я этого не принимаю. Ты скажи ему: что это, в самом деле, такое!.. Этого мало.

Слуга. Нет, хозяин говорит, что еще много.

Хлестаков. А соуса почему нет?

Слуга. Соуса нет.

Хлестаков. Отчего же нет? Я видел сам, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человека ели семгу и еще много кой-чего.

Слуга. Да оно-то есть, пожалуй, да нет.

Хлестаков. Как нет?

Слуга. Да уж нет.

Хлестаков. А семга, а рыба, а котлеты?

Слуга. Да это для тех, которые почище-с.

Хлестаков. Ах ты, дурак!

Слуга. Да-с.

Хлестаков. Поросенок ты скверный... Как же они едят, а я не ем? Отчего же я, черт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?

Слуга. Да уж известно, что не такие.

Хлестаков. Какие же?

Слуга. Обнаковенно какие! они уж известно: они деньги платят.

Хлестаков. Я с тобою, дурак, не хочу рассуждать. *(Наливает суп и ест.)* Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку: никакого вкусу нет, только воняет. Я не хочу этого супу, дай мне другого.

Слуга. Мы примем-с. Хозяин сказал: коли не хотите, то и не нужно.

Хлестаков *(защищая рукою кушанье)*. Ну, ну, ну... оставь, дурак! Ты привык там обращаться с другими: я, брат, не такого рода! со мной не советую... *(Ест.)* Боже мой, какой суп! *(Продолжает есть.)* Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супу: какие-то перья плавают вместо масла. *(Режет курицу.)* Ай, ай, ай, какая курица! Дай жаркое! Там супу немного осталось. Осип, возьми себе. *(Режет жаркое.)* Что это за жаркое? Это не жаркое.

Слуга. Да что ж такое?

Хлестаков. Черт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины. *(Ест.)* Мошенники, канальи, чем они кормят! И челюсти заболят, если съешь один такой кусок. *(Ковыряет пальцем в зубах.)* Подлецы! Совершенно как деревянная кора, ничем вытащить нельзя; и зубы почернеют после этих блюд. Мошенники! *(Вытирает рот салфеткой.)* Больше ничего нет?

Слуга. Нет.

Хлестаков. Канальи! подлецы! и даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожное. Бездельники! дерут только с проезжающих.

Слуга убирает и уносит тарелки вместе с Осипом.

Явление VII

Хлестаков, потом Осип.

Хлестаков. Право, как будто и не ел; только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку.

Осип *(входит)*. Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.

Хлестаков *(испугавшись)*. Вот тебе на! Эка бестия трактирщик, успел уже пожаловаться! Что, если в самом деле он потащит меня в тюрьму? Что ж, если благородным образом, я, пожалуй... нет, нет, не хочу! Там в городе таскаются офицеры и народ, а я, как нарочно, задал тону и перемигнулся с одной купеческой дочкой... Нет, не хочу... Да что он, как он смеет в самом деле? Что я ему, разве купец или ремесленник? *(Бодрится и выпрямливается.)* Да я ему прямо скажу: «Как вы смеете, как вы...» *(У дверей вертится ручка; Хлестаков бледнеет и съеживается.)*

Явление VIII

Хлестаков, городничий и Добчинский.
Городничий, вошед, останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза.

Городничий *(немного оправившись и протянув руки по швам)*. Желаю здравствовать!

Хлестаков *(кланяется)*. Мое почтение...

Городничий. Извините.

Хлестаков. Ничего...

Городничий. Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений...

Хлестаков *(сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко)*. Да что ж делать?.. Я не виноват... Я, право, заплачу... Мне пришлют из деревни.

Бобчинский выглядывает из дверей.

Он больше виноват: говядину мне подает такую твердую, как бревно; а суп — он черт знает чего плеснул туда, я должен был выбросить его за окно. Он меня морил голодом по целым

дням... Чай такой странный: воняет рыбой, а не чаем. За что ж я... Вот новость!

Городничий *(робея)*. Извините, я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то... Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.

Хлестаков. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то есть — в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?.. Да вот я... Я служу в Петербурге. *(Бодрится.)* Я, я, я...

Городничий *(в сторону)*. О Господи Ты Боже, какой сердитый! Все узнал, всё рассказали проклятые купцы!

Хлестаков *(храбрясь)*. Да вот вы хоть тут со всей своей командой — не пойду! Я прямо к министру! *(Стучит кулаком по столу.)* *Что вы? что вы?*

Городничий *(вытянувшись и дрожа всем телом)*. Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие... не сделайте несчастным человека.

Хлестаков. Нет, я не хочу! Вот еще! мне какое дело? Оттого, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму, вот прекрасно!

Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге прячется.

Нет, благодарю покорно, не хочу.

Городничий *(дрожа)*. По неопытности, ей-Богу по неопытности. Недостаточность состояния... Сами извольте посудить: казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были какие взятки, то самая малость: к столу что-нибудь да на пару платья. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-Богу клевета. Это выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.

Хлестаков. Да что? мне нет никакого дела до них. *(В размышлении.)* Я не знаю, однако ж, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове... Унтер-офицерская жена совсем другое, а меня вы не смеете высечь, до этого вам далеко... Вот еще! смотри ты какой!.. Я заплачу, заплачу

деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки.

Городничий *(в сторону).* О, тонкая штука! Эк куда метнул! какого туману напустил! разбери кто хочет! Не знаешь, с которой стороны и приняться. Ну, да уж попробовать не куды пошло! Что будет, то будет, попробовать на авось. *(Вслух.)* Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим.

Хлестаков. Дайте, дайте мне взаймы! Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей двести или хоть даже и меньше.

Городничий *(поднося бумажки).* Ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать.

Хлестаков *(принимая деньги).* Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни... у меня это вдруг... Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело.

Городничий *(в сторону).* Ну, слава Богу! деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо двухсот четыреста ввернул.

Хлестаков. Эй, Осип!

Осип входит.

Позови сюда трактирного слугу! *(К городничему и Добчинскому.)* А что ж вы стоите? Сделайте милость, садитесь. *(Добчинскому.)* Садитесь, прошу покорнейше.

Городничий. Ничего, мы и так постоим.

Хлестаков. Сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушие, а то, признаюсь, я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня... *(Добчинскому.)* Садитесь.

Городничий и Добчинский садятся.
Бобчинский выглядывает в дверь и прислушивается.

Городничий *(в сторону).* Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы: прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. *(Вслух.)* Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром

Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет; но я, я, кроме должности, еще по христианскому человеколюбию хочу, чтоб всякому смертному оказывался хороший прием, — и вот, как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство.

Хлестаков. Я тоже сам очень рад. Без вас я, признаюсь, долго бы просидел здесь: совсем не знал, чем заплатить.

Городничий *(в сторону)*. Да, рассказывай, не знал, чем заплатить! *(Вслух.)* Осмелюсь ли спросить: куда и в какие места ехать изволите?

Хлестаков. Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.

Городничий *(в сторону, с лицом, принимающим ироническое выражение)*. В Саратовскую губернию! А? и не покраснеет! О, да с ним нужно ухо востро. *(Вслух.)* Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги: говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь, с другой стороны, развлеченье для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете?

Хлестаков. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.

Городничий *(в сторону)*. Прошу посмотреть, какие пули отливает! и старика отца приплел! *(Вслух.)* И на долгое время изволите ехать?

Хлестаков. Право, не знаю. Ведь мой отец упрям и глуп, старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу: как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что ж, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности; душа моя жаждет просвещения.

Городничий *(в сторону)*. Славно завязал узелок! Врет, врет — и нигде не оборвется! А ведь какой невзрачный, низенький, кажется, ногтем бы придавил его. Ну, да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать! *(Вслух.)* Справедливо изволили заметить. Что можно сделать в глуши?

Ведь вот хоть бы здесь: ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда неизвестно еще когда будет. *(Окидывает глазами комнату.)* Кажется, эта комната несколько сыра?

Хлестаков. Скверная комната, и клопы такие, каких я нигде не видывал: как собаки кусают.

Городничий. Скажите! такой просвещенный гость, и терпит — от кого же? — от каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Никак, даже темно в этой комнате?

Хлестаков. Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать или придет фантазия сочинить что-нибудь, — не могу: темно, темно.

Городничий. Осмелюсь ли просить вас... но нет, я недостоин.

Хлестаков. А что?

Городничий. Нет, нет, недостоин, недостоин!

Хлестаков. Да что ж такое?

Городничий. Я бы дерзнул... У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная... Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь... Не рассердитесь — ей-Богу, от простоты души предложил.

Хлестаков. Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.

Городничий. А уж я так буду рад! А уж как жена обрадуется! У меня уже такой нрав: гостеприимство с самого детства, особливо если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести; нет, не имею этого порока, от полноты души выражаюсь.

Хлестаков. Покорно благодарю. Я сам тоже — я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие, и я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уваженье, уваженье и преданность.

Явление IX

Те же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипом. Бобчинский выглядывает в дверь.

Слуга. Изволили спрашивать?

Хлестаков. Да; подай счет.

Слуга. Я уж давича подал вам другой счет.

Хлестаков. Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?

Слуга. Вы изволили в первый день спросить обед, а на другой день только закусили семги и потом пошли всё в долг брать.

Хлестаков. Дурак! еще начал высчитывать. Всего сколько следует?

Городничий. Да вы не извольте беспокоиться, он подождет. *(Слуге.)* Пошел вон, тебе пришлют.

Хлестаков. В самом деле, и то правда. *(Прячет деньги.)*

Слуга уходит. В дверь выглядывает Бобчинский.

Явление X

Городничий, Хлестаков, Добчинский.

Городничий. Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как-то — богоугодные и другие?

Хлестаков. А что там такое?

Городничий. А так, посмотрите, какое у нас течение дел... порядок какой...

Хлестаков. С большим удовольствием, я готов.

Бобчинский выставляет голову в дверь.

Городничий. Также, если будет ваше желание, оттуда в уездное училище, осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки.

Хлестаков. Извольте, извольте.

Городничий. Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы — рассмотрите, как у нас содержатся преступники.

Хлестаков. Да зачем же тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим богоугодные заведения.

Городничий. Как вам угодно. Как вы намерены: в своем экипаже или вместе со мною на дрожках?

Хлестаков. Да, я лучше с вами на дрожках поеду.

Городничий *(Добчинскому)*. Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места.

Добчинский. Ничего, я так.

Городничий *(тихо Добчинскому)*. Слушайте: вы побегите, да бегом, во все лопатки, и снесите две записки: одну в богоугодное заведение Землянике, а другую жене. *(Хлестакову.)* Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтоб она приготовилась к принятию почтенного гостя?

Хлестаков. Да зачем же?.. А впрочем, тут и чернила, только бумаги — не знаю... Разве на этом счете?

Городничий. Я здесь напишу. *(Пишет и в то же время говорит про себя.)* А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика да бутылки толстобрюшки! Да есть у нас губернская мадера: неказиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться. *(Написавши, отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с нею на сцену. Все издают восклицания. Бобчинский подымается.)*

Хлестаков. Что? не ушиблись ли вы где-нибудь?

Бобчинский. Ничего, ничего-с, без всякого-с помешательства, только сверх носа небольшая нашлепка! Я забегу к Христиану Ивановичу: у него-с есть пластырь такой, так вот оно и пройдет.

Городничий *(делая Бобчинскому укорительный знак, Хлестакову)*. Это-с ничего. Прошу покорнейше, пожалуйте! А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. *(Осипу.)* Любезнейший, ты перенеси все ко мне, к городничему, — тебе всякий покажет. Прошу покорнейше! *(Пропускает вперед Хлестакова и следует за ним, но, оборотившись, говорит с укоризной Бобчинскому)*. Уж и вы! не нашли другого места упасть! И растянулся, как черт знает что такое. *(Уходит; за ним Бобчинский.)*

Занавес опускается.

Действие третье

Комната первого действия.

Явление I

Анна Андреевна, Марья Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях.

Анна Андреевна. Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым жеманством: совершенно оделась, нет, еще нужно копаться... Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада! как нарочно, ни души! как будто бы вымерло все.

Марья Антоновна. Да, право, маменька, чрез минуты две всё узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. *(Всматривается в окно и вскрикивает.)* Ах, маменька, маменька! кто-то идет, вон в конце улицы.

Анна Андреевна. Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста... во фраке... Кто ж это? а? Это, однако ж, досадно! Кто ж бы это такой был?

Марья Антоновна. Это Добчинский, маменька.

Анна Андреевна. Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится этакое... Совсем не Добчинский. *(Машет платком.)* Эй вы, ступайте сюда! скорее!

Марья Антоновна. Право, маменька, Добчинский.

Анна Андреевна. Ну вот, нарочно, чтобы только поспорить. Говорят тебе — не Добчинский.

Марья Антоновна. А что? а что, маменька? Видите, что Добчинский.

Анна Андреевна. Ну да, Добчинский, теперь я вижу, — из чего же ты споришь? *(Кричит в окно.)* Скорей, скорей! вы тихо идете. Ну что, где они? А? Да говорите же оттуда — все равно. Что? очень строгий? А? А муж, муж? *(Немного отступя от окна, с досадою.)* Такой глупый: до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет!

Явление II

Те же и Добчинский.

Анна Андреевна. Ну, скажите, пожалуйста: ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного

человека: все вдруг выбежали, и вы туда ж за ними! и я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизаньку, а вы вот как со мною поступили!

Добчинский. Ей-Богу, кумушка, так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу духу перевесть. Мое почтение, Марья Антоновна!

Марья Антоновна. Здравствуйте, Петр Иванович!

Анна Андреевна. Ну что? Ну, рассказывайте: что и как там?

Добчинский. Антон Антонович прислал вам записочку.

Анна Андреевна. Ну, да кто он такой? генерал?

Добчинский. Нет, не генерал, а не уступит генералу: такое образование и важные поступки-с.

Анна Андреевна. А! так это тот самый, о котором было писано мужу.

Добчинский. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.

Анна Андреевна. Ну, расскажите: что и как?

Добчинский. Да, слава Богу, все благополучно. Сначала он принял было Антона Антоновича немного сурово, да-с; сердился и говорил, что и в гостинице все нехорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме; но потом, как узнал невинность Антона Антоновича и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли, и, слава Богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения… А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, не было ли тайного доноса; я сам тоже перетрухнул немножко.

Анна Андреевна. Да вам-то чего бояться? ведь вы не служите.

Добчинский. Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх.

Анна Андреевна. Ну, что ж… это все, однако ж, вздор. Расскажите, каков он собою? что, стар или молод?

Добчинский. Молодой, молодой человек; лет двадцати трех; а говорит совсем так, как старик: «Извольте, говорит, я поеду и туда, и туда…» *(размахивает руками)* так это все

славно. «Я, говорит, и написать и почитать люблю, но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно».

Анна Андреевна. А собой каков он: брюнет или блондин?

Добчинский. Нет, больше шантрет, и глаза такие быстрые, как зверки, так в смущенье даже приводят.

Анна Андреевна. Что тут пишет он мне в записке? *(Читает.)* «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек...» *(Останавливается.)* Я ничего не понимаю: к чему же тут соленые огурцы и икра?

Добчинский. А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости: там какой-то счет был написан.

Анна Андреевна. А, да, точно. *(Продолжает читать.)* «Но, уповая на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками; к обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича, а вина вели побольше; скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целуя, душенька, твою ручку, остаюсь твой: Антон Сквозник-Дмухановский...» Ах, Боже мой! Это, однако ж, нужно поскорей! Эй, кто там? Мишка!

Добчинский *(бежит и кричит в дверь)*. Мишка! Мишка! Мишка!

Мишка входит.

Анна Андреевна. Послушай: беги к купцу Абдулину, постой, я дам тебе записочку *(садится к столу, пишет записку и между тем говорит)*, эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтоб он побежал с нею к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее.

Добчинский. Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обозревает.

Анна Андреевна. Ступайте, ступайте! я не держу вас.

Явление III

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка: Боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.

Марья Антоновна. Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится: и Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь Земляники тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное.

Анна Андреевна. Цветное!.. Право, говоришь — лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое; я очень люблю палевое.

Марья Антоновна. Ах, маменька, вам нейдет палевое!

Анна Андреевна. Мне палевое нейдет?

Марья Антоновна. Нейдет, я что угодно даю, нейдет: для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные.

Анна Андреевна. Вот хорошо! а у меня глаза разве не темные? самые темные. Какой вздор говорит! Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму?

Марья Антоновна. Ах, маменька! вы больше червонная дама.

Анна Андреевна. Пустяки, совершенные пустяки! Я никогда не была червонная дама. *(Поспешно уходит вместе с Марьей Антоновной и говорит за сценою.)* Этакое вдруг вообразится! червонная дама! Бог знает что такое!

По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит Осип с чемоданом на голове.

Явление IV

Мишка и Осип.

Осип. Куда тут?

Мишка. Сюда, дядюшка, сюда!

Осип. Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.

Мишка. Что, дядюшка, скажите: скоро будет генерал?

Осип. Какой генерал?

Мишка. Да барин ваш.

Осип. Барин? Да какой он генерал?

Мишка. А разве не генерал?

Осип. Генерал, да только с другой стороны.

Мишка. Что ж, это больше или меньше настоящего генерала?

Осип. Больше.

Мишка. Вишь ты как! то-то у нас сумятицу подняли.

Осип. Послушай, малый: ты, я вижу, проворный парень; приготовь-ка там что-нибудь поесть.

Мишка. Да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простова блюда вы не будете кушать, а вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустят.

Осип. Ну, а простова-то что у вас есть?

Мишка. Щи, каша да пироги.

Осип. Давай их, щи, кашу и пироги! Ничего, всё будем есть. Ну, понесем чемодан! Что, там другой выход есть?

Мишка. Есть.

Оба несут чемодан в боковую комнату.

Явление V

Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит Хлестаков; за ним городничий, далее попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский и Бобчинский с пластырем на носу. Городничий указывает квартальным на полу бумажку — они бегут и снимают ее, толкая друг друга впопыхах.

Хлестаков. Хорошие заведения. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.

Городничий. В других городах, осмелюсь доложить вам, градоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть, пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.

Хлестаков. Завтрак был очень хорош; я совсем объелся. Что, у вас каждый день бывает такой?

Городничий. Нарочно для такого приятного гостя.

Хлестаков. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?

Артемий Филиппович *(подбегая)*. Лабардан-с.

Хлестаков. Очень вкусная. Где это мы завтракали? в больнице, что ли?

Артемий Филиппович. Так точно-с, в богоугодном заведении.

Хлестаков. Помню, помню, там стояли кровати. А больные выздоровели? там их, кажется, немного.

Артемий Филиппович. Человек десять осталось, не больше; а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор как я принял начальство, — может быть, вам покажется даже невероятным, — все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.

Городничий. Уж на что, осмелюсь доложить вам, головоломна обязанность градоначальника! Столько лежит всяких дел, относительно одной чистоты, починки, поправки... словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но, благодарение Богу, все идет благополучно. Иной городничий, конечно, радел бы о своих выгодах; но, верите ли, что, даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи Боже Ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно?..» Наградит ли оно, или нет — конечно, в его воле; по крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало...то чего ж мне больше? Ей-ей, и почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью всё прах и суета.

Артемий Филиппович *(в сторону)*. Эка, бездельник, как расписывает! Дал же Бог такой дар!

Хлестаков. Это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой и стишки выкинутся.

Бобчинский *(Добчинскому)*. Справедливо, все справедливо, Петр Иванович! Замечания такие... видно, что наукам учился.

Хлестаков. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас какихнибудь развлечений, обществ, где бы можно было, например, поиграть в карты?

Городничий *(в сторону)*. Эге, знаем, голубчик, в чей огород камешки бросают! *(Вслух.)* Боже сохрани! здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал; даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно; и если случится увидеть этак какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт, да после того всю ночь снились проклятые. Бог с ними! Как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?

Лука Лукич *(в сторону)*. А у меня, подлец, выпонтировал вчера сто рублей.

Городничий. Лучше ж я употреблю это время на пользу государственную.

Хлестаков. Ну, нет, вы напрасно, однако же... Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь тогда, как нужно гнуть от трех углов... ну, тогда конечно... Нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.

Явление VI

Те же, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Осмелюсь представить семейство мое: жена и дочь.

Хлестаков *(раскланиваясь)*. Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть.

Анна Андреевна. Нам еще более приятно видеть такую особу.

Хлестаков *(рисуясь)*. Помилуйте, сударыня, совершенно напротив: мне еще приятнее.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы это так изволите говорить, для комплимента. Прошу покорно садиться.

Хлестаков. Возле вас стоять уже есть счастие; впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.

Анна Андреевна. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет... Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною.

Хлестаков. Чрезвычайно неприятна. Привыкши жить comprenez vous, в свете, и вдруг очутиться в дороге: грязные трактиры, мрак невежества... Если б, признаюсь, не такой случай, который меня... *(посматривает на Анну Андреевну и рисуется перед ней)* так вознаградил за всё...

Анна Андреевна. В самом деле, как вам должно быть неприятно.

Хлестаков. Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.

Хлестаков. Отчего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете.

Анна Андреевна. Я живу в деревне...

Хлестаков. Да деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! что за жизнь, право! Вы, может быть, думаете, что я только переписываю; нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу: «Приходи, братец, обедать!» Я только на две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать: «Это вот так, это вот так!» А там уж чиновник для письма, этакая крыса, пером только — тр, тр... пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да, думаю, зачем. И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою: «Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу». *(Городничему.)* Что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь!

Городничий. Чин такой, что еще можно постоять.

Артемий Филиппович. Мы постоим.

Лука Лукич. Не извольте беспокоиться!

Хлестаков. Без чинов, прошу садиться.

Городничий и все садятся.

Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь всегда проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя! Только выйду куда-нибудь, уж и говорят: «Вон, говорят, Иван Александрович идет!» А один раз меня приняли даже за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит

мне: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего».

Анна Андреевна. Скажите как!

Хлестаков. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики... Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то всё...» Большой оригинал.

Анна Андреевна. Так вы и пишете? Как это должно быть приятно сочинителю! Вы, верно, и в журналы помещаете?

Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец!» И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат “Надежды”» и «Московский Телеграф»... все это я написал.

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч.

Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение?

Хлестаков. Да, это мое сочинение.

Анна Андреевна. Я сейчас догадалась.

Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение.

Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить.

Хлестаков. Ах да, это правда: это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой.

Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!

Хлестаков. Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом Ивана Александровича. *(Обращаясь ко всем.)* Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.

Анна Андреевна. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы!

Хлестаков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так уморишься играя, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж — скажешь только кухарке: «На, Маврушка, шинель...» Что ж я вру — я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна лестница стоит... А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж... ж... ж... Иной раз и министр...

Городничий и прочие с робостью встают с своих стульев.

Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, — куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрено. Кажется и легко на вид, а рассмотришь — просто черт возьми! После видят, нечего делать, — ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? — я спрашиваю. «Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдет до Государя, ну да и послужной список тоже... «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо востро! уж я...» И точно: бывало, как прохожу через департамент, — просто землетрясенье, все дрожит и трясется, как лист.

Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится сильнее.

О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам Государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не

посмотрю ни на кого... я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш... *(Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)*

Городничий *(подходя и трясясь всем телом, силится выговорить).* А ва-ва-ва... ва...

Хлестаков *(быстрым, отрывистым голосом).* Что такое?

Городничий. А ва-ва-ва... ва...

Хлестаков *(таким же голосом).* Не разберу ничего, всё вздор.

Городничий. Ва-ва-ва... шество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть?.. вот и комната, и все, что нужно.

Хлестаков. Вздор — отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош... Я доволен, я доволен. *(С декламацией.)* Лабардан! лабардан! *(Входит в боковую комнату, за ним городничий.)*

Явление VII

Те же, кроме Хлестакова и городничего.

Бобчинский *(Добчинскому).* Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек! В жисть не был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?

Добчинский. Я думаю, чуть ли не генерал.

Бобчинский. А я так думаю, что генерал-то ему и в подметки не станет! а когда генерал, то уж разве сам генералиссимус. Слышали: Государственный-то совет как прижал? Пойдем расскажем поскорее Аммосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна!

Добчинский. Прощайте, кумушка!

Оба уходят.

Артемий Филиппович *(Луке Лукичу).* Страшно просто. А отчего, и сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится да в Петербург махнет донесение? *(Уходит в задумчивости вместе с смотрителем училищ, произнеся:)* Прощайте, сударыня!

Явление VIII

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ах, какой приятный!

Марья Антоновна. Ах, милашка!

Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращение! сейчас можно увидеть столичную штучку. Приемы и все это такое… Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей! я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилась: я заметила — все на меня поглядывал.

Марья Антоновна. Ах, маменька, он на меня глядел!

Анна Андреевна. Пожалуйста, с своим вздором подальше! Это здесь вовсе неуместно.

Марья Антоновна. Нет, маменька, право!

Анна Андреевна. Ну вот! Боже сохрани, чтобы не поспорить! нельзя, да и полно! Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?

Марья Антоновна. Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня, и потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.

Анна Андреевна. Ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только. «А, — говорит себе, — дай уж посмотрю на нее!»

Явление IX

Те же и городничий.

Городничий *(входит на цыпочках).* Чш… ш…

Анна Андреевна. Что?

Городничий. И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? *(Задумывается.)* Да как же и не быть правде? Подгулявши, человек все несет наружу: что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного; да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит… Так вот, право, чем больше думаешь… черт его знает, не знаешь, что и делается в голове; просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.

Анна Андреевна. А я никакой совершенно не ощутила робости; я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека, а о чинах его мне и нужды нет.

Городничий. Ну, уж вы — женщины! Все кончено, одного этого слова достаточно! Вам всё — финтирлюшки! Вдруг брякнут ни из того ни из другого словцо. Вас посекут, да и только, а мужа и поминай как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским.

Анна Андреевна. Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кой-что знаем такое... *(Посматривает на дочь.)*

Городничий *(один)*. Ну, уж с вами говорить!.. Эка в самом деле оказия! До сих пор не могу очнуться от страха! *(Отворяет дверь и говорит в дверь.)* Мишка, позови квартальных Свистунова и Держиморду: они тут недалеко где-нибудь за воротами. *(После небольшого молчания.)* Чудно все завелось теперь на свете: хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький — как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, а как наденет фрачишку — ну точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давича в трактире, заламливал такие аллегории и екивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот наконец и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.

Явление X

Те же и Осип. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами.

Анна Андреевна. Подойди сюда, любезный!

Городничий. Чш!.. что? что? спит?

Осип. Нет еще, немножко потягивается.

Анна Андреевна. Послушай, как тебя зовут?

Осип. Осип, сударыня.

Городничий *(жене и дочери)*. Полно, полно вам! *(Осипу.)* Ну что, друг, тебя накормили хорошо?

Осип. Накормили, покорнейше благодарю; хорошо накормили.

Анна Андреевна. Ну что, скажи: к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей?

Осип *(в сторону).* А что говорить? Коли теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. *(Вслух.)* Да, бывают и графы.

Марья Антоновна. Душенька Осип, какой твой барин хорошенький!

Анна Андреевна. А что, скажи, пожалуйста, Осип, как он...

Городничий. Да перестаньте, пожалуйста! Вы этакими пустыми речами только мне мешаете. Ну что, друг?..

Анна Андреевна. А чин какой на твоем барине?

Осип. Чин обыкновенно какой.

Городничий. Ах, Боже мой, вы всё с своими глупыми расспросами! не дадите ни слова поговорить о деле. Ну что, друг, как твой барин?.. строг? любит этак распекать или нет?

Осип. Да, порядок любит. Уж ему чтоб все было в исправности.

Городничий. А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек. Ну что...

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а как барин твой там, в мундире ходит, или...

Городничий. Полно вам, право, трещотки какие! Здесь нужная вещь: дело идет о жизни человека... *(К Осипу.)* Ну что, друг, право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик, — оно теперь холодновато. Так вот тебе пара целковиков на чай.

Осип *(принимая деньги).* А покорнейше благодарю, сударь. Дай Бог вам всякого здоровья! бедный человек, помогли ему.

Городничий. Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг...

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?

Марья Антоновна. Осип, душенька! какой миленький носик у твоего барина!..

Городничий. Да постойте, дайте мне!.. *(К Осипу.)* А что, друг, скажи, пожалуйста: на что больше барин твой обращает внимание, то есть что ему в дороге больше нравится?

Осип. Любит он, по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо, угощение чтоб было хорошее.

Городничий. Хорошее?

Осип. Да, хорошее. Вот уж на что я, крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-Богу! Бывало, заедем куда-нибудь: «Что, Осип, хорошо тебя угостили?» — «Плохо, ваше высокоблагородие!» — «Э, говорит, это, Осип, нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду». — «А, — думаю себе *(махнув рукою)*, — Бог с ним! я человек простой».

Городничий. Хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай, так вот еще сверх того на баранки.

Осип. За что жалуете, ваше высокоблагородие? *(Прячет деньги.)* Разве уж выпью за ваше здоровье.

Анна Андреевна. Приходи, Осип, ко мне, тоже получишь.

Марья Антоновна. Осип, душенька, поцелуй своего барина!

Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова.

Городничий. Чш! *(Поднимается на цыпочки; вся сцена вполголоса.)* Боже вас сохрани шуметь! Идите себе! полно уж вам...

Анна Андреевна. Пойдем, Машенька! я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.

Городничий. О, уж там наговорят! Я думаю, поди только да послушай, — и уши потом заткнешь. *(Обращаясь к Осипу.)* Ну, друг…

Явление XI

Те же, Держиморда и Свистунов.

Городничий. Чш! экие косолапые медведи — стучат сапогами! Так и валится, как будто сорок пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги! Где вас черт таскает?

Держиморда. Был по приказанию…

Городничий. Чш! *(Закрывает ему рот.)* Эк как каркнула ворона! *(Дразнит его.)* Был по приказанию! Как из бочки, так

рычит. *(К Осипу.)* Ну, друг, ты ступай приготовляй там, что нужно для барина. Все, что ни есть в доме, требуй.

Осип уходит.

А вы — стоять на крыльце, и ни с места! И никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов! Если хоть одного из них впустите, то... Только увидите, что идет кто-нибудь с просьбою, а хоть и не с просьбою, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, взашей так прямо и толкайте! так его! хорошенько! *(Показывает ногою.)* Слышите? Чш... чш... *(Уходит на цыпочках вслед за квартальными.)*

Действие четвертое

Та же комната в доме городничего.

Явление I

Входят осторожно, почти на цыпочках: Аммос Федорович, Артемий Филиппович, почтмейстер. Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский, в полном параде и мундирах. Вся сцена происходит вполголоса.

Аммос Федорович *(строит всех полукружием)*. Ради Бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку! Бог с ним: и во дворец ездит, и Государственный совет распекает! Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу! Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут.

Оба Петра Ивановича забегают на цыпочках.

Артемий Филиппович. Воля ваша, Аммос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять.

Аммос Федорович. А что именно?

Артемий Филиппович. Ну, известно что.

Аммос Федорович. Подсунуть?

Артемий Филиппович. Ну да, хоть и подсунуть.

Аммос Федорович. Опасно, черт возьми! раскричится: государственный человек. А разве в виде приношенья со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?

Почтмейстер. Или же: «вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие».

Артемий Филиппович. Смотрите, чтоб он вас по почте не отправил куды-нибудь подальше. Слушайте: эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того… как там следует — чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается! Ну, вот вы, Аммос Федорович, первый и начните.

Аммос Федорович. Так лучше ж вы: в вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.

Артемий Филиппович. Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества.

Лука Лукич. Не могу, не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что, заговори со мною одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет, и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте!

Артемий Филиппович. Да, Аммос Федорович, кроме вас, некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел.

Аммос Федорович. Что вы! что вы: Цицерон! Смотрите, что выдумали! Что иной раз увлечешься говоря о домашней своре или гончей ищейке...

Все *(пристают к нему).* Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении... Нет, Аммос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим!.. Нет, Аммос Федорович!

Аммос Федорович. Отвяжитесь, господа!

В это время слышны шаги и откашливание в комнате Хлестакова. Все спешат наперерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого. Раздаются вполголоса восклицания:

Голос Бобчинского. Ой, Петр Иванович, Петр Иванович! наступили на ногу!

Голос Земляники. Отпустите, господа, хоть душу на покаяние — совсем прижали!

Выхватываются несколько восклицаний: «Ай, ай!» — наконец все выпираются, и комната остается пуста.

Явление II

Хлестаков один, выходит с заспанными глазами.

Я, кажется, всхрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули чего-то за завтраком: в голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностию проводить время. Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не то чтобы из интереса. А дочка городничего очень недурна, да и матушка такая, что еще можно бы... Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь.

Явление III

Хлестаков и Аммос Федорович.

Аммос Федорович *(входя и останавливаясь, про себя).* Боже, Боже! вынеси благополучно; так вот коленки и ломает. *(Вслух, вытянувшись и придерживая рукою шпагу.)* Имею честь представиться: судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин.

Хлестаков. Прошу садиться. Так вы здесь судья?

Аммос Федорович. С восемьсот шестнадцатого был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.

Хлестаков. А выгодно, однако же, быть судьею?

Аммос Федорович. За три трехлетия представлен к Владимиру четвертой степени с одобрения со стороны начальства. *(В сторону.)* А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне.

Хлестаков. А мне нравится Владимир. Вот Анна третьей степени уже не так.

Аммос Федорович *(высовывая понемногу вперед сжатый кулак. В сторону).* Господи Боже! не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою.

Хлестаков. Что это у вас в руке?

Аммос Федорович *(потерявшись и роняя на пол ассигнации).* Ничего-с.

Хлестаков. Как ничего? Я вижу, деньги упали.

Аммос Федорович *(дрожа всем телом).* Никак нет-с. *(В сторону.)* О Боже, вот уж я и под судом! и тележку подвезли схватить меня!

Хлестаков *(подымая).* Да, это деньги.

Аммос Федорович *(в сторону).* Ну, все кончено — пропал! пропал!

Хлестаков. Знаете ли что? дайте их мне взаймы.

Аммос Федорович *(поспешно).* Как же-с, как же-с... с большим удовольствием. *(В сторону.)* Ну, смелее, смелее! Вывози, Пресвятая Матерь!

Хлестаков. Я, знаете, в дороге издержался: то да се... Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.

Аммос Федорович. Помилуйте, как можно! и без того это такая честь... Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству... постараюсь заслужить... *(Приподымается со стула, вытянувшись и руки по швам.)* Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказанья?

Хлестаков. Какого приказанья?

Аммос Федорович. Я разумею, не дадите ли какого приказанья здешнему уездному суду?

Хлестаков. Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности.

Аммос Федорович *(раскланиваясь и уходя, в сторону).* Ну, город наш!

Хлестаков *(по уходе его).* Судья — хороший человек!

Явление IV

Хлестаков и почтмейстер, входит вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу.

Почтмейстер. Имею честь представиться: почтмейстер, надворный советник Шпекин.

Хлестаков. А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно — ну что ж? Ведь это не столица. Не правда ли, ведь это не столица?

Почтмейстер. Совершенная правда.

Хлестаков. Ведь это только в столице бонтон и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли?

Почтмейстер. Так точно-с. *(В сторону.)* А он, однако ж, ничуть не горд; обо всем расспрашивает.

Хлестаков. А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, — не правда ли?

Почтмейстер. Совершенно справедливо.

Хлестаков. Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. *(Глядя в глаза ему, говорит про себя.)* А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы! *(Вслух.)* Какой странный со мною случай: в дороге совершенно издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?

Почтмейстер. Почему же? почту за величайшее счастие. Вот-с, извольте. От души готов служить.

Хлестаков. Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге, да и к чему? Не так ли?

Почтмейстер. Так точно-с. *(Встает, вытягивается и придерживает шпагу.)* Не смея долее беспокоить своим присутствием... Не будет ли какого замечания по части почтового управления?

Хлестаков. Нет, ничего.

Почтмейстер раскланивается и уходит.

(Раскуривая сигарку.) Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.

Явление V

Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей. Сзади его слышен голос почти вслух: «Чего робеешь?»

Лука Лукич *(вытягиваясь не без трепета и придерживая шпагу)*. Имею честь представиться: смотритель училищ, титулярный советник Хлопов.

Хлестаков. А, милости просим! Садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку? *(Подает ему сигару.)*

Лука Лукич *(про себя, в нерешимости)*. Вот тебе раз! Уж этого никак не предполагал. Брать или не брать?

Хлестаков. Возьмите, возьмите; это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по двадцати пяти рублей сотенка, просто ручки потом себе поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь, закурите. *(Подает ему свечу.)*

Лука Лукич пробует закурить и весь дрожит.

Да не с того конца!

Лука Лукич *(от испуга выронил сигару, плюнул и, махнув рукою, про себя)*. Черт побери все! сгубила проклятая робость!

Хлестаков. Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я признаюсь: это моя слабость. Вот еще насчет женского полу, никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся — брюнетки или блондинки?

Лука Лукич находится в совершенном недоумении, что сказать.

Нет, скажите откровенно: брюнетки или блондинки?

Лука Лукич. Не смею знать.

Хлестаков. Нет, нет, не отговаривайтесь! Мне хочется узнать непременно ваш вкус.

Лука Лукич. Осмелюсь доложить... *(В сторону.)* Ну, и сам не знаю, что говорю.

Хлестаков. А! а! не хотите сказать. Верно, уж какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала?

Лука Лукич молчит.

А! а! покраснели! Видите! видите! Отчего ж вы не говорите?

Лука Лукич. Оробел, ваше бла... преос... сият... *(В сторону.)* Продал проклятый язык, продал!

Хлестаков. Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать, не так ли?

Лука Лукич. Так точно-с.

Хлестаков. Вот со мной престранный случай: в дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?

Лука Лукич *(хватаясь за карманы, про себя)*. Вот те штука, если нет! Есть, есть! *(Вынимает и подает, дрожа, ассигнации.)*

Хлестаков. Покорнейше благодарю.

Лука Лукич *(вытягиваясь и придерживая шпагу)*. Не смею долее беспокоить присутствием.

Хлестаков. Прощайте.

Лука Лукич *(летит вон почти бегом и говорит в сторону)*. Ну, слава Богу! авось не заглянет в классы!

Явление VI

Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу.

Артемий Филиппович. Имею честь представиться: попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника.

Хлестаков. Здравствуйте, прошу покорно садиться.

Артемий Филиппович. Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему смотрению богоугодных заведениях.

Хлестаков. А, да! помню. Вы очень хорошо угостили завтраком.

Артемий Филиппович. Рад стараться на службу отечеству.

Хлестаков. Я — признаюсь, это моя слабость, — люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?

Артемий Филиппович. Очень может быть. *(Помолчав.)* Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. *(Придвигается ближе с своим стулом и говорит вполголоса.)* Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает: все дела в большом запущении, посылки задерживаются... извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был пред моим приходом, ездит только за зайцами, в присутственных местах держит собак и поведения, если признаться пред вами, — конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, — поведения самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть; и как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его, я присягнуть готов... И нарочно посмотрите на детей: ни одно из них не похоже на Добчинского, но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.

Хлестаков. Скажите пожалуйста! а я никак этого не думал.

Артемий Филиппович. Вот и смотритель здешнего училища... Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность: он хуже, чем якобинец, и такие внушает юношеству

неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумаге?

Хлестаков. Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, этак люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное... Как ваша фамилия? я все позабываю.

Артемий Филиппович. Земляника.

Хлестаков. А, да! Земляника. И что ж, скажите, пожалуйста, есть у вас детки?

Артемий Филиппович. Как же-с, пятеро; двое уже взрослых.

Хлестаков. Скажите, взрослых! А как они... как они того?..

Артемий Филиппович. То есть, не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?

Хлестаков. Да, как их зовут?

Артемий Филиппович. Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя.

Хлестаков. Это хорошо.

Артемий Филиппович. Не смея беспокоить своим присутствием, отнимать времени, определенного на священные обязанности... *(Раскланивается с тем, чтобы уйти.)*

Хлестаков *(провожая)*. Нет, ничего. Это все очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, и в другое тоже время... Я это очень люблю. *(Возвращается и, отворивши дверь, кричит вслед ему.)* Эй вы! как вас? я все позабываю, как ваше имя и отчество.

Артемий Филиппович. Артемий Филиппович.

Хлестаков. Сделайте милость, Артемий Филиппович, со мной странный случай: в дороге совершенно издержался. Нет ли у вас денег взаймы — рублей четыреста?

Артемий Филиппович. Есть.

Хлестаков. Скажите, как кстати. Покорнейше вас благодарю.

Явление VII

Хлестаков, Бобчинский и Добчинский.

Бобчинский. Имею честь представиться: житель здешнего города, Петр Иванович сын Бобчинский.

Добчинский. Помещик Петр Иванов сын Добчинский.

Хлестаков. А, да я уж вас видел. Вы, кажется, тогда упали? Что, как ваш нос?

Бобчинский. Слава Богу! не извольте беспокоиться: присох, теперь совсем присох.

Хлестаков. Хорошо, что присох. Я рад… *(Вдруг и отрывисто.)* Денег нет у вас?

Бобчинский. Денег? как денег?

Хлестаков *(громко и скоро).* Взаймы рублей тысячу.

Бобчинский. Такой суммы, ей-Богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович?

Добчинский. При мне-с не имеется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного призрения.

Хлестаков. Да, ну если тысячи нет, так рублей сто.

Бобчинский *(шаря в карманах).* У вас, Петр Иванович, нет ста рублей? У меня всего сорок ассигнациями.

Добчинский *(смотря в бумажник).* Двадцать пять рублей всего.

Бобчинский. Да вы поищите-то получше, Петр Иванович! У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха, так в прореху-то, верно, как-нибудь запали.

Добчинский. Нет, право, и в прорехе нет.

Хлестаков. Ну, все равно. Я ведь только так. Хорошо, пусть будет шестьдесят пять рублей. Это все равно. *(Принимает деньги.)*

Добчинский. Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.

Хлестаков. А что это?

Добчинский. Дело очень тонкого свойства-с: старший-то сын мой, изволите видеть, рожден мною еще до брака.

Хлестаков. Да?

Добчинский. То есть оно так только говорится, а он рожден мною так совершенно, как бы и в браке, и все это, как следует, я завершил потом законными-с узами супружества-с. Так я, изволите видеть, хочу, чтоб он теперь уже был совсем, то есть, законным моим сыном-с и назывался бы так, как я: Добчинский-с.

Хлестаков. Хорошо, пусть называется! Это можно.

Добчинский. Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой... большие надежды подает: наизусть стихи разные расскажет и, если где попадет ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник-с. Вот и Петр Иванович знает.

Бобчинский. Да, большие способности имеет.

Хлестаков. Хорошо, хорошо! Я об этом постараюсь, я буду говорить... я надеюсь... все это будет сделано, да, да... *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне?

Бобчинский. Как же, имею очень нижайшую просьбу.

Хлестаков. А что, о чем?

Бобчинский. Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Бобчинский. Да если этак и Государю придется, то скажите и Государю, что вот, мол, Ваше Императорское Величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Добчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Бобчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Хлестаков. Ничего, ничего! Мне очень приятно. *(Выпровожает их.)*

Явление VIII

Хлестаков один.

Здесь много чиновников. Мне кажется, однако ж, они меня принимают за государственного человека. Верно, я вчера им подпустил пыли. Экое дурачье! Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину: он пописывает статейки — пусть-ка он их общелкает хорошенько. Эй, Осип, подай мне бумагу и чернила!

Осип выглянул из дверей, произнести: «Сейчас».

А уж Тряпичкину, точно, если кто попадет на зубок, — берегись: отца родного не пощадит для словца, и деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди; это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи триста; это от почтмейстера триста, шестьсот, семьсот, восемьсот... Какая замасленная бумажка! Восемьсот, девятьсот... Ого! за тысячу перевалило... Ну-ка, теперь, капитан, ну-ка, попадись-ка ты мне теперь! Посмотрим, кто кого!

Явление IX

Хлестаков и Осип с чернилами и бумагою.

Хлестаков. Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают? *(Начинает писать.)*

Осип. Да, слава Богу! Только знаете что, Иван Александрович?

Хлестаков *(пишет)*. А что?

Осип. Уезжайте отсюда. Ей-Богу, уже пора.

Хлестаков *(пишет)*. Вот вздор! Зачем?

Осип. Да так. Бог с ними со всеми! Погуляли здесь два денька — ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них! не ровен час, какой-нибудь другой наедет... ей-Богу, Иван Александрович! А лошади тут славные — так бы закатили!..

Хлестаков *(пишет)*. Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра.

Осип. Да что завтра! Ей-Богу, поедем, Иван Александрович! Оно хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее: ведь вас, право, за кого-то другого приняли... И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатили славно! А лошадей бы важных здесь дали.

Хлестаков *(пишет)*. Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо; пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато, смотри, чтоб лошади хорошие были! Ямщикам скажи, что я буду давать по целковому; чтобы так, как фельдъегеря, катили и песни бы пели!.. *(Продолжает писать.)* Воображаю, Тряпичкин умрет со смеху...

Осип. Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтоб не прошло понапрасну время.

Хлестаков *(пишет).* Хорошо. Принеси только свечу.

Осип *(выходит и говорит за сценой).* Эй, послушай, брат! Отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру, чтоб он принял без денег; да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую; а прогону, скажи, барин не плотит: прогон, мол, скажи, казенный. Да чтоб все живее, а не то, мол, барин сердится. Стой, еще письмо не готово.

Хлестаков *(продолжает писать).* Любопытно знать, где он теперь живет — в Почтамтской или Гороховой? Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и недоплачивать. Напишу наудалую в Почтамтскую. *(Свертывает и надписывает.)*

Осип приносит свечу. Хлестаков печатает. В это время слышен голос Держиморды: «Куда лезешь, борода? Говорят тебе, никого не велено пускать».

(Дает Осипу письмо.) На, отнеси.

Голоса купцов. Допустите, батюшка! Вы не можете не допустить: мы за делом пришли.

Голос Держиморды. Пошел, пошел! Не принимает, спит.

Шум увеличивается.

Хлестаков. Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум.

Осип *(глядя в окно).* Купцы какие-то хотят войти, да не допускает квартальный. Машут бумагами: верно, вас хотят видеть.

Хлестаков *(подходя к окну).* А что вы, любезные?

Голоса купцов. К твоей милости прибегаем. Прикажи, государь, просьбу принять.

Хлестаков. Впустите их, впустите! пусть идут. Осип, скажи им: пусть идут.

Осип уходит.

(Принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает:) «Его высокоблагородному светлости господину финансову от купца Абдулина...» Черт знает что: и чина такого нет!

Явление X

Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами.

Хлестаков. А что вы, любезные?

Купцы. Челом бьем вашей милости!

Хлестаков. А что вам угодно?

Купцы. Не погуби, государь! Обижательство терпим совсем понапрасну.

Хлестаков. От кого?

Один из купцов. Да всё от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит: «Ах ты, татарин!» Ей-Богу! Если бы, то есть, чем-нибудь не уважили его, а то мы уж порядок всегда исполняем: что следует на платья супружнице его и дочке — мы против этого не стоим. Нет, вишь ты, ему всего этого мало — ей-ей! Придет в лавку и, что ни попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит: «Э, милый, это хорошее суконцо: снеси-ка его ко мне». Ну и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин пятьдесят.

Хлестаков. Неужели? Ах, какой же он мошенник!

Купцы. Ей-Богу! такого никто не запомнит городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть, не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет: чернослив такой, что лет уже по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается; нет, ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия несешь.

Хлестаков. Да это просто разбойник!

Купцы. Ей-ей! А попробуй прекословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой. А если что, велит запереть двери. «Я тебя, говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пыткой пытать — это, говорит, запрещено законом, а вот ты у меня, любезный, поешь селедки!»

Хлестаков. Ах, какой мошенник! Да за это просто в Сибирь.

Купцы. Да уж куда милость твоя ни запровадит его, все будет хорошо, лишь бы, то есть, от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью: кланяемся тебе сахарцом и кузовком вина.

Хлестаков. Нет, вы этого не думайте: я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне

взаймы рублей триста — ну, тогда совсем дело другое: взаймы я могу взять.

Купцы. Изволь, отец наш! *(Вынимают деньги.)* Да что триста! Уж лучше пятьсот возьми, помоги только.

Хлестаков. Извольте: взаймы — я ни слова, я возьму.

Купцы *(подносят ему на серебряном подносе деньги)*. Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите.

Хлестаков. Ну, и подносик можно.

Купцы *(кланяясь)*. Так уж возьмите за одним разом и сахарцу.

Хлестаков. О нет, я взяток никаких...

Осип. Ваше высокоблагородие! зачем вы не берете? Возьмите! в дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек! Подавай все! все пойдет впрок. Что там? веревочка? Давай и веревочку, — и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается или что другое, подвязать можно.

Купцы. Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уже вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть: просто хоть в петлю полезай.

Хлестаков. Непременно, непременно! Я постараюсь.

Купцы уходят. Слышен голос женщины: «Нет, ты не смеешь не допустить меня! Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся так больно!»

Кто там? *(Подходит к окну.)* А, что ты, матушка?

Голоса двух женщин. Милости твоей, отец, прошу! Повели, государь, выслушать!

Хлестаков *(в окно)*. Пропустить ее.

Явление XI

Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша.

Слесарша *(кланяясь в ноги)*. Милости прошу...

Унтер-офицерша. Милости прошу...

Хлестаков. Да что вы за женщины?

Унтер-офицерша. Унтер-офицерская жена Иванова.

Слесарша. Слесарша, здешняя мещанка, Февронья Петрова Пошлепкина, отец мой...

Хлестаков. Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно?

Слесарша. Милости прошу: на городничего челом бью! Пошли ему Бог всякое зло! Чтоб ни детям его, ни ему, мошеннику, ни дядьям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было!

Хлестаков. А что?

Слесарша. Да мужу-то моему приказал забрить лоб в солдаты, и очередь-то на нас не припадала, мошенник такой! да и по закону нельзя: он женатый.

Хлестаков. Как же он мог это сделать?

Слесарша. Сделал, мошенник, сделал — побей Бог его и на том и на этом свете! Чтобы ему, если и тетка есть, то и тетке всякая пакость, и отец если жив у него, то чтоб и он, каналья, околел или поперхнулся навеки, мошенник такой! Следовало взять сына портного, он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали, так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подослала к супруге полотна три штуки; так он ко мне. «На что, говорит, тебе муж? он уж тебе не годится». Да я-то знаю — годится или не годится; это мое дело, мошенник такой! «Он, говорит, вор; хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет, его и без того на следующий год возьмут в рекруты». Да мне-то каково без мужа, мошенник такой! Я слабый человек, подлец ты такой! Чтоб всей родне твоей не довелось видеть света Божьего! А если есть теща, то чтоб и теще...

Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ну, а ты? *(Выпровожает старуху.)*

Слесарша *(уходя)*. Не позабудь, отец наш! будь милостив!

Унтер-офицерша. На городничего, батюшка, пришла...

Хлестаков. Ну, да что, зачем? говори в коротких словах.

Унтер-офицерша. Высек, батюшка!

Хлестаков. Как?

Унтер-офицерша. По ошибке, отец мой! Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схватил меня. Да так отрапортовали: два дни сидеть не могла.

Хлестаков. Так что ж теперь делать?

Унтер-офицерша. Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штрафт. Мне от своего счастья неча отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились.

Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ступайте, ступайте! я распоряжусь.

В окно высовываются руки с просьбами.

Да кто там еще? *(Подходит к окну.)* Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно! *(Отходя.)* Надоели, черт возьми! Не впускай, Осип!

Осип *(кричит в окно).* Пошли, пошли! Не время, завтра приходите!

Дверь отворяется, и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели, с небритою бородою, раздутою губою и перевязанною щекою; за нею в перспективе показывается несколько других.

Пошел, пошел! чего лезешь? *(Упирается первому руками в брюхо и выпирается вместе с ним в прихожую, захлопнув за собою дверь.)*

Явление XII

Хлестаков и Марья Антоновна.

Марья Антоновна. Ах!

Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня?

Марья Антоновна. Нет, я не испугалась.

Хлестаков *(рисуется).* Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... Осмелюсь ли спросить вас: куда вы намерены были идти?

Марья Антоновна. Право, я никуда не шла.

Хлестаков. Отчего же, например, вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я думала, не здесь ли маменька...

Хлестаков. Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я вам помешала. Вы занимались важными делами.

Хлестаков *(рисуется).* А ваши глаза лучше, нежели важные дела... Вы никак не можете мне помешать, никаким образом не можете; напротив того, вы можете принесть удовольствие.

Марья Антоновна. Вы говорите по-столичному.

Хлестаков. Для такой прекрасной особы, как вы. Осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? Но нет, вам должно не стул, а трон.

Марья Антоновна. Право, я не знаю... мне так нужно было идти. *(Села.)*

Хлестаков. Какой у вас прекрасный платочек!

Марья Антоновна. Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными.

Хлестаков. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.

Марья Антоновна. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите: какой-то платочек... Сегодня какая странная погода!

Хлестаков. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.

Марья Антоновна. Вы всё эдакое говорите... Я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много.

Хлестаков. Для вас, сударыня, все что хотите. Требуйте, какие стихи вам?

Марья Антоновна. Какие-нибудь эдакие — хорошие, новые.

Хлестаков. Да что стихи! я много их знаю.

Марья Антоновна. Ну, скажите же, какие же вы мне напишете?

Хлестаков. Да к чему же говорить? я и без того их знаю.

Марья Антоновна. Я очень люблю их...

Хлестаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это: «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек!..» Ну и другие... теперь не могу припомнить; впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда... *(Придвигая стул.)*

Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь... я никогда и не знала, что за любовь... *(Отдвигает стул.)*

Хлестаков *(придвигая стул)*. Отчего ж вы отдвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу.

Марья Антоновна *(отдвигаясь)*. Для чего ж близко? все равно и далеко.

Хлестаков *(придвигаясь)*. Отчего ж далеко? все равно и близко.

Марья Антоновна *(отдвигается)*. Да к чему ж это?

Хлестаков *(придвигаясь).* Да ведь это вам кажется только, что близко; а вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия.

Марья Антоновна *(смотрит в окно).* Что это там как будто бы полетело? Сорока или какая другая птица?

Хлестаков *(целует ее в плечо и смотрит в окно).* Это сорока.

Марья Антоновна *(встает в негодовании).* Нет, это уж слишком... Наглость такая!..

Хлестаков *(удерживая ее).* Простите, сударыня: я это сделал от любви, точно от любви.

Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую провинциалку... *(Силится уйти.)*

Хлестаков *(продолжая удерживать ее).* Из любви, право, из любви. Я так только, пошутил, Марья Антоновна, не сердитесь! Я готов на коленках у вас просить прощения. *(Падает на колени.)* Простите же, простите! Вы видите, я на коленях.

Явление XIII

Те же и Анна Андреевна.

Анна Андреевна *(увидев Хлестакова на коленях).* Ах, какой пассаж!

Хлестаков *(вставая).* А, черт возьми!

Анна Андреевна *(дочери).* Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие?

Марья Антоновна. Я, маменька...

Анна Андреевна. Поди прочь отсюда! слышишь: прочь, прочь! И не смей показываться на глаза.

Марья Антоновна уходит в слезах.

Извините, я, признаюсь, приведена в такое изумление...

Хлестаков *(в сторону).* А она тоже очень аппетитна, очень недурна. *(Бросается на колени.)* Сударыня, вы видите, я сгораю от любви.

Анна Андреевна. Как, вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте! здесь пол совсем нечист.

Хлестаков. Нет, на коленях, непременно на коленях! Я хочу знать, что такое мне суждено: жизнь или смерть.

Анна Андреевна. Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери?

Хлестаков. Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей.

Анна Андреевна. Но позвольте заметить: я в некотором роде… я замужем.

Хлестаков. Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй… Руки вашей, руки прошу!

Явление XIV

Те же и Марья Антоновна, вдруг вбегает.

Марья Антоновна. Маменька, папенька сказал, чтобы вы… *(Увидя Хлестакова на коленях, вскрикивает.)* Ах, какой пассаж!

Анна Андреевна. Ну что ты? к чему? зачем? Что за ветреность такая! Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было восемнадцать лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя, как прилично благовоспитанной девице; когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках.

Марья Антоновна *(сквозь слезы)*. Я, право, маменька, не знала…

Анна Андреевна. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове; ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие — перед тобою мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать.

Хлестаков *(схватывая за руку дочь)*. Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию, благословите постоянную любовь!

Анна Андреевна *(с изумлением)*. Так вы в нее?..

Хлестаков. Решите: жизнь или смерть?

Анна Андреевна. Ну вот видишь, дура, ну вот видишь: из-за тебя, этакой дряни, гость изволил стоять на коленях; а ты вдруг вбежала как сумасшедшая. Ну вот, право, стоит, чтобы я нарочно отказала: ты недостойна такого счастия.

Марья Антоновна. Не буду, маменька. Право, вперед не буду.

Явление XV

Те же и городничий впопыхах.

Городничий. Ваше превосходительство! не погубите! не погубите!

Хлестаков. Что с вами?

Городничий. Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честью уверяю, и наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-Богу врет. Она сама себя высекла.

Хлестаков. Провались унтер-офицерша — мне не до нее!

Городничий. Не верьте, не верьте! Это такие лгуны... им вот эдакой ребенок не поверит. Они уж и по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества, осмелюсь доложить: это такие мошенники, каких свет не производил.

Анна Андреевна. Знаешь ли ты, какой чести удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.

Городничий. Куда! куда!.. Рехнулась, матушка! Не извольте гневаться, ваше превосходительство: она немного с придурью, такова же была и мать ее.

Хлестаков. Да, я точно прошу руки. Я влюблен.

Городничий. Не могу верить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Да когда говорят тебе?

Хлестаков. Я не шутя вам говорю... Я могу от любви свихнуть с ума.

Городничий. Не смею верить, недостоин такой чести.

Хлестаков. Да, если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антоновны, то я черт знает что готов...

Городничий. Не могу верить: изволите шутить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Ах, какой чурбан в самом деле! Ну, когда тебе толкуют?

Городничий. Не могу верить.

Хлестаков. Отдайте, отдайте! Я отчаянный человек, я решусь на все: когда застрелюсь, вас под суд отдадут.

Городничий. Ах, Боже мой! Я, ей-ей, не виноват ни душою, ни телом. Не извольте гневаться? Извольте поступать так, как вашей милости угодно! У меня, право, в голове теперь… я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал.

Анна Андреевна. Ну, благословляй!

Хлестаков подходит с Марьей Антоновной.

Городничий. Да благословит вас Бог, а я не виноват.

Хлестаков целуется с Марьей Антоновной.
Городничий смотрит на них.

Что за черт! в самом деле! *(Протирает глаза.)* Целуются! Ах, батюшки, целуются! Точный жених! *(Вскрикивает, подпрыгивает от радости.)* Ай, Антон! Ай, Антон! Ай, городничий! Вона, как дело-то пошло!

Явление XVI

Те же и Осип.

Осип. Лошади готовы.

Хлестаков. А, хорошо… я сейчас.

Городничий. Как-с? Изволите ехать?

Хлестаков. Да, еду.

Городничий. А когда же, то есть… вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы?

Хлестаков. А это… На одну минуту только… на один день к дяде — богатый старик; а завтра же и назад.

Городничий. Не смеем никак удерживать, в надежде благополучного возвращения.

Хлестаков. Как же, как же, я вдруг. Прощайте, любовь моя… нет, просто не могу выразить! Прощайте, душенька! *(Целует ее ручку.)*

Городничий. Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах?

Хлестаков. О нет, к чему это? *(Немного подумав.)* А впрочем, пожалуй.

Городничий. Сколько угодно вам?

Хлестаков. Да вот тогда вы дали двести, то есть не двести, а четыреста, — я не хочу воспользоваться вашею ошибкою, — так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уже ровно было восемьсот.

Городничий. Сейчас! *(Вынимает из бумажника.)* Еще, как нарочно, самыми новенькими бумажками.

Хлестаков. А, да! *(Берет и рассматривает ассигнации.)* Это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками.

Городничий. Так точно-с.

Хлестаков. Прощайте, Антон Антонович! Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца: мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна! Прощайте, моя душенька Марья Антоновна!

Выходят.
За сценой:

Голос Хлестакова. Прощайте, ангел души моей Марья Антоновна!

Голос городничего. Как же это вы? прямо так на перекладной и едете?

Голос Хлестакова. Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессор.

Голос ямщика. Тпр...

Голос городничего. Так, по крайней мере, чем-нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик?

Голос Хлестакова. Нет, зачем? это пустое; а впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.

Голос городничего. Эй, Авдотья! ступай в кладовую, вынь ковер самый лучший — что по голубому полю, персидский. Скорей!

Голос ямщика. Тпр...

Голос городничего. Когда же прикажете ожидать вас?

Голос Хлестакова. Завтра или послезавтра.

Голос Осипа. А, это ковер? давай его сюда, клади вот так! Теперь давай-ка с этой стороны сена.

Голос ямщика. Тпр...

Голос Осипа. Вот с этой стороны! сюда! еще! хорошо. Славно будет. *(Бьет рукою по ковру.)* Теперь садитесь, ваше благородие!

Голос Хлестакова. Прощайте, Антон Антонович!

Голос городничего. Прощайте, ваше превосходительство!

Женские голоса. Прощайте, Иван Александрович!

Голос Хлестакова. Прощайте, маменька!

Голос ямщика. Эй вы, залетные!

Колокольчик звенит.
Занавес опускается.

Действие пятое

Та же комната.

Явление I

Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Что, Анна Андреевна? а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз, канальство! Ну, признайся откровенно: тебе и во сне не виделось — просто из какой-нибудь городничихи и вдруг… фу ты, канальство!.. с каким дьяволом породнилась!

Анна Андреевна. Совсем нет; я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек, никогда не видел порядочных людей.

Городничий. Я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались! а, Анна Андреевна? Высокого полета, черт побери! Постой же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?

Входит квартальный.

А, это ты, Иван Карпович! Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их, каналий! Так жаловаться на меня? Вишь ты, проклятый иудейский народ! Постойте ж, голубчики! Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня, и вот этих больше всего писак, писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтоб знали: что вот, дискать, какую честь Бог послал городничему, — что выдает дочь свою не то чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что может все сделать, все, все, все! Всем объяви, чтобы все знали. Кричи во весь народ, валяй в колокола, черт возьми! Уж когда торжество, так торжество!

Квартальный уходит.

Так вот как, Анна Андреевна, а? Как же мы теперь, где будем жить? здесь или в Питере?

Анна Андреевна. Натурально, в Петербурге. Как можно здесь оставаться!

Городничий. Ну, в Питере так в Питере; а оно хорошо бы и здесь. Что, ведь, я думаю, уже городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна?

Анна Андреевна. Натурально, что за городничество!

Городничий. Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он запанибрата со всеми министрами и во дворец ездит, так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна: можно влезть в генералы?

Анна Андреевна. Еще бы! конечно, можно.

Городничий. А, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна: красную или голубую?

Анна Андреевна. Уж конечно, голубую лучше.

Городничий. Э? вишь, чего захотела! хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом? — потому что, случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: «Лошадей!» И там на станциях никому не дадут, всё дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там — стой, городничий! Хе, хе, хе! *(Заливается и помирает со смеху.)* Вот что, канальство, заманчиво!

Анна Андреевна. Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить, что твои знакомые будут не то что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты ездишь травить зайцев, или Земляника; напротив, знакомые твои будут с самым тонким обращением: графы и все светские… Только я, право, боюсь за тебя: ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.

Городничий. Что ж? ведь слово не вредит.

Анна Андреевна. Да хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совершенно другая.

Городничий. Да, там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и корюшка, такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.

Анна Андреевна. Ему всё бы только рыбки! Я не иначе хочу, чтоб наш дом был первый в столице и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти и нужно бы только этак зажмурить глаза. *(Зажмуривает глаза и нюхает.)* Ах, как хорошо!

Явление II

Те же и купцы.

Городничий. А! Здорово, соколики!

Купцы *(кланяясь).* Здравия желаем, батюшка!

Городничий. Что, голубчики, как поживаете? как товар идет ваш? Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплуты, протобестии, надувалы мирские! жаловаться? Что, много взяли? Вот, думают, так в тюрьму его и засадят. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что…

Анна Андреевна. Ах, Боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускаешь!

Городничий *(с неудовольствием).* А, не до слов теперь! Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? А? что теперь скажете? Теперь я вас… у!.. обманываете народ… Сделаешь подряд с казною, на сто тысяч надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потом пожертвуешь двадцать аршин, да и давай тебе еще награду за это? Да если б знали, так бы тебе… И брюхо сует вперед: он купец; его не тронь. «Мы, говорит, и дворянам не уступим». Да дворянин… ах ты, рожа! — дворянин учится наукам: его хоть и секут в школе, да за дело, чтоб он знал полезное. А ты что? — начинаешь плутнями, тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка, «Отче наша» не знаешь, а уж обмериваешь; а как разопрет тебе брюхо да набьешь себе карман, так и заважничал! Фу ты, какая невидаль! Оттого, что ты шестнадцать самоваров выдуешь в день, так оттого и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность!

Купцы *(кланяясь).* Виноваты, Антон Антонович!

Городничий. Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это? Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? а?

Один из купцов. Богу виноваты, Антон Антонович! Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение, не гневись только!

Городничий. Не гневись! Вот ты теперь валяешься у ног моих. Отчего? — оттого, что мое взяло; а будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня, каналья, втоптал в самую грязь, еще бы и бревном сверху навалил.

Купцы *(кланяются в ноги)*. Не погуби, Антон Антонович!

Городничий. Не погуби! Теперь: не погуби! А прежде что? Я бы вас... *(Махнув рукой.)* Ну, да Бог простит! полно! Я не памятозлобен; только теперь смотри держи ухо востро! Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина: чтоб поздравление было... понимаешь? не то чтоб отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару... Ну, ступай с Богом!

Купцы уходят.

Явление III

Те же, Аммос Федорович, Артемий Филиппович, потом Растаковский.

Аммос Федорович *(еще в дверях)*. Верить ли слухам, Антон Антонович? к вам привалило необыкновенное счастие?

Артемий Филиппович. Имею честь поздравить с необыкновенным счастием. Я душевно обрадовался, когда услышал. *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Анна Андреевна! *(Подходя к ручке Марьи Антоновны.)* Марья Антоновна!

Растаковский *(входит)*. Антона Антоновича поздравляю. Да продлит Бог жизнь вашу и новой четы и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ручке Марьи Антоновны.)*

Явление IV

Те же, Коробкин с женою, Люлюков.

Коробкин. Имею честь поздравить Антона Антоновича! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ее ручке.)*

Жена Коробкина. Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастием.

Люлюков. Имею честь поздравить, Анна Андреевна! *(Подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удальства.)* Марья Антоновна! Имею честь поздравить. *(Подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством.)*

Явление V

Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря: «Анна Андреевна!» — потом к Марье Антоновне, говоря: «Марья Антоновна!» Бобчинский и Добчинский проталкиваются.

Бобчинский. Имею честь поздравить!

Добчинский. Антон Антонович! имею честь поздравить!

Бобчинский. С благополучным происшествием!

Добчинский. Анна Андреевна!

Бобчинский. Анна Андреевна!

Оба подходят в одно время и сталкиваются лбами.

Добчинский. Марья Антоновна! *(Подходит к ручке.)* Честь имею поздравить. Вы будете в большом, большом счастии, в золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать; очень забавно будете проводить время.

Бобчинский *(перебивая)*. Марья Антоновна, имею честь поздравить! Дай Бог вам всякого богатства, червонцев и сынка-с этакого маленького, вон энтакого-с *(показывает рукою)*, чтоб можно было на ладонку посадить, да-с! Все будет мальчишка кричать: уа! уа! уа!..

Явление VI

Еще несколько гостей, подходящих к ручкам. Лука Лукич с женою.

Лука Лукич. Имею честь...

Жена Луки Лукича *(бежит вперед)*. Поздравляю вас, Анна Андреевна!

Целуются.

А я так, право, обрадовалась. Говорят мне: «Анна Андреевна выдает дочку». «Ах, Боже мой!» — думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу: «Послушай, Луканчик, вот какое счастие Анне Андреевне!» «Ну, — думаю себе, — слава Богу!»

И говорю ему: «Я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне...» «Ах, Боже мой! — думаю себе, — Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери, а вот теперь такая судьба: именно так сделалось, как она хотела», — и так, право, обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит: «Отчего ты, Настенька, рыдаешь?» — «Луканчик, говорю, я и сама не знаю, слезы так вот рекой и льются».

Городничий. Покорнейше прошу садиться, господа! Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев.

Гости садятся.

Явление VII

Те же, частный пристав и квартальные.

Частный пристав. Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие лета!

Городничий. Спасибо, спасибо! Прошу садиться, господа!

Гости усаживаются.

Аммос Федорович. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось, постепенный ход всего, то есть дела.

Городничий. Ход дела чрезвычайный: изволил собственнолично сделать предложение.

Анна Андреевна. Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит: «Я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам...» И такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил! «Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь — копейка; я только потому, что уважаю ваши редкие качества».

Марья Антоновна. Ах, маменька! ведь это он мне говорил.

Анна Андреевна. Перестань, ты ничего не знаешь и не в свое дело не мешайся! «Я, Анна Андреевна, изумляюсь...» В таких лестных рассыпался словах... И когда я хотела сказать: «Мы никак не смеем надеяться на такую честь», — он вдруг упал

на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим! согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою».

Марья Антоновна. Право, маменька, он обо мне это говорил.

Анна Андреевна. Да, конечно... и об тебе было, я ничего этого не отвергаю.

Городничий. И так даже напугал: говорил, что застрелится. «Застрелюсь, застрелюсь!» — говорит.

Многие из гостей. Скажите пожалуйста!

Аммос Федорович. Экая штука!

Лука Лукич. Вот подлинно, судьба уж так вела.

Артемий Филиппович. Не судьба, батюшка, судьба — индейка: заслуги привели к тому. *(В сторону.)* Этакой свинье лезет всегда в рот счастье!

Аммос Федорович. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.

Городничий. Нет, мне теперь не до кобельков.

Аммос Федорович. Ну, не хотите, на другой собаке сойдемся.

Жена Коробкина. Ах, как, Анна Андреевна, я рада вашему счастию! вы не можете себе представить.

Коробкин. Где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то.

Городничий. Да, он отправился на один день по весьма важному делу.

Анна Андреевна. К своему дяде, чтоб испросить благословения.

Городничий. Испросить благословения; но завтра же... *(Чихает.)*

Поздравления сливаются в один гул.

Много благодарен! Но завтра же и назад... *(Чихает.)*

Поздравительный гул; слышнее других голоса:

Частного пристава. Здравия желаем, ваше высокоблагородие!

Бобчинского. Сто лет и куль червонцев!

Добчинского. Продли Бог на сорок сороков!

Артемия Филипповича. Чтоб ты пропал!

Жены Коробкина. Черт тебя побери!

Городничий. Покорнейше благодарю! И вам того ж желаю.

Анна Андреевна. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух... деревенский уж слишком!.. признаюсь, большая неприятность... Вот и муж мой... он там получит генеральский чин.

Городничий. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.

Лука Лукич. И дай Бог получить!

Растаковский. От человека невозможно, а от Бога все возможно.

Аммос Федорович. Большому кораблю — большое плаванье.

Артемий Филиппович. По заслугам и честь.

Аммос Федорович *(в сторону).* Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом! Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло! Ну, брат, нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.

Артемий Филиппович *(в сторону).* Эка, черт возьми, уж и в генералы лезет! Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности, лукавый не взял бы его, довольно. *(Обращаясь к нему.)* Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте.

Аммос Федорович. И если что случится, например какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством!

Коробкин. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства, так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию, место отца заступите сиротке.

Городничий. Я готов с своей стороны, готов стараться.

Анна Андреевна. Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно и с какой стати себя обременять этакими обещаниями?

Городничий. Почему ж, душа моя? иногда можно.

Анна Андреевна. Можно, конечно, да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство.

Жена Коробкина. Вы слышали, как она трактует нас?

Гостья. Да, она такова всегда была; я ее знаю: посади ее за стол, она и ноги свои...

Явление VIII

Те же и почтмейстер впопыхах, с распечатанным письмом в руке.

Почтмейстер. Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор.

Все. Как не ревизор?

Почтмейстер. Совсем не ревизор, — я узнал это из письма...

Городничий. Что вы? что вы? из какого письма?

Почтмейстер. Да из собственного его письма. Приносят ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес — вижу: «В Почтамтскую улицу». Я так и обомлел. «Ну, — думаю себе, — верно, нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство». Взял да и распечатал.

Городничий. Как же вы?..

Почтмейстер. Сам не знаю, неестественная сила побудила. Призвал было уже курьера, с тем чтобы отправить его с эштафетой, — но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу! слышу, что не могу! тянет, так вот и тянет! В одном ухе так вот и слышу: «Эй, не распечатывай! пропадешь, как курица»; а в другом словно бес какой шепчет: «Распечатай, распечатай, распечатай!» И как придавил сургуч — по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей-Богу мороз. И руки дрожат, и все помутилось.

Городничий. Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?

Почтмейстер. В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особа!

Городничий. Что ж он, по-вашему, такое?

Почтмейстер. Ни се ни то; черт знает что такое!

Городничий *(запальчиво)*. Как ни се ни то? Как вы смеете назвать его ни тем ни сем, да еще и черт знает чем? Я вас под арест...

Почтмейстер. Кто? Вы?

Городничий. Да, я!

Почтмейстер. Коротки руки!

Городничий. Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу?

Почтмейстер. Эх, Антон Антонович! что Сибирь? далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа! позвольте прочитать письмо!

Все. Читайте, читайте!

Почтмейстер *(читает)*. «Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел уже было посадить в тюрьму; как вдруг, по моей петербургской физиономии и по костюму, весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой начать, — думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали нашерамыжку и как один раз было кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков на счет доходов аглицкого короля? Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки: помести их в свою литературу. Во-первых: городничий — глуп, как сивый мерин...»

Городничий. Не может быть! Там нет этого.

Почтмейстер *(показывает письмо)*. Читайте сами.

Городничий *(читает)*. «Как сивый мерин». Не может быть! вы это сами написали.

Почтмейстер. Как же бы я стал писать?

Артемий Филиппович. Читайте!

Лука Лукич. Читайте!

Почтмейстер *(продолжая читать)*. «Городничий — глуп, как сивый мерин...»

Городничий. О, черт возьми! нужно еще повторять! как будто оно там и без того не стоит.

Почтмейстер *(продолжая читать)*. Хм... хм... хм... хм... «сивый мерин. Почтмейстер тоже добрый человек...» *(Оставляя читать.)* Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился.

Городничий. Нет, читайте!

Почтмейстер. Да к чему ж?..

Городничий. Нет, черт возьми, когда уж читать, так читать! Читайте всё!

Артемий Филиппович. Позвольте, я прочитаю. *(Надевает очки и читает.)* «Почтмейстер точь-в-точь департаментский сторож Михеев; должно быть, также, подлец, пьет горькую».

Почтмейстер *(к зрителям)*. Ну, скверный мальчишка, которого надо высечь; больше ничего!

Артемий Филиппович *(продолжая читать)*. «Надзиратель над богоугодным заведе... и... и... и...» *(Заикается.)*

Коробкин. А что ж вы остановились?

Артемий Филиппович. Да нечеткое перо... впрочем, видно, что негодяй.

Коробкин. Дайте мне! Вот у меня, я думаю, получше глаза. *(Берет письмо.)*

Артемий Филиппович *(не давая письма)*. Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво.

Коробкин. Да позвольте, уж я знаю.

Артемий Филиппович. Прочитать я и сам прочитаю; далее, право, все разборчиво.

Почтмейстер. Нет, всё читайте! ведь прежде все читано.

Все. Отдайте, Артемий Филиппович, отдайте письмо! *(Коробкину.)* Читайте!

Артемий Филиппович. Сейчас. *(Отдает письмо.)* Вот, позвольте... *(Закрывает пальцем.)* Вот отсюда читайте.

Все приступают к нему.

Почтмейстер. Читайте, читайте! вздор, всё читайте!

Коробкин *(читая)*. «Надзиратель за богоугодным заведением Земляника — совершенная свинья в ермолке».

Артемий Филиппович *(к зрителям)*. И неостроумно! Свинья в ермолке! где ж свинья бывает в ермолке?

Коробкин *(продолжая читать)*. «Смотритель училищ протухнул насквозь луком».

Лука Лукич *(к зрителям)*. Ей-Богу, и в рот никогда не брал луку.

Аммос Федорович *(в сторону)*. Славу Богу, хоть, по крайней мере, обо мне нет!

Коробкин *(читает).* «Судья...»

Аммос Федорович. Вот тебе на! *(Вслух.)* Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черт ли в нем: дрянь этакую читать.

Лука Лукич. Нет!

Почтмейстер. Нет, читайте!

Артемий Филиппович. Нет уж, читайте!

Коробкин *(продолжает).* «Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон...» *(Останавливается.)* Должно быть, французское слово.

Аммос Федорович. А черт его знает, что оно значит! Еще хорошо, если только мошенник, а может быть, и того еще хуже.

Коробкин *(продолжая читать).* «А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить; хочешь наконец пищи для души. Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку. *(Переворачивает письмо и читает адрес.)* Его благородию, милостивому государю, Ивану Васильевичу Тряпичкину, в Санкт-Петербурге, в Почтамтскую улицу, в доме под нумером девяносто седьмым, поворотя на двор, в третьем этаже направо».

Одна из дам. Какой репримант неожиданный!

Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего... Воротить, воротить его! *(Машет рукою.)*

Почтмейстер. Куды воротить! Я, как нарочно, приказал смотрителю дать самую лучшую тройку; черт угораздил дать и вперед предписание.

Жена Коробкина. Вот уж точно, вот беспримерная конфузия!

Аммос Федорович. Однако ж, черт возьми, господа! он у меня взял триста рублей взаймы.

Артемий Филиппович. У меня тоже триста рублей.

Почтмейстер *(вздыхает).* Ох! и у меня триста рублей.

Бобчинский. У нас с Петром Ивановичем шестьдесят пять-с на ассигнации-с, да-с.

Аммос Федорович *(в недоумении расставляет руки).* Как же это, господа? Как это, в самом деле, мы так оплошали?

Городничий *(бьет себя по лбу).* Как я — нет, как я, старый дурак? Выжил, глупый баран, из ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обманул!.. Что губернатор! *(махнул рукой)* нечего и говорить про губернаторов...

Анна Андреевна. Но это не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой...

Городничий *(в сердцах).* Обручился! Кукиш с маслом — вот тебе обручился! Лезет мне в глаза с обрученьем!.. *(В исступлении.)* Вот смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! *(Грозит самому себе кулаком.)* Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю. Мало того что пойдешь в посмешище — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!.. Эх вы!.. *(Стучит со злости ногами об пол.)* Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкоперы, либералы проклятые! чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех да черту в подкладку! в шапку туды ему!.. *(Сует кулаком и бьет каблуком в пол. После некоторого молчания.)* До сих пор не могу прийти в себя. Вот, подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора? Ничего не было! Вот просто ни на полмизинца не было похожего — и вдруг все: ревизор! ревизор! Ну кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!

Артемий Филиппович *(расставляя руки).* Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал.

Аммос Федорович. Да кто выпустил — вот кто выпустил: эти молодцы! *(Показывает на Добчинского и Бобчинского.)*

Бобчинский. Ей-ей, не я! и не думал...

Добчинский. Я ничего, совсем ничего...

Артемий Филиппович. Конечно, вы. Лука Лукич. Разумеется. Прибежали как сумасшедшие из трактира: «Приехал, приехал и денег не плотит...» Нашли важную птицу!

Городничий. Натурально, вы! сплетники городские, лгуны проклятые!

Артемий Филиппович. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами!

Городничий. Только рыскаете по городу да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!

Аммос Федорович. Пачкуны проклятые!

Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие!

Все обступают их.

Бобчинский. Ей-Богу, это не я, это Петр Иванович.

Добчинский. Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первые того...

Бобчинский. А вот и нет; первые-то были вы.

Явление последнее

Те же и жандарм.

Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.

*Произнесенные слова поражают как громом всех.
Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа,
вдруг переменивши положение, остается в окаменении.*

Немая сцена

*Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутою назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гостьи, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выраженьем лица, относящимся прямо к семейству городничего.
По левую сторону городничего:
Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший*

почти до земли и сделавший движенье губами, как бы хотел посвистать или произнесть: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего; за ним, у самого края сцены, Бобчинский и Добчинский с устремившимися движеньями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается.

Приложения к комедии «Ревизор»

Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору

...«Ревизор» сыгран — и у меня на душе так смутно, так странно... Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое. Главная роль пропала; так я и думал. Дюр ни на волос не понял, что такое Хлестаков. Хлестаков сделался чем-то вроде Альнаскарова, чем-то вроде целой шеренги водевильных шалунов, которые пожаловали к нам повертеться из парижских театров. Он сделался просто обыкновенным вралем, — бледное лицо, в продолжение двух столетий являющееся в одном и том же костюме. Неужели в самом деле не видно из самой роли, что такое Хлестаков? Или мною овладела довременно слепая гордость и силы мои совладеть с этим характером были так слабы, что даже и тени и намека в нем не осталось для актера? А мне он казался ясным. Хлестаков вовсе не надувает; он не лгун по ремеслу; он сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит. Он развернулся, он в духе, видит, что все идет хорошо, его слушают — и по тому одному он говорит плавнее, развязнее, говорит от души, говорит совершенно откровенно и, говоря ложь, выказывает именно в ней себя таким, как есть. Вообще у нас актеры совсем не умеют лгать. Они воображают, что лгать — значит просто нести болтовню. Лгать — значит говорить ложь тоном, так близким к истине, так естественно, так наивно, как можно только говорить одну истину; и здесь-то заключается именно все комическое лжи. Я почти уверен, что Хлестаков более бы выиграл, если бы я назначил эту роль одному из самых бесталанных актеров и сказал бы ему только, что Хлестаков есть человек ловкий, совершенный comme il faut, умный и даже, пожалуй, добродетельный, и что ему остается представить его именно таким. Хлестаков лжет вовсе не холодно или фанфаронски-театрально; он лжет с чувством; в глазах его выражается наслаждение, получаемое им от этого. Это вообще лучшая и самая поэтическая минута

в его жизни — почти род вдохновения. И хоть бы что-нибудь из этого было выражено! Никакого тоже характера, то есть лица, то есть видимой наружности, то есть физиономии, — решительно не дано было бедному Хлестакову. Конечно, несравненно легче карикатурить старых чиновников в поношенных вицмундирах с потертыми воротниками; но схватить те черты, которые довольно благовидны и не выходят острыми углами из обыкновенного светского круга, — дело мастера сильного. У Хлестакова ничего не должно быть означено резко. Он принадлежит к тому кругу, который, по-видимому, ничем не отличается от прочих молодых людей. Он даже хорошо иногда держится, даже говорит иногда с весом, и только в случаях, где требуется или присутствие духа, или характер, выказывается его отчасти подленькая, ничтожная натура. Черты роли какого-нибудь городничего более неподвижны и ясны. Его уже обозначает резко собственная, неизменяемая, черствая наружность и отчасти утверждает собою его характер. Черты роли Хлестакова слишком подвижны, более тонки, и потому труднее уловимы. Что такое, если разобрать в самом деле, Хлестаков? Молодой человек, чиновник, и пустой, как называют, но заключающий в себе много качеств, принадлежащих людям, которых свет не называет пустыми. Выставить эти качества в людях, которые не лишены, между прочим, хороших достоинств, было бы грехом со стороны писателя, ибо он тем поднял бы их на всеобщий смех. Лучше пусть всякий отыщет частицу себя в этой роли и в то же время осмотрится вокруг без боязни и страха, чтобы не указал кто-нибудь на него пальцем и не назвал бы его по имени. Словом, это лицо должно быть тип многого разбросанного в разных русских характерах, но которое здесь соединилось случайно в одном лице, как весьма часто попадается и в натуре. Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, делался или делается Хлестаковым, но, натурально, в этом не хочет только признаться; он любит даже и посмеяться над этим фактом, но только, конечно, в коже другого, а не в собственной. И ловкий гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым. Словом, редко кто им не будет хоть раз в жизни, — дело только в том, что вслед за тем очень ловко повернется, и как будто бы и не он.

Итак, неужели в моем Хлестакове не видно ничего этого? Неужели он просто бледное лицо, а я, в порыве минутногорделивого расположения, думал, что когда-нибудь актер обширного таланта возблагодарит меня за совокупление в одном лице толиких разнородных движений, дающих ему возможность вдруг показать все разнообразные стороны своего таланта? И вот Хлестаков вышел детская, ничтожная роль! Это тяжело и ядовито-досадно.

С самого начала представления пьесы я уже сидел в театре скучный. О восторге и приеме публики я не заботился. Одного только судьи из всех бывших в театре я боялся, — и этот судья был я сам. Внутри себя я слышал упреки и ропот против моей же пьесы, которые заглушали все другие. А публика вообще была довольна. Половина ее приняла пьесу даже с участием: другая половина, как водится, ее бранила, по причинам, однако ж, не относящимся к искусству. Каким образом бранила, мы об этом поговорим при первом свидании с вами; тут есть много поучительного и немало смешного. Я даже кое-что записал; но это в сторону.

Вообще с публикою, кажется, совершенно примирил «Ревизора» городничий. В этом я был уверен и прежде, ибо для таланта, каков у Сосницкого, ничего не могло остаться необъясненным в этой роли. Я рад, по крайней мере, что доставил ему возможность выказать во всей широте талант свой, об котором уже начинали отзываться равнодушно и ставили его на одну доску со многими актерами, которые награждаются так щедро рукоплесканиями во вседневных водевилях и прочих забавных пьесах. На слугу тоже надеялся, потому что заметил в актере большое внимание к словам и замечательность. Зато оба наши приятели, Бобчинский и Добчинский, вышли, сверх ожиданий, дурны. Хотя я и думал, что они будут дурны, ибо, создавая этих двух маленьких человечков, я воображал в их коже Щепкина и Рязанцева, но все-таки я думал, что их наружность и положение, в котором они находятся, их как-нибудь вынесет и не так обкарикатурит. Сделалось напротив: вышла именно карикатура. Уже пред началом представления, увидевши их костюмированными, я ахнул. Эти два человечка, в существе своем довольно опрятные, толстенькие, с прилично приглаженными волосами, очутились в каких-то

нескладных, превысоких седых париках, всклоченные, неопрятные, взъерошенные, с выдернутыми огромными манишками; а на сцене оказались до такой степени кривляками, что просто было невыносимо. Вообще костюмировка большей части пьесы была очень плоха и бессовестно карикатурна. Я как бы предчувствовал это, когда просил, чтоб сделать хоть одну репетицию в костюмах; но мне стали говорить, что это вовсе не нужно и не в обычае и что актеры уж знают свое дело. Заметивши, что цены словам моим давали не много, я оставил их в покое. Еще раз повторяю: тоска, тоска! Не знаю сам, отчего одолевает меня тоска.

Во время представления я заметил, что начало четвертого акта холодно; кажется, как будто течение пьесы, дотоле плавное, здесь прервалось или влечется лениво. Признаюсь, еще во время чтения сведущий и опытный актер сделал мне замечание, что не так ловко, что Хлестаков начинает первый просить денег взаймы и что было бы лучше, если бы чиновники сами ему предложили. Уважая замечание довольно тонкое, имеющее свои справедливые стороны, я, однако же, не видел причины, почему Хлестаков, будучи Хлестаковым, не мог попросить первый. Но замечание было сделано; «стало быть, — сказал я сам себе, — я плохо выполнил эту сцену». И точно, теперь, во время представления, я увидел ясно, что начало четвертого акта бледно и носит признак какой-то усталости. Возвратившись домой, я тот же час принялся за переделку. Теперь, кажется, вышло немного сильнее, по крайней мере, естественнее и более идет к делу. Но у меня нет сил хлопотать о включении этого отрывка в пьесу. Я устал; и как вспомню, что для этого нужно ездить, просить и кланяться, то Бог с ним, — пусть лучше при втором издании или возобновлении «Ревизора».

Еще слово о последней сцене. Она совершенно не вышла. Занавес закрывается в какую-то смутную минуту, и пьеса, кажется, как будто не кончена. Но я не виноват. Меня не хотели слушать. Я и теперь говорю, что последняя сцена не будет иметь успеха до тех пор, пока не поймут, что это просто немая картина, что все это должно представлять одну окаменевшую группу, что здесь оканчивается драма и сменяет ее онемевшая мимика, что две-три минуты должен не опускаться занавес, что совершиться все это должно в тех же условиях, каких требуют так называемые

живые картины. Но мне отвечали, что это свяжет актеров, что группу нужно будет поручить балетмейстеру, что несколько даже унизительно для актера, и пр., и пр., и пр. Много еще других прочих увидел я на минах, которые были досаднее словесных. Несмотря на все эти прочие, я стою на своем и сто раз говорю: «Нет, это не свяжет нимало, это не унизительно». Пусть даже балетмейстер сочинит и составит группу, если он только в силах почувствовать настоящее положение всякого лица. Таланта не остановят указанные ему границы, как не остановят реку гранитные берега; напротив, вошедши в них, она быстрее и полнее движет свои волны. И в данной ему позе чувствующий актер может выразить все. На лицо его здесь никто не положил оков, размещена только одна группировка; лицо его свободно выразить всякое движение. И в этом онемении для него бездна разнообразия. Испуг каждого из действующих лиц не похож один на другой, как не похожи их характеры и степень боязни и страха, вследствие великости наделанных каждым грехов. Иным образом остается поражен городничий, иным образом поражена жена и дочь его. Особенным образом испугается судья, особенным образом попечитель, почтмейстер и пр., и пр. Особенным образом останутся пораженными Бобчинский и Добчинский, и здесь не изменившие себе и обратившиеся друг к другу с онемевшим на губах вопросом. Одни только гости могут остолбенеть одинаким образом, но они даль в картине, которая очерчивается одним взмахом кисти и покрывается одним колоритом. Словом, каждый мимически продолжит свою роль и, несмотря на то что, по-видимому, покорил себя балетмейстеру, может всегда остаться высоким актером. Но у меня недостает больше сил хлопотать и спорить. Я устал и душою и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми; мне опротивела моя пьеса. Я хотел бы убежать теперь Бог знает куда, и предстоящее мне путешествие, пароход, море и другие, далекие небеса могут одни только освежить меня. Я жажду их, как Бог знает чего. Ради Бога, приезжайте скорее. Я не поеду, не простившись с вами. Мне еще нужно много сказать вам того, что не в силах сказать несносное, холодное письмо...

1836 г., мая 25. С.-Петербург.

Две сцены, выключенные как замедлявшие течение пьесы

ДЕЙСТВИЕ III, Явление 3

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Марья Антоновна. Но я не знаю, маменька, отчего вам кажется, что у вас лучше всего глаза…

Анна Андреевна. Вздор тебе кажется. Ты глупости, сударыня, толкуешь. Когда жила у нас полковница, которая уж такая была модница, какой я именно не знаю, выписывала все платье из Москвы, — бывало, мне несколько раз повторяет: «Сделайте милость, Анна Андреевна, откройте мне эту тайну, отчего ваши глаза просто говорят…» И все, бывало, в один голос: «С вами, Анна Андреевна, довольно побыть минуту, чтобы от вашей любезности позабыть все обстоятельства». А стоявший в это время штаб-ротмистр Ставрокопытов? Он, не помню, проживал за ремонтом, что ли? Красавец! Лицо свежее, румянец, как я не знаю что; глаза черные-черные, а воротнички рубашки его — это батист такой, какого никогда еще купцы наши не подносили нам. Он мне несколько раз говорил: «Клянусь вам, Анна Андреевна, что не только не видал, не начитывал даже таких глаз; я не знаю, что со мною делается, когда гляжу на вас…» На мне еще тогда была тюлевая пелеринка, вышитая виноградными листьями с колосками и вся обложенная блондочкою, тонкою, не больше как в палец, — это просто было обворожение! Так говорит, бывало: «Я, Анна Андреевна, такое чувствую удовольствие, когда гляжу на вас, что мое сердце», — говорит… Я уж не могу теперь припомнить, что он мне говорил. Куды ж! Он после того такую поднял историю: хотел непременно застрелиться, да как-то пистолеты куда-то запропастились; а случись пистолеты, его бы давно уже не было на свете.

Марья Антоновна. Я не знаю, маменька, — мне, однако ж, кажется, что у вас нижняя часть лица гораздо лучше, нежели глаза.

Анна Андреевна. Никогда, никогда! Вот этого уж нельзя сказать. Что вздор, то вздор!

Марья Антоновна. Нет, право, маменька; когда вы эдак говорите или сидите в профили, у вас губы всё…

Анна Андреевна. Пожалуйста, не толкуй пустяков! Такая, право, несносная! Чтобы она как-нибудь не поспорила… Боже сохрани! Вот что у матери ее хорошие глаза, так уж ей и завидно. За этими спорами, за вздорами я заболталась с тобой. А тут того и гляди что он приедет и застанет нас одетыми Бог знает как. *(Поспешно уходит; за ней Марья Антоновна.)*

ДЕЙСТВИЕ IV, Явление 6

Хлестаков и Растаковский, в екатерининском мундире с эксельбантом.

Растаковский. Имею честь рекомендоваться — житель здешнего города, помещик, отставной секунд-майор Растаковский.

Хлестаков. А, прошу покорнейше садиться; очень рад. Я очень хорошо знаком с вашим начальником.

Растаковский *(сел)*. А, так вы изволили знать Задунайского?

Хлестаков. Какого Задунайского?

Растаковский. Графа Румянцева-Задунайского, Петра Алексеевича. Ведь это мой бывший начальник.

Хлестаков. Да… так вы служили уже давно?..

Растаковский. Находился во время осады под Силистрией, в семьсот семьдесят третьем году. Очень жаркое было дело. Турок был вот так, как этот стол перед нами. Я был тогда сержантом, а секунд-майор был в нашем полку — не изволите ли вы знать? — Гвоздев Петр Васильевич.

Хлестаков. Гвоздев? какой это?

Растаковский. Петр Васильевич. Он был по высочайшему повелению покойной Императрицы переведен потом в драгуны.

Хлестаков. Нет, не знаю.

Растаковский. Я так и полагал, что вы не знаете, потому что уж более тридцати лет, как он умер. Вот здесь не далеко, верстах в двадцати от города, осталась его внучка, что вышла замуж за Ивана Васильевича Рогатку.

Хлестаков. За Рогатку? Скажите! Я этого совсем не полагал.

Растаковский. Да-с, Рогатка, Иван Васильевич... Так турок стоял перед нами вот так, как бы этот стол. Зима и снег, и сумятица была такая, как в том году, когда француз подступал под Москву. В нашем полку был тоже секунд-майором Фуктель-Кнабе, немец. Звали его Сихфрид Иванович, но генерал-аншеф тогдашний, Потемкин, велел переименовать. «Ты, говорит, не Сихфрид, а Суп, — так будь ты Супом Ивановичем». И с той поры так и осталось ему имя Суп Иванович. Так этот Суп Иванович и секунд-майор Гвоздев, о котором я говорил, были посланы за фуражом. К ним был прикомандирован я и еще квартирмистр, если изволите знать — Трепакин, Автоном Павлович: он также, я думаю, уже будет лет двадцать пять как умер.

Хлестаков. Трепакин? нет, не знаю. А вот я хотел бы попросить у вас...

Растаковский *(не слушая)*. Видный мужчина: русый волос, золотой эксельбант. Ловко танцевал польский. Хлопнет, бывало, рукою, и отобьет пару у самого полковника, и как только девушки... хе, хе, хе... У нас бывали тогда палатки; и как только заглянешь к нему в палатку... хе, хе, хе... там уж сидит, и наутро денщик выводит, как будто драгуна, в треугольной шляпе... хе, хе, хе... и портупея висит, хе, хе, хе...

Хлестаков. Да, это подобная история с моим знакомым, одним чиновником, который очень выгодно служит. Сидит он в халате, закурил трубку, вдруг к нему приходит один мой тоже приятель гвардеец, кавалергардского полку, и говорит... *(Останавливается и смотрит между тем пристально в глаза Растаковскому.)* Послушайте, однако ж, не можете ли вы мне дать сколько-нибудь взаймы денег? Я в дороге истратился.

Растаковский. Да кто это просил денег: чиновник у гвардейца или гвардеец у чиновника?

Хлестаков. Нет, это я прошу у вас. Видите, чтоб после как-нибудь не позабыть, так лучше теперь.

Растаковский. Так это вам нужны деньги? Как странно! Я думал, что гвардеец при анекдоте-то попросил. Как в разговоре-то иногда случается! Так вам нужны деньги? А я, признаюсь, с своей стороны пришел беспокоить преубедительнейшею просьбою.

Хлестаков. А что, о чем?

Растаковский. Должен получить прибавочного пенсиона, так я просил бы, чтобы замолвили там сенаторам или кому другому.

Хлестаков. Извольте, извольте.

Растаковский. Я сам подавал просьбу, да только, может, не туда, куда следует.

Хлестаков. А как давно вы подавали просьбу?

Растаковский. Да если сказать правду, не так и давно — в тысяча восемьсот первом году; да вот уж тридцать лет нет никакой резолюции. Я послал чрез Сосулькина Ивана Петровича, который ехал тогда в Петербург; да он-то не слишком надежный человек. Так статься может, что просьбу отнес-то не туды, куды следует. А оно, правда, уже немного и ждать остается: тридцать лет прошло — стало быть, теперь скоро дело решится.

Хлестаков. Да, натурально, теперь решат скоро; а впрочем, я тоже с своей стороны... хорошо, хорошо.

Женитьба

Совершенно невероятное событие в двух действиях

Писано в 1833 году



Действующие лица

Агафья Тихоновна, *купеческая дочь, невеста.*
Арина Пантелеймоновна, *тетка.*
Фекла Ивановна, *сваха.*
Подколесин, *служащий, надворный советник.*
Кочкарев, *друг его.*
Яичница, *экзекутор.*
Анучкин, *отставной пехотный офицер.*
Жевакин, *моряк.*
Дуняшка, *девочка в доме.*
Стариков, *гостинодворец.*
Степан, *слуга Подколесина.*

Действие первое

Явление I

Комната холостяка.
Подколесин один, лежит на диване с трубкой.

Вот как начнешь эдак один на досуге подумывать, так видишь, что наконец точно нужно жениться. Что, в самом деле? Живешь, живешь, да такая наконец скверность становится. Вот опять пропустил мясоед. А ведь, кажется, все готово, и сваха вот уж три месяца ходит. Право, самому как-то становится совестно. Эй, Степан!

Явление II

Подколесин, Степан.

Подколесин. Не приходила сваха?

Степан. Никак нет.

Подколесин. А у портного был?

Степан. Был.

Подколесин. Что ж он, шьет фрак?

Степан. Шьет.

Подколесин. И много уже нашил?

Степан. Да, уж довольно. Начал уж петли метать.

Подколесин. Что ты говоришь?

Степан. Говорю: начал уж петли метать.

Подколесин. А не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фрак?

Степан. Нет, не спрашивал.

Подколесин. Может быть, он говорил, не хочет ли барин жениться?

Степан. Нет, ничего не говорил.

Подколесин. Ты видел, однако ж, у него и другие фраки? Ведь он и для других тоже шьет?

Степан. Да, фраков у него много висит.

Подколесин. Однако ж ведь сукно-то на них будет, чай, похуже, чем на моем?

Степан. Да, это будет поприглядистее, что на вашем.

Подколесин. Что ты говоришь?

Степан. Говорю: это поприглядистее, что на вашем.

Подколесин. Хорошо. Ну, а не спрашивал: для чего, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак?

Степан. Нет.

Подколесин. Не говорил ничего о том, что не хочет ли, дискать, жениться?

Степан. Нет, об этом не заговаривал.

Подколесин. Ты, однако же, сказал, какой на мне чин и где служу?

Степан. Сказывал.

Подколесин. Что ж он на это?

Степан. Говорит: буду стараться.

Подколесин. Хорошо. Теперь ступай.

Степан уходит.

Явление III

Подколесин один.

Я того мнения, что черный фрак как-то солиднее. Цветные больше идут секретарям, титулярным и прочей мелюзге, молокососно что-то. Те, которые чином повыше, должны больше наблюдать, как говорится, этого... вот позабыл слово! и хорошее слово, да позабыл. Да, батюшка, уж как ты там себе ни переворачивай, а надворный советник тот же полковник, только разве что мундир без эполет. Эй, Степан!

Явление IV

Подколесин, Степан.

Подколесин. А ваксу купил?

Степан. Купил.

Подколесин. Где купил? В той лавочке, про которую я тебе говорил, что на Вознесенском проспекте?

Степан. Да-с, в той самой.

Подколесин. Что ж, хороша вакса?

Степан. Хороша.

Подколесин. Ты пробовал чистить ею сапоги?

Степан. Пробовал.

Подколесин. Что ж, блестит?

Степан. Блестеть-то она блестит хорошо.

Подколесин. А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего, мол, барину нужна такая вакса?

Степан. Нет.

Подколесин. Может быть, не говорил ли: не затевает ли, дискать, барин жениться?

Степан. Нет, ничего не говорил.

Подколесин. Ну, хорошо, ступай себе.

Явление V

Подколесин один.

Кажется, пустая вещь сапоги, а ведь, однако же, если дурно сшиты да рыжая вакса, уж в хорошем обществе и не будет такого уважения. Всё как-то не того… Вот еще гадко, если мозоли. Готов вытерпеть Бог знает что, только бы не мозоли. Эй, Степан!

Явление VI

Подколесин, Степан.

Степан. Чего изволите?

Подколесин. Ты говорил сапожнику, чтоб не было мозолей?

Степан. Говорил.

Подколесин. Что ж он говорит?

Степан. Говорит, хорошо.

Степан уходит.

Явление VII

Подколесин, потом Степан.

Подколесин. А ведь хлопотливая, черт возьми, вещь женитьба! То, да се, да это. Чтобы то да это было исправно, — нет, черт побери, это не так легко, как говорят. Эй, Степан!

Степан входит.

Я хотел тебе еще сказать…

Степан. Старуха пришла.

Подколесин. А, пришла; зови ее сюда.

Степан уходит.

Да, это вещь... вещь не того... трудная вещь.

Явление VIII

Подколесин и Фекла.

Подколесин. А, здравствуй, здравствуй, Фекла Ивановна. Ну что? как? Возьми стул, садись, да и рассказывай. Ну, так как же, как? Как, бишь, ее: Меланья?..

Фекла. Агафья Тихоновна.

Подколесин. Да, да, Агафья Тихоновна. И верно, какая-нибудь сорокалетняя дева?

Фекла. Уж вот нет так нет. То есть, как женитесь, так каждый день станете похваливать да благодарить.

Подколесин. Да ты врешь, Фекла Ивановна.

Фекла. Устарела я, отец мой, чтобы врать; пес врет.

Подколесин. А приданое-то, приданое? Расскажи-ка вновь.

Фекла. А приданое: каменный дом в Московской части, о двух елтажах, уж такой прибыточный, что истинно удовольствие. Один лабазник платит семьсот за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Два деревянных хлигеря: один хлигерь совсем деревянный, другой на каменном фундаменте; каждый рублев по четыреста приносит доходу. Огород есть еще на Выборгской стороне: третьего года купец нанимал под капусту; и такой купец трезвый, совсем не берет хмельного в рот, и трех сыновей имеет: двух уж поженил, «а третий, говорит, еще молодой, пусть посидит в лавке, чтобы торговлю было полегче отправлять. Я уж, говорит, стар, так пусть сын посидит в лавке, чтобы торговля шла полегче».

Подколесин. Да собой-то, какова собой?

Фекла. Как рефинат! Белая, румяная, как кровь с молоком, сладость такая, что и рассказать нельзя. Уж будете вот по этих пор довольны *(показывает на горло);* то есть и приятелю и неприятелю скажете: «Ай да Фекла Ивановна, спасибо!»

Подколесин. Да ведь она, однако ж, не штаб-офицерка?

Фекла. Купца третьей гильдии дочь. Да уж такая, что и генералу обиды не нанесет. О купце и слышать не хочет. «Мне, говорит, какой бы ни был муж, хоть и собой-то невзрачен, да был бы дворянин». Да, такой великатес! А к воскресному-то как наденет шелковое платье — так вот те Христос, так и шумит. Княгиня просто!

Подколесин. Да ведь я-то потому тебя спрашивал, что я надворный советник, так мне, понимаешь...

Фекла. Да уж обноковенно, как не понимать. Был у нас и надворный советник, да отказали: не пондравился. Такой уж у него нрав-то странный был: что ни скажет слово, то и соврет, а такой на взгляд видный. Что ж делать, так уж ему Бог дал. Он-то и сам не рад, да уж не может, чтобы не прилгнуть. Такая уж на то воля Божия.

Подколесин. Ну, а кроме этой, других там нет никаких?

Фекла. Да какой же тебе еще? Уж это что ни есть лучшая.

Подколесин. Будто уж самая лучшая?

Фекла. Хоть по всему свету исходи, такой не найдешь.

Подколесин. Подумаем, подумаем, матушка. Приходи-ка послезавтра. Мы с тобой, знаешь, опять вот эдак: я полежу, а ты расскажешь...

Фекла. Да помилуй, отец! уж вот третий месяц хожу к тебе, а проку-то нинасколько. Все сидит в халате да трубку знай себе покуривает.

Подколесин. А ты думаешь небось, что женитьба все равно что «эй, Степан, подай сапоги!» Натянул на ноги, да и пошел? Нужно порассудить, порассмотреть.

Фекла. Ну, так что ж? Коли смотреть, так и смотри. На то товар, чтобы смотреть. Вот прикажи-тка подать кафтан да теперь же, благо утреннее время, и поезжай.

Подколесин. Теперь? А вон видишь, как пасмурно. Выеду, а вдруг хватит дождем.

Фекла. А тебе же худо! Ведь в голове седой волос уж глядит, скоро совсем не будешь годиться для супружеска дела. Невидаль, что он придворный советник! Да мы таких женихов приберем, что и не посмотрим на тебя.

Подколесин. Что за чепуху несешь ты? Из чего вдруг угораздило тебя сказать, что у меня седой волос? Где ж седой волос? *(Щупает свои волосы.)*

Фекла. Как не быть седому волосу, на то живет человек. Смотри ты! Тою ему не угодишь, другой не угодишь. Да у меня есть на примете такой капитан, что ты ему и под плечо не подойдешь, а говорит-то — как труба; в алгалантьерстве служит.

Подколесин. Да врешь, я посмотрю в зеркало; где ты выдумала седой волос? Эй, Степан, принеси зеркало! Или нет, постой, я пойду сам. Вот еще. Боже сохрани. Это хуже, чем оспа. *(Уходит в другую комнату.)*

Явление IX

Фекла и Кочкарев, вбегая.

Кочкарев. Что Подколесин?.. *(Увидев Феклу.)* Ты как здесь? Ах, ты!.. Ну послушай, на кой черт ты меня женила?

Фекла. А что ж дурного? Закон исполнил.

Кочкарев. Закон исполнил! Эк невидаль, жена! Без нее-то разве я не мог обойтись?

Фекла. Да ведь ты ж сам пристал: жени, бабушка, да и полно.

Кочкарев. Ах ты, крыса старая!.. Ну, а здесь зачем? Неужели Подколесин хочет…

Фекла. А что ж? Бог благодать послал.

Кочкарев. Нет! Эк мерзавец, ведь мне ничего об этом. Каков! Прошу покорно: сподтишка, а?

Явление X

*Те же и Подколесин с зеркалом в руках,
в которое вглядывается очень внимательно.*

Кочкарев *(подкрадываясь сзади, пугает его).* Пуф!

Подколесин *(вскрикнув и роняя зеркало).* Сумасшедший! Ну зачем, зачем… Ну что за глупости! Перепугал, право, так, что душа не на месте.

Кочкарев. Ну, ничего, пошутил.

Подколесин. Что за шутки вздумал? До сих пор не могу очнуться от испуга. И зеркало вон разбил. Ведь это вещь не даровая: в английском магазине куплено.

Кочкарев. Ну полно: я сыщу тебе другое зеркало.

Подколесин. Да, сыщешь. Знаю я эти другие зеркала. Целым десятком кажет старее, и рожа выходит косяком.

Кочкарев. Послушай, ведь я бы должен больше на тебя сердиться. Ты от меня, твоего друга, все скрываешь. Жениться ведь задумал?

Подколесин. Вот вздор: совсем и не думал.

Кочкарев. Да ведь улика налицо. *(Указывает на Феклу.)* Ведь вот стоит — известно, что за птица. Ну что ж, ничего, ничего. Здесь нет ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для отечества. Изволь, изволь: я беру на себя все дела. *(К Фекле.)* Ну, говори, как, что и прочее? Дворянка, чиновница или в купечестве, что ли, и как зовут?

Фекла. Агафья Тихоновна.

Кочкарев. Агафья Тихоновна Брандахлыстова?

Фекла. Ан нет — Купердягина.

Кочкарев. В Шестилавочной, что ли, живет?

Фекла. Уж вот нет; будет поближе к Пескам, в Мыльном переулке.

Кочкарев. Ну да, в Мыльном переулке, тотчас за лавочкой — деревянный дом?

Фекла. И не за лавочкой, а за пивным погребом.

Кочкарев. Как же за пивным, — вот тут-то я не знаю.

Фекла. А вот как поворотишь в проулок, так будет тебе прямо будка, и как будку минешь, свороти налево, и вот тебе прямо в глаза — то есть, так вот тебе прямо в глаза и будет деревянный дом, где живет швея, что жила прежде с сенатским оберсеклехтарем. Ты к швее-то не заходи, а сейчас за нею будет второй дом, каменный — вот этот дом и есть ее, в котором, то есть, она живет, Агафья Тихоновна-то, невеста.

Кочкарев. Хорошо, хорошо. Теперь я все это обделаю; а ты ступай, — в тебе больше нет нужды.

Фекла. Как так? Неужто ты сам свадьбу хочешь заправить?

Кочкарев. Сам, сам; ты уж не мешайся только.

Ф е к л а. Ах, бесстыдник какой! Да ведь это не мужское дело. Отступись, батюшка, право!

К о ч к а р е в. Пойди, пойди. Не смыслишь ничего, не мешайся! Знай, сверчок, свой шесток, — убирайся!

Ф е к л а. У людей только чтобы хлеб отымать, безбожник такой! В такую дрянь вмешался. Кабы знала, ничего бы не сказывала. *(Уходит с досадой.)*

Явление XI

Подколесин и Кочкарев.

К о ч к а р е в. Ну, брат, этого дела нельзя откладывать. Едем.

П о д к о л е с и н. Да ведь я еще ничего. Я так только подумал...

К о ч к а р е в. Пустяки, пустяки! Только не конфузься: я тебя женю так, что и не услышишь. Мы сей же час едем к невесте, и увидишь, как всё вдруг.

П о д к о л е с и н. Вот еще! Сейчас бы и ехать!

К о ч к а р е в. Да за чем же, помилуй, за чем дело?.. Ну, рассмотри сам: ну что из того, что ты неженатый? Посмотри на свою комнату. Ну, что в ней? Вон невычищенный сапог стоит, вон лоханка для умывания, вон целая куча табаку на столе, и ты вот сам лежишь, как байбак, весь день на боку.

П о д к о л е с и н. Это правда. Порядка-то у меня, я знаю сам, что нет.

К о ч к а р е в. Ну, а как будет у тебя жена, так ты просто ни себя, ничего не узнаешь: тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделье... И, вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг к тебе подсядет бабеночка, хорошенькая эдакая, и ручкой тебя.

П о д к о л е с и н. А, черт, как подумаешь, право, какие в самом деле бывают ручки. Ведь просто, брат, как молоко.

К о ч к а р е в. Куды тебе! Будто у них только что ручки!.. У них, брат... Ну да что и говорить! у них, брат, просто черт знает чего нет.

П о д к о л е с и н. А ведь сказать тебе правду, я люблю, если возле меня сядет хорошенькая.

Кочкарев. Ну видишь, сам раскусил. Теперь только нужно распорядиться. Ты уж не заботься ни о чем. Свадебный обед и прочее — это все уж я... Шампанского меньше одной дюжины никак, брат, нельзя, уж как ты себе хочешь. Мадеры тоже полдюжины бутылок непременно. У невесты, верно, есть куча тетушек и кумушек — эти шутить не любят. А рейнвейн — черт с ним, не правда ли? а? А что же касается до обеда — у меня, брат, есть на примете придворный официант: так, собака, накормит, что просто не встанешь.

Подколесин. Помилуй, ты так горячо берешься, как будто бы в самом деле уж и свадьба.

Кочкарев. А почему ж нет? Зачем же откладывать? Ведь ты согласен?

Подколесин. Я? Ну нет... я еще не совсем согласен.

Кочкарев. Вот тебе на! Да ведь ты сейчас объявил, что хочешь.

Подколесин. Я говорил только, что не худо бы.

Кочкарев. Как, помилуй! Да мы уж совсем было всё дело... Да что? разве тебе не нравится женатая жизнь, что ли?

Подколесин. Нет... нравится.

Кочкарев. Ну, так что ж? За чем дело стало?

Подколесин. Да дело ни за чем не стало, а только странно...

Кочкарев. Что ж странно?

Подколесин. Как же не странно: все был неженатый, а теперь вдруг — женатый.

Кочкарев. Ну, ну... ну не стыдно ли тебе? Нет, я вижу, с тобой нужно говорить сурьезно: я буду говорить откровенно, как отец с сыном. Ну посмотри, посмотри на себя внимательно, вот, например, так, как смотришь теперь на меня. Ну что ты теперь такое? Ведь просто бревно, никакого значения не имеешь. Ну для чего ты живешь? Ну взгляни в зеркало, что ты там видишь? глупое лицо — больше ничего. А тут, вообрази, около тебя будут ребятишки, ведь не то что двое или трое, а, может быть, целых шестеро, и все на тебя как две капли воды. Ты вот теперь один, надворный советник, экспедитор или там начальник какой. Бог тебя ведает, а тогда, вообрази, около тебя экспедиторчонки, маленькие эдакие канальчонки, и какой-нибудь

постреленок, протянувши ручонки, будет теребить тебя за бакенбарды, а ты только будешь ему по-собачьи: ав, ав, ав! Ну есть ли что-нибудь лучше этого, скажи сам?

Подколесин. Да ведь они только шалуны большие: будут всё портить, разбросают бумаги.

Кочкарев. Пусть шалят, да ведь все на тебя похожи — вот штука.

Подколесин. А оно, в самом деле, даже смешно, черт побери: этакой какой-нибудь пышка, щенок эдакой, и уж на тебя похож.

Кочкарев. Как не смешно, конечно смешно. Ну, так поедем.

Подколесин. Пожалуй, поедем.

Кочкарев. Эй, Степан! Давай скорее своему барину одеваться.

Подколесин *(одеваясь перед зеркалом)*. Я думаю, однако ж, что нужно бы в белом жилете.

Кочкарев. Пустяки, все равно.

Подколесин *(надевая воротнички)*. Проклятая прачка, так скверно накрахмалила воротнички — никак не стоят. Ты ей скажи, Степан, что если она, глупая, так будет гладить белье, то я найму другую. Она, верно, с любовниками проводит время, а не гладит.

Кочкарев. Да ну, брат, поскорее! Как ты копаешься!

Подколесин. Сейчас, сейчас. *(Надевает фрак и садится.)* Послушай, Илья Фомич. Знаешь ли что? Поезжай-ка ты сам.

Кочкарев. Ну вот еще; с ума сошел разве? Мне ехать! Да кто из нас женится: ты или я?

Подколесин. Право, что-то не хочется; пусть лучше завтра.

Кочкарев. Ну есть ли в тебе капля ума? Ну не олух ли ты? Собрался совершенно, и вдруг: не нужно! Ну скажи, пожалуйста, не свинья ли ты, не подлец ли ты после этого?

Подколесин. Ну что ж ты бранишься? с какой стати? что я тебе сделал?

Кочкарев. Дурак, дурак набитый, это тебе всякий скажет. Глуп, вот просто глуп, хоть и экспедитор. Ведь о чем стараюсь? О твоей пользе; ведь изо рта выманят кус. Лежит, проклятый

холостяк! Ну скажи, пожалуйста, ну на что ты похож? Ну, ну, дрянь, колпак, сказал бы такое слово... да неприлично только. Баба! хуже бабы!

Подколесин. И ты хорош в самом деле! *(Вполголоса.)* В своем ли ты уме? Тут стоит крепостной человек, а он при нем бранится, да еще эдакими словами; не нашел другого места.

Кочкарев. Да как же тебя не бранить, скажи, пожалуйста? Кто может тебя не бранить? У кого достанет духу тебя не бранить? Как порядочный человек, решился жениться, последовал благоразумию и вдруг — просто сдуру, белены объелся, деревянный чурбан...

Подколесин. Ну, полно, я еду — чего ж ты раскричался?

Кочкарев. Еду! Конечно, что ж другое делать, как не ехать! *(Степану.)* Давай ему шляпу и шинель.

Подколесин *(в дверях)*. Такой, право, странный человек! С ним никак нельзя водиться: выбранит вдруг ни за что ни про что. Не понимает никакого обращения.

Кочкарев. Да уж кончено, теперь не браню.

Оба уходят.

Явление XII

Комната в доме Агафьи Тихоновны.
Агафья Тихоновна раскладывает на картах,
из-за руки глядит тетка Арина Пантелеймоновна.

Агафья Тихоновна. Опять, тетушка, дорога! Интересуется какой-то бубновый король, слезы, любовное письмо; с левой стороны трефовый изъявляет большое участье, но какая-то злодейка мешает.

Арина Пантелеймоновна. А кто бы, ты думала, был трефовый король?

Агафья Тихоновна. Не знаю.

Арина Пантелеймоновна. А я знаю кто.

Агафья Тихоновна. А кто?

Арина Пантелеймоновна. А хороший торговец, что по суконной линии, Алексей Дмитриевич Стариков.

Агафья Тихоновна. Вот уж верно не он! я хоть что ставлю, не он.

Арина Пантелеймоновна. Не спорь, Агафья Тихоновна, волос уж такой русый. Нет другого трефового короля.

Агафья Тихоновна. А вот же нет: трефовый король значит здесь дворянин. Купцу далеко до трефового короля.

Арина Пантелеймоновна. Эй, Агафья Тихоновна, а ведь не то бы ты сказала, как бы покойник-то Тихон, твой батюшка, Пантелеймонович был жив. Бывало, как ударит всей пятерней по столу да вскрикнет: «Плевать я, говорит, на того, который стыдится быть купцом; да не выдам же, говорит, дочь за полковника. Пусть их делают другие! А и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, разве купец не служит Государю так же, как и всякий другой?» Да всей пятерней-то по столу и хватит. А рука-то в ведро величиною — такие страсти! Ведь если сказать правду, он и усахарил твою матушку, а покойница прожила бы подолее.

Агафья Тихоновна. Ну вот, чтобы и у меня еще был такой злой муж! Да ни за что не выйду за купца!

Арина Пантелеймоновна. Да ведь Алексей-то Дмитриевич не такой.

Агафья Тихоновна. Не хочу, не хочу! У него борода: станет есть, все потечет по бороде. Нет, нет, не хочу!

Арина Пантелеймоновна. Да ведь где же достать хорошего дворянина? Ведь его на улице не сыщешь.

Агафья Тихоновна. Фекла Ивановна сыщет. Она обещалась сыскать самого лучшего.

Арина Пантелеймоновна. Да ведь она лгунья, мой свет.

Явление XIII

Те же и Фекла.

Фекла. Ан нет, Арина Пантелеймоновна, грех вам понапрасну поклеп взводить.

Агафья Тихоновна. Ах, это Фекла Ивановна! Ну что, говори, рассказывай! Есть?

Фекла. Есть, есть, дай только прежде с духом собраться — так ухлопоталась! По твоей комиссии все дома исходила, по канцеляриям, по министериям истаскалась, в караульни наслонялась... Знаешь ли ты, мать моя, ведь меня чуть было не прибили,

ей-Богу! Старуха-то, что женила Аферовых, так было приступила ко мне: «Ты такая и этакая, только хлеб перебиваешь, знай свой квартал», — говорит. «Да что ж, — сказала я напрямик, — я для своей барышни, не прогневайся, все готова удовлетворить». Зато уж каких женихов тебе припасла! То есть, и стоял свет и будет стоять, а таких еще не было! Сегодня же иные и прибудут. Я забежала нарочно тебя предварить.

Агафья Тихоновна. Как же сегодня? Душа моя Фекла Ивановна, я боюсь.

Фекла. И, не пугайся, мать моя! дело житейское. Приедут, посмотрят, больше ничего. И ты посмотришь их: не пондравятся — ну и уедут.

Арина Пантелеймоновна. Ну уж, чай, хороших приманила!

Агафья Тихоновна. А сколько их? много?

Фекла. Да человек шесть есть.

Агафья Тихоновна *(вскрикивает).* Ух!

Фекла. Ну что ж ты, мать моя, так вспорхнулась? Лучше выбирать: один не придется, другой придется.

Агафья Тихоновна. Что ж они: дворяне?

Фекла. Все как на подбор. Уж такие дворяне, что еще и не было таких.

Агафья Тихоновна. Ну, какие же, какие?

Фекла. А славные все такие, хорошие, аккуратные. Первый Балтазар Балтазарович Жевакин, такой славный, во флоте служил, — как раз по тебе придется. Говорит, что ему нужно, чтобы невеста была в теле, а поджаристых совсем не любит. А Иван-то Павлович, что служит езекухтором, такой важный, что и приступу нет. Такой видный из себя, толстый; как закричит на меня: «Ты мне не толкуй пустяков, что невеста такая и эдакая! ты скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого?» — «Столько-то и столько-то, отец мой!» — «Ты врешь, собачья дочь!» Да еще, мать моя, вклеил такое словцо, что и неприлично тебе сказать. Я так вмиг и спознала: э, да это должен быть важный господин.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто?

Фекла. А еще Никанор Иванович Анучкин. Это уж такой великатный! а губы, мать моя, — малина, совсем малина! такой

славный. «Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, чтобы и по-французскому умела говорить». Да, тонкого поведенья человек, немецкая штучка! А сам-то такой субтильный, и ножки узенькие, тоненькие.

Агафья Тихоновна. Нет, мне эти субтильные как-то не того… не знаю… Я ничего не вижу в них…

Фекла. А коли хочешь поплотнее, так возьми Ивана Павловича. Уж лучше нельзя выбрать никого. Уж тот, неча сказать, барин так барин: мало в эти двери не войдет, — такой славный.

Агафья Тихоновна. А сколько лет ему?

Фекла. А человек еще молодой: лет пятьдесят, да и пятидесяти еще нет.

Агафья Тихоновна. А фамилия как?

Фекла. А фамилия Иван Павлович Яичница.

Агафья Тихоновна. Это такая фамилия?

Фекла. Фамилия.

Агафья Тихоновна. Ах Боже мой, какая фамилия! Послушай, Феклуша, как же это, если я выйду за него замуж и вдруг буду называться Агафья Тихоновна Яичница? Бог знает что такое!

Фекла. И, мать моя, да на Руси есть такие прозвища, что только плюнешь да перекрестишься, коли услышишь. А пожалуй, коли не нравится прозвище, то возьми Балтазара Балтазаровича Жевакина — славный жених.

Агафья Тихоновна. А какие у него волосы?

Фекла. Хорошие волосы.

Агафья Тихоновна. А нос?

Фекла. Э… и нос хороший. Всё на своем месте. И сам такой славный. Только не погневайся: уж на квартире одна только трубка и стоит, больше ничего нет — никакой мебели.

Агафья Тихоновна. А еще кто?

Фекла. Акинф Степанович Пантелеев, чиновник, титулярный советник, немножко заикается только, зато уж такой скромный.

Арина Пантелеймоновна. Ну что ты все: чиновник, чиновник! А не любит ли он выпить, вот, мол, что скажи.

Фекла. А пьет, не прекословлю, пьет. Что ж делать, уж он титулярный советник; зато такой тихий, как шелк.

Агафья Тихоновна. Ну нет, я не хочу, чтобы муж у меня был пьяница.

Фекла. Твоя воля, мать моя! Не хочешь одного, возьми другого. Впрочем, что ж такого, что иной раз выпьет лишнее, — ведь не всю же неделю бывает пьян: иной день выберется и трезвый.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто?

Фекла. Да есть еще один, да только такой... Бог с ним! Эти будут почище.

Агафья Тихоновна. Ну, да кто же он?

Фекла. А не хотелось бы и говорить про него. Он-то, пожалуй, надворный советник и петлицу носит, да уж на подъем куды тяжел, не выманишь из дому.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто? Ведь тут только всего пять, а ты говорила шесть.

Фекла. Да неужто тебе еще мало? Смотри ты, как тебя вдруг поразобрало, а ведь давича было испугалась.

Арина Пантелеймоновна. Да что с них, с дворян-то твоих? Хоть их у тебя и шестеро, а, право, купец один станет за всех.

Фекла. А нет, Арина Пантелеймоновна. Дворянин будет почтенней.

Арина Пантелеймоновна. Да что в почтенье-та? А вот Алексей Дмитриевич да в собольей шапке, в санках-то как прокатится...

Фекла. А дворянин-то с аполетой пройдет навстречу, скажет: «Что ты, купчишка? свороти с дороги!» Или: «Покажи, купчишка, бархату самого лучшего!» А купец: «Извольте, батюшка!» — «А сними-ка, невежа, шляпу!» — вот что скажет дворянин.

Арина Пантелеймоновна. А купец, если захочет, не даст сукна; а вот дворянин-то и голенькой, и не в чем ходить дворянину!

Фекла. А дворянин зарубит купца.

Арина Пантелеймоновна. А купец пойдет жаловаться в полицию.

Фекла. А дворянин пойдет на купца к сенахтору.

Арина Пантелеймоновна. А купец к губернахтору.

Фекла. А дворянин...

Арина Пантелеймоновна. Врешь, врешь: дворянин... Губернахтор больше сенахтора! Разносилась с дворянином! а дворянин при случае так же гнет шапку...

В дверях слышен звонок.

Никак, звонит кто-то.

Фекла. Ахти, это они!

Арина Пантелеймоновна. Кто они?

Фекла. Они... кто-нибудь из женихов.

Агафья Тихоновна *(вскрикивает)*. Ух!

Арина Пантелеймоновна. Святые, помилуйте нас, грешных! В комнате совсем не прибрано. *(Схватывает все, что ни есть на столе, и бегает по комнате.)* Да салфетка-то, салфетка на столе совсем черная. Дуняшка, Дуняшка!

Дуняшка является.

Скорее чистую салфетку! *(Стаскивает салфетку и мечется по комнате.)*

Агафья Тихоновна. Ах, тетушка, как мне быть? Я чуть не в рубашке!

Арина Пантелеймоновна. Ах, мать моя, беги скорей одеваться! *(Мечется по комнате.)*

Дуняшка приносит салфетку: в дверях звонят.

Беги скажи: «сейчас!»

Дуняшка кричит издалека: «Сейчас!»

Агафья Тихоновна. Тетушка, да ведь платье не выглажено.

Арина Пантелеймоновна. Ах, Господи милосердный, не погуби! Надень другое.

Фекла *(вбегая)*. Что ж вы нейдете? Агафья Тихоновна, поскорей, мать моя!

Слышен звонок.

Ахти, а ведь он все дожидается!

Арина Пантелеймоновна. Дуняшка, введи его и проси обождать.

Дуняшка бежит в сени и отворяет дверь. Слышны голоса: «Дома?» — «Дома, пожалуйте в комнату». Все с любопытством стараются рассмотреть в замочную скважину.

Агафья Тихоновна *(вскрикивает)*. Ах, какой толстый!

Фекла. Идет, идет!

Все бегут опрометью.

Явление XIV

Иван Павлович Яичница и девчонка.

Девчонка. Погодите здесь. *(Уходит.)*

Яичница. Пожалуй, пождать — пождем, как бы только не замешкаться. Отлучился ведь только на минутку из департамента. Вдруг вздумает генерал: «А где экзекутор?» — «Невесту пошел выглядывать». Чтоб не задал он такой невесты... А, однако ж, рассмотреть еще раз роспись. *(Читает.)* «Каменный двухэтажный дом...» *(Подымает глаза вверх и обсматривает комнату.)* Есть! *(Продолжает читать.)* «Флигеля два: флигель на каменном фундаменте, флигель деревянный...» Ну, деревянный плоховат. «Дрожки, сани парные с резьбой, под большой ковер и под малый...» Может быть, такие, что в лом годятся? Старуха, однако ж, уверяет, что первый сорт; хорошо, пусть первый сорт. «Две дюжины серебряных ложек...» Конечно, для дома нужны серебряные ложки. «Две лисьих шубы...» Гм... «Четыре больших пуховика и два малых. *(Значительно сжимает губы.)* Шесть пар шелковых и шесть пар ситцевых платьев, два ночных капота, два...» Ну, это статья пустая! «Белье, салфетки...» Это пусть будет, как ей хочется. Впрочем, нужно все это поверить на деле. Теперь, пожалуй, обещают и домы, и экипажи, а как женишься — только и найдешь, что пуховики да перины.

Слышен звонок. Дуняшка бежит впопыхах через комнату отворять дверь. Слышны голоса: «Дома?» — «Дома».

Явление XV

Иван Павлович и Анучкин.

Дуняшка. Погодите тут. Они выдут. *(Уходит.)*

Анучкин раскланивается с Яичницей.

Яичница. Мое почтение!

Анучкин. Не с папенькой ли прелестной хозяйки дома имею честь говорить?

Яичница. Никак нет, вовсе не с папенькой. Я даже еще не имею детей.

Анучкин. Ах, извините! извините!

Яичница *(в сторону)*. Физиогномия этого человека мне что-то подозрительна: чуть ли он не за тем же сюда пришел, за чем и я. *(Вслух.)* Вы, верно, имеете какую-нибудь надобность к хозяйке дома?

Анучкин. Нет, что ж... надобности никакой нет, а так, зашел с прогулки.

Яичница *(в сторону)*. Врет, врет, с прогулки! Жениться, подлец, хочет!

Слышен звонок. Дуняшка бежит через комнату отворять дверь. В сенях голоса: «Дома?» — «Дома».

Явление XVI

Те же и Жевакин, в сопровождении девчонки.

Жевакин *(девчонке)*. Пожалуйста, душенька, почисть меня... Пыли-то, знаешь, на улице попристало немало. Вон там, пожалуйста, сними пушинку. *(Поворачивается.)* Так! спасибо, душенька. Вот еще, посмотри, там как будто паучок лазит! а на подборах-то сзади ничего нет? Спасибо, родимая! Вон тут еще, кажется. *(Гладит рукою рукав фрака и поглядывает на Анучкина и Ивана Павловича.)* Суконцо-то ведь аглицкое! Ведь каково носится! В девяносто пятом году, когда была эскадра наша в Сицилии, купил я его еще мичманом и сшил с него мундир; в восемьсот первом, при Павле Петровиче, я был сделан лейтенантом, — сукно было совсем новешенькое; в восемьсот четырнадцатом сделал экспедицию вокруг света, и вот только по швам немного поистерлось; в восемьсот пятнадцатом вышел в отставку, только перелицевал: уж десять лет ношу — до сих пор почти что новый. Благодарю, душенька, м... раскрасоточка! *(Делает ей ручку и, подходя к зеркалу, слегка взъерошивает волосы.)*

Анучкин. А как, позвольте узнать, Сицилия... вот вы изволили сказать: Сицилия, — хорошая это земля Сицилия?

Жевакин. А, прекрасная! Мы тридцать четыре дня там пробыли; вид, я вам доложу, восхитительный! эдакие горы, эдак деревцо какое-нибудь гранатное, и везде италианочки, такие розанчики, так вот и хочется поцеловать.

Анучкин. И хорошо образованны?

Жевакин. Превосходным образом! Так образованные, как вот у нас только графини разве. Бывало, пойдешь по улице — ну, русский лейтенант... Натурально, здесь эполеты *(показывает на плеча)*, золотое шитье... и эдак красоточки черномазенькие, — у них ведь возле каждого дома балкончики, и крыши, вот как этот пол, совершенно плоски. Бывало, эдак смотришь, и сидит эдакой розанчик... Ну, натурально, чтобы не ударить лицом в грязь... *(Кланяется и размахивает рукою.)* И она эдак только. *(Делает рукою движение.)* Натурально, одета: здесь у ней какая-нибудь тафтица, шнуровочка, дамские разные сережки... ну, словом, такой лакомый кусочек...

Анучкин. А как, позвольте еще вам сделать вопрос, — на каком языке изъясняются в Сицилии?

Жевакин. А натурально, все на французском.

Анучкин. И все барышни решительно говорят по-французски?

Жевакин. Все-с решительно. Вы даже, может быть, не поверите тому, что я вам доложу: мы жили тридцать четыре дня, и во все это время ни одного слова я не слыхал от них по-русски.

Анучкин. Ни одного слова?

Жевакин. Ни одного слова. Я не говорю уже о дворянах и прочих синьорах, то есть разных ихних офицерах; но возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь, попробуйте скажите ему: «Дай, братец, хлеба», — не поймет, ей-Богу не поймет; а скажи по-французски: «Dateci del pane» или «portate vino!» — поймет, и побежит, и точно принесет.

Иван Павлович. А любопытная, однако ж, как я вижу, должна быть земля эта Сицилия. Вот вы сказали — мужик: что мужик, как он? так ли совершенно, как и русский мужик, широк в плечах и землю пашет, или нет?

Жевакин. Не могу вам сказать: не заметил, пашут или нет, а вот насчет нюханья табаку, так я вам доложу, что все не только

нюхают, а даже за губу-с кладут. Перевозка тоже очень дешева; там все почти вода и везде гондолы... Натурально, сидит эдакая италианочка, такой розанчик, одета: манишечка, платочек... С нами были и аглицкие офицеры; ну, народ, так же как и наши, — моряки; и сначала, точно, было очень странно: не понимаешь друг друга, — но потом, как хорошо обознакомились, начали свободно понимать: покажешь, бывало, эдак на бутылку или стакан — ну, тотчас и знает, что это значит выпить; приставишь эдак кулак ко рту и скажешь только губами: паф-паф — знает: трубку выкурить. Вообще, я вам доложу, язык довольно легкий, наши матросы в три дни каких-нибудь стали совершенно понимать друг друга.

Иван Павлович. А преинтересная, как вижу, жизнь в чужих краях. Мне очень приятно сойтись с человеком бывалым. Позвольте узнать: с кем имею честь говорить?

Жевакин. Жевакин-с, лейтенант в отставке. Позвольте с своей стороны тоже спросить: с кем-с имею счастье изъясняться?

Иван Павлович. В должности экзекутора, Иван Павлович Яичница.

Жевакин *(не дослышав)*. Да, я тоже перекусил. Дороги-то, знаю, впереди будет довольно, а время холодновато: селедочку съел с хлебцем.

Иван Павлович. Нет, кажется, вы не так поняли: это фамилия моя — Яичница.

Жевакин *(кланяясь)*. Ах, извините! я немножко туговат на ухо. Я, право, думал, что вы изволили сказать, что покушали яичницу.

Иван Павлович. Да что делать? я хотел было уже просить генерала, чтобы позволил называться мне Яичницын, да свои отговорили: говорят, будет похоже на «собачий сын».

Жевакин. А это, однако ж, бывает. У нас вся третья эскадра, все офицеры и матросы, — все были с престранными фамилиями: Помойкин, Ярыжкин, Перепреев, лейтенант. А один мичман, и даже хороший мичман, был по фамилии просто Дырка. И капитан бывало: «Эй ты, Дырка, поди сюда!» И, бывало, над ним всегда пошутишь. «Эх ты, дырка эдакой!» — говоришь, бывало, ему.

Слышен в сенях звонок, Фекла бежит через комнату отворять.

Яичница. А, здравствуй, матушка!

Жевакин. Здравствуй; как живешь, душа моя?

Анучкин. Здравствуйте, матушка Фекла Ивановна.

Фекла *(бежит впопыхах).* Спасибо, отцы мои! Здорова, здорова. *(Отворяет дверь.)*

В сенях раздаются голоса: «Дома?» — «Дома». Потом несколько почти неслышных слов, на которые Фекла отвечает с досадою: «Смотри ты какой!»

Явление XVII

Те же, Кочкарев, Подколесин и Фекла.

Кочкарев *(Подколесину).* Ты помни, только кураж, и больше ничего. *(Оглядывается и раскланивается с некоторым изумлением; про себя.)* Фу ты, какая куча народу! Это что значит? Уж не женихи ли? *(Толкает Феклу и говорит ей тихо.)* С которых сторон понабрала ворон, а?

Фекла *(вполголоса).* Тут тебе ворон нет, всё честные люди.

Кочкарев *(ей).* Гости-то несчитанные, кафтаны общипанные.

Фекла. Гляди налёт на свой полёт, а и похвастаться нечем: шапка в рубль, а щи без круп.

Кочкарев. Небось твои разживные, по дыре в кармане. *(Вслух.)* Да что она делает теперь? Ведь эта дверь, верно, к ней в спальню? *(Подходит к двери.)*

Фекла. Бесстыдник! говорят тебе, еще одевается.

Кочкарев. Эка беда! что ж тут такого? Ведь только посмотрю, и больше ничего. *(Смотрит в замочную скважину.)*

Жевакин. А позвольте мне полюбопытствовать тоже.

Яичница. Позвольте взглянуть мне только один разочек.

Кочкарев *(продолжая смотреть).* Да ничего не видно, господа. И распознать нельзя, что такое белеет: женщина или подушка.

Все, однако ж, обступают дверь и продираются взглянуть.

Чш... кто-то идет!

Все отскакивают прочь.

Явление XVIII

Те же, Арина Пантелеймоновна и Агафья Тихоновна. Все раскланиваются.

Арина Пантелеймоновна. А по какой причине изволили одолжить посещением?

Яичница. А по газетам узнал я, что желаете вступить в подряды насчет поставки лесу и дров, и потому, находясь в должности экзекутора при казенном месте, я пришел узнать, какого роду лес, в каком количестве и к какому времени можете его поставить.

Арина Пантелеймоновна. Хоть подрядов никаких не берем, а приходу рады. А как по фамилии?

Яичница. Коллежский асессор Иван Павлович Яичница.

Арина Пантелеймоновна. Прошу покорнейше садиться. *(Обращается к Жевакину и смотрит на него.)* А позвольте узнать...

Жевакин. Я тоже, в газетах вижу объявляют о чем-то: дай-ка, думаю себе, пойду. Погода же показалась хорошею, по дороге везде травка...

Арина Пантелеймоновна. А как-с по фамилии?

Жевакин. А лейтенант морской службы в отставке, Балтазар Балтазаров Жевакин-второй. Был у нас еще другой Жевакин, да тот еще прежде моего вышел в отставку: был ранен, матушка, под коленком, и пуля так странно прошла, что коленка-то самого не тронула, а по жиле прохватила — как иголкой сшило, так что, когда, бывало, стоишь с ним, все кажется, что он хочет тебя коленком сзади ударить.

Арина Пантелеймоновна. А прошу покорнейше садиться. *(Обращаясь к Анучкину.)* А позвольте узнать, по какой причине?..

Анучкин. По соседству-с. Находясь довольно в близком соседстве...

Арина Пантелеймоновна. Не в доме ли купеческой жены Тулубовой, что насупротив, изволите жить.

Анучкин. Нет, я покамест живу еще на Песках, но имею, однако же, намерение со временем перебраться сюда-с в соседство, в эту часть города.

Арина Пантелеймоновна. А прошу покорнейше садиться. *(Обращаясь к Кочкареву.)* А позвольте узнать...

Кочкарев. Да неужели вы меня не узнаете? *(Обращаясь к Агафье Тихоновне.)* И вы также, сударыня?

Агафья Тихоновна. Сколько мне кажется, совсем не видала вас.

Кочкарев. Однако ж припомните. Вы меня, верно, где-нибудь видели.

Агафья Тихоновна. Право, не знаю. Уж разве не у Бирюшкиных ли?

Кочкарев. Именно, у Бирюшкиных.

Агафья Тихоновна. Ах, ведь вы не знаете, с ней ведь история случилась.

Кочкарев. Как же, вышла замуж.

Агафья Тихоновна. Нет, это бы еще хорошо, а то переломила ногу.

Арина Пантелеймоновна. И сильно переломила. Возвращалась довольно поздно домой на дрожках, а кучер-то был пьян и вывалил с дрожек.

Кочкарев. Да то-то я помню, что-то было: или вышла замуж, или переломила ногу.

Арина Пантелеймоновна. А как по фамилии?

Кочкарев. Как же, Илья Фомич Кочкарев, в родстве ведь мы. Жена моя беспрестанно говорит о том... Позвольте, позвольте *(берет за руку Подколесина и подводит его)*: приятель мой, Подколесин Иван Кузьмич, надворный советник; служит экспедитором, один все дела делает, усовершенствовал отличнейше свою часть.

Арина Пантелеймоновна. А как по фамилии?

Кочкарев. Подколесин Иван Кузьмич, Подколесин. Директор так только, для чина поставлен, а все дела он делает, Иван Кузьмич Подколесин.

Арина Пантелеймоновна. Так-с. Прошу покорнейше садиться.

Явление XIX

Те же и Стариков.

Стариков *(кланяясь живо и скоро, по-купечески, и слегка берясь в бока)*. Здравствуйте, матушка Арина Пантелеевна.

Ребята на Гостином дворе сказывали, что продаете шерсть, матушка!

Агафья Тихоновна *(отворачиваясь с пренебрежением, вполголоса, но так, что он слышит)*. Здесь не купеческая лавка.

Стариков. Вона! Аль невпопад пришли? Аль и без нас дело сварили?

Арина Пантелеймоновна. Прошу, прошу, Алексей Дмитриевич; хоть шерсти не продаем, а приходу рады. Прошу покорно садиться.

Все уселись. Молчание.

Яичница. Странная погода нынче: поутру совершенно было похоже на дождик, а теперь как будто и прошло.

Агафья Тихоновна. Да-с, уж эта погода ни на что не похожа: иногда ясно, а в другое время совершенно дождливая. Очень большая неприятность.

Жевакин. Вот в Сицилии, матушка, мы были с эскадрой в весеннее время, — если пригонять, так выйдет к нашему февралю, — выйдешь, бывало, из дому: день солнечный, а потом эдак дождик; и смотришь, точно, как будто дождик.

Яичница. Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь один. Женатому человеку совсем другое дело — не скучно; а если в одиночестве — так это просто...

Жевакин. О, смерть, совершенная смерть!..

Анучкин. Да-с, это можно сказать...

Кочкарев. Какое! Просто терзанье! жизни не будешь рад; не приведи Бог испытать такое положение.

Яичница. А как, сударыня, если бы пришлось вам избрать предмет? Позвольте узнать ваш вкус. Извините, что я так прямо. В какой службе, вы полагаете, быть приличнее мужу?

Жевакин. Хотели ли бы вы, сударыня, иметь мужем человека, знакомого с морскими бурями?

Кочкарев. Нет, нет. Лучший, по моему мнению, муж есть человек, который один почти управляет всем департаментом.

Анучкин. Почему же предубеждение? Зачем вы хотите оказать пренебрежение к человеку, который хотя, конечно, служил в пехотной службе, но умеет, однако ж, ценить обхождение высшего общества.

Яичница. Сударыня, разрешите вы!

Агафья Тихоновна молчит.

Фекла. Отвечай же, мать моя. Скажи им что-нибудь.

Яичница. Как же, матушка?..

Кочкарев. Как же ваше мнение, Агафья Тихоновна?

Фекла *(тихо ей).* Скажи же, скажи: благодарствую, мол, с моим удовольствием. Не хорошо же так сидеть.

Агафья Тихоновна *(тихо).* Мне стыдно, право стыдно, я уйду, право уйду. Тетушка, посидите за меня.

Фекла. Ах, не делай этого сраму, не уходи; совсем острамишься. Они невесть что подумают.

Агафья Тихоновна *(так же).* Нет, право уйду. Уйду, уйду! *(Убегает.)*

Фекла и Арина Пантелеймоновна уходят вслед за нею.

Явление XX

Те же, кроме ушедших.

Яичница. Вот тебе на, и ушли все! Это что значит?

Кочкарев. Что-нибудь, верно, случилось.

Жевакин. Как-нибудь насчет дамского туалетца... Эдак поправить что-нибудь... манишечку... пришпилить.

Фекла входит.
Все к ней навстречу с вопросами: «Что, что такое?»

Кочкарев. Что-нибудь случилось?

Фекла. Как можно, чтобы случилось. Ей-Богу, ничего не случилось.

Кочкарев. Да зачем же она вышла?

Фекла. Да пристыдили, потому и вышла; совсем исконфузили, так что не высидела на месте. Просит извинить: ввечеру-де на чашку чаю чтобы пожаловали. *(Уходит.)*

Яичница *(в сторону).* Ох уж эта мне чашка чаю! Вот за что не люблю сватаний — пойдет возня: сегодня нельзя, да пожалуйте завтра, да еще послезавтра на чашку, да нужно еще подумать. А ведь дело дрянь, ничуть не головоломное. Черт побери, я человек должностной, мне некогда!

Кочкарев *(Подколесину)*. А ведь хозяйка не дурна, а?

Подколесин. Да, недурна.

Жевакин. А ведь хозяечка-то хороша.

Кочкарев *(в сторону)*. Вот черт побери! Этот дурак влюбился. Еще будет мешать, пожалуй. *(Вслух.)* Совсем нехороша, совсем нехороша.

Яичница. Нос велик.

Жевакин. Ну, нет, носа я не заметил. Она… эдакой розачик.

Анучкин. Я сам тоже их мненья. Нет, не то, не то… Я даже думаю, что вряд ли она знакома с обхождением высшего общества. Да и знает ли она еще по-французски?

Жевакин. Да что ж вы, смею спросить, не попробовали, не поговорили с ней по-французски? Может быть, и знает.

Анучкин. Вы думаете, я говорю по-французски? Нет, я не имел счастия воспользоваться таким воспитанием. Мой отец был мерзавец, скотина. Он и не думал меня выучить французскому языку. Я был тогда еще ребенком, меня легко было приучить — стоило только посечь хорошенько, и я бы знал, я бы непременно знал.

Жевакин. Ну, да теперь же, когда вы не знаете, что ж вам за прибыль, если она…

Анучкин. А нет, нет. Женщина совсем другое дело. Нужно, чтобы она непременно знала, а без того у ней и то, и это… *(показывает жестами)* — все уж будет не то.

Яичница *(в сторону)*. Ну, об этом заботься кто другой. А я пойду да обсмотрю со двора дом и флигеля: если только все как следует, так сего же вечера добьюсь дела. Эти женишки мне не опасны — народ что-то больно жиденький. Таких невесты не любят.

Жевакин. Пойти выкурить трубочку. А что, не по дороге ли нам? Вы где, позвольте спросить, живете?

Анучкин. А на Песках, в Петровском переулке.

Жевакин. Да-с, будет круг: я на острову, в Восемнадцатой линии; а впрочем, все-таки я вас попровожу.

Стариков. Нет, тут что-то спесьевато. Ай, припомните потом, Агафья Тихоновна, и нас. С моим почтением, господа! *(Кланяется и уходит.)*

Явление XXI

Подколесин и Кочкарев.

Подколесин. А что ж, пойдем и мы.

Кочкарев. Ну что, ведь правда, хозяйка мила?

Подколесин. Да что! мне, признаюсь, она не нравится.

Кочкарев. Вот на! это что? Да ведь ты сам согласился, что она хороша.

Подколесин. Да ак, как-то не того: и нос длинный, и по-французски не знает.

Кочкарев. Это еще что? тебе на что по-французски?

Подколесин. Ну, все-таки невеста должна знать по-французски.

Кочкарев. Почему ж?

Подколесин. Да потому что... уж я не знаю почему, а все уж будет у ней не то.

Кочкарев. Ну вот, дурак сейчас один сказал, а он и уши развесил. Она красавица, просто красавица; такой девицы не сыщешь нигде.

Подколесин. Да мне самому сначала она было приглянулась, да после, как начали говорить: длинный нос, длинный нос, — ну, я рассмотрел, и вижу сам, что длинный нос.

Кочкарев. Эх ты, пирей, не нашел дверей! Они нарочно толкуют, чтобы тебя отвадить; и я тоже не хвалил, — так уж делается. Это, брат, такая девица! Ты рассмотри только глаза ее: ведь это черт знает что за глаза; говорят, дышат! А нос — я не знаю, что за нос! белизна — алебастр! Да и алебастр не всякий сравнится. Ты рассмотри сам хорошенько.

Подколесин *(улыбаясь)*. Да теперь-то я опять вижу, что она как будто хороша.

Кочкарев. Разумеется, хороша! Послушай, теперь, так как они все ушли, пойдем к ней, изъяснимся — и всё кончим!

Подколесин. Ну, этого я не сделаю.

Кочкарев. Отчего ж?

Подколесин. Да что ж за нахальство? Нас много, пусть она сама выберет.

Кочкарев. Ну да что тебе смотреть на них: боишься соперничества, что ли? Хочешь, я их всех в одну минуту спроважу.

Подколесин. Да как же ты их спровадишь?

Кочкарев. Ну, уж это мое дело. Дай мне только слово, что потом не будешь отнекиваться.

Подколесин. Почему ж не дать? изволь. Я не отпираюсь: я хочу жениться.

Кочкарев. Руку!

Подколесин *(подавая).* Возьми!

Кочкарев. Ну, этого только мне и нужно.

Оба уходят.

Действие второе

Комната в доме Агафьи Тихоновны.

Явление I

Агафья Тихоновна одна, потом Кочкарев.

Агафья Тихоновна. Право, такое затруднение — выбор! Если бы еще один, два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович недурен, хотя, конечно, худощав; Иван Кузьмич тоже недурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже хоть и толст, а ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарович опять мужчина с достоинствами. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно! Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай! просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем на волю Божию: кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да и пусть будет что будет. *(Подходит к столику, вынимает оттуда ножницы и бумагу, нарезывает билетики и скатывает, продолжая говорить.)* Такое несчастное положение девицы, особливо еще влюбленной. Из мужчин никто не войдет в это, и даже просто не хотят понять этого. Вот они все, уж готовы! остается только положить их в ридикуль, зажмурить глаза, да и пусть будет что будет. *(Кладет билетики в ридикуль и мешает их рукою.)* Страшно... Ах, если бы Бог дал, чтобы вынулся Никанор Иванович. Нет, отчего же он? Лучше ж Иван Кузьмич. Отчего же Иван Кузьмич? чем же худы те, другие?.. Нет, нет, не хочу... какой выберется, такой пусть и будет. *(Шарит рукою в ридикуле и вынимает вместо одного все.)* Ух! все! все вынулись! А сердце так и колотится! Нет, одного! одного! непременно одного! *(Кладет билетики в ридикуль и мешает.)*

В это время входит потихоньку Кочкарев и становится позади.

Ах, если бы вынуть Балтазара... Что я! хотела сказать Никанора Ивановича... нет, не хочу, не хочу. Кого прикажет судьба!

Кочкарев. Да возьмите Ивана Кузьмича, всех лучше.

Агафья Тихоновна. Ах! *(Вскрикивает и закрывает лицо обеими руками, страшась взглянуть назад.)*

Кочкарев. Да чего ж вы испугались? Не пугайтесь, это я. Право, возьмите Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Ах, мне стыдно, вы подслушали.

Кочкарев. Ничего, ничего! Ведь я свой, родня, передо мною нечего стыдиться; откройте же ваше личико.

Агафья Тихоновна *(вполовину открывая лицо)*. Мне, право, стыдно.

Кочкарев. Ну, возьмите же Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Ах! *(Вскрикивает и закрывается вновь руками.)*

Кочкарев. Право, чудо человек, усовершенствовал часть свою... просто удивительный человек.

Агафья Тихоновна *(понемногу открывает лицо)*. Как же, а другой? а Никанор Иванович? ведь он тоже хороший человек.

Кочкарев. Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Отчего же?

Кочкарев. Ясно отчего. Иван Кузьмич человек... ну, просто человек... человек, каких не сыщешь.

Агафья Тихоновна. Ну, а Иван Павлович?

Кочкарев. И Иван Павлович дрянь! все они дрянь.

Агафья Тихоновна. Будто бы уж все?

Кочкарев. Да вы только посудите, сравните только: это, как бы то ни было, Иван Кузьмич; а ведьто что ни попало: Иван Павлович, Никанор Иванович, черт знает что такое!

Агафья Тихоновна. А ведь, право, они очень... скромные.

Кочкарев. Какое скромные! Драчуны, самый буйный народ. Охота же вам быть прибитой на другой день после свадьбы.

Агафья Тихоновна. Ах, Боже мой! Уж это точно такое несчастие, хуже которого не может быть.

Кочкарев. Еще бы! Хуже этого и не выдумаешь ничего.

Агафья Тихоновна. Так, по вашему совету, лучше взять Ивана Кузьмича?

Кочкарев. Ивана Кузьмича, натурально Ивана Кузьмича. *(В сторону.)* Дело, кажется, идет на лад. Подколесин сидит в кондитерской, пойти поскорей за ним.

Агафья Тихоновна. Так вы думаете — Ивана Кузьмича?

Кочкарев. Непременно Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. А тем, другим, разве отказать?

Кочкарев. Конечно, отказать.

Агафья Тихоновна. Да ведь как же это сделать? как-то стыдно.

Кочкарев. Почему ж стыдно? Скажите, что еще молоды и не хотите замуж.

Агафья Тихоновна. Да ведь они не поверят, станут спрашивать: да почему, да как?

Кочкарев. Ну, так если вы хотите кончить за одним разом, скажите просто: «Пошли вон, дураки!»

Агафья Тихоновна. Как же можно так сказать?

Кочкарев. Ну да уж попробуйте. Я вас уверяю, что после этого все выбегут вон.

Агафья Тихоновна. Да ведь это выйдет уж как-то бранно.

Кочкарев. Да ведь вы больше их не увидите, так не все ли равно?

Агафья Тихоновна. Да все как-то нехорошо... они ведь рассердятся.

Кочкарев. Какая же беда, если рассердятся? Если бы из этого что бы нибудь вышло, тогда другое дело; а ведь здесь самое большее, если кто-нибудь из них плюнет в глаза, вот и все.

Агафья Тихоновна. Ну вот видите!

Кочкарев. Да что же за беда? Ведь иным плевали несколько раз, ей-Богу! Я знаю тоже одного: прекраснейший собой мужчина, румянец во всю щеку; до тех пор егозил и надоедал своему начальнику о прибавке жалованья, что тот наконец не вынес — плюнул в самое лицо, ей-Богу! «Вот тебе, говорит, твоя прибавка, отвяжись, сатана!» А жалованья, однако же, все-таки прибавил. Так что ж из того, что плюнет? Если бы, другое дело, был далеко платок, а то ведь он тут же, в кармане, — взял да и вытер.

В сенях звонят.

Стучатся: кто-нибудь из них, верно; я бы не хотел теперь с ними встретиться. Нет ли у вас там другого выхода?

Агафья Тихоновна. Как же, по черной лестнице. Но, право, я вся дрожу.

Кочкарев. Ничего, только присутствие духа. Прощайте! *(В сторону.)* Поскорей приведу Подколесина.

Явление II

Агафья Тихоновна и Яичница.

Яичница. Я нарочно, сударыня, пришел немного пораньше, чтобы поговорить с вами наедине, на досуге. Ну, сударыня, насчет чина, я уже полагаю, вам известно: служу коллежским асессором, любим начальниками, подчиненные слушаются... недостает только одного: подруги жизни.

Агафья Тихоновна. Да-с.

Яичница. Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга эта — вы. Скажите напрямик: да или нет? *(Смотрит ей в плеча; в сторону.)* О, она не то, что как бывают худенькие немки, — кое-что есть!

Агафья Тихоновна. Я еще очень молода-с... не расположена еще замуж.

Яичница. Помилуйте, а сваха зачем хлопочет? Но, может быть, вы хотите что-нибудь другое сказать? изъяснитесь...

Слышен колокольчик.

Черт побери, никак не дадут делом заняться.

Явление III

Те же и Жевакин.

Жевакин. Извините, сударыня, что я, может быть, слишком рано. *(Оборачивается и видит Яичницу.)* Ах, уж есть... Ивану Павловичу мое почтение!

Яичница *(в сторону)*. Провалился бы ты с своим почтением! *(Вслух.)* Так как же, сударыня?.. Скажите одно только слово: да или нет?..

Слышен колокольчик; Яичница плюет с сердцов.

Опять колокольчик!

Явление IV

Те же и Анучкин.

Анучкин. Может быть, я, сударыня, ранее, чем следует и повелевает долг приличия... *(Видя прочих, испускает восклицание и раскланивается.)* Мое почтение!

Яичница *(в сторону)*. Возьми себе свое почтение! Нелегкая тебя принесла, подломились бы тебе твои поджарые ноги! *(Вслух.)* Так как же, сударыня, решите, — я человек должностной, времени у меня немного: да или нет?

Агафья Тихоновна *(в смущении)*. Не нужно-с... не нуж-но-с... *(В сторону.)* Ничего не понимаю, что говорю.

Яичница. Как не нужно? в каком отношении не нужно?

Агафья Тихоновна. Ничего-с, ничего... Я не того-с... *(Собираясь с духом.)* Пошли вон!.. *(В сторону, всплеснувши руками.)* Ах, Боже мой, что я такое сказала?

Яичница. Как «пошли вон»? Что такое значит «пошли вон»? Позвольте узнать, что вы разумеете под этим? *(Подбоченившись, подступает к ней грозно.)*

Агафья Тихоновна *(взглянув ему в лицо, вскрикивает)*. Ух, прибьет, прибьет! *(Убегает.)*

Яичница стоит разинувши рот. Вбегает на крик Арина Пантелеймоновна и, взглянув ему в лицо, вскрикивает тоже: «Ух, прибьет!» — и убегает.

Яичница. Что за притча такая! Вот, право, история!

В дверях звенит звонок и слышны голоса.

Голос Кочкарева. Да входи, входи, что ж ты остановился?

Голос Подколесина. Да ступай ты вперед. Я только на минуту: оправлюсь, расстегнулась стремешка.

Голос Кочкарева. Да ты улизнешь опять.

Голос Подколесина. Нет, не улизну! ей-Богу, не улизну!

Явление V

Те же и Кочкарев.

Кочкарев. Ну вот, очень нужно поправлять стремешку.

Яичница *(обращаясь к нему)*. Скажите, пожалуйста, невеста дура, что ли?

Кочкарев. А что? случилось разве что?

Яичница. Да непонятные поступки: выбежала, стала кричать: «Прибьет, прибьет!» Черт знает что такое!

Кочкарев. Ну да, это за ней водится. Она дура.

Яичница. Скажите, ведь вы ей родственник?

Кочкарев. Как же, родственник.

Яичница. А как родственник, позвольте узнать?

Кочкарев. Право, не знаю: как-то тетка моей матери что-то такое ее отцу или отец ее что-то такое моей тетке — об этом знает жена моя, это их дело.

Яичница. И давно за ней водится дурь?

Кочкарев. А еще с самого сызмала.

Яичница. Да, конечно, лучше если бы она была умней, а впрочем, и дура тоже хорошо. Были бы только статьи прибавочные в хорошем порядке.

Кочкарев. Да ведь за ней ничего нет.

Яичница. Как так, а каменный дом?

Кочкарев. Да ведь только слава, что каменный, а знали бы вы, как он выстроен: стены ведь выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь — мусор, щепки, стружки.

Яичница. Что вы?

Кочкарев. Разумеется. Будто не знаете, как теперь строятся домы? — лишь бы только в ломбард заложить.

Яичница. Однако ж ведь дом не заложен.

Кочкарев. А кто вам сказал? Вот в том-то и дело — не только заложен, да за два года еще проценты не выплачены. Да в сенате есть еще брат, который тоже запускает глаза на дом; сутяги такого свет не производил: с родной матери последнюю юбку снял, безбожник!

Яичница. Как же мне старуха сваха... Ах она бестия эдакая, изверг рода челове... *(В сторону.)* Однако ж он, может быть, и врет. Под строжайший допрос старуху, и если только правда... ну... я заставлю запеть ее не так, как другие поют.

Анучкин. Позвольте вас побеспокоить тоже вопросом. Признаюсь, не зная французского языка, чрезвычайно трудно судить самому, знает ли женщина по-французски, или нет. Как хозяйка дома, знает?..

Кочкарев. Ни бельмеса.

Анучкин. Что вы?

Кочкарев. Как же? я это очень хорошо знаю. Она училась вместе с женой в пансионе, известная была ленивица, вечно в дурацкой шапке сидит. А французский учитель просто бил ее палкой.

Анучкин. Представьте же, что у меня с первого разу, как только ее увидел, было какое-то предчувствие, что она не знает по-французски.

Яичница. Ну, черт с французским! Но как сваха-то проклятая... Ах ты, бестия эдакая, ведьма! Ведь если бы вы знали, какими словами она расписала! Живописец, вот совершенный живописец! «Дом, флигеля, говорит, на фундаментах, серебряные ложки, сани», — вот садись, да и катайся! — словом, в романе редко выберется такая страница. Ах ты, подошва ты старая! Попадись только ты мне...

Явление VI

Те же и Фекла.
Все, увидев ее, обращаются к ней с следующими словами:

Яичница. А! вот она! А подойди-ка сюда, старая греховодница! а подойди-ка сюда!

Анучкин. Так-то вы обманули меня, Фекла Ивановна?

Кочкарев. Ну-ка ступай, Варвара, на расправу!

Фекла. И ни слова не разберу: оглушили совсем!

Яичница. Дом строен в один кирпич, старая подошва, а ты наврала: и с мезонинами, и черт знает с чем.

Фекла. А не знаю, не я строила. Может быть, нужно было в один кирпич, оттого так и построили.

Яичница. Да и в ломбард еще заложен! Черти б тебя съели, ведьма ты проклятая! *(Притопывая ногой.)*

Фекла. Смотри ты какой! Еще и бранится. Иной бы благодарить стал за удовольствие, что хлопотала о нем.

Анучкин. Да, Фекла Ивановна, вот вы и мне тоже насказали, что она знает по-французски.

Фекла. Знает, родимый, все знает, и по-немецкому, и повсякому; какие хочешь манеры — всё знает.

Анучкин. Ну нет, кажется, она только по-русски и говорит.

Фекла. Что ж тут худого? Понятливее по-русски, потому и говорит по-русски. А кабы умела по-басурмански, то тебе же хуже — и сам бы не понял ничего. Уж тут нечего толковать про русскую речь! речь звестно какая: все святые говорили по-русски.

Яичница. А подойди-ка сюда, проклятая! подойди-ка ко мне!

Фекла *(пятясь ближе к дверям)*. И не подойду, я знаю тебя. Ты человек тяжелый, ни за что прибьешь.

Яичница. Ну, смотри, голубушка, это не пройдет тебе! Вот я тебя как сведу в полицию, так ты у меня будешь знать, как обманывать честных людей. Вот ты увидишь! А невесте скажи, что она подлец! Слышишь, непременно скажи. *(Уходит.)*

Фекла. Смотри ты какой! расходился как! Что толст, так думает, ему и равного никого нет. А я скажу, что ты сам подлец, вот что!

Анучкин. Признаюсь, любезнейшая, никак не думал я, чтобы вы стали так обманывать. Знай я, что невеста с таким образованием, да я... да и нога бы моя просто не была здесь. Вот как-с. *(Уходит.)*

Фекла. Белены объелись или выпили лишнее! Вишь, переборщики нашлись какие! Свела с ума глупая грамота!

Явление VII

Фекла, Кочкарев, Жевакин.
Кочкарев хохочет во все горло, смотря на Феклу и указывая на нее пальцем.

Фекла *(с досадою)*. Ты что горло дерешь?

Кочкарев продолжает хохотать.

Эк как разобрало его!

Кочкарев. Сваха-то! сваха-то! Мастерица женить! знает, как повести дело! *(Продолжает хохотать.)*

Фекла. Эк его заливается! Знать, покойница свихнула с ума в тот час, как тебя рожала! *(Уходит с досадою.)*

Явление VIII

Кочкарев, Жевакин.

Кочкарев *(продолжая хохотать).* Ох, не могу, право не могу! Силы не выдержат, чувствую, что тресну от смеха! *(Продолжает хохотать.)*

Жевакин, глядя на него, начинает тоже смеяться.

(В усталости валится на стул.) Ох, право, выбился из сил. Чувствую, что если засмеюсь еще, порву последние жилы.

Жевакин. Мне нравится веселость вашего нрава. У нас в эскадре капитана Болдырева был мичман Петухов, Антон Иванович; тоже эдак был веселого нрава. Бывало, ему, ничего больше, покажешь эдак один палец — вдруг засмеется, ей-Богу, и до самого вечера смеется. Ну, глядя на него, бывало, и себе сделается смешно, и смотришь, наконец, и сам точно эдак смеешься.

Кочкарев *(переводя дыханье).* Ох, Господи, помилуй нас, грешных! Ну что она вздумала, дура? Ну, куда ж ей женить, ей ли женить? Вот я женю так женю!

Жевакин. Нет? так вы можете не в шутку женить?

Кочкарев. Еще бы! кого угодно на ком угодно.

Жевакин. Если так, жените меня на здешней хозяйке.

Кочкарев. Вас? да зачем вам жениться?

Жевакин. Как зачем? вот, позвольте заметить, странный немножко вопрос! А известное дело зачем.

Кочкарев. Да ведь вы слышали, у ней приданого ничего нет.

Жевакин. На нет и суда нет. Конечно, это дурно, а впрочем, с эдакою прелюбезною девицею, с ее обхожденьями, можно прожить и без приданого. Небольшая комнатка *(размеривает примерно руками),* эдак здесь маленькая прихожая, небольшая ширмочка или какая-нибудь вроде эдакой перегородки...

Кочкарев. Да что вам в ней так понравилось?

Жевакин. А сказать правду — мне понравилась она потому, что полная женщина. Я большой аматёр со стороны женской полноты.

Кочкарев *(поглядывая на него искоса, говорит в сторону).* А ведь сам уж куды не пощеголяет; точно кисет, из которого вытрясли табак. *(Вслух.)* Нет, вам совсем не следует жениться.

Жевакин. Как так?

Кочкарев. Да так. Ну что у вас за фигура, между нами будь сказано? Нога петушья...

Жевакин. Петушья?

Кочкарев. Конечно. Что с вас за вид!

Жевакин. То есть как, однако же, петушья нога?

Кочкарев. Да просто, петушья.

Жевакин. Мне кажется, это, однако ж, касается насчет личности...

Кочкарев. Да ведь я говорю потому, что знаю: вы рассудительный человек; другому я не скажу. Я вас женю, извольте, — только на другой.

Жевакин. Нет уж, я бы просил, чтобы на другой меня не женили. Уж будьте эдак благодетельны, чтобы на этой.

Кочкарев. Извольте, женю! Только с условием: вы не мешайтесь ни во что и не показывайтесь даже на глаза невесте. Я всё сделаю без вас.

Жевакин. Да как, однако же, всё без меня? Все-таки мне хоть на глаза нужно будет показаться.

Кочкарев. Совсем не нужно. Идите домой и ждите; сего же вечера все будет сделано.

Жевакин *(потирает руки)*. А вот это уж куды бы хорошо! Да не нужно ли аттестат, послужной список? Может быть, невеста захочет полюбопытствовать? Я сбегаю за ними в минуту.

Кочкарев. Ничего не нужно, отправляйтесь только домой. Я вам сегодня же дам знать. *(Выпровожает его.)* Да, черта с два, как бы не так! Что ж это? Что же это Подколесин не идет? Это, однако ж, странно. Неужели он до сих пор поправляет свою стремешку? Уж не побежать ли за ним?

Явление IX

Кочкарев, Агафья Тихоновна.

Агафья Тихоновна *(осматриваясь)*. Что, ушли? никого нет?

Кочкарев. Ушли, ушли, никого.

Агафья Тихоновна. Ах, если бы вы знали, как я вся дрожала! Эдакого, точно, еще никогда не бывало со мною. Но только

какой страшный этот Яичница! Какой он должен быть тиран для жены. Мне все так вот и кажется, что он сейчас воротится.

Кочкарев. О, ни за что не воротится. Я ставлю голову, если который-нибудь из них двух покажет нос свой здесь.

Агафья Тихоновна. А третий?

Кочкарев. Какой третий?

Жевакин *(высовывает голову в двери)*. Смерть хочется знать, как она будет изъясняться обо мне своим ротиком… розанчик эдакой!

Агафья Тихоновна. А Балтазар Балтазарович?

Жевакин. А, вот оно! вот оно! *(Потирает руки.)*

Кочкарев. Фу ты пропасть! Я думал, о ком вы говорите. Да ведь это просто черт знает что, набитый дурак.

Жевакин. Это что такое? Уж этого я, признаюсь, никак не понимаю.

Агафья Тихоновна. А он, однако же, на вид показался очень хорошим человеком.

Кочкарев. Пьяница!

Жевакин. Ей-Богу, не понимаю.

Агафья Тихоновна. Неужели и пьяница еще?

Кочкарев. Помилуйте, отъявленный мерзавец!

Жевакин *(громко)*. Нет, позвольте, уж этого я никак не просил вас говорить. Что-нибудь замолвить в мой профит, похвалить — другое дело; а чтобы эдаким образом, эдакими словами — уж извольте разве кого-нибудь другого, а уж я слуга покорный!

Кочкарев *(в сторону)*. Как это угораздило его подвернуться? *(Агафье Тихоновне, вполголоса.)* Смотрите, смотрите: на ногах не держится. Эдакое мыслёте он всякий день пишет. Прогоните его, да и концы в воду! *(В сторону.)* А Подколесина нет как нет. Экой мерзавец! Уж я ж вымещу на нем! *(Уходит.)*

Явление X

Агафья Тихоновна и Жевакин.

Жевакин *(в сторону)*. Обещался хвалить, а вместо того выбранил! Престранный человек! *(Вслух.)* Вы, сударыня, не верьте…

Агафья Тихоновна. Извините, мне нездоровится... болит-с голова. *(Хочет уйти.)*

Жевакин. Но, может быть, вам что-нибудь во мне не нравится? *(Указывая на голову.)* Вы не глядите на то, что у меня здесь маленькая плешина. Это ничего, это от лихорадки; волоса сейчас вырастут.

Агафья Тихоновна. Мне все равно-с, что бы у вас там ни было.

Жевакин. У меня, сударыня... если надену черный фрак, так цвет лица будет побелее.

Агафья Тихоновна. Для вас лучше. Прощайте! *(Уходит.)*

Явление XI

Жевакин один, говорит вслед ей.

Сударыня, позвольте, скажите причину: зачем? почему? Или во мне какой-либо существенный есть изъян, что ли?.. Ушла! Престранный случай! Вот уж никак в семнадцатый раз случается со мною, и всё почти одинаким образом: кажется, эдак сначала все хорошо, а как дойдет дело до развязки — смотришь, и откажут. *(Ходит по комнате в размышлении.)* Да... Вот эта уж будет никак семнадцатая невеста! И чего же ей, однако ж, хочется? Чего бы ей, например, эдак... с какой стати... *(Подумав.)* Темно, чрезвычайно темно! Добро бы был нехорош чем. *(Осматривается.)* Кажется, нельзя сказать этого — всё слава Богу, натура не обидела. Непонятно. Разве не пойти ли домой да порыться в сундучке? Там у меня были стишки, против которых точно ни одна не устоит... Ей-Богу, уму непонятно! Сначала, кажись, повезло... Видно, приходится поворотить назад оглобли. А жаль, право жаль. *(Уходит.)*

Явление XII

Подколесин и Кочкарев входят и оба оглядываются назад.

Кочкарев. Он не заметил нас! Видел, с каким длинным носом вышел?

Подколесин. Неужели и ему так же отказано, как и тем?

Кочкарев. Наотрез.

Подколесин *(с самодовольною улыбкой).* А преконфузно, однако же, должно быть, если откажут.

Кочкарев. Еще бы!

Подколесин. Я все еще не верю, чтобы она прямо сказала, будто предпочитает меня всем.

Кочкарев. Какое предпочитает! Она от тебя просто без памяти. Такая любовь: одних имен каких надавала. Такая страсть — так просто и кипит!

Подколесин *(самодовольно усмехается.)* А ведь в самом деле — женщина, если захочет, каких слов не наскажет. Век бы не выдумал: мордашечка, таракашечка, чернушка...

Кочкарев. Что еще эти слова! Вот как женишься, так ты увидишь в первые два месяца, какие пойдут слова. Просто, брат, ну вот так и таешь.

Подколесин *(усмехается).* Будто?

Кочкарев. Как честный человек! Послушай, теперь, однако ж, скорее к делу. Изъясни ей и открой сию же минуту сердце и требуй руки.

Подколесин. Но как же сию минуту? что ты!

Кочкарев. Непременно сию же минуту... А вот и она сама.

Явление XIII

Те же и Агафья Тихоновна.

Кочкарев. Я привел к вам, сударыня, смертного, которого вы видите. Еще никогда не было так влюбленного — просто не приведи Бог, и неприятелю не пожелаю...

Подколесин *(толкая его под руку, тихо).* Ну, уж ты, брат, кажется, слишком.

Кочкарев *(ему).* Ничего, ничего. *(Ей, тихо.)* Будьте посмелее, он очень смирен; старайтесь быть как можно развязнее. Эдак поворотите как-нибудь бровями или, потупивши глаза, так вдруг и срезать его, злодея, или выставьте ему как-нибудь плечо, и пусть его, мерзавец, смотрит! Напрасно, впрочем, вы не надели платья с короткими рукавами; да, впрочем, и это хорошо. *(Вслух.)* Ну, я оставляю вас в приятном обществе! Я на минуточку

загляну только к вам в столовую и на кухню; нужно распорядиться: сейчас придет официант, которому заказан ужин; может быть, и вина принесены... До свиданья! *(Подколесину.)* Смелее, смелее! *(Уходит.)*

Явление XIV

Подколесин и Агафья Тихоновна.

Агафья Тихоновна. Прошу покорнейше садиться.

Садятся и молчат.

Подколесин. Вы, сударыня, любите кататься?

Агафья Тихоновна. Как-с кататься?

Подколесин. На даче очень приятно летом кататься в лодке.

Агафья Тихоновна. Да-с, иногда с знакомыми прогуливаемся.

Подколесин. Какое-то лето будет — неизвестно.

Агафья Тихоновна. А желательно, чтобы было хорошее.

Оба молчат.

Подколесин. Вы, сударыня, какой цветок больше любите?

Агафья Тихоновна. Который покрепче пахнет-с; гвоздику-с.

Подколесин. Дамам очень идут цветы.

Агафья Тихоновна. Да, приятное занятие.

Молчание.

В которой церкви вы были прошлое воскресенье?

Подколесин. В Вознесенской, а неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно, в какой бы ни было церкви. В той только украшение лучше.

Молчат. Подколесин барабанит пальцами по столу.

Вот, скоро будет екатерингофское гулянье.

Агафья Тихоновна. Да, чрез месяц, кажется.

Подколесин. Даже и месяца не будет.

Агафья Тихоновна. Должно быть, веселое будет гулянье.

Подколесин. Сегодня восьмое число. *(Считает по пальцам.)* Девятое, десятое, одиннадцатое... чрез двадцать два дни.

Агафья Тихоновна. Представьте, как скоро!

Подколесин. Я сегодняшнего дни даже не считаю.

Молчание.

Какой это смелый русский народ!

Агафья Тихоновна. Как?

Подколесин. А работники. Стоит на самой верхушке... Я проходил мимо дома, так щекатурщик штукатурит и не боится ничего.

Агафья Тихоновна. Да-с. Так это в каком месте?

Подколесин. А вот по дороге, по которой я хожу всякий день в департамент. Я ведь каждое утро хожу в должность.

Молчание. Подколесин опять начинает барабанить пальцами, наконец берется за шляпу и раскланивается.

Агафья Тихоновна. А вы уж хотите...

Подколесин. Да-с. Извините, что, может быть, наскучил вам.

Агафья Тихоновна. Как-с можно! Напротив, я должна благодарить за подобное препровождение времени.

Подколесин *(улыбаясь)*. А мне так, право, кажется, что я наскучил.

Агафья Тихоновна. Ах, право, нет.

Подколесин. Ну, так если нет, так позвольте мне и в другое время, вечерком когда-нибудь...

Агафья Тихоновна. Очень приятно-с.

Раскланиваются. Подколесин уходит.

Явление XV

Агафья Тихоновна одна.

Какой достойный человек! Я теперь только узнала его хорошенько; право, нельзя не полюбить: и скромный, и рассудительный. Да, приятель его давича справедливо сказал; жаль только,

что он так скоро ушел, а я бы еще хотела его послушать. Как приятно с ним говорить! И ведь, главное, то хорошо, что совсем не пустословит. Я было хотела ему тоже словца два сказать, да, признаюсь, оробела, сердце так стало биться... Какой превосходный человек! Пойду расскажу тетушке. *(Уходит.)*

Явление XVI

Подколесин и Кочкарев входят.

Кочкарев. Да зачем домой? Вздор какой! Зачем домой?

Подколесин. Да зачем же мне оставаться здесь? Ведь я все уже сказал, что следует.

Кочкарев. Стало быть, сердце ей ты уж открыл?

Подколесин. Да вот только разве что сердца еще не открыл.

Кочкарев. Вот те история! Зачем же не открыл?

Подколесин. Ну, да как же ты хочешь, не поговоря прежде ни о чем, вдруг сказать с боку припеку: «Сударыня, дайте я на вас женюсь!»

Кочкарев. Ну да о чем же вы, о каком вздоре толковали битых полчаса?

Подколесин. Ну, мы переговорили обо всем, и, признаюсь, я очень доволен; с большим удовольствием провел время.

Кочкарев. Да послушай, посуди ты сам: когда же все это успеем? Ведь через час нужно ехать в церковь, под венец.

Подколесин. Что ты, с ума сошел? Сегодня под венец!

Кочкарев. Почему ж нет?

Подколесин. Сегодня под венец!

Кочкарев. Да ведь ты ж сам дал слово, сказал, что как только женихи будут прогнаны — сейчас готов жениться.

Подколесин. Ну, я и теперь не прочь от слова. Только не сейчас же; месяц, по крайней мере, нужно дать роздыху.

Кочкарев. Месяц!

Подколесин. Да, конечно.

Кочкарев. Да ты с ума сошел, что ли?

Подколесин. Да меньше месяца нельзя.

Кочкарев. Да ведь я официанту заказал ужин, бревно ты! Ну, послушай, Иван Кузьмич, не упрямься, душенька, женись теперь.

Подколесин. Помилуй, брат, что ты говоришь? как же теперь?

Кочкарев. Иван Кузьмич, ну я тебя прошу. Если не хочешь для себя, так для меня по крайней мере.

Подколесин. Да, право, нельзя.

Кочкарев. Можно, душа, все можно. Ну, пожалуйста, не капризничай, душенька!

Подколесин. Да, право, нет. Неловко, совсем неловко.

Кочкарев. Да что неловко? кто тебе сказал это? Ты посуди сам; ведь ты человек умный. Я говорю тебе это не с тем, чтобы к тебе подольститься, не потому, что ты экспедитор, а просто говорю из любви... Ну, полно же, душенька, решись, взгляни оком благоразумного человека.

Подколесин. Да если бы было можно, так я бы...

Кочкарев. Иван Кузьмич! Лапушка, милочка! Ну хочешь ли, я стану на колени перед тобой?

Подколесин. Да зачем же?..

Кочкарев *(становясь на колени)*. Ну, вот я и на коленях! Ну, видишь сам, прошу тебя. Век не забуду твоей услуги, не упрямься, душенька!

Подколесин. Ну нельзя, брат, право, нельзя.

Кочкарев *(вставая, в сердцах)*. Свинья!

Подколесин. Пожалуй, бранись себе.

Кочкарев. Глупый человек! Еще никогда не было такого.

Подколесин. Бранись, бранись.

Кочкарев. Я для кого же старался, из чего бился? Все для твоей, дурак, пользы. Ведь что мне? Я сейчас брошу тебя; мне какое дело?

Подколесин. Да кто ж просил тебя хлопотать? Пожалуй, бросай.

Кочкарев. Да ведь ты пропадешь, ведь ты без меня ничего не сделаешь. Не жени тебя, ведь ты век останешься дураком.

Подколесин. Тебе что до того?

Кочкарев. О тебе, деревянная башка, стараюсь.

Подколесин. Я не хочу твоих стараний.

Кочкарев. Ну так ступай же к черту!

Подколесин. Ну и пойду.

Кочкарев. Туда тебе и дорога!

Подколесин. Что ж, и пойду.

Кочкарев. Ступай, ступай, и чтобы ты себе сейчас же переломил ногу. Вот от души посылаю тебе желание, чтобы тебе пьяный извозчик въехал дышлом в самую глотку! Тряпка, а не чиновник! Вот клянусь тебе, что теперь между нами все кончилось, и на глаза мне больше не показывайся!

Подколесин. И не покажусь. *(Уходит.)*

Кочкарев. К дьяволу, к своему старому приятелю! *(Отворяя дверь, кричит ему вслед.)* Дурак!

Явление XVII

Кочкарев, один, ходит в сильном движении взад и вперед.

Ну был ли когда виден на свете подобный человек? Эдакой дурак! Да если уж пошло на правду, то и я хорош. Ну скажите, пожалуйста, вот я на вас всех сошлюсь. Ну не олух ли я, не глуп ли я? Из чего бьюсь, кричу, инда горло пересохло? Скажите, что он мне? родня, что ли? И что я ему такое: нянька, тетка, свекруха, кума, что ли? Из какого же дьявола, из чего, из чего я хлопочу о нем, не даю себе покою, нелегкая прибрала бы его совсем? А просто черт знает из чего! Поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает! Эдакой мерзавец! Какая противная, подлая рожа! Взял бы тебя, глупую животину, да щелчками бы тебя в нос, в уши, в рот, в зубы — во всякое место! *(В сердцах дает несколько щелчков на воздух.)* Ведь вот что досадно: вышел себе — ему и горя мало; с него все это так, как с гуся вода, — вот что нестерпимо! Пойдет к себе на квартиру и будет лежать да покуривать трубку. Экое противное созданье! Бывают противные рожи, но ведь эдакой просто не выдумаешь; не сочинишь хуже этой рожи, ей-Богу, не сочинишь! Так вот нет же, пойду нарочно ворочу его, бездельника! Не дам улизнуть, пойду приведу подлеца! *(Убегает.)*

Явление XVIII

Агафья Тихоновна входит.

Уж так, право, бьется сердце, что изъяснить трудно. Везде, куды ни поворочусь, везде так вот и стоит Иван Кузьмич.

Точно правда, что от судьбы никак нельзя уйти. Давича совершенно хотела было думать о другом, но чем ни займусь — пробовала сматывать нитки, шила ридикуль, — а Иван Кузьмич все так вот и лезет в руку. *(Помолчав.)* И так вот, наконец, ожидает меня перемена состояния! Возьмут меня, поведут в церковь... потом оставят одну с мужчиною — уф! Дрожь так меня и пробирает. Прощай, прежняя моя девичья жизнь! *(Плачет.)* Столько лет провела в спокойствии... Вот жила, жила — а теперь приходится выходить замуж! Одних забот сколько: дети, мальчишки, народ драчливый; а там и девочки пойдут; подрастут — выдавай их замуж. Хорошо еще, если выйдут за хороших, а если за пьяниц или за таких, что готов сегодня же поставить на карточку все, что ни есть на нем! *(Начинает мало-помалу опять рыдать.)* Не удалось и повеселиться мне девическим состоянием, и двадцати семи лет не пробыла в девках... *(Переменяя голос.)* Да что ж Иван Кузьмич так долго мешкается?

Явление XIX

Агафья Тихоновна и Подколесин (выталкивается на сцену из дверей двумя руками Кочкарева).

Подколесин *(запинаясь)*. Я пришел вам, сударыня, изъяснить одно дельце... Только я бы хотел прежде знать, не покажется ли оно вам странным?

Агафья Тихоновна *(потупляя глаза)*. Что же такое?

Подколесин. Нет, сударыня, вы скажите наперед: не покажется ли вам странно?

Агафья Тихоновна *(потупляя глаза)*. Что же такое?

Подколесин. Но признайтесь: верно, вам покажется странным то, что я вам скажу?

Агафья Тихоновна. Помилуйте, как можно, чтобы было странно, — от вас все приятно слышать.

Подколесин. Но этого вы еще никогда не слышали.

Агафья Тихоновна потупляет еще более глаза; в это время входит потихоньку Кочкарев и становится у него за плечами.

Это вот в чем... Но пусть лучше я вам скажу когда-нибудь после.

Агафья Тихоновна. А что же это такое?

Подколесин. А это... Я хотел бы, признаюсь, теперь объявить вам это, да все еще как-то сомневаюсь.

Кочкарев *(про себя, складывая руки)*. Господи Ты Боже мой, что это за человек! Это просто старый бабий башмак, а не человек, насмешка над человеком, сатира на человека!

Агафья Тихоновна. Отчего же вы сомневаетесь?

Подколесин. Да все как-то берет сомнение.

Кочкарев *(вслух)*. Как это глупо, как это глупо! Да вы, сударыня, видите: он просит руки вашей, желает объявить, что он без вас не может жить, существовать. Спрашивает только, согласны ли вы его осчастливить.

Подколесин *(почти испугавшись, толкает его, произнося тихо)*. Помилуй, что ты!

Кочкарев. Так что ж, сударыня! Решаетесь вы сему смертному доставить счастие?

Агафья Тихоновна. Я никак не смею думать, чтобы я могла составить счастие... А впрочем, я согласна.

Кочкарев. Натурально, натурально, так бы давно. Давайте ваши руки!

Подколесин. Сейчас! *(Хочет сказать что-то ему на ухо. Кочкарев показывает ему кулак и хмурит брови; он дает руку.)*

Кочкарев *(соединяя руки)*. Ну, Бог вас благословит! Согласен и одобряю ваш союз. Брак — это есть такое дело... Это не то, что взял извозчика, да и поехал куды-нибудь; это обязанность совершенно другого рода, это обязанность... Теперь вот только мне времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Ты теперь можешь это сделать. Ты теперь должен это сделать.

Агафья Тихоновна потупляет глаза.

Ничего, ничего, сударыня; это так должно, пусть поцелует.

Подколесин. Нет, сударыня, позвольте, теперь уж позвольте. *(Целует ее и берет за руку.)* Какая прекрасная ручка! Отчего это у вас, сударыня, такая прекрасная ручка?.. Да позвольте, сударыня, я хочу, чтобы сей же час было венчанье, непременно сей же час.

Агафья Тихоновна. Как сейчас? Уж это, может быть, очень скоро.

Подколесин. И слышать не хочу! Хочу еще скорее, чтобы сию же минуту было венчанье.

Кочкарев. Браво! хорошо! Благородный человек! Я, признаюсь, всегда ожидал от тебя много в будущем! Вы, сударыня, в самом деле поспешите теперь поскорее одеться: я, сказать правду, послал уже за каретою и напросил гостей. Они все теперь поехали прямо в церковь. Ведь у вас венчальное платье готово, я знаю.

Агафья Тихоновна. Как же, давно готово. Я в минуточку оденусь.

Явление XX

Кочкарев и Подколесин.

Подколесин. Ну, брат, благодарю! Теперь я вижу всю твою услугу. Отец родной для меня не сделал бы того, что ты. Вижу, что ты действовал из дружбы. Спасибо, брат, век буду помнить твою услугу. *(Тронутый.)* Будущей весною навещу непременно могилу твоего отца.

Кочкарев. Ничего, брат, я рад сам. Ну, подойди, я тебя поцелую. *(Целует его в одну щеку, а потом в другую.)* Дай Бог, чтоб ты прожил благополучно *(целуются)*, в довольстве и достатке; детей бы нажили кучу...

Подколесин. Благодарю, брат. Именно наконец теперь только я узнал, что такое жизнь. Теперь предо мною открылся совершенно новый мир, теперь я вот вижу, что все это движется, живет, чувствует, эдак как-то испаряется, как-то эдак, не знаешь даже сам, что делается. А прежде я ничего этого не видел, не понимал, то есть просто был лишенный всякого сведения человек, не рассуждал, не углублялся и жил вот, как и всякий другой человек живет.

Кочкарев. Рад, рад! Теперь я пойду посмотрю только, как убрали стол; в минуту ворочусь. *(В сторону.)* А шляпу все лучше на всякий случай припрятать. *(Берет и уносит шляпу с собою.)*

Явление XXI

Подколесин один.

В самом деле, что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Не понимал, ничего не понимал. Ну, каков был мой

холостой век? Что я значил, что я делал? Жил, жил, служил, ходил в департамент, обедал, спал, — словом, был в свете самый препустой и обыкновенный человек. Только теперь видишь, как глупы все, которые не женятся; а ведь если рассмотреть — какое множество людей находится в такой слепоте. Если бы я был где-нибудь государь, я бы дал повеление жениться всем, решительно всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека!.. Право, как подумаешь: чрез несколько минут — и уже будешь женат. Вдруг вкусишь блаженство, какое, точно, бывает только разве в сказках, которого просто даже не выразишь, да и слов не найдешь, чтобы выразить. *(После некоторого молчанья.)* Однако ж что ни говори, а как-то даже делается страшно, как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя, и уж после ни отговорки, ни раскаянья, ничего, ничего — все кончено, все сделано. Уж вот даже и теперь назад никак нельзя попятиться: чрез минуту и под венец; уйти даже нельзя — там уж и карета, и все стоит в готовности. А будто в самом деле нельзя уйти? Как же, натурально нельзя: там в дверях и везде стоят люди; ну, спросят: зачем? Нельзя, нет. А вот окно открыто; что, если бы в окно? Нет, нельзя; как же, и неприлично, да и высоко. *(Подходит к окну.)* Ну, еще не так высоко: только один фундамент, да и тот низенький. Ну нет, как же, со мной даже нет картуза. Как же без шляпы? неловко. А неужто, однако же, нельзя без шляпы? А что, если бы попробовать, а? Попробовать, что ли? *(Становится на окно и, сказавши: «Господи, благослови», — соскакивает на улицу; за сценой кряхтит и охает.)* Ох! однако ж высоко! Эй, извозчик!

Голос извозчика. Подавать, что ли?

Голос Подколесина. На Канавку, возле Семеновского мосту.

Голос извозчика. Да гривенник, без лишнего.

Голос Подколесина. Давай! пошел!

Слышен стук отъезжающих дрожек.

Явление XXII

Агафья Тихоновна входит в венчальном платье, робко и потупив голову.

И сама не знаю, что со мною такое! Опять сделалось стыдно, и я вся дрожу. Ах! если бы его хоть на минутку на эту пору не было в комнате, если бы он за чем-нибудь вышел! *(С робостью оглядывается.)* Да где ж это он? Никого нет. Куда же он вышел? *(Отворяет дверь в прихожую и говорит туда.)* Фекла, куда ушел Иван Кузьмич?

Голос Феклы. Да он там.

Агафья Тихоновна. Да где же там?

Фекла *(входя)*. Да ведь он тут сидел, в комнате.

Агафья Тихоновна. Да ведь нет его, ты видишь.

Фекла. Ну да уж из комнаты он тоже не выходил, я сидела в прихожей.

Агафья Тихоновна. Да где же он?

Фекла. Я уж не знаю где; не вышел ли на другой выход, по черной лесенке, или не сидит ли в комнате Арины Пантелеймоновны?

Агафья Тихоновна. Тетушка! тетушка!

Явление XXIII

Те же и Арина Пантелеймоновна.

Арина Пантелеймоновна *(разодетая)*. А что такое?

Агафья Тихоновна. Иван Кузьмич у вас?

Арина Пантелеймоновна. Нет, он тут должен быть; ко мне не заходил.

Фекла. Ну, так и в прихожей тоже не был, ведь я сидела.

Агафья Тихоновна. Ну, так и здесь же нет его, вы видите.

Явление XXIV

Те же и Кочкарев.

Кочкарев. А что такое?

Агафья Тихоновна. Да Ивана Кузьмич нет.

Кочкарев. Как нет? ушел?

Агафья Тихоновна. Нет, и не ушел даже.

Кочкарев. Как же — и нет, и не ушел?

Фекла. Уж куды бы мог он деваться, я и ума не приложу. В передней я все сидела и не сходила с места.

Арина Пантелеймоновна. Ну, уж по черной лестнице никак не мог пройти.

Кочкарев. Как же, черт возьми? Ведь пропасть тоже, не выходя из комнаты, никак он не мог. Разве не спрятался ли?.. Иван Кузьмич! где ты? не дурачься, полно, выходи скорее! Ну что за шутки такие? в церковь давно пора! *(Заглядывает за шкаф, искоса запускает даже глаз под стулья.)* Непонятно! Но нет, он не мог уйти, никаким образом не мог. Да он здесь; в той комнате и шляпа, я ее нарочно положил туда.

Арина Пантелеймоновна. Уж разве спросить девчонку? Она стояла все на улице, не знает ли она как-нибудь... Дуняшка! Дуняшка!..

Явление XXV

Те же и Дуняшка.

Арина Пантелеймоновна. Где Иван Кузьмич, ты не видала?

Дуняшка. Да оне-с выпрыгнули в окошко.

Агафья Тихоновна вскрикивает, всплеснувши руками.

Все трое. В окошко?

Дуняшка. Да-с, а потом, как выскочили, взяли извозчика и уехали.

Арина Пантелеймоновна. Да ты вправду говоришь?

Кочкарев. Врешь, не может быть!

Дуняшка. Ей-Богу, выскочили! Вот и купец в мелочной лавочке видел. Порядили за гривенника извозчика и уехали.

Арина Пантелеймоновна *(подступая к Кочкареву)*. Что ж вы, батюшка, в издевку-то разве, что ли? посмеяться разве над нами задумали? на позор разве мы достались вам, что ли? Да я шестой десяток живу, а такого сраму еще не наживала. Да я за то, батюшка, вам плюну в лицо, коли вы честный человек. Да вы после этого подлец, коли вы честный человек. Осрамить

перед всем миром девушку! Я — мужичка, да не сделаю этого. А еще и дворянин! Видно, только на пакости да на мошенничества у вас хватает дворянства! *(Уходит в сердцах и уводит невесту.)*

Кочкарев стоит как ошеломленный.

Фекла. Что? А вот он тот, что знает повести дело! без свахи умеет заварить свадьбу! Да у меня пусть такие и эдакие женихи, общипанные и всякие, да уж таких, чтобы прыгали в окна, — таких нет, прошу простить.

Кочкарев. Это вздор, это не так, я побегу к нему, я возвращу его! *(Уходит.)*

Фекла. Да, поди ты, вороти! Дела-то свадебного не знаешь, что ли? Еще если бы в двери выбежал — ино дело, а уж коли жених да шмыгнул в окно — уж тут просто мое почтение!

Драматические отрывки и отдельные сцены

с 1832 по 1837 год



Игроки

Дела давно минувших дней.

Комната в городском трактире.

Явление I

Ихарев входит в сопровождении трактирного слуги Алексея и своего собственного, Гаврюшки.

Алексей. Пожалуйте-с, пожалуйте! Вот-с покойчик! уж самый покойный, и шуму нет вовсе.

Ихарев. Шума нет, да, чай, конного войска вдоволь, скакунов?

Алексей. То есть изволите говорить насчет блох? Уж будьте покойны. Если блоха или клоп укусит, уж это наша ответственность: уж с тем стоим.

Ихарев *(Гаврюшке)*. Ступай выносить из коляски.

Гаврюшка уходит.

(Алексею.) Тебя как зовут?

Алексей. Алексей-с.

Ихарев. Ну, послушай *(значительно)*, рассказывай, кто у вас живет?

Алексей. Да живут теперь много; все номера почти заняты.

Ихарев. Кто же именно?

Алексей. Швохнев Петр Петрович, Кругель полковник, Степан Иванович Утешительный.

Ихарев. Играют?

Алексей. Да вот уж шесть ночей сряду играют.

Ихарев. Пара целковиков! *(Сует ему в руку.)*

Алексей *(кланяясь)*. Покорнейше благодарю.

Ихарев. После еще будет.

Алексей. Покорнейше-с благодарю.

Ихарев. Между собой играют?

Алексей. Нет, недавно обыграли поручика Артуновского, у князя Шенькина выиграли тридцать шесть тысяч.

Ихарев. Вот тебе еще красная бумажка! А если послужишь честно, еще получишь. Признайся, карты ты покупал?

А л е к с е й. Нет-с, они сами брали вместе.

И х а р е в. Да у кого?

А л е к с е й. Да у здешнего купца Вахрамейкина.

И х а р е в. Врешь, врешь, плут!

А л е к с е й. Ей-Богу.

И х а р е в. Хорошо. Мы с тобой потолкуем ужо.

Гаврюшка вносит шкатулку.

Ставь ее здесь. Теперь ступайте приготовьте мне умыться и побриться.

Слуги уходят.

Явление II

Ихарев один, отпирает шкатулку, всю наполненную карточными колодами.

Каков вид, а? Каждая дюжина золотая. По́том, трудом досталась всякая. Легко сказать, до сих пор рябит в глазах проклятый крап. Но ведь зато, ведь это тот же капитал. Детям можно оставить в наследство! Вот она, заповедная колодишка — просто перл! За то ж ей и имя дано, да: Аделаида Ивановна. Послужика ты мне, душенька, так, как послужила сестрица твоя, выиграй мне также восемьдесят тысяч, так я тебе, приехавши в деревню, мраморный памятник поставлю. В Москве закажу. *(Услышав шум, поспешно закрывает шкатулку.)*

Явление III

Алексей и Гаврюшка несут лоханку, рукомойник и полотенце.

И х а р е в. Что, эти господа где теперь? Дома?

А л е к с е й. Да-с, они теперь в общей зале.

И х а р е в. Пойду взглянуть на них, что за народ. *(Уходит.)*

Явление IV

Алексей и Гаврюшка.

А л е к с е й. Что, издалека едете?

Г а в р ю ш к а. А из Рязани.

А л е к с е й. А сами тамошней губернии?

Гаврюшка. Нет, сами из Смоленской.

Алексей. Так-с. Так поместье-то, выходит, в Смоленской губернии?

Гаврюшка. Нет, не в Смоленской. В Смоленской сто душ да в Калужской восемьдесят.

Алексей. Понимаю, в двух, то есть, губерниях.

Гаврюшка. Да, в двух губерниях. У нас одной дворни: Игнатий буфетчик, Павлушка, который прежде с барином ездил, Герасим лакей, Иван — тоже опять лакей, Иван псарь, Иван опять, музыкант, потом повар Григорий, повар Семен, Варух садовник, Дементий кучер. Вот как у нас.

Явление V

Те же, Кругель, Швохнев (осторожно входя).

Кругель. Право, я боюсь, чтоб он нас не застал здесь.

Швохнев. Ничего, Степан Иванович его удержит. *(Алексею.)* Ступай, брат, тебя зовут!

Алексей уходит. Швохнев, подходя поспешно к Гаврюшке.

Откуда барин?

Гаврюшка. Да теперь из Рязани.

Швохнев. Помещик?

Гаврюшка. Помещик.

Швохнев. Играет?

Гаврюшка. Играет.

Швохнев. Вот тебе красуля. *(Дает ему бумажку.)* Рассказывай все!

Гаврюшка. Да вы не скажете барину?

Оба. Ни-ни, не бойся!

Швохнев. Что, как он теперь, в выигрыше? а?

Гаврюшка. Да вы полковника Чеботарева не знаете?

Швохнев. Нет, а что?

Гаврюшка. Недели три тому назад мы его обыграли на восемьдесят тысяч деньгами, да коляску варшавскую, да шкатулку, да ковер, да золотые эполеты одной выжиги дали на шестьсот рублей.

Швохнев *(взглянув на Кругеля значительно).* А? Восемьдесят тысяч!

Кругель покачал головою.

Думаешь, нечисто? Это мы сейчас узнаем. *(Гаврюшке.)* Послушай, когда барин остается дома один, что делает?

Гаврюшка. Да как что делает? Известно, что делает. Он уж барин, так держит себя хорошо: он ничего не делает.

Швохнев. Врешь, чай, карт из рук не выпускает.

Гаврюшка. Не могу знать, я с барином всего две недели. С ним прежде все Павлушка ездил. У нас тоже есть Герасим лакей, опять Иван, лакей, Иван псарь, Иван музыкант, Дементий кучер, да намедни из деревни одного взяли.

Швохнев *(Кругелю)*. Думаешь, шулер?

Кругель. И очень может быть.

Швохнев. А попробовать все-таки попробуем.

Оба убегают.

Явление VI

Гаврюшка один.

Проворные господа! А за бумажку спасибо. Будет Матрене на чепец да пострельчонкам тоже по прянику. Эх, люблю походную жисть! Уж всегда что-нибудь приобретешь: барин пошлет купить чего-нибудь — все уж с рубля гривенничек положишь себе в карман. Как подумаешь, что за житье господам на свете! куда хошь катай! В Смоленске наскучило, поехал в Рязань, не захотел в Рязань — в Казань. В Казань не захотел, валяй под самый Ярослав. Вот только до сих пор не знаю, который из городов будет партикулярней — Рязань или Казань? Казань будет потому партикулярней, что в Казани…

Явление VII

Ихарев, Гаврюшка, потом Алексей.

Ихарев. В них нет ничего особенного, как мне кажется. А впрочем… Эх, хотелось бы мне их обчистить! Господи Боже, как бы хотелось! Как подумаешь, право, сердце бьется. *(Берет щетку, мыло, садится перед зеркалом и начинает бриться.)* Просто рука дрожит, никак не могу бриться.

Входит Алексей.

Алексей. Не прикажете ли чего покушать?

Ихарев. Как же, как же. Принеси закуску на четыре человека. Икры, семги, бутылки четыре вина. Да накорми сейчас его *(указывая на Гаврюшку)*.

Алексей *(Гаврюшке)*. Пожалуйте в кухню, там для вас приготовлено.

Гаврюшка уходит.

Ихарев *(продолжая бриться)*. Послушай! Много они тебе дали?

Алексей. Кто-с?

Ихарев. Ну, да уж не изворачивайся, говори!

Алексей. Да-с, за прислугу пожаловали.

Ихарев. Сколько? пятьдесят рублей?

Алексей. Да-с, пятьдесят рублей дали.

Ихарев. А от меня не пятьдесят, а вон, видишь, на столе лежит сторублевая бумажка, возьми ее. Что боишься? не укусит. От тебя не потребуется больше ничего, как только честности, понимаешь? Карты пусть будут у Вахрамейкина или у другого купца, это не мое дело, а вот тебе в придачу от меня дюжину. *(Дает ему запечатанную дюжину.)* Понимаешь?

Алексей. Да уж как не понять? Извольте положиться, это уж наше дело.

Ихарев. Да карты спрячь хорошенько, чтоб как-нибудь тебя не ощупали или не увидели. *(Кладет щетку и мыло и вытирается полотенцем.)*

Алексей уходит.

Хорошо бы было и очень бы хорошо. А уж как, признаюсь, хочется поддеть их.

Явление VIII

Швохнев, Кругель и Степан Иванович Утешительный входят с поклонами.

Ихарев *(с поклоном к ним навстречу)*. Прошу простить. Комната, как видите, не красна углами: четыре стула всего.

Утешительный. Приветливые ласки хозяина дороже всяких удобств.

Швохнев. Не с комнатой жить, а с добрыми людьми.

Утешительный. Именно правда. Я бы не мог быть без общества. *(Кругелю.)* Помнишь, почтеннейший, как я приехал сюды: один-одинешенек. Вообразите: знакомых никого. Хозяйка — старуха. На лестнице какая-то поломойка, урод естественнейший; вижу, увивается около нее какой-то армейщина, видно натощаках... Словом, скука смертная. Вдруг судьба послала вот его, а потом случай свел с ним... Ну, уж как я был рад! Не могу, не могу часу пробыть без дружеского общества. Все что ни есть на душе готов рассказать каждому.

Кругель. Это, брат, порок твой, а не добродетель. Излишество вредит. Ты, верно, уж не раз был обманут.

Утешительный. Да, обманывался, обманывался и всегда буду обманываться. А все-таки не могу без откровенности.

Кругель. Ну, признаюсь, это для меня непонятно: быть откровенну со всяким. Дружба — это другое дело.

Утешительный. Так, но человек принадлежит обществу.

Кругель. Принадлежит, но не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет, весь!

Швохнев *(Утешительному)*. Не спорь, брат, ты не прав.

Утешительный *(горячась)*. Нет, я докажу. Это обязанность... Это, это, это... это долг! это, это, это...

Швохнев. Ну, зарапортовался! Горяч необыкновенно: еще первые два слова можно понять из того, что он говорит, а уж дальше ничего не поймешь.

Утешительный. Не могу, не могу! Если дело коснется обязанностей или долга, я уж ничего не помню. Я обыкновенно вперед уж объявляю: «Господа, если будет о чем подобном толк, извините, увлекусь, право, увлекусь». Точно хмель какой-то, а желчь так и кипит, так и кипит.

Ихарев *(про себя)*. Ну нет, приятель! Знаем мы тех людей, которые увлекаются и горячатся при слове «обязанность». У тебя, может быть, и кипит желчь, да только не в этом случае. *(Вслух.)*

А что, господа, покамест спор о священных обязанностях, не засесть ли нам в банчик?

В продолжение их разговора приготовлен на столе завтрак.

Утешительный. Извольте; если не в большую игру, почему нет?

Кругель. От невинных удовольствий я никогда не прочь.

Ихарев. А что, ведь в здешнем трактире, чай, есть карты?

Швохнев. О, только прикажите.

Ихарев. Карты!

Алексей хлопочет около карточного стола.

А между тем прошу, господа! *(Указывая рукой на закуску и подходя к ней.)* Балык, кажется, не того, а икра еще так и сяк..

Швохнев *(посылая в рот кусок).* Нет, и балык того.

Кругель *(так же).* И сыр хорош. Икра тоже недурна.

Швохнев *(Кругелю).* Помнишь, какой отличный сыр ели мы недели две тому назад?

Кругель. Нет, никогда в жизни не позабуду я сыра, который ел я у Петра Александровича Александрова.

Утешительный. Да ведь сыр, почтеннейший, когда хорош? Хорош он тогда, когда сверх одного обеда наворотишь другой, — вот где его настоящее значение. Он все равно что добрый квартермистр, говорит: «Добро пожаловать, господа, есть еще место».

Ихарев. Добро пожаловать, господа, карты на столе.

Утешительный *(подходя к карточному столу).* А вот оно, старина, старина! Слышь, Швохнев, карты, а? Сколько лет...

Ихарев *(в сторону).* Да полно тебе корчить!..

Утешительный. Хотите вы держать банчик?

Ихарев. Небольшой — извольте пятьсот рублей. Угодно снять? *(Мечет банк.)*

Начинается игра. Раздаются восклицания:

Швохнев. Четверка, тузик, оба по десяти.

Утешительный. Подай-ка, брат, мне свою колоду; я выберу себе карту на сча́стье нашей губернской предводительши.

Кругель. Позвольте присовокупить девяточку.

Утешительный. Швохнев, подай мел. Приписываю и списываю.

Швохнев. Черт побери, пароле!

Утешительный. И пять рублей мазу!

Кругель. Атанде! Позвольте посмотреть, кажется, еще две тройки должны быть в колоде.

Утешительный *(вскакивает с места, про себя)*. Черт побери, тут что-то не так. Карты другие, это очевидно.

Игра продолжается.

Ихарев *(Кругелю)*. Позвольте узнать: обе идут?

Кругель. Обе.

Ихарев. Не возвышаете?

Кругель. Нет.

Ихарев *(Швохневу)*. А вы что ж? не ставите?

Швохнев. Позвольте мне эту талию переждать. *(Встает со стула, торопливо подходит к Утешительному и говорит скоро.)* Черт возьми, брат! И передергивает, и все что хочешь. Шулер первой степени!

Утешительный *(в волненье)*. Неужли, однако ж, отказаться от восьмидесяти тысяч?

Швохнев. Конечно, нужно отказаться, когда нельзя взять.

Утешительный. Ну, это еще вопрос, а пока с ним объясниться!

Швохнев. Как?

Утешительный. Открыться ему во всем.

Швохнев. Для чего?

Утешительный. После скажу. Пойдем.

Подходят оба к Ихареву и ударяют его с обеих сторон по плечу.

Да полно вам тратить попусту заряды!

Ихарев *(вздрогнув)*. Как?

Утешительный. Да что тут толковать, свой своего разве не узнал?

Ихарев *(учтиво)*. Позвольте узнать, в каком смысле я должен разуметь?..

Утешительный. Да просто, без дальнейших слов и церемоний. Мы видели ваше искусство и, поверьте, умеем отдавать

справедливость достоинству. И потому от лица наших товарищей предлагаю вам дружеский союз. Соединя наши познания и капиталы, мы можем действовать несравненно успешней, чем порознь.

Ихарев. В какой степени я должен понимать справедливость слов ваших?..

Утешительный. Да вот в какой степени: за искренность мы платим искренностью. Мы признаемся тут же вам откровенно, что сговорились обыграть вас, потому что приняли вас за человека обыкновенного. Но теперь видим, что вам знакомы высшие тайны. Итак, хотите ли принять нашу дружбу?

Ихарев. От такого радушного предложения не могу отказаться.

Утешительный. Итак, подадимте же, всякий из нас, друг другу руки.

Все попеременно пожимают руку Ихареву.

Отныне все общее, притворство и церемонии в сторону! Позвольте узнать, с каких пор начали исследовать глубину познаний?

Ихарев. Признаюсь, это уже с самых юных лет было моим стремлением. Еще в школе во время профессорских лекций я уже под скамьей держал банк моим товарищам.

Утешительный. Я так и полагал. Подобное искусство не может приобресться, не быв практиковано от лет гибкого юношества. Помнишь, Швохнев, этого необыкновенного ребенка?

Ихарев. Какого ребенка?

Утешительный. А вот расскажи!

Швохнев. Подобного события я никогда не позабуду. Говорит мне его зять *(указывая на Утешительного)*, Андрей Иванович Пяткин: «Швохнев, хочешь видеть чудо? Мальчик одиннадцати лет, сын Ивана Михаловича Кубышева, передергивает с таким искусством, как ни один из игроков! Поезжай в Тетюшевский уезд и посмотри!» Я, признаюсь, тот же час отправился в Тетюшевский уезд. Спрашиваю деревню Ивана Михаловича Кубышева и приезжаю прямо к нему. Приказываю о себе доложить. Выходит человек почтенных лет. Я рекомендуюсь, говорю: «Извините, я слышал, что Бог наградил вас необыкновенным

сыном». — «Да, признаюсь, говорит *(и мне понравилось то, что без всяких, понимаете, этих претензий и отговорок)*, да, говорит, точно: хотя отцу и неприлично хвалить собственного сына, но это действительно в некотором роде чудо. Миша, говорит, поди-ка сюда, покажи гостю искусство!» Ну, мальчик, просто ребенок, мне по плечо не будет, и в глазах ничего нет особенного. Начал он метать — я просто потерялся. Это превосходит всякое описанье.

Ихарев. Неужто ничего нельзя было приметить?

Швохнев. Ни-ни, никаких следов! Я смотрел в оба глаза.

Ихарев. Это непостижимо!

Утешительный. Феномен, феномен!

Ихарев. И как я подумаю, что при этом еще нужны познания, основанные на остроте глаз, внимательное изученье крапа...

Утешительный. Да ведь это очень облегчено теперь. Теперь накрапливанье и отметины вышли вовсе из употребления; стараются изучить ключ.

Ихарев. То есть ключ рисунка?

Утешительный. Да, ключ рисунка обратной стороны. Есть в одном городе, — в каком именно, я не хочу назвать, — один почтенный человек, который больше ничем уж и не занимается, как только этим. Ежегодно получает он из Москвы несколько сотен колод, от кого именно — это покрыто тайною. Вся обязанность его состоит в том, чтобы разобрать крап всякой карты и послать от себя только ключ. Смотри, мол, у двойки вот как расположен рисунок! у такой-то — вот как! За это одно он получает чистыми деньгами пять тысяч в год.

Ихарев. Это, однако ж, важная вещь.

Утешительный. Да оно, впрочем, так и быть должно. Это то, что называется в политической экономии распределение работ. Все равно каретник: ведь он не весь же экипаж делает сам; он отдает и кузнецу и обойщику. А иначе не стало бы всей жизни человеческой.

Ихарев. Позвольте вам сделать один вопрос: как поступали вы доселе, чтобы пустить в ход колоды? Подкупать слуг ведь не всегда можно.

Утешительный. Сохрани Бог! да и опасно. Это значит иногда самого себя продать. Мы делаем это иначе. Один раз мы

поступили вот как: приезжает на ярмонку наш агент, останавливается под именем купца в городском трактире. Лавки еще не успели нанять; сундуки и вьюки пока в комнате. Живет он в трактире, издерживается, ест, пьет — и вдруг пропадает неизвестно куда, не заплативши. Хозяин шарит в комнате. Видит, остался один вьюк; распаковывает — сто дюжин карт. Карты, натурально, сей же час проданы с публичного торга. Пустили рублем дешевле, купцы миг расхватали в свои лавки. А в четыре дни проигрался весь город!

Ихарев. Это очень ловко.

Швохнев. Ну, а у того, у помещика?..

Ихарев. Что у помещика?

Утешительный. А это дело тоже было поведено недурно. Не знаю, знаете ли вы, есть помещик Аркадий Андреевич Дергунов, богатейший человек. Игру ведет отличную, честности беспримерной, к поползновенью, понимаете, никаких путей: за всем смотрит сам, люди у него воспитанны, камергеры, дом — дворец, деревня, сады — все это по аглицкому образцу. Словом, русский барин в полном смысле слова. Мы живем уж там три дня. Как приступить к делу? — просто нет возможности. Наконец придумали. В одно утро пролетает мимо самого двора тройка. На телеге сидят молодцы. Все это пьяно, как нельзя больше, орет песни и дует во весь опор. На такое зрелище, как водится, выбежала вся дворня. Ротозеют, смеются и замечают, что из телеги что-то выпало, подбегают, видят — чемодан. Машут, кричат: «Остановись!» — куды! никто не слышит, умчались, только пыль осталась по всей дороге. Развязали чемодан — видят: белье, коекакое платье, двести рублей денег и дюжин сорок карт. Ну, натурально, от денег не захотели отказаться, карты пошли на барские столы, — и на другой же день ввечеру все, и хозяин и гости, остались без копейки в кармане, и кончился банк.

Ихарев. Очень остроумно. Ведь вот называют это плутовством и разными подобными именами, а ведь это тонкость ума, развитие.

Утешительный. Эти люди не понимают игры. В игре нет лицеприятия. Игра не смотрит ни на что. Пусть отец сядет со мною в карты — я обыграю отца. Не садись! здесь все равны.

Ихарев. Именно этого не понимают, что игрок может быть добродетельнейший человек. Я знаю одного, который наклонен

к передержкам и к чему хотите, но нищему он отдаст последнюю копейку. А между тем ни за что не откажется соединиться втроем против одного обыграть наверняка. Но, господа, так как пошло на откровенность, я вам покажу удивительную вещь: знаете ли вы то, что называют сводная или подобранная колода, в которой всякая карта может быть угадана мною на значительном расстоянии?

Утешительный. Знаю, но, может быть, другого рода.

Ихарев. Могу вам похвастаться, что подобной нигде не сыщете. Почти полгода трудов. Я две недели после того не мог на солнечный свет смотреть. Доктор опасался воспаленья в глазах. *(Вынимает из шкатулки.)* Вот она! Зато уж не прогневайтесь: она у меня носит имя, как человек.

Утешительный. Как, имя?

Ихарев. Да, имя: Аделаида Ивановна.

Утешительный *(усмехаясь)*. Слышь, Швохнев, ведь это совершенно новая идея — назвать колоду карт Аделаидой Ивановной. Я нахожу даже, это очень остроумно.

Швохнев. Прекрасно! Аделаида Ивановна! очень хорошо...

Утешительный. Аделаида Ивановна. Немка даже! Слышь, Кругель? это тебе жена.

Кругель. Что я за немец? Дед был немец, да и тот не знал по-немецки.

Утешительный *(рассматривая колоду)*. Это, точно, сокровище. Да, никаких совершенно признаков. Неужели, однако ж, всякая карта может быть вами угадана на каком угодно расстоянии?

Ихарев. Извольте, я стану от вас в пяти шагах и отсюда назову всякую карту. Двумя тысячами готов асикурировать, если ошибусь.

Утешительный. Ну, это какая карта?

Ихарев. Семерка.

Утешительный. Так точно. Эта?

Ихарев. Валет.

Утешительный. Черт возьми, да. Ну, эта?

Ихарев. Тройка.

Утешительный. Непостижимо!

Кругель *(пожимая плечами)*. Непостижимо!

Швохнев. Непостижимо!

Утешительный. Позвольте еще раз рассмотреть. *(Рассматривая колоду.)* Удивительная вещь. Стоит того, чтобы назвать ее именем. Но, позвольте заметить, употребить ее в дело трудно. Разве с слишком неопытным игроком: ведь это нужно подменить самому.

Ихарев. Да ведь это во время самой жаркой игры только делается, когда игра возвысится до того, что и самый опытный игрок делается неспокойным; а потеряйся только немного человек, с ним можно все сделать. Вы знаете, что с лучшими игроками случается то, что называют — заиграться. Как поиграет два дни и две ночи сряду не поспавши, ну и заиграется. В азартной игре я всегда подменю колоду. Поверьте, вся штука в том, чтобы быть хладнокровну тогда, когда другой горячится. А средств отвлечь вниманье других есть тысяча. Придеритесь тут же к кому-нибудь из понтёров, скажите, что у него не так записано. Глаза всех обратятся на него — а в это время колода уже и подменена.

Утешительный. Но, однако же, я вижу, что, кроме искусства, вы владеете еще достоинством хладнокровия. Это важная вещь. Приобретение вашего знакомства теперь стало для нас еще значительней. Будем без церемонии, оставим лишние этикеты и станем говорить друг другу «ты».

Ихарев. Этак бы давно следовало.

Утешительный. Человек, шампанского! В память дружеского союза!

Ихарев. Именно, это стоит того, чтобы запить.

Швохнев. Да ведь вот мы собрались для подвигов, орудия все у нас в руках, силы есть, одного недостает только...

Ихарев. Именно, именно, крепости недостает только, на которую бы идти, вот беда!

Утешительный. Что ж делать? неприятеля пока нет. *(Смотря пристально на Швохнева.)* Что? у тебя как будто лицо такое, которое хочет сказать, что есть неприятель.

Швохнев. Есть, да... *(Останавливается.)*

Утешительный. Знаю я, на кого ты метишь.

Ихарев *(с живостью)*. А на кого, на кого? кто это?

Утешительный. Э, вздор, вздор: он выдумал пустяки. Вот видите ли, есть здесь один приезжий помещик, Михаил

Александрович Глов. Ну, да что об этом толковать, когда он не играет вовсе? Мы уж возились около него... Я месяц за ним ухаживал; и в дружбу и в доверенность вошел, а все ничего не сделал.

Ихарев. Ну да послушай, нельзя ли как-нибудь увидеться с ним? Может быть, почему знать...

Утешительный. Ну, я тебе вперед говорю, что это будет вовсе напрасный труд.

Ихарев. Ну да попробуем, попробуем еще раз.

Швохнев. Ну да приведи его, по крайней мере. Ну, не успеем, поговорим просто. Почему не попробовать?

Утешительный. Да, пожалуй, мне ничего это не значит; я приведу его.

Ихарев. Приведи его теперь же, пожалуйста.

Утешительный. Изволь, изволь. *(Уходит.)*

Явление IX

Те же, кроме Утешительного.

Ихарев. Ведь точно, почему знать? Иногда дело кажется совсем невозможное...

Швохнев. Я сам того же мнения. Ведь не с Богом здесь имеешь дело, а с человеком. А человек все-таки человек. Сегодня нет, завтра нет, послезавтра нет, а на четвертый день, как насядешь на него хорошенько, скажет «да». Иной ведь с виду корчит, что он недоступный, а разгляди его поближе, увидишь: просто даром тревогу подымал.

Кругель. Ну, однако ж, этот не таков.

Ихарев. Эх, если бы!.. Поверить нельзя, как возродилась во мне теперь жажда деятельности. Нужно вам знать, что последний мой выигрыш, восемьдесят тысяч у полковника Чеботарева, был сделан в прошедшем месяце. С тех пор я не имел практики в продолжение целого месяца. Представить не можете, какую испытал я скуку во все это время. Скука, скука смертная!

Швохнев. Я понимаю это положение. Это все равно что полководец: что он должен чувствовать, когда нет войны? Это, любезнейший, просто фатальный антракт. Я знаю по себе, с этим нечего шутить.

Ихарев. Поверишь ли, приходит так, что если бы кто сделал пять рублей банку — я готов сесть и играть.

Швохнев. Естественная вещь. Этак проигрывались иногда искуснейшие игроки. Стоскуется, работы нет, и наскочит с горя на одного из тех, которых называют голь и перетыка, — ну и проиграется ни за что!

Ихарев. А богат этот Глов?

Кругель. О! Деньги есть. Кажется, около тысячи душ крестьян.

Ихарев. Эх, черт возьми, подпоить разве его, шампанского велеть подать?

Швохнев. В рот не берет.

Ихарев. Что ж с ним делать? Как подъехать? Но нет, однако ж, все я думаю... ведь игра соблазнительная вещь. Мне кажется, если бы он подсел только к играющим, он бы не утерпел потом.

Швохнев. Да вот мы попробуем. Мы вот здесь в стороне с Кругелем сделаем самую маленькую игру. Но не нужно к нему оказывать большого внимания: старики подозрительны.

Садятся в стороне с картами.

Явление X

Те же, Утешительный и Михайло Александрович Глов, человек почтенных лет.

Утешительный. Вот тебе, Ихарев, рекомендую: Михаил Александрович Глов!

Ихарев. Я, признаюсь, давно искал этой чести. Живя в одном трактире...

Глов. Мне тоже очень приятно познакомиться. Жаль только, что это случилось почти на выезде...

Ихарев *(подавая ему стул)*. Прошу покорнейше! Давно изволите жить в этом городе?

Утешительный, Швохнев и Кругель перешептываются между собою.

Глов. Ах, батюшка, уж он мне так надоел, этот город. И телом и душой рад бы отсюда поскорей вырваться.

Ихарев. Что ж, удерживают дела?..

Глов. Дела, дела. Такая комиссия мне эти дела!

Ихарев. Вероятно, тяжба?

Глов. Нет, слава Богу, тяжбы нет, но тем не менее затруднительные обстоятельства. Выдаю замуж дочь, батюшка, осьмнадцатилетнюю девицу. Понимаете ли вы отцовское положение? Приехал за разными покупками, а главное, заложить имение. Дело бы уже все кончено, да приказ денег до сих пор не выдает. Даром совершенно живу.

Ихарев. А позвольте узнать, в какую сумму изволили заложить имение?

Глов. В двухстах тысяч. На днях бы должны выдать, да вот затянулось. А мне уж так опротивело здесь жить! Дома-то, знаете, все это оставил на самое короткое время. Дочь невеста... все это ждет. Я уж решился не дожидаться и бросить все.

Ихарев. Как же? и денег не хотите дождаться?

Глов. Что ж делать, батюшка? Вы рассмотрите и мое положение. Ведь вот уже месяц, как не видался с женой и детьми; писем даже не получаю, — Бог весть что там делается. Я уж все дело поручаю сыну, который здесь остается. Надоело возиться. *(Обращаясь к Швохневу и Кругелю.)* А что ж вы, господа? Я, кажется, вам помешал. Вы чем-то занимались?

Кругель. Вздор. Это так. От нечего делать вздумали поиграть.

Глов. Кажется, что-то похоже на банчик.

Швохнев. Какое! для препровожденья времени грошовый банчик.

Глов. Эх, господа, послушайте старика. Вы молодые люди. Конечно, тут ничего худого, больше для развлеченья, да и в грошовую игру нельзя много проиграть, всё это так, но всё... Эх, господа, я сам играл и знаю по опыту. Все на свете начинается грошовым делом, а смотришь, маленькая игра как раз кончилась большой.

Швохнев *(Ихареву)*. Ну, пошел уж старикашка плесть свое. *(Глову.)* Ну, вот видите, вы уж тотчас припишете важное следствие всякому вздору; это всегда уж обыкновенная замашка всех пожилых людей.

Глов. Да что ж, ведь я еще не так пожилой человек. Я сужу по опыту.

Швохнев. Я не об вас буду говорить. Но вообще у стариков есть это: например, если они на чем-нибудь обожглись, они

твердо уверены — другой непременно обожжется на том же. Если они пошли какой-нибудь дорогою да, зазевавшись, шлепнулись о гололедь, — они уж кричат и выдают правило, что по такой-то дороге никому нельзя ходить, потому что на ней есть в одном месте гололедь и всякий непременно на ней шлепнется лбом, никак не принимая в уваженье того, что другой, может быть, не зазевается и сапоги у него не на скользкой подошве. Нет, у них для этого нет соображенья. Собака укусила человека на улице — все кусаются собаки, и потому никому нельзя выходить на улицу.

Глов. Так, батюшка. Оно, точно, с одной стороны, есть тот грех. Да ведь зато ж и молодые! Ведь уж слишком много рыси: того и смотри, что сломит шею!

Швохнев. Вот то-то и есть, что у нас нет середины. Молодым бесится, так что невтерпеж другим, а под старость прикинется ханжой, так что невтерпеж другим.

Глов. Такого-то вы обидного мнения насчет стариков?

Швохнев. Да нет, что за обидное мнение? это правда, больше ничего.

Ихарев. Позвольте мне заметить. Твое мнение резко...

Утешительный. Насчет карт я совершенно согласен с Михал Александровичем. Я сам играл, играл сильно. Но, благодарю судьбу, бросил навсегда. Не потому, чтобы проигрался или был вооружен против судьбы; поверьте мне, это еще ничего: проигрыш не так важен, как важно душевное спокойствие. Одно это волнение, чувствуемое во время игры, — кто что ни говори, а это сокращает видимо нашу жизнь.

Глов. Так, батюшка, ей-Богу! как вы премудро заметили! Позвольте сделать вам нескромный вопрос, сколько времени имею честь пользоваться вашим знакомством, а вот до сих пор...

Утешительный. Какой вопрос?

Глов. Позвольте узнать, хоть струна и щекотливая, который вам год?

Утешительный. Тридцать девять лет.

Глов. Представьте! Что ж такое тридцать девять лет? Еще молодой человек! Ну что, если бы у нас в России было побольше таких, которые бы так мудро рассуждали? Господи Ты Боже мой, что бы это было: просто золотой век-с, та же астрея. Уж как, ей-Богу, благодарен судьбе я за то, что познакомился с вами.

Ихарев. Поверьте мне, я тоже разделяю это мнение. Мальчишкам я бы не позволил и в руки взять карт. Но благоразумным людям почему не поразвлечься, не позабавиться? Например, почтенному старику, которому нельзя уже ни плясать, ни танцевать.

Глов. Так, всё так; но, поверьте, в жизни нашей есть столько удовольствий, столько обязанностей, так сказать, священных. Эх, господа, послушайте старика! Нет для человека лучшего назначения, как семейная жизнь в домашнем кругу. Все это, что вас окружает, — ведь это все волнение, ей-Богу-с волнение, а прямого-то блага вы не вкусили еще. Ведь вот я, поверите ли, минуты не дождусь, чтобы увидать своих, ей-Богу! Как воображу: дочь кинется на шею: «Папаш ты мой, милый папаш!» Сын опять приехал из гимназии... полгода не видал... Просто слов недостает, ей-Богу так. Да после этого на карты смотреть не захочешь.

Ихарев. Но зачем же отеческие чувства мешать с картами? Отеческие чувства сами по себе, а карты тоже...

Алексей *(входя, говорит Глову)*. Ваш человек спрашивает насчет чемоданов. Прикажете выносить? Лошади уж готовы.

Глов. А вот я сейчас! Извините, господа, на одну минуточку вас оставлю. *(Уходит.)*

Явление XI

Швохнев, Ихарев, Кругель, Утешительный.

Ихарев. Ну, нет никакой надежды!

Утешительный. Я говорил это прежде. Не понимаю, как вы не можете видеть человека. Ведь стоит только взглянуть, чтобы узнать, кто не расположен играть.

Ихарев. Ну, да все бы таки насесть на него хорошенько. Ну зачем ты сам его поддерживал?

Утешительный. Да иначе, братец, нельзя. С этими людьми нужно тонко поступать. Не то как раз догадается, что его хотят обыграть.

Ихарев. Ну да ведь что ж вышло из того? ведь вот уедет все равно.

Утешительный. Ну, да постой, еще не все дело кончено.

Явление XII

Те же и Глов.

Глов. Покорнейше благодарю вас, господа, за приятное знакомство. Жаль только, право, что вот перед самым концом. А впрочем, авось приведет Бог опять где-нибудь столкнуться.

Швохнев. О, вероятно. Дороги битые, а люди толкутся — как не столкнуться? Захоти только судьба.

Глов. Ей-Богу, так, совершенная правда. Судьба захочет, так завтра же увидимся, — совершенная правда. Прощайте, господа! истинно благодарю! А уж вам, Степан Иванович, так обязан! Право, вы усладили мое уединение.

Утешительный. Помилуйте, не за что. Чем мог служить, служил.

Глов. Ну, уж если вы так добры, так сделайте еще одну милость, можно ли вас просить?

Утешительный. Какую? скажите! Все что угодно готов.

Глов. Успокойте старика отца!

Утешительный. Как?

Глов. Я оставляю здесь своего Сашу. Прекрасный малый, добрая душа. Но все еще ненадежен: двадцать два года — ну что это за лета? почти ребенок... Кончил учебный курс и уж больше ни о чем и слышать не хочет, как об гусарах. Я говорю ему: «Рано, Саша, погоди, осмотрись прежде! Что тебе в гусары? Почему знать, может быть, у тебя штатские наклонности. Ты еще не видел почти света, время не уйдет от тебя!..» Ну, сами знаете, молодая натура. Ему уж там, в гусарах, все это блестит: шитье, богатый мундир... Что ж прикажете? Склонностей ведь удержать никак нельзя... Так будьте так великодушны, батюшка Степан Иванович! Он остается теперь один; я возложил на него кое-какие делишки. Молодой человек, все может случиться: чтобы приказные как-нибудь его не обманули... мало ли чего... Так возьмите его под свое покровительство, надзирайте над его поступками, отвлеките его от дурного. Будьте так добры, батюшка! *(Берет его за обе руки.)*

Утешительный. Извольте, извольте. Все, что может сделать отец для своего сына, все это я сделаю для него.

Глов. Ах, батюшка!

Обнимаются и целуются.

Ведь как видно, когда у человека-то доброе сердце, ей-Богу! Бог вас наградит за это! Прощайте, господа, от души желаю вам счастливо оставаться.

Ихарев. Прощайте, доброй дороги!

Швохнев. Счастливо найти всех домашних!

Глов. Благодарю вас, господа!

Утешительный. А я вас таки провожу к самой коляске и посажу!

Глов. Ах, батюшка, как вы добры!

Оба уходят.

Явление XIII

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Улетела птица!

Швохнев. Да, а было бы чем поживиться.

Ихарев. Признаюсь, как он сказал: двести тысяч, — у меня вздрогнуло в самом сердце.

Кругель. О такой сумме и подумать даже сладко.

Ихарев. Ведь как подумаешь, сколько денег пропадает даром, без всякой совершенно пользы. Ну что из того, что у него будет двести тысяч? Ведь это все так пойдет, на покупку каких-нибудь тряпок, ветошек!

Швохнев. И все это дрянь, гниль.

Ихарев. А ведь сколько даже так пропадает на свете, не обращаясь! Сколько есть мертвых капиталов, которые, именно как мертвецы, лежат в ломбардах! Право, даже жалость. Я бы больше не хотел иметь у себя денег, как столько, сколько лежит в Опекунском совете.

Швохнев. Я помирюсь и на половине.

Кругель. Я доволен буду и четвертью.

Швохнев. Ну, не ври, немец: захочешь больше.

Кругель. Как честный человек…

Швохнев. Надуешь.

Явление XIV

Те же и Утешительный, входит поспешно и с радостным видом.

Утешительный. Ничего, ничего, господа! Уехал, черт его побери, тем лучше! Остался сын. Отец передал ему и доверенность, и все права на получение из приказа денег и поручил надсматривать за всем мне. Сын молодец: так и рвется в гусары. Будет жатва! Я пойду и сей же час приведу его к вам! *(Убегает.)*

Явление XV

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Ай да Утешительный!

Швохнев. Браво! дело возымело славный оборот!

Все потирают в радости руки.

Ихарев. Молодец Утешительный! Теперь я понял, зачем он подбирался к отцу и потакал ему. И как все это ловко! как тонко!

Швохнев. О, у него на это талант необыкновенный!

Кругель. Способности невероятные!

Ихарев. Признаюсь, когда отец сказал, что оставляет здесь сына, у меня у самого промелькнула в голове мысль, да ведь только на миг, а уж он тотчас... Сметливость какая!

Швохнев. О, ты еще не знаешь его хорошенько.

Явление XVI

Те же, Утешительный и Глов Александр Михалыч, молодой человек.

Утешительный. Господа! Рекомендую: Александр Михалыч Глов, отличный товарищ, прошу полюбить, как меня.

Швохнев. Очень рад... *(Пожимает ему руку.)*

Ихарев. Знакомство ваше нам...

Кругель. Позвольте вас прямо в наши объятья.

Глов. Господа! я...

Утешительный. Без церемонии, без церемонии. Равенство первая вещь, господа! Глов, здесь, видишь, все товарищи, и потому к черту все этикета! Съедем прямо на «ты»!

Швохнев. Именно, на «ты»!

Глов. На «ты»! *(Подает им всем руку.)*

Утешительный. Так, браво! Человек, шампанского! Замечаете, господа, как у него даже теперь уже видно что-то гусарское? Нет, твой отец, не говоря дурного слова, большая скотина, — извини, ведь мы на «ты», — ну как этого молодца вздумал было в чернильную службу! Ну что, брат, скоро свадьба сестры твоей?

Глов. Черт ее побери с ее свадьбой! Мне досадно, что из-за нее отец меня продержал три месяца в деревне.

Утешительный. Ну, послушай, а хороша сестра твоя?

Глов. А так хороша... Будь она не сестра... ну, уж я бы ей не спустил.

Утешительный. Браво, браво, гусар! Сейчас видно гусара! Ну, послушай, а помог бы ты мне, если бы я захотел ее увезти?

Глов. Почему ж? помог бы.

Утешительный. Браво, гусар! Вот оно, что называется настоящий гусар, черт побери! Человек, шампанского! Вот это мой решительно вкус: этаких открытых людей я люблю. Постой, душа, дай обниму тебя!

Швохнев. Дай же и мне обнять его. *(Обнимает его.)*

Ихарев. Пусть же и я обниму его. *(Обнимает.)*

Кругель. Ну, так и я ж обниму его, если так. *(Обнимает.)*

Алексей несет бутылку, придерживая пальцем пробку, которая хлопает и летит в потолок; наливает бокалы.

Утешительный. Господа, за здравие будущего гусарского юнкера! Пусть он будет первый рубака, первый волокита, первый пьяница, первый... словом, пусть его будет что хочет!

Все. Пусть его будет что хочет!

Пьют.

Глов. За здравие всего гусарства! *(Подымая бокал.)*

Все. За здравие всего гусарства!

Пьют.

Утешительный. Господа, нужно его теперь же посвятить во все гусарские обычаи. Пьет он, как видно, уже сносно, но ведь это вздор. Нужно, чтобы он был картежник во всей силе! Играешь в банк?

Глов. Играл бы, смерть бы хотелось, да денег нет.

Утешительный. Экой вздор: нет денег! Было бы только с чем сесть, а там деньги будут — сейчас выиграешь.

Глов. Да ведь и сесть-то не с чем.

Утешительный. Да мы тебе поверим в долг. Ведь у тебя есть доверенность на получение денег из приказа. Мы подождем, а как тебе выдадут, ты нам тотчас и заплатишь. А до того времени ты можешь нам дать вексель. Да, впрочем, что я говорю? Как будто ты уж непременно проиграешь. Ты можешь тут же выиграть несколько тысяч чистоганом.

Глов. А как проиграю?

Утешительный. Стыдись, что ж ты за гусар после этого? Натурально, одно из двух: либо выиграешь, либо проиграешь. Да в этом-то и дело, в риске-то и есть главная добродетель. А не рискнуть, пожалуй, всякий может. Наверняка и приказная строка отважится, и жид полезет на крепость.

Глов *(махнул рукой)*. Черт побери, если так, играю! Что мне смотреть на отца!

Утешительный. Браво, юнкер! Человек, карты! *(Наливает ему в стакан.)* Главное, что нужно? Нужна отвага, удар, сила... Так и быть, господа, я вам сделаю банчик в двадцать пять тысяч. *(Мечет направо и налево.)* Ну, гусар... Ты, Швохнев, что ставишь? *(Мечет.)* Какое странное течение карт. Вот любопытно для вычислений! Валет убит, девятка взяла. Что там, что у тебя? И четверка взяла! А гусар, гусар-то, каков гусар? Замечаешь, Ихарев, как уж он мастерски возвышает ставки! А туз все еще не выходит. Что ж ты, Швохнев, не наливаешь ему? Вона, вона, вон туз! Вон уж Кругель потащил себе. Немцу всегда везет! Четверка взяла, тройка взяла. Браво, браво, гусар! Слышишь, Швохнев, гусар уже около пяти тысяч в выигрыше.

Глов *(перегинает карту)*. Черт побери! Пароле пе! да вон еще девятка на столе, идет и она, и пятьсот рублей мазу!

Утешительный *(продолжая метать)*. У! молодец гусар! Семерка уби... ах, нет, плие, черт побери, плие, опять плие! А, проиграл гусар. Ну что ж, брат, делать? Не у всякого жена Марья, кому Бог дал. Кругель, да полно тебе рассчитывать! ну, ставь эту, которую выдернул. Браво, выиграл гусар! Что ж вы не поздравляете его?

Все пьют и поздравляют его, чокаясь стаканами.

Говорят, пиковая дама всегда продаст, а я не скажу этого. Помнишь, Швохнев, свою брюнетку, что называл ты пиковой дамой? Где-то она теперь, сердечная? Чай, пустилась во все тяжкие. Кругель! твоя убита! *(Ихареву.)* И твоя убита! Швохнев, твоя также убита; гусар также лопнул.

Глов. Черт побери, ва-банк!

Утешительный. Браво, гусар! Вот она наконец настоящая гусарская замашка! Замечаешь, Швохнев, как настоящее чувство всегда выходит внаружу? До сих пор все еще в нем было видно, что будет гусар. А теперь видно, что он уж теперь гусар. Вона натура-то как того... Убит гусар.

Глов. Ва-банк!

Утешительный. У! браво, гусар! на все пятьдесят тысяч! Вот оно что называется великодушие! Ну поди-ка поищи, где отыщешь этакую черту?.. Это именно подвиг! Лопнул гусар!

Глов. Ва-банк, черт побери, ва-банк!

Утешительный. Ого-го, гусар! На сто тысяч! Каков, а? А глазки-то, глазки? Замечаешь, Швохнев, как у него глазки горят? Барклай-де-Тольевское что-то видно. Вот он героизм! А короля все нет. Вот тебе, Швохнев, бубновая дама. На, немец, возьми, съешь семерку! Руте, решительно руте! просто карта фоска! А короля, видно, в колоде нет: право, даже странно. А, вот он, вот он... Лопнул гусар!

Глов *(горячась)*. Ва-банк, черт побери, ва-банк!

Утешительный. Нет, брат, стой! Ты уж просадил двести тысяч. Прежде заплати, без этого нельзя начинать новой игры. Мы так много не можем тебе верить.

Глов. Да где ж у меня? у меня теперь нет.

Утешительный. Дай нам вексель, подпишись.

Глов. Извольте, я готов. *(Берет перо.)*

Утешительный. Да и доверенность на получение денег тоже отдай нам.

Глов. Вот вам и доверенность.

Утешительный. Теперь подпиши вот это да вот это. *(Дает ему подписаться.)*

Глов. Извольте, я готов все сделать. Ну, вот я и подписал. Ну, давайте ж играть!

Утешительный. Нет, брат, постой, покажи-ка прежде деньги!

Глов. Да я вам заплачу. Уж будьте уверены.

Утешительный. Нет, брат, деньги на стол!

Глов. Да что ж это?.. Ведь это просто подлость.

Кругель. Нет, это не подлость.

Ихарев. Нет, это совсем другое дело. Шансы, брат, не равны.

Швохнев. Этак ты, пожалуй, сядешь с тем, чтоб обыграть нас. Дело известное: кто садится без денег, тот садится с тем, чтобы обыграть наверное.

Глов. Ну, что ж? чего вы хотите? назначьте какие угодно проценты, я на всё готов. Я вдвое заплачу вам.

Утешительный. Что, брат, нам с твоих процентов? Мы сами готовы тебе заплатить какие угодно проценты, дай только нам взаймы.

Глов *(отчаянно и решительно)*. Ну, так скажите последнее слово: не хотите играть?

Швохнев. Принеси деньги, сейчас станем играть.

Глов *(вынимая из кармана пистолет)*. Ну, так прощайте же, господа! Больше вы меня не встретите на этом свете. *(Убегает с пистолетом.)*

Утешительный *(в испуге)*. Ты! ты! что ты? с ума сошел! Побежать за ним, в самом деле чтоб еще как-нибудь не застрелился. *(Убегает.)*

Явление XVII

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Еще выйдет история, если этот черт вздумает застрелиться.

Швохнев. Черт его возьми, пусть себе стреляется, да не теперь только: еще деньги не в наших руках. Вот беда!

Кругель. Я всего боюсь. Это так возможно...

Явление XVIII

Те же, Утешительный и Глов.

Утешительный *(держа Глова за руку с пистолетом)*. Что ты, что ты, брат, рехнулся? Слышите, слышите, господа, уж пистолет вздумал было всунуть в рот, а? Стыдись!

Все *(приступая к нему)*. Что ты? что ты? Помилуй, что ты?

Швохнев. А еще и умный человек, из дряни вздумал стреляться.

Ихарев. Этак, пожалуй, вся Россия должна застрелиться: всякий или проигрался, или намерен проиграться. Да если бы этого не было, так как же можно выиграть? ты посуди только сам.

Утешительный. Ты дурак просто, позволь тебе сказать. Ты счастья своего не видишь. Разве ты не чувствуешь, как ты выиграл тем, что проиграл?

Глов *(с досадой)*. Что ж вы, в самом деле, меня уж за дурака считаете? какой тут выигрыш проиграть двести тысяч! Черт возьми!

Утешительный. Эх ты, простофиля! Да знаешь ли, какую ты этим себе славу сделаешь в полку? Слышь, безделица! Еще не будучи юнкером, да уж проиграл двести тысяч! Да тебя гусары на руках будут носить.

Глов *(ободрившись)*. Что ж вы думаете? У меня разве не станет духу наплевать на все это, если уж на то пошло? Черт побери, да здравствует гусарство!

Утешительный. Браво! Да здравствуют гусары! Теремтете! Шампанского!

Несут бутылки.

Глов *(с стаканом)*. Да здравствуют гусары!

Ихарев. Да здравствуют гусары, черт побери!

Швохнев. Теремтете! да здравствуют гусары!

Глов. На всё плюю, когда так!.. *(Ставит на стол стакан.)* Вот беда только: домой как приеду? Отец, отец!.. *(Хватает себя за волосы.)*

Утешительный. Да зачем тебе ехать к отцу? не нужно!

Глов *(вытаращив глаза)*. Как?

Утешительный. Ты отсюда прямо в полк! Мы тебе дадим на обмундировку. Нужно, брат Швохнев, дать ему теперь рублей двести, пусть его погуляет юнкер! Там, я уж заметил, у него есть одна... Черномазая-то, а?

Глов. Черт побери, побегу прямо к ней, возьму приступом!

Утешительный. Каков гусар, а? Швохнев, нет у тебя двухсотрублевой?

Ихарев. Да вот уж я ему дам, пусть его погуляет на славу!

Глов *(берет ассигнацию и помахивая ею на воздухе)*. Шампанского!

Все. Шампанского!

Несут бутылки.

Глов. Да здравствуют гусары!

Утешительный. Да здравствуют!.. Знаешь ли, Швохнев, что мне пришло на ум? Покачаем его на руках так, как у нас качали в полку! Ну, приступай, бери его!

Все приступают к нему, схватывают его за руки и ноги, качают, припевая на известный припев известную песню:

Мы тебя любим сердечно,
Будь ты начальник наш вечно!
Наши зажег ты сердца,
Мы в тебе видим отца!

Глов *(с поднятой рюмкой)*. Ура!

Все. Ура!

Становят его на землю. Глов хлопнул рюмку об пол, все разбивают тоже свои рюмки, кто о каблук своего сапога, кто о пол.

Глов. Иду прямо к ней!

Утешительный. А нам нельзя за тобой, а?

Глов. Ни... никому! А кто сколько-нибудь... разделка на саблях!

Утешительный. У! Рубака какой! а? Ревнив и задорен, как черт. Я думаю, господа, что из него просто выйдет Бурцов иора, забияка. Ну, прощай, прощай, гусар, не держим тебя!

Глов. Прощайте.

Швохнев. Да приходи нам после рассказать.

Глов уходит.

Явление XIX

Те же, кроме Глова.

Утешительный. Нужно его покамест ласкать, пока еще деньги не в наших руках; а там черт с ним!

Швохнев. Однако боюсь я, чтоб как-нибудь не затянулась в приказе выдача денег.

Утешительный. Да, это будет скверно, а впрочем... ведь на это, сами знаете, есть понукатели. Как ни ворочай, а все-таки придется всунуть в руку тому и другому для соблюдения порядка.

Явление XX

Те же и чиновник Замухрышкин (высовывает голову в дверь; одет в несколько поношенном фраке).

Замухрышкин. Позвольте узнать: не здесь ли Глов Александр Михалович?

Швохнев. Нет. Он сейчас вышел. А что вам угодно?

Замухрышкин. Да вот по делу их насчет выдачи денег.

Утешительный. А вы кто?

Замухрышкин. Да я чиновник из приказа.

Утешительный. А, милости просим! Прошу покорнейше садиться! В этом деле мы все принимаем живейшее участие. Тем более что заключили кое-какие дружелюбные сделки с Александр Михаловичем. И потому можете понять, что вот и от него, и от него, и от него *(указывая на всех)* будет искреннейшая благодарность. Дело в том только, чтобы скорее как можно получить из приказа деньги.

Замухрышкин. Да уж как хотите, раньше двух недель никак нельзя.

Утешительный. Нет, это страшно далеко. Ведь вы всё позабываете, что со стороны нашей благодарность...

Замухрышкин. Да уж это само собой. Все это приемлется. Как это позабыть? Мы потому и говорим «две недели», а то бы, пожалуй, вы и три месяца у нас провозились. Деньги к нам придут не раньше, как через полторы недели, а теперь во всем приказе ни копейки. На прошлой неделе получили полтораста тысяч, все роздали; три помещика ожидают, еще с февраля заложили имение.

Утешительный. Ну, это так для других, а для нас по дружбе... Нужно, чтобы мы с вами покороче познакомились... Ну, да что?.. да и люди свои! Ну, как вас зовут? как? Фентефлей Перпентьич, что ли?

Замухрышкин. Псой Стахич-с.

Утешительный. Ну, все одно почти. Ну, так послушайте, Псой Стахич! Будем так, как давние приятели. Ну, что, как вы? как делишки, как служба ваша?

Замухрышкин. Да что служба? Известное дело — служим.

Утешительный. Ну, а доходов по службе этих, знаете, разных... а просто, много ли берете?

Замухрышкин. Конечно, сами посудите, с чего ж и жить?

Утешительный. Ну что, как в приказе у вас, скажите откровенно, все хапуги?

Замухрышкин. Ну что! Вы уж, я вижу, смеетесь! Эх, господа!.. Ведь вот тоже и господа сочинители всё подсмеиваются над теми, которые берут взятки; а как рассмотришь хорошенько, так взятки берут и те, которые повыше нас. Ну да вот хоть и вы, господа, только разве что придумали названья поблагороднее: пожертвованье там или так. Бог ведает что такое. А на деле выходит — такие же взятки: тот же Савка, да на других санках.

Утешительный. Вот уж Псой Стахич и обиделся, как я вижу, — вот что значит задеть за честь!

Замухрышкин. Да ведь честь, сами знаете, дело щекотливое. А сердиться тут не из чего. Я уж, батюшка, прожил свое.

Утешительный. Ну, полно, поговоримте по-дружески, Псой Стахич! Ну что ж, как вы? Как у вас? Как поживаете? Как маячитесь на свете? Есть женушка, детки?

Замухрышкин. Слава Богу. Бог наградил. Двое сыновей уж в уездное училище ходят. Два других поменьше. Один бегает пока в рубашонке, а другой на карачках ползает.

Утешительный. Ну, а ручонками, я чай, уже все этак *(показывает рукою, как будто берет деньги)* умеют?

Замухрышкин. Ведь вот вы, право, какие, господа! ведь вот опять начали!

Утешительный. Ничего, ничего, Псой Стахич! ведь это по дружбе. Ну что ж тут такого? свои! Эй, дай-ка бокал шампанского Псою Стахичу! скорей! Мы ведь теперь должны быть как короткие знакомые. Вот мы к вам соберемся тоже в гости.

Замухрышкин *(принимая бокал)*. А милости просим, господа! Откровенно вам скажу, что такого чаю, как вы будете пить у меня, вы у губернатора не сыщете.

Утешительный. Небось даровой, от купца?

Замухрышкин. От купца-с, выписной из Кяхты.

Утешительный. Да как же, Псой Стахич? Ведь вы дел с купцами не имеете?

Замухрышкин *(выпив бокал и упираясь руками в колени)*. А вот как: купец здесь больше по причине глупости своей должен был приплатиться. Помещик Фракасов, если изволите знать, закладывает имение, все уж сделано как следует, завтра остается получить деньги. Затеяли они завод какой-то в половине с купцом. Ну, нам-то, понимаете, какое дело знать, на завод ли или на что другое нужны деньги, и с кем он в половине. Это не наша часть. Да купец по глупости своей и проговорись в городе, что он с ним в половине и ждет от него с часу на час денег. Мы и подослали к нему сказать, что вот пришли две тысячи, сейчас выдадут деньги, а не то — будешь ждать! А уж к нему на фабрику привезли, понимаете, и котлы, и посуду, ожидают только задатков. Купец видит, плетью обуха не перешибешь, заплатил две тысячи да по три фунтика чаю каждому из нас. Скажут — взятка, да ведь за дело: не будь глуп; кто его толкал, языка разве не мог придержать?

Утешительный. Послушайте, Псой Стахич, ну, пожалуйста же, насчет этого дельца. Мы уж вам дадим, а вы уж там с начальниками своими сделайтесь как следует. Только, ради Бога, Псой Стахич, поскорее, а?

Замухрышкин. Да будем стараться. *(Вставая.)* Но откровенно скажу вам: так скоро, как вы хотите, нельзя. Пред Богом, в приказе ни копейки денег. А будем стараться.

Утешительный. Ну, как вас там спросить?

Замухрышкин. Так и спросите: Псой Стахич Замухрышкин. Прощайте, господа! *(Идет к дверям.)*

Швохнев. Псой Стахич, а Псой Стахич! *(Оглядывается.)* Постарайтесь!

Утешительный. Псой Стахич, Псой Стахич, выручайте поскорее!

Замухрышкин *(уходя)*. Да уж сказал. Будем стараться.

Утешительный. Черт побери, как это долго! *(Бьет себя рукой по лбу.)* Нет, побегу, побегу за ним, авось что-нибудь успею, не пожалею денег. Черт его побери, три тысячи дам ему своих. *(Убегает.)*

Явление XXI

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Конечно, лучше, если бы получить поскорее.

Швохнев. Да уж как нам нужно! как нам нужно!

Кругель. Эх, если бы он уломал его как-нибудь!

Ихарев. Да что, разве ваши дела…

Явление XXII

Те же и Утешительный.

Утешительный *(входит с отчаяньем)*. Черт побери, раньше четырех дней никак не может. Я готов просто лоб расшибить себе об стену.

Ихарев. Да что тебе так приспичило? Неужто четырех дней нельзя обождать?

Швохнев. В том-то и штука, брат, что для нас это слишком важно.

Утешительный. Обождать! Да знаешь ли, что нас в Нижнем с часу на час ждут? Мы тебе не сказывали еще, а уж четыре дня назад тому мы имеем известие спешить как можно скорее, добывши во что бы ни стало хоть сколько-нибудь денег. Купец привез на шестьсот тысяч железа. Во вторник окончательная сделка, и деньги получает чистоганом; да вчера приехал один с пенькой на полмиллиона.

Ихарев. Ну так что ж?

Утешительный. Как что ж? Да ведь старики-то остались дома, а выслали вместо себя сыновей.

Ихарев. Да будто сыновья уж непременно станут играть?

Утешительный. Да где ты живешь, в китайском государстве, что ли? Не знаешь, что такое купеческие сынки? Ведь купец как воспитывает сына? или чтоб он ничего не знал, или чтобы знал то, что нужно дворянину, а не купцу. Ну, натурально, он уж так и глядит — ходит под руку с офицерами, кутит. Это, брат, для нас самый выгодный народ. Они, дурачье, не знают, что за всякий рубль, который они выплутуют у нас, они нам платят тысячами. Да это счастье наше, что купец только и думает о том, чтобы выдать дочь за генерала, а сыну доставить чин.

Ихарев. И дела совершенно верные?

Утешительный. Как не верные! Уж нас не уведомляли бы. Всё почти в наших руках. Теперь всякая минута дорога.

Ихарев. Эх, черт возьми! что ж мы сидим? Господа, а ведь условие-то действовать вместе!

Утешительный. Да, в этом наша польза. Послушай, что мне пришло на ум. Тебе ведь спешить пока еще незачем. Деньги у тебя есть, восемьдесят тысяч. Дай их нам, а от нас возьми векселя Глова. Ты верных получаешь полтораста тысяч, стало быть ровно вдвое, а нас ты даже одолжишь еще, потому что деньги нам теперь так нужны, что мы с радостью готовы платить алтын за всякую копейку.

Ихарев. Извольте, почему нет; чтобы доказать вам, что узы товарищества... *(Подходит к шкатулке и вынимает кипу ассигнаций.)* Вот вам восемьдесят тысяч!

Утешительный. А вот тебе и векселя! Теперь я побегу сейчас за Гловым; нужно его привесть и всё устроить по форме. Кругель, отнеси деньги в мою комнату; вот тебе ключ от моей шкатулки.

Кругель уходит.

Эх, если бы так устроить, чтобы к вечеру можно было ехать. *(Уходит.)*

Ихарев. Натурально, натурально. Тут и минуты незачем терять.

Швохнев. А тебе советую тоже не засиживаться. Как только деньги получишь, сейчас приезжай к нам. С двумястами тысяч знаешь что можно сделать? Просто ярмонку можно подорвать... Ах, я и позабыл сказать Кругелю пренужное дело. Погоди, я сейчас возвращусь. *(Поспешно уходит.)*

Явление XXIII

Ихарев один.

Каков ход приняли обстоятельства! А? Еще поутру было только восемьдесят тысяч, а к вечеру уже двести. А? Ведь это для иного век службы, трудов, цена вечных сидений, лишений, здоровья. А тут в несколько часов, в несколько минут — владетельный принц! Шутка — двести тысяч! Да где теперь найдешь

двести тысяч? Какое имение, какая фабрика даст двести тысяч? Воображаю, хорош бы я был, если бы сидел в деревне да возился с старостами да мужиками, собирая по три тысячи ежегодного дохода. А образованье-то разве пустая вещь? Невежество-то, которое приобретешь в деревне, ведь его ножом после не обскоблишь. А время-то на что было бы утрачено? На толки с старостой, с мужиком... Да я хочу с образованным человеком поговорить! Теперь вот я обеспечен. Теперь время у меня свободно. Могу заняться тем, что споспешествует к образованью. Захочу поехать в Петербург — поеду и в Петербург. Посмотрю театр. Монетный двор, пройдусь мимо дворца, по Аглицкой набережной, в Летнем саду. Поеду в Москву, пообедаю у Яра. Могу одеться по столичному образцу, могу стать наравне с другими, исполнить долг просвещенного человека. А что всему причина? чему обязан? Именно тому, что называют плутовством. И вздор, вовсе не плутовство! Плутом можно сделаться в одну минуту, а ведь тут практика, изученье. Ну, положим — плутовство. Да ведь необходимая вещь: что ж можно без него сделать? Оно некоторым образом предостерегательство. Ну, не знай я, например, всех тонкостей, не постигни всего этого — меня бы как раз обманули. Ведь вот же хотели обмануть, да увидели, что дело не с простым человеком имеют, сами прибегнули к моей помощи. Нет, ум великая вещь. В свете нужна тонкость. Я смотрю на жизнь совершенно с другой точки. Этак прожить, как дурак проживет, это не штука, но прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обмануту самому — вот настоящая задача и цель!

Явление XXIV

Ихарев и Глов, вбегающий торопливо.

Глов. Где ж они? я сейчас был в комнате, там пусто.

Ихарев. Да они сию минуту здесь были. На минуту вышли.

Глов. Как, вышли уж? и деньги у тебя взяли?

Ихарев. Да, мы с ними сделались, за тобою остановка.

Явление XXV

Те же и Алексей.

Алексей *(обращаясь к Глову).* Изволили спрашивать, где господа?

Глов. Да.

Алексей. Да они уж уехали.

Глов. Как уехали?

Алексей. Да так-с. Уж у них с полчаса стояла тележка и готовые лошади.

Глов *(всплеснув руками).* Ну, мы надуты оба!

Ихарев. Что за вздор! Я не могу понять ни одного слова. Утешительный сию минуту должен возвратиться сюда. Ведь ты знаешь, что теперь должен весь долг твой заплатить мне. Они перевели.

Глов. Какой черт долг! Получишь ты долг! Разве ты не чувствуешь, что в дураках и проведен, как пошлый пень?

Ихарев. Что ты за чепуху несешь? У тебя, видно, до сих пор в голове хмель распоряжается.

Глов. Ну, видно, хмель у обоих нас. Да проснись ты! Думаешь, я Глов? Я такой же Глов, как ты китайский император.

Ихарев *(беспокойно).* Что ты, помилуй, что за вздор? И отец твой… и…

Глов. Старик-то? Во-первых, он и не отец, да и черт ли и будут от него дети! А во-вторых, тоже не Глов, а Крыницын, да и не Михал Александрович, а Иван Климыч, из их же компании.

Ихарев. Послушай, ты! говори сурьезно, этим не шутят!

Глов. Какие шутки! Я сам участвовал и также обманут. Мне обещали три тысячи за труды.

Ихарев *(подходя к нему, запальчиво).* Эй, не шути, говорю тебе! Думаешь, я уж дурак такой… И доверенность, и приказ… и чиновник сейчас был из приказа, Псой Стахич Замухрышкин. Ты думаешь, я не могу за ним сейчас послать?

Глов. Во-первых, он и не чиновник из приказа, а отставной штабс-капитан из их же компании, да и не Замухрышкин, а Мурзафейкин, да и не Псой Стахич, а Флор Семенович!

Ихарев *(отчаянно).* Да ты кто? черт, ты говори, кто ты?

Глов. Да кто я? Я был благородный человек, поневоле стал плутом. Меня обыграли в пух, рубашки не оставили. Что ж мне делать, не умереть же с голода? За три тысячи я взялся участвовать, провести и обмануть тебя. Я говорю тебе это прямо: видишь, я поступаю благородно.

Ихарев *(в бешенстве схватывает за воротник его).* Мошенник ты!..

Алексей *(в сторону).* Ну, дело-то, видно, пошло на потасовку. Нужно отсюда убраться! *(Уходит.)*

Ихарев *(таща его).* Пойдем! пойдем!

Глов. Куда, куда?

Ихарев. Куда? *(В исступлении.)* Куда? к правосудью! к правосудью!

Глов. Помилуй, не имеешь никакого права.

Ихарев. Как! не имею права? Обворовать, украсть деньги среди дня, мошенническим образом! Не имею права? Действовать плутовскими средствами! Не имею права? А вот ты у меня в тюрьме, в Нерчинске, скажешь, что не имею права! Вот погоди, переловят всю вашу мошенническую шайку! Будете вы знать, как обманывать доверие и честность добродушных людей. Закон! закон! закон призову! *(Тащит его.)*

Глов. Да ведь закон ты мог бы призвать тогда, если бы сам не действовал противузаконным образом. Но вспомни: ведь ты соединился вместе с ними с тем, чтобы обмануть и обыграть наверное меня. И колоды были твоей же собственной фабрики. Нет, брат! В том и штука, что ты не имеешь никакого права жаловаться!

Ихарев *(в отчаянье бьет себя рукой по лбу).* Черт побери, в самом деле!.. *(В изнеможении упадает на стул.)*

Глов между тем убегает.

Но только какой дьявольский обман!

Глов *(выглядывая в дверь).* Утешься! Ведь тебе еще с полугоря! У тебя есть Аделаида Ивановна! *(Исчезает.)*

Ихарев *(в ярости).* Черт побери Аделаиду Ивановну! *(Схватывает Аделаиду Ивановну и швыряет ею в дверь. Дамы и двойки летят на пол.)* Ведь существуют же к стыду и поношенью человеков эдакие мошенники! Но только я просто готов

сойти с ума — как это все было чертовски разыграно! как тонко! И отец, и сын, и чиновник Замухрышкин! И концы все спрятаны! И жаловаться даже не могу! *(Схватывается со стула и в волнении ходит по комнате.)* Хитри после этого! Употребляй тонкость ума! Изощряй, изыскивай средства!.. Черт побери, не стоит просто ни благородного рвенья, ни трудов! Тут же под боком отыщется плут, который тебя переплутует! мошенник, который за один раз подорвет строение, над которым работал несколько лет! *(С досадой махнув рукой.)* Черт возьми! Такая уж надувательная земля! Только и лезет тому счастье, кто глуп, как бревно, ничего не смыслит, ни о чем не думает, ничего не делает, а играет только по грошу в бостон подержанными картами!

Утро делового человека

I

Кабинет; несколько шкафов с книгами; на столе разбросаны бумаги. Иван Петрович, деловой человек, потягиваясь, выходит в халате и звонит. Из передней слышен голос: «Сейчас!» Иван Петрович звонит во второй раз — опять тот же голос: «Сейчас!» Иван Петрович с нетерпением звонит в третий раз: входит слуга.

Иван Петрович. Что ты, оглох?

Лакей. Никак нет.

Иван Петрович. Что ж ты не изволил являться, когда я звоню в третий раз?

Лакей. Как же прикажете: мне нельзя было бросить дела, я сапоги чистил.

Иван Петрович. А Иван что делал?

Лакей. Иван мел комнату, а потом пошел в конюшню.

Иван Петрович. Подай сюда собачку.

Лакей приносит собачку.

Зюзюшка! Зюзюшка! а Зюзюшка! Вот я тебе бумажку привяжу. *(Нацепляет ей на хвост бумажку.)*

Вбегает другой лакей: «Александр Иванович!»

Проси. *(Бросает поспешно собачку и развертывает свод законов.)*

II

Иван Петрович и Александр Иванович, также деловой человек.

Александр Иванович. Доброго утра, Иван Петрович!

Иван Петрович. Как здоровье ваше, Александр Иванович?

Александр Иванович. Очень благодарен. Не помешал ли я вам?

Иван Петрович. О, как можно! Ведь я всегда занят. Ну что, в котором часу приехали домой?

Александр Иванович. Час шестой был. Я как поворотил из Офицерской, то спросил, подъезжая к будочнику:

«Не слышал ли, братец, который час?» — «Да шестой уже, говорит, пробило». Вот я и узнал, что уж был шестой час.

Иван Петрович. Представьте, я сам почти в то же время. Ну что, каков был вистец, хе, хе, хе?

Александр Иванович. Хе, хе, хе! Да, признаюсь, мне даже во сне он мерещился.

Иван Петрович. Хе, хе, хе, хе! Я гляжу, что это значит, что он кладет короля? У меня ведь на руках сам-третей дама крестов, а у Лукьяна Федосеевича, я давно вижу, что ренонс.

Александр Иванович. Длиннее всего тянулся восьмой робер.

Иван Петрович. Да. *(Помолчав.)* Я уже мигаю Лукьяну Федосеевичу, чтоб он козырял, — нет. А ведь тут только козырни — валет мой пик и берет.

Александр Иванович. Позвольте, Иван Петрович, валет не берет.

Иван Петрович. Берет.

Александр Иванович. Не берет, потому что вам никоим образом нельзя взять в руку.

Иван Петрович. А семерка пик у Лукьяна Федосеевича? позабыли разве?

Александр Иванович. Да разве у него была пиковка? Я что-то не помню.

Иван Петрович. Конечно, у него были две пики: четверка, которую он сбросил на даму, и семерка.

Александр Иванович. Только нет, позвольте, Иван Петрович, у него не могло быть больше одной пиковки.

Иван Петрович. Ах, Боже мой, Александр Иванович, кому вы это говорите! Две пиковки! Я как теперь помню: четверка и семерка.

Александр Иванович. Четверка была, это так; но семерки не было. Ведь он бы козырнул; согласитесь сами, ведь он бы козырнул?

Иван Петрович. Ей-Богу, Александр Иванович, ей-Богу!

Александр Иванович. Нет, Иван Петрович. Это совершенно невозможное дело.

Иван Петрович. Да позвольте, Александр Иванович! Вот лучше всего: поедем завтра к Лукьяну Федосеевичу. Согласны ли вы?

Александр Иванович. Хорошо.

Иван Петрович. Ну, и спросим у него лично: была ли на руках у него семерка пик?

Александр Иванович. Извольте, я не прочь. Впрочем, если посудить, странно, что Лукьян Федосеевич так дурно играет. Ведь нельзя сказать, чтобы он был без ума. Человек тонкий и в обращении...

Иван Петрович. И прибавьте: больших сведений! человек, каких, сказать по секрету, у нас мало на Руси. Были ли у его высокопревосходительства?

Александр Иванович. Был. Я теперь только от него.. Сегодня поутру было немножко холодненько. Ведь я, как, думаю, вам известно, имею обыкновение носить лосиновую фуфайку: она гораздо лучше фланелевой, и притом не горячит. По этому-то случаю я велел себе подать шубу. Приезжаю к его высокопревосходительству — его высокопревосходительство еще спит. Однако ж я дождался. Ну, тут пошли рассказы о том и о сем.

Иван Петрович. А про меня не было ничего говорено?

Александр Иванович. Как же, было и про вас. Да еще прелюбопытный вышел разговор.

Иван Петрович *(оживляется)*. Что, что такое?

Александр Иванович. Позвольте, позвольте рассказать по порядку. Тут презанимательная вещь. Его высокопревосходительство, между прочим, спросил, где я бываю, что так давно он меня не видит? и пожелал узнать о вчерашней вечеринке и кто был. Я сказал: «Были, ваше высокопревосходительство, Павел Григорьевич Борщов, Илья Владимирович Бубуницын». Его высокопревосходительство после каждого слова говорил: «Гм!» Я сказал: «И еще был один известный вашему высокопревосходительству...»

Иван Петрович. Кто ж это такой?

Александр Иванович. Позвольте! что ж бы, вы думали, сказал на это его высокопревосходительство?

Иван Петрович. Не знаю.

Александр Иванович. Он сказал: «Кто ж бы это такой?» — «Иван Петрович Барсуков», — отвечал я. «Гм! —

сказал его высокопревосходительство, — это чиновник и притом...» *(Поднимает вверх глаза.)* Довольно хорошо у вас потолки расписаны: на свой или хозяйский счет?

Иван Петрович. Нет, ведь это казенная квартира.

Александр Иванович. Очень, очень недурно: корзиночки, лира, вокруг сухарики, бубны и барабан! очень, очень натурально!

Иван Петрович *(с нетерпением).* Так что же сказал его высокопревосходительство?

Александр Иванович. Да, я и позабыл. Что ж он сказал?

Иван Петрович. Сказал «гм!» его высокопревосходительство; «это чиновник...»

Александр Иванович. Да, да; «это чиновник», ну, «и... служит у меня». После того разговор не был уже так интересен и начался об обыкновенных вещах.

Иван Петрович. А больше ничего не заговаривал обо мне?

Александр Иванович. Нет.

Иван Петрович *(про себя).* Ну, покамест еще не много. Господи Боже мой! ну что, если бы сказал он: «Такого-то Барсукова, в уважение тех и тех и прочих заслуг его, представляю...»

III

Те же и Шрейдер (выглядывает в дверь).

Иван Петрович. Войдите, войдите; ничего, пожалуйте сюда. Что, это для доклада?

Шрейдер. Для подписания. Здесь отношение в палату и рапорт управляющему.

Иван Петрович *(между тем читает).* «...Господину управляющему...» Что это значит? у вас поля по краям бумаги неровны. Как же это? Знаете ли, что вас можно посадить под арест?.. *(Устремляет на него глубокомысленный взор.)*

Шрейдер. Я говорил об этом Ивану Ивановичу: он мне сказал, что министр не будет смотреть на эту мелочь.

Иван Петрович. Мелочь! Ивану Ивановичу хорошо так говорить. Я сам то же думаю: министр точно не войдет в это. Ну, а вдруг вздумается?

Шрейдер. Можно переписать; только будет поздно. Но так как изволили сами сказать, что министр не войдет...

Иван Петрович. Так! это все правда. Я с вами совершенно согласен: он не займется этими пустяками. Ну, а в случае так ему придется: «Дай-ка посмотрю, велико ли место остается для полей?»

Шрейдер. Если так, я сейчас перепишу.

Иван Петрович. То-то «если так». Ведь я с вами говорю и объясняюсь, потому что вы воспитывались в университете. С другим бы я не стал тратить слов.

Шрейдер. Я осмелился только потому, что господин министр...

Иван Петрович. Позвольте, позвольте! Это совершенная истина: я с вами не спорю ни на волос. Так, министр на это никогда не посмотрит и не вспомнит даже про это. Ну а вдруг... Что тогда?

Шрейдер. Я перепишу. *(Уходит.)*

IV

Иван Петрович *(пожимая плечами, оборачивается к Александру Ивановичу)*. Все еще ветер ходит в голове! Порядочный молодой человек, недавно из университета, но вот тут *(показывая на лоб)* нет. Вы себе не можете представить, почтеннейший Александр Иванович, скольких трудов мне стоило привесть все это в порядок; посмотрели бы вы, в каком виде принял я нынешнее место! Вообразите, что ни один канцелярский не умел порядочно буквы написать. Смотришь: иной «къ» перенесет в другую строку; иной в одной строке пишет: «си», а в другой: «ятельству». Словом сказать: это был ужас! столпотворение вавилонское! Теперь возьмите вы бумагу: красиво! хорошо! душа радуется, дух торжествует. А порядок? порядок во всем!

Александр Иванович. Так вам чины, можно сказать, пóтом и кровью достались.

Иван Петрович *(вздохнув)*. Именно пóтом и кровью. Что ж будете делать, ведь у меня такой характер. Чем бы я теперь ни был, если бы сам доискивался! У меня бы места на груди не нашлось для орденов. Но что прикажете? не могу! Стороною я буду намекать часто, и экивоки подпускать, но сказать прямо,

попросить чего непосредственно для себя... нет, это не мое дело! Другие выигрывают беспрестанно... А у меня уж такой характер: до всего могу унизиться, но до подлости никогда! *(Вздохнувши.)* Мне бы теперь одного только хотелось — если б получить хоть орденок на шею. Не потому, чтобы это слишком занимало, но единственно чтобы видели только внимание ко мне начальства. Я вас буду просить, великодушнейший Александр Иванович, этак при случае, натурально мимоходом, намекнуть его высокопревосходительству: что у Барсукова-де в канцелярии такой порядок, какой вы редко где встречали, или что-нибудь подобное.

Александр Иванович. С большим удовольствием, если представится случай...

V

Те же и Катерина Александровна, жена Ивана Петровича.

Катерина Александровна *(увидев Александра Ивановича)*. А! Александр Иванович! Боже мой, как давно мы не видались! Позабыли меня! Что Наталья Фоминишна?

Александр Иванович. Слава Богу! неделю, впрочем, назад было захворала.

Катерина Александровна. Э!

Александр Иванович. В груди под ложечкой сделалась колика и стеснение. Доктор прописал очистительное и припарку из ромашки и нашатыря.

Катерина Александровна. Вы бы попробовали омеопатического средства.

Иван Петрович. Чудно, право, как подумаешь, до чего не доходит просвещение. Вот, ты говоришь, Катерина Александровна, про меопатию. Недавно был я в представлении. Что ж бы вы думали? Мальчишка, росту, как бы вам сказать, вот этакого *(показывает рукою)*, лет трех, не больше: посмотрели бы вы, как он пляшет на тончайшем канате! Я вас уверяю сурьезно, что дух занимается от страху.

Александр Иванович. Очень хорошо поет Мелас.

Иван Петрович *(значительно)*. Мелас? О да! с большим чувством!

Александр Иванович. Очень хорошо.

Иван Петрович. Заметили ли вы, как она ловко берет вот это?.. *(Вертит рукою перед глазами.)*

Александр Иванович. Именно, это она удивительно хорошо берет. Однако уж скоро два часа.

Иван Петрович. Куда же это вы, Александр Иванович?

Александр Иванович. Пора! Мне нужно еще места в три заехать до обеда.

Иван Петрович. Ну, так до свидания! Когда ж увидимся? Да, я и позабыл: ведь мы завтра у Лукьяна Федосеевича?

Александр Иванович. Непременно. *(Кланяется.)*

Катерина Александровна. Прощайте, Александр Иванович!

Александр Иванович *(в лакейской, накидывая шубу).* Не терплю я людей такого рода. Ничего не делает, жиреет только, а прикидывается, что он такой, сякой, и то наделал, и то поправил. Вишь, чего захотел! ордена! И ведь получит, мошенник! получит! Этакие люди всегда успевают. А я? ведь пятью годами старее его по службе, и до сих пор не представлен. Какая противная физиономия! И разнежился: ему совсем не хотелось бы, но только для того, чтобы показать внимание начальства. Еще просит, чтобы я замолвил за него! Да, нашел кого просить, голубчик! Я таки тебе удружу порядочно, и ты таки ордена не получишь! не получишь! *(Подтвердительно ударяет несколько раз кулаком по ладони и уходит.)*

Тяжба

I

Кабинет. Пролетов, сенатский обер-секретарь, один сидит в креслах и поминутно икает.

Что это у меня? точно отрыжка! вчерашний обед засел в горле; эти грибки да ботвиньи!.. Ешь, ешь, просто черт знает чего не ешь! *(Икает.)* Вот оно! *(Икает.)* Еще! *(Икает.)* Еще раз. *(Икает.)* Ну, теперь в четвертый! *(Икает.)* Туды к черту, и в четвертый! Прочитать еще «Северную Пчелу», что там такое? Надоела мне эта «Северная Пчела»: точь-в-точь баба, засидевшаяся в девках. *(Читает и вскрикивает.)* Крахманову награда! а? Петрушке Крахманову! Вот каким был мальчишкой *(показывает рукой)*, я поместил сам его кадетом в корпус, а? *(Продолжает читать и вскрикивает, вытаращив глаза.)* Что это? что это? Неужели Бурдюков? Да, он, Павел Петрович Бурдюков, произведен! а? каково? Взяточник, два раза был под судом, отец — вор, обокрал казну, гнуснейший человек, какого только можно представить себе, — каково? И ведь весь свет почитает его за прямодушного человека! Подлец! Говорит: «Дело Бухтелева решено не так, сенат не вникнул», — а? Просто, подлец, узнал, что на мою долю пришлось двадцать тысяч, — так вот зачем не ему! Как собака на сене: ни себе, ни другим. Ну, да я знаю тебя, ступай морочь других, прикидывайся перед другими. Я слышал про тебя кое-что такое. Право, досадно, что заглянул в газету, прочитаешь — чувствуешь тоску, гадость — и больше ничего. Эй, Андрей!

II

Лакей *(входя)*. Чего изволите-с?

Пролетов. Возьми вон эту газету! И к чему, зачем ты принес эту газету? Дурак этакой!

Андрей уносит газету.

Каков Бурдюков, а? Вот кого, не говоря дальних слов, упрятал бы в Камчатку. С большим наслаждением, признаюсь, нагадил бы ему, хоть сию минуту, да вот до сих пор нет да и нет случая. Что прикажешь делать? Разгневался Бог. А я бы тебя погладил, мазнул бы тебя по губам. Да уж и губы зато какие! как у вола, у канальи.

Лакей. Бурдюков приехал.

Пролетов. Что?

Лакей. Бурдюков приехал.

Пролетов. Что ты вздор несешь!

Лакей. Так точно-с.

Пролетов. Врешь ты, дурак! Бурдюков, ко мне? Павел Петрович Бурдюков!

Лакей. Нет, не Павел Петрович, а другой какой-то.

Пролетов. Какой другой?

Лакей. Да вот извольте сами видеть: он здесь.

Пролетов. Проси.

III

Пролетов и Христофор Петрович Бурдюков.

Бурдюков. Прошу извинить за беспокойство, что наношу вам. Обстоятельства и дела понудили оставить городишку. Приехал просить личной помощи, заступничества.

Пролетов *(в сторону).* Это, точно, другой; а есть, однако же, какое-то сходство. *(Вслух.)* Что прикажете? в чем могу быть вам полезным?

Бурдюков *(с пожатием плеч).* Дело, тяжба!

Пролетов. Тяжба? с кем?

Бурдюков. С родным братом.

Пролетов. Прежде позвольте узнать фамилию, а потом изъясните свое дело. Прошу покорно садиться.

Бурдюков. Фамилия: Бурдюков, Христофор Петров сын, а дело с родным братом, Павлом Петровым Бурдюковым.

Пролетов. Что вы!! Что? нет!

Бурдюков. Да что ж вы на меня уставили глаза? Или думаете, я бы захотел оставлять напрасно Тамбов и скакать на почтовых?

Пролетов. Господи благослови вас за такое доброе дело! Позвольте с вами покороче познакомиться. Умнее этого дела вы не могли никогда бы придумать. Вот рассказывай теперь, что нет великодушия и справедливости! А это что же? Ведь вот родной брат, узы крови, связи, а ведь не пощадил! На брата — процесс! Позвольте вас обнять.

Бурдюков. Извольте! я сам обниму вас за такую готовность.

Обнимаются.

А прежде, признаюсь, взглянувши на вашу физиогномию, никак нельзя было думать, чтобы вы были путный человек.

Пролетов. Вот тебе раз! Как так?

Бурдюков. Да сурьезно. Позвольте спросить: верно, покойница матушка ваша, когда была брюхата вами, перепугалась чего-нибудь?

Пролетов. Что за чепуху несет он?

Бурдюков. Нет, я вам скажу, вы не будьте в претензии, это очень часто случается. Вот у нашего заседателя вся нижняя часть лица баранья, так сказать, как будто отрезана, и поросла шерстью, совершенно как у барана. А ведь от незначительного обстоятельства: когда покойница рожала, подойди к окну баран и нелегкая подстрекни его заблеять.

Пролетов. Ну, оставим в покое заседателя и барана. Как же я рад!

Бурдюков. А уж я как рад, приобретши такое покровительство! Теперь только, как начинаю всматриваться в вас, вижу, что лицо ваше как будто знакомо: у нас в карабинерном полку был поручик, вот как две капли воды похож на вас! Пьяница страшнейший! то есть я вам скажу, что дня не проходило, чтобы у него рожа не была разбита.

Пролетов *(в сторону).* У этого уездного медведя, как видно, нет совсем обычая держать язык за зубами. Вся дрянь, какая ни есть на душе, — у него на языке. *(Вслух.)* Времени у меня немного; пожалуйста, приступим же к делу.

Бурдюков. Позвольте, сидя не расскажешь. Это дело казусное! Знавали ли в Устюжском уезде помещицу Евдокию Малафеевну Жеребцову? не знали? хорошо. Она доводится родной теткой мне и бестии моему брату. У ней ближайшими наследниками я да брат — изволите видеть: вот оно куды пошло! Кроме того, еще сестра, что вышла за генерала Повалищева; ну, о той ни слова, та и без того получила следуемую ей часть. Позвольте: вот этот мошенник, брат, — он на это хоть черту в дядьки годится, — вот и подъехал он к ней: «Вы-де, тетушка, уже прожили, слава Богу, семьдесят лет; где уже вам в таких преклонных летах мешаться самим в хозяйство: пусть лучше я буду приберегать и кормить». Вона! замечайте, замечайте! Переехал к ней в дом,

живет и распоряжается, как настоящий хозяин. Да вы слышите ли это?

Пролетов. Слышу.

Бурдюков. То-то! Да. Вот занемогает тетушка, отчего — Бог знает: может быть, он сам и подсунул ей чего-нибудь. Мне дают уже знать стороною. Замечайте! Приезжаю: в сенях встречает меня эта бестия, то есть брат, в слезах, так весь и заливается, и растаял, и говорит; «Ну, говорит, братец, навеки мы несчастны с тобою: благодетельница наша...» — «Что, отдала Богу душу?» — «Нет, при смерти». Я вхожу — и точно, тетушка лежит на карачках и только глазами хлопает. Ну что ж? плакать? Не поможет. Ведь не поможет?

Пролетов. Не поможет.

Бурдюков. Ну что ж? нечего делать! так, видно, Богу угодно! Я приступил поближе. «Ну, говорю, тетушка, мы все смертны, один Бог, как говорят, не сегодня, так завтра властен в нашей жизни: так не угодно ли вам заблаговременно сделать какое-нибудь распоряжение?» Что ж тетушка? Я вижу, не может уже языком поворотить, и только сказала: «э... э... э...» А эта шельма, что стоял возле кровати ее, брат, говорит: «Тетушка сим изъясняет, что она уже распорядилась». Слышите, слышите?

Пролетов. Как же! да ведь она разве сказала это?

Бурдюков. Кой черт сказала! Она сказала только: «э... э... э...» Я все подступаю: «Но позвольте же узнать, тетушка, какое же это распоряжение?» Что ж тетушка? Тетушка опять отвечает: «э, э, э». А тот подлец опять: «Тетушка говорит, что все распоряжение по этой части находится в духовном завещании». Слышите? слышите? Что ж мне было делать? я замолчал и не сказал ни слова.

Пролетов. Однако ж позвольте: как же вы не уличили тут же их во лжи?

Бурдюков. Что ж? *(Размахивает руками.)* Стали божиться, что она, точно, все это говорила. Ну ведь... и поверил.

Пролетов. А духовное завещание распечатали?

Бурдюков. Распечатали.

Пролетов. Что ж?

Бурдюков. А вот что. Как только все это, как следует, христианским долгом было отправлено, я и говорю, что не пора

ли прочесть волю умершей. Брат ничего и говорить не может: страданья, отчаянья такие, что люли только! «Возьмите, говорит, читайте сами». Собрались свидетели и прочитали. Как же бы вы думали было написано завещание? А вот как: «Племяннику моему, Павлу Петрову сыну Бурдюкову, — слушайте! — в возмездие его сыновних попечений и неотлучного себя при мне обретения до смерти — замечайте! замечайте! — оставляю во владение родовое и благоприобретенное имение мое в Устюжском уезде... — вона! вона! вона куды пошло! — пятьсот ревизских душ, угодья и прочее». А? слышите ли вы это? «Племяннице моей, Марии Петровой дочери Повалищевой, урожденной Бурдюковой, оставляю следуемую ей деревню изо ста душ. Племяннику, — вона! замечайте! вот тут настоящий типун! — Хрисанфию сыну Петрову Бурдюкову, — слушайте, слушайте! — на память обо мне... — ого! го! — завещаю: три штаметовые юбки и всю рухлядь, находящуюся в амбаре, как-то: пуховика два, посуду фаянсовую, простыни, чепцы», и там черт знает еще какое тряпье! А? как вам кажется? Я спрашиваю: на кой черт мне штаметовые юбки?

Пролетов. Ах он мошенник этакой! Прошу покорно!

Бурдюков. Мошенничество — это так, я с вами согласен; но спрашиваю я вас: на что мне штаметовые юбки? Что я с ними буду делать? разве себе на голову надену?

Пролетов. И свидетели подписались при этом?

Бурдюков. Как же, набрал какой-то сволочи.

Пролетов. А покойница собственноручно подписалась?

Бурдюков. Вот то-то и есть, что подписалась, да черт знает как!

Пролетов. Как?

Бурдюков. А вот как: покойницу звали Евдокия, а она нацарапала такую дрянь, что разобрать нельзя.

Пролетов. Как так?

Бурдюков. Черт знает что такое: ей нужно было написать: «Евдокия», — а она написала: «Обмокни».

Пролетов. Что вы!

Бурдюков. О, я вам скажу, что он горазд на все. «А племяннику моему Хрисанфию Петрову три штаметовые юбки»!

Пролетов *(в сторону)*. Молодец, однако ж, Павел Петрович Бурдюков; я бы никак не мог думать, чтобы он ухитрился так!

Бурдюков *(размахивая руками)*. «Обмокни»! что ж это значит? Ведь это не имя «Обмокни»?

Пролетов. Как же вы намерены поступить теперь?

Бурдюков. Я подал уже прошение об уничтожении завещания, потому что подпись ложная. Пусть они не врут: покойницу звали Евдокией, а не «Обмокни».

Пролетов. И хорошо! Позвольте теперь мне за все это взяться. Я сейчас напишу записку к одному знакомому секретарю, а вы между тем доставьте мне копию с завещания вашего.

Бурдюков. Несказанно обязан вам! *(Берется за шапку.)* А в которые двери нужно выходить — в те или в эти?

Пролетов. Пожалуйте в эти.

Бурдюков. То-то. Я потому спросил, что мне нужно еще будет по своей надобности. До свидания, почтеннейший. Как вас? Я все позабываю!

Пролетов. Александр Иванович.

Бурдюков. Александр Иванович! Александр Иванович есть Прольдюковский, вы не знакомы с ним?

Пролетов. Нет.

Бурдюков. Он еще живет в пяти верстах от моей деревни. Прощайте!

Пролетов. Прощайте, почтеннейший, прощайте!

IV

Пролетов, потом слуга.

Вот неожиданный клад! вот подарок! Просто Бог на шапку послал. Странно сказать, а по душе чувствуешь такое какое-то эдакое неизъяснимое удовольствие, как будто или жена в первый раз сына родила, или министр поцеловал тебя при всех чиновниках в полном присутствии. Ей-Богу! эдакое магнетическое какое-то! Эй, Андрей! ступай сейчас к моему секретарю и проси его сюда. Слышишь? Да постой: вот тебе на водку, напейся пьян как стелька, — для сегодняшнего дня я тебе позволяю; а вот еще сыну на пряники. Да скажи секретарю, чтобы — сейчас, самонужнейшее дело. А, наконец-таки, насилу! и на нашу улицу пришло веселье! Постой же, теперь я сяду играть, да и посмотрим, как ты будешь подплясывать. А уж коли из сенатских музыкантов наберу оркестр, так ты у меня так запляшешь, что во всю жизнь не отдохнут у тебя бока.

Лакейская

I

Театр представляет переднюю. Направо дверь на лестницу, налево — в зал. На заднем занавесе дверь, несколько сбоку — в кабинет. До самых дверей во всю стену длинная скамья. Петр, Иван и Григорий сидят на ней и спят, уткнувши головы один другому в плечо. В дверях с лестницы звенит громкий звонок. Лакеи пробуждаются.

Григорий. Ступай отвори дверь! звонят!

Петр. Да ты что сидишь? На ногах у тебя пузыри, что ли? встать не можешь?

Иван *(махнув рукой)*. Ну, уж я пойду, так и быть, отворю! *(Отворяя дверь, вскрикивает.)* Это Андрюшка!

Чужой слуга входит в картузе, в шинели и с узелком в руке.

Григорий. А, московская ворона! Откуда тебя принесло?

Чужой слуга. Ах ты, чухонский сын! Побегал бы ты с мое. Вот *(подымая узелок)* к цветочнице велела снесть, что на Петербургской. Небось четвертака на извозчика не даст. Да и к вашему тож. Что, спит?

Григорий. Кто? медведь? Нет, еще не рычал из берлоги.

Петр. Правда ли, что барыня ваша дает вам чулки штопать?

Все смеются.

Григорий. Ну, уж ты, брат, будь теперь штопальница. Уж мы так и звать тебя будем.

Чужой лакей. Врешь, а вот же и не штопал никогда.

Петр. Да ведь у вас известно: дворовый человек до обеда повар, а после обеда уж он кучер, или лакей, или башмаки шьет.

Чужой лакей. Ну так что ж, ремесло другому не помешает. Не сидеть же без дела. Конечно, я и лакей, да и женский портной вместе. И на барыню шью, и на других тоже — копейку добываю. А вы что, ведь вот ничего ж не делаете.

Григорий. Нет, брат, у хорошего барина лакея не займут работой, на то есть мастеровой. Вон у графа Булкина — тридцать, брат, человек слуг одних; и уж там, брат, нельзя так:

«Эй, Петрушка, сходи-ка туды». — «Нет, мол, скажет, это не мое дело; извольте-с приказать Ивану». Вон оно как! Вот оно что значит, если барин хочет жить как барин. А вон ваша пигалица из Москвы приехала — коляска-то орех раскушенный, веревками хвосты лошадям позавязаны.

Смеются.

Чужой лакей. Ну ты, смехун, смехун! Что ж из того, что лежишь весь день? Ведь зато ж ни копейки за душой у тебя нет.

Григорий. Да на что ж мне твоя копейка? а барин-то зачем? Ведь жалованье-то уж он мне выдаст, хоть я работай или не работай. А копить мне на старость зачем? Что ж за барин, коли уж пенсиона слуге не выдаст за службу?

Чужой лакей. Что? говорят, ребята бал затеяли?

Петр. Да. А ты будешь?

Чужой лакей. Да ведь что ж этот бал! только, чай, слава, что бал.

Григорий. Нет, брат, бал будет на всю руку. По целковому жертвуют и больше. Княжой повар дал пять рублей и сам берется стол готовить. Угощенье будет не то что орехи: уж полпуда конфект купили, мороженого тоже.

Слышен тоненький звонок из барского кабинета.

Чужой лакей. Ступай, звонит барин.

Григорий. Подождет... Лиминацию тоже зажгут. Музыку торговали, только не сошлись — баса нет, а то уж было...

Слышен звонок из кабинета громче прежнего.

Чужой лакей. Ступай! ступай! звонит.

Григорий. Подождет. Ну, ты сколько даешь?

Чужой лакей. Да ведь что ж этот бал, ведь это всё так.

Григорий. Ну, развязывай мошну, ты, штопальница! Вон смотри, Петрушка, на него, какой он...

Тыкает на него пальцем; в это время отворяется дверь кабинета, и барин, в халате, протянувши руку, схватывает Григория за ухо. Все подымаются с своих мест.

II

Барин. Что вы, бездельники? Три человека — и хоть бы один поднялся с своего места? Я звоню что есть мочи, чуть тесьмы не оборвал.

Григорий. Да ничего не было слышно, сударь.

Барин. Врешь!

Григорий. Ей-Богу! Что ж мне лгать? Вот Петрушка тоже сидел. Уж это такой колокольчик, судырь, никуды не годится: никогда ничего не слыхать. Нужно будет слесаря позвать.

Барин. Ну, так позвать слесаря.

Григорий. Да я уж сказывал дворецкому. Да ведь что ж? Ему говоришь, а ведь он еще и выбранит за это.

Барин *(увидя чужого лакея)*. Это что за человек?

Григорий. Это-с человек от Анны Петровны, зачем-то пришел к вам.

Барин. Что скажешь, брат?

Чужой лакей. Барыня приказала кланяться и доложить, что будут сегодня к вам.

Барин. Зачем, не знаешь?

Чужой лакей. Не могу знать. Они только сказали: «Скажи Федору Федоровичу, что я приказала кланяться и буду к ним».

Барин. Да когда, в котором часу?

Чужой лакей. Не могу знать, в котором часу. Они сказали только, что доложи-де, говорит, Федору Федоровичу, что я, говорит, к ним сама-де буду у них-с…

Барин. Хорошо. Петрушка, дай мне поскорей одеться: я иду со двора. А вы — не принимать никого! Слышишь, всем говорить, что меня нет дома! *(Уходит; за ним Петрушка.)*

III

Чужой лакей *(Григорию)*. Ну видишь, ведь вот и досталось.

Григорий *(махнув рукой)*. А! уж служба такая! как ни старайся — всё выбранят.

В дверях, что у лестницы, раздается звонок.

Вот опять какой-то черт лезет. *(Ивану.)* Ступай отворяй, что ж ты зеваешь?

Иван отворяет дверь; входит господин в шубе.

IV

Господин в шубе. Федор Федорович дома?

Григорий. Никак нет.

Господин. Досадно. Не знаешь, куда уехал?

Григорий. Неизвестно. Должно быть, в департамент. А как об вас доложить?

Господин. Скажи, что был Невелещагин. Очень, мол, жалел, что не застал дома. Слышишь? не позабудешь? Невелещагин.

Григорий. Лентягин-с.

Господин *(вразумительнее)*. Невелещагин.

Григорий. Да вы немец?

Господин. Какой немец! просто русский: Не-ве-ле-щагин.

Григорий. Слышь, Иван, не позабудь; Ердащагин!

Господин уходит.

V

Чужой лакей. Прощайте, братцы, пора уж и мне.

Григорий. Да что ж — на бал будешь, что ли?

Чужой лакей. Ну, да уж там посмотрю после. Прощай, Иван!

Иван. Прощай! *(Идет отворять дверь.)*

VI

Горничная девушка, бежит бегом через лакейскую.

Григорий. Куды, куды! удостойте взглядом! *(Хватает ее за полу платья.)*

Девушка. Нельзя, нельзя, Григорий Павлович! не держите меня, совсем-с некогда. *(Вырывается и убегает в дверь на лестницу.)*

Григорий *(смотря вслед ей)*. Вот она, как поплелась! *(Смеется.)* Хе, хе, хе!

Иван *(смеется)*. Хи, хи, хи!

Выходит барин. Рожи у Григория и Ивана вдруг становятся насупившись и сурьезны. Григорий снимает с вешалки шубу и накидывает барину на плечи. Барин уходит.

Григорий *(стоит среди комнаты, чистя пальцем в носу).* Ведь вот свободное время. Барин ушел, чего бы, кажется, лучше, — нет, сейчас привалит этот черт, брюхач-дворецкий.

За сценой слышен крик дворецкого: «Ведь вот, точно, Божеское наказание: десять человек в доме и хоть бы один что-нибудь прибрал».

Вон уж, пошел кричать толстобрюхий.

VII

Пузатый дворецкий (входит с сильными движениями и размахами рук). Побоялись бы хоть совести своей, коли Бога не боитесь. Ведь ковры до сих пор не выколочены. Вы бы, Григорий Павлович, пример другим должны бы дать, а вы спите ровно от утра до вечера; ведь глаза-то у вас совсем заплыли от сна, ей-Богу! Ведь вы совсем подлец после этого, Григорий Павлович.

Григорий. Да что ж? нешто я не человек, что уж и заснуть нельзя?

Дворецкий. Да кто ж против этого и слово говорит? Почему ж не заснуть? Но ведь не весь же день спать. Ну, вот хоть бы и ты, Петр Иванович! ведь ты, не говоря дурного слова, на свинью похож, ей-Богу! Ведь что тебе работы? всего два, три каких-нибудь подсвечника вычистить. Ну, зачем ты тут баишься?

Петр медленно уходит.

А тебе, Ванька, просто толчка в затылок следует.

Григорий *(уходя).* Эх ты, житье, житье! вставши да за вытье!

Дворецкий *(оставшись один).* В том-то и есть по-веденье, что всякий человек должен знать долг. Коли слуга, так слуга, дворянин, так дворянин, архиерей, так архиерей. А то бы, пожалуй, всякий зачал... я бы сейчас сказал: «Нет, я не дворецкий, а губернатор или там какой-нибудь от инфантерии». Да ведь зато мне всякий бы сказал: «Нет, врешь, ты дворецкий, а не генерал», — вот что! «Твоя обязанность смотреть за домом, за поведеньем слуг», — вот что! «Тебе не то, что бон жур, коман ву франсе, и веди порядок, распоряженье», — вот что! Да.

VIII

Входит Аннушка, горничная девушка из другого дома.

Дворецкий. А! Анна Гавриловна! Насчет моего почтения с большим удовольствием вас вижу.

Аннушка. Не беспокойтесь, Лаврентий Павлович! Я нарочно зашла к вам на минуту: я встретила карету вашего барина и узнала, что его нет дома.

Дворецкий. И очень хорошо сделали, я и жена будем очень рады. Пожалуйте, садитесь.

Аннушка *(севши)*. Скажите, ведь вы знаете что-нибудь о бале, который на днях затевается?

Дворецкий. Как же. Оно примерно, вот изволите видеть, складчина. Один человек, другой, примерно также сказать, третий. Конечно, это, впрочем, составит большую сумму. Я пожертвовал вместе с женою пять рублей. Ну, натурально, бал, или, что обыкновенно говорится, вечеринка. Конечно, будет угощение, примерно сказать, прохладительное. Для молодых людей танцы и тому прочие подобные удовольствия.

Аннушка. Непременно, непременно буду! Я только зашла затем, чтобы узнать, будете ли вы вместе с Агафьей Ивановной.

Дворецкий. Уж Агафья Ивановна только и говорит все что о вас.

Аннушка. Я боюсь только насчет общества.

Дворецкий. Нет, Анна Гавриловна, у нас будет общество хорошее. Не могу сказать наверно, но слышал, что будет камердинер графа Толстогуба, буфетчик и кучера князя Брюховецкого, горничная какой-то княгини… я думаю, тоже чиновники некоторые будут.

Аннушка. Одно только мне очень не нравится, что будут кучера. От них всегда запах простого табаку или водки; притом же все они такие необразованные, невежи.

Дворецкий. Позвольте вам доложить, Анна Гавриловна, что кучера кучерам рознь. Оно, конечно, так как кучера, по обыкновению больше своему, находятся неотлучно при лошадях, иногда подчищают, с позволения сказать, кал; конечно, человек простой, выпьет стакан водки или, по недостаточности больше, выкурит обыкновенного бакуну, какой большею частию простой

народ употребляет; да, так оно натурально, что от него иногда, примерно сказать, воняет навозом или водкой; конечно, все это так; да, однако ж, согласитесь сами, Анна Гавриловна, что есть и такие кучера, которые хотя и кучера, однако ж, по обыкновению своему, больше, примерно сказать, конюхи, нежели кучера. Их должность, или, так выразиться, дирекция, состоит в том, чтобы отпустить овес или укорить в чем, если провинился форейтор или кучер.

Аннушка. Как вы хорошо говорите, Лаврентий Павлович! я всегда вас заслушиваюсь.

Дворецкий *(с довольною улыбкою)*. Не стоит благодарности, сударыня. Оно, конечно, не всякий человек имеет, примерно сказать, речь, то есть дар слова. Натурально, бывает иногда... что, как обыкновенно говорят, косноязычие... Да. Или иные прочие подобные случаи, что, впрочем, уже происходит от натуры... Да не угодно ли вам пожаловать в мою комнату?

Аннушка идет. Лаврентий за нею.

Отрывок

Комната в доме Марьи Александровны.

I

Марья Александровна, пожилых лет дама,
и Михал Андреевич, ее сын.

Марья Александровна. Слушай, Миша, я давно хотела с тобою переговорить: тебе должно переменить службу.

Миша. Пожалуй, хоть завтра же.

Марья Александровна. Ты должен служить в военной.

Миша *(вытаращив глаза)*. В военной?

Марья Александровна. Да.

Миша. Что вы, маменька? в военной?

Марья Александровна. Ну что ж ты так изумился?

Миша. Помилуйте, да разве вы не знаете: ведь нужно начинать с юнкеров?

Марья Александровна. Ну да, послужишь год юнкером, а потом произведут в офицеры, — уж это мое дело.

Миша. Да что вы нашли во мне военного? и фигура моя совершенно невоенная. Подумайте, матушка! Право, вы меня изумили этакими словами совершенно, так что я, я… я просто не знаю, что и подумать… Я, слава Богу, и толстенек немножко, а как надену юнкерский мундир с короткими хвостиками — совестно даже будет смотреть.

Марья Александровна. Нет нужды. Произведут в офицеры, будешь носить мундир с длинными фалдами и совершенно закроешь толщину свою, так что ничего не будет заметно. Притом это и лучше, что ты немножко толст, — скорее пойдет производство: им же будет совестно, что у них в полку такой толстый прапорщик.

Миша. Но, матушка, ведь мне год, всего год осталось до коллежского асессора. Я уже два года, как в чине титулярного советника.

Марья Александровна. Перестань, перестань! Это слово «титулярный» тиранит мои уши; мне так и приходит на ум Бог знает что. Я хочу, чтобы сын мой служил в гвардии. На штафирку просто не могу и смотреть теперь!

Миша. Но посудите, матушка, рассмотрите меня хорошенько и наружность мою также: меня еще в школе звали хомяком. В военной службе все же нужно, чтобы и на лошади лихо ездил, и голос бы имел звонкий, и рост бы имел богатырский, и талию.

Марья Александровна. Приобретешь, всё приобретешь. Я хочу, чтобы ты непременно служил; на это есть очень важная причина.

Миша. Да какая же причина?

Марья Александровна. Ну, уж причина важная.

Миша. Все же таки скажите, какая причина?

Марья Александровна. Такая причина... я не знаю даже, поймешь ли ты хорошенько. Губомазова, эта дура, третьего дни у Рогожинских говорит, и нарочно так, чтобы я слышала. А я сижу третьею, передо мной Софи Вотрушкова, княгиня Александрина, и за княгиней Александриной сейчас я. Что бы, ты думал, эта негодная осмелилась говорить?.. Я, право, так и хотела встать с места; и если б не княгиня Александрина, я бы не знаю, что я сделала. Говорит: «Я очень рада, что на придворных балах не пускают штатских. Это такие всё, говорит, mauvais genre, чем-то неблагородным от них отзывается. Я рада, говорит, что мой Алексис не носит этого скверного фрака». И все это произнесла с таким жеманством, с таким тоном... так, право... я не знаю, что бы я сделала с нею. А ее сын просто дурак набитый: только всего и умеет, что подымать ногу. Такая противная мерзавка!

Миша. Как, матушка, так в этом вся причина?

Марья Александровна. Да, я хочу назло, чтобы мой сын тоже служил в гвардии и был бы на всех придворных балах.

Миша. Помилуйте, матушка, из того только, что она дура...

Марья Александровна. Нет, уж я решилась. Пусть-ка она себе треснет с досады, пусть побесится.

Миша. Однако ж...

Марья Александровна. О! я ей покажу! Уж как она хочет, я употреблю все старанья, и мой сын будет тоже в гвардии. Уж хоть чрез это и потеряет, а уж непременно будет. Чтобы я позволила всякой мерзавке дуться передо мною и подымать и без того курносый нос свой! Нет уж, вот этого-то никогда не будет! Уж как вы себе хотите, Наталья Андреевна!

Миша. Да разве этим вы ей досадите?

Марья Александровна. О, уж этого-то не позволю!

Миша. Если вы это требуете, маменька, я перейду в военную; только, право, мне самому будет смешно, когда увижу себя в мундире.

Марья Александровна. Уж, по крайней мере, гораздо благороднее этого фрачишки. Теперь второе: я хочу женить тебя.

Миша. За одним разом — и переменить службу и женить?

Марья Александровна. Что же? Как будто нельзя и переменить службу и женить?

Миша. Да ведь я и намеренья еще не имел. Я еще не хочу жениться.

Марья Александровна. Захочешь, если только узнаешь на ком. Этой женитьбой доставишь ты себе счастья и в службе, и в семейственной жизни. Словом, я хочу женить тебя на княжне Шлепохвостовой.

Миша. Да ведь она, матушка, дура первоклассная.

Марья Александровна. Вовсе не первоклассная, а такая же, как и все другие. Прекрасная девушка; вот только что памяти нет: иной раз забывается, скажет невпопад; но это от рассеянности, а уж зато вовсе не сплетница и никогда ничего дурного не выдумает.

Миша. Помилуйте, куды ей сплетничать! Она насилу слово может связать, да и то такое, что только руки расставишь, как услышишь. Вы знаете сами, матушка, что женитьба дело сердечное: нужно, чтобы душа...

Марья Александровна. Ну, так! я вот как будто предчувствовала. Послушай, перестань либеральничать. Тебе это не пристало, не пристало, я тебе двадцать раз уже говорила. Другому еще это идет как-то, а тебе совсем не идет.

Миша. Ах, маменька, но когда и в чем я был непослушен вам? Мне уже скоро тридцать лет, а между тем я, как дитя, покорен вам во всем. Вы мне велите ехать туды, куды бы мне смерть не хотелось ехать, — и я еду, не показывая даже и вида, что мне это тяжело. Вы мне приказываете потереться в передней такого-то — и я трусь в передней такого-то, хоть мне это вовсе не по сердцу. Вы мне велите танцевать на балах — и я танцую, хоть все надо мною смеются и над моей фигурой. Вы, наконец, велите мне

переменить службу — и я переменяю службу, в тридцать лет иду в юнкера; в тридцать лет я перерождаюсь в ребенка в угодность вам! И при всем том вы мне всякий день колете глаза либеральничеством. Не пройдет минуты, чтобы вы меня не назвали либералом. Послушайте, матушка, это больно! Клянусь вам, это больно! Я достоин за мою искреннюю любовь и привязанность к вам лучшей участи…

Марья Александровна. Пожалуйста, не говори этого! Будто я не знаю, что ты либерал; и знаю даже, кто тебе все это внушает: все этот скверный Собачкин.

Миша. Нет, матушка, это уже слишком, чтобы Собачкина я даже стал слушаться. Собачкин мерзавец, картежник и все что вы хотите. Но тут он невинен. Я никогда не позволю ему надо мною иметь и тени влияния.

Марья Александровна. Ах, Боже мой, какой ужасный человек! я испугалась, когда его узнала. Без правил, без добродетели — какой гнусный, какой гнусный человек! Если бы ты знал, что такое он разнес про меня!.. Я три месяца не могла никуда носа показать: что у меня подают сальные огарки; что у меня по целым неделям не вытираются в комнатах ковры щеткою; что я выехала на гулянье в упряжи из простых веревок на извозчичьих хомутах… Я вся краснела, я более недели была больна; я не знаю, как я могла перенести все это. Подлинно, одна вера в Провидение подкрепила меня.

Миша. И этакий человек, вы думаете, может иметь надо мною власть? и думаете, я позволю?..

Марья Александровна. Я сказала, чтоб он не смел мне на глаза показываться, и ты одним только можешь оправдать себя, когда без всякого упорства сделаешь княжне declaration сегодня же.

Миша. Но, матушка, а если нельзя это сделать?

Марья Александровна. Как нельзя, это почему?

Миша *(в сторону)*. Ну, решительная минута!.. *(Вслух.)* Позвольте мне хотя здесь иметь свой голос, хотя в деле, от которого зависит счастие моей будущей жизни. Вы не спросили еще меня… ну, если я влюблен в другую?

Марья Александровна. Это, признаюсь, для меня новость. Об этом я еще ничего не слышала. Да кто ж такая эта другая?

Миша. Ах, маменька, клянусь, никогда еще не было подобной! Ангел, ангел и лицом и душою!

Марья Александровна. Да чьих она, кто отец ее?

Миша. Отец — Александр Александрович Одосимов.

Марья Александровна. Одосимов? фамилия неслышная! Я ничего не знаю про Одосимова... да что он, богатый человек?

Миша. Редкий человек, удивительный человек!

Марья Александровна. И богатый?

Миша. Как вам сказать? Нужно, чтобы вы его видели. Таких достоинств души не сыщешь в свете.

Марья Александровна. Да что он, как, в чем состоит его чин, имущество?

Миша. Я понимаю, маменька, чего вы хотите. Позвольте мне на счет этот сказать откровенно мои мысли. Ведь теперь, как бы то ни было, может быть, во всей России нет жениха, который бы не искал богатой невесты. Всякий хочет поправиться на счет женина приданого. Ну, пусть еще в некотором отношении это извинительно: я понимаю, что бедный человек, которому не повезло по службе или в чем другом, которому, может быть, излишняя честность помешала составить состояние, — словом, что бы то ни было, но я понимаю, что он вправе искать богатой невесты; и, может быть, несправедливы бы были родители, если б не отдали должного его достоинствам и не выдали бы за него дочери. Но вы посудите, справедлив ли человек богатый, который будет искать тоже богатых невест, — что ж будет тогда на свете? Ведь это все равно что сверх шубы да надеть шинель, когда и без того жарко, когда эта шинель, может быть, прикрыла бы чьи-нибудь плечи. Нет, маменька, это несправедливо! Отец пожертвовал всем имуществом на воспитанье дочери.

Марья Александровна. Довольно, довольно! Больше я не в силах слушать. Все знаю, все: влюбился в потаскушку, дочь какого-нибудь фурьера, которая занимается, может, публичным ремеслом.

Миша. Матушка...

Марья Александровна. Отец — пьяница, мать — стряпуха, родня — кварташки или служащие по питейной части... И я должна все это слышать, все это терпеть, терпеть

от родного сына, для которого я не щадила жизни!.. Нет, я не переживу этого!

Миша. Но, матушка, позвольте…

Марья Александровна. Боже мой, какая теперь нравственность у молодых людей! Нет, я не переживу этого! клянусь, не переживу этого… Ах! что это? у меня закружилась голова! *(Вскрикивает.)* Ах, в боку колика!.. Машка, Машка, склянку!.. Я не знаю, проживу ли я до вечера. Жестокий сын!

Миша *(бросаясь)*. Матушка, успокойтесь! вы сами создаете для себя…

Марья Александровна. И все это наделал этот скверный Собачкин. Я не знаю, как не выгонят до сих пор эту чуму.

Лакей *(в дверях)*. Собачкин приехал.

Марья Александровна. Как Собачкин? Отказать, отказать, чтоб его и духу здесь не было!

II

Те же и Собачкин.

Собачкин. Марья Александровна! извините великодушно, что так давно не был. Ей-Богу, никак не мог! Поверить не можете, сколько дел; знал, что будете гневаться, право, знал… *(Увидя Мишу.)* Здравствуй, брат! Как ты?

Марья Александровна *(в сторону)*. У меня просто слов недостает! Каков? Еще извиняется, что давно не был!

Собачкин. Как я рад, что вы, судя по лицу, так свежи и здоровы. А братца вашего как здоровье? Я полагал, признаюсь, и его также застать у вас.

Марья Александровна. Для этого вы бы могли отправиться к нему, а не ко мне.

Собачкин *(усмехаясь)*. Я приехал рассказать вам один преинтересный анекдот.

Марья Александровна. Я не охотница до анекдотов.

Собачкин. Об Наталье Андреевне Губомазовой.

Марья Александровна. Как, об Губомазовой!.. *(Стараясь скрыть любопытство.)* Так это, верно, недавно случилось?

Собачкин. На днях.

Марья Александровна. Что ж такое?

Собачкин. Знаете ли, что она сама сечет своих девок?

Марья Александровна. Нет! что вы говорите? Ах, какой срам! можно ли это?

Собачкин. Вот вам крест! Позвольте же рассказать. Только один раз велит она виноватой девушке лечь, как следует, на кровать, а сама пошла в другую комнату, — не помню за чем-то, кажется за розгами. В это время девушка за чем-то выходит из комнаты, а на место ее приходит Натальи Андреевны муж, ложится и засыпает. Является Наталья Андреевна, как следует, с розгами, велит одной девушке сесть ему на ноги, накрыла простыней и — высекла мужа!

Марья Александровна *(всплеснув руками)*. Ах, Боже мой, какой срам! Как это до сих пор я ничего об этом не знала? Я вам скажу, что я почти всегда была уверена, что она в состоянии это сделать.

Собачкин. Натурально! Я это говорил всему свету. Толкуют: «Примерная жена, сидит дома, занимается воспитанием детей, сама учит их по-аглицки!» Какое воспитанье! Сечет всякий день мужа, как кошку!.. Как мне жаль, право, что я не могу пробыть у вас подолее. *(Раскланивается.)*

Марья Александровна. Куда ж это вы, Андрей Кондратьевич? Не совестно ли вам, столько времени у меня не бывши... Я всегда привыкла вас видеть, как друга дома; останьтесь! Мне хотелось еще с вами переговорить кое о чем. Послушай, Миша, у меня в комнате дожидается каретник; пожалуйста, переговори с ним. Спроси, возьмется ли он переделать карету к первому числу. Цвет чтобы был голубой с светлой уборкой, на манер кареты Губомазовой.

Миша уходит.

Я нарочно услала сына, чтобы переговорить с вами наедине. Скажите, вы, верно, знаете: есть какой-то Александр Александрович Одосимов?

Собачкин. Одосимов?.. Одосимов... Одосимов... Знаю, есть где-то Одосимов; а впрочем, я могу справиться.

Марья Александровна. Пожалуйста.

Собачкин. Помню, помню, есть Одосимов — столоначальник или начальник отделения... точно, есть.

Марья Александровна. Вообразите, вышла одна смешная история... Вы мне можете сделать большое одолжение.

Собачкин. Вам стоит только приказать. Для вас я готов на все, вы сами это знаете.

Марья Александровна. Вот в чем дело: мой сын влюбился, или, лучше, не влюбился, а просто зашло в голову сумасбродство… Ну, молодой человек… Словом, он бредит дочерью этого Одосимова.

Собачкин. Бредит? А, однако ж, он мне ничего об этом не сказал. Да, впрочем, конечно, бредит, если вы говорите.

Марья Александровна. Я хочу от вас, Андрей Кондратьевич, большой услуги: вы, я знаю, нравитесь женщинам.

Собачкин. Хе, хе, хе! Да вы почему это думаете? А ведь точно! Вообразите: на масленой шесть купчих… может быть, вы думаете, что я с своей стороны как-нибудь волочился или что-нибудь другое… Клянусь, даже не посмотрел! Да вот еще лучше: вы знаете того, как бишь его, Ермолай, Ермолай… Ах, Боже! Ермолай, вот что жил на Литейной, недалеко от Кирочной?

Марья Александровна. Не знаю там никого.

Собачкин. Ах, Боже мой! Ермолай Иванович, кажется, — вот хоть убей, позабыл фамилию. Еще жена его лет пять тому назад попала в историю. Ну, да вы знаете ее: Сильфида Петровна.

Марья Александровна. Совсем нет; не знаю я никакого ни Ермолая Ивановича, ни Сильфиды Петровны.

Собачкин. Боже мой! он еще жил недалеко от Куропаткина.

Марья Александровна. Да и Куропаткина я не знаю.

Собачкин. Да вы после припомните. Дочь, богачка страшная, до двухсот тысяч приданого; и не то чтобы с надуваньем, а еще до венца ломбардный билет в руки.

Марья Александровна. Что ж вы? не женились?

Собачкин. Не женился. Отец три дня на коленях стоял, упрашивал; и дочь не перенесла, теперь в монастыре сидит.

Марья Александровна. Почему ж вы не женились?

Собачкин. Да так как-то. Думаю себе: отец откупщик, родня — что ни попало. Поверите, самому, право, было потом жалко. Черт побери, право, как устроен свет: всё условия да приличия. Скольких людей уже погубили!

Марья Александровна. Ну, да что же вам смотреть на свет? *(В сторону.)* Прошу покорно! Теперь всякая чуть вылезшая козявка уже думает, что он аристократ. Вот всего какой-нибудь титулярный, а послушай-ка, как говорит!

Собачкин. Ну, да нельзя, Марья Александровна, право, нельзя, всё как-то… Ну, понимаете… Станут говорить: «Ну вот, женился черт знает на ком…» Да со мной, впрочем, всегда такие истории. Иной раз, право, совсем не виноват, с своей стороны решительно ничего… ну, что ты прикажешь делать? *(Говорит тихо.)* Ведь вот по вскрытии Невы всегда находят две-три утонувшие женщины, — я уж только молчу, потому что в такую еще впутаешься историю!.. Да, любят; а ведь за что бы, кажется? лицом нельзя сказать, чтобы очень…

Марья Александровна. Полно, будто вы сами не знаете, что вы хорош.

Собачкин *(усмехается)*. А ведь вообразите, что, еще как был мальчишкой, ни одна, бывало, не пройдет без того, чтобы не ударить пальцем под подбородок и не сказать: «Плутишка, как хорош!»

Марья Александровна *(в сторону)*. Прошу покорно! Ведь вот насчет красоты тоже — ведь моська совершенная, а воображает, что хорош. *(Вслух.)* Ну, так послушайте же, Андрей Кондратьевич, с вашею наружностью можно это сделать. Мой сын влюблен до дурачества и воображает, что она совершенная доброта и невинность. Нельзя ли как-нибудь, знаете, представить ее не в том виде, как-нибудь эдак, что называется, немножко замарать? Если вы, положим, не произведете на нее действия и она не сойдет с ума от вас…

Собачкин. Марья Александровна, сойдет! Не спорьте, сойдет! Я голову дам отрубить, если не сойдет. Я вам скажу, Марья Александровна, со мной не такие бывали истории… Вот еще на днях…

Марья Александровна. Ну, как бы то ни было, сойдет или не сойдет, только нужно, чтобы по городу разнеслись слухи, что вы с нею в связи… и чтобы это дошло до моего сына.

Собачкин. До вашего сына?

Марья Александровна. Да, до моего сына.

Собачкин. Да.

Марья Александровна. Что «да»?

Собачкин. Ничего, я так сказал «да».

Марья Александровна. Разве вы находите, что это для вас трудно?

Собачкин. О нет, ничего. Но все эти влюбленные... вы не поверите, какие у них несообразности, неуместные ребячества разные: то пистолеты, то... черт знает что такое... Конечно, я не то чтобы этим как-нибудь... но, знаете, неприлично в хорошем обществе.

Марья Александровна. О! насчет этого будьте покойны. Положитесь на меня, я не допущу его до того.

Собачкин. Впрочем, я так только заметил. Поверьте, Марья Александровна, я для вас, если бы пришлось точно порисковать где жизнью, то с удовольствием, ей-Богу, с удовольствием... Я так вас люблю, что, признаться сказать, даже совестно, — вы подумать можете Бог знает что, а это именно одно только глубочайшее уважение. Ах, вот хорошо, что вспомнил! я попрошу у вас, Марья Александровна, занять мне на самое короткое время тысячонки две. Черт его знает, какая дурацкая память! Одеваясь, все думал, как бы не позабыть книжку, нарочно положил на стол перед глазами. Что прикажете: всё взял — табакерку взял, платок даже лишний взял, а книжка осталась на столе.

Марья Александровна *(в сторону)*. Что с ним делать? Дашь — замотает, а не дашь — распустит по городу такую чепуху, что мне никуды нельзя будет носа показать. И мне нравится, что еще говорит: позабыл книжку! Книжка-то у тебя есть, я знаю, да пуста. А нечего делать, нужно дать. *(Вслух.)* Извольте, Андрей Кондратьевич; обождите только здесь, я вам их сейчас принесу.

Собачкин. Очень хорошо, я посижу здесь.

Марья Александровна *(уходя, в сторону)*. Без денег ничего, мерзавец, не может сделать.

Собачкин *(один)*. Да, эти две тысячи теперь мне и очень пригодятся. Долгов-то я отдавать не буду: и сапожник подождет, и портной подождет, и Анна Ивановна тоже подождет; конечно, раскричится, ну да что ж делать? нельзя же деньги сорить на все, с нее довольно и любви моей, а платье, она врет, у нее есть. А я сделаю вот как: скоро будет гулянье; колясчонка моя хоть и новая, ну да ее всякий уж видел и знает, а есть, говорят,

у Иохима, только еще что вышла, последней моды, еще он даже никому не показывает. Если прибавлю эти две тысячи к моей коляске, так я могу ее и весьма выменять. Так я, знаете, какого задам тогда эффекту! Может быть, на всем гулянье всего и будет только одна или две такие коляски! Так обо мне везде заговорят. А между тем нужно подумать об порученье Марьи Александровны. Мне кажется, благоразумнее всего начать с любовных писем. Написать письмо от имени этой девушки, да и выронить как-нибудь нечаянно при нем или позабыть на столе в его комнате. Конечно, может выйти как-нибудь плохо. Да, впрочем, что ж? надает ведь только тузанов. Тузаны, конечно, больно, да всё же ведь не до такой степени, чтобы… Да ведь я могу и удрать, и если что — в спальню Марьи Александровны и прямо под кровать; и пусть-ка он оттуда меня вытащит! Но, главное, как написать письмо? Смерть не люблю писать! то есть просто хоть зарежь! Черт его знает, так, кажется, на словах все бы славно изъяснил, а примешься за перо — просто как будто бы кто-нибудь оплеуху дал. Конфузия, конфузия, — не подымается рука, да и полно. Разве вот что? у меня есть кое-какие письма, еще недавно ко мне писанные: выбрать, которое получше, подскоблить фамилию, а на место ее написать другую… Что ж, чем же это не хорошо? право! Пошарить в кармане, — может быть, тут же посчастливится найти именно такое, как нужно. *(Вынимает из кармана пучок писем.)* Ну, хоть бы это, например *(читает)*: «Я очинь слава Богу здарова но за немогаю от боле. Али вы душенька совсем пазабыли. Иван Данилович видел вас душиньку в тиатере и то пришли бы успокоили веселостями разговора». Черт возьми! кажется, правописанья нет. Нет, этим, я думаю, не надуешь. *(Продолжает.)* «Я для вас душинька вышила подвязку». Ну, и разносилась с нежностями! Что-то буколического много, Шатобрианом пахнет. А вот, может быть, не будет ли здесь чего-нибудь? *(Развертывает другое и прищуривает глаз, стараясь разобрать.)* «Лю-без-ный друг!» Нет, это, однако ж, не любезный друг; что же, однако ж? Нежнейший, дражайший? Нет, и не дражайший, нет, нет. *(Читает.)* Ме, ме, е… рзавец». Хм! *(Сжимает губы.)* «Если ты, коварный обольститель моей невинности, не отдашь задолженные мною на мелочную лавочку деньги, которые я по неопытности сердечной для тебя, скверная рожа *(последнее слово читает почти сквозь*

зубы)... то я тебя в полицию». Черт знает что! Вот уж просто черт знает что! Вот уж именно ничего нет в этом письме. Конечно, обо всем можно сказать, но можно сказать благопристойно, выраженьями такими, которые бы не оскорбляли человека. Нет, нет, все эти письма, я вижу, как-то не то... совсем не годятся. Нужно поискать чего-нибудь сильного, где виден кипяток, кипяток, что называют. А вот, вот, посмотрим это. *(Читает.)* «Жестокий тиран души моей!» А, это что-то хорошее, однако ж. «Тронься сердечной моей участью!» И преблагородно! ей-Богу, преблагородно! Ведь вот видно воспитанье! Уж по началу видно, кто как себя поведет. Вот как нужно писать! Чувствительно, а между тем и человек не оскорблен. Вот это письмо я ему и подсуну. Далее уж и читать не нужно; только не знаю, как бы выскоблить так, чтобы не было заметно. *(Смотрит на подпись.)* Э, э! вот хорошо, даже имени не выставлено! Прекрасно! Это и подписать. Каково обделалось дельце само собою! А ведь говорят — наружность вздор: ну, не будь смазлив, не влюбились бы в тебя, а не влюбившись, не написали бы писем, а не имея писем, не знал бы, как взяться за это дело. *(Подходя к зеркалу.)* Еще сегодня как-то опустился, а то ведь иной раз точно даже что-то значительное в лице... Жаль только, что зубы скверные, а то бы совсем был похож на Багратиона. Вот не знаю, как запустить бакенбарды: так ли, чтобы решительно вокруг было бахромкой, как говорят — сукном обшит, или выбрить всё гольем, а под губой завести что-нибудь, а?

Театральный разъезд после представления новой комедии

Сени театра. С одной стороны видны лестницы, ведущие в ложи и галереи; посредине вход в кресла и амфитеатр; с другой стороны выход. Слышен отдаленный гул рукоплесканий.

Автор пьесы[1] *(выходя).* Я вырвался, как из омута! Вот наконец и крики и рукоплесканья! Весь театр гремит!.. Вот и слава! Боже, как бы забилось назад тому лет семь, восемь мое сердце, как бы встрепенулось все во мне! Но это было давно. Я был тогда молод, дерзкомыслен, как юноша. Благ Промысл, не давший вкусить мне ранних восторгов и хвал! Теперь… Но разумный холод лет умудрит хоть кого. Узнаешь наконец, что рукоплесканья еще не много значат и готовы служить всему наградой: актер ли постигнет всю тайну души и сердца человека, танцор ли добьется уменья выводить вензеля ногами, фокусник ли — всем им гремит рукоплесканье! Голова ли думает, сердце ли чувствует, звучит ли глубина души, работают ли ноги, или руки перевертывают стаканы — все покрывается равными плесками. Нет, не рукоплесканий я бы теперь желал: я бы желал теперь вдруг переселиться в ложи, в галереи, в кресла, в раек, проникнуть всюду, услышать всех мненья и впечатленья, пока они еще девственны и свежи, пока еще не покорились толкам и сужденьям знатоков и журналистов, пока каждый под влиянием своего собственного суда. Мне это нужно: я комик. Все другие произведения и роды подлежат суду немногих, один комик подлежит суду всех; над ним всякий зритель имеет уже право, всякого званья человек уже становится судьей его. О, как бы хотел я, чтобы каждый указал мне мои недостатки и пороки! Пусть даже посмеется надо мной, пусть недоброжелательство правит устами его, пристрастье, негодованье, ненависть — все что угодно, но пусть только произнесутся эти толки. Не может без причины произнестись слово, и везде может зарониться искра правды. Тот, кто решился указать смешные стороны другим, тот должен разумно принять

[1] Само собою разумеется, что автор пьесы лицо идеальное. В нем изображено положение комика в обществе, комика, избравшего предметом осмеяние злоупотреблений в кругу различных сословий и должностей.

указанья слабых и смешных собственных сторон. Попробую, останусь здесь в сенях во все время разъезда. Нельзя, чтобы не было толков о новой пьесе. Человек под влиянием первого впечатления всегда жив и спешит им поделиться с другим. *(Отходит в сторону.)*

Показывается несколько прилично одетых людей; один говорит, обращаясь к другому:

Выйдем лучше теперь. Играться будет незначительный водевиль.

Оба уходят. Два comme il faut, плотного свойства, сходят с лестницы.

Первый comme il faut. Хорошо, если бы полиция не далеко отогнала мою карету. Как зовут эту молоденькую актрису, ты не знаешь?

Второй comme il faut. Нет, а очень недурна.

Первый comme il faut. Да, недурна; но все чего-то еще нет. Да, рекомендую: новый ресторан; вчера нам подал свежий зеленый горох *(целует концы пальцев)* — прелесть!

Уходят оба. Бежит офицер, другой удерживает его за руку.

Первый офицер. Да останемся!

Другой офицер. Нет, брат, на водевиль и калачом не заманишь. Знаем мы эти пьесы, которые даются на закуску: лакеи вместо актеров, а женщины — урод на уроде.

Уходят.

Светский человек, щеголевато одетый *(сходя с лестницы)*. Плут портной претесно сделал мне панталоны, все время было страх неловко сидеть. За это я намерен еще проволочить его и годика два не заплачу долгов. *(Уходит.)*

Тоже светский человек, поплотнее *(говорит с живостью другому)*. Никогда, никогда, поверь мне, он с тобою не сядет играть. Меньше как по полтораста рублей роберт он не играет. Я знаю это хорошо, потому что шурин мой, Пафнутьев, всякий день с ним играет.

Автор пьесы *(про себя)*. И все еще никто ни слова о комедии!

Чиновник средних лет *(выходя с растопыренными руками).* Это просто черт знает что такое! Этакое... этакое... Это ни на что не похоже. *(Ушел.)*

Господин, несколько беззаботный на счет литературы *(обращаясь к другому).* Ведь это, однако ж, кажется, перевод?

Другой. Помилуйте, что за перевод! Действие происходит в России, наши обычаи и чины даже.

Господин, беззаботный на счет литературы. Я помню, однако ж, было что-то на французском, не совсем в этом роде.

Оба уходят.

Один из двух зрителей *(тоже выходящих вон).* Теперь еще ничего нельзя знать. Погоди, что скажут в журналах, тогда и узнаешь.

Две бекеши *(одна другой).* Ну, как вы? Я бы желал знать ваше мнение о комедии.

Другая бекеша *(делая значительные движения губами).* Да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того... в своем роде... Ну конечно, кто ж против этого и стоит, чтобы опять не было и... где ж, так сказать... а впрочем... *(Утвердительно сжимая губами.)* Да, да.

Уходят.

Автор *(про себя).* Ну, эти пока еще не много сказали. Толки, однако же, будут: я вижу, впереди горячо размахивают руками.

Два офицера.

Первый. Я еще никогда так не смеялся.

Второй. Я полагаю: отличная комедия.

Первый. Ну нет, посмотрим еще, что скажут в журналах; нужно подвергнуть суду критики... Смотри, смотри! *(Толкает его под руку.)*

Второй. Что?

Первый *(указывает пальцем на одного из двух идущих с лестницы).* Литератор!

Второй *(торопливо).* Который?

Первый. Вот этот! чш! послушаем, что будут говорить.

Второй. А другой кто с ним?

Первый. Не знаю; неизвестно какой человек.

Оба офицера посторониваются и дают им место.

Неизвестно какой человек. Я не могу судить относительно литературного достоинства, но, мне кажется, есть остроумные заметки. Остро, остро.

Литератор. Помилуйте, что ж тут остроумного? Что за низкий народ выведен, что за тон? Шутки самые плоские; просто даже сально!

Неизвестно какой человек. А, это другое дело. Я и говорю: в отношении литературного достоинства я не могу судить; я только заметил, что пьеса смешна, доставила удовольствие.

Литератор. Да и не смешна. Помилуйте, что ж тут смешного, и в чем удовольствие? Сюжет невероятнейший. Всё несообразности; ни завязки, ни действия, ни соображения никакого.

Неизвестно какой человек. Ну да, против этого я и не говорю ничего. В литературном отношении так, в литературном отношении она не смешна; но в отношении, так сказать, со стороны в ней есть...

Литератор. Да что же есть? Помилуйте, и этого даже нет! Ну что за разговорный язык? Кто говорит эдак в высшем обществе? Ну скажите сами, ну говорим ли мы с вами эдак?

Неизвестно какой человек. Это правда; это вы очень тонко заметили. Именно, я вот сам про это думал: в разговоре благородства нет. Все лица, кажется, как будто не могут скрыть низкой природы своей — это правда.

Литератор. Ну, а вы еще хвалите!

Неизвестно какой человек. Кто ж хвалит? я не хвалю. Я сам теперь вижу, что пьеса — вздор. Но ведь вдруг нельзя же этого узнать; я не могу судить в литературном отношении.

Оба уходят.

Еще литератор *(входит в сопровождении слушателей, которым говорит, размахивая руками)*. Поверьте мне, я знаю это дело: отвратительная пьеса! грязная, грязная пьеса! Нет ни одного лица истинного, всё карикатуры! В натуре нет этого;

поверьте мне, нет, я лучше это знаю: я сам литератор. Говорят: живость, наблюдение... да ведь это все вздор, это всё приятели, приятели хвалят, всё приятели! Я уже слышал, что его чуть не в Фонвизины суют, а пьеса просто недостойна даже быть названа комедиею. Фарс, фарс, да и фарс самый неудачный. Последняя пустейшая комедийка Коцебу в сравнении с нею Монблан перед Пулковскою горою. Я это им всем докажу, докажу математически, как дважды два. Просто друзья и приятели захвалили его не в меру, так вот он уж теперь, чай, думает о себе, что он чуть-чуть не Шекспир. У нас всегда приятели захвалят. Вот, например, и Пушкин. Отчего вся Россия теперь говорит о нем? Всё приятели: кричали, кричали, и потом вслед за ними и вся Россия стала кричать. *(Уходит вместе с слушателями.)*

Оба офицера подаются вперед и занимают их места.

Первый. Это справедливо, это совершенно справедливо: именно фарс; я это и прежде говорил: глупый фарс, поддержанный приятелями. Признаюсь, на многое даже отвратительно было смотреть.

Второй. Да ведь ты ж говорил, что еще никогда так не смеялся?

Первый. А это опять другое дело. Ты не понимаешь, тебе нужно растолковать. Тут что в этой пьесе? Во-первых, завязки никакой, действия тоже нет, соображенья решительно никакого, всё невероятности, и притом всё карикатуры.

Двое других офицеров позади.

Один *(другому)*. Кто это рассуждает? Кажется, из ваших?

Другой, заглянув сбоку в лицо рассуждавшего, махнул рукой.

Что, глуп?

Другой. Нет, не то чтобы... У него есть ум, но сейчас по выходе журнала; а запоздала выходом книжка — ив голове ничего. Но, однако ж, пойдем.

Уходят.
Два любителя искусств.

Первый. Я вовсе не из числа тех, которые прибегают только к словам: грязная, отвратительная, дурного тона и тому подобное. Это уже доказанное почти дело, что такие слова большею частью исходят из уст тех, которые сами очень сомнительного тона, толкуют о гостиных и допускаются только в передние. Но не об них речь. Я говорю насчет того, что в пьесе точно нет завязки.

Второй. Да, если принимать завязку в том смысле, как ее обыкновенно принимают, то есть в смысле любовной интриги, так ее точно нет. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сих пор на эту вечную завязку. Стоит вглядеться пристально вокруг. Все изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить во что бы ни стало другого, отметить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?

Первый. Все это хорошо; но и в этом отношении все-таки я не вижу в пьесе завязки.

Второй. Я не буду теперь утверждать, есть ли в пьесе завязка или нет. Я скажу только, что вообще ищут частной завязки и не хотят видеть общей. Люди простодушно привыкли уж к этим беспрестанным любовникам, без женитьбы которых никак не может окончиться пьеса. Конечно, это завязка, но какая завязка? — точный узелок на углике платка. Нет, комедия должна вязаться сама собою, всей своей массою, в один большой, общий узел. Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два, — коснуться того, что волнует более или менее всех действующих. Тут всякий герой; течение и ход пьесы производит потрясение всей машины: ни одно колесо не должно оставаться как ржавое и не входящее в дело.

Первый. Но все же не могут быть героями; один или два должны управлять другими?

Второй. Совсем не управлять, а разве преобладать. И в машине одни колеса заметней и сильней движутся, — их можно только назвать главными; но правит пьесою идея, мысль. Без нее нет в ней единства. А завязать может все: самый ужас, страх ожидания, гроза идущего вдали закона…

Первый. Но это выходит уж придавать комедии какое-то значение более всеобщее.

Второй. Да разве не есть это ее прямое и настоящее значение? Уже в самом начале комедия была общественным, народным созданием. По крайней мере, такою показал ее сам отец ее, Аристофан. После уже она вошла в узкое ущелье частной завязки, внесла любовный ход, одну и ту же непременную завязку. Зато как слаба эта завязка у самых лучших комиков! как ничтожны эти театральные любовники с их картонной любовью!

Третий *(подходя и ударив слегка его по плечу).* Ты не прав: любовь, так же как и другие чувства, может тоже войти в комедию.

Второй. Я и не говорю, чтобы она не могла войти. Но только и любовь и все другие чувства, более возвышенные, тогда только произведут высокое впечатление, когда будут развиты во всей глубине. Занявшись ими, неминуемо должно пожертвовать всем прочим. Все то, что составляет именно сторону комедии, тогда уже побледнеет и значение комедии общественной непременно исчезнет.

Третий. Стало быть, предметом комедии должно быть непременно низкое? Комедия выйдет уже низкий род.

Второй. Для того, кто будет глядеть на слова, а не вникать в смысл, это так. Но разве положительное и отрицательное не может послужить той же цели? Разве комедия и трагедия не могут выразить ту же высокую мысль? Разве все, до малейшей, излучины души подлого и бесчестного человека не рисуют уже образ честного человека? Разве все это накопление низостей, отступлений от законов и справедливости не дает уже ясно знать, чего требуют от нас закон, долг и справедливость? В руках искусного врача и холодная и горячая вода лечит с равным успехом одни и те же болезни. В руках таланта все может служить орудием к прекрасному, если только правится высокой мыслью послужить прекрасному.

Четвертый *(подходя).* Что может послужить прекрасному? и о чем у вас толки?

Первый. Спор завязался у нас о комедии. Мы все говорим о комедии вообще, а никто еще не сказал ничего о новой комедии. Что вы скажете?

Четвертый. А вот что скажу: виден талант, наблюдение жизни, много смешного, верного, взятого с натуры; но вообще во

всей пьесе чего-то нет. Как-то не видишь ни завязки, ни развязки. Странно, что наши комики никак не могут обойтись без правительства. Без него у нас не развяжется ни одна комедия.

Третий. Это правда. А впрочем, с другой стороны, это очень естественно. Мы все принадлежим правительству, все почти служим; интересы всех нас более или менее соединены с правительством. Стало быть, не мудрено, что это отражается в созданьях наших писателей.

Четвертый. Так. Ну и пусть эта связь будет слышна. Но смешно то, что пьеса никак не может кончиться без правительства. Оно непременно явится, точно неизбежный рок в трагедиях у древних.

Второй. Ну, видите: стало быть, это уже что-то невольное у наших комиков. Стало быть, это уже составляет какой-то отличительный характер нашей комедии. В груди нашей заключена какая-то тайная вера в правительство. Что ж? тут нет ничего дурного: дай Бог, чтобы правительство всегда и везде слышало призванье свое быть представителем Провиденья на земле и чтобы мы веровали в него, как древние веровали в рок, настигавший преступленья.

Пятый. Здравствуйте, господа! Я только и слышу слово «правительство». Комедия возбудила крики и толки…

Второй. Поговоримте лучше об этих толках и криках у меня, чем здесь, в театральных сенях.

Уходят.
Несколько почтенных прилично одетых людей появляются один за другим.

№ 1. Так, так, я вижу: это верно, что есть у нас и случается в иных местах и похуже; но для какой цели, к чему выводить это? — вот вопрос. Зачем эти представления? какая польза от них? вот что разрешите мне! Что мне нужды знать, что в таком-то месте есть плуты? Я просто… я не понимаю надобности подобных представлений. *(Уходит.)*

№ 2. Нет, это не осмеяние пороков; это отвратительная насмешка над Россиею — вот что. Это значит выставить в дурном виде самое правительство, потому что выставлять дурных чиновников и злоупотребления, которые бывают в разных

сословиях, — значит выставить самое правительство. Просто даже не следует дозволять таких представлений. *(Уходит.)*

Входят господин А. и господин Б., люди немаловажных чинов.

Господин А. Я не насчет этого говорю; напротив, злоупотребленья нам нужно показывать; нужно, чтобы мы видели свои проступки; и я ничуть не разделяю мнений многих, чересчур разгорячившихся патриотов; но только мне кажется, что не слишком ли много здесь чего-то печального...

Господин Б. Я бы очень хотел, чтобы вы услышали замечание одного очень скромно одетого человека, который сидел возле меня в креслах... Ах, вот он сам!

Господин А. Кто?

Господин Б. Именно этот очень скромно одетый человек. *(Обращаясь к нему.)* Мы с вами не кончили разговора, которого начало было так для меня интересно.

Очень скромно одетый человек. А я, признаюсь, очень рад продолжать его. Сейчас только я слышал толки, именно: что это все неправда, что это насмешка над правительством, над нашими обычаями и что этого не следует вовсе представлять. Это заставило меня мысленно припомнить и обнять всю пьесу, и, признаюсь, выражение комедии показалось мне теперь еще даже значительней. В ней, как мне кажется, сильней и глубже всего поражено смехом лицемерие — благопристойная маска, под которою является низость и подлость; плут, корчащий рожу благонамеренного человека. Признаюсь, я чувствовал радость, видя, как смешны благонамеренные слова в устах плута и как уморительно смешна стала всем, от кресел до райка, надетая им маска. И после этого есть люди, которые говорят, что не нужно выводить этого на сцену! Я слышал одно замечание, сделанное, как мне показалось, впрочем, довольно порядочным человеком: «А что скажет народ, когда увидит, что у нас бывают вот какие злоупотребления?»

Господин А. Признаюсь, вы извините меня, но мне самому тоже невольно представился вопрос: а что скажет народ наш, глядя на все это?

Очень скромно одетый человек. Что скажет народ? *(Посторонивается.)*

Проходят двое в армяках.

Синий армяк *(серому).* Небось праткие были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа!

Оба выходят вон.

Очень скромно одетый человек. Вот что скажет народ, вы слышали?

Господин А. Что?

Очень скромно одетый человек. Скажет: «Небось праткие были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа!» Слышите ли вы, как верен естественному чутью и чувству человек? Как верен самый простой глаз, если он не отуманен теориями и мыслями, надерганными из книг, а черплет их из самой природы человека! Да разве это не очевидно ясно, что после такого представления народ получит более веры в правительство? Да, для него нужны такие представления. Пусть он отделит правительство от дурных исполнителей правительства. Пусть видит он, что злоупотребления происходят не от правительства, а от не понимающих требований правительства, от не хотящих ответствовать правительству. Пусть он видит, что благородно правительство, что бдит равно над всеми его недремлющее око, что рано или поздно настигнет оно изменивших закону, чести и святому долгу человека, что побледнеют пред ним имеющие нечистую совесть. Да, эти представления ему должно видеть; поверьте, что если и случится ему испытать на себе прижимки и несправедливости, он выйдет утешенный после такого представления, с твердой верой в недремлющий, высший закон. Мне нравится тоже еще замечание: «народ получит дурное мнение о своих начальниках». То есть они воображают, что народ только здесь, в первый раз в театре, увидит своих начальников; что если дома какой-нибудь плут староста сожмет его в лапу, так этого он никак не увидит, а вот как пойдет в театр, так тогда и увидит. Они, право, народ наш считают глупее бревна, — глупым до такой степени, что будто уже он не в силах отличить, который пирог с мясом, а который с кашей. Нет, теперь мне кажется, даже хорошо то, что не выведен на сцену честный человек. Самолюбив человек: выстави ему при множестве дурных сторон одну хорошую, он уже гордо выйдет из театра. Нет, хорошо, что выставлены одни только исключенья

и пороки, которые колют теперь до того глаза, что не хотят быть их соотечественниками, стыдятся даже сознаться, что это может быть.

Господин А. Но неужели, однако ж, существуют у нас точь-в-точь такие люди?

Очень скромно одетый человек. Позвольте мне сказать вам на это вот что: я не знаю, почему мне всякий раз становится грустно, когда я слышу подобный вопрос. Я могу с вами говорить откровенно: в чертах лиц ваших я вижу что-то такое, что располагает меня к откровенности. Человек прежде всего делает запрос: «Неужели существуют такие люди?» Но когда было видено, чтобы человек сделал такой вопрос: «Неужели я сам чист вовсе от таких пороков?» Никогда, никогда! Да вот что, — я буду с вами говорить прямодушно. У меня доброе сердце, любви много в моей груди, но если бы вы знали, каких душевных усилий и потрясений мне было нужно, чтобы не впасть во многие порочные наклонности, в которые впадаешь невольно, живя с людьми! И как я могу сказать теперь, что во мне нет сию же минуту тех самых наклонностей, которым только что посмеялись назад тому десять минут все и над которыми я сам посмеялся.

Господин А. *(после некоторого молчания)*. Признаюсь, над словами вашими призадумаешься. И когда я вспомню, представлю себе, как гордыми сделало нас европейское наше воспитание, вообще как скрыло нас от самих себя, как свысока и с каким презрением глядим мы на тех, которые не получили подобной нам наружной полировки, как всякий из нас ставит себя чуть не святым, а о дурном говорит вечно в третьем лице, — то, признаюсь, невольно становится грустно душе... Но простите мою нескромность, — вы, впрочем, виноваты в ней сами, — позвольте узнать: с кем я имею удовольствие говорить?

Очень скромно одетый человек. А я не более не менее, как один из тех чиновников, в должности которых выведены были лица комедии, и третьего дня только приехал из своего городка.

Господин Б. Я бы этого не мог думать. И неужели вам не кажется после этого обидно жить и служить с такими людьми?

Очень скромно одетый человек. Обидно? А вот что я вам скажу на это: признаюсь, мне приходилось часто терять

терпенье. В городке нашем не все чиновники из честного десятка; часто приходится лезть на стену, чтобы сделать какое-нибудь доброе дело. Уже несколько раз хотел было я бросить службу; но теперь, именно после этого представления, я чувствую свежесть и вместе с тем новую силу продолжать свое поприще. Я утешен уже мыслью, что подлость у нас не остается скрытою или потворствуемой, что там, в виду всех благородных людей, она поражена осмеянием, что есть перо, которое не укоснит обнаружить низкие наши движения, хотя это и не льстит национальной нашей гордости, и что есть благородное правительство, которое дозволит показать это всем, кому следует, в очи, — и уж это одно дает мне рвение продолжать мою полезную службу.

Господин А. Позвольте сделать вам одно предложение. Я занимаю государственную должность довольно значительную. Мне нужны истинно благородные и честные помощники. Я вам предлагаю место, где вам будет обширное поле действия, где вы получите несравненно более выгод и будете на виду.

Очень скромно одетый человек. Позвольте мне от всей души и от всего сердца поблагодарить вас за такое предложение и вместе с тем позвольте отказаться от него. Если я уже чувствую, что полезен своему месту, то благородно ли с моей стороны его бросить? И как я могу оставить его, не будучи уверен твердо, что после меня не сядет какой-нибудь молодец, который начнет делать прижимки? Если же это предложение сделано вами в виде награды, то позвольте сказать вам: я аплодировал автору пьесы наравне с другими, но я не вызывал его. Какая ему награда? Пьеса понравилась — хвали ее, а он — он только выполнил долг свой. У нас, право, до того дошло, что не только по случаю какого-нибудь подвига, но просто, если только иной не нагадит никому в жизни и на службе, то уже считает себя Бог весть каким добродетельным человеком, сердится сурьезно, если не замечают и не награждают его. «Помилуйте, говорит, я целый век честно жил, совсем почти не делал подлостей, — как же мне не дают ни чина, ни ордена?» Нет, по мне, кто не в силах быть благородным без поощрения — не верю я его благородству; не стоит гроша его мышиное благородство.

Господин А. По крайней мере, вы мне не откажете в вашем знакомстве? Простите мою неотвязчивость; вы сами

видите, что она есть следствие моего искреннего уважения. Дайте мне ваш адрес.

Очень скромно одетый человек. Вот вам мой адрес; но будьте уверены, что я не допущу вас им воспользоваться и завтра же поутру явлюсь к вам. Извините меня, я не воспитан в большом свете и не умею говорить... Но встретить такое великодушное внимание в государственном человеке, такое стремление к добру... дай Бог, чтобы всякий Государь был окружен такими людьми! *(Поспешно уходит.)*

Господин А. *(переворачивая в руках карточку).* Я смотрю на эту карточку и на эту неизвестную мне фамилию, и как-то полно становится на душе моей. Это вначале грустное впечатление рассеялось само собою. Да хранит тебя Бог, наша малознаемая нами Россия! В глуши, в забытом углу твоем, скрывается подобный перл, и, вероятно, он не один. Они, как искры золотой руды, рассыпаны среди грубых и темных ее гранитов. Есть глубоко утешительное чувство в сем явлении, и душа моя осветилась после встречи с этим чиновником, как осветилась его собственная после представления комедии. Прощайте! Благодарю вас, что вы доставили мне эту встречу. *(Уходит.)*

Господин В. *(подходя к господину Б.).* Кто это был с вами? Кажется, он министр — а?

Господин П. *(подходя с другой стороны).* Помилуй, братец, ну что это такое, как же это в самом деле?..

Господин Б. Что?

Господин П. Ну, да как же выводить это?

Господин Б. Почему же нет?

Господин П. Ну да сам посуди ты: ну как же, право? Всё пороки да пороки; ну какой пример подаст это зрителям?

Господин Б. Да разве пороки хвалятся? Ведь они же выведены на осмеяние.

Господин П. Ну, да всё, брат, как ни говори: уваженье... ведь чрез это теряется уваженье к чиновникам и должностям.

Господин Б. Уваженье не теряется ни к чиновникам, ни к должностям, а к тем, которые скверно исполняют свои должности.

Господин В. Но позвольте, однако же, заметить: все это некоторым образом есть уже оскорбление, которое более или менее распространяется на всех.

Господин П. Именно. Вот это я сам хотел ему заметить. Это именно оскорбление, которое распространяется. Теперь, например, выведут какого-нибудь титулярного советника, а потом… э… пожалуй, выведут… и действительного статского советника.

Господин Б. Ну так что ж? Личность только должна быть неприкосновенна; а если я выдумал собственное лицо и придал ему кое-какие пороки, какие случаются между нами, и дал ему чин, какой мне вздумалось, хоть бы даже и действительного статского советника, и сказал бы, что этот действительный статский советник не таков, как следует: что ж тут такого? Разве не попадается гусь и между действительными статскими советниками?

Господин П. Ну уж, брат, это слишком. Как же может быть гусь действительный статский советник? Ну, пусть еще титулярный… Нет, ты уж слишком!

Господин В. Чем выставлять дурное, зачем же не выставить хорошее, достойное подражания?

Господин Б. Зачем? странный вопрос: «зачем?». Много можно сделать этаких «зачем». Зачем один отец, желая исторгнуть своего сына из беспорядочной жизни, не тратил слов и наставлений, а привел его в лазарет, где предстали пред ним во всем ужасе страшные следы беспорядочной жизни? Зачем он это сделал?

Господин В. Но позвольте вам заметить: это уже некоторым образом наши общественные раны, которые нужно скрывать, а не показывать.

Господин П. Это правда. Я с этим совершенно согласен. У нас дурное нужно скрывать, а не показывать.

Господин Б. Если бы слова эти были сказаны кем другим, а не вами, я бы сказал, что ими водило лицемерие, а не истинная любовь к отечеству. По-вашему, нужно бы только закрыть, залечить как-нибудь снаружи эти, как вы называете, общественные раны, лишь бы только покамест они не были видны, а внутри пусть свирепствует болезнь — до того нет нужды. Нет нужды, что она может взорваться и обнаружиться такими симптомами, когда уже всякое лечение поздно. До того нет нужды. Вы не хотите знать того, что без глубокой сердечной исповеди, без христианского сознания грехов своих, без преувеличенья их в собственных глазах наших не в силах мы возвыситься над ними, не в силах

возлететь душой превыше презренного в жизни. Вы не хотите знать этого! Пусть глух остается человек, пусть сонно проходит жизнь свою, пусть не содрогается, пусть не плачет в глубине сердца, пусть низведет до такого усыпленья свою душу, чтобы уже ничто не произвело в ней потрясения! Нет… простите меня! Холодный эгоизм движет устами, произносящими такие речи, а не святая, чистая любовь к человечеству. *(Уходит.)*

Господин П. *(после некоторого молчания).* Что ж ты молчишь? Каков? Чего не наговорил, а?

Господин В. молчит.

(Продолжая.) Он может себе говорить, что ему угодно, а ведь это все-таки наши, так сказать, раны.

Господин В. *(в сторону).* Ну, попались ему на язык эти раны! Будет он толковать о них и встречному и поперечному!

Господин П. Эдак, пожалуй, и я могу насказать кучу всего, да ведь что ж из этого?.. А, вот князь N. Послушай, князь, не уходи!

Князь N. А что?

Господин П. Ну, потолкуем, остановись! Ну что, как пьеса?

Князь N. Да смешна.

Господин П. Но, однако ж, скажи: как это представлять? на что это похоже?..

Князь N. Почему ж не представлять?

Господин П. Ну да посуди сам, ну да как же это: вдруг на сцене плут — ведь это всё наши раны.

Князь N. Какие раны?

Господин П. Да, это наши раны, наши, так сказать, общественные раны.

Князь N. *(с досадою).* Возьми их себе! Пусть они будут твои, а не мои раны! Что ты мне их тычешь? Мне пора домой. *(Уходит.)*

Господин П. *(продолжая).* И потом опять, что за чепуху он наговорил здесь? Говорит: действительный статский советник может быть гусь. Ну, еще пусть титулярный, это можно допустить…

Господин В. Однако ж пойдем, полно толковать; я думаю, что все проходящие узнали уже, что ты действительный

статский советник. *(В сторону.)* Есть люди, которые имеют искусство все охаять. Твою же мысль, повторивши, они умеют сделать ее так пошлою, что сам краснеешь. Скажешь глупость, она бы, может быть, так и проскользнула незамеченной, — нет, отыщется поклонник и приятель, который непременно пустит ее в ход и сделает еще глупее, чем она есть. Даже досадно, право: точно в грязь посадил.

Уходят.
Военный и статский выходят вместе.

Статский. Ведь вот вы какие, господа военные! Вы говорите «это нужно выводить на сцену»; вы готовы вдоволь посмеяться над каким-нибудь статским чиновником; а затронь как-нибудь военных, скажи только, что есть в таком-то полку офицеры, не говоря уже о порочных наклонностях, но просто скажи: есть офицеры дурного тона, с неприличными ухватками, — да вы из-за одного этого готовы с жалобой полезть в самый Государственный совет.

Военный. Ну, послушайте, за кого же вы меня считаете? Конечно, есть между нами такие донкишоты; но поверьте также, что есть много истинно рассудительных людей, которые будут рады всегда, если будет выведен на всеобщее осмеяние порочащий свое званье. Да и в чем здесь обида? Подавайте, подавайте нам его! Мы всякий день готовы смотреть.

Статский *(в сторону)*. Этак всегда кричит человек: «Подавайте! подавайте!» — а подашь — так и рассердится.

Уходят.
Две бекеши.

Первая бекеша. У французов тоже, например; но у них все это очень мило. Ну вот, помнишь, во вчерашнем водевиле раздевается, ложится в постель, схватывает со стола салатник и ставит его под кровать. Оно, конечно, нескромно, но мило. На все это можно смотреть, это не оскорбляет... У меня жена и дети всякий день в театре. А здесь — ну что это, право? — какой-нибудь мерзавец, мужик, которого бы я в переднюю не пустил, развалится с сапогами, зевает или ковыряет в зубах, — ну что это, право? на что это похоже?

Другая бекеша. У французов другое дело. Там société, mon cher! У нас это невозможно. У нас ведь сочинители совершенно без всякого образованья: все это большею частью воспитывалось в семинарии. Он и к вину наклонен, он и потаскун. К моему лакею тоже ходил в гости один какой-то сочинитель: где ж ему иметь понятие о хорошем обществе?

Уходят.

Светская дама *(в сопровождении двух мужчин: одного во фраке, другого в мундире).* Но что за люди, что за лица выведены! хотя бы один привлек... Ну, отчего не пишут у нас так, как французы пишут, например, как Дюма и другие? Я не требую образцов добродетели; выведите мне женщину, которая бы заблуждалась, которая бы даже изменила мужу, предалась, положим, самой порочной и непозволенной любви; но представьте это увлекательно, так, чтобы я побуждена была к ней участьем, чтобы я полюбила ее... А ведь здесь все лица — один отвратительней другого.

Мужчина в мундире. Да, тривиально, тривиально.

Светская дама. Скажите: отчего у нас в России все еще так тривиально?

Мужчина во фраке. Душа моя, после расскажешь, отчего тривиально: кричат нашу карету.

Уходят.
Выходят трое мужчин вместе.

Первый. Почему же не посмеяться? смеяться можно; но что за предмет для насмешки — злоупотребления и пороки? Какая здесь насмешка?

Второй. Так над чем же смеяться? Разве над добродетелями, над достоинствами человека?

Первый. Нет; да это не предмет для комедии, мой милый! Это уже некоторым образом касается правительства. Как будто нет других предметов, о чем можно писать?

Второй. Какие же другие предметы?

Первый. Ну да мало ли есть всяких смешных светских случаев? Ну, положим, например, я отправился на гулянье на Аптекарский остров, а кучер меня вдруг завез на Выборгскую или к Смольному монастырю. Мало ли есть всяких смешных сцеплений?

Второй. То есть вы хотите отнять у комедии всякое сурьезное значение. Но зачем же издавать непременный закон? Комедий в том именно вкусе, в каком вы желаете, есть множество. Почему же не допустить существования двух, трех таких, какова была игранная теперь? Если же вам нравятся те, о которых вы говорите, поезжайте только в театр: там всякий день вы увидите пьесу, где один спрятался под стул, а другой вытащил его оттуда за ногу.

Третий. Ну нет, послушайте, это не то. Всему есть свои границы. Есть вещи, над которыми, так сказать, не следует смеяться, которые в некотором роде уже святыня.

Второй *(про себя, с горькой усмешкой)*. Так всегда на свете: посмейся над истинно благородным, над тем, что составляет высокую святыню души, — никто не станет заступником; посмейся же над порочным, подлым и низким — все закричат: «Он смеется над святыней!»

Первый. Ну вот видите ли, вы, я вижу, теперь убеждены: не говорите ни слова. Поверьте, нельзя не быть убеждену: это истина. Я сам человек беспристрастный и говорю, не то чтобы... но просто это не авторское дело, это не предмет для комедии. *(Уходит.)*

Второй *(про себя)*. Признаюсь, я бы ни за что не захотел быть на месте автора. Прошу угодить! Избери маловажные светские случаи, все будут говорить: «Он пишет вздор, никакой нет глубокой нравственной цели»; избери предмет, сколько-нибудь имеющий сурьезную нравственную цель — будут говорить: «Не его дело, пиши пустяки!» *(Уходит.)*

Молодая дама большого света в сопровождении мужа.

Муж. Карета наша не должна быть далеко, мы можем скоро уехать.

Господин N. *(подходя к даме)*. Что вижу! Вы приехали смотреть русскую пьесу!

Молодая дама. Что ж тут такого? разве я уже ничуть не патриотка?

Господин N. Ну, если так, то вы не очень насытили патриотизм свой. Вы, верно, браните пьесу?

Молодая дама. Совсем нет. Я нахожу, что многое очень верно: я смеялась от души.

Господин N. Отчего же вы смеялись? Оттого ли, что любите посмеяться над всем, что русское?

Молодая дама. Оттого, что просто было смешно. Оттого, что выведена была внаружу та подлость, низость, которая в какое бы платье ни нарядилась, хотя бы она была и не в уездном городке, а здесь, вокруг нас, — она была бы такая же подлость или низость: вот отчего смеялась.

Господин N. Мне говорила сейчас одна очень умная дама, что она тоже смеялась, но что при всем том пьеса произвела на нее грустное впечатление.

Молодая дама. Я не хочу знать, что чувствовала ваша умная дама; но у меня не так чувствительны нервы, и я всегда рада смеяться над тем, что внутренне смешно. Я знаю, что есть иные из нас, которые от души готовы посмеяться над кривым носом человека и не имеют духа посмеяться над кривою душою человека.

Вдали показывается тоже молодая дама с мужем.

Господин N. А вот идет ваша приятельница. Я бы желал знать ее мнение о комедии.

Обе дамы подают друг другу руку.

Первая дама. Я видела издали, как ты смеялась.

Вторая дама. Да кто же не смеялся? все смеялись.

Господин N. А не чувствовали вы никакого грустного чувства?

Вторая дама. Признаюсь, мне было точно грустно. Я знаю, все это очень верно; я сама тоже видела много подобного, но при всем том мне было тяжело.

Господин N. Стало быть, комедия вам не понравилась?

Вторая дама. Ну, послушайте, кто ж это говорит? Я вам говорю уже, что я смеялась от всей души, и больше даже, нежели все другие; я думаю, меня приняли даже за безумную... Но мне было грустно оттого, что хотелось бы отдохнуть хоть на одном добром лице. Это излишество и множество низкого...

Господин N. Говорите, говорите!

Вторая дама. Послушайте, посоветуйте автору, чтобы он вывел хоть одного честного человека. Скажите ему, что об этом его просят, что это будет, право, хорошо.

Муж первой дамы. А вот же этого именно и не советуйте. Дамам хочется непременно рыцаря, чтобы он тут же твердил им за всяким словом о благородстве, хотя бы самым пошлым слогом.

Вторая дама. Совсем нет! Как вы мало знаете нас! Вот вам-то принадлежит это! Вы именно любите только одни слова и толки о благородстве. Я слышала суждение одного из вас: один толстяк кричал так, что, я думаю, всех заставил на себя обратиться, — что это клевета, что подобных низостей и подлостей у нас никогда не делается. А кто говорил? — самый низкий и подлый человек, который готов продать свою душу, совесть и все что хотите. Я не хочу только назвать его по имени.

Господин N. Ну скажите же, кто это был?

Вторая дама. Зачем вам знать? Да не он один; я слышала беспрестанно, как около нас кричали: «Это отвратительная насмешка над Россией, насмешка над правительством! Да как это позволить? Да что скажет народ?» А отчего они кричали? Оттого ли, что в самом деле думали и чувствовали это? Извините? Оттого, чтобы произвести шум, чтобы запретили пьесу, потому что в ней, может быть, отыскали кое-что похожее на самих себя. Вот каковы ваши настоящие, не театральные рыцари!

Муж первой дамы. О! да у вас уж начинает рождаться маленькая злость!

Вторая дама. Злость, именно злость. Да, я зла, очень зла. И нельзя не быть злою, видя, как подлость является под всякими личинами.

Муж первой дамы. Ну да: вам бы хотелось, чтобы сейчас выскочил рыцарь, прыгнул через какую-нибудь пропасть, сломил бы себе шею...

Вторая дама. Извините.

Муж первой дамы. Натурально: женщине что нужно? Ей непременно нужно, чтобы в жизни был роман.

Вторая дама. Нет, нет, нет! Двести раз готова говорить: нет! Это пошлая, старая мысль, которую вы нам навязываете беспрестанно. У женщины больше истинного великодушия, чем у мужчины. Женщина не может, женщина не в силах сделать тех подлостей и гадостей, какие делаете вы. Женщина не может там лицемерить, где лицемерите вы, не может смотреть сквозь

пальцы на те низости, на которые вы смотрите. В ней есть довольно благородства для того, чтобы сказать все это, не осматриваясь по сторонам, понравится ли это кому-либо, или нет, — потому что это нужно говорить. Что подло, то подло, как вы ни скрывайте его и какой ни давайте вид. Это подло, подло, подло!

Муж первой дамы. Да вы, я вижу, рассердились во всех отношениях.

Вторая дама. Потому что я откровенна и не могу вынести, когда говорят неправду.

Муж первой дамы. Ну, не сердитесь же, дайте мне вашу ручку! Я пошутил.

Вторая дама. Вот вам рука моя, я не сержусь. *(Обращаясь к N.)* Послушайте, посоветуйте автору, чтобы он вывел в комедии благородного и честного человека.

Господин N. Да как же это сделать? Ну, если он выведет честного человека, а этот честный человек будет похож на театрального рыцаря?

Вторая дама. Нет, если он сильно и глубоко чувствует, то герой его не будет театральным рыцарем.

Господин N. Да ведь, я думаю, это не так легко сделать.

Вторая дама. Просто скажите лучше, что у автора вашего нет глубоких и сильных движений сердечных.

Господин N. Отчего ж так?

Вторая дама. Ну да уж кто беспрестанно и вечно смеется, тот не может иметь слишком высоких чувств; ему не может быть знакомо то, что чувствует одно только нежное сердце.

Господин N. Вот хорошо! Стало быть, по-вашему, автор не должен быть благородный человек?

Вторая дама. Ну вот видите, вы сейчас перетолковываете в другую сторону. Я не говорю ни слова о том, чтобы у комика не было благородства и строгого понятия о чести во всем смысле слова. Я говорю только, что он не мог бы... выронить сердечную слезу, любить что-нибудь сильно, всей глубиной души.

Муж второй дамы. Но как же ты можешь сказать это утвердительно?

Вторая дама. Могу, потому что знаю. Все люди, которые смеялись или были насмешниками, все они были самолюбивы, все почти эгоисты; конечно, благородные эгоисты, но всё же эгоисты.

Господин N. Стало быть, вы решительно предпочитаете только тот род сочинений, где действуют одни высокие движенья человека?

Вторая дама. О, конечно! Я их всегда поставлю выше, и, признаюсь, я больше имею душевной веры к такому автору.

Муж первой дамы *(обращаясь к господину N.)*. Ну, разве ты не видишь, — выходит опять то же. Это женский вкус. Для них самая пошлая трагедия выше самой лучшей комедии, уж потому только, что она трагедия...

Вторая дама. Молчите, я опять буду зла. *(Обращаясь к N.)* Ну, скажите, не правду ли я сказала: ведь у комика душа непременно должна быть холодная?

Муж второй дамы. Или горячая, потому что раздражительность характера возбуждает тоже к насмешкам и сатирам.

Вторая дама. Ну, или раздражительная. Но что же это значит? Это значит, что причиною таких произведений все же была желчь, ожесточение, негодование, может быть и справедливое во всех отношениях. Но нет того, что бы показывало, что это порождено высокой любовью к человечеству... словом, любовью. Не правда ли?

Господин N. Это правда.

Вторая дама. Ну скажите: похож автор комедии на этот портрет?

Господин N. Как вам сказать? Я не знаю так коротко его, чтобы мог судить о душе его. Но, соображая все, что я о нем слышал, он точно должен быть или эгоист, или очень раздражительный человек.

Вторая дама. Ну, видите ли, я это хорошо знала.

Первая дама. Не знаю почему, но мне бы не хотелось, чтобы он был эгоистом.

Муж первой дамы. А вот идет наш лакей, стало быть, карета готова. Прощайте. *(Пожимая руку второй дамы.)* Вы к нам, не правда ли? Чай пьем у нас?

Первая дама *(уходя)*. Пожалуйста!

Вторая дама. Непременно.

Муж второй дамы. Кажется, наша карета тоже готова.

Уходят за ними.
Выходят двое зрителей.

Первый. Вот что растолкуйте мне: отчего, разбирая порознь всякое действие, лицо и характер, видишь: все это правда, живо, взято с натуры, а вместе кажется уже чем-то громадным, преувеличенным, карикатурным, так что, выходя из театра, невольно спрашиваешь: неужели существуют такие люди? А между тем ведь они не то чтобы злодеи.

Второй. Ничуть, они вовсе не злодеи. Они именно то, что говорит пословица: «Не душой худ, а просто плут».

Первый. И потом еще одно: это громадное накопление, это излишество — не есть ли уже недостаток комедии? Скажите мне, где есть такое общество, которое бы состояло все из таких людей, чтобы не было если не половины, то, по крайней мере, некоторой части порядочных людей? Если комедия должна быть картиной и зеркалом общественной нашей жизни, то она должна отразить ее во всей верности.

Второй. Во-первых, по моему мнению, эта комедия вовсе не картина, а скорее фронтиспис. Вы видите — и сцена, и место действия идеальны. Иначе автор не сделал бы очевидных погрешностей и анахронизмов, не вставил бы даже иным лицам тех речей, которые, по свойству своему и по месту, занимаемому лицами, не принадлежат им. Только первая раздражительность приняла за личность то, в чем нет и тени личности и что принадлежит более или менее личности всех людей. Это — сборное место: отовсюду, из разных углов России, стеклись сюда исключения из правды, заблуждения и злоупотребления, чтобы послужить одной идее — произвести в зрителе яркое, благородное отвращение от многого кое-чего низкого. Впечатление еще сильней оттого, что никто из приведенных лиц не утратил своего человеческого образа: человеческое слышится везде. Оттого еще глубже сердечное содроганье. И, смеясь, зритель невольно оборачивается назад, как бы чувствуя, что близко от него то, над чем он посмеялся, и что ежеминутно должен он стоять на страже, чтобы не ворвалось оно в его собственную душу. Я думаю, забавней всего слышать автору упреки: «зачем лица и герои его не привлекательны», — тогда как он употребил все, чтобы оттолкнуть от них. Да если бы хотя одно лицо честное было помещено в комедию, и помещено со всей увлекательностью, то уже все до одного перешли бы на сторону этого честного лица и позабыли бы вовсе

о тех, которые так испугали их теперь. Эти образы, может быть, не мерещились бы беспрестанно, как живые, по окончании представленья; зритель не унес бы грустного чувства и не говорил бы: «Неужели существуют такие люди?»

Первый. Да. Ну, это, однако же, не вдруг поймут.

Второй. Весьма естественно. Смысл внутренний всегда постигается после. И чем живее, чем ярче те образы, в которые он облекся и на которые раздробился, тем более останавливается всеобщее внимание на образах. Только сложивши их вместе, получишь итог и смысл созданья. Но разбирать и складывать такие буквы быстро, читать по верхам и вдруг — не всякий может; а до тех пор долго будут видеть одни буквы. И вы увидите, вот я вам говорю это вперед: прежде всего рассердится всякий уездный городишко в России и будет утверждать, что это злая сатира, пошлая, низкая выдумка, направленная именно на него.

Уходят.

Один чиновник. Это пошлая, низкая выдумка, это сатира, пасквиль!

Другой чиновник. Теперь, значит, уж ничего не осталось. Законов не нужно, служить не нужно. Вицмундир, вот который на мне, — его, значит, нужно бросить: он уж теперь тряпка.

Бегут двое молодых людей.

Один. Ну, все рассердились. Я уж столько наслышался толков, что могу, взглянувши, угадать, что каждый думает о пьесе.

Другой. Ну, что думает вот этот?

Первый. Вот тот, который надевает шинель в рукава?

Другой. Да.

Первый. Вот что он думает: «За такую комедию тебя бы в Нерчинск!..» Однако ж тронулось, кажется, верхнее население; водевиль, как видно, кончился. Сейчас нахлынут разночинцы. Уйдем.

Оба уходят.

Шум увеличивается: по всем лестницам раздается беготня. Бегут армяки, полушубки, чепцы, немецкие долгополые кафтаны купцов, треугольные шляпы и султаны, шинели всех родов: фризовые, военные, подержанные и щегольские — с бобрами. Толпа сталкивает господина, надевающего в рукав шинель; господин посторонивается и продолжает надевать ее в стороне. Показываются в толпе

господа и чиновники всех родов и сортов. Лакеи в ливреях прочищают для барынь дорогу. Слышен бабий крик: «Батюшки, припихнули со всех сторон!»

Молоденький чиновник уклончивого свойства *(подбегая к господину, надевающему шинель).* Ваше превосходительство, позвольте, я вам подержу!

Господин в шинели. А, здравствуй! Ты здесь? Пришел смотреть?

Молоденький чиновник. Да-с, ваше превосходительство, забавно подмечено.

Господин в шинели. Вздор! ничего нет забавного!

Молоденький чиновник. Это правда, ваше превосходительство, совсем ничего нет.

Господин в шинели. За эдакие вещи нужно сечь, а не хвалить.

Молоденький чиновник. Это правда, ваше превосходительство.

Господин в шинели. Вот, пускают молодых людей в театр. Много полезного вынесут! Вот и ты: теперь уж, чай, придешь в канцелярию, прямо грубить станешь?

Молоденький чиновник. Как можно, ваше превосходительство!.. Позвольте, я вам прочищу дорогу вперед! *(Народу, толкая того и другого.)* Эй вы, посторонитесь, генерал идет! *(Подходя с необыкновенным учтивством к двум щегольски одетым.)* Господа, сделайте милость, позвольте пройти генералу!

Хорошо одетые, посторониваясь и давая дорогу:

Первый. Не знаешь, какой генерал? Должен быть какой-нибудь известный?

Второй. Не знаю, я никогда не видывал его.

Чиновник разговорчивого свойства *(подхватывая сзади).* Просто статский советник, по месту только числится в четвертом классе. Каково счастье? В пятнадцать лет службы Владимира, Анну, Станислава, три тысячи рублей жалованья, две тысячи столовых, да от совета, да от комиссии, да еще по департаменту.

Господа хорошо одетые *(один другому).* Уйдем!

Уходят.

Чиновник разговорчивого свойства. Должны быть матушкины сынки. Чай, в иностранной коллегии служат.

Я не люблю комедий; на мой вкус больше нравятся трагедии. *(Уходит.)*

Голос из толпы. Эк народу навалило!

Офицер *(пробираясь с дамой под руку).* Эй вы, бороды, что напираете? Разве не видишь — дама?

Купец *(с дамой под руку).* У самих, батюшка, дама.

Голос из толпы. Вот она поворотилась, видишь, видишь? Еще теперь подурнела, но года три тому назад…

Разные голоса. Да три гривны, слышь ты, взял с него сдачи. — Подлая, скверная пьеса! — Забавная пьеска! — Ты что лезешь в самое горло?

Голос в одном конце толпы. Все это вздор! Где могло случиться такое происшествие? Этакое происшествие могло только разве случиться на Чукотском острову.

Голос в другом конце. Ну вот точь-в-точь эдакое событие было в нашем городке. Я подозреваю, что автор если не был сам там, то, вероятно, слышал.

Голос купца. Оно, вот изволите видеть, оно здесь больше, так сказать, с маральной стороны. Конечно, бывают, так сказать, всякие-с. Да ведь и то извольте посудить, что и честный человек, случаем придется… А насчет маральности, так и за дворянами это водится.

Голос господина поощрительного свойства. Должен быть бестия, пройдоха сочинитель: все изведал, все знает!

Голос сердитого чиновника, но, как видно, опытного. Что он знает? — черта он знает. И врет он, врет: все это, что ни написал он, всё — враки. И взятки не так берут, уж если пошло на то…

Голос другого чиновника из толпы. Да что вы говорите: «смешно, смешно»! Знаете ли, отчего смешно? Ведь это всё личности. Ведь это всё он вывел своих бабушек да тетушек. Вот отчего это смешно.

Неизвестный голос. Стой, украли платок!

Два офицера, узнавшие друг друга, переговариваются через толпу.

Первый. Мишель, ты туда?

Второй. Туда.

Первый. Ну, и я там.

Чиновник важной наружности. Я бы всё запретил. Ничего не нужно печатать. Просвещением пользуйся, читай, а не пиши. Книг уж довольно написано, больше не нужно.

Голос в народе. Что ж, коли подлец, то и подлец. Не будь подлецом, то и не будут над тобой смеяться.

Красивый и плотный господин *(говорит с жаром невзрачному и низенькому)*. Нравственность, нравственность страждет, вот что главное!

Господин низенький и невзрачный, но ядовитого свойства. Да ведь нравственность вещь относительная.

Красивый и плотный господин. Что вы разумеете под именем «относительная»?

Невзрачный, но ядовитого свойства господин. То, что нравственность всякий меряет относительно к себе. Один называет нравственностью сниманье ему шляпы на улице; другой называет нравственностью смотренье сквозь пальцы на то, как он ворует; третий называет нравственностью услуги, оказываемые его любовнице. Ведь обыкновенно как говорит всякий из нашей братьи своим подчиненным? — свысока говорит: «Милостивый государь, старайтесь исполнить свой долг относительно Бога, Государя, отечества», — а ты, мол, уж там себе разумей, относительно чего. Впрочем, это так только в провинциях водится, в столицах этого не бывает, не правда ли? Тут если и явится у кого-нибудь в три года два дома, так ведь это отчего? Всё от честности, не так ли?

Красивый и плотный господин *(в сторону)*. Скверен, как черт, а язык, как у змеи.

Невзрачный, но ядовитого свойства господин *(толкая под руку вовсе не знакомого ему человека, говорит ему, кивая на красивого господина)*. Четыре дома в одной улице; все рядом один возле другого в шесть лет выросли! Каково действует честность на прозябательную силу, а?

Незнакомец *(уходя поспешно)*. Извините, я недослышал.

Невзрачный, но ядовитого свойства человек *(толкая под руку незнакомого соседа)*. Глухота-то как нынче распространилась в городе, а? Вот что значит нездоровый и сырой климат.

Незнакомый сосед. Да вот и грипп тоже. У меня все дети переболели.

Невзрачный, но ядовитого свойства человек. Да, и грипп, и глухота; свинка тоже в горле. *(Пропадает в толпе.)*

Разговор в группе на стороне.

Первый. А говорят, что подобное происшествие случилось с самим автором: он в каком-то городке сидел в тюрьме за долги.

Господин с другой стороны группы *(подхватывая речь).* Нет, это было не в тюрьме, это было на башне. Это видели те, которые проезжали. Говорят, это было что-то необыкновенное. Вообразите: поэт на высочайшей башне, вокруг горы, местоположение восхитительное, и он оттуда читает стихи. Не правда ли, что здесь является какая-то особенная черта писателя?

Господин положительного свойства. Автор должен быть умный человек.

Господин отрицательного свойства. Ничуть не умный. Я знаю, он служил, его чуть не выгнали из службы: просьбы не умел написать.

Просто враль. Бойкая, бойкая голова! Ему место долго не давали, так что ж вы думаете? — он прямо написал письмо к министру. Да ведь как написал! Квинтильяновским манером. Одно уж то, как начал: «Милостивый государь!» А потом и пошел, и пошел, и пошел… страниц восемь отвалял кругом. Министр, как прочитал: «Ну, говорит, благодарю, благодарю! Я вижу, у тебя много врагов. Будь начальник отделения!» И прямо из писцов махнул он в начальники отделения.

Господин добродушного свойства *(обращаясь к другому человеку, хладнокровного свойства).* Черт его знает, кому и верить! И в тюрьме сидел, и на башню лазил! И выгнали из службы, и место дали!

Господин хладнокровного свойства. Да ведь это все говорится экспромтом.

Господин добродушного свойства. Как экспромтом?

Господин хладнокровный. Так. Ведь они еще за две минуты не знают сами, что услышат от себя. Язык у них без ведома хозяина вдруг брякнет новость, а хозяин и рад — возвращается домой, как будто бы наелся. А на другой день он уж и позабыл

о том, что сам выдумал. Ему кажется, что он услышал от других, — и пошел передавать ее по городу всем.

Господин добродушный. Это, однако же, бессовестно: лгать и не чувствовать самому.

Господин хладнокровный. Да есть и чувствительные. Есть такие, которые чувствуют, что лгут, но считают уже надобностью для разговора: красно поле рожью, а речь ложью.

Дама среднего света. Но только какой злой насмешник должен быть этот автор! Я, признаюсь, ни за что бы не хотела попасться ему на глаза: этак он вдруг заметит во мне смешное.

Господин с весом. Я не знаю, что это за человек. Это, это, это... Для этого человека нет ничего священного; сегодня он скажет: такой-то советник не хорош, а завтра скажет, что и Бога нет. Ведь тут всего только один шаг.

Второй господин. Осмеять! Да ведь со смехом шутить нельзя. Это значит разрушить всякое уважение — вот что это значит. Да ведь меня после всего этого всякий прибьет на улице, скажет: «Да ведь над вами смеются; а на тебе такой же чин, так вот тебе затрещина!» Ведь это вот что значит.

Третий господин. Еще бы! Это сурьезная вещь! Говорят: «Безделушка, пустяки, театральное представление». Нет, это не простые безделушки; на это обратить нужно строгое внимание. За эдакие вещи и в Сибирь посылают. Да если бы я имел власть, у меня бы автор не пикнул. Я бы его в такое место засадил, что он бы и света Божьего невзвидел.

Появляется группа людей, Бог весть какого свойства, впрочем, благородной наружности и прилично одетых.

Первый. Постоимте лучше здесь, покамест выйдет толпа. Ну что это, право! Затевать шум, рукоплесканье, как будто бы Бог знает что! Безделка, какая-нибудь пустая театральная пьеса, и подымать такую тревогу, кричать, вызывать автора — ну что это такое!

Второй. Однако ж пьеса повеселила, развлекла.

Первый. Ну да, повеселила, как обыкновенно веселит всякая безделка. Но зачем же из-за этого такие крики, толки? Рассуждают, как будто о какой-нибудь важной вещи, аплодируют... Ну, что это такое! Ну, я понимаю, если бы какая-нибудь

певица или танцовщица, — ну, там я понимаю: там удивляешься искусству, гибкости, проворству, природному таланту. Ну, а здесь что? Кричат: «Литератор! литератор! писатель!» Да что такое писатель? Что иной раз попадется остроумное словцо да спишет кое-что с натуры... Да что же здесь за труд? Что ж тут такого? Ведь это всё побасенки — и больше ничего.

Второй. Да, конечно, вещь неважная.

Первый. Рассудите: ну, танцор, например, — там все-таки искусство, уж этого никак не сделаешь, что он делает. Ну захоти я, например: да у меня просто ноги не подымутся. Ну сделай я антраша — не сделаю ни за что. А ведь писать можно не учившись. Я не знаю, кто такой автор, но мне сказывали, что он невежа совершенный, ничего не знает: его откуда-то, кажется, выгнали.

Второй. Но, однако ж, все-таки что-нибудь он должен знать: без этого нельзя писать.

Первый. Да помилуйте, что ж он может знать? Вы сами знаете, что такое литератор: пустейший человек! Это всему свету известно — ни на какое дело не годится. Уж их пробовали употреблять, да бросили. Ну посудите сами, ну что такое они пишут? Ведь это всё пустяки, побасенки! Захоти, я сей же час это напишу, и вы напишете, и он напишет, и всякий напишет.

Второй. Да, конечно, почему ж и не написать. Будь только капля ума в голове, так уж и можно.

Первый. Да и ума не нужно. Зачем тут ум? Ведь это всё побасенки. Ну, если бы еще была, положим, какая-нибудь ученая наука, какой-нибудь предмет, которого еще не знаешь, а ведь это что такое? Ведь это всякий мужик знает. Это всякий день увидишь на улице. Садись только у окна да записывай все, что ни делается, — вот и вся штука!

Третий. Это правда. Как подумаешь, право, на какой вздор употребляют время!

Первый. Именно, трата времени — больше ничего. Побасенки, пустяки! Просто бы нужно запретить давать им перо и чернила в руки. Однако ж народ выходит, пойдемте! Подымать шум, кричать, поощрять! а дело — просто вздор! Побасенки! пустяки! побасенки!

Уходят. Толпа редеет, бегут кое-какие отставшие.

Добродушный чиновник. А все бы, право, ну что бы хоть одного честного человека выставить! Всё плуты да плуты.

Один из народа. Слышь ты, жди меня на перекрестке! Я забегу возьму рукавицы.

Один из господ *(смотря на часы)*. Однако скоро час. Никогда я так поздно не выходил из театра. *(Уходит.)*

Отставший чиновник. Только время даром пропало! Нет, никогда больше не пойду в театр! *(Уходит.)*

Сени пустеют.

Автор пьесы *(выходя)*. Я услышал более, чем предполагал. Какая пестрая куча толков! Счастье комику, который родился среди нации, где общество еще не слилось в одну недвижную массу, где оно не облеклось одной корой старого предрассудка, заключающего мысли всех в одну и ту же форму и мерку, где что человек, то и мненье, где всякий сам создатель своего характера. Какое разнообразие в этих мнениях, и как везде блеснул этот твердый ясный русский ум: и в сем благородном стремленье государственного мужа! и в сем высоком самоотверженье забившегося в глушь чиновника! и в нежной красоте великодушной женской души! и в эстетическом чувстве ценителей! и в простом верном чутье народа! Как даже в сих недоброжелательных осуждениях много того, что нужно знать комику! Какой живой урок! Да,я удовлетворен. Но отчего же грустно становится моему сердцу! Странно: мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Да, было одно честное, благородное лицо, действовавшее в ней во все продолжение ее. Это честное, благородное лицо был — смех. Он был благороден потому, что решился выступить, несмотря на низкое значение, которое дается ему в свете. Он был благороден потому, что решился выступить, несмотря на то что доставил обидное прозванье комику — прозванье холодного эгоиста, и заставил даже усомниться в присутствии нежных движений души его. Никто не вступился за этот смех. Я комик, я служил ему честно, и потому должен стать его заступником. Нет, смех значительней и глубже, чем думают. Не тот смех, который порождается временной раздражительностью, желчным, болезненным расположением характера; не тот также легкий смех, служащий для праздного

развлеченья и забавы людей, — но тот смех, который весь излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что на дне ее заключен вечно биющий родник его, который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без проницающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека. Презренное и ничтожное, мимо которого он равнодушно проходит всякий день, не возросло бы перед ним в такой страшной, почти карикатурной силе, и он не вскрикнул бы, содрогаясь: «Неужели есть такие люди?» — тогда как, по собственному сознанию его, бывают хуже люди. Нет, несправедливы те, которые говорят, будто возмущает смех. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Многое бы возмутило человека, быв представлено в наготе своей; но, озаренное силою смеха, несет оно уже примиренье в душу. И тот, кто бы понес мщение противу злобного человека, уже почти мирится с ним, видя осмеянными низкие движенья души его. Несправедливы те, которые говорят, что смех не действует на тех, противу которых устремлен, и что плут первый посмеется над плутом, выведенным на сцену: плут-потомок посмеется, но плут-современник не в силах посмеяться! Он слышит, что уже у всех остался неотразимый образ, что одного низкого движенья с его стороны достаточно, чтобы этот образ пошел ему в вечное прозвище; а насмешки боится даже тот, который уже ничего не боится на свете. Нет, засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко добрая душа. Но не слышат могучей силы такого смеха: «что смешно, то низко», — говорит свет; только тому, что произносится суровым, напряженным голосом, тому только дают названье высокого. Но, Боже! сколько проходит ежедневно людей, для которых нет вовсе высокого в мире! Все, что ни творилось вдохновеньем, для них пустяки и побасенки; созданья Шекспира для них побасенки; святые движенья души — для них побасенки. Нет, не оскорбленное мелочное самолюбье писателя заставляет меня сказать это, не потому, что мои незрелые, слабые созданья были сейчас названы побасенками, — нет, я вижу свои пороки и вижу, что достоин упреков; но не могла выносить равнодушно душа моя, когда совершеннейшие творения честились именами пустяков и побасенок, когда все светила и звезды мира признавались творцами одних

пустяков и побасенок! Ныла душа моя, когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных, мертвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей и бесплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на бесчувственных их лицах не вздрагивал даже ни призрак выражения от того, что повергало в небесные слезы глубоко любящую душу, и не коснел язык их произнести свое вечное слово «побасенки»! Побасенки!.. А вон протекли веки, города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как дым унеслось все, что было, — а побасенки живут и повторяются поныне, и внемлют им мудрые цари, глубокие правители, прекрасный старец и полный благородного стремленья юноша. Побасенки!.. А вон стонут балконы и перила театров: все потряслось снизу доверху, превратясь в одно чувство, в один миг, в одного человека, и все люди встретились, как братья, в одном душевном движенье, и гремит дружным рукоплесканьем благодарный гимн тому, которого уже пятьсот лет как нет на свете. Слышат ли это в могиле истлевшие его кости? Отзывается ли душа его, терпевшая суровое горе жизни? Побасенки!.. А вон, среди сих же рядов потрясенной толпы, пришел удрученный горем и невыносимой тяжестью жизни, готовый поднять отчаянно на себя руку, — и брызнули вдруг свежительные слезы из его очей, и вышел он примиренный с жизнью и просит вновь у неба горя и страданий, чтобы только жить и залиться вновь слезами от таких побасенок. Побасенки!.. Но мир задремал бы без таких побасенок, обмелела бы жизнь, плесенью и тиной покрылись бы души. Побасенки!.. О, да пребудут же вечно святы в потомстве имена благосклонно внимавших таким побасенкам: чудный перст Провиденья был неотлучно над главами творцов их. В минуты даже бед и гонений все, что было благороднейшего в государствах, становилось прежде всего их заступником: венчанный монарх осенял их царским щитом своим с вышины недоступного престола.

Бодрей же в путь! И да не смутится душа от осуждений, но да примет благодарно указанья недостатков, не омрачась даже и тогда, если бы отказали ей в высоких движеньях и в святой любви к человечеству! Мир — как водоворот: движутся в нем вечно мненья и толки; но всё перемалывает время. Как шелуха, слетают ложные и, как твердые зерна, остаются недвижные

истины. Что признавалось пустым, может явиться потом вооруженное строгим значеньем. Во глубине холодного смеха могут отыскаться горячие искры вечной могучей любви. И почему знать — может быть, будет признано потом всеми, что в силу тех же законов, почему гордый и сильный человек является ничтожным и слабым в несчастии, а слабый возрастает, как исполин, среди бед, — в силу тех же самых законов, кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете!..

Приложение



Позднейшие дополнения к «Ревизору» (1846–1847)

Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора»

Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно быть преувеличенного или тривиального даже в последних ролях. Напротив, нужно особенно стараться актеру быть скромней, проще и как бы благородней, чем как в самом деле есть то лицо, которое представляется. Чем меньше будет думать актер о том, чтобы смешить и быть смешным, тем более обнаружится смешное взятой им роли. Смешное обнаружится само собою именно в той сурьезности, с какою занято своим делом каждое из лиц, выводимых в комедии. Все они заняты хлопотливо, суетливо, даже жарко своим делом, как бы важнейшею задачею своей жизни. Зрителю только со стороны виден пустяк их заботы. Но сами они совсем не шутят и уж никак не думают о том, что над ними кто-нибудь смеется. Умный актер, прежде чем схватить мелкие причуды и мелкие особенности внешние доставшегося ему лица, должен стараться поймать общечеловеческое выражение роли; должен рассмотреть, зачем призвана эта роль; должен рассмотреть главную и преимущественную заботу каждого лица, на которую издерживается жизнь его, которая составляет постоянный предмет мыслей, вечный гвоздь, сидящий в голове. Поймавши эту главную заботу выведенного лица, актер должен в такой силе исполниться ею сам, чтобы мысли и стремления взятого им лица как бы усвоились ему самому и пребывали бы в голове его неотлучно во все время представления пьесы. О частных сценах и мелочах он не должен много заботиться. Они выйдут сами собою удачно и ловко, если только он не выбросит ни на минуту из головы этого гвоздя, который засел в голову его героя. Все эти частности и разные мелкие принадлежности, — которыми так счастливо умеет пользоваться даже и такой актер, который умеет дразнить и схватывать походку и движенье, но не создавать целиком роли, — суть не более как краски, которые нужно класть уже тогда, когда рисунок сочинен

и сделан верно. Они — платье и тело роли, а не душа ее. Итак, прежде следует схватить именно эту душу роли, а не платье ее.

Одна из главных ролей есть городничий. Человек этот более всего озабочен тем, чтобы не пропускать того, что плывет в руки. Из-за этой заботы ему некогда было взглянуть построже на жизнь или же осмотреться получше на себя. Из-за этой заботы он стал притеснителем, не чувствуя сам, что он притеснитель, потому что злобного желанья притеснять в нем нет; есть только желанье прибирать все, что ни видят глаза. Просто он позабыл, что это в тягость другому и что от этого трещит у иного спина. Он вдруг простил купцов, замышлявших погубить его, когда те предложили заманчивое предложение, потому что эти заманчивые блага жизни обуяли им и сделали то, что в нем очерствело и огрубело чутье слышать положенье и страданье другого. Он чувствует, что грешен; он ходит в церковь, думает даже, что в вере тверд, даже помышляет когда-нибудь потом покаяться. Но велик соблазн всего того, что плывет в руки, и заманчивы блага жизни, и хватать все, не пропуская ничего, сделалось у него уже как бы просто привычкой. Его поразил распространившийся слух о ревизоре, еще более поразило то, что этот ревизор — incognito, неизвестно когда будет, с которой стороны подступит. Он находится от начала до конца пьесы в положениях свыше тех, в которых ему случалось бывать в другие дни жизни. Нервы его напряжены. Переходя от страха к надежде и радости, взгляд его несколько распален оттого, и он стал податливее на обман, и его, которого в другое время не скоро удалось бы обмануть, становится возможным. Увидевши, что ревизор в его руках, не страшен и даже с ним вступил в родню, он предается буйной радости при одной мысли о том, как понесется отныне его жизнь среди пирований, попоек; как будет он раздавать места, требовать на станциях лошадей и заставлять ждать в передних городничих, важничать, задавать тон. Поэтому-то внезапное объявление о приезде настоящего ревизора для него больше, чем для всех других, громовой удар, и положенье становится истинно трагическим.

Судья — человек, меньше грешный в взятках. Он даже не охотник творить неправду, но велика страсть ко псовой охоте… Что ж делать! у всякого человека есть какая-нибудь страсть; из-за нее он наделает множество разных неправд, не подозревая сам

того. Он занят собой и умом своим, и безбожник, только потому, что на этом поприще есть простор ему выказать себя. Для него всякое событие, даже и то, которое навело страх для других, есть находка, потому что дает пищу его догадкам и соображениям, которыми он доволен, как артист своим трудом. Это самоуслажденье должно выражаться на лице актера. Он говорит и в то же время смотрит, какой эффект производят на других его слова. Он ищет выражений.

Земляника — человек толстый, но плут тонкий, несмотря на необъятную толщину свою, который имеет много увертливого и льстивого в оборотах поступков. На вопрос Хлестакова, как называлась съеденная рыба, он подбегает с легкостью двадцатидвухлетнего франта, затем чтобы у самого его носа сказать: «Лабардан-с». Он принадлежит к числу тех людей, которые, только для того, чтобы вывернуться сами, не находят другого средства, как чтобы топить других, и торопливы на всякие каверзничества и доносы, не принимая в строку ни кумовства, ни дружбы, помышляя только о том, как бы вынести себя. Несмотря на неповоротливость и толщину, всегда поворотлив. А потому умный актер никак не пропустит всех тех случаев, где услуга толстого человека будет особенно смешна в глазах зрителей, без всякого желанья сделать из этого карикатуру.

Смотритель училищ — ничего более, как только напуганный человек частыми ревизовками и выговорами неизвестно за что; а потому боится, как огня, всяких посещений и трепещет, как лист, при вести о ревизоре, хотя и не знает сам, в чем грешен. Играющему это лицо актеру нетрудно, ему остается только выразить один постоянный страх.

Почтмейстер — простодушный до наивности человек, глядящий на жизнь как на собрание интересных историй для препровождения времени, которые он начитывает в распечатываемых письмах. Ничего больше не остается делать актеру, как быть простодушну сколько возможно.

Но два городские болтуна Бобчинский и Добчинский требуют особенно, чтобы были сыграны хорошо. Их должен себе очень хорошо определить актер. Это люди, которых жизнь заключилась вся в беганьях по городу с засвидетельствованием почтенья и в размене вестей. Все у них стало визит. Страсть рассказать поглотила

всякое другое занятие, и эта страсть стала их движущею страстью и стремлением жизни. Словом, это люди, выброшенные судьбой для чужих надобностей, а не для своих собственных. Нужно, чтобы видно было то удовольствие, когда наконец добьется того, что ему позволят о чем-нибудь рассказать. Торопливость и суетливость у них единственно от боязни, чтобы кто-нибудь не перебил и не помешал ему рассказать. Любопытны — от желанья иметь о чем рассказать. От этого Бобчинский даже немножко заикается. Они оба низенькие, коротенькие, чрезвычайно похожи друг на друга, оба с небольшими брюшками. Оба круглолицы, одеты чистенько, с приглаженными волосами. Добчинский даже снабжен небольшой лысинкой на середине головы; видно, что он не холостой человек, как Бобчинский, но уже женатый. Но при всем том Бобчинский берет верх над ним по причине большей живости и даже несколько управляет его умом. Словом, актеру нужно заболеть сапом любопытства и чесоткой языка, если хочет хорошо исполнить эту роль, и представлять себе должен, что сам заболел чесоткой языка. Он должен позабыть, что он совсем ничтожный человек, как оказывается, и бросить в сторону все мелкие атрибуты; иначе он попадет как раз в карикатуры.

Все прочие лица: купцы, гостьи, полицейские и просители всех родов — суть ежедневно проходящие перед нашими глазами лица, а потому могут быть легко схвачены всяким, умеющим замечать особенности в речах и ухватках человека всякого сословия. То же самое можно сказать и о слуге, несмотря на то что эта роль значительнее прочих. Русский слуга пожилых лет, который смотрит несколько вниз, грубит барину, смекнувши, что барин щелкопер и дрянцо, который любит себе самому читать нравоученье для барина, который молча плут, однако очень умеет воспользоваться в таких случаях, когда можно мимоходом поживиться, — известен всякому. Потому эта роль игралась всегда хорошо. Равномерно всякий может почувствовать степень того впечатления, какое приезд ревизора способен произвести на каждое из этих лиц.

Не нужно только позабывать того, что в голове всех сидит ревизор. Все заняты ревизором. Около ревизора кружатся страхи и надежды всех действующих лиц. У одних надежда на избавление от дурных городничих и всякого рода хапуг. У других панический

страх при виде того, что главнейшие сановники и передовые люди общества в страхе. У прочих же, которые смотрят на все дела мира спокойно, чистя у себя в носу, — любопытство, не без некоторой тайной боязни увидеть наконец то лицо, которое причинило столько тревог и, стало быть, неминуемо должно быть слишком необыкновенным и важным лицом.

Всех труднее роль того, который принят испуганным городом за ревизора. Хлестаков сам по себе ничтожный человек. Даже пустые люди называют его пустейшим. Никогда бы ему в жизни не случилось сделать дела, способного обратить чье-нибудь внимание. Но сила всеобщего страха создала из него замечательное комическое лицо. Страх, отуманивши глаза всех, дал ему поприще для комической роли. Обрываемый и обрезываемый доселе во всем, даже и в замашке пройтись козырем по Невскому проспекту, он почувствовал простор и вдруг развернулся неожиданно для самого себя. В нем всё сюрприз и неожиданность. Он даже весьма долго не в силах догадаться, отчего к нему такое внимание, уважение. Он почувствовал только приятность и удовольствие, видя, что его слушают, угождают, исполняют все, что он хочет, ловят с жадностью все, что ни произносит он. Он разговорился, никак не зная с начала разговора, куда поведет его речь. Темы для разговоров ему дают выведывающие. Они сами как бы кладут ему всё в рот и создают разговор. Он чувствует только то, что везде можно хорошо порисоваться, если ничто не мешает. Он чувствует, что он в литературе господин, и на балах не последний, и сам дает балы и, наконец, что он — государственный человек. Он ни от чего не прочь, о чем бы ему ни лгать. Обед со всякими лабарданами и винами дал изобразительную словоохотливость и красноречие его языку. Чем далее, тем более входит всеми чувствами в то, что говорит, и потому выражает многое почти с жаром. Не имея никакого желанья надувать, он позабывает сам, что лжет. Ему уже кажется, что он действительно все это производил. Поэтому сцена, когда он говорит о себе как о государственном человеке, способна, точно, смутить чиновника. Особенно в то время, когда он рассказывает, как распекал всех до единого в Петербурге, является в лице важность и все атрибуты и все что угодно. Будучи сам неоднократно распекаем, он это должен мастерски изобразить в речах: он почувствовал в это время особенное

удовольствие распечь наконец и самому других, хотя в рассказах. Он бы и подальше добрался в речах своих, но язык его уже не оказался больше годным, по какой причине чиновники нашлись принужденными отвести его с почтеньем и страхом на отведенный ночлег. Проснувшись, он тот же Хлестаков, каким и был прежде. Он даже не помнит, чем напугал всех. В нем попрежнему никакого соображения и глупость во всех поступках. Влюбляется он и в мать и в дочь почти в одно время. Просит денег, потому что это как-то само собой срывается с языка и потому, что уже у первого он попросил и тот с готовностью предложил. Только к концу акта он догадывается, что его принимают за кого-то повыше. Но если бы не Осип, которому кое-как удалось ему несколько растолковать, что такой обман не долго может продолжаться, он бы преспокойно дождался толчков и проводов со двора не с честью. Хотя это лицо фантасмагорическое, лицо, которое, как лживый олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкой Бог весть куда, но тем не менее нужно, чтоб эта роль досталась лучшему актеру, какой ни есть, потому что она всех труднее. Этот пустой человек и ничтожный характер заключает в себе собрание многих тех качеств, которые водятся и не за ничтожными людьми. Актер особенно не должен упустить из виду это желанье порисоваться, которым более или менее заражены все люди и которое больше всего отразилось в Хлестакове, — желанье ребяческое, но оно бывает у многих умных и старых людей, так что редкому на веку своем не случалось в каком-либо деле отыскать его. Словом, актер для этой роли должен иметь очень многосторонний талант, который бы умел выражать разные черты человека, а не какие-нибудь постоянные, одни и те же. Он должен быть очень ловким светским человеком, иначе не будет в силах выразить наивно и простодушно ту пустую светскую ветреность, которая несет человека во все стороны поверх всего, которая в таком значительном количестве досталась Хлестакову.

Последняя сцена «Ревизора» должна быть особенно сыграна умно. Здесь уже не шутка, и положенье многих лиц почти трагическое. Положение городничего всех разительней. Как бы то ни было, но увидеть себя вдруг обманутым так грубо и притом пустейшим, ничтожнейшим мальчишкой, который даже видом и фигурой не взял, будучи похож на спичку (Хлестаков, как известно,

тоненький, прочие все толсты), — быть им обманутым — это не шуточное. Обмануться так грубо тому, который умел проводить умных людей и даже искуснейших плутов! Возвещенье о приезде наконец настоящего ревизора для него громовый удар. Он окаменел. Распростертые его руки и закинутая назад голова остались неподвижны, и вокруг него вся действующая группа составляет в одно мгновенье окаменевшую группу в разных положеньях.

Вся эта сцена есть немая картина, а потому должна быть так же составлена, как составляются живые картины. Всякому лицу должна быть назначена поза, сообразная с его характером, со степенью боязни его и с потрясением, которое должны произвести слова, возвестившие о приезде настоящего ревизора. Нужно, чтобы эти позы никак не встретились между собою и были бы разнообразны и различны; а потому следует, чтобы каждый помнил свою и мог бы вдруг ее принять, как только поразится его слух роковым известием. Сначала выйдет это принужденно и будет походить на автоматов, но потом, после нескольких репетиций, по мере того, как каждый актер войдет поглубже в положение свое, данная поза ему усвоится, станет естественной и принадлежащей ему. Деревянность и неловкость автоматов исчезнет, и покажется, как бы сама собой вышла онемевшая картина.

Сигналом перемены положений может послужить тот небольшой звук, который исходит из груди у женщин при какой-нибудь внезапности. Одни понемногу приходят в положение, данное для немой картины, начиная переходить в него уже при появлении вестника с роковым известием: это — которые меньше, другие вдруг — это те, которые больше поражены. Не дурно первому актеру оставить на время свою позу и посмотреть самому несколько раз на эту картину в качестве зрителя, чтобы видеть, что нужно ослабить, усилить, смягчить, дабы вышла картина естественнее.

Картина должна быть установлена почти вот как:

Посредине городничий, совершенно онемевший и остолбеневший. По правую его руку жена и дочь, обращенные к нему с испугом на лице. За ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям. За ним Лука Лукич, весь бледный, как мел. По левую сторону городничего Земляника с приподнятыми кверху бровями и пальцами,

поднесенными ко рту, как человек, который чем-то сильно обжегся. За ним судья, присевший почти до земли и сделавший губами гримасу, как бы говоря: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». За ними Добчинский и Бобчинский, уставивши глаза и разинувши рот, глядят друг на друга. Гости в виде двух групп по обеим сторонам: одна соединяется в одно общее движенье, стараясь заглянуть в лицо городничего. Чтобы завязалась группа ловче и непринужденней, всего лучше поручить художнику, умеющему сочинять группы, сделать рисунок и держаться рисунка.

Если только каждый из актеров вошел хоть сколько-нибудь во все положения ролей своих во все продолжение представления пьесы, то они выразят также и в этой немой сцене положенье разительное ролей своих, увенчая этой сценой еще более совершенство игры своей. Если же они пребывали холодны и натянуты во время представления, то останутся так же и холодны и натянуты, как здесь, с тою разницею, что в этой немой сцене еще более обнаружится их неискусство.

<«Ревизор с Развязкой. Комедия в пяти действиях с заключением». Дополнения к предполагаемому благотворительному изданию пьесы>

Предуведомление

Почти все наши русские литераторы жертвовали чем-нибудь от трудов своих в пользу неимущих: одни издавали с этой цел<ью> сами книги, другие не отказывались участвовать в изданиях, собираемых из общих трудов, третьи, наконец, составляли нарочно для того публичные чтения; один я отстал от прочих. Желая хотя поздно загладить свой проступок, назначаю в пользу неимущих четвертое и пятое изданье «Ревизора», ныне напечатанные в одно и то же время в Москве и в Петербурге, с присовокуплением новой, неизвестной публике пиэсы: «Развязка Ревизора». По разным причинам и обстоятельствам пиэса эта не могла быть доселе издана и в первый раз помещается здесь. Деньги, выручаемые за оба эти издания, назначаются только в пользу тех неимущих, которые, находясь на самых незаметных и маленьких местах, получают самое небольшое жалованье и этим небольшим жалованьем, едва достаточным на собственное прокормление, должны помогать, а иногда даже и содержать еще беднейших себя родственников своих, словом, в пользу тех, которым досталась горькая доля тянуть двойную тягость жизни. А потому прошу всех моих читателей, которые сделали уже начало доброму делу покупкой этой книги, сделать ему и доброе продолжение. А именно: собирать по возможности и по мере досуга сведения обо всех, наиболее нуждающихся как в Москве, так и в Петербурге, не пренебрегая скучным делом входить самому *лично* в их трудные обстоятельства и доставлять все таковые сведения тем, на которых возложена раздача вспомоществований. Много происходит вокруг нас страданий, нам неизвестных. Часто в одном и том же месте, в одной и той же улице, в одном и том же с нами доме изнывает человек, сокрушенный весь тяжким игом нужды и ею порожденного сурового внутреннего горя, которого

вся участь, может быть, зависела от одного нашего пристального на него взгляда, – но взгляда на него мы не обратили; беспечно и беззаботно продолжаем жизнь свою, почти равнодушно слышим о том, что такой-то, живший с нами рядом, погибнул, не подозревая того, что причиной этой погибели было именно то, что мы не дали себе труда пристально взглянуть на него. Ради Самого Христа умоляю не пренебрегать разговорами с теми, которые молчаливы и неразговорчивы, которые скорбят тихо, претерпевают тихо и умирают тихо, – так что даже редко и по смерти их узнается, что они умерли от невыносимого бремени своего горя. Всех же тех моих читателей, которые, будучи заняты обязанностями и должностями высшими и важнейшими, не имеют чрез то досуга входить непосредственно в положения бедных, прошу не оставить посильным денежным вспоможеньем, препровождая его к одному из раздавателей таких вспомоществований, которых имена и адресы приложены в конце сего предуведомленья. Считаю обязанностью при этом уведомить, что избраны мною для этого дела те из мною знаемых лично людей, которые, не будучи озабочены излишне собственными хлопотами и обязанностями, лишающими нужного досуга для подобных занятий, влекутся сверх того собственной душевной потребностью помогать другому и которые взялись радостно за это трудное дело, несмотря на то, что оно отнимет от них множество приятных удовольствий светских, которыми неохотно жертвует человек. А потому всяк из дающих может быть уверен, что помощь, ими произведенная, будет произведена с рассмотрением: не бросится из нее и копейка напрасно. Не помогут они по тех пор человеку, пока не узнают его близко, не взвесят всех обстоятельств, его окружающих, и не получат таким образом вразумленья полного, каким советом и напутствием сопроводить поданную ему помощь. В тех же случаях, где страждущий сам виной тяжелой участи своей и в дело его бедствия замешалось дело его собственной совести, помощь произведут они не иначе, как через руки опытных священников и вообще таких духовников, которые не в первый раз имели дело с душой и совестью человека. Хорошо, если бы всяк из тех, которые будут собирать сведения о бедных, взял на себя труд изъясняться об этом с раздавателями сумм лично, а не посредством переписки: в разговорах объясняются легко все те недоразумения,

которые всегда остаются в письмах. Всяк может усмотреть сам уже по роду самого дела, к кому из означенных лиц ему будет приличней, ловче и лучше обратиться, принимая в соображение и то, в каком деле особенно нужно сострадательное участие женщины, а в каком твердое, братски подкрепляющее слово мужа. Лучше, если для таких переговоров будет назначен раз навсегда один определенный час, хотя, положим, от 11 до 12, который для большинства людей есть удобнейший; если ж кому он и неудобен, то все-таки, пришедши в этот час, можно получить осведомление о другом, удобнейшем.

Имена и места жительств лиц, принявших на себя раздачу вспомоществований.

В Москве.
Авдотья Петров<на> Елагина,
живет в такой-то улице.
Екатер<ина> Ал<ександровна> Свербеева.
Вера Сергеевна Аксакова.
Алексей Степан<ович> Хомяков.
Василий Алек<сеевич> Панов.
Николай Филип<пович> Павлов.
Петр Васильеви<ч> Киреевский.

В Петербурге.
Кн. Ольга Степ<ановна> Одоевская,
живет в такой-то ул<ице>.
Графиня Анна Мих<айловна> Вьельгорская.
<Графиня> Дашкова.
Аркадий Осипович Россети.
Юрий Федор<ович> Самарин.
Владим<ир> Алексеевич Муханов.

Развязка Ревизора

Действующие лица

Первый комический актер — *Михайло Семенович Щепкин.*
Хорошенькая актриса.
Другой актер.
Федор Федорыч, *любитель театра.*
Петр Петрович, *человек большого света.*
Семен Семеныч, *человек тоже немалого света, но в своем роде.*
Николай Николаич, *литературный человек.*
Актеры и актрисы.

Первый комический актер *(выходя на сцену).* Ну, теперь нечего скромничать. Могу сказать, в этот раз точно хорошо сыграл, и рукоплесканье публики досталось недаром. Если чувствуешь это сам, если не стыдно перед самим собой, то, значит, дело было сделано как следует.

Выходит толпа актеров и актрис.

Другой актер *(с венком в руке).* Михайло Семеныч, это уж не публика, это мы подносим вам венок. Публика раздает венки не всегда с строгим разбором; достается от нее венок и не за большие услуги; но если своя братья-товарищи, которые подчас и завистливы и несправедливы, если своя братья-товарищи поднесут кому с единодушного приговора венок, то, значит, такой человек, точно, достоин венка.

Первый комический актер *(принимая венок).* Товарищи, умею ценить этот венок.

Другой актер. Нет, не в руке держать; наденьте-ка на голову!

Все актеры и актрисы. На голову венок!

Хорошенькая актриса *(выступая вперед, с повелительным жестом).* Михайло Семеныч, венок на голову!

Первый комический актер. Нет, товарищи, взять венок от вас — возьму, но надеть на голову — не надену. Другое дело — принять венок от публики, как обычное выраженье приветствия, которым она награждает всякого, кто удостоился ей понравиться; не надеть такого венка — значило бы показать

пренебреженье к ее вниманью. Но надеть венок посреди себе равных товарищей, — господа, для этого нужно иметь слишком много самонадеянной уверенности в себе!

Все. Венок на голову!

Хорошенькая актриса. На голову венок, Михайло Семеныч!

Другой актер. Это наше дело; мы судьи, а не вы. Извольте-ка прежде надеть его, а потом мы вам скажем, зачем вас увенчали. Вот так! Теперь слушайте! За то вам венок, что вот уже с лишком двадцать лет как вы посреди нас и нет из нас никого, который был бы когда-либо вами обижен; за то, что вы всех нас ревностней делали свое дело и сим одним внушали охоту не уставать на своем поприще, без чего вряд ли у нас достало бы сил. Какая посторонняя сила может так подтолкнуть, как подтолкнет товарищ своим примером? За то, что вы не об одном себе думали, не о том хлопотали, чтобы только самому сыграть хорошо свою роль, но чтобы и всяк не оплошал также в своей роли, и никому не отказывали в совете, никем не пренебрегали. За то, наконец, что так любили дело искусства, как никто из нас никогда не любил его. И вот вам за что подносим теперь все до единого венок.

Первый комический актер *(растроганный)*. Нет, товарищи, не было так, но хотел бы, чтобы было так.

Входят Федор Федорыч, Семен Семеныч, Петр Петрович и Николай Николаич.

Федор Федорыч *(бросившись обнимать первого актера)*. Михайло Семеныч! Себя не помню, не знаю, что и сказать об игре вашей: вы никогда еще так не играли.

Петр Петрович. Не почтите слов моих за лесть, Михайло Семеныч, но я должен признаться, не встречал, — а могу сказать нехвастовски, был на всех первоклассных театрах Европы, видел лучших актеров, — не встречал подобной игры, не примите моих слов за лесть.

Семен Семеныч. Михайло Семеныч!.. *(В бессилии выразить словом, выражает движением руки.)* Вы просто Асмодей!

Николай Николаич. В таком совершенстве, в такой окончательности, так сознательно и в таком соображенье

всего исполнить роль свою — нет, это что-то выше обыкновенной передачи. Это второе созданье, творчество!

Федор Федорыч. Венец искусства — и больше ничего! Здесь-то наконец узнаешь высокий смысл искусства. Ну, что есть, например, привлекательного в том лице, которое вы сейчас представляли? Как можно доставить наслажденье зрителю в коже какого-нибудь плута? А вы его доставили. Я плакал; но плакал не от участья к положенью лица, — плакал от наслаждения. Душе стало светло и легко. Легко и светло оттого, что выставили все оттенки плутовской души, что дали ясно увидеть, что такое плут.

Петр Петрович. Позвольте, однако ж, оставивши в сторону мастерскую обстановку пьесы, подобной которой, признаюсь, не встречал, — а могу сказать нехвастовски, был на лучших театрах, — уж не знаю, кому за это обязан автор: вам ли, господа, или начальству наших театров, — вероятно, тому и другому вместе; но подобная обстановка вынесет хоть какую пьесу. Не примите моих слов за лесть, господа! Позвольте, однако ж, оставивши все это в сторону, сделать мне замечанье насчет самой пьесы, то самое замечанье, которое сделал я назад тому десять лет, во время ее первого представления: не вижу я в «Ревизоре», даже и в том виде, в каком он дан теперь, никакой существенной пользы для общества, чтобы можно было сказать, что эта пьеса нужна обществу.

Семен Семеныч. Я даже вижу вред. В пьесе выставлено нам униженье наше; не вижу я любви к отечеству в том, кто писал ее. И притом какое неуважение, какая даже дерзость... Я уж этого даже не понимаю, как сметь сказать в глаза всем: «Что смеетесь? — Над собой смеетесь!»

Федор Федорыч. Но, друг мой, Семен Семеныч, ты позабыл: ведь это не автор говорит, ведь это говорит городничий; это говорит рассердившийся, раздосадованный плут, которому, разумеется, досадно, что над ним смеются.

Петр Петрович. Позвольте, Федор Федорыч, позвольте, вам, однако ж, заметить, что слова эти, точно, произвели странное действие, и, вероятно, не одному из сидевших в театре показалось, что автор как бы к нему самому обращает эти слова: «Над собой смеетесь!» Говорю это... вы не примите моих слов, господа, за какое-нибудь личное нерасположение к автору, или

предубеждение, или... словом, не то чтобы я имел что-нибудь противу него, понимаете; но говорю вам мое собственное ощущение: мне показалось, точно как бы в эту минуту стоит передо мною человек, который смеется над всем, что ни есть у нас: над нравами, над обычаями, над порядками, и, заставивши нас же посмеяться над всем этим, нам же говорит в глаза: «Вы над собой смеетесь!»

Первый комический актер. Позвольте здесь мне сказать слово. Вышло это само собой. В монологе, обращенном к самому себе, актер обыкновенно обращается к стороне зрителей. Хотя городничий был в беспамятстве и почти в бреду, но не мог не заметить усмешки на лицах гостей, которую возбудил он смешными своими угрозами всех обманувшему Хлестакову, который в это время несется во весь дух себе на почтовых, Бог весть в каких краях. Намеренья у автора дать именно тот смысл, о котором вы говорите, не было никакого; я это вам говорю потому, что знаю небольшую тайну этой пьесы. Но позвольте мне с моей стороны сделать запрос: ну что, если бы у сочинителя, точно, была цель показать зрителю, что он над собой смеется?

Семен Семеныч. Благодарю за комплимент! Я, по крайней мере, не нахожу в себе ничего общего с выведенными в «Ревизоре» людьми. Извините! Не хвастаюсь, что я не без пороков, так же, как и все люди, но все же я не похож на них. Это уж слишком! В эпиграфе выставлено: «На зеркало нечего пенять, если рожа крива!» Петр Петрович, я спрашиваю у вас: разве у меня рожа крива? Федор Федорыч, я спрашиваю у тебя: разве у меня рожа крива? Николай Николаич, у тебя я спрашиваю: рожа у меня крива? *(Обращаясь ко всем другим.)* Господа, я у вас всех спрашиваю, скажите мне: разве у меня рожа крива?

Федор Федорыч. Но, друг мой, Семен Семеныч, странный и ты опять вопрос задал. Ведь ты же опять и не красавец, как и мы все, грешные. Нельзя же сказать уж так напрямик, чтобы твое лицо было образец образцом. Как ни рассмотри, немножко косовато: ну, а что косо, то уж и криво.

Петр Петрович. Господа, вы вдались совершенно в другой вопрос. Это лежит на совести всякого человека; нам смешно и трактовать о том, у кого лицо криво, а у кого нет. Но вот в чем главное дело, позвольте мне вновь возвратиться к тому же:

не вижу я большого разума в комедии, не вижу цели; по крайней мере, в самом сочинении это не обнаруживается.

Николай Николаич. Но какой же вы хотите еще цели, Петр Петрович? Искусство уже в самом себе заключает свою цель. Стремленье к прекрасному и высокому — вот искусство. Это непременный закон искусства; без этого искусство — не искусство. А потому ни в каком случае не может быть оно безнравственно. Оно стремится непременно к добру, положительно или отрицательно: выставляет ли нам красоту всего лучшего, что ни есть в человеке, или же смеется над безобразием всего худшего в человеке. Если выставишь всю дрянь, какая ни есть в человеке, и выставишь ее таким образом, что всякий из зрителей получит к ней полное отвращение, спрашиваю: разве это уже не похвала всему хорошему? спрашиваю: разве это не похвала добру?

Петр Петрович. Бесспорно, Николай Николаич; но позвольте, однако же, вам...

Николай Николаич *(не слушая)*. Не то дурно, что нам показывают в дурном дурное и видишь, что оно дурно во всех отношениях; но то дурно, если нам так его выставляют, что не знаешь, злое ли оно или нет; то дурно, когда делают привлекательным для зрителя злое; то дурно, что мешают его в такой степени с добром, что не знаешь, к которой стороне пристать; то дурно, что доброе показывают нам таким образом, что в добре не видишь добра.

Первый комический актер. Клянусь, истинная правда, Николай Николаич! Вы сказали то, в чем я всегда был убежден, но не умел только так хорошо высказать. То дурно, что в добре не видишь добра. А этот грех водится за всеми модными драмами, которыми должны мы тешить публику. Зритель выходит из театра и сам не знает решить, что такое он видел: злой ли человек или добрый был перед ним. К добру не влечет его, от зла не отталкивает, и остается он точно как во сне, не извлекши из того, что видел, никакого для себя правила, к чему-нибудь пригодного в жизни, сбившись даже и с той дороги, по которой шел, готовый пойти за первым, кто поведет, не спрашивая, куда и зачем.

Федор Федорыч. И прибавьте, Михайло Семеныч, какая пытка для актера исполнять такую роль, если только он истинный артист в душе.

Первый комический актер. Не говорите этого: ваши слова метят в самое сердце. Не можете постигнуть, как подчас бывает горько. Учишь, разучиваешь эту роль, и не знаешь сам, какое ей дать выраженье. Иногда забудешься, войдешь в положенье лица, одушевишься, потрясешь зрителя, а когда вспомнишь, чем ты его потряс, — противен станешь самому себе: хотел бы просто провалиться сквозь землю, и от рукоплесканий горишь, как от собственного стыда. Я решительно не знаю, что хуже: выставлять ли преступленья таким образом, чтобы зритель готов был с ними почти примириться, или же выставлять подвиги добра в таком виде, что зритель не закипит весь желаньем с ним подружиться? То и другое по мне — гниль, а не искусство. Глубоко сказал Николай Николаич: то дурно, когда в добре не видишь добра.

Другой актер. Справедливо, справедливо: то дурно, когда в добре не видишь добра.

Петр Петрович. Противу этого я не могу сказать решительно никакого возражения. Николай Николаич сказал глубоко; Михайло Семеныч развил еще больше. Но все это не ответ на мой вопрос. То, что вы сейчас сказали, то есть чтобы хорошее выставлено было действительно с силой магической, увлекающей не только человека хорошего, но даже и дурного, а дурное изображено было в таком презрительном виде, чтобы зритель не только не почувствовал желанья примириться с выведенными лицами, но, напротив, желал бы поскорее их оттолкнуть от себя, — все это, Николай Николаич, должно быть непременным условием всякого сочинения. Это даже и не цель. Всякое сочинение должно иметь сверх этого всего свое собственное, личное выраженье, Николай Николаич, иначе пропадет его оригинальность. Николай Николаич, — понимаете ли вы это? Поэтому-то я не вижу в «Ревизоре» того большого значенья, которое придают ему другие. Надобно, чтобы было ощутительно ясно, зачем предпринято такое-то сочинение, на что именно бьет оно, к чему клонится, что нового хочет доказать собой. Вот что, Николай Николаич, а не то, что вы говорите вообще об искусстве.

Николай Николаич. Петр Петрович, да как же вы говорите, к чему клонится... ведь это... ведь это видно.

Петр Петрович. Николай Николаич, это не видно. Не вижу я никакой особенной цели этой комедии, обнаруженной

в самом сочинении; или, может быть, автор с каким-нибудь умыслом скрыл ее. В таком случае это выдет уже преступленье перед искусством, Николай Николаич, что вы себе ни говорите. Разберемте-ка сурьезно эту комедию: ведь «Ревизор» совсем не производит того впечатленья, чтоб зритель после него освежился; напротив, вы, я думаю, сами знаете, что одни почувствовали бесплодное раздраженье, другие даже озлобленье, а вообще всяк унес какое-то тягостное чувство. Несмотря на все удовольствие, которое возбуждают ловко найденные сцены, на комическое даже положенье многих лиц, на мастерскую даже обработку некоторых характеров, в итоге остается что-то эдакое… я вам даже объяснить не могу, — что-то чудовищно мрачное, какой-то страх от беспорядков наших. Самое это появленье жандарма, который, точно какой-то палач, является в дверях, это окамененье, которое наводят на всех его слова, возвещающие о приезде настоящего ревизора, который должен всех их истребить, стереть с лица земли, уничтожить вконец, — все это как-то необъяснимо страшно! Признаюсь вам достоверно, a la lettre, на меня ни одна трагедия не производила такого печального, такого тягостного, такого безотрадного чувства, так что я готов подозревать даже, не было ли у автора какого-нибудь особенного намерения произвести такое действие последней сценой своей комедии. Не может быть, чтобы это вышло так, само собой.

Первый комический актер. А, вот наконец догадались сделать этот вопрос. Десять лет играется на сцене «Ревизор». Все более или менее нападали на тягостное впечатленье, им производимое, а никто не дал запроса: зачем было производить его? — точно как будто бы автор должен был писать свою комедию очертя голову и не зная сам, к чему она и что выдет из нее. Дайте же ему хотя каплю ума, в котором вы не отказываете ни одному человеку. Ведь, верно же, есть причина всякому поступку, даже и в глупом человеке.

Все смотрят на него с изумлением.

Петр Петрович. Михайло Семеныч, объяснитесь: это что-то неясно.

Семен Семеныч. Это пахнет какою-то загадкой.

Первый комический актер. Да как же в самом деле вы не заметили, что «Ревизор» без конца?

Николай Николаич. Как без конца?

Семен Семеныч. Да какой же еще конец? Пять действий; в шести комедия и не бывает. Разве новая побранка в придачу?

Петр Петрович. Позвольте, однако ж, заметить вам, Михайло Семеныч, что ж за пьеса, которая без конца? я спрашиваю вас. Неужели и это в законе искусства? Николай Николаич? Ведь это, по-моему, значит принести, поставить перед всеми запертую шкатулку и спрашивать, что в ней лежит?

Первый комический актер. Ну, да если она поставлена перед вами с тем именно, чтобы потрудились сами отпереть?

Петр Петрович. В таком случае, нужно, по крайней мере, сказать это; или же просто дать ключ в руки.

Первый комический актер. Ну, а если и ключ лежит тут же, возле шкатулки?

Николай Николаич. Перестаньте говорить загадками! Вы что-нибудь знаете. Верно, вам автор дал в руки этот ключ, а вы держите его и секретничаете.

Федор Федорыч. Объявите, Михайло Семеныч; я не в шутку заинтересован знать, что в самом деле может здесь крыться! На мои глаза, я не вижу ничего.

Семен Семеныч. Дайте же открыть нам эту загадочную шкатулку. Что это за странная такая шкатулка, которая неизвестно зачем нам поднесена, неизвестно зачем перед нами поставлена и неизвестно зачем от нас заперта?

Первый комический актер. Ну, а что ж, если она откроется так, что станете удивляться, как не открыли сами? и если в шкатулке лежит вещь, которая для одних — что старый грош, вышедший из употребленья, а для других — что светлый червонец, который век в цене, как ни меняется на нем штемпель?

Николай Николаич. Да полно вам с вашими загадками! Нам подавайте ключ, и ничего больше!

Семен Семеныч. Ключ, Михайло Семеныч!

Федор Федорыч. Ключ!

Петр Петрович. Ключ!

Все актеры и актрисы. Михайло Семеныч, ключ!

Первый комический актер. Ключ? Да примете ли вы, господа, этот ключ? Может быть, швырнете его прочь вместе с шкатулкой?

Николай Николаич. Ключ! не хотим больше ничего слышать. Ключ!

Все. Ключ!

Первый комический актер. Извольте, я дам вам ключ. От комического актера вы, может быть, не привыкли слышать таких слов, но что ж делать? в этот день сердце мое разгорелось, мне стало легко, и я готов все сказать, что ни есть у меня на душе, как бы вы ни приняли слова мои. Нет, господа, не давал мне автор ключа, но бывают такие минуты состоянья душевного, когда становится самому понятным то, что прежде было непонятно. Нашел я этот ключ, и сердце мое говорит мне, что он тот самый; отперлась передо мной шкатулка, и душа моя говорит мне, что не мог иметь другой мысли сам автор.

Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе! Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России: не слыхано, чтобы где были у нас чиновники все до единого такие уроды: хоть два, хоть три бывает честных, а здесь ни одного. Словом, такого города нет. Не так ли? Ну, а что, если это наш же душевный город и сидит он у всякого из нас?[1] Нет, взглянем на себя не глазами светского человека, — ведь не светский человек произнесет над нами суд, — взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами Того, Кто позовет на очную ставку всех людей, перед которыми и наилучшие из нас, не позабудьте этого, потупят от стыда в землю глаза свои, да и посмотрим, достанет ли у кого-нибудь из нас тогда духу спросить: «Да разве у меня рожа крива?» Чтобы не испугался он так собственной кривизны своей, как не испугался кривизны всех этих чиновников, которых только что видел в пьесе! Нет, Петр Петрович, нет, Семен Семеныч, не говорите: «это старые речи», или: «это уж мы сами знаем!» Дайте ж наконец уж и мне сказать слово. Что ж в самом деле, как будто я живу только для скоморошничества? Те вещи, которые нам даны с тем, чтобы помнить их вечно, не должны

[1] Окончание «Развязки Ревизора» было переработано Гоголем (см. с. 496–501). — *Сост.*

быть старыми: их нужно принимать как новость, как бы в первый раз только их слышим, кто бы их ни произносил нам, — тут нечего глядеть на лицо того, кто говорит их. Нет, Семен Семеныч, не о красоте нашей должна быть речь, но о том, чтобы в самом деле наша жизнь, которую привыкли мы почитать за комедию, да не кончилась бы такой трагедией, какою не кончилась эта комедия, которую только что сыграли мы. Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот — наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед этим ревизором ничто не укроется, потому что по Именному Высшему повеленью он послан и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг откроется перед тобою, в тебе же, такое страшилище, что от ужаса подымется волос. Лучше ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее. На место пустых разглагольствований о себе и похвальбы собой да побывать теперь же в безобразном душевном нашем городе, который в несколько раз хуже всякого другого города, — в котором бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей! В начале жизни взять ревизора и с ним об руку переглядеть все, что ни есть в нас, — настоящего ревизора, не подложного, не Хлестакова! Хлестаков — щелкопер, Хлестаков — ветреная светская совесть, продажная, обманчивая совесть; Хлестакова подкупят как раз наши же, обитающие в душе нашей, страсти. С Хлестаковым под руку ничего не увидишь в душевном городе нашем. Смотрите, как всякий чиновник с ним в разговоре вывернулся ловко и оправдался, — вышел чуть не святой. Думаете, не хитрей всякого плута чиновника каждая страсть наша, и не только страсть, даже пустая, пошлая какая-нибудь привычка? Так ловко перед нами вывернется и оправдается, что еще почтешь за добродетель и даже похвастаешься перед своим братом и скажешь ему: «Смотри, какой у меня чудесный город, как в нем все прибрано и чисто!» Лицемеры — наши страсти, говорю вам, лицемеры, потому что сам имел с ними дело. Нет, с ветреной светской совестью ничего не разглядишь в себе: и ее самую они надуют, и она надует их, как Хлестаков чиновников, и потом пропадет сама, так что и следа ее не найдешь. Останешься как дурак городничий,

который занесся было уже невесть куда — и в генералы полез, и наверняка стал возвещать, что сделается первым в столице, и другим стал обещать места, — и потом вдруг увидел, что был кругом обманут и одурачен мальчишкою, верхоглядом, вертопрахом, в котором и подобья не был с настоящим ревизором. Нет, Петр Петрович, нет, Семен Семеныч, нет, господа, все, кто ни держитесь такого же мненья, бросьте вашу светскую совесть! Не с Хлестаковым, но с настоящим ревизором оглянем себя! Клянусь, душевный город наш стоит того, чтобы подумать о нем, как думает добрый государь о своем государстве! Благородно и строго, как он изгоняет из земли своей лихоимцев, изгоним наших душевных лихоимцев! Есть средство, есть бич, которым можно выгнать их. Смехом, мои благородные соотечественники! Смехом, которого так боятся все низкие наши страсти! Смехом, который создан на то, чтобы смеяться над всем, что позорит истинную красоту человека. Возвратим смеху его настоящее значенье! Отнимем его у тех, которые обратили его в легкомысленное светское кощунство над всем, не разбирая ни хорошего, ни дурного! Таким же точно образом, как посмеялись над мерзостью в другом человеке, посмеемся великодушно над мерзостью собственной, какую в себе ни отыщем! Не одну эту комедию, но все, что бы ни показалось из-под пера какого бы то ни было писателя, смеющегося над порочным и низким, примем прямо на свой собственный счет, как бы оно именно было на нас лично написано: все отыщешь в себе, если только опустишься в свою душу не с Хлестаковым, но с настоящим и неподкупным ревизором. Не возмутимся духом, если бы какой-нибудь рассердившийся городничий или, справедливей, сам нечистый дух шепнул его устами: «Что смеетесь? — Над собой смеетесь!» Гордо ему скажем: «Да, над собой смеемся, потому что слышим благородную русскую нашу породу, потому что слышим приказанье Высшее быть лучшими других!» Соотечественники! ведь у меня в жилах тоже русская кровь, как и у вас. Смотрите: я плачу! Комический актер, я прежде смешил вас, теперь я плачу. Дайте мне почувствовать, что и мое поприще так же честно, как и всякого из вас, что я так же служу земле своей, как и все вы служите, что не пустой я какой-нибудь скоморох, созданный для потехи пустых людей, но честный чиновник великого Божьего государства и возбудил в вас смех, — не тот

беспутный, которым пересмехает в свете человек человека, который рождается от бездельной пустоты праздного времени, но смех, родившийся от любви к человеку. Дружно докажем всему свету, что в Русской земле все, что ни есть, от мала до велика, стремится служить Тому же, Кому все должно служить что ни есть на всей земле, несется туда же *(взглянувши наверх)*, кверху, к Верховной вечной красоте!

Вторая редакция окончания «Развязки Ревизора»[1]

Семен Семеныч. Что, что, Михал Михалч, что вы говорите, какой душевный город?

Михал Михалч. Мне так показалось. Мне показалось, что это мой же душевный город, что последняя сцена представляет последнюю сцену жизни, когда совесть заставит взглянуть вдруг на самого себя во все глаза и испугаться самого себя. Мне показалось, что этот настоящий ревизор, о котором одно возвещенье в конце комедии наводит такой ужас, есть та настоящая наша совесть, которая встречает нас у дверей гроба. Мне показалось, что этот ветреник Хлестаков, плут, или как хотите назвать, есть та поддельная ветреная светская наша совесть, которая, воспользовавшись страхом нашим, принимает вдруг личину настоящей и дает себя подкупить страстям нашим, как Хлестаков чиновникам, — и потом пропадает, так же, как он, неизвестно куда. Мне показалось, что это безотрадно печальное окончание, от которого так возмутился и потрясся зритель, предстало перед меня в напоминанье, что и жизнь, которую привыкаем понемногу считать комедией, может иметь такое же печально-трагическое окончание. Мне показалось, как будто вся комедия совокупностью своею говорит мне о том, что следует вначале взять того ревизора, который встречает нас в конце, и с ним так же, как правосудный государь ревизует свое государство, оглядеть свою душу и вооружиться так же против страстей, как вооружается Государь противу продажных чиновников, потому что они так же крадут сокровища души нашей, как те грабят казну и достоянье государства, — с настоящим ревизором: потому что лицемерны наши страсти, и не только страсти, но даже малейшая пошлая привычка умеет так искусно подъехать к нам и ловко перед нами изворотиться, как не изворотились перед Хлестаковым проныры чиновники, так что готов даже принять их за добродетели, готов даже похвастаться порядком душевного своего города, не принимая

[1] После слов: «Ну, а что, если это наш же душевный город и сидит он у всякого из нас?» (С. 492). — *Сост.*

и в мысль того, что можешь остаться обманутым, как городничий. Мне так показалось.

Петр Петрович. Михал Михалч! Все то, что вы говорите, красноречиво; но где здесь вы нашли подобие? Какое сходство Хлестакова с ветреной светской совестью или настоящего ревизора с настоящей совестью? Николай Николаич! скажите мне поистине: находите вы здесь какое-нибудь сходство?

Николай Николаич. Признаюсь, никакого.

Семен Семенч. И я тоже; как ни таращу свои глаза, но ничего не вижу.

Федор Федорыч. Сознаюсь вам, Михал Михалч, откровенно: несмотря на то, мысль недурна и могла бы послужить даже предметом сочиненья художественного; но я не думаю, чтобы автор ее имел в виду.

Николай Николаич *(решительно)*. Вздор! Он и в помышленье этого не имел!

Михал Михалч. Да разве я вам говорю, что автор имел ее в виду? Я вам вперед сказал: «Автор не давал мне ключа, я вам предлагаю свой». Автор, если бы даже и имел эту мысль, то и в таком случае поступил бы дурно, если бы ее обнаружил ясно. Комедия тогда бы сбилась на аллегорию, могла бы из нее выйти какая-нибудь бледная, нравоучительная проповедь. Нет, его дело было изобразить просто ужас от беспорядков вещественных не в идеальном городе, а в том, который на земле, — собрать в кучку все, что есть похуже в нашей земле, чтобы его поскорей увидали и не считали бы этого за то необходимое зло, которое следует допустить и которое так же необходимо среди добра, как тени в картине. Его дело изобразить это темное так сильно, чтобы почувствовали все, что с ним надобно сражаться, чтобы кинуло в трепет зрителя — и ужас от беспорядков пронял бы его насквозь всего. Вот что он должен был сделать. А это уж наше дело выводить нравоученье. Мы, слава Богу, не дети. Я подумал о том, какое нравоученье могу вывести для самого себя, и напал на то, которое вам теперь рассказал.

Петр Петрович. Михал Михалч! Комедия пишется для всех. Из нее должны вывести нравоученье все, — нравоученье ближайшее, доступное всем, а не то отдаленное, которое может вывести для себя какой-нибудь оригинальный, не похожий на

прочих человек. Спрашиваю: зачем этого нравоучения никто не вывел, а только одни вы?

Николай Николаич *(поспешно)*. Именно! вот настоящий вопрос! Разрешите-ка прежде это: зачем одни вы это вывели, а не все?

Семен Семенч. Да, Михал Михалч, зачем одни вы это вывели? Зачем одни вы это вывели?

Михал Михалч. Во-первых, почему вы знаете, что это нравоученье вывел один я? А во-вторых, почему вы считаете его отдаленным? Я думаю, напротив, ближе всего к нам собственная наша душа. Я имел тогда в уме душу свою, думал о себе самом, потому и вывел это нравоученье. Если бы и другие имели в виду прежде себя, вероятно, и они вывели бы то же самое нравоученье, какое вывел и я. Но разве всяк из нас приступает к произведенью писателя, как пчела к цветку, затем, чтоб извлечь из него нужное себе? Нет, мы ищем во всем нравоученья для других, а не для себя. Мы готовы ратовать и защищать все общество, дорожа заботливо нравственностью других и позабывши о своей. Ведь посмеяться мы любим над другими, а не над собой; увидеть недостатки ведь мы любим в других, а не в себе. Как бы то ни было, но взгляните: три тысячи ведь людей пришло в театр; все знают, что пришли затем, чтобы посмеяться, и всякий из этих трех тысяч уверен, что придется над другим посмеяться, а не над ним. Малейший намек, что он может быть похож сам на того, над кем посмеялся, может привести его в гнев, и он готов уже в бешенстве повторять: «Да разве у меня рожа крива?»

Семен Семенч. Михал Михалч, я говорю не в том смысле...

Михал Михалч *(прерывая)*. Позвольте, Семен Семенч! Вы человек благородный, человек истинно русский в душе, человек, наконец, который глядит уже глазами христианина на жизнь, — зачем вы произносите речи, противные вашему собственному образу мыслей? Прежде всего, зачем вы всякий раз позабываете, что предмет комедии и вообще сатиры не достоинство человека, а презренное в человеке; что чем больше она выставила презренное презренным, чем больше им возмутила и привела от него в содроганье зрителя, тем больше она выполнила свое значение. Зачем вы всякий раз это позабываете и всякий раз хотите

сатире навязать предметы, приличные трагедии? Нет, кто хочет нравоученья, тот возьмет его себе; кто глядит в душу себе, тот из всего возьмет то, что нужно: тот и в этом вещественном городе увидит душевный свой город; тот увидит, что с большей силой следует вооружиться против лицемерия. Тот увидит, увидит, что и дело лежит здесь. Нет, оставьте сатиру в покое: она дело свое делает. Дурного не следует щадить, где бы оно ни было. Но если хотите уж поступить христиански, обратите ту же сатиру на самого себя и примените всякую комедию к себе, прежде чем замечать отношенье ее к целому обществу. Уж ежели действовать по-христиански, так всякое сочиненье, где ни поражается дурное, следует лично обратить к самому себе, как бы оно прямо на меня было написано. Вы сами знаете, что нет порока, замеченного нами в другом, которого хотя отраженья не присутствовало бы и в нас самих, — не в таком объеме, в другом виде, в другом платье, поприличней и поблагообразней, принарядившись, как Хлестаков. Чего не отыщешь, если только заглянешь в свою душу с тем неподкупным ревизором, который встретит нас у дверей гроба! Сами это знаем, а знать не хочем! «Кипит душа страстями», — говорим всякий день, а гнать не хочем. И бич в руках, данный на то, чтобы гнать их.

Семен Семенч. Да где ж бич? Какой бич?

Михал Михалч. А смех разве не бич? Или, думаете, даром нам дан смех, когда его боится и последний негодяй, которого ничем не проймешь, его боится даже и тот, кто ничего не боится? Значит, он дан на доброе дело. Скажите: зачем нам дан смех? затем ли, чтобы так, попусту смеяться? Если он дан нам на то, чтобы поражать им все, позорящее высокую красоту человека, зачем же прежде всего не поразим мы то, что порочит красоту собственной души каждого из нас? Зачем не обратим его вовнутрь самих себя, не изгоняем им наших собственных взяточников? Зачем один намек о том, что вы над собой смеетесь, может привести во гнев?.. Как бы то ни было, но всякая страсть, всякая низкая наклонность наша все-таки хочет сыграть сколько-нибудь благородную роль, принять благородную наружность и только под этой личиной пробирается нам в душу, потому что благородна наша природа и не допустит ее к себе в бесстыдной наготе. Но, поверьте, когда выставишь перед самим собой ее на смех и, не пощадя ничего,

поразишь так, что от стыда весь сгоришь, не зная куда скрыть собственное лицо свое, — тогда эта страсть не посмеет остаться в душе нашей и убежит, так что и следа ее не отыщешь.

Семен Семенч. Признаюсь, ваши слова заставили меня задуматься. Вы думаете, возможен этот поворот смеха на самого себя, противу собственного лица?

Петр Петрович. Я думаю только, что это возможно для человека, который почувствовал благородство природы человека и омерзенье к своим недостаткам.

Михал Михалч. Я думаю, только, что если он сверх того и русский в душе, тогда ему возможней. Согласитесь: смех у нас есть у всех; свойство какого-то беспощадного сарказма разнеслось у нас даже у простого народа. Есть также у нас и отвага оторваться от самого себя и не пощадить даже самого себя. Стало быть, у нас скорее может быть возможен поворот смеха на его законную дорогу. Опровергните меня, докажите мне, что я лгу, уничтожьте, разрушьте убежденье мое, и вместе с тем разрушьте уже и меня, бедного скомороха, который живет этим убежденьем, который испробовал на собственном своем теле. Семен Семеныч, разве у меня не такая же русская кровь, как и у вас? Разве я могу почувствовать в мои высшие минуты иное что, как не то же, что способны почувствовать и вы в такие? Разве я не стою теперь перед вами в мою высшую минуту? Служба моя кончилась; я схожу с театра, на котором служил двадцать лет. Вы сами меня увенчали венками, сами меня растрогали. Вы сами меня почти вынудили сказать то, что я теперь сказал. Смотрите же: я плачу. Комический актер, я прежде смешил вас, — теперь я плачу. Дайте же мне почувствовать, что и мое поприще так же честно, как и всякого из вас; что я также служил земле своей, что не пустой я был скоморох, но честный чиновник великого Божьего государства и возбудил в вас не тот пустой смех, которым пересмехает человек человека, но смех, родившийся от любви к человеку. Николай Николаич! Федор Федорыч! Семен Семеныч, и вы, все товарищи, с которыми делил я время труда, время наставительных бесед, от которых я многому поучился и с которыми расстаюсь теперь! Друзья! публика любила талант мой, но вы любили меня самого. Отнимите, отнимите после меня этот смех, — отнимите у тех, которые обратили его в кощунство над всем, не разбирая ни хорошего,

ни дурного! Говорю вам: верьте этим словам, которые говорит душа впервые в свою жизнь. Он добр, он честен, этот смех. Он дан именно на то, чтобы уметь посмеяться над собой, а не над другим. И в ком уж нет духа посмеяться над собственными недостатками своими, лучше тому век не смеяться!.. Иначе смех обратится в клевету, и, как за преступленье, даст он за него ответ!..

Послесловие

Пьеса под заглавием «Заключенье Ревизора» предназначалась в прощальный бенефис одному из лучших актеров нашего театра. А потому не мешает помнить, что Первый комический актер, который есть главное лицо в этой комедии, взят в ту минуту, когда, прослуживши законное число лет, сходит он со сцены, прощаясь навсегда с публикою, которую занимал так долго, и с товарищами, которым уж больше не товарищ.

Комментарии



Том III

От «Невского проспекта» до «Рима»

Возникновение в творчестве Гоголя «петербургской темы» связано с самыми первыми впечатлениями писателя от северной столицы, полученными по приезде в Петербург в конце 1828 года. Впервые образ Петербурга появляется у Гоголя в 1831 году в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Блестящий, «весь в огне» город Петра I и Екатерины II, город, полный диковинных, «растущих из земли» многоэтажных домов, «чудных» роскошных «бричек со стеклами», изображен в двух повестях этого цикла — «Пропавшей грамоте» и «Ночи перед Рождеством». Однако, хотя в ранних повестях Гоголем уже были намечены многие черты, которые нашли впоследствии развернутое воплощение в его так называемом «петербургском» цикле — цикле из пяти повестей, посвященных изображению петербургской жизни, — в самых первых «малороссийских» произведениях Гоголя взгляд его на Петербург — это во многом взгляд «со стороны». Понадобилось еще два года, чтобы пережитый опыт был основательно осмыслен и приобрел соответствующую художественную форму. Вплотную к освоению «петербургской темы» Гоголь приступает лишь в 1833 году.

Определенную роль в этом сыграло многолетнее общение Гоголя в Петербурге с А. С. Пушкиным и князем В. Ф. Одоевским, которые, в свою очередь, уделили в своих произведениях значительное внимание теме северной столицы. Именно Пушкин в конце 1820-х — начале 1830-х годов явился предшественником Гоголя и Одоевского в разработке темы «демонического» Петербурга.

«Петербургские» повести Гоголя — «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», «Записки сумасшедшего» — часто рассматривают как отдельный цикл, посвященный северной столице. Между тем сам Гоголь такой цикл в своем творчестве не выделял. Как в сборнике «Арабески» (1835), где впервые были напечатаны некоторые из его «петербургских» повестей (среди ряда других художественных и публицистических произведений), так и в третьем томе прижизненного собрания сочинений 1842 года, куда они были впоследствии помещены (вместе с двумя «непетербургскими» повестями — «Коляска» и «Рим»; том этот назван просто: «Повести»), тема Петербурга предстает у Гоголя как неотъемлемая часть размышлений над мировой и отечественной историей: она дается на чрезвычайно широком историческом и культурном фоне. Главными составляющими этого фона являются, с одной стороны, западноевропейская действительность — в ее прошлом и настоящем, с другой — прошлое и настоящее самой России (и в частности, Малороссии). Изображение северной столицы органично входит

в более широкую, объединяющую все повести, тему мировой цивилизации в отношении к традиционной культуре России. Объясняется и место повестей в составе собрания сочинений. Если в первом и втором томах («Вечера...» и «Миргород») изображалась патриархальная Малороссия, то теперь объектом внимания автора становится «цивилизованное» общество — будь то Париж (повесть «Рим»), Петербург («Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», «Записки сумасшедшего») или русский провинциальный городок («Коляска»).

Как единый цикл повести третьего тома «Сочинений» Гоголя требуют соответствующего — учитывающего их идейно-тематическое единство — рассмотрения. Центральная идея завершающего, «итогового», произведения тома, повести «Рим», — противопоставление Парижа и Италии, европейской цивилизации и европейской культуры, ремесла и искусства. Это противопоставление находит себе соответствие сразу в двух «петербургских» повестях Гоголя, появившихся ранее в «Арабесках», — в «Невском проспекте» и «Портрете».

Согласно размышлениям Гоголя, воплощенным в «Риме», ремесленная цивилизация Парижа, потворствуя низменным инстинктам человека, несет миру нравственное растление и одичание и тягостный беспросветный труд по производству предметов роскоши и «цивилизованного» комфорта. «Божественные искусства» Италии, напротив, способны, по мнению Гоголя, избавить человека от этого духовного и физического рабства. Герой «Портрета», молодой художник, стоит именно перед таким — изображенным в антитезе Италии и Парижа — выбором: он волен выбрать между искусством и ремеслом. То же самое можно сказать и о красавице «Невского проспекта», «искусство» которой — служить вдохновляющей, стремящей человека силой, его «небесным звонком» («...Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами...» — заметит позднее Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями»), а «ремесло» так же далеко от ее назначения, как ремесленник Шиллер из того же «Невского проспекта» от Шиллера-поэта...

Тут необходимо оговориться. Художник Пискарев в «Невском проспекте» сравнивает свою красавицу с Мадонной Перуджино — и сам Гоголь любил этого итальянского художника, так что, будучи в Риме, даже возмущался суждениями живописца М. К. Дмитриева, называвшего «школу Перуджино les primitifs» (примитивной [*фр.*]) (свидетельство Ольги Николаевны Смирновой, дочери старой приятельницы Гоголя Александры Осиповны Смирновой) (*Шенрок В. И.* Указатель к письмам Гоголя, заключающий в себе объяснения инициалов и других сокращений в издании Кулиша. М., 1886. С. 40). «...Он любил Перуджино, из Ранционгли», — вспоминала о Гоголе сама А. О. Смирнова (цит. по автографу: Российская государственная библиотека (далее — РГБ). Ф. 474. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 3 об.; упоминание об отношении Гоголя к П. Перуджино

в наиболее авторитетном из изданий мемуаров А. О. Смирновой приводится неточно: «...он не любил Перуджино из Ранционгли»; см.: *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 43). Но, вспоминала А. О. Смирнова, при всей любви к Перуджино, Гоголь не только ему, но даже Рафаэлю предпочитал православную иконопись, замечая об итальянских живописцах, что «всё это не может сравниться с нашими византийцами, у которых краска ничего, и всё в выражении и чувстве» (РГБ. Ф. 474. К. 2. Ед. хр. 7. Л. 3 об.). Такая же оценочная «иерархия» заключается и в описании албанской красавицы Аннунциаты в «Риме», где, при всем восхищении ею, неожиданно появляется у Гоголя настораживающее сравнение с «гибкой пантерой». В свою очередь, увлечение «возвышенным» Шиллером Гоголь сравнивает в «Мертвых душах» с нетрезвостью, почти опьянением: «Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, показав им прекрасного человека...»

Это видимое противоречие прямо выводит нас к проблеме, чрезвычайно важной для понимания Гоголя и имеющей прямое отношение к его дальнейшему духовному развитию. Руководствуясь в оценке некоторых явлений действительности представлением о «необходимом зле» в истории — о промыслительно заложенных в человеке от самого его рождения «страстях» (с помощью которых якобы и осуществляется подчас его спасение; см. коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 4. С. 554), Гоголь прилагал порой эти взгляды и к «эстетическому» соблазну, соблазну красоты, могущему, по его мнению, равно служить добру (в искусстве) и злу (в ремесленной роскоши). Чувственное восприятие красоты, эта «прирожденная страсть» падшего человека, может, по Гоголю, стать либо первой ступенькой к его спасению, либо прямым прологом к гибели.

В то же время, допуская в своих размышлениях представление о промыслительном назначении некоторых «прирожденных страстей», Гоголь никогда не заблуждался относительно сущности той или иной «страсти», не идеализировал их. В самом понятии «целомудренной страсти» он находил даже источник комического эффекта (последнее выражение взято из русского перевода комедии Мольера «Сганарель», обработанного Гоголем в конце 1839 года). (Имеется в виду реплика героини комедии о своем супруге: «Теперь все ясно: он изменяет мне. Теперь я не удивляюсь холодности, которой он отвечает на мою целомудренную страсть»; см. в т. 7 наст. изд.)

В соответствии с этим отношением Гоголя к возможностям и недостаткам эстетического начала противопоставление в его повестях Парижа и Рима, художника петербургского художнику итальянскому оказывается достаточно условным. Образы монаха-аскета в «Портрете» или монаха-капуцина среди цветущей, художнической жизни Рима (на значение последнего образа указывал Гоголь в 1841 году В. А. Панову, «ссылаясь на эффект, производимый нищенствующим братом», когда он вдруг появляется среди веселящейся итальянской толпы; см.: *Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом

1841 года // *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1989. С. 79) возвышаются равно и над «ремеслом», и над «искусством». (О том, что само ношение священником своей одежды является в известной мере исповедничеством, Гоголь писал, в частности, позднее в «Выбранных местах из переписки с друзьями» и в «Размышлениях о Божественной Литургии».) Монах-художник в «Портрете» предъявляет к самому себе те требования, которые со всей полнотой займут жизнь Гоголя в 1840-е годы, — покаяние, очищение души, молитва.

Невский проспект

К пониманию первой из «петербургских» повестей Гоголя (в композиции третьего тома собрания) ближе всех, кажется, подошел профессор, протопресвитер В. В. Зеньковский, отметивший, что в «Невском проспекте» сильнее всего ощутим тот сокрушительный удар, который нанес Гоголь идеям эстетического гуманизма, наиболее глубоко выраженным в свое время Ф. Шиллером и чрезвычайно популярным в России в XIX веке (*Зеньковский В. В., проф., прот.* Н. В. Гоголь. Париж, <1961>. С. 127). Эти идеи — о единстве красоты и добра, высказанные в повести устами автора: «...красота... только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях», рушатся «при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата».

Этим, однако, шиллеровская тема в «Невском проспекте» не исчерпывается. Едва ли случайно назван в повести Шиллером один из немногочисленных ее героев — «жестяных дел мастер в Мещанской улице». Дело в том, что «певец прекрасного» поэт Ф. Шиллер (с сочинениями которого Гоголь познакомился еще в Нежинской гимназии) известен и как идеолог европейского торгово-промышленного прогресса, и как прямой защитник интересов среднего сословия (см. его «Историю отпадения Соединенных Нидерландов от испанского владычества» и трагедию «Дон Карлос»). Имя же еще одного из немецких мастеровых в «Невском проспекте», столяра Кунца, — уже без очевидных литературных ассоциаций, но с тем же намеком на «художества», указывает, вероятно, на саму идею внешне чисто комического именования гоголевских ремесленников «шиллерами» и «гофманами» — идею о низведении искусства к ремеслу. Die Kunst *(нем.)* — искусство; отсюда — кунсткамера (или, согласно орфографии XVIII века, «кунцкамера»); с кунсткамерой Гоголь, в свою очередь, сравнивает низкопробные, исполненные «диких страстей» и кровавых эффектов произведения французских романтиков А. Дюма и В. Дюканжа: «...можно подумать, что это кунсткамера, в которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы...» («Петербургские записки 1836 года»).

В этом свете каждая из двух частей «Невского проспекта» пронизана гоголевской полемикой с идеями Шиллера. Становится

явной и связь этих частей между собой. Ибо «шиллеровская» красавица и торгующие предметами роскоши «шиллеры»-ремесленники оказываются связанными друг с другом еще и экономически. По Гоголю, красавица, сделавшая из своего дара «ремесло», становится в то же время и «поощрительницей» роскоши («мануфактурности»). Вывеска с «золотыми словами» и нарисованными ножницами, доходный дом с вьющейся чугунной лестницей, которые предстают на пути преследующего красавицу художника Пискарева (дорогостоящие чугунные лестницы как характерная черта петербургского быта упоминаются Гоголем и в других произведениях — в «Ночи перед Рождеством», «Ревизоре», «Мертвых душах») и указывают, видимо, на власть немцев-ремесленников над одетой в роскошный плащ петербургской красавицей — обитательницей «четвертого этажа». Эту составляющую европейской промышленности один из героев Гоголя — помещик Костанжогло во втором томе «Мертвых душ» — определяет следующим образом: «...Из Лондона мастеров выписали... Прядильные машины... кисеи шлюхам городским, девкам». Добавим, что в первом томе «Мертвых душ» Шиллер, в свою очередь, упоминается у Гоголя в окружении «работников и особенного рода существ, в виде дам», «кузнецов и всякого рода дорожных подлецов». И здесь Гоголь размышляет о «раздоре мечты с существенностью», об обольстительном упоении шиллеровскими грезами.

Продолжая наблюдения над композицией книги «Повестей» третьего тома гоголевских сочинений, следует отметить, что тема Петербурга неразрывно связана у Гоголя с размышлениями о петровских преобразованиях в России. («А Гоголь, — замечал в 1875 году Ф. М. Достоевский, — был прямой отрицатель всех последствий Петра...»; *Достоевский Ф. М.* Записная тетрадь 1872–1875 годов//Лит. наследство. Т. 83. М., 1971. С. 314.) Последствия петровских преобразований, указываемые Гоголем, подчас неожиданны. Так, в частности, выбор художника в «Портрете» между ремеслом и искусством отчасти уже предопределен. И предопределен не чем иным, как основанием русской столицы «в земле снегов», «в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно». «Художник петербургский! — восклицает Гоголь в «Невском проспекте». — ...Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился...» Действительно, настоящее произведение искусства создает художник, отправившийся в Италию («Портрет»). Остающийся же в Петербурге обращается в конце концов — в борьбе за свое существование — к доходному модному ремеслу.

Последствия цивилизаторской деятельности Петра I, как бы решившегося перекроить и самую географию («Выкинет штуку русская столица, если присоседится к ледяному полюсу», — замечал Гоголь в «Петербургских записках 1836 года»), сказывается и на другом гоголевском герое — петербургском чиновнике Акакии

Акакиевиче Башмачкине из повести «Шинель», судьба которого является в некотором смысле «универсальной» для петербургских героев Гоголя. Если художника вступить на путь ремесла понуждают «охлаждение» дарований и необходимость в «цивилизованном» (а значит, дорогостоящем) жилье, то тот же самый мороз вынуждает и Башмачкина позаботиться о новой шинели — в чем опять сказываются «замерзнувшие на дороге способности и дарованья». О «страшном враге» небогатых петербургских обитателей — северном морозе — Гоголь упоминает и в «Портрете»: «Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников...» 11 марта 1833 года П. А. Плетнев сообщал В. А. Жуковскому о Гоголе: «...Он в такой холодной поселился квартире, что целую зиму принужден был бегать от дому, боясь там заморозить себя» (*Плетнев П. А.* Соч. и переписка. СПб., 1885. Т. 3. С. 528. См. также письма самого Гоголя к М. П. Погодину от 25 ноября 1832 года и к матери от 24 июня 1833-го).

Автобиографическое начало в «петербургских» повестях Гоголя, вообще говоря, сказывается весьма часто. Именно это позволяет обозначить собственно авторское отношение к тем или иным сторонам изображаемого им петербургского быта. Еще будучи в Нежине, 26 июня 1827 года Гоголь писал своему школьному приятелю Г. И. Высоцкому в ответ на сообщенные им сведения о петербургской жизни: «Не знаю, может ли что удержать меня ехать в Петербург, хотя ты порядком пугнул и пристращал меня необыкновенною дороговизною, особливо съестных припасов. Более всего удивило меня, что самые пустяки так дороги, как-то: манишки, платки, косынки и другие безделушки. У нас, в доброй нашей Малороссии, ужаснулись таких цен, сравнив суровый климат ваш, который еще нужно покупать необыкновенною дороговизною, и благословенный малороссийский, который достается почти даром...» Уже в этом гоголевском письме как бы намечена тема будущей «Шинели» — мороз, дающий «колючие щелчки без разбору по всем носам» и вынуждающий героя, бедного петербургского чиновника, положить все силы и средства на приобретение новой шинели («отрадный» контраст этому — изображение вольного южного быта в «Тарасе Бульбе»).

Отсюда почти неизбежное при суровом петербургском климате и «страшной» столичной дороговизне обращение обитателя Северной Пальмиры к «бесчувственному», безжалостному ростовщику. Эту примету петербургской жизни Гоголь, в свою очередь, изобразил в повести «Портрет»...

Здесь кстати заметить, что наряду с собственно «бытовым», житейским «материалом», легшим в основу гоголевского образа «цивилизованного» Петербурга, заставившим писателя обратить внимание на «географическую» сторону преобразований Петра I, к осмыслению этой проблемы мог подтолкнуть Гоголя и А. С. Пушкин. По замечанию В. Ф. Ходасевича, Пушкин, изображая в «Медном всаднике» (1833, опубл. в 1837) вторжение в мир обитателей

Петербурга стихийных, демонических сил — сметающих «все на своем пути, как воды, разрушившие домик Параши и ее матери», — понимал, что «все-таки царь Петр есть гений, душа того бедствия, которое стряслось над Евгением»: «...Ужасен был миг, когда Евгений... понял... связь Петра с волнами, сгубившими несчастную Парашу» (*Ходасевич Вл.* Петербургские повести Пушкина // *Пушкин — Титов.* Уединенный домик на Васильевском. М., 1915. С. 17–19). «Знал» Пушкин, добавлял В. Ф. Ходасевич, и то, что, «олицетворяя ужас в Петре, он в известном смысле делает трагедию бедного Евгения» трагедией всей России» (Там же. С. 18).

В этой связи весьма примечательны две детали первой редакции гоголевского «Портрета» (редакции «Арабесок» 1835 года), связанные с образом петербургского ростовщика (в 1842 году Гоголь исключил их при переработке повести). Это, во-первых, упоминание среди заложенных вещей в кладовых ростовщика о «бриллиантовом перстне бедного чиновника, получившего его в награду неутомимых своих трудов». Согласно послужному списку Гоголя, он сам 9 марта 1834 года (в год создания «Портрета»), будучи учителем истории в Патриотическом институте благородных девиц, был по случаю награждения преподавателей при выпуске воспитанниц пожалован от Ея Императорского Величества Императрицы Александры Феодоровны — «в награду отличных трудов» — «бриллиантовым перстнем». Вероятно, именно этот перстень и пришлось тогда заложить Гоголю — и тогда же соответствующий образ появился в «Портрете».

По воспоминаниям А. С. Данилевского, именно мороз и «необыкновенная дороговизна» были первыми впечатлениями Гоголя по приезде в Петербург в декабре 1828 года: «...особенно обидная неприятность была для него в том, что он, отморозив нос, вынужден был первые дни просидеть дома... От... этого восторг быстро сменился совершенно противоположным настроением, особенно когда их стали беспокоить страшные петербургские цены...» (*Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1892. Т. 1. С. 152). 24 июля 1829 года Гоголь прямо писал матери о глупости тех, «которые оставляют отдаленные провинции, где имеют поместья, где могли бы быть хорошими хозяинами и принесть несравненно более пользы...». «Если уже дворянину непременно нужно послужить, — замечал он, — служили бы в своих провинциях; так нет, надо потаскаться в Петербург, где мало того что ничего не получат, но сколько еще перетаскают денег из дому, которые здесь истребляют неприметно в ужасном количестве». Об этом же Гоголь впоследствии открыто заговорит в «Переписке с друзьями»: «Разорить полдеревни или пол-уезда затем, чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу, есть вывод, который мог образоваться только в пустой голове эконома XIX века...»

Нос

Мотив «цивилизованного» петербургского севера лег и в основу повести Гоголя «Нос», где комическое попадание носа майора Ковалева в хлеб цирюльнику Ивану Яковлевичу выступает своеобразным аналогом той цены, в какую обходится герою повести его «просвещенная» жизнь в северной европеизированной столице.

Этим, в частности, и объясняется отправление ковалевского «хлеба»-«носа» в Ригу — за границу, — откуда получала Россия всевозможные предметы европейской роскоши — например, «хорошие сигарки» (согласно реплике Хлестакова в одной из сцен черновой редакции «Ревизора») или почитаемый самим майором Ковалевым табак «рапе» — «по два рубля фунт» (ремесленник Шиллер в «Невском проспекте» из-за дороговизны этого табака готов даже отрезать себе *нос;* тогда как герой «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» оставляет без табака свой нос в целях наказания: «...нос его невольно понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он делал... от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинило судье еще более досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать дерзость его»). Из Риги, вероятно, привозилось в Петербург и то «хорошее вино», рюмку которого «любил выпить» (согласно черновому наброску к повести) майор Ковалев «после обеда», — отчего *нос* героя приобрел соответствующий красноватый оттенок — «тонкие и самые нежные жилки» (ср. также в «Коляске»: «Генералу был прислан из Риги какой-то необыкновенный ром и шнапс, который тут же подавался в больших стаканах»). «Что касается в особенности до Риги, смело можно сказать, что торговля была давнею и единственною благодетельницею ее...» (*Глинка Ф. Н.* Письма к другу. М., 1990. С. 218).

Таким образом, выстраивается ряд повестей Гоголя, являющий единый образ «цивилизованного» европеизированного Петербурга: «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель»...

К содержанию этих «петербургских» повестей прямое отношение имеет еще одно из впечатлений Гоголя, полученных им в первые месяцы пребывания в Петербурге. К этим месяцам относится одно загадочное событие в жизни Гоголя, объяснение которого приводит в затруднение биографов писателя. Летом 1829 года только что начавший обживаться в столице Гоголь вдруг все бросает и уезжает за границу. Перед отъездом он пишет матери отчаянное письмо о какой-то неведомой красавице, встреча с которой и вынуждает его «бежать от самого себя». Некоторый свет на эту загадку проливает дальнейшее творчество Гоголя. Изображенная пять лет спустя в «Невском проспекте» падшая женщина, вероятно, и встретилась тогда Гоголю. Описание терзаний, приведших к самоубийству художника Пискарева, прямо повторяет рассказ Гоголя в письме к матери от 24 июля 1829 года о пережитых им страданиях от той встречи.

История эта имела и продолжение. Неделю спустя Гоголь отправил матери новое письмо, где объяснял свой внезапный отъезд на сей раз тем, что врачи предписали ему лечиться за границей («...у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи...»). Мать, сопоставив оба письма, сделала неожиданный вывод, что причиной болезни сына была встреча с женщиной. Гоголь же, получив письмо матери, пришел в ужас от одного этого предположения: «...как! вы могли, маминька, подумать даже, что я... нахожусь на последней степени унижения человечества!.. Но я готов дать ответ пред лицом Бога, если я учинил хоть один развратный подвиг...» (По замечанию современного исследователя, эти слова Гоголя, воспитанного в благочестивой религиозной семейной традиции, полностью исключают предположение о полученном им заболевании; *Крейцер А.* Зачем уезжал Гоголь из Петербурга в 1829 году? // Нева. 1993. № 4. С. 285–286.) (Письмо матери Гоголя, как и большинство ее писем к сыну, до нас не дошло. Однако о его содержании можно судить из ее послания к двоюродному брату Петру П. Косяровскому 1829 года, в котором она сообщает, что «часто получает» от сына письма и сама пишет ему «по нескольку листов морали» (*Сажин В.* На пороге. Из архивных разысканий о Н. В. Гоголе //Звезда. 1984. № 4. С. 178). Эта самокритическая нотка в оценке содержания собственных писем, возможно, появилась у Марии Ивановны именно после ответа Гоголя на ее неосновательное, но как бы само собой напрашивающееся (по подсказке «морали») предположение о полученном сыном заболевании.)

Позднее, в письме к А. С. Данилевскому от 20 декабря 1832 года, Гоголь замечал по поводу сердечных увлечений друга: «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать. Я потому говорю: благодаря, что это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновенье».

При всем том сама возможность представленного в «догадке» матери случая — и то потрясение, которое пережил тогда Гоголь от одного этого предположения, обладавший недюжинным, «страшным» воображением, судя по всему, и дала писателю впоследствии материал для повести «Нос». (В 1849 году Гоголь, в частности, признавался Ф. В. Чижову: «Я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся; тотчас же воображение за это ухватится, начнет развивать — и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы» (<*Кулиш П. А.*> *Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. СПб., 1856. Т. 2. С. 241).

С ранней петербургской поры 1829 года в переживании Гоголем прекрасного навсегда поселяется мысль о нетождественности в мире красоты и добра, о недостаточности только лишь эстетического критерия в оценке действительности. Мечтательному эстетическому гуманизму Шиллера было противопоставлено апостольское и святоотеческое свидетельство о том, что «сам сатана» может

принимать — и «принимает» — «вид Ангела света» (2 Кор. 11, 14; с этими словами апостола прямо перекликается в «Невском проспекте» описание падшей красавицы: «Все выражение прекрасного лица ее было означено таким благородством, что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страшные свои когти»). Встреча с красавицей в 1829 году стала для Гоголя своеобразной вехой для осмысления собственной судьбы.

Гоголь приехал в Петербург с чрезвычайно широкими (и смутными) планами о благородном труде на благо Отечества. Однако ему предстояло начать свою деятельность с низших ступеней чиновничьей лестницы. Это очень болезненно отразилось на его юношеском честолюбии. Еще в 1827 году он писал из Нежина своему дяде Петру Косяровскому: «Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу... бросали меня в глубокое уныние... быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно». Этот страх был подхлестнут в Петербурге неудачей с первым литературным произведением Гоголя — поэмой «Ганц Кюхельгартен», решившись напечатать которую, он долго молился, стоя на коленях и кладя земные поклоны. Опубликованная летом 1829 года под псевдонимом «В. Алов», поэма получила в журналах уничижительные рецензии, и Гоголь, скупив имевшиеся у книгопродавцев экземпляры, сжег их. В те самые дни он и встречает свою загадочную красавицу.

Можно представить, как к честолюбивым желаниям юноши после случившейся с ним литературной неудачи с необходимостью присоединяется ужас от возможного превращения в обыкновенного и даже ничтожного чиновника — в Акакия Акакиевича Башмачкина из будущей «Шинели» (ранние письма Гоголя из Петербурга полны перекличек с этой повестью). Аналогией же к столь унизительному употреблению талантов, каковой представилось Гоголю от самого его приезда в Петербург чиновничья деятельность, очевидно, и явилось для него унижение высокого дара красоты в постыдной торговле им. «...За цену ли, едва могущую выкупить годовой наем квартиры и стола, мне должно продать свое здоровье и драгоценное время? и на совершенные пустяки, и на что это похоже?..» — писал Гоголь матери о предстоящей ему чиновничьей службе уже за два месяца до бегства.

«Бог указал мне путь в землю чуждую, — писал он матери, — чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного труда и деятельности, чтобы я сам по скользким ступеням поднялся на высшую, откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира».

Можно, кажется, прямо указать, куда держал путь Гоголь. Сосед Гоголей по имению В. Я. Ламиковский в январе 1830 года не без сарказма сообщал своему приятелю И. Р. Мартосу: «Никоша пишет к матушке: "я удивляюся, почему хвалят Петербург, город сей более превозносится, чем заслуживает, и я, любезная маменька, намерен ехать в Соединенные Штаты"...» (Киевская Старина. 1898.

Т. 68. № 7–8. С. 123). А. С. Данилевский, нежинский однокашник Гоголя, позднее вспоминал: «Его тянуло в какую-то фантастическую страну счастья и *разумного производительного* труда… такой страной представлялась ему Америка» (*Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. Т. 1. С. 182; курсив наш. — *И. В.*).

Судя по всему, труд мелкого чиновника в Петербурге представлялся Гоголю и «неразумным», и «непроизводительным». 30 апреля 1830 года в письме к матери он замечал о занятиях петербургских чиновников: «…все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их».

Очевидно, что предполагавшееся бегство в Америку в поисках достойного поприща во всем подобно у Гоголя его приезду в Петербург с той же целью. Еще в 1827 году Гоголь писал своему другу Г. И. Высоцкому о нежинских обывателях: «Они задавили корою своей земности… высокое назначение человека».

Можно догадываться и о причинах скорого — через два месяца — возвращения Гоголя из Германии. Разочарованный в Петербурге, Гоголь за границей неожиданно для себя встречается здесь… снова с «Петербургом»! — то есть с тем же «цивилизованным» европейским образом жизни, все «прелести» которого неизбежно должны были ожидать его и в Америке (в Любеке Гоголь знакомится с «гражданином Американских Штатов», из разговоров с которым мог составить себе соответствующее представление об этой стране; см. его письмо к матери от 25 августа (н. ст.) 1829 года). Взгляд на Петербург как на средоточие в России подавляющей человеческую личность европейской (и американской) цивилизации мы встречаем в одной из ранних статей Гоголя — «Петербургских записках 1836 года». Характеристика Петербурга в этих записках («что-то похожее на европейско-американскую колонию») совпадает со строками другой ранней статьи Гоголя, посвященными Америке — «этой всемирной колонии, вавилонском смешении наций» («О преподавании всеобщей истории», 1834).

Несомненно, что Америка (как ранее Петербург) была утопией Гоголя, развеявшейся при первом соприкосновении с действительностью. Много позднее архимандрит Феодор (Бухарев), беседовавший с Гоголем о его книге «Выбранные места из переписки с друзьями», в которой Соединенные Штаты тоже подвергались критике как государство-«автомат» — «колониальное» государство, «где неизвестны ни самоотверженье, ни благородство, а только корыстные личные выгоды», — возможно, со слов самого Гоголя замечал: «Америка в духовном отношении, — такой страждущий ребенок, который, может быть, более других зовет одну истинную матерь человеческих душ Церковь Православную» (<*Бухарев А. М.*> Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб., 1860. С. 253).

Материальные затруднения и проблема выбора пути, с которыми столкнулся Гоголь по приезде в Петербург, вплотную поставили перед ним вопрос о достойном употреблении дарованных ему Богом

талантов. «Цивилизованный» Петербург, который первоначально представлялся юному Гоголю средоточием разнообразной человеческой деятельности, местом приложения самых разных сил и способностей, трудов на благо Отечества, на деле открылся ему как город «кипящей меркантильности», честолюбивых притязаний, развращающей роскоши — где каждый житель, от юноши до старика, тем или другим губительным для души «ремеслом» зарабатывает себе свою долю не менее пагубных и греховных «удовольствий»: «Здесь вы встретите почтенных стариков... бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим...» («Невский проспект»). Такой предстала Гоголю по приезде в столицу истинная суть «просвещенного» европейскими новшествами «блестящего» Петербурга.

«Страшным оскорбительным упреком и праведным гневом поразит нас негодующее потомство, — писал позднее Гоголь во втором томе «Мертвых душ», — что... играя, как игрушкой, святым словом просвещенья, правились швеями, парикмахерами, модами...» «Неприметно» и неотвратимо растет «счет», предъявляемый в «Носе» майору Ковалеву «просвещенной» петербургской жизнью. Одним из многих такой счет предъявляет герою цирюльник Иван Яковлевич, образ которого прямо связан с размышлениями Гоголя о проникновении западноевропейской цивилизации в Россию, начавшейся «во время Петра, когда Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом; один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили» (из письма Гоголя к М. П. Погодину от 1 февраля 1833 года). По словам рассказчика «Повести о капитане Копейкине» в «Мертвых душах», где тема петербургских соблазнов также является одной из ключевых, «платить цирюльнику — это составит, в некотором роде, счет» (ср. также упоминание о метели в «Ночи перед Рождеством», «намыливающей» героя снегом «проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву»). По такому же «счету» платит герой «Носа» актрисе («синяя ассигнация»), газете («дорого заплатить за объявление»), медику («благодарность за визит»), квартальному надзирателю («красная ассигнация»). Свой счет предъявляют «баба, продававшая манишки», и прачка — «Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален» («как можно реже отдавать прачке мыть белье» составляет, в частности, одну из статей экономии Акакия Акакиевича Башмачкина в «Шинели»). С дороговизной «съестных припасов» («Очень большая поднялась дороговизна на все припасы...» — замечает в «Носе» квартальный) связано упоминание о кондитерских, где майор Ковалев частый гость. Замечание об этом можно, в частности, найти у Гоголя и в «Портрете»: «Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста... отправиться тот же час в театр, в кондитерскую... и прочее, — и он, схвативши деньги, был

уже на улице». По особому «счету» — прямо связанному с пропажей носа — и оплачиваются в «Носе» «потребности», подсказанные в «Портрете» многозначительным отточием — именно исполнение «секретных приказаний» майора Ковалева «какой-нибудь смазливенькой» уличной торговкой — одной из будущих «нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся». Прямой намек на эти «потребности» содержится в «Носе» в реплике частного пристава, потревоженного неурочным визитом к нему майора Ковалева и потому замечающего, что «у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. — То есть не в бровь, а прямо в глаз».

Именно этому, связанному с «буквальной» утратой носа, мотиву гоголевской повести и соответствует ироническое рассуждение о носе в рассказе В. И. Карлгофа «Панегирик носу» (1832), на который в свое время было обращено внимание при изучении повести Гоголя (*Виноградов В.* Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос»//Начала. 1921. № 1. С. 86). В рассказе Карлгофа, в частности, говорится: «О нос! чистейший нравственностью, ты вопиешь о пороках того человека, который тебя носит… Твои улики безмолвны, но *красноречивы.* Твой пунцовый цвет изобличает человека, предавшегося вполне Бахусу: ты как будто стыдишься слабости человека, носящего тебя, и вместе с тем, бросаясь в глаза каждому своим ярким цветом, для бедного грешника, как булла отвержения от церкви. Но в этом ли одном пороке ты уличаешь смертных?» (*Карлгоф В.* Панегирик носу//Литературные Прибавления к Русскому Инвалиду. 1832. 3 авг. № 62. С. 489). Уместно напомнить, что о «свидетельстве» носа в пристрастии человека к «Бахусу» (этот мотив, вообще говоря, нельзя назвать оригинальным) Гоголь впервые упомянул в своих произведениях еще до публикации рассказа В. И. Карлгофа, в 1831 году. Эти упоминания появились тогда в повестях «Пропавшая грамота» и «Ночь перед Рождеством». Очевидно, Гоголь вполне самостоятельно «нашел» объяснение тому, чему уделил позднее особое внимание в «Носе».

Примечателен в картине пагубных петербургских соблазнов, изображаемых Гоголем в этой повести, образ «спекулатора почтенной наружности», продающего «при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки». «Спекулатор» по-церковнославянски — «оруженосец», «палач» (*лат.* speculator). К этому мотиву «Носа» примыкает, в частности, и образ цирюльника в «Иване Федоровиче Шпоньке…», где герой, «казнимый» опять-таки через пищу, гибнет от ее неумеренного употребления.

Так, «умерщвляемый» искусными «ремесленными» кулинарными приготовлениями своей матушки, помещик Сторченко в «Иване Федоровиче Шпоньке…» сравнивается Гоголем — в тот момент, когда садится на свое обыкновенное, «лобное», место за столом

и завешивается салфеткой, — с теми «героями, которых рисуют цирюльники на своих вывесках». Соответственно изображается и матушка (играющая здесь как бы роль «тирана-цирюльника»): «...это была совершенная доброта. Казалось, она так и хотела спросить... сколько вы на зиму насоливаете огурцов? “Вы водку пили?” — спросила старушка». К этой же теме Гоголь обращался и во втором томе «Мертвых душ» в образе неистощимого в кулинарных выдумках помещика Петуха: «Закуске последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником». (Помимо прочего, в этих образах угадывается и содержание басни И. А. Крылова — одного из любимых Гоголем поэтов: «“Соседушка, мой свет! Пожалуйста, покушай”. — “Соседушка, я сыт по горло”. — “Нужды нет, еще тарелочку; послушай: ушица, ей-же-ей, на славу сварена!”»; «Демьянова уха».)

Этот же мотив встречается в «Старосветских помещиках»: «Я любил бывать у них, и... объедался страшным образом... мне это было очень вредно... если бы... вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то... очутился бы лежащим на столе». Всем этим провинциалам, однако же, чрезвычайно далеко, по Гоголю, до всевозможных петербургских «ресторанов-французов», представителей «обжорливой Европы», «отворяющих кровь» своим клиентам как «десятерными ценами», так и распалением пагубного сластолюбия.

Портрет

Теме идеологического «оправдания» порока, пагубных «ремесл» западной цивилизации и гибели художника, вставшего на путь доходного «ремесла», посвящена следующая, после «Носа», повесть Гоголя из петербургской жизни — «Портрет». Сюжет этой повести был намечен Гоголем еще в статье «Несколько слов о Пушкине» (датированной 1832 годом и опубликованной в 1835 году в «Арабесках»). Так, в судьбе художника Чарткова, начавшего льстить в создаваемых им портретах самолюбию своих заказчиков, прямо угадываются строки статьи Гоголя о Пушкине: «Масса публики, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желаниях; она кричит: “Изобрази нас так, как мы есть, в совершенной истине...” Но попробуй поэт... изобразить все в совершенной истине... она тотчас заговорит: “...это нехорошо...” Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий...» Эта мысль прямо повторена Гоголем в «Портрете»: «Дамы требовали... облегчить все изъянцы и даже, если можно, избежать их вовсе... Мужчины тоже были ничем не лучше дам». Именно так, идя на поводу публики, и поступает в повести художник Чартков: «Он бесстыдно воспользовался слабостью людей, которые за лишнюю черту красоты, прибавленную художником к их изображениям, готовы простить ему все недостатки».

Позднее критик Д. И. Писарев, размышляя по поводу проблем, поставленных Гоголем в «Портрете» (и впоследствии в «Мертвых душах»), писал: «Ноздревы, Чичиковы, Собакевичи... ищут себе... таких художников, которые, сохраняя им все их типические особенности, превратили бы их в милых, интересных и очаровательных героев романа: "...Эй, поэты, воспойте нас... За деньгами мы не постоим"» (*Писарев Д. И.* Наши усыпители // Соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 4. С. 254). Прямое соответствие этому замечанию Писарева можно найти в противопоставлении Гоголем в заключении шестой — начале седьмой главы первого тома «Мертвых душ» «возвышенного» Шиллера и «писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи»; а также размышлений в одиннадцатой главе поэмы о «так называемых патриотах»: «...Они выбегут со всех углов... и подымут вдруг крики: "Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом?"»

Подразумевая эти строки и имея в виду содержание «Невского проспекта», Писарев, в свою очередь, замечал: «Гете, конечно, очень умен, очень объективен, очень пластичен и так далее; все это при нем и останется на вечные времена. Но своему отечеству Гете сделал чрезвычайно много зла. Он, вместе с Шиллером, украсил, тоже на вечные времена, свиную голову немецкого филистерства лавровыми листьями бессмертной поэзии. Благодаря этим двум поэтам немецкий филистер имеет возможность мирить высшие эстетические наслаждения с самою бесцветною пошлостью... Он читает своих великих поэтов, и вздыхает над ними, и умиляется, и заводит глаза, как откормленный кот, и остается безнадежным пошляком, и твердо уверен при этом, что он человек и что ничто человеческое ему не чуждо» (*Писарев Д. И.* Генрих Гейне//Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 224).

Показательный пример «безнадежной» пошлости немецкого романтика-«филистера» приводил в 1849 году сам Гоголь. «...Немец вообще не очень приятен, — говорил он, — но ничего нельзя себе представить неприятнее немца-ловеласа, немца-любезника, который хочет нравиться». И Гоголь рассказал, как встретил однажды «такого ловеласа в Германии». Этот немец-«ловелас» добился успеха у своей возлюбленной тем, что, по словам Гоголя, каждый вечер, раздевшись, бросался в пруд и плавал перед ее глазами, «обнявши двух лебедей, нарочно им для сего приготовленных». «Воображал ли он в этом что-то античное, мифологическое, — заканчивал рассказ Гоголь, — или рассчитывал на что-нибудь другое, только дело кончилось в его пользу: немка действительно пленилась этим ловеласом и вышла скоро за него замуж» (*Арнольди Л. И.* Мое знакомство с Гоголем//Гоголь в воспоминаниях современников. С. 473).

Здесь необходимо затронуть весьма важный, принципиальный для понимания гоголевского творчества вопрос. Несомненно, в своих «петербургских» и «непетербургских» повестях, вошедших в третий том собрания сочинений, — от «Невского проспекта»

до «Рима» — Гоголь прослеживает пагубное, «опошляющее» и растлевающее воздействие на душу человека западной ремесленной цивилизации — цивилизации «Шиллеров, Гофманов и Кунцев». Однако парадоксально, что именно эти повести, где наиболее сильно воплощено Гоголем развенчание секуляризованной европейской культуры, первоначально отнесены были критиками... к плодам влияния немецкого романтизма.

В. Г. Белинский, например, в 1835 году писал о гоголевском «Портрете», что это «фантастическая повесть à la Hoffmann <Гофман>» (*Белинский В. Г.* И мое мнение об игре г. Каратыгина//Собр. соч.: В 9 т. М., 1976. Т. 1. С. 130). С. П. Шевырев в 1842 году также полагал, что в повестях «Арабесок» и в «Носе» Гоголь «подчинялся немецкому влиянию» (*Шевырев С. П.* Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя. Статья вторая // Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. М., 1982. С. 77). Добавим, впрочем, что в 1843 году Шевырев отчасти пересмотрел свои взгляды и писал Гоголю, что «Портрет» являет собой произведение, не укладывающееся в рамки «немецких» теорий. Впоследствии исследователями был высказан еще целый ряд замечаний о существенном отличии гоголевских повестей от произведений немецких романтиков (см., в частности: *Михайлов А. В.* Гоголь в своей литературной эпохе//Гоголь: История и современность. М., 1985. С. 115–119). Тем не менее вопрос этот остался до конца не проясненным.

Отношение Гоголя к европейскому романтизму лучше всего может быть понято из собственных высказываний писателя. В статье «Петербургская сцена в 1835–36 г.» Гоголь писал: «...Что такое романтизм?.. это больше ничего, как стремление подвинуться ближе к нашему обществу, от которого мы были совершенно отдалены подражанием обществу и людям, являвшимся в созданиях писателей древних... Но как только... выказывался талант великий, он... обращал это романтическое, с великим вдохновенным спокойством художника, в классическое, или, лучше сказать, в отчетливое, ясное, величественное создание. Так совершил это Вальтер Скотт и, имея столько же размышляющего, спокойного ума, совершил бы Байрон...»

Однако, согласно размышлениям Гоголя, Байрон, не имея этого «размышляющего, спокойного ума», не только не «продвинулся ближе к нашему обществу», но, напротив, «от бессилия передать... светлость и величие» жизни создал себе «в замену отвергнутого собственный... нестройный и чудный мир» (статья «О поэзии Козлова», 1831–1832). «Он слишком жарок, слишком много говорит о любви и почти всегда с исступлением, — замечал Гоголь о Байроне в письме к А. С. Данилевскому от 20 декабря 1832 года. — Это что-то подозрительно».

Еще менее Байрона, согласно статье Гоголя «Петербургская сцена...», оказались способными к созданию нового «классического» произведения французские романтики во главе с В. Гюго.

«Их имя, — замечал Гоголь, — не остается в числе чистых воспоминаний». Далее он писал о драме В. Гюго «Венецианская актриса»: «В этой драме, как во всех других, показал Гюго в полной мере молодость и незрелость своего таланта...» В «напряженных произведениях необузданной французской музы» (повесть «Рим») обнаруживается, на взгляд Гоголя, отрыв от жизни едва ли не больший, чем в удаленных от современности созданиях «писателей древних» или продолжателей античной традиции писателей-классицистов вроде Мольера. «Когда весь мир ладил под лиру Байрона... — размышлял Гоголь в «Петербургских записках 1836 года», — в этом стремлении было даже что-то утешительное. Но Дюма, Дюканж и другие стали всемирными законодателями!.. О Мольер, великий Мольер!.. Где... жизнь наша? где мы со всеми современными страстями?.. лжет самым бессовестным образом наша мелодрама...» «Стремление к странному произвело... в такой степени отступление в драме, — писал он и в статье «Петербургская сцена...» — какого не произвели прежние классические писатели педантическою аккуратностью и отчетливостью... Мольер... явившись в нынешнее время, изгнал бы нынешнюю... беззаконную драму».

С этими размышлениями прямо связано ироническое замечание Гоголя о «решительном торжестве» романтизма над классицизмом — «французским кораном на ходульных ножках», высказанное им ранее в письме к А. С. Пушкину от 21 августа 1831 года. Говоря о решительной «победе» романтизма над классицизмом, Гоголь с иронией писал здесь о том, что будто бы «в Англии Байрон, во Франции необъятный великостью Виктор Гюго, Дюканж и другие, в каком-нибудь проявлении объективной жизни, воспроизвели новый мир ее нераздельно-индивидуальных явлений».

Можно заметить, что оба упоминаемых здесь явления — и романтизм, и классицизм — в своем равном отвлечении от реальной жизни одинаково подходят под гоголевское определение (в статье «Об архитектуре нынешнего времени», 1835) «восточного воображения» — источника арабских «волшебных сказок» и «азиатской роскоши» — «воображения... горячего, чудесного, облекшегося в иперболу <гиперболу> и аллегорию, пролетевшего мимо жизни и прозаических нужд ее». В качестве одного из представителей этого «романтизмо-классицизма» Гоголь изобразил в «Арабесках» отвлеченного «философа-теоретика» арабского халифа Ал-Мамуна, пребывающего «в государстве муз, им же самим созданном и совершенно отдельном от мира политического». С этой же характеристикой отвлеченного, «романтического» воображения «классического» Востока (а также с ироническим определением классицизма как «французского корана на ходульных ножках») прямо перекликается и замечание Гоголя о настоящем создателе Корана в университетской лекции 1834 года «Первобытная жизнь арабов...»: «Желая сильнее действовать на пламенную, чувственную природу арабов, <Магомет> обещал рай, облеченный всею роскошью восточных красок...»

Несомненно, с гоголевским определением романтизма в статье «Петербургская сцена...» — как проявления «стремления подвинуться ближе к нашему обществу» — мог вполне согласиться князь В. Ф. Одоевский, который в 1833 году, в период наиболее тесного творческого и дружеского общения с Гоголем (работа над альманахами «Тройчатка» и «Двойчатка», участие Гоголя в издании «Пестрых сказок» Одоевского и др.), записал в своем дневнике: «До сих пор я стою на распутии, и вся жизнь выходит на мелочи. Не для того ли определил мне это Бог, чтобы я мог понять заблудших, перечувствовать их чувства, передумать их мысли — и говорить им их языком» (цит. по: *Замотин И. И.* Романтизм двадцатых годов XIX столетия в русской литературе. СПб.; М., 1913. Т. 2. С. 418). Позднее, имея в виду псалмы св. пророка Давида, Гоголь писал Н. М. Языкову: «Все тут сердечный вопль и непритворное восторгновенье к Богу... Перечти их внимательно... Но из твоей души должны исторгнуться другие псалмы, не похожие на те, из своих страданий и скорбей исшедшие, может быть, более доступные для нынешнего человечества...» (письмо от 15 февраля (н. ст.) 1844 года). «Книга моя, — замечал Гоголь по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» в письме к о. Матфею Константиновскому от 9 мая (н. ст.) 1847 года, — подействовала только на тех, которые не ходят в церковь... если кто-нибудь только помыслит о том, чтобы сделаться лучшим, то он уже непременно потом встретится со Христом, увидевши ясно, как день, что без Христа нельзя сделаться лучшим, и, бросивши мою книгу, возьмет в руки Евангелие».

Задачу самого́ фантастического в искусстве Гоголь видел прежде всего в отрешении читателя «от материализма». На это он, в частности, указывал, характеризуя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» немецкую фантастическую литературу, а также превосходящую ее по решению указанной задачи фантастическую поэзию В. А. Жуковского: «Неясные грезы, таинственные предания, необъяснимые чудесные происшествия... стали предметом немецких поэтов... Чуткая поэзия наша остановилась с любопытством младенца перед таким явленьем. Ее собственные славянские начала напомнили ей вдруг о чем-то похожем... Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность! Чудной, высшей волей вложено было ему в душу от дней младенчества непостижимое ему самому стремление к незримому и таинственному... Внеся это... дотоле незнакомое нашей поэзии стремление в область незримого и тайного, он отрешил ее самую от материализма не только в мыслях и образе их выраженья, но и в самом стихе, который стал легок и бестелесен, как видение». Эти строки прямо напоминают характеристику Гоголем в «Переписке с друзьями» народной песни и «церковных песней и канонов» — одинаково (хотя и в разной степени) проникнутых, по наблюдению писателя, «желаньем лучшей отчизны»: «стремлением как бы унестись куда-то вместе с звуками».

Самому Гоголю, писателю не менее «самобытному и самоцветному», чем Жуковский, в изображении скрытых потусторонних сил как очевидной реальности главным образцом тоже служила не столько немецкая романтика, сколько традиционное наследие православной отечественной культуры — в частности, известная Гоголю с раннего детства богатая житийная литература. (О чтении Четий-Миней в семье Гоголей см.: *Чаговец В. А.* Семейная хроника Гоголей (по бумагам семейного архива)//Памяти Гоголя. Научно-литературный сборник. Киев, 1902. Отд. 3. С. 36–37.) Прежде всего здесь (и в Священном Писании) эти явления изображаются не как литературный вымысел или игра фантазии, но как отражение реальной действительности.

Как заметил в 1902 году о Гоголе И. И. Замотин, «религиозный его идеал... духовное созерцание, которое сближает религиозные воззрения Гоголя с такими же воззрениями романтиков, в представлении его слились с нашим древнерусским идеалом святости, о котором забыли русские вольтерьянцы конца XVIJI и начала XIX столетия» (*Замотин И. И.* Три романтических мотива в произведениях Гоголя. К характеристике Гоголевского идеала. Варшава, 1902. С. 18). В повести «Портрет», отмечал И. И. Замотин, «кроме двух молодых художников автор рисует еще тип скромного, набожного живописца, какие только жили, по его замечанию, во время религиозных Средних веков» (Там же. С. 19–20). Параллель к этому типу, полагал исследователь, можно указать, с одной стороны, в древнерусской житийной литературе, например в рассказе об Алипии иконописце в Киево-Печерском патерике, с другой — в немецких романтических произведениях, в частности, в романе Л. Тика «Странствования Франца Штернбальда» (1798), где тоже излагается история живописца и «проглядывает мысль, что благочестие должно быть основой художественной деятельности» (Там же. С. 20).

Сам Гоголь, однако, с куда большей трезвостью (чем его исследователи) отличал религиозность немецкой романтической школы от подлинного христианского миросозерцания. Не случаен интерес, проявленный Гоголем в 1833 году к характеристике романтизма С. С. Уваровым в связи с «антиромантической» интерпретацией последним творчества И. В. Гете: «В то время, когда безверие проникло в Германию, когда страсть к отвлеченностям поколебала основания нравственных знаний, Гете... бичевал грозным сарказмом их суесловие и пытливость.... *Фауст...* представляет собой... возвышенную сатиру на страсть немцев копаться в глубинах и пропастях таинственности... страсть, безумно воспитанную трансцендентальною философиею, разрушительное действие коей ускорили позднейшие мудрования» (Гете. Слово, произнесенное в память Гете в торжественном собрании Академии наук президентом оной, *С. С. Уваровым*//Уч. зап. Московского ун-та. 1833. Ч. 1. № 1. С. 83, 85). В письме к А. С. Пушкину от 23 декабря 1833 года Гоголь дал следующую оценку этому выступлению Уварова: «Я понял его

еще более по тем беглым, исполненным ума замечаниям и глубоким мыслям во взгляде на жизнь Гётте». Известно, что отрицательная оценка Уваровым европейского романтизма нашла отражение и в его официальном циркуляре от 27 июня 1832 года о борьбе с романтической литературой — как действующей на читателя ко вреду его «морального чувства и религиозных понятий» (<*Стасов В. В.*> Цензура в царствование Императора Николая I//Русская Старина. 1903. № 3. С. 571–572). По мнению Ю. Г. Оксмана, на этом циркуляре основывалось позднее, в феврале 1834 года, запрещение гоголевского «Кровавого бандуриста», причисленного (сначала Н. И. Гречем, затем А. В. Никитенко) к произведениям «новейшей французской школы» (*Оксман Ю.* Кровавый бандурист (запрещенные страницы Гоголя)//Литературный музеум. Пг., 1921. Т. 1. С. 352; см. также: Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 545–546). Между тем, по замечанию П. Г. Паламарчука, «картины страданий» в «Кровавом бандуристе» были навеяны Гоголю не «новейшей французской школой», а украинскими летописями (*Паламарчук П. Г.* Примечания//*Гоголь Н. В.* Арабески. М., 1990. С. 20). Очевидно, цензуру ввело в заблуждение чисто внешнее сходство гоголевского отрывка с произведениями французских романтиков — точно так же, как позднее подобное сходство породило мнение исследователей о «романтизме» гоголевских «петербургских» повестей.

В этом смысле весьма примечательно изложенное Гоголем в «Портрете» эстетическое кредо русского художника, обучавшегося в Италии, который «стоял ни за... ни против пуристов... и, наконец, оставил себе в учители одного божественного Рафаэля». Строки нуждаются в некотором пояснении.

Пуристами называли в 1820–1840-х годах группу немецких религиозных художников во главе с Ф. Овербеком и П. Корнелиусом, известных также под названием «назарейцев» (от Назарета — городка в Галилее, где прошли детские и отроческие годы Спасителя). По словам М. П. Погодина, посетившего в 1839 году Овербека, немецкий художник был «очень привязан к Ж<уковскому>, с которым они сошлись во вкусе и понятиях о живописи, и соблазнили, вместе с Г<оголем>, и некоторых наших художников» (*Погодин М. П.* Год в чужих краях. М., 1844. Ч. 2. С. 136). Однако, по свидетельству П. В. Анненкова, общавшегося с Гоголем в Риме в 1841 году, Гоголь весьма критически отзывался о художниках-«назарейцах». Анненков вспоминал: «Раз после вечера, проведенного с одним знакомым живописца Овербека, рассказывавшим о попытках этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцание живописцев дорафаэлевской эпохи, мы возвращались домой, и я был удивлен, когда Гоголь, внимательно и напряженно слушавший рассказ, заметил в раздумье: "Подобная мысль могла только явиться в голове немецкого педанта"» (*Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 70). Подтверждение этому свидетельству Анненкова можно найти у самого Гоголя в повести «Рим», где,

говоря о постепенном знакомстве героя с древним Римом, он замечал, что приехавший после долгого отсутствия на родину римский князь изучал его «не так, как иностранец»-«педант», — «преданный одному Титу Ливию и Тациту, бегущий мимо всего, к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма срыть весь новый город, — нет, он находил все равно прекрасным: мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могущий Средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век...».

Как можно судить из других высказываний Гоголя, в творчестве художников-«назарейцев» его не устраивало прежде всего внешнее подражание старым мастерам, изучение старины извне, без вживания в живую ткань Предания Церкви. «Пока в самом художнике не произошло истинное обращенье ко Христу, не изобразить ему того на полотне», — замечал Гоголь в статье «Исторический живописец Иванов». Для достижения полноты «первобытного типа» иконы — без которого религиозное изображение не может, по убеждению Гоголя, считаться настоящей иконой — художнику необходимо вхождение в жизнь и опыт Церкви. В письме к В. А. Жуковскому от 28 февраля 1850 года Гоголь, в частности, писал: «Друг, ты требуешь от меня изображений Палестины со всеми ее местными красками... Я думаю, что вместо меня всякий простой человек, даже русский мужичок, если только он с трепетом верующего сердца поклонился, обливаясь слезами, всякому уголку Святой Земли, может рассказать тебе более всего того, что тебе нужно». Подчеркивая превосходство живой жизни во Христе перед «рабским», «педантическим» следованием традиции, Гоголь 14 декабря (н. ст.) 1844 года писал С. П. Шевыреву о воспитании молодых людей: «Чаще будем изображать им настоящий Образец человека, Который есть совершеннейшее из всего, что увидел слабыми глазами своими мир... еще лучше, если мы даже и говорить им не будем о Нем, о Совершеннейшем, но заключим Его сами в душе своей, усвоим Его себе, внесем Его во все наши движения... Не нужно даже... и говорить: "Я скажу в таком-то духе". Дух этот будет веять сам собою от каждого нашего слова».

Потому-то формальным попыткам художников-пуристов вернуться к дорафаэлевской традиции Гоголь предпочитал, подобно художнику «Портрета», более ощутимое — «для всех, отдалившихся от христианства» — «веяние духа» в созданиях «божественного Рафаэля». («...Есть много охотников действовать сгоряча, по пословице: "Рассердясь на вши, да шубу в печь"... — писал, в частности, Гоголь в статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» (1846) по поводу обвинений Пушкина в «нехристианстве», — через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу... Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму».)

еще более по тем беглым, исполненным ума замечаниям и глубоким мыслям во взгляде на жизнь Гётте». Известно, что отрицательная оценка Уваровым европейского романтизма нашла отражение и в его официальном циркуляре от 27 июня 1832 года о борьбе с романтической литературой — как действующей на читателя ко вреду его «морального чувства и религиозных понятий» (<*Стасов В. В.*> Цензура в царствование Императора Николая I//Русская Старина. 1903. № 3. С. 571–572). По мнению Ю. Г. Оксмана, на этом циркуляре основывалось позднее, в феврале 1834 года, запрещение гоголевского «Кровавого бандуриста», причисленного (сначала Н. И. Гречем, затем А. В. Никитенко) к произведениям «новейшей французской школы» (*Оксман Ю.* Кровавый бандурист (запрещенные страницы Гоголя)//Литературный музеум. Пг., 1921. Т. 1. С. 352; см. также: Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 545–546). Между тем, по замечанию П. Г. Паламарчука, «картины страданий» в «Кровавом бандуристе» были навеяны Гоголю не «новейшей французской школой», а украинскими летописями (*Паламарчук П. Г.* Примечания//*Гоголь Н. В.* Арабески. М., 1990. С. 20). Очевидно, цензуру ввело в заблуждение чисто внешнее сходство гоголевского отрывка с произведениями французских романтиков — точно так же, как позднее подобное сходство породило мнение исследователей о «романтизме» гоголевских «петербургских» повестей.

В этом смысле весьма примечательно изложенное Гоголем в «Портрете» эстетическое кредо русского художника, обучавшегося в Италии, который «стоял ни за... ни против пуристов... и, наконец, оставил себе в учители одного божественного Рафаэля». Строки нуждаются в некотором пояснении.

Пуристами называли в 1820–1840-х годах группу немецких религиозных художников во главе с Ф. Овербеком и П. Корнелиусом, известных также под названием «назарейцев» (от Назарета — городка в Галилее, где прошли детские и отроческие годы Спасителя). По словам М. П. Погодина, посетившего в 1839 году Овербека, немецкий художник был «очень привязан к Ж<уковскому>, с которым они сошлись во вкусе и понятиях о живописи, и соблазнили, вместе с Г<оголем>, и некоторых наших художников» (*Погодин М. П.* Год в чужих краях. М., 1844. Ч. 2. С. 136). Однако, по свидетельству П. В. Анненкова, общавшегося с Гоголем в Риме в 1841 году, Гоголь весьма критически отзывался о художниках-«назарейцах». Анненков вспоминал: «Раз после вечера, проведенного с одним знакомым живописца Овербека, рассказывавшим о попытках этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцание живописцев дорафаэлевской эпохи, мы возвращались домой, и я был удивлен, когда Гоголь, внимательно и напряженно слушавший рассказ, заметил в раздумье: “Подобная мысль могла только явиться в голове немецкого педанта”» (*Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 70). Подтверждение этому свидетельству Анненкова можно найти у самого Гоголя в повести «Рим», где,

говоря о постепенном знакомстве героя с древним Римом, он замечал, что приехавший после долгого отсутствия на родину римский князь изучал его «не так, как иностранец»-«педант», — «преданный одному Титу Ливию и Тациту, бегущий мимо всего, к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма срыть весь новый город, — нет, он находил все равно прекрасным: мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могущий Средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век...».

Как можно судить из других высказываний Гоголя, в творчестве художников-«назарейцев» его не устраивало прежде всего внешнее подражание старым мастерам, изучение старины извне, без вживания в живую ткань Предания Церкви. «Пока в самом художнике не произошло истинное обращенье ко Христу, не изобразить ему того на полотне», — замечал Гоголь в статье «Исторический живописец Иванов». Для достижения полноты «первобытного типа» иконы — без которого религиозное изображение не может, по убеждению Гоголя, считаться настоящей иконой — художнику необходимо вхождение в жизнь и опыт Церкви. В письме к В. А. Жуковскому от 28 февраля 1850 года Гоголь, в частности, писал: «Друг, ты требуешь от меня изображений Палестины со всеми ее местными красками... Я думаю, что вместо меня всякий простой человек, даже русский мужичок, если только он с трепетом верующего сердца поклонился, обливаясь слезами, всякому уголку Святой Земли, может рассказать тебе более всего того, что тебе нужно». Подчеркивая превосходство живой жизни во Христе перед «рабским», «педантическим» следованием традиции, Гоголь 14 декабря (н. ст.) 1844 года писал С. П. Шевыреву о воспитании молодых людей: «Чаще будем изображать им настоящий Образец человека, Который есть совершеннейшее из всего, что увидел слабыми глазами своими мир... еще лучше, если мы даже и говорить им не будем о Нем, о Совершеннейшем, но заключим Его сами в душе своей, усвоим Его себе, внесем Его во все наши движения... Не нужно даже... и говорить: “Я скажу в таком-то духе”. Дух этот будет веять сам собою от каждого нашего слова».

Потому-то формальным попыткам художников-пуристов вернуться к дорафаэлевской традиции Гоголь предпочитал, подобно художнику «Портрета», более ощутимое — «для всех, отдалившихся от христианства» — «веяние духа» в созданиях «божественного Рафаэля». («...Есть много охотников действовать сгоряча, по пословице: “Рассердясь на вши, да шубу в печь”... — писал, в частности, Гоголь в статье «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» (1846) по поводу обвинений Пушкина в «нехристианстве», — через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу... Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму».)

При этом сама оценка творчества Рафаэля проистекала у Гоголя из представления о глубоких византийских корнях итальянской живописи. В одной из своих исторических выписок начала 1830-х годов Гоголь отмечал: «Живописное искусство перешло из Византии в Русь прежде, нежели в Италию... Чимабуэ... обучаясь у греческих живописцев... воскресил это художество в своем отечестве» («Особые заметки») (Чимабуэ Джованни (ок. 1240 — ок. 1302) — итальянский живописец, творчество которого продолжает византийскую традицию, получившую развитие в Италии после взятия крестоносцами Константинополя в 1204 году). Как вспоминала А. О. Смирнова, Гоголь любил Рафаэля, сравнительно с другими итальянскими живописцами, именно за «сжатый строгий рисунок» и, в частности, выделял Джованни Беллини за «божественную наивность». Но так же, как к П. Перуджино, он относился к ним сдержанно, признавая, как указывалось, превосходство над итальянцами византийских иконописцев — «у которых краска ничего, а все в выражении и чувстве» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 43).

Вероятно, именно об этом «выражении и чувстве» и упоминает рассказчик «Портрета», когда восхищается образом Пресвятой Богородицы, написанным старцем-монахом: «Я был поражен глубоким выражением божественности в Ее лице». (Об этом же «выражении божественности» Гоголь писал позднее и графине А. М. Виельгорской: «В древней иконописи, украшающей старинные наши церкви, есть удивительные лики и на ликах удивительные выражения»; письмо от 16 апреля 1849 года.)

К самому Гоголю вполне могут быть отнесены слова, высказанные в 1858 году А. С. Хомяковым о творчестве художника А. А. Иванова (Хомяков прямо утверждал, что Иванов был «в живописи тем же, чем Гоголь в слове»): «Иванов не впадал в ошибку современных нам до-Рафаэлистов. Он не подражал чужой простоте: он был искренно, а не актерски прост в художестве, и мог быть простым потому, что имел счастие принадлежать не пережитой односторонности латинства, а полноте Церкви, которая пережита быть не может» (*Хомяков А. С.* Картина Иванова. Письмо к редактору // Русская Беседа. 1858. Т. 3. С. 11). Характерно, что Болонскую академическую школу живописи XVI–XVIII веков — «самое разгульное» (по словам еще одного из друзей Гоголя, Ф. В. Чижова) «время искусства, когда очень мало заботились о сохранении священных преданий», — Гоголь прямо называл «пекарской» (подразумевая под этим ниспадение искусства к ремеслу) (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 43). Подобная оценка западной религиозной живописи проистекала у Гоголя прежде всего из того, что Болонская школа, по словам П. В. Анненкова, «явясь после всех, получила в наследство опытность, но потеряла религиозное вдохновение, младенческую простоту и святость» (*Анненков П. В.* Письма из-за границы // *Анненков П. В.* Парижские письма. М., 1983. С. 25). Протопресвитер профессор В. В. Зеньковский в одной из своих ранних работ о Гоголе

непосредственно указывал на развитие этой темы в гоголевском «Портрете»: «В Черткове... необычайно рельефно изображено потухание его дара под давлением твердеющих в нем привычек, которые не дают простора подлинному вдохновению. Контраст техники и вдохновения ведет к тому, что при торжестве техники замирает вдохновение...» (*Зеньковский В. В., проф., прот.* Гоголь и Достоевский // О Достоевском. Сб. статей / Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1929. С. 68).

Исходя из представлений Гоголя о глубоком нравственном падении современного «цивилизованного» общества можно заключить, что высокая оценка Гоголем Рафаэля — при одновременно критическом к нему отношении — объясняется во многом именно стремлением отстоять и противопоставить светское искусство Ренессанса откровенно развращающему воздействию на человека новейшего «ремесла» — в частности, позднейшей, послерафаэлевской живописи. Не случайно модный живописец Чартков в «Портрете», льстящий развращенным вкусам заказчиков, замечает, что художники «до Рафаэля писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль даже писал не все хорошо».

При всей, однако, апологии у Гоголя рафаэлевского творчества (объясняющейся задачами критики новейшей ремесленной живописи) можно опять-таки и в «Портрете» найти строки, прямо соответствующие сказанному Гоголем в беседе с А. О. Смирновой о «наших византийцах» — превосходящих своим «выражением и чувством» самого Рафаэля. (Суть скептического отношения Гоголя к западной живописи — как дорафаэлевской, так и послерафаэлевской эпохи — при безусловном предпочтении им византийской иконописи, хорошо проясняют строки его статьи о русской поэзии в «Переписке с друзьями»: «Есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговеющее только пред одним нестареющим и вечным».)

Предпочтение Гоголем Рафаэлю «наших византийцев» отзывается в «Портрете» в размышлениях автора о русском художнике, который «веровал простой, благочестивой верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты». Опять-таки об этом «высоком выраженье» размышлял, очевидно, Гоголь, и когда писал в «Портрете» о «свете какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли», — без которого «самая природа» в картине художника, тщательно ей следующего, «кажется низкою, грязною», — «нет в ней чего-то озаряющего».

Примечательно, что неудачу самого художника-иконописца в исполнении важного заказа для «вновь отстроенной богатой церкви» Гоголь тоже объяснял тем, что, утратив присущие обычно этому художнику благочестивые чувства, тот задался целью превзойти

своих товарищей исключительно внешним мастерством, уподобившись тем самым «блестящим», но бесплодным в духовном отношении «талантам», которых раньше превосходил. На это указывает в «Портрете» отзыв некой «духовной особы» о написанной им тогда картине: «В картине художника, точно, есть много таланта… но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах…» Вероятно, в основу этого эпизода Гоголь положил реальный случай с художником Ф. А. Бруни, талант которого Гоголь находил в 1841 году даже «более зрелым», чем блестящий, эффектный талант К. П. Брюллова (см.: Лит. наследство. Т. 58. С. 608) (отдельные черты Брюллова Гоголь использовал тогда при создании образа модного живописца Чарткова; см.: *Алпатов М. В.* Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество: В 2 т. М., 1956. Т. 1. С. 224, 404). В 1838 году в картине Ф. А. Бруни, написанной для возобновлявшейся после пожара 17 декабря 1837 года церкви Зимнего дворца, Император Николай I увидел демоническое выражение. Об этом случае вспоминал позднее ученик К. П. Брюллова художник М. И. Железнов: «Ф. А. Бруни написал на холсте четыре колоссальные фигуры Евангелистов для возобновлявшейся после пожара большой церкви Зимнего дворца и, по окончании их, уехал в Рим. После его отъезда Государь посетил Академию и пошел по мастерским… Взглянув на голову фигуры Евангелиста Иоанна Богослова, <он> громко воскликнул: "Ну, этой головы оставить нельзя. Это ч… а не Евангелист!"» (Заметка о К. П. Брюллове (из воспоминаний *М. И. Железнова*) // Живописное Обозрение. 1898. № 30. С. 603–604). Об этом эпизоде вспоминал и другой современник, Н. И. Сазонов: «…Бруни, находившийся в Риме, послал в Академию художеств ряд картин, и Императора пригласили их посмотреть. Николай отправился в Академию и после осмотра одной из картин… сказал: "Бруни развращается в Италии; у его ангелов нет святости во взоре…"» (*Сазонов Н. И.* Правда об Императоре Николае (1854) / Пер. с фр. под ред. П. П. Щеголева. Козьмин Б. Из литературного наследства Н. И. Сазонова // Лит. наследство. Т. 41–42. М., 1941. С. 216–217. См. также: Заметки и воспоминания художника-живописца *М. Меликова*//Русская Старина. 1896. № 6).

В статье «Исторический живописец Иванов» в соответствии с размышлениями о тщетности мастерского живописного исполнения картины при отсутствии в ней подлинного духовного содержания (когда художник черпает поэзию «вокруг себя», но не имеет ее «в себе», по словам Гоголя в письме к М. П. Балабиной от 5 сентября (н. ст.) 1839 года) Гоголь замечал: «Иванов сделал все, что другой художник почел бы достаточным для окончания картины… лица… ландшафтная часть… все изобразил, чему только нашел образец. Но как изобразить то, чему еще не нашел художник образца?.. Иванов молил Бога… чтобы огнем благодати испепелил в нем ту черствость, которою теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди…» Подобным образом и в самом «Портрете» не благодаря

совершенствованию техники живописи, но подвигами покаяния, поста и молитвы, и не поездкой в «красавицу» Италию, но удалением в уединенный северный монастырь, «монастырь посреди природы бледной, обнаженной», но своим «осенним» видом «собирающей рассеявшиеся мысли», обретает «благословенье небес» на свой труд очистивший свою душу монах-художник.

Очевидна и иерархия картин, созданных двумя «идеальными» художниками «Портрета». В описании первой, принадлежащей художнику, «усовершенствовавшемуся» в Италии, рассказчик обращает внимание на «высокое благородство положений», «окончательное совершенство кисти», «плывучую округлость линий» — указывает прежде всего на «гениальность» художника — как в изучении Рафаэля и Корреджио, так и в наблюдении над природой («во всем постигнут закон и внутренняя сила»). Вторая картина написана, как отмечает рассказчик, художником, тоже вполне постигнувшим «присутствие мысли в каждом предмете», осознавшим «истинное значение слова "историческая живопись"» («почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью»), однако преимущественно посвятившим свою кисть не изображению природы, но изначально обратившимся «к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого». Очевидно, что картина первого, прошедшего выучку в Италии художника по самому предмету изображения уступает созданию художника-аскета. Потому-то в картине последнего подчеркивается уже не столько мастерство исполнения, сколько то, чего не могли достичь, при всем своем совершенстве, «даже значительные художники» (что, по словам рассказчика, он «очень редко встречал даже в картинах известных художников»), — именно «то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты».

Несомненно, подлинное назначение искусства, по Гоголю, — это прежде всего иконопись, создание образа для подражания. Оторвавшись от своего настоящего призвания, модный художник в «Портрете» становится, по Гоголю, создателем не икон — образцов, достойных поклонения, но, напротив, «образов» отверженного мира, «идеалов» растлительных, пагубных — идолов. На это «иконографическое» начало в деятельности петербургского художника указывают в «Портрете» строки заказанной Чартковым «ходячей газете» рекламной статьи, в которой говорится о способности новоявленного художника достойным образом перенести «прекраснейшие физиогномии» петербургских обывателей «*на чудотворный холст, для передачи потомству*».

Идя на поводу тщеславного желания падшего человека служить образцом для других, стать предметом поклонения и обожания («обожения»), художник «Портрета» как бы наглядно иллюстрирует рассказ из Книги Премудрости Соломона о происхождении идолопоклонства: «Кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того отдаленное лицо они изображали: делали

видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему... К усилению же почитания... поощряло тщание художника, ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством сделать подобие покрасивее; а народ, увлеченный красотою отделки, незадолго пред тем почитаемого, как человека, признал теперь божеством».

В точном соответствии с этим библейским повествованием Гоголь изображает в «Портрете» и последствия почитания произведенных таким образом «идеалов»: «И это было соблазном для людей... они не берегут ни жизни, ни чистых браков... Всеми... обладают кровь и убийство, хищение и коварство, растление... и распутство» (Прем. 14, 21, 24–26). Именно на этот результат «художнической» деятельности указывают у Гоголя строки газетного объявления «О необыкновенных талантах Чарткова»: «Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам». Об этих «мотыльках» и упоминает Гоголь в описании праздной толпы обольстительного Невского проспекта — «главной выставки» грациозных «талий», «хорошеньких глазок» и «ножек в очаровательных башмачках»: «Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола».

Привлеченная газетным объявлением светская петербургская дама вполне восхищена возможностью увидеть свою дочь в одном из соблазнительных образов языческого пантеона — именно «в виде Психеи». Ей и самой, по замечанию рассказчика, хотелось бы предстать «в виде какой-нибудь Психеи» — «чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться». «Знаете ли... — сообщает дама художнику Чарткову, заказывая ему портрет своей дочери, — на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье...» — «...к которому мы так привыкли...» — как бы поправляется она, скрывая невольно высказанную мысль.

Довольно быстро в своем ниспадении к доходному ремеслу художник Чартков «добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько... Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса, кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положенье и поворот. Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на всё и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия...».

Как бы подводя итог этим размышлениям, Гоголь замечал позднее в «Переписке с друзьями» о характере русской поэзии: «Как бы слыша, что ее участь не для современного общества, неслась она все время свыше общества; если ж и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству». Поэтому, выступая в 1830–1840-х годах вместе с С. П. Шевыревым против распространения в литературе европейского, так называемого «торгового», направления, Гоголь

считал более важным указать не столько на низменные мотивы деятельности корыстолюбивого художника-«ремесленника» (которые беззастенчиво провозглашала петербургская «ходячая газета»: «Виват, Андрей Петрович... Прославляйте себя и нас... Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою»), сколько на развращающее влияние в обществе низкопробных произведений, созданных этими «художниками». По словам Гоголя в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», Шевырев «обратил внимание не на главный предмет... Он гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара... Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это еще не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и еще хвалится своею покупкою».

Шинель

В «петербургских» повестях Гоголь показывает пагубное влияние «цивилизованного» Петербурга не только на развитие «высоких» дарований — поэтов, писателей, художников, но изображает и незавидную участь талантов более скромных — гораздо более распространенных. В следующей повести цикла — «Шинели» (1842) — Гоголь, обращая взгляд на трагическую судьбу «обыкновенного», «маленького» человека, придает тем самым «петербургской теме» еще более широкий, всеобъемлющий характер.

Одна из главных тем гоголевского творчества — от самых ранних произведений до позднейших — тема служения Отечеству. «После долгих лет и трудов... — замечал Гоголь в «Авторской исповеди», — я пришел к тому, о чем уже помышлял во время моего детства: что назначенье человека — служить и вся жизнь наша есть служба». В книге своих избранных писем, «Выбранных местах из переписки с друзьями», Гоголь пояснял: «Служить же теперь должен из нас всяк... так, как бы служил он в... небесном государстве, главой которого уже Сам Христос...»

Тема жертвенного служения на благо Отечества во многом определяет и замысел «Шинели». Широких планов о благородном труде на государственном поприще Гоголь, как указывалось, был исполнен еще в 1820-х годах, в то время, когда он учился в нежинской Гимназии высших наук. В свою очередь, заметное влияние на формирование замысла «Шинели» оказали личные впечатления писателя, из-за сильной петербургской дороговизны испытавшего сильную нужду по приезде в северную столицу в конце 1828 года. Эти впечатления явились тем бытовым, житейским материалом, который был использован Гоголем при изображении тяжелого материального положения своего героя. В 1829 году Гоголь, в частности, писал матери, что проживание его в одном из петербургских

доходных домов было «очень ощутительно» для его кармана: «За квартиру мы плотим восемьдесят рублей в месяц... здесь покупка фрака и панталон стоила мне двух сот... да на переделку шинели и на покупку к ней воротника до 80 рублей». «Есть в Петербурге, — добавлял позднее Гоголь в «Шинели», — страшный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья, или около того (сам Гоголь получал «до 500». — *И. В.*). Враг этот... мороз...» Непосредственное отношение к сюжету повести имеет и сообщение Гоголя в письме к матери из Петербурга от 2 апреля 1830 года о том, что, будучи не в состоянии заказать себе теплую одежду, он «привык к морозу и отхватал всю зиму в летней шинели».

Однако в конце 1820-х — начале 1830-х годов эти бытовые реалии еще не получили у Гоголя того глубокого осмысления, которое они приобрели позднее в «Шинели». По свидетельству одного из биографов писателя, П. В. Анненкова, непосредственное возникновение замысла повести относится к середине 1830-х годов. В присутствии Анненкова Гоголю был рассказан анекдот о бедном петербургском чиновнике, потерявшем дорогое лепажевское ружье (Лепаж — парижский оружейник). Анекдот этот, по словам мемуариста, «был первой мыслию чудной повести его «Шинель», и она заронилась в душу его в тот же самый вечер» (*Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 55). Подтверждение свидетельству Анненкова можно найти в статье Гоголя «Петербургская сцена в 1835–36 г.», написанной вскоре после первой постановки «Ревизора» — в конце апреля 1836 года. В этой статье содержится как бы самое ядро замысла повести. Внимание к себе привлекают приводимые здесь Гоголем характеристики двух противоположных подходов к исполнению служебного долга.

С одной стороны, как бы подводя итог своих творческих усилий в изображении положительных и отрицательных художественных типов, Гоголь ставит в этой статье задачу создания принципиально нового художественного образа, который, в отличие от «уродов» «Ревизора», носил бы положительный характер, а в отличие от «Тараса Бульбы», был бы почерпнут из современной действительности. «Изобразите нам, — писал Гоголь, — нашего честного, прямого человека, который среди несправедливостей, ему наносимых... исполнен той же русской безграничной любви к Царю своему, для которого бы он и жизнь... готов принесть, как незначащую жертву. Пусть он... не разглагольствует об этих чувствах, но упорно хранит в душе их, как старую свою святыню... воспитанную тысячелетием». С другой стороны, в числе отрицательных героев, заслуживающих обличения на русской сцене, Гоголь упоминает в статье о «чиновнике канцелярии, который вместо того, чтобы исполнять священные обязанности наложенной на него должности, думает только за тем, чтобы красиво была написана бумага».

Слова Гоголя о преданном Государю и Отечеству, готовом к самопожертвованию человеке, а также размышление о чиновнике,

озабоченном только внешним оформлением бумаги, в равной степени могут служить авторским комментарием к «Шинели». Прежде всего обращает на себя внимание то, что строки статьи о «русской безграничной любви к Царю своему» (для которого подданный и жизнь «готов принесть, как незначащую жертву») прямо соответствуют тексту российской присяги на верность Государю — «*верно и нелицемерно служить, и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови*» (Свод законов Российской Империи. СПб., 1832. Т. 1. С. XI), — присяги, которую, конечно же, принимал при поступлении на службу и сам Гоголь. Тема долга и является ключевой для замысла «Шинели». «Долг — Святыня, — замечал позднее Гоголь в отдельном наброске. — Человек счастлив, когда исполняет долг». Как подчеркивает Гоголь в самой повести, должностное занятие Акакия Акакиевича — переписывание бумаг — является для него почти «религиозным» служением и доставляет едва ли не «духовное» утешение. В первоначальных набросках «Шинели» эта мысль была выражена Гоголем с большей определенностью: «В службе его было все существование, источник радостей и всего»; «Он совершенно жил и наслаждался своим должностным занятием... Словом, служил очень ревностно на пользу отечества, служил так ревностно, как решительно нельзя уже ревностнее». Эта почти религиозная сосредоточенность Башмачкина на своем ничтожном деле виделась Гоголю отнюдь не просто комической чертой характера, но осмыслялась куда серьезнее — как извращение присущей каждому человеку способности к самоуглублению, к творчеству.

Самоотверженная любовь героя «Шинели» к своему должностному занятию свидетельствует, по замыслу Гоголя, не о чем ином, как о погребенном в Акакии Акакиевиче незаурядном таланте, а именно, таланте... «художника». При переписывании бумаг, замечает рассказчик о Башмачкине, «наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если он добирался [то чувствовал такой восторг, что описать нельзя] был сам не свой: и посмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его». Это описание прямо напоминает ухватки другого героя «петербургских» повестей Гоголя — погруженного в работу художника, изображенного в «Портрете»: «Чартков... позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело».

На «художническое» начало в занятиях Акакия Акакиевича указывает и сходство его поведения с сосредоточенной отрешенностью от окружающего мира другого гоголевского художника — выведенного в «Невском проспекте»: «Он никогда не глядит вам прямо в глаза; если же глядит, то как-то мутно, неопределенно... он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь

гипсового Геркулеса...» Сходное замечание встречается в описании ничтожного Башмачкина: «Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки...»

Сходство погруженного в свое должностное занятие героя «Шинели» с петербургскими художниками этим не ограничивается. В «Портрете» Гоголь описывает постепенное падение художника, погубившего свой талант. Это, в свою очередь, перекликается с некоторыми чертами образа Башмачкина. Напомним, как «один директор, будучи добрый человек», приказал однажды дать Акакию Акакиевичу «что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье» — «дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье». Однако это «задало» Башмачкину такую работу, «что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: “Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь”». Речь здесь идет, очевидно, о тех же самых «границах и оковах», в которых оказался погребенным и талант художника Чарткова в «Портрете», заключенный в рутинных, лишенных внутреннего содержания формах: «Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы». Предпринятая впоследствии попытка художника Чарткова написать настоящую картину определенно перекликается с поручением Акакию Акакиевичу «доброго» директора выполнить работу «поважнее». И в этой попытке Чарткова, как и Акакия Акакиевича, постигает неудача: «Фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно... бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные... отзывался неправильностию и ошибкою».

Конечно же, говоря о «художнических» чертах образа Башмачкина, следует сделать оговорку. «Художником» герой «Шинели» является не в собственном смысле, но лишь как человек, наделенный соответствующими незаурядными способностями для «искусного», самоотверженного служения в своей особой, должностной сфере. Пример такого идеального «художника»-чиновника Гоголь изобразил в заключительной главе второго тома «Мертвых душ» в образе молодого человека, занимающегося «с любовью» («con amore») «делопроизводством» и испытывающего от раскрытия «запутаннейшего дела» такую радость, как если бы «радовался ученик, когда пред ним раскрывалась какая-нибудь труднейшая фраза и обнаруживался настоящий смысл мысли великого писателя». Однако отличием «художника»-чиновника от настоящего художника значение личности Акакия Акакиевича не умаляется. Ибо именно сочувствием к погубившему свой «должностной» талант чиновнику-«художнику» в значительной мере и определяется, согласно замыслу Гоголя, знаменитое «гуманное место» «Шинели» — тот эпизод, где в «проникающих словах» Акакия Акакиевича «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — «звенят» другие слова: «я брат твой». Как явствует из содержания повести,

в этих словах героя заключается не только мольба о снисхождении к слабому, беззащитному человеку, сострадание к его тяжелому положению, но и прямой призыв к помощи погибающему таланту. Свидетельством тому и служит отношение самого автора к своему герою не как к безнадежному «идиоту» и «уроду», но как к возможно полноценному и даже гениально одаренному человеку.

Для понимания этой стороны замысла «Шинели» важное значение имеют две черты образа Акакия Акакиевича: указание на его изрядный возраст («Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят»), а также на место проживания героя — петербургскую Коломну (см.: *Раков Ю.* Петербург — город литературных героев. СПб., 1997. С. 47–48), окраинную часть старого Петербурга, место между Мойкой, Крюковым каналом, Фонтанкой и Пряжкой, — куда, по словам рассказчика «Портрета», «не заходит будущее», но где «все тишина и отставка». К судьбе состарившегося, нуждающегося в сострадании бедного чиновника из петербургской Коломны имеет прямое отношение замечание рассказчика «Портрета» о нищих «старухах» Коломны, называемых здесь «самым несчастным осадком человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние». Эти строки «Портрета» непосредственно связаны с размышлениями Гоголя над судьбой Акакия Акакиевича — раздумьями над тем, каким образом можно было бы в действительности «улучшить состояние» «несчастного осадка человечества».

Еще в Нежине Гоголь задумывался над тем, как «извести нищету». Его школьный товарищ В. И. Любич-Романович вспоминал: «...Гоголь относился к бедности с большим вниманием и, когда встречался с нею, переживал тяжелые минуты. "Я бы перевел всех нищих, — говорил он иногда, — если бы имел на то силу и власть". "Но как бы вы это сделали?" — спрашивали его. "Да всем бы построил дома, дал бы им земли и заставил бы работать для себя... А то ведь им головы преклонить некуда, потому они и побираются. При доме же и земле они этого не захотели бы для себя..."» По свидетельству мемуариста, Гоголь «никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему, что мог...» (*Глебов С. И.* Гоголь в Нежинском лицее (Из воспоминаний В. И. Любича-Романовича)//Лит. Вестник. 1902. № 2. С. 556). Дядька Гоголя Симон, живший при нем в Нежине, также сообщал, что юный Николай часто готов был даже отказаться от лакомств (до которых был «большой охотник»), чтобы помочь бедному (Русская Старина. 1882. № 6. С. 676). Вполне «естественно», что в 1844 году Гоголь деньги, выручаемые от продажи его «Сочинений», определил на оказание помощи «бедным, но достойным» студентам Петербургского и Московского университетов (распоряжаться этим фондом он поручил в Петербурге П. А. Плетневу и Н. Я. Прокоповичу, в Москве — С. П. Шевыреву и С. Т. Аксакову). В 1847 году Гоголь писал С. П. Шевыреву: «Еще прошу особенно тебя наблюдать за теми из юношей, которые уже

выступили на литературное поприще. В их положение хозяйственное стоит, право, взойти. Они принуждены бывают весьма часто из-за дневного пропитанья брать работы не по силам... Сколько ночей он должен просидеть, чтобы выработать себе нужные деньги, особенно если он при этом сколько-нибудь совестлив и думает о своем добром имени!» (письмо от 8 сентября (н. ст.).

К испытываемому с юных лет состраданию позднее, в зрелом возрасте, пришло к Гоголю и понимание того, что в оказании помощи ближним создание для них одних внешних условий — хотя и необходимых — бывает порой еще недостаточно. «Любовь... велит нам гораздо больше любить ближнего и брата, чем мы любим, — писал он в «Правиле жития в мире», — она велит нам оказывать не только одну вещественную помощь, но и душевную...» («Вещественник — материалист...» — пояснял он тогда же в составленном им «объяснительном словаре» русского языка.)

Проблему оказания «душевной помощи» современнику, проблему возрождения его «мертвой души», Гоголь непосредственно связывал со служением Отечеству на конкретном должностном месте каждого. В «Авторской исповеди» он замечал: «Трудней всего тому, кто не прикрепил себя к месту, не определил себе, в чем его должность...» В конечном счете исполнение служебных обязанностей — в их подлинном, не подмененном «мертвой бумажной перепиской» значении — решило бы, по Гоголю, и проблему «шинели», проблему материального достатка. «О главном только позаботься, — писал он в «Выбранных местах из переписки с друзьями», — прочее все приползет само собою. Христос недаром сказал: “Сия вся всем приложится”».

В «Шинели» Гоголь «дерзнул», таким образом, спросить и с «маленького», рядового, человека: как он исполняет свой долг? как блюдет свою должность? — иначе говоря, как «обыкновенный» человек «отрабатывает» данный ему Богом талант, пусть даже этот талант у него и единственный.

Как бы прямо указывая на забвение героем «Шинели» «священных обязанностей» его должности, Гоголь писал: «Нужно напирать на то, чтобы каждый... видел сам, чем он подлец перед своей должностью; словом — чтобы он был введен в значенье высшее своей должности» («Занимающему важное место»). Изобразив в «Тарасе Бульбе» образец исполнения воинского долга, Гоголь обратился в «Шинели» к теме такого же самоотверженного служения на гражданском поприще.

Держава всякая сильна,
Когда устроены в ней мудро части:
Оружием — врагам она грозна,
А паруса — гражданские в ней власти, —

цитировал он в «Переписке с друзьями» строки крыловской басни. Именно жертвенное «богатырство» запорожцев служило Гоголю

прообразом исполнения не менее важного и ответственного гражданского долга. «В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем, — писал Гоголь. — Всякое званье и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего званья и места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту».

Примечательно, что сосредоточенность героя «Шинели» на исключительно «вещественных», материальных потребностях Гоголь осмысляет как черту «немецкую», не свойственную русскому характеру в целом. Не случайно, что «прототипом» Акакия Акакиевича является переписчик-«немец» Шрейдер из незавершенной комедии Гоголя «Владимир 3-ей степени». Согласно сохранившимся наброскам этой пьесы, «переписчик» Шрейдер, заявляющий, что он идет «в немецка театр», но этим лишь прикрывающий свое «скряжничество» (как это утверждает в пьесе другой герой), — это именно характер «немецкий». В статье «Петербургская сцена...» Гоголь писал: «Петербург большой охотник наслаждаться прекрасным., Чиновник идет в театр, купец идет в театр, даже немец часто идет в русской театр, несмотря на то <что> в Петербурге есть и немецкий театр». Далее, после критического замечания о неумеренных крайностях Парижа, Гоголь противопоставляет «немецкой» расчетливости и скупости (присущей «чиновнику для письма» Шрейдеру) «спокойное» увлечение театром обитателей Петербурга: «Не сравню его <Петербург> я и с немецкими городами. Слишком холодны и расчетливо они скупы <на> наслаждение. Если взять... сословие малоденежное... самое многочисленное и чисто русское, то (нет нужды, что попадется другой, третий чиновник, совершенно похожий на то отношение, которое он пишет) в нем есть много очень замечательного — и русская дворянская решительность, и при этом терпение, и толк, и соль, одним словом стихии нового характера». Очевидно, что чиновник Шрейдер «Владимира 3-ей степени» — это именно герой, резко отличающийся от общей массы русских служащих — «совершенно похожий на то *отношение*, которое он пишет» (курсив наш. — *И. В.*; гоголевская характеристика этого чиновника в статье «Петербургская сцена...» связана с именем одного из героев «Пестрых сказок» князя В. Ф. Одоевского: «Коллежский Советник Иван Богданович Отношенье в течение 40-летнего служения своего в звании Председателя какой-то временной комиссии провождал жизнь тихую и безмятежную... не ломая голову понапрасну, очищал нумера, подписывал отношения, помечал входящие»; <*Одоевский В. Ф., князь*>. Сказка о том, по какому случаю Коллежскому Советнику Ивану Богдановичу Отношению не удалось в Светлое Воскресение поздравить своих начальников с праздником//Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою... СПб., 1833. С. 77–78).

«Немецкие» — шрейдеровские — черты Гоголь сохранил и в образе самого Акакия Акакиевича. Это, в частности, относится

именно к его «расчетливой скупости» на «наслаждения» (Башмачкин, подобно «аскету»-ростовщику Петромихали, не ходит ни в театр, ни на вечеринки, не предается вообще никаким «развлечениям»). Эта же черта отражается и в «необычайной экономии» героя: «Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек... Так продолжал он с давних пор, и... в продолжение нескольких лет оказалось накопившейся суммы более чем на сорок рублей» (подобная «экономия» свойственна, в частности, и немцу-ремесленнику Шиллеру в «Невском проспекте»).

Тему неисполнения высоких, священных, обязанностей государственной службы («Не забывать только нужно того, что взято место в земном государстве затем, чтобы служить на нем Государю Небесному...») Гоголь поднимал еще в 1835 году в «Записках сумасшедшего», героем которых является во многих чертах схожий с Акакием Акакиевичем обладатель старой шинели «чиновник для письма» Аксентий Поприщин (состоящий, кстати, в свою очередь, в чине титулярного советника). Содержится в этой ранней повести Гоголя и определенное указание на одну из причин несоответствия героев-чиновников их высокому призванию. «Я несколько раз уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности, — вопрошает герой «Записок сумасшедшего». — Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником?»

Разгадка неразрешимой задачи Поприщина, а также уяснение причины именования героя «Шинели» «вечным титулярным советником» заключается в том, что, согласно указу российского правительства 1809 года, титулярный советник мог быть произведен в следующий служебный чин — чин 8-го класса (коллежский асессор) — лишь при условии окончания университета или же сдачи соответствующих экзаменов по установленной программе. («Майор» Ковалев, например, в повести Гоголя «Нос», стремясь из титулярных советников, отправляется даже на Кавказ, где чин коллежского асессора — или, согласно военной Табели о рангах, «майора», присваивался без аттестата и экзаменов.) Причиной издания самого указа 1809 года явилось «малое число учащихся» в университетах и то, что дворянство «в сем полезном учреждении менее других» принимало участие. Для обучения чиновников определено было «в тех городах, где находятся университеты», открыть ежегодные курсы, продолжавшиеся с мая по октябрь, на которых занятия полагалось начинать «не ранее 2 часов пополудни, дабы утро могло быть употребляемо на исправление дел службы» (Августа 6 <1809>. Именный, данный Сенату. — О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках, для производства в Коллежские Асессоры и Статские Советники//Полн. собр. законов Российской Империи, с 1649 года. СПб., 1830. Т. 30. С. 1054, 1056–1057. — № 23771). Добавим, что в 1832/33 учебном году из

подвергавшихся испытанию чиновников в Петербургском университете были удостоены получения аттестатов лишь три человека (см.: Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. № 1. С. 48).

В 1834 году, с вступлением в должность министра народного просвещения С. С. Уварова, в России был издан также специальный указ «О допущении к слушанию университетских лекций служащих и не служащих чиновников» (Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. № 4. С. XVII). «Беспристрастное испытание... чиновников, требующих назначенным Указом 6 августа 1809 года аттестатов, — писал Уваров, — есть один из важнейших способов к поощрению учения и к отвращению многих неудобств» (Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. № 1. С. LXV). Однако о сдаче необходимых экзаменов на получение следующего чина тщеславный герой «Записок сумасшедшего» — как и нетщеславный герой «Шинели» — даже не помышляет. Акакий Акакиевич занят в свободное время своим любимым «делом» — переписыванием (ставшим для него своего рода «искусством для искусства»: «Приходя домой... снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя...»). Аксентий Поприщин заполняет свой досуг посещением театров, народных гуляний, а еще более — лежанием на кровати. «После обеда ходил под горы, — записывает этот герой в дневнике 8 декабря. — Ничего поучительного не мог извлечь. Большею частию лежал на кровати и рассуждал о делах Испании». «*Октября 4.* ...Дома большею частию лежал на кровати. Потом переписал очень хорошие стишки...». «*Ноября 9.* ...После обеда большею частию лежал на кровати». «*Ноября 12.* ...Большею частию лежал на кровати». В черновой редакции «Шинели» Гоголь, в свою очередь, отмечал, что и Акакий Акакиевич в свободное от службы время «отлеживался во всю волю на кровати». После приобретения шинели герой еще более начинает напоминать «титулярного советника» Поприщина: «Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постеле, пока не потемнело». (Еще об одном — столь же «дельном» — занятии титулярных советников упоминает Гоголь в «Женитьбе»: «А пьет, не прекословлю, пьет. Что ж делать, [на то] титулярный советник».)

Понятно, таким образом, почему герой «Записок сумасшедшего», как и герой «Шинели», не «генерал», а только титулярный советник. Напоминая о «зарытых», погубленных талантах многочисленных героев своих произведений, Гоголь в шестой главе первого тома «Мертвых душ» писал, в частности, о «ничтожном», «окременевшем» Плюшкине: «Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет... все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно!» «Пересмотри жизнь всех святых, — добавлял он

позднее в статье «Христианин идет вперед», — ты увидишь, что они крепли в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти... у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности...»

Очевидно, что «Шинель» — это не только повесть о бедном петербургском чиновнике. О том, сколь широко понимал Гоголь характер своего героя, свидетельствует, в частности, тот факт, что именно положение «титулярных советников» Башмачкина и Поприщина, не одолевших ступени университетских экзаменов и не сумевших реализовать свой талант в подлинном служении Отечеству, служило Гоголю неким подобием духовного и интеллектуального образования критика В. Г. Белинского, погубившего, по оценке Гоголя, свой талант в «ожесточении и ненависти».

Смысловая параллель между Белинским и героем «Шинели» обнаруживается в содержании первой главы второго тома «Мертвых душ», а также в строках двух писем Гоголя 1847 года — к С. П. Шевыреву и к самому Белинскому. Во втором томе «Мертвых душ» намек на незавершенное образование Белинского содержится в перечислении лиц, составивших некое тайное «филантропическое» общество: «Два философа из гусар, начитавшиеся всяких брошюр, да [недоучившийся студент] недокончивший учебного курса эстетик...» В письме к С. П. Шевыреву от 11 февраля (н. ст.) 1847 года Гоголь, порицая приятеля за излишнюю осторожность по отношению к себе, писал: «Лучше бы ты эту осторожность наблюдал в своих прежних перепалках с Белинским и другими литераторами; подслащиванье можно употреблять в деле с людьми, стоящими на низшей перед нами ступеньке воспитанья...» К самому Белинскому Гоголь в том же году обращался: «...Посмотрим на себя [честно]. Будем стараться, чтоб не зарыть в землю талант свой... Возьмитесь снова за свое поприще, с которого вы удалились с легкомыслием юноши. Начните сызнова ученье... Вспомните, что вы учились кое-как, не кончили даже университетского курса».

Здесь необходимо сделать одно существенное замечание. Для того чтобы понять характер некоего уподобления Гоголем духовного и университетского образования, следует учитывать само содержание и основные принципы тогдашней университетской программы. Как известно, в период обучения Гоголя в 1821–1828 годах в нежинской Гимназии высших наук (занимавшей, кстати сказать, «первую степень после университетов» и дававшей своим выпускникам право на получение высших чинов без экзаменов) повышенное внимание в светских учебных заведениях России стало уделяться именно религиозному образованию, призванному противостоять распространившемуся тогда в Западной Европе политическому вольнодумству. С этой целью в России в 1817 году было создано особое соединенное министерство — Министерство духовных дел и народного просвещения, в манифесте о создании которого

объявлялось желание правительства, «дабы Христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения» (Учреждение Министерства Духовных дел и Народного Просвещения. Октября 1817//Полн. собр. законов Российской Империи. СПб., 1830. Т. 34. С. 814). Во главе нового министерства встал один из наиболее приближенных к Императору Александру I лиц князь А. Н. Голицын, в деятельности которого, однако, с самого начала обнаружилась и негативная сторона — распространение идей так называемого «универсального христианства», размывавших границу между православным вероучением и заблуждениями инославных конфессий и открывавших тем самым широкую дорогу как религиозному, так — в итоге — и политическому вольнодумству, борьбу с которым было призвано осуществлять «сугубое» министерство. В 1824 году Голицын был отправлен Александром I в отставку, а его преемником на посту министра стал адмирал А. С. Шишков, занявший более последовательную позицию — положивший в основу своей деятельности укрепление Православия и Народности. Эти исконные начала — Православие, Самодержавие, Народность — в качестве основ народного образования были открыто провозглашены позднее С. С. Уваровым — новым (с 1834 года) министром народного просвещения. О следовании этим началам Уваров впервые заявил в Отчете по обозрению Московского университета от 4 декабря 1832 года и еще раз напомнил об этом в обращении 21 марта 1833 года к попечителям учебных округов при вступлении в должность управляющего Министерством народного просвещения. Последнее обращение нового главы министерства было напечатано в 1834 году в первом номере основанного Уваровым «Журнала Министерства Народного Просвещения»: «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование, согласно с Высочайшим намерением Августейшего Монарха, совершалось в соединенном духе Православия, Самодержавия и Народности». До настоящего времени исследователями гоголевского творчества, к сожалению, не было обращено внимания на то, что именно Гоголь (вместе с его близкими друзьями — П. А. Плетневым, М. П. Погодиным, М. А. Максимовичем, С. П. Шевыревым и др.) стал одним из первых сотрудников Уварова на посту министра народного просвещения. Результатом этого сотрудничества явилось поступление Гоголя в 1834 году адъюнкт-профессором на кафедру всеобщей истории Петербургского университета, а кроме того, публикация писателем в том же 1834 году в журнале Уварова четырех статей, тесно связанных с замыслом «Тараса Бульбы» (написанного позднее). В частности, опубликованный во втором номере журнала гоголевский «План преподавания всеобщей истории» (позднейшее название — «О преподавании всеобщей истории») звучал здесь как статья прямо программная, созвучная взглядам на этот предмет самого министра, чему в действительности и соответствовало содержание гоголевской статьи. «Цель моя, — писал Гоголь, — образовать сердца юных слушателей...

чтобы... не изменили они своему долгу, своей Вере, своей благородной чести и своей клятве — быть верными Отечеству и Государю». Очевидно, что Гоголь имел, таким образом, все основания видеть в университетском образовании не только средство получения необходимых знаний, но и одну из ступеней духовного образования.

Уместно обратиться здесь к интерпретациям гоголевского творчества в революционно-демократической критике. Нельзя сказать, чтобы радикальные критики совсем не замечали в «Шинели» тему «мертвой души» рядового, «маленького» человека — основополагающую тему повести. Однако выводы отсюда эти критики делали прямо противоположные гоголевским. Всю проблему героя «Шинели» радикальная критика предпочитала видеть исключительно в «вещественной», материальной, стороне дела. Н. Г. Чернышевский, например, писал: «Акакий Акакиевич... был круглый невежда и совершенный идиот... Зачем же Гоголь прямо не налегает на эту часть правды об Акакии Акакиевиче?.. Говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно и бессовестно... Будем же молчать о его недостатках... Нет, Акакий Акакиевич безусловно прав и хорош; вся беда его приписывается бесчувствию, пошлости, грубости людей, от которых зависит его судьба... подлецом почел бы себя Гоголь, если бы рассказал нам о нем другим тоном» (*Чернышевский Н. Г.* Не начало ли перемены?//Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 7. С. 857–859).

Вопреки этим заявлениям критика сострадание Гоголя к своему герою носило принципиально иной характер. В «Переписке с друзьями» Гоголь, обращаясь к поэту Н. М. Языкову, восклицал: «На колени перед Богом, и проси у него Гнева и Любви! Гнева — противу того, что губит человека, любви — к бедной душе человека, которую губят со всех сторон и которую губит он сам». Неблагополучие социальной среды — якобы единственной виновницы в произрастании «совершенных идиотов» — Гоголь объяснял не влиянием некоей группы злонамеренных лиц, но видел в этом проявление присущей каждому человеку общей греховности человеческой природы — неблагополучным состоянием души каждого из членов этой «среды». Утопическим упованиям на социальные реформы и революции Гоголь противопоставлял трезвое понимание необходимости духовного воспитания каждого члена общества. «А вы думаете, легко воров выгнать?.. — писал он в 1848 году последователям Белинского. — Что спьяна передушите всех, думаете поправить?.. Те, которых шеи потолще, останутся. Что, те святые, что ль. Еще больше станут допекать друг друга». «Нужно вспомнить человеку, — замечал Гоголь, — что он... высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданства, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство».

Вместо «классовой ненависти» к властям предержащим — при снисходительном в то же время взгляде (и плохо скрываемой досаде)

на «недозревших» до этой ненависти подчиненных — Гоголь с подлинным состраданием отнесся к самой гибнущей душе человека. Эта требовательная любовь — не чуждающаяся, по словам Гоголя, самого «смрадного дыханья уст несчастного» — и определила тон рассказа о ничтожном чиновнике Акакии Акакиевиче. Ибо, несмотря на резко критическую оценку Гоголем незавершенного образования новейших «недорослей» (о чем предлагал попросту «молчать» Чернышевский), отношение Гоголя к герою «Шинели» (как и отношение к Белинскому) — отнюдь не чувство вражды и ненависти. В «Переписке с друзьями» Гоголь прямо сравнивал гордого своей чистотой непримиримого «праведника» с евангельским богачом, отталкивающим «покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего». «Не нужно отталкивать от себя совершенно дурных людей и показывать им пренебрежение, — писал Гоголь сестре Елисавете, — лучше стараться иметь на них доброе влияние» (письмо от 15 сентября (н. ст.) 1844 года). В послании к князю П. А. Вяземскому от 11 июня (н. ст.) 1847 года Гоголь, имея в виду Белинского и его сторонников, которым Вяземский публично выразил в печати свое неодобрение, замечал: «...Выразились вы несколько сурово о некоторых моих нападателях... может быть... многие из них... влекутся даже некоторым... желанием добра... может быть, и нам будет сделан упрек в гордости за то, что несколько жестоко оттолкнули их...»

В самом деле, глубокое сострадание и жалость вызывает человек, для которого самым «светлым» праздником — настоящим «воскресением» и «пасхой», становится день приобретения новой шинели. Это душевное состояние своего «титулярного советника» рассказчик «Шинели» подчеркивает неоднократно: «Это было... в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича...»; «Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств...»; «Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник».

Взгляд Гоголя не останавливается при этом на одном Акакии Акакиевиче. Ибо не только ничтожный Башмачкин испытывает эти «торжественные», «праздничные» чувства. Сами окружающие героя чиновники, считающие себя и умнее, и образованнее Акакия Акакиевича, — никогда ранее, до приобретения им новой шинели, не оказывавшие ему «никакого уважения», — вдруг проникнувшись почтением к обновке, «великодушно» принимают Башмачкина в свое «братство» и приглашают разделить приятельскую вечеринку. Очевидно, однако, что «радушное братство» чиновников — отнюдь не духовное братство героев «Тараса Бульбы», это лишь жалкая пародия на «святые узы товарищества», и «торжество» чиновников по поводу новой шинели — лишь подмена «того святого дня, в который, — по словам Гоголя в «Переписке с друзьями», — празднует святое, небесное свое братство все человечество до единого...» («Светлое Воскресенье»).

Петербургское «братство», в которое вступает Башмачкин с приобретением новой шинели, заключается, согласно с содержанием повести, вовсе не в обретении героем подлинно братских отношений, но лишь в «новых», сомнительного качества, «возможностях», которые открываются Акакию Акакиевичу с изменением его «вещественного» облика. «Что это!.. — восклицает, например, герой «Невского проспекта» художник Пискарев при взгляде на свой «нещегольской», «запачканный красками» сюртук. — Он покраснел до ушей... Он уже желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами». Точно так же — по необходимости «скромно» — ведет себя при встрече с красавицей и герой «Записок сумасшедшего»: «Она не узнала меня, да и я сам нарочно старался закутаться как можно более, потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона». Но новая шинель придает «отваги» и ничтожному Акакию Акакиевичу. Прогуливаясь после «приятельской» вечеринки, он «даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения». Так, с приобретением новой шинели Башмачкин, подобно другим чиновникам, становится «полноправным» обитателем северной столицы и ее «всеобщей коммуникации» — Невского проспекта.

Само воинское, «рыцарское» братство изменяется в «цивилизованном» Петербурге до неузнаваемости. Поручик Пирогов, например, ничем не выделяется среди «пошлых» завсегдатаев Невского проспекта. То же самое следует сказать и об отважном капитане Копейкине из вставной новеллы в десятой главе первого тома «Мертвых душ» — герое Отечественной войны 1812 года, потерявшем в сражении руку и ногу («жизнию жертвовал, проливал кровь»), но ставшем впоследствии — по невоздержаности к чужеземным соблазнам петербургской жизни (и вследствие «распеканья» важного генерала) прямым врагом Отечества — опустошающим «казенный карман» разбойником. (Напомним о вечернем преследовании Копейкиным, обнадеженным получением денежного пенсиона, «какой-то стройной англичанки» на тротуаре.) Нетрудно заметить, что судьба этого бравого капитана (а чин капитана в русской армии прямо соответствовал гражданскому чину титулярного советника) во многом напоминает судьбу «незлобивого» чиновника Акакия Акакиевича, героя, который в конце концов сходит с мирного гражданского поприща и, подобно Копейкину, вступает на путь «воина»-«разбойника» — загробного демонического мстителя.

Все сказанное дает возможность по-новому осмыслить агиографический подтекст гоголевской «Шинели» (Акакий Акакиевич Башмачкин — св. Акакий) — тему, ставшую уже общепризнанной в работах о Гоголе (внимание исследователей в этой связи обычно привлекают необыкновенные «самоограничение» и «подвижничество» героя на его незавидном поприще). Очевидно, однако, что

герой, вложивший всю без остатка душу в «шинель» — в свою самозащиту и самоукрашение, вряд ли может быть назван подлинным христианским подвижником. Страдания его — сначала по приобретению шинели, потом от ее утраты — прямо противоположны мученичеству тезоименитого ему св. Акакия из сорока мучеников, пострадавших за исповедание Христа в 320 году в Армении, произвольно вдавших себя на мучения: замерзнувших во льду Севастийского озера, совлекшись тем самым и одежды, и самой плоти. На связь «Шинели» со страданием сорока мучеников Севастийских впервые указано в работе Э. Пеуранена «Акакий Акакиевич Башмачкин и Святой Акакий» (Slavica Finlandensia. Т. 1. Helsinki, 1984).

На эту неприглядную сторону героя «Шинели» (заслуживающего не только сострадания, но и порицания) в свое время уже было обращено внимание. Критик Аполлон Григорьев писал в 1847 году в статье «Гоголь и его последняя книга»: «В образе Акакия Акакиевича поэт начертал последнюю грань обмеленья Божьего создания. до той степени, что вещь, и вещь самая ничтожная, становится для человека источником беспредельной радости и уничтожающего горя, до того, что шинель делается трагическим fatum в жизни существа, созданного по образу и подобию Вечного...» (*Григорьев А. А.* Гоголь и его последняя книга // Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. М., 1982. С. 113–114).

Очевидно, что Башмачкин, при всем его «самоотвержении», мало чем отличается от окружающего мира с его показным «благоприличием» и внутренней пустотой. Обретая с новой шинелью новое «качество», Башмачкин становится способен даже и сам посмеяться над своим старым «капотом»: «Он... нарочно вытащил, для сравненья, прежний капот свой... взглянул на него, и сам даже засмеялся: такая была далекая разница! И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот».

С другой стороны, окружающий мир, в свою очередь, мало чем отличается от ничтожного Башмачкина. Согласно замечанию рассказчика «Невского проспекта», из обитателей Петербурга многие лишь тем и примечательны, что «превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое». В мир, озабоченный приобретением шинелей, сюртуков (или столь же «самоотверженным» ухаживаньем за «чудными» усами и бакенбардами), входят не только «ничтожные» мелкие чиновники вроде Акакия Акакиевича. К этому миру, несомненно, принадлежит и самый избранный великосветский бомонд — к примеру, недостижимый для бедного художника Пискарева в «Невском проспекте» мир «молодых людей в черных фраках», которые «были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды,

так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстук... что он растерялся вовсе».

Тема показного светского блеска является сквозной для замысла «Шинели». Лицемерие, прикрывающее внутреннюю пустоту, пронизывает не только частную жизнь петербургских обитателей, но буквально все сферы деятельности «цивилизованного» Петербурга. «Боже, какие есть прекрасные должности и службы! — восклицает не без иронии рассказчик «Невского проспекта», — как они возвышают душу! но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников». «У нас служба благородная, — замечает, в свою очередь, герой «Записок сумасшедшего», — чистота во всем такая, какой вовеки не видеть губернскому правлению, столы из красного дерева, и все начальники на *вы*».

Здесь необходимо еще раз обратить внимание на автобиографическое начало «Шинели» — в частности, на отразившиеся в повести впечатления Гоголя, полученные им во время его собственной службы в 1830–1831 годах в должности мелкого чиновника в одном из петербургских департаментов. Именно в то время, когда Гоголь — еще неизвестный тогда никому литератор — сообщал матери, что «отхватал всю зиму в летней шинели», он поступил на службу канцелярским чиновником в департамент уделов. «После бесконечных исканий, — писал он матери 2 апреля 1830 года, — мне удалось наконец сыскать место, очень однако ж незавидное...»

В департаменте уделов Гоголь прослужил около года, с апреля 1830-го по февраль 1831-го. Именно этот департамент был в России первым по части внешнего европейского «облагороживания» присутственных мест. Эти преобразования были сделаны здесь в 1827 году министром Императорского Двора и уделов князем П. М. Волконским, после чего в следующем, 1828 году, 21 января, департамент посетил, с целью осмотра, Император Николай Павлович. Непосредственный начальник Гоголя в департаменте уделов В. И. Панаев (крайне неодобрительно, кстати, отзывавшийся позднее о гоголевском «Ревизоре»: «Вдруг какой-то коллежский регистраторишка дерзает осмеивать... даже самих губернаторов»; *Панаева (Головачева) А. Я.* Воспоминания. М., 1956. С. 159) вспоминал: «Столы, стулья, конторки, шкафы, все явилось новое, просто, но изящно сделанное. Для хранения дел придуманы форменные картонки; на столах однообразные чернильницы; пол паркетный, ковровые дорожки через анфиладу комнат. Это был первый пример благоприличного устройства присутственных мест, поданный князем Волконским» (Воспоминания *В. И. Панаева*//Вестник Европы. 1867. № 12. С. 143).

Во втором томе «Мертвых душ» Гоголь так описывал поступление своего героя, юного помещика Тентетникова, на государственную службу: «...проведя два месяца в каллиграфических уроках, достал он наконец место списывателя бумаг в каком-то департаменте... Когда ввели его в великолепный светлый зал с паркетами и письменными лакированными столами, походивший на то, как бы заседали

здесь первые вельможи государства… и увидел он легионы красивых пишущих господ, шумевших перьями… и посадили его самого за стол, предложа тут же переписать какую-то бумагу, как нарочно несколько мелкого содержания… необыкновенно странное чувство его проникнуло. Ему на время показалось, как бы он очутился в какой-то малолетней школе, затем, чтобы сызнова учиться азбуке, как бы за проступок перевели его из верхнего класса в нижний».

Очевидно, именно европейскому показному блеску — европейской светскости и европейской бюрократии, прикрывающим внутреннюю пустоту и бессодержательность, — во многом и обязан, по мысли Гоголя, чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин, с одной стороны, поглотившим всю его душу пристрастием к внешнему «благолепию» (к «шинели»); с другой — самым характером своей формальной служебной деятельности. Об этом, в частности, можно судить из содержания одной из сцен упомянутой комедии Гоголя «Владимир 3-ей степени», опубликованной еще в 1836 году под заглавием «Утро делового человека». Здесь как бы прямо изображается формирование «сферы» служебных занятий будущего героя «Шинели». Прообраз Башмачкина — «чиновник для письма» с университетским образованием «немец» Шрейдер — вынужден заниматься здесь бессмысленным переписыванием лишь потому, что, как замечает его начальник, «поля по краям бумаги неровны». Начальник этот, правитель канцелярии Иван Петрович Барсуков, обращается здесь к чиновнику Шрейдеру: «Что это значит? у вас поля по краям бумаги неровны. Как же это? Знаете ли, что вас можно посадить под арест?..» В разговоре с приятелем герой добавляет: «Порядочный молодой человек, недавно из университета, но вот тут *(показывая на лоб)* нет. Вы себе не можете представить… скольких трудов мне стоило привесть все это в порядок… Вообразите, что ни один канцелярский не умел порядочно буквы написать. Смотришь: иной «къ» перенесет в другую строку; иной в одной строке напишет «си», а в другой: «ятельству»… Теперь возьмите вы бумагу: красиво! хорошо! душа радуется, дух торжествует». — Вполне очевидно, что должной стойкости в реализации своего таланта «прототип» Акакия Акакиевича чиновник Шрейдер из «Владимира 3-ей степени» при этом не проявляет, обещая тем самым вполне уподобиться впоследствии своему начальнику, — погубив, таким образом, данный ему от Бога талант в «им *самим на себя* наброшенных» оковах. В 1882 году исследователь Н. Я. Аристов писал по поводу образа Акакия Акакиевича: «Мелкое чиновничество тянулось за крупным и подражало ему во всем… созданное искусственно на бюрократический немецкий лад, оно размножало класс нищих в Петербурге, как прекрасно изображено в повести "Шинель"…» (*Аристов Н. Я.* Иноземное влияние в России, изображенное Гоголем в его сочинениях // *Аристов Н. Я.* Сочинения Н. В. Гоголя со стороны отечественной науки. СПб., 1887. С. 96). В «Пестрых сказках» князя В. Ф. Одоевского этому прямо соответствует характеристика

подчиненных коллежского советника Ивана Богдановича Отношения: «Подчиненные подражали во всем своему начальнику: спокойно, бесстрастно писали, переписывали бумаги и составляли им реестры и алфавиты...» (*<Одоевский В. Ф., князь>* Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою... С. 77–78).

Добавим, что к образу Башмачкина как погубившего свой талант «художника» имеет, по-видимому, отношение и сама фамилия его прототипа — Шрейдер. Известно, что Гоголь, на протяжении трех лет посещавший в Петербурге классы Академии художеств, знакомый и с вице-президентом Академии графом Ф. П. Толстым, и с секретарем Академии и Общества поощрения художников В. И. Григоровичем (см. письма Гоголя В. И. Григоровичу от 1 января 1833 г., от 7 января (н. ст.) 1841 года, а также: Воспоминания *М. Ф. Каменской*//Исторический Вестник. 1894. № 9. С. 629), хорошо знал круг петербургских художников. Поэтому вполне вероятно, что и фамилия героя «Утра делового человека» — «чиновника для письма» Шрейдера — тоже связана с размышлениями Гоголя об искусстве. Такую фамилию носил один из столичных художников — в 1830-х годах начинающий, а в 1840–1850-е годы получивший некоторую известность художник-гравер К. Шрейдер (Schroeder). Творчество Шрейдера с самого начала отличалось ярко выраженным «торговым» направлением — он известен как автор многочисленных литографий с изображением предметов модной петербургской роскоши: щегольских экипажей, мебели, люстр, часов; «внутренней и наружной отделки магазинов», витрин, мостиков, лестниц, садовых «павильонов», «изящно отделанных комнат», полов, потолков... — исполненных в разных «стилях: греческом, итальянском, византийском, готическом, французском и проч.». Об этой роскоши упоминает, в частности, «переписчик» Поприщин в «Записках сумасшедшего»: «Хотелось бы мне заглянуть в гостиную... Эх, какое богатое убранство! Какие зеркала и фарфоры! Хотелось бы мне заглянуть... в будуар: как там стоят все эти баночки, скляночки...» В статье «Об архитектуре нынешнего времени» (1834) Гоголь замечал: «Мы имеем чудный дар делать все ничтожным. Египетскую архитектуру... мы издерживаем на небольшие мостики, на ворота... Из готической мы делаем серьги, футляры для часов; греческую мы употребляем в беседках». Об этом «искусстве» Гоголь и упоминает в «Утре делового человека». «Довольно хорошо у вас потолки расписаны... Очень, очень недурно: корзиночки, лира, вокруг сухарики, бубны и барабан! очень, очень натурально!» — говорит правителю канцелярии Ивану Петровичу Барсукову его приятель. (Известна уничтожающая характеристика «таланта» К. Шрейдера, данная В. Г. Белинским, когда в 1842 году Шрейдер взялся иллюстрировать произведения А. С. Пушкина; *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 6. С. 231.)

Очевидно, что и со «значительного лица» вину за превращение «художника» Башмачкина в Башмачкина-«идиота» Гоголь тоже не снимает. Вина европейски «образованного» начальства Акакия Акакиевича в том, что, несмотря на столы из красного дерева и «тонкое обращение» с подчиненными, отношение между людьми в «благородных» службах не приобретает «благородства» и маленький чиновник Башмачкин оказывается «существом, никем не защищенным, никому не дорогим, ни для кого не интересным»: «Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически... Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия...» Эта настоящая цена европейской светскости и открывается молодому чиновнику, услышавшему «немой» возглас Башмачкина «я брат твой»: «...И много раз содрогался он потом на веку своем, видя... как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и... даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным...»

Как бы подытоживая многовековой опыт заблуждений человечества, Гоголь в отдельном наброске писал: «Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии. Сколько раз уже отшатывалось от него человечество и сколько раз обращалось. Несколько раз совершит человечество свое кругообращение... и возвратится вновь к Евангелию, подтвердив опытом событий истину каждого его слова». Этот вывод вполне может быть отнесен и к размышлениям писателя о судьбе героя «Шинели». Подчеркивая отличие подлинной, христианской, образованности от лицемерной «утонченной» светскости, Гоголь в «Переписке с друзьями» замечал: «Настоящее comme il faut <комильфо — как надо, как следует; *фр.*> есть то, которое требует от человека Тот Самый, Который создал его, а не тот, который приводит в систему обеды... и не тот, который сочиняет всякий день меняющиеся этикеты...»

В «Размышлениях о Божественной Литургии» Гоголь указал и на основу подлинно братских отношений между людьми: «Если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримой ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату». Как бы прямо обращаясь к «значительному лицу», сыгравшему роковую роль в судьбе «маленького» чиновника Башмачкина, Гоголь писал: «Если только молившийся благоговейно и прилежно следит за всяким действием, покорный призванью диакона... он невольно становится милостивей и любовней с подчиненными».

С другой стороны, имея в виду задачу, поставленную в 1836 году в статье «Петербургская сцена...», — изобразить «нашего честного, прямого», верного присяге человека, Гоголь в качестве источника жертвенного служения на воинском и гражданском поприще опять-таки указал на Божественную Литургию.

Несомненно, Гоголю было хорошо известно первоначальное значение слова «литургия» как «общественное служение или служба». Об этом значении, в частности, упоминал — со ссылкой на св. Иоанна Златоуста — И. И. Дмитревский, чьими изъяснениями на Литургию Гоголь пользовался в работе над «Размышлениями...»: «Св. Златоуст называет литургиею благочестивую жизнь всякого христианина». «Верховнейшая минута» Евхаристии, пресуществление, писал Гоголь в книге о Литургии, «есть минута и жертвоприношенья, и напоминанья всякому о жертве Творцу».

«Литургическое» значение Гоголь придавал и гражданскому служению. Об этом, в частности, позволяет судить появившийся в 1842 году, в соответствии с «рекомендациями» его ранней статьи «Петербургская сцена...», образ страдающего, но не изменяющего голосу совести честного чиновника в «Театральном разъезде...». Один из героев пьесы по поводу его восклицает: «Да хранит тебя Бог, малознаемая нами Россия! В глуши, в забытом углу твоем, скрывается подобный перл, и, вероятно, он не один. Они, как искры золотой руды, рассыпаны среди грубых и темных ее гранитов». Образ этого честного труженика («имя» которого — «Очень скромно одетый человек» — прямо напоминает о герое «Шинели») был, в частности, навеян Гоголю письмом матери. 1 сентября 1842 года он отвечал ей: «Из всех подробностей письма вашего... более всех остановило меня известие ваше о чиновнике, которого вы встретили в Харькове... скажите или напишите ему, что его благородство и честная бедность среди богатеющих неправдой найдут ответ во глубине всякого благородного сердца, что уже есть выше многих наград... Если вы почувствуете, что слово ваше нашло доступ к сердцу страждующего душою, тогда идите с ним прямо в церковь и выслушайте Божественную Литургию... Тот, Кто умел все в жизни претерпеть за нас, Тот вооружит твердостью и силой его душу, о которые разлетятся земные несчастия».

Как позволяют судить строки черновика этого письма, упоминание здесь о литургии прямо связано с представлением Гоголя о всяком подвиге как «жертве», подобной Жертве, приносимой за весь мир на литургии. «Скажите ему... — писал Гоголь матери, — что как бы ни казалась ему ничтожна приносимая им доля на жертвенник правды, эта малая доля многое сделает... Тот, Кто все вытерпел из любви к человекам... Тот услышит и оценит всякую жертву...»

Образ готового к самопожертвованию незаметного честного труженика стал одним из важнейших для «Выбранных мест из переписки с друзьями». Его имеет в виду Гоголь, когда упоминает в письме к А. О. Смирновой «Что такое губернаторша» о неподкупном уездном судье М*** уезда, которого она, как «губернаторша», вызвала к себе с тем, чтобы «почтить его радушным угощением и дружеским приемом за прямоту, благородство и честность». «Мне нравится при этом случае то, — добавлял Гоголь, как бы вновь напоминая о герое «Шинели», — что судья (который, как оказалось, был просвещеннейший человек) одет был таким образом, что его...

не приняли бы в переднюю петербургских гостиных». В том же письме Гоголь, говоря о необходимости занятия дворянами «невидных должностей и неприманчивых мест» провинциального управления, опять напоминает о «жертве»: «...ни в каком случае не должно упускать из виду того, что это те же самые дворяне, которые в двенадцатом году несли все на жертву, — все, что ни было у кого за душой».

Непосредственно к самому безвестному честному труженику — своему читателю — обращался Гоголь в «Переписке с друзьями» в письме «Напутствие»: «Все вижу и слышу: страданья твои велики... Но вспомни... всех нас озирает свыше Небесный Полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от Его взора». Так в «Выбранных местах...» Гоголь очертил иную судьбу и иное, подлинное назначение героя «Шинели». «Монастырь ваш — Россия!.. — обращался он к графу А. П. Толстому, вышедшему в 1840 году в отставку, но впоследствии вернувшемуся к служебной деятельности и занявшему пост обер-прокурора Святейшего Синода (возможно, произошло это не без влияния Гоголя). — Не отговаривайтесь вашей неспособностью, — у вас есть много того, что теперь для России потребно и нужно». «Не уклоняйся же от поля сраженья, — обращался Гоголь к читателю в статье «Напутствие», — не ищи неприятеля бессильного... Вперед же, прекрасный мой воин!.. С Богом, прекрасный друг мой!»

Коляска

После «Невского проспекта», «Носа», «Портрета» и «Шинели» следует у Гоголя «Коляска». Соседство «Шинели» и «Коляски» в третьем томе собрания гоголевских сочинений объясняется, как можно судить из их содержания, общей для них темой «экипирования» (выражение Гоголя), снаряжения человека — для удовлетворения естественных потребностей которого западная цивилизация создает предметы обольщающей и развращающей роскоши, прямо преступая при этом апостольскую заповедь: «...Попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим. 13, 14).

В «Коляске» европейские соблазны петербургской жизни Гоголь показывает теперь на материале провинциальной действительности. Проникновение цивилизации в городок Б. — это и бритье бород «деревенским пентюхам» (мотив цирюльника в «Носе» и «синоним» петровских преобразований), и распространение в уезде карточной игры, и употребление самим местным «аристократом» Чертокуцким приданого жены на «вызолоченные замки к дверям («узнаваемые» по «Ночи перед Рождеством». — *И. В.*), ручную обезьяну для дома и француза дворецкого». Это и выписанные Чертокуцким для жены из Петербурга «спальные башмачки» (в чем также угадывается сюжет «Ночи перед Рождеством»), и, наконец, сам анекдот повести — «чрезвычайная коляска настоящей венской работы».

Замысел повести проясняют сходные мотивы в других гоголевских произведениях — упоминание в повести «Рим» об итальянце «сьоре Сервилио», который в преддверии карнавала «усадил все деньги на чудовищную скрипку... чтобы проехаться с нею по всем улицам...»; слова Хлестакова в комедии «Ревизор» о том, что «Иохим не дал напрокат кареты» («...а хорошо бы... приехать домой в карете... подкатить... к какому-нибудь соседу-помещику...»), реплика петербургского обывателя в драматическом «Отрывке»: «Может быть, на всем гулянье... одна или две такие коляски! Так обо мне везде заговорят». Герою «Коляски», подобно всем этим персонажам, тоже очень хочется блеснуть перед заезжими офицерами своей «просвещенностью» показать нечто, возвышающее его над серой (далеко не идеализируемой Гоголем) провинциальной средой. Знаком же такого отличия, своего рода «орденом» Чертокуцкого, и оказывается заграничная коляска. Тщеславие и эгоизм — «я», кроющееся за этим желанием, как бы и открывает Гоголь комическим финалом повести.

Записки сумасшедшего

Вслед за «Коляской», изображающей плоды западного «просвещения» на русской провинциальной почве, Гоголь вновь обращается к петербургской действительности. «История болезни» тщеславия (по определению В. Г. Белинского) составляет содержание следующего произведения тома — «Записок сумасшедшего». Повесть эта также органически связана с осмыслением Гоголем европейской цивилизации как возбудителя низменных страстей человека — и прежде всего его эгоизма. Париж, где «один силился перед другим, во что бы то ни стало, взять верх, хотя бы на одну минуту» (как сказано в «Риме»), и Петербург, ставший со времен его основателя поприщем для всех неуемных честолюбцев, здесь же и воспитывающихся, в этом обнаруживают свое генетическое родство. Очевидно, по Гоголю, прорубленное «окно в Европу» оказалось для России не только соблазнительной витриной модного парижского магазина, через него шагнул в страну и сам европейский культ «человеческой гордости», потворство всем телесным и душевным страстям человека.

В таком осмыслении российской действительности Гоголь был не оригинален. «Дотоле от сохи до престола, — писал Н. М. Карамзин в своей известной «Записке о древней и новой России» (1811), — россияне сходствовали между собою некоторыми общими признаками наружности и в обыкновениях; со времен Петровых высшие степени отделились от нижних, и русский земледелец, мещанин, купец увидел немцев в русских дворянах ко вреду братского, народного единодушия государственных состояний» (*Карамзин Н. М.* О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях//Лит. учеба. М., 1988. № 4. С. 103).

Исследователи ставят «Записки сумасшедшего» в связь с незавершенной комедией Гоголя «Владимир 3-ей степени», где главную цель героя — петербургского чиновника — составляло получение ордена, дающего дворянское достоинство. (Напомним, что тема ордена, или знака отличия, была затронута Гоголем еще в «Вечерах...».) По словам того же Карамзина, продолжательница дела Петра Екатерина II «любовь к Святой Руси, охлажденную у нас переменами Великого Петра... хотела заменить гражданским честолюбием; для того соединила с чинами новые прелести, или выгоды, вымышляя знаки отличий, и старалась поддерживать их цену достоинством людей, украшаемых оными» (Там же. С. 107). Понятно, что с применением европейских средств европейский «идеал» в жизни России еще более возобладал. «У нас... до того дошло, — пишет Гоголь в «Театральном разъезде...», — что... если только иной не нагадит никому... то уже... сердится... если... не награждают его». «Аккуратный немец» Петербург, «на все глядящий с расчетом» («Петербургские записки 1836 года»), немецкий эгоизм (письма Гоголя к М. П. Балабиной от апреля 1838 года), французское «желание выказаться, хвастнуть, выставить себя» (повесть «Рим») — все эти гоголевские определения свидетельствуют, что «петербургские» по месту действия «Записки сумасшедшего» являются у Гоголя по существу и «европейскими» (что как бы подчеркнуто расположением этой повести в непосредственной близости к «Риму»); герой не случайно мыслит себя участником мировой политики.

Но не слишком ли пристрастными глазами смотрит Гоголь на Запад? На это следует сказать, что, помимо бесспорно реально-исторического происхождения многих негативных явлений русской жизни (активное западное влияние начиная с Петра I), Гоголь и всякий грех осмысляет как «иноплеменничий», — потому что грех действительно инороден душе. Если мы посмотрим на страдающих героев Гоголя, то можно заметить, что мученичество их заключается подчас именно в их рабстве этим «чужеземным врагам» — страстям. Это мученичество не ради Христа, а из приверженности к «врагу» — к миру и его соблазнам — постоянный предмет обличения в устах церковных пастырей. «Есть люди, — говорит св. Иоанн Златоуст в Беседах на Евангелие от Матфея, — которые, последуя диаволу... предают за него свои души; но мы терпим за Христа...» (беседа LV). Современник Гоголя, преосвященный Владимир (Алявдин), епископ Костромской и Галичский, также замечает: «Хотя миролюбцы и ненавидят Крест Христов, но и у них есть свои кресты» (Церковный год, или Собрание воскресных поучений, говоренных к народу *Владимиром <Алявдиным>*, епископом Костромским и Галичским, в 1835, 1836 и 1837 годах, в Киеве и Костроме. СПб., 1838. Т. 1. С. 92). Об этом же размышляет и святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский, в слове «Крест свой и Крест Христов»: «Смертоносен крест для тех, которые креста своего не преобразили в Крест Христов...» (Соч. епископа *Игнатия Брянчанинова*. СПб., 1905. Т. 1. С. 358).

Таким-то неразумным страдальцем и предстает у Гоголя неуемный честолюбец Поприщин в «Записках сумасшедшего». Повесть эта, как позволяет прочесть автограф, и называлась первоначально «Записки сумасшедшего мученика» (*Виноградов И.* Крест миролюбцев. К первоначальному названию повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего»//Лит. Россия. 1994. 18 марта. № 11. С. 14). «За что они мучат меня?.. я не могу вынести всех мук их», — восклицает герой в заключение повести, когда, возомнив себя «испанским королем», оказывается в сумасшедшем доме. И мученичество, и сумасшествие героя, по Гоголю, прежде всего в его ненасытном и неутолимом честолюбии. Согласно дошедшим до нас воспоминаниям о содержании незавершенной комедии Гоголя «Владимир 3-ей степени» («Владимирский крест»), замысел которой ставится в прямую связь с «Записками сумасшедшего», — «голгофой» или «крестом» героя, снедаемого, как и герой «Записок...», неуемным честолюбием, становится здесь то, что от очередной неудачи получить крест Св. Владимира он сходит с ума и, воображая себя в последней сцене этим самым «Владимирским крестом», «становится перед зеркалом, подымает [растопыривает] руки (так что делает из себя подобие креста) и не насмотрится на свое изображение» (*Афанасьев А. Н.* Отрывки из моей памяти и переписки//Михаил Семенович Щепкин: Жизнь и творчество. М., 1984. Т. 2. С. 153–154).

Финалу комедии «Владимир 3-ей степени» в этом смысле прямо соответствует и одна из ее сцен, в которой Гоголь изобразил как бы самое начало «болезни тщеславия». (Гоголь опубликовал сцену позднее, в 1842 году, отдельно, под названием «Тяжба».) Здесь герой, «сенатский обер-секретарь» Пролетов, читает в «Северной Пчеле» извещение о производстве чинов и получении наград знакомыми ему чиновниками, завидуя их успехам: «Право, досадно, что заглянул в газету, прочитаешь — чувствуешь тоску, гадость — и больше ничего». Чиновник «Тяжбы» — так же, как и герой «Записок сумасшедшего», — прямо напоминает в этом героя нравоучительной повести Ф. В. Булгарина «Три листка из дома сумасшедших, или Психическое исцеление неизлечимой болезни», напечатанной в 1834 году в «Северной Пчеле»: «Пациент мой читал “Сенатские Ведомости”. Глаза его налиты были кровью, щеки горели... “Посмотрите, доктор, можно ли после этого жить на свете!.. Вот люди, которых я знаю, как самого себя, люди, у которых нет столько ума и способности в башке, сколько у меня в мизинце!.. А вот один из них Начальником Отделения, другой Директором, третий Правителем Канцелярии... Все обвешены орденами!.. А я... я!..” Он не мог продолжать, бросил газету и... залился слезами!» (*Б<улгарин> Ф.* Три листка из дома сумасшедших, или Психическое исцеление неизлечимой болезни (Первое извлечение из Записок старого врача)//Северная Пчела. 1834. 15 февраля № 37. С. 147).

К «сумасшедшим мученикам» принадлежат, очевидно, у Гоголя и Акакий Акакиевич Башмачкин в «Шинели» (в отличие от

подлинного христианского подвижника св. Акакия из сорока Севастийских мучеников), и Павел Иванович Чичиков из «Мертвых душ» — в его поистине самоотверженном «подвиге» стяжания. И «просвещенный» Хлестаков в одной из черновых редакций комедии, будучи голоден, но не желая расставаться с модным фраком, говорит самому себе: «...вот кладу крест (*крестится*), если не буду играть между ними (провинциальными помещиками. — *И. В.*) первую роль... Нет... лучше как-нибудь поголодаю». «...Лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме», — замечает он в окончательной редакции.

Мученичество всего «цивилизованного» мира Гоголь тоже осмысляет как безумие. Сострадая к «тягостному выраженью в лицах синих блуз и всего народонаселения Парижа» (повесть «Рим»), он видит в этом прямое следствие рабства греху. В набросках к не дошедшим до нас главам второго тома «Мертвых душ» Гоголь, в частности, замечал: «Вот оно, вот оно, что значит, а не то, что нынешнее просвещение, которое превратило человека в машину...» Следует при этом заметить, что еще А. С. Пушкин в статье о А. Н. Радищеве писал: «Прочтите жалобы английских фабричных работников, волоса встанут дыбом от ужасу. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой, какая страшная бедность! Вы думаете, что дело идет о строении Фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет; дело идет о сукнах г-на Смидта, или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что все это есть не злоупотребление, не преступление, но происходят в строгих пределах закона... у нас нет ничего подобного». (Согласно строкам письма Гоголя к С. Т. Аксакову от 22 декабря (н. ст.) 1844 года эти пушкинские заметки, опубликованные впервые в 1841 году, стали известны ему еще в рукописи, то есть до отъезда за границу в июне 1836 года. Примечательно также, что изображение Гоголем в повести «Рим» «цивилизованного» Парижа во многом соответствует оценке Пушкиным парижской жизни в «Арапе Петра Великого».)

Только освобождение от рабства греху станет, по убеждению Гоголя, освобождением от египетского рабства, египетского труда и русского, и всех промышленных народов Европы. «Нищенство, — пишет Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», — есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого Бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища мира».

Рим

Материал, положенный Гоголем в основу последней, оставшейся незавершенной повести тома — «отрывка» «Рим», далеко превосходит ее конкретное, «бытовое» содержание. Едва ли не все темы, поднятые Гоголем в «петербургских» повестях, находят здесь свое

если не окончательное, то во всяком случае более глубокое осмысление. В «Риме» Гоголь в художественной форме изложил самую концепцию развития новейшей европейской цивилизации.

В Рим привела Гоголя давняя юношеская мечта. Восхищением поэтической Италией, страной «вдохновенья», пронизано самое первое из опубликованных его произведений — стихотворение «Италия» (1829). Выехав в июне 1836 года с А. С. Данилевским из России, Гоголь расстался с ним в Ахене, чтобы ехать в Италию, однако ему это не удалось. «Мое намерение до того было провести зиму в Италии, — писал он 12 декабря (н. ст.) 1836 года В. А. Жуковскому. — Но в Италии бушевала холера страшным образом; карантины покрыли ее как саранча». В Рим Гоголь попал только в марте 1837 года, прожив зиму с Данилевским в Париже.

Сравнение Парижа и Рима в повести прямо восходит к этим первым заграничным впечатлениям Гоголя. И уже в этих впечатлениях неизменно присутствует «петербургская тема». 5 декабря (н. ст.) 1836 года Данилевский писал из Парижа школьным приятелям И. Г. Пащенко и Н. Я. Прокоповичу: «Из Парижа мы с Гоголем сделали совершенный Петербург: Итальянский бульвар называем Невским проспектом, Тюльери — Летним садом, Палерояль — Гостиным двором и прочее... "Славный собака Париж", как говорит Гоголь...» (Лит. наследство. Т. 58. С. 555–556). Слово «собака» в украинском языке мужского рода.

Подобно своему будущему герою, римскому князю в повести «Рим», Гоголь сначала нашел в Париже даже некоторые достоинства. «Париж не так дурен, как я воображал, — писал он Жуковскому 12 ноября (н. ст.) 1836 года, — и, что всего лучше для меня: мест для гулянья множество — одного сада Тюльери и Елисейских полей достаточно на весь день ходьбы». Однако уже в то время о культурной жизни Парижа Гоголь отзывался критически. В письме к М. П. Погодину он замечал: «О Париже тебе ничего не пишу. Здешняя сфера совершенно политическая, а я всегда бежал от политики. Не дело поэта втираться в мирской рынок». Спустя три месяца проживания во французской столице, 25 января (н. ст.) 1837 года, Гоголь в письме к Прокоповичу подытоживал свои впечатления: «Париж город хорош для того, кто именно едет для Парижа, чтобы погрузиться во всю его жизнь. Но для таких людей, как мы с тобою, — не думаю, разве нужно скинуть с каждого из нас по 8 лет. К удобствам здешним приглядишься, тем более, что их более, нежели сколько нужно; люди легки, а природы, в которой всегда находишь ресурс и утешение, когда все приестся, — нет; итак, нет того, что бы могло привязать к нему мою жизнь. Жизнь политическая, жизнь, вовсе противоположная смиренной художнической, не может понравиться таким счастливцам праздным, как мы с тобою. Здесь все политика, в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике дают журнал. Об делах Испании

больше всякий хлопочет, нежели о своих собственных. Только в одну жизнь театральную я иногда вступаю: итальянская опера здесь чудная!» (Последнее замечание Гоголь прямо повторит в «Риме», говоря о разочаровании Парижем своего героя: «Только в одну еще итальянскую оперу заходил он...») Спустя еще несколько месяцев, 3 июня (н. ст.), уже из Рима, Гоголь писал Прокоповичу о Данилевском: «Он больше человек современный, воспитанный на современной литературе и жизни; я больше люблю старое. Его тянет в Париж, меня гнетет в Рим». «...Как вам самой известно, — пишет Гоголь 15 марта (н. ст.) 1838 года М. П. Балабиной, — новизна не свойственна Риму, здесь все древнее: Рим, папа, церкви, картины. Мне кажется, новизна изобретена теми, кто скучает, но вы же знаете сами, что никто не может соскучиться в Риме, кроме тех, у кого душа холодна, как у жителей Петербурга, в особенности у его чиновников...» В то же время Данилевскому он сообщает: «Что сказать тебе вообще об Италии? Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам»; «Никаких мучительных желаний, влекущих вдаль, нет, разве проездиться в Семереньки, то есть в Неаполь, и в Толстое, то есть во Фраскати или в Альбани... "Современник" (петербургский журнал, основанный Пушкиным. — *И. В.*) в Риме не получается и даже ничего современного» (письма от 15 апреля (н. ст.) 1837 года и от 23 апреля (н. ст.) 1838-го).

О том, что представлял собой Рим в годы, когда в нем проживал Гоголь, нашедший здесь почти «монастырское» уединение от «цивилизованной» жизни и Петербурга и Парижа, можно судить по многочисленным свидетельствам гоголевских современников. П. В. Анненков, встречавшийся с Гоголем в Риме весной 1841 года, в частности, писал: «...Всякий заехавший в Рим совершенно отделяется от современности, забывает газеты, Европу, открытия и предается воспоминаниям истории и искусства: другого нет разговора, как статуя, картина, новая находка в этой земле, до сих пор еще наполненная шедеврами древних... Но это не китайское отъединение от всеобщей жизни, а что-то торжественное и высокое, как загородный дом, где работал великий человек» (*Анненков П. В.* Письма из-за границы. С. 27, 29). Эти строки почти совпадают с описанием Гоголем римской жизни в его повести: «Тут не было толков о понизившихся фондах, о камерных преньях, об испанских делах: тут слышались речи об открытой недавно древней статуе, о достоинстве кистей великих мастеров...»

«Что теперь Рим?.. — писал в те же годы М. С. Волков. — Город... беспрестанно убывающий, разрушающийся, покидаемый, пустеющий. В нем есть только прошедшее, а настоящего нет ничего. Душа его — в картинах, статуях и зданиях» (Отрывки из заграничных писем (1844–1848) *Матвея Волкова*. СПб., 1857. С. 129). «Развалина материальная, развалина духовная — вот что был Рим в 40-х годах...» — свидетельствовала А. О. Смирнова (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 50).

По словам Анненкова, Рим, «под управлением папы Григория XVI, обращен был официально и формально только к прошлому... Последующие события доказали, что народ не был сохранен от постороннего влияния, и подтвердили... старую истину, что государство, находящееся в Европе, не может убежать от Европы.... Гоголь знал это, но встречал явление с некоторой грустью... Видно было, что утрата некоторых старых обычаев, прозреваемая им в будущем... поражала его неприятным образом» (*Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 67–68). В повести «Рим» Гоголь писал об итальянском народе: «Европейское просвещение как будто с умыслом не коснулось его и не водрузило в грудь ему своего холодного усовершенствования. Самое духовное правительство, этот странный уцелевший призрак минувших времен, осталось как будто для того, чтобы сохранить народ от постороннего влияния...» П. В. Анненков сообщал, в частности, о прогулках с Гоголем в окрестностях Рима летом 1841 года: «...мы проезжали уединенные римские поля и были в горах... в городах, которые лепятся на вершинах скал, к которым нет дорог и где только один способ сообщения известен: это верхом на осле. В этих городах встретили мы народонаселение совершенно дикое, едва знающее употребление монеты и, кажется, только сейчас вышедшее из первого состояния человека естественного, à la Rousseau <по Руссо; *фр.*>. И это рядом с Римом! Да что! В Сабинских горах есть еще деревни, где говорят по-латыни! Но со всем тем нельзя же даром жить на классической почве; как нынче, так и за несколько веков, люди и народы, приходившие в Рим, всегда уносили еще что-нибудь, кроме богатства его. Это моральное влияние Рима на народ, теперь обитающий около него...» (*Анненков П. В.* Письма из-за границы. С. 30–31).

Подобного рода размышления можно найти и в статьях Гоголя, относящихся еще к 1830-м годам, — в частности, в одной из его лекций по истории Средних веков, прочитанных в Петербургском университете. Здесь Гоголь, в частности, замечал, что в конце VII века «начался переход ломбардов к некоторой образованности. Была принята христианская вера... показалась всеобщая наклонность к земледелию... Развалины древней Италии покрылись пажитями, особенно в соседстве монастырей...» («Состояние Италии под владычеством готов...»).

Очевидно, что при отсутствии у Гоголя, по его собственному признанию, «влечения и страсти к чужим краям», при отсутствии у него также и «того безотчетного любопытства, которым бывает снедаем юноша, жадный впечатлений» («Авторская исповедь»), любовь Гоголя к Италии можно объяснить именно этой, сходной с русским провинциальным бытом, удаленностью итальянской жизни от развращающих новшеств европейской цивилизации — ее почти «монастырским» патриархальным укладом (это неизменно поражало Гоголя в Риме — этом всемирном «городе музее», полном древних памятников и православных святынь). (Много позднее

дочь Ф. М. Достоевского, Любовь Федоровна, в частности, замечала: «Русские, путешествующие в Италии, бывают порой поражены, встречая в Центральной Италии тот же крестьянский тип, что и в России. Тот же мягкий и терпеливый взор, то же чувство отрешенности. Одежда, вид, манера повязывать на голову платок — совпадают полностью. Поэтому русские так сильно любят Италию. Мы смотрим на нее как на свою вторую родину»; *Шубарт В.* Европа и душа Востока. М., 1997. С. 175–176.)

Однажды, рассказывал Анненков о своем общении с Гоголем в Риме, «мы успели сделать целым обществом прогулку в Сабинских горах... Гоголь нам не сопутствовал, он оставался в Риме и потом весьма пенял на леность, помешавшую ему присоединиться к странническому каравану. Особенно сожалел он, что лишился удобного случая видеть те бедные римские общины, которые еще в Средние века поселились на вершинах недоступных гор, одолеваемых с трудом по каменистой тропинке привычным итальянским ослом.... Многие живут там и доселе, связываясь с государством только посредством сборщика податей и местного аббата, их всеобщего духовника... Как совершеннейшее проявление той естественной, непосредственной жизни, которую так высоко ценил Гоголь, они действительно заслуживали внимания его, особенно если вспомнить истинно живописные стороны, какими они, надо сказать правду, обладают в изобилии» (*Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 84–85).

Особенное впечатление производили на Гоголя окрестности Рима — римская Кампанья — местность, которая напоминала писателю родную Малороссию и которая еще в начале XX века придавала Риму особый, «вечный» характер, отличавший этот город от всех других европейских городов, о чем, в частности, можно судить по одному из позднейших свидетельств: «Окруженный Кампаньей, Рим мало принадлежит современной Италии, современной Европе. Истинный дух Рима не умрет до тех пор, пока вокруг него будет простираться эта легендарная страна. Никакие принадлежности европейской столицы не сделают его современным городом, никакие железные дороги не свяжут его с нынешней утилитарной культурой» (*Муратов П. П.* Образы Италии. М., 1994. С. 277).

Отметим, в частности, что описание римской Кампаньи в гоголевском «Риме» прямо напоминает изображение вечерней украинской степи и «величественного зрелища» догорающих окрестностей Дубно во второй и четвертой главах первой редакции «Тараса Бульбы» (1835). 1 марта 1845 года А. О. Смирнова писала Гоголю о его жизни в Риме: «Вы как-то сжились с ним. Да, там иногда даже веет Малороссией, в тишине и пространстве Кампании, особенно при захождении солнца» (Северный Вестник. 1893. № 1. С. 246–247). Это же замечание А. О. Смирнова высказывала ранее в письме к В. А. Жуковскому от 20 апреля 1843 года из Рима, куда она приезжала по просьбе Гоголя: «Люблю Рафаэля, люблю и Петра

и Ватикан, но особенно влечет меня в Campagna di Roma. Там есть какая-то неизъяснимая прелесть, и, не знаю почему, вспоминается что-то родное, вероятно, степь южной России, где я родилась. Мы часто с Гоголем там бродим...» (*Смирнова А. О.* Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929. С. 332). За несколько лет перед тем это сравнение Италии с Малороссией было сделано самим Гоголем в его письмах, где, кстати, Рим довольно часто противопоставляется Петербургу: «Я родился здесь. — Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — всё это мне снилось. Я проснулся опять на родине...» (письмо к В. А. Жуковскому от 30 октября (н. ст.) 1837 года); «Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я... Опять то же небо, то всё серебряное, одетое в какое-то атласное сверкание, то синее, как любит оно показываться сквозь арки Колизея...» (письмо к М. П. Балабиной от апреля 1838 года).

Сияющее небо Италии Гоголь также прямо сравнивал с родным украинским небом — и в свою очередь противопоставлял его туманной петербургской атмосфере. В письме к И. И. Дмитриеву от июля 1832 года из Васильевки он писал: «В дороге занимало меня одно только небо, которое, по мере приближения к югу, становилось синее и синее. Мне надоело серое, почти зеленое северное небо, так же как и те однообразно печальные сосны и ели, которые гнались за мною по пятам от Петербурга до Москвы». С этими строками перекликаются размышления Гоголя в «Невском проспекте» о судьбе петербургских художников: «Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо... У них всегда почти на всем серенький мутный колорит — неизгладимая печать севера». (Напомним, в частности, и описание украинского неба — «голубого неизмеримого океана, сладострастным куполом нагнувшегося над землею» — в «Сорочинской ярмарке».) Примечательны также воспоминания С. Т. Аксакова о разговоре Гоголя 13 ноября 1839 года с Г. И. Карташевским (многие годы своей служебной деятельности посвятившим борьбе с латинским влиянием в западнорусском крае) и об отзыве последнего о Гоголе: «После обеда Гоголь долго говорил с Григорием Ивановичем об искусстве... и характере малороссийской поэзии... И какой же вышел результат? Григорий Иванович... начал бранить его за то, что он предался Италии» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 106).

По словам Анненкова, «на даче княгини З. Волконской, упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой», Гоголь «ложился спиной на аркаду... и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанью» (*Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 70). А. П. Стороженко, встретившийся с Гоголем на Украине в 1820-х годах — в то время, когда будущий писатель еще учился в Нежинском лицее, — тоже вспоминал, как тот любил подолгу смотреть в безоблачное небо. «Ударьте лихом об землю, — говорил Гоголь, ложась на спину, —

раскиньтесь вот так, как я, поглядите на это синее небо, то всякое сокрушение спадет с сердца и душа просветлеет... В этом положении... в уме зарождаются мысли высокие, идеи светлые... Примите к сведению и на будущее время, глядите на небо, чтоб сноснее было жить на земле» (*Стороженко А. П.* Воспоминание//Отечественные Записки. 1859. № 4. С. 80–81). А. О. Смирнова в свою очередь вспоминала о прогулках с Гоголем в Риме: «...Он... обыкновенно шел один поодаль от нас, подымал камушки, срывал травки или, размахивая руками, попадал на кусты и деревья... ложился навзничь и говорил: "Забудем все, посмотрите на это небо", — и долго, задумчиво и вместе весело он глядел на это голубое, безоблачное, ласкающее небо» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 32, 51). «Когда спрашивали, отвечал: "Зачем говорить? Тут надобно дышать, дышать, втягивать носом этот живительный воздух и Бога благодарить, что столько есть прекрасного на свете"» (Там же. С. 38. См. также: *<Кулиш П. А.> Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. СПб., 1856. Т. 2. С. 4). В <Письме из Рима к редактору журнала «Современник» П. А. Плетневу>, предполагавшемся Гоголем в 1838 г. к публикации (см. в т. 7 наст. изд.), он писал: «Я не знаю, где бы лучше могла быть проведена жизнь человека, для которого пошлые удовольствия света не имеют много цены... Приглянет солнце (а оно глядит каждый день) — и ничего уже более не хочешь; кажется, ничего уже не может прибавиться к вашему счастию. А если случится, что нет солнца (что бывает так же редко, как в Петербурге солнце), то идите по церквам. На каждом шагу и в каждой церкви чудо живописи, старая картина, к подножию которой несут миллионы людей умиленное чувство изумления. Но небо, небо!.. Вообразите, иногда проходят два-три месяца, и оно от утра до вечера чисто, чисто — хоть бы одно облачко, хотя бы какой-нибудь лоскуточек его!»

Имея в виду утешительное воздействие итальянской природы и древних римских памятников, Гоголь 14 апреля (н. ст.) 1839 года писал А. С. Данилевскому: «Если есть на свете место, где страдания, горе, утраты и собственное бессилие может позабыться, то это разве в одном только Риме». «Он сам мне говорил, — вспоминала А. О. Смирнова, — что в Риме, в одном Риме он мог глядеть прямо в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 50). Гоголь пояснял это состояние строками элегии Е. А. Баратынского «Разуверение» (1821): «Друг попечительный, больного/В дремоте сладкой не тревожь!» (письмо к Н. Я. Прокоповичу от 3 июня (н. ст.) 1837 года). Гоголь глубоко переживал в то время смерть А. С. Пушкина.

По преданию, вернувшись однажды из Колизея, Гоголь раскрыл молитвенник «на молитве св. Ефрема Сирина, что так чудно Пушкин переложил в стихи» («Отцы пустынники и жены непорочны...», 1836), — и с тех пор уже не оставлял ее, читая ее утром

и вечером (Записки *А. О. Смирновой.* СПб., 1895. Т. 2. С. 77). Помимо А. О. Смирновой, высокий духовный настрой и религиозность отмечали у Гоголя во время его пребывания в Риме в конце 1830-х — начале 1840-х годов и другие современники: И. Ф. Золотарев, Ф. И. Чижов, Г. П. Галаган.

В «Петербургских записках 1836 года» (начатых в Петербурге и законченных зимой 1836/37-го в Париже) Гоголь сопоставляет «полунемецкий» Петербург с самобытной (и старобытной) Москвой почти так же, как «цивилизованные» Петербург и Париж, с патриархальными Малороссией и Италией. В этих записках встречается и прямое упоминание об Италии, куда отправился Гоголь из Парижа: «Весело тому, у кого в конце петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа, или озера Швейцарии, или увенчанная анемноном и лавром Италия, или прекрасная и в пустынности своей Греция...» «Петербург самый новый из всех городов, а Рим самый старый», — замечал позднее Гоголь в письме к сестрам из Рима 28 апреля (н. ст.) 1838 года. Примечательно, что, встретившись в конце 1839 года в Петербурге с В. Г. Белинским, переехавшим сюда на постоянное жительство из Москвы, Гоголь, по свидетельству самого критика, «всё с ироническою улыбкою» спрашивал его, как ему понравился Петербург (*Белинский В. Г.* — Боткину В. П. 22 ноября 1839 г. Петербург//Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. С. 291). С другой стороны, Гоголь выговаривал К. С. Аксакову: «Вы умели сделать смешным самый святой предмет... пристегивая сбоку припеку при всяком случае Москву, вы не чувствовали, как охлаждали самое святое чувство... Чувствуете ли вы страшную истину сих слов: Не приемли имени Господа Бога твоего всуе?» (письмо от ноября 1842 года).

В соответствии с этим двояким противопоставлением Рима и Москвы («Третьего Рима») Парижу и Петербургу Гоголь в 1848 году, будучи в Киеве, говорил Ф. В. Чижову: «...кто сильно вжился в жизнь римскую, тому после Рима только Москва и может нравиться» (*<Кулиш П. А.> Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 240–241). Еще в «Петербургских записках 1836 года» Гоголь замечал: «В самом деле, куда забросило русскую столицу — на край света! Странный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холода: подавай Бог Петербург!.. "На семьсот верст убежать от матушки! Экой востроногой какой!" — говорит московский народ, прищуривая глаза на чухонскую сторону».

В 1841 году Гоголь писал С. Т. Аксакову из Рима: «Теперь я ваш; Москва моя родина... Всё было дивно и мудро расположено Высшею волею: и мой приезд в Москву, и мое нынешнее путешествие в Рим...» (письмо от 5 марта 1841 года). В 1846 году, приглашая из-за границы в Москву на жительство В. А. Жуковского, Гоголь в свою очередь замечал: «В Москву ты приедешь, как в родную свою семью. Она предстанет тебе желанной пристанью...» Позднее,

15 сентября 1850 года, он писал А. С. Стурдзе из Васильевки: «Скажу вам откровенно, что мне не хочется и на три месяца оставлять России. Ни за что бы я не выехал из Москвы, которую так люблю. Да и вообще Россия всё мне становится ближе и ближе. Кроме свойства родины, есть в ней что-то еще выше родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной».

В 1851 году, в день празднования двадцатипятилетия царствования Императора Николая I, 22 августа, Гоголь присутствовал вместе с другими гостями — В. И. Назимовым, М. П. Погодиным, И. М. Снегиревым и др. — на бельведере дома Пашкова в Москве, откуда смотрел на празднично освещенную столицу. П. Д. Шестаков, учитель 4-й Московской гимназии, которая помещалась тогда в доме Пашкова, позднее вспоминал: «Помню, как он, долго любуясь на расстилавшуюся под его ногами грандиозно освещенную нашу матушку Москву, задумчиво произнес: “Как это зрелище напоминает мне вечный город”» (*Шестаков П. Д.* Воспоминания о В. И. Назимове//Исторический Вестник. 1891. № 3. С. 711).

Можно предположить, что иллюминированная Москва прежде всего напомнила Гоголю римский фейерверк (это «огненное празднество» Гоголь, в частности, наблюдал в 1839 году с тем же Погодиным и с А. А. Ивановым; несомненно, он видел его в Риме многократно). Но не только о фейерверке вспоминал в 1851 году Гоголь. В конце 1845 года, 13 декабря (н. ст.), Рим посетил Император Николай Павлович и в тот же день встретился с папой. Русский посланник в Риме А. П. Бутенев писал, в частности, 22 ноября (н. ст.) графу К. В. Нессельроде, что приезд Императора Николая I в Рим является событием, которое «само по себе необычайно в истории древнейшего и знаменитейшего города в мире, и которому современные обстоятельства придают еще большее политическое значение и интерес, обращающий на себя, можно сказать без преувеличения, внимание всей Европы» (*Попов А. Н.* Сношения России с Римом с 1845 по 1850 год//Журнал Министерства Народного Просвещения. 1870. № 1. <Отд. 2>. С. 61).

По словам самого Гоголя в письме к графу А. П. Толстому от 2 января (н. ст.) 1846 года, а также по свидетельству А. П. Бутенева в письме к графу И. И. Воронцову-Дашкову от 21 декабря (н. ст.) 1845-го, «несмотря на то, что Император путешествовал инкогнито (под именем генерала Романова. — *И. В.*), римское народонаселение повсюду встречало высокого путешественника с таким энтузиазмом, который невозможно описать. Улицы, примыкавшие к дому русского посольства (palazzo Giustiniani <дворец Юстиниана; *ит.*>), в котором он останавливался, по целым дням были наполнены тысячами лиц различных классов, ожидавших мгновения его увидать и ему поклониться. Когда он ездил по городу или посещал общественные гулянья, такие же толпы стекались на его пути с усердием и восторгом» (*Попов А. Н.* Сношения России с Римом с 1845 по 1850 год. С. 66).

Именно тогда — во время пребывания Гоголя в Риме в 1846 году — и сразу после отъезда из Рима Императора Николая Павловича — у художника А. А. Иванова, близкого друга Гоголя, возник проект о заложении в Москве нового, в отличие от тоновского, Храма Спасителю. «Во время Московского Юбилея, — писал он в своем проекте, — чтоб Государь выдал Манифест выстроить Храм на месте, где случилось решение Бога быть России, а не Польше, — т. е. когда Авра<а>мий Палицын у стен Московских взывал к бунтующему войску, принеся жалованьем все украшения церковные. На этом-то самом месте надобно, чтоб Государь велел построить храм Спасителю». Тогда же Иванов написал и манифест, в котором от имени Государя провозглашалось перенесение русской столицы с окончанием строительства нового храма из Петербурга в Москву. «Москва, — писал Иванов, — жаждущая только этого, обратится к Правлению русских художников в Риме как выдающимся цветам искусства отечеств<енного>, а мы, видя из сердца отечества такое воззвание, двинемся всеми силами свежего народа к удовлетворению такой лестной и торжественной просьбы». По замыслу Иванова (известному, несомненно, и Гоголю), манифест об основании храма и перенесении русской столицы в Москву должен был быть прочитан Императором на московских торжествах 1851 года.

Присутствуя теперь, в 1851 году, на московском юбилее и глядя на празднично освещенную Москву, Гоголь, конечно, не мог не вспомнить о пребывании Государя в Риме в 1845 году и о составленном тогда Ивановым манифесте. Вспомнилось, вероятно, Гоголю и то, что римский фейерверк — по обычаю устраивавшийся папой в честь высоких гостей, — не был устроен в честь русского Императора, так как Государь был оклеветан тогда польской партией в гонениях против униатов. В Рим была подослана польская самозванка Макрена Мечиславская, выдававшая себя за подвергнувшуюся гонениям российских властей игуменью Минского базилианского монастыря. Впоследствии самозванка была разоблачена, однако клевета успела сыграть свою роль. Один из бывших тогда в Риме дипломатов вспоминал о приезде Николая I: «Всех занимал вопрос, будут ли оказаны ему особые почести, а именно иллюминация купола собора Св. Петра и джирандола <фейерверк; *ит.*> в Замке Св. Ангела. Рассказывали, что незадолго перед тем в Рим приехала аббатисса одного женского монастыря в Польше, которая за противузаконные поступки была заключена в русский монастырь, но бежала оттуда. Ее рассказы о приниженном положении католицизма в России произвели такое впечатление, что было решено не оказывать Императору никаких почестей со стороны римского правительства» (Император Николай I и папа Григорий XVI//Вестник Иностранной Литературы. 1896. № 9. С. 12).

В свете культурно-исторической концепции Гоголя, в которой полярными точками являются Петербург и Москва, Париж и Рим, совсем не удивительно, что, по свидетельству Анненкова,

вспоминавшего о своем общении с Гоголем в Риме в 1841 году, «намек на то, что европейская цивилизация может еще ожидать от Франции важных услуг, не раз имел силу приводить невозмутимого Гоголя в некоторое раздражение. Отрицание Франции было у него... невозвратно и решительно...» (*Анненков П. В.* Замечательное десятилетие. 1838–1848//*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. С. 178). Речь, конечно, шла не об отрицании Франции, а о неприятии самой западноевропейской цивилизации. По словам протопресвитера Василия Зеньковского, в повести «Рим» Гоголем дана «очень суровая характеристика всей французской культуры» и европейского просвещения в целом (*Зеньковский В. В., проф., прот.* Н. В. Гоголь. С. 113–114). «Гоголь, — замечал исследователь, — высказал много глубоких, не утративших своей силы идей, соображений о том эстетическом падении, которое характеризует и искусство, и жизнь нового времени... его едкие замечания о «непонятной» власти моды в современной культуре, среди других его замечаний, поражают своей глубиной и правдой» (Там же. С. 208).

Историческая концепция развития европейской цивилизации, представленная в «Риме», восходит к историческим штудиям Гоголя первой половины 1830-х годов, в частности, к тем его статьям, которые он опубликовал одновременно с тремя «петербургскими» повестями в сборнике «Арабески». Узловым моментом этой концепции являются слова в «Риме» о «низкой роскоши XIX столетия... выведшей на поле деятельности... кучи мастеровых и лишившей мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анжелов...».

Ближайшие корни новейшего европейского «просвещения» восходят, согласно Гоголю, к эпохе открытия европейцами Америки — когда, по его словам, «огромным взмахом закипели движенья Европы, понеслись вокруг света корабли, двинув могучие северные силы» (повесть «Рим»). Уяснить гоголевскую мысль помогает статья «О преподавании всеобщей истории», опубликованная в «Арабесках». Об открытии Нового Света в ней говорится: «Европейцы с жадностью спешат в Америку и вывозят кучи золота...» Первую роль в этом играла, как известно, Испания. Целый океан сокровищ хлынул тогда в Испанию из Нового Света, лишив тем самым ее народ всякого побуждения к труду. («Испания издавна отличалась... трудолюбием жителей...» — замечал в 1834 году Гоголь в одной из своих университетских лекций.) Вывезенное Испанией из Америки золото и послужило началом европейской промышленности. Английский философ начала XVIII века Б. Мандевиль, известный своими выводами о необходимости пороков и роскоши для развития ремесел, писал, в частности, что весь мир тогда «стремился работать на Испанию». В результате «золото и серебро... сделали все вещи дорогими, а большинство стран Европы — промышленными...» (*Мандевиль Б.* Басня о пчелах. М., 1974. С. 185–186). В конспекте лекций 1835 года «Древняя Всеобщая История» Гоголь писал: «Золото Перу и Хили <Чили> было основанием новой политики; оно дало

новую деятельность, новую жизнь народам и Государствам, возбудив в них страсти, неведомые народам средних веков. — Золото Америки возвысило Испанию, оно же и погубило ее, передав всю промышленность Голландцам и возбудив деятельность Англичан. ...Такие эпохи если не громом, то по крайне<й> мере следствиями могут сравниться с падением Рима, и тем более, что следствия падения Рима уже исчислены, известны, тогда как следствия вышесказанных происшествий не кончились даже и до этих пор».

Напомним также строки чрезвычайно высоко оцененной Гоголем «Сцены из Фауста» (1825) А. С. Пушкина: «Корабль испанский, трехмачтовый,/Пристать в Голландию готовый...» Близкий друг Гоголя писатель и историк М. П. Погодин, в свою очередь, замечал, что «войны Филиппа с Нидерландами и прочие его предприятия против Англии, Франции и Германии, суть каналы для разлития американского золота и серебра по Европе» (Исторические афоризмы *Михаила Погодина.* М., 1836. С. 105). Именно в освещении этого периода европейской истории увидел Гоголь достоинство трудов М. П. Погодина: «У него Шварц, Колумб, Лютер, кажется, вонзают взор, шагнувши чрез несколько веков, в нас самих и в события нашего века» (рецензия «Исторические афоризмы Михаила Погодина», 1836). Непосредственным отражением и результатом начавшегося на исходе Средних веков «движения» европейских народов в «событиях нашего века» и является, по Гоголю, кипучая деятельность современного Парижа — прямая противоположность патриархальной жизни Рима.

Среди рукописей заключительной главы первого тома «Мертвых душ» до нас дошел отдельный набросок Гоголя о XIX веке, имеющий непосредственное отношение к создававшейся в то время повести «Рим». Речь в нем идет о ничтожном итоге всего исторического развития человечества: «...[всяких вещей] добра, созданного модою. [Возьмем]... богатый и обширно развитый [19 век] наш умный девятнад<цатый век> [Благодетельное] Чудное счастье! доставленное [нанесенное им человеку], подаривший человечество таким счастием в награду его трудных и бедственных странствий».

Согласно этому проникнутому глубокой иронией отрывку, результат «трудных и бедственных странствий» человечества, или, иначе, итог приложения «могучих северных сил», вызванных к жизни открытием Америки, ничем не возвышается, по оценке Гоголя, над той деятельной «бездельностью жизни всего человечества в массе», какую прозревал он в мире и какую пытался изобразить в первом томе «Мертвых душ» в «бальном» безделье губернского города (заметка «К 1-й части»).

В самом «Риме» именно такой и представляется в итоге герою жизнь Парижа: «В движении вечного его кипенья и деятельности виделась теперь ему странная недеятельность... В движенье торговли, ума, везде, во всем видел он только напряженное усилие

и стремление к новости». Такова, по Гоголю, и суть европейского прогресса в целом, практически исчерпывающегося понятием моды (как в самом широком смысле этого слова, так и в узком, бытовом). Мода же, очевидно, никакого действительного «прогресса» в себе не заключает. Скорее наоборот. «...Прогресс, — писал Гоголь по этому поводу в неотправленном письме к В. Г. Белинскому 1847 года, — он... был, пока о нем не думали, когда же стали ловить его, он и рассыпался». «Человечество двинется вперед, — размышляет Гоголь об истинном «прогрессе» в своем предсмертном послании «Друзьям моим», — когда всякий частный человек займется собою и будет жить как христианин». «Наука у нас непременно дойдет до своего высшего значения и поразит самым существом, а не краснобайством преподавателя, его даром рассказывать, или же применениями к тому, что интересует моду...» — писал Гоголь в 1844–1845 годах в статье «О науке».

Бесплодная в отношении добра, европейская цивилизация Нового времени постепенно, по Гоголю, становится в то же время все изощреннее в «искусстве» зла. Об этом гоголевском взгляде можно, в частности, судить из соответствующих образов «Мертвых душ». Примечательна в этом смысле реплика Чичикова по поводу балов в отдельном черновом наброске к восьмой главе: «Сколько муж ни делает канальства, бездельничества и мерзостей из-за того, чтоб жене достать денег на наряд!..» Эта же мысль слышна и в размышлениях Гоголя о губительной власти «пошлых привычек света, условий, приличий без дела движущегося общества» в связи с характеристикой героев первого тома поэмы. Цивилизация Нового времени есть, по Гоголю, активная сила зла в мире, действие которой он прослеживает в истории. Как явствует из гоголевской концепции, создавшаяся в Европе вследствие перераспределения американского золота промышленность, опустошив золотоносную Испанию («Старая Испания, точно, все могла бы иметь и все потеряла», — замечал Гоголь в 1847 году в письме к графу А. П. Толстому), в поисках нового для себя поприща и источников роста («для поддержки и сбыту» — строки второго тома «Мертвых душ») обращается со временем с Запада на Восток. Здесь, уже в начале XIX века, наиболее значительным приложением набранной ею мощи стала, по мысли Гоголя, организация похода «Великой армии» Наполеона в Россию. «Наполеон... уже действует другим орудием...» — замечает Гоголь в статье о всеобщей истории. Этот «крестовый поход» Наполеона в Россию неизбежно оказывается (как и в Средние века, когда по интригам торговой Венеции крестоносцами был разрушен Константинополь) войной не столько политической, сколько религиозной, несущей вместе с экономическим порабощением и искажение духовных начал жизни — войной за превращение России в «европейское» государство и втягивание ее в общеевропейский процесс апостасии. «Что значит, — вопрошает Гоголь в статье «Светлое Воскресенье», — что уже правят миром швеи, портные и ремесленники

всякого рода (то есть Шиллеры, Гофманы и Кунцы. — *И. В.*), а Божии помазанники остались в стороне?» Подразумеваемый ответ на этот вопрос находится во Втором послании св. апостола Павла к Фессалоникийцам: изъятие из среды «удерживающего» знаменует наступление конца света (гл. 2, ст. 7).

Одним из главных источников в таком осмыслении мировой истории, очевидно, послужил Гоголю рассказ св. апостола и евангелиста Луки в Деяниях апостолов об ефесских ремесленниках, трудившихся над созданием храмов языческой богини Артемиды и восставших против проповеди св. апостола Павла из неложного опасения лишиться вследствие ее своих доходов (Деян. 19, 23–40) (сам апостол Павел не без горечи вспоминает о мятеже: «...когда я боролся со зверями в Ефесе»; 1 Кор. 15, 32). Гоголь придает этому событию прообразовательный смысл и поистине вселенский, апокалиптический масштаб.

Противоположное отношение к Италии и Франции, воплощенное в повести «Рим», и определяется этим противопоставлением Гоголя одухотворенной средневековой культуры развращающему влиянию новейшей цивилизации. В отличие от Северной Европы, ремесленная цивилизация которой стала активным проводником растлевающих соблазнов, в Италии, напротив, теми же ремесленниками, благодаря терпимости и целенаправленному меценатству пап (и перемещению торговых путей — с открытием Нового Света — на север Европы), был создан противостоящий цивилизации «синих блуз» Ренессанс. Покровительствуя религиозному направлению искусства, духовные власти Рима оградили тем самым свой народ от развращающего воздействия на него «ремесла». Только в этом — в противостоянии «величественной прекрасной роскоши» художеств «низкой роскоши» ремесла — светское искусство и находит себе оправдание у Гоголя (на чем и строится противопоставление в повести Парижа и Рима). Значение искусства Гоголь, однако, не переоценивает. Эстетически развитый итальянский народ скептически относится к своему духовенству, которому всем обязан. Сожалея в «Портрете», что время меценатов, издерживавших целые состояния на произведения искусства, прошло («наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр»), Гоголь, однако, в то же время отмечает и весьма относительную «просвещенность» «тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю свою жизнь, погруженные в зефиры и амуры». Не случайно приняться за чтение «первых всемирных поэтов» Гоголь считает необходимым лишь тем из русских, «которые даже не захотели бы и выслушать слов, если бы увидели, что вышел поп сказать их», которые «мудрость свою... покуда черпают из разного рода повестей, а не из Евангелия», тем, «которым другим путем нельзя сказать иных истин» (согласно строкам его писем 1846–1847 годов). Так, атеистически настроенному В. Г. Белинскому Гоголь в 1847

году, в неотправленном письме, предлагает, «начав сызнова ученье», «приняться за тех поэтов и мудрецов, которые воспитывают душу».

Характерно, что именно В. Г. Белинский повести Гоголя не принял. В статье «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя “Мертвые души”» он писал, что в «Риме» «есть удивительно яркие и верные картины действительности» и в то же время «есть и косые взгляды на Париж и близорукие взгляды на Рим...» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 155). В письме к С. П. Шевыреву от 1 сентября (н. ст.) 1843 года Гоголь отвечал на критику: «Белинский смешон. А всего лучше замечание его о “Риме”. Он хочет, чтобы римский князь имел тот же взгляд на Париж и французов, какой имеет Белинский. Я бы был виноват, если бы даже римскому князю внушил такой взгляд, какой имею я на Париж. Потому что и я хотя могу столкнуться в художественном чутье, но вообще не могу быть одного мнения с моим героем. Я принадлежу к живущей и современной нации, а он к отжившей. Идея романа вовсе была не дурна. Она состояла в том, чтобы показать значение нации отжившей, и отжившей прекрасно, относительно живущих наций. Хотя по началу, конечно, ничего нельзя заключить, но все можно видеть, что дело в том, какого рода впечатление производит строящийся вихорь нового общества на того, для которого уже почти не существует современность».

Взгляды Гоголя, судя по всему, во многом и совпадали с размышлениями героя, а кое в чем были еще более радикальны, чем взгляды римского князя. Несомненно, впечатления Гоголя от Парижа были гораздо более тягостны, чем впечатления героя. 12 февраля (н. ст.) 1845 года он, например, писал Н. М. Языкову: «О Париже скажу тебе только то, что я... и встарь был до него не охотник, а тем паче теперь. Говоря это, я разумею даже и относительно материальных вещей и всяких жизненных удобств: нечист, и на воздухе хоть топор повесь». Гоголевская позиция отличалась, вероятно, от воззрений героя настолько, насколько большую угрозу представляет собой западноевропейская цивилизация (будь она в Париже или в Петербурге) для нации «живущей и современной», чем для «отжившей». «Отжившая прекрасно» Италия, имеющая в себе залог истинного, религиозного чувства красоты, к тому же отделенная от Парижа еще и государственно, оказывается в этом смысле в позиции стороннего, не подверженного соблазнам наблюдателя — римский князь в итоге возвращается в Италию.

Иначе обстоит дело между тем же Петербургом и, скажем, Малороссией, с которыми Гоголь соотносит Париж и Италию в своих письмах. Раз возникнув в теле народа, цивилизация, подобно раковой опухоли, беспрепятственно расползается по всей «живущей» России. «Спасение России, что Петербург в Петербурге», — заметил однажды Гоголь в разговоре с М. П. Погодиным (*Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1895. Т. 9. С. 475). Хотя

главное разделение проводит все-таки Гоголь между Россией и Западом (разорительное влияние европейской промышленной роскоши), но более опасным представляется ему разделение в самой России — единой территориально и слишком молодой, чтобы с постоянством противостоять развращающим соблазнам.

Таким образом, римский князь, так же как и совпадающий с ним в «художественном чутье» Гоголь, может достаточно отстраненно смотреть на парижские соблазны, но, принадлежа к обществу, захваченному «строящимся вихрем», писатель не удовольствуется позднее только художественным творчеством, перейдя в «Выбранных местах...» к открытой публицистической проповеди.

Игорь Виноградов

Повести

Настоящий том включает в себя повести, которые Н. В. Гоголь собрал в третьем томе своих Сочинений 1842 г.: «Невский проспект», «Нос», «Портрет», «Шинель», «Коляска», «Записки сумасшедшего», «Рим». Повести создавались в разное время. «Невский проспект», первая редакция «Портрета», «Записки сумасшедшего» написаны в 1833–1834 гг. (все три опубликованы в сборнике «Арабески» в 1835-м). «Нос» и «Коляска» появились в пушкинском «Современнике» в 1836 г. Новая редакция «Портрета», «Рим» и «Шинель» увидели свет в 1842 г.

Тексты печатаются по изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. /Сост., подг. текстов и коммент. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. М.: Русская книга, 1994. В отдельных случаях текст заново сверен с автографами и прижизненными изданиями. В комментариях использованы мемуарные свидетельства современников Гоголя, переписка, записные книжки писателя, черновые редакции, разыскания предыдущих комментаторов.

Невский проспект

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 2.

В конце октября или начале ноября 1834 г. перед представлением «Арабесок» в цензурный комитет (цензурное разрешение последовало 10 ноября 1834 г.) рукопись «Невского проспекта» просмотрел А. С. Пушкин, который писал автору, опасавшемуся цензурных строгостей: «Перечел с большим удовольствием; кажется, все может быть пропущено. Секуцию жаль выпустить: она, мне кажется, необходима для полного эффекта вечерней мазурки. Авось Бог вынесет. С Богом!» (*Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М., 1976. С. 204). В сохранившейся черновой рукописи, относящейся к концу июля — сентябрю 1834 г., сцена «секуции» выглядела так: «Если бы Пирогов был в полной форме, то, вероятно, почтение к его чину и званию остановило бы буйных тевтонов. Но он прибыл совершенно как частный приватный человек в сюртучке и без эполетов. Немцы с величайшим неистовством сорвали с него все платье. Гофман всей тяжестью своей сел ему на ноги, Кунц схватил за голову, а Шиллер схватил в руку пук прутьев, служивших метлою. Я должен с прискорбием признаться, что поручик Пирогов был очень больно высечен».

В повести нашли отражение впечатления Гоголя от занятий в классах Академии художеств, которые он посещал в качестве вольноприходящего в течение трех лет (с 1830 по 1833 г.). О своих занятиях и знакомстве с художниками он сообщал в письме к матери от 3 июня 1830 г.: «...после обеда в пять часов отправляюсь я в класс, в Академию художеств, где занимаюсь живописью, которую я никак

не в состоянии оставить, — тем более что здесь есть все средства совершенствоваться в ней, и все они кроме труда и старания ничего не требуют. По знакомству своему с художниками, и со многими даже знаменитыми, я имею возможность пользоваться средствами и выгодами, для многих недоступными. Не говоря уже об их таланте, я не могу не восхищаться их характером и обращением; что это за люди! Узнавши их, нельзя отвязаться от них навеки, какая скромность при величайшем таланте! Об чинах и в помине нет, хотя некоторые из них статские и даже действительные советники. В классе, который посещаю я три раза в неделю, просиживаю два часа...»

В Петербурге Гоголь общался с А. Г. Венециановым, А. Н. Мокрицким, К. П. Брюлловым, с вице-президентом Академии художеств графом Ф. П. Толстым, секретарем Общества поощрения художников В. И. Григоровичем, позднее близко сошелся с А. А. Ивановым, Ф. А. фон Моллером, Ф. И. Иорданом (подробнее см.: *Машковцев Н. Г.* Гоголь в кругу художников. М., 1955).

А. С. Пушкин, высоко оценивший «Невский проспект», в отзыве на второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» назвал повесть Гоголя «самым полным из его произведений» (*Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. С. 97). Типичность Пирогова подчеркивал В. Г. Белинский: «...о единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов!.. Это символ, мистический миф, это, наконец, кафтан, который так чудно скроен, что придет по плечам тысячи человек!» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. М., 1976. С. 174). Верностью и типичностью гоголевского образа восторгался Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 г.: «Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось так безмерно много, так много, что и не пересечь. Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника. Как вы думаете: когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? Без сомнения, думал. А было ли ему стыдно? Без сомнения, нет!» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 21. Л., 1980. С. 124).

к стр. 7 *...летящих в каретах и на дрожках.* — *Дрожки* — легкий двухместный открытый экипаж на рессорах.

Адрес-календарь — ежегодно издававшаяся книга с указанием учреждений, должностей и имен чиновников всех ведомств.

Прапорщик (от *ст.-слав.* прапор — *знамя*) — младший офицерский чин в русской армии.

к стр. 8 *Салоп* (*фр.* salope) — верхняя женская одежда в виде широкой длинной накидки с прорезями для рук или небольшими рукавами, часто на подкладке, вате или меху.

Комми (*фр.* commis) — служащий магазина, приказчик.

Ганимед — в греческой мифологии красивый троянский юноша, похищенный богами и живший на Олимпе, любимец Зевса, его виночерпий; здесь: мальчик-слуга.

...плетется нужный народ... — *Нужный* — здесь: бедный, убогий.

...Екатерининский канал, известный своею чистотою... — В Екатерининский канал спускались сточные воды, о «чистоте» его Гоголь говорит иронически.

...резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре. — Намек на изменение театрального репертуара 1830-х гг., появление на сцене бытового водевиля с героями — чиновниками, актерами, купцами.

Департамент — отдел министерства или другого высшего государственного учреждения.

...говорит о гривне или о семи грошах меди... — *Гривна* — гривенник, десять копеек. *Грош* — медная монета в две копейки.

...пестрядевых халатах... — из пестряди — грубой домашней ткани из разноцветных ниток.

...с пустыми штофами... — *Штоф* — четырехугольная стеклянная бутыль с коротким горлышком и рельефным изображением двуглавого орла на стенке.

Картуз — мужской головной убор с околышем и козырьком.

...статью в газетах о приезжающих и отъезжающих... — к стр. 9
В газетах того времени был постоянный отдел, в котором печатались имена лиц, приехавших или выбывших из столицы (в список включались, как правило, лица значительные, чиновные).

...служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. — В Коллегии иностранных дел по традиции служили большей частью представители аристократических фамилий.

Редингот (*фр.* redingote) — мужское или дамское пальто широкого покроя.

Веленевая бумага — высокосортная плотная бумага.

Посессор (*фр.* possesseur) — владелец, обладатель.

...почувствуете себя выше адмиралтейского шпица... — к стр. 10
Адмиралтейский шпиц — золоченый шпиль Адмиралтейства (достигает высоты 72 м).

...в зеленых вицмундирах. — *Вицмундир* — форменный фрак к стр. 11
чиновников. Введен Императором Николаем I в 1834 г.

...титулярные, надворные и прочие советники... коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари... — Согласно Табели о рангах, введенной Петром I в 1722 г., чиновники гражданского ведомства делились на 14 классов: 1-й (высший чин) — канцлер, 2-й — действительный тайный советник, 3-й — тайный советник; 4-й — действительный статский советник, 5-й — статский советник, 6-й — коллежский советник, 7-й — надворный советник, 8-й —

коллежский асессор, 9-й — титулярный советник, 10-й — коллежский секретарь, 11-й — корабельный секретарь, 12-й — губернский секретарь, 13-й — провинциальный секретарь, сенатский, синодский регистратор, 14-й (самый младший чин) — коллежский регистратор.

Правитель канцелярии — управляющий канцелярией. Обычно чиновник 6-го класса.

Повытчик — столоначальник; судебный чиновник, следивший за порядком и хранением поступавших бумаг (от слова «выть» — отдел, часть). В материалах для «объяснительного словаря» русского языка Гоголь отметил: «Повытно, частями; повыток, отдел, часть».

...фризовой шинели... — из фриза — грубой ворсистой ткани типа байки.

...с ридикулем... — Ридикюль — женская ручная сумочка.

...демикотоновом сюртуке... — из демикотона — плотной хлопчатобумажной ткани, обычно белого цвета.

...из... окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня... — *Эстамп* (*фр.* estampe) — оттиск гравюры с печатной формы, выполненной самим художником или мастером-гравером.

к стр. 12 *Сиделец* — лавочник, продавец, находящийся на жалованье у купца.

Поручик — младший офицерский чин в русской армии с XVIII в., выше подпоручика и ниже штабс-капитана.

...совершенно Перуджинова Бианка. — Речь идет о фреске итальянского художника Перуджино (наст. фамилия Ваннуччи) Пьетро (между 1445 и 1452–1523) «Поклонение волхвов» с образом Мадонны в центре, находящейся в часовне Санта-Мария-деи-Бьянки в Пьеве. Как указала Н. М. Молева, появление на страницах гоголевской повести "Перуджиновой Бианки" объясняется, вероятно, тем, что копии с фресок Перуджино были привезены в Петербург из пансионерской поездки художником А. Е. Егоровым, одним из профессоров Академии художеств, под руководством которого Гоголь учился живописи в академических классах (*Молева Н.* Загадка «Невского проспекта»//Знание — сила. М., 1976. № 4. С. 43). См. также коммент. к с. 91 — *Кисть его хладела...*

В известных «Записках А. О. Смирновой», изданных ее дочерью, О. Н. Смирновой, сообщается, что «Мадонна» Перуджино находилась в семействе Смирновых. Согласно этим «Запискам...», однажды А. О. Смирнова советовала Пушкину «сочинить поэму на Рождество и на волхвов»: «Он покачал головой. "Евангелие от Луки, которое читается 25 марта, — лучшая из поэм, никогда мне не написать ничего, что бы хоть сколько-нибудь к этому приближалось". Минуту спустя он продолжал: "Ваша "Мадонна" Перуджино меня чарует: она мне представляется таким типом рабы Господней, той, которая произнесла Magnificat <величание>. Брюллов говорил мне, что Младенец написан Рафаэлевской манерой". Он пошел взглянуть на Мадонну...» (*Смирнова-Россет А. О.* Записки/Сост. О. Смирнова. М., 2003. С. 316).

Далее в «Записках...» сообщается, каким образом картина была приобретена во Флоренции мужем Смирновой Николаем Михайловичем: «Муж обещал Гоголю дать ему письмо... к Аффендульево, великому знатоку картин и оригиналу, каких мало. Пушкин от души хохотал, слушая рассказы Николая об одиссее этого Аффендульево, корфиота, ученого, великого чудака, близкого друга последнего венецианского дожа Манина, Аффендульево, который ненавидел Наполеона за то, что тот уничтожил Всепресветлейшую Венецианскую республику. Манин сделал Аффендульево вице-королем Кипра, а впоследствии королем Кандии. Пушкин сказал: «Так это один из королей, которых Кандид встретил в Венеции!» На Венском конгрессе было решено, что Австрия и Россия должны производить пенсию этому низверженному королю, так как у него отобрали все его собственное состояние, ему и производят австро-русскую пенсию, на которую он и живет во Флоренции. Одно время он жил в Испании. Это страстный охотник до составления коллекций и большой знаток, он отказывает себе во всем, чтобы покупать эстампы, камеи, всякие objets d'art <предметы искусства; *фр.*>, он разыскивает их на чердаках различных палаццо; он-то и нашел в Перуджии прекрасную «Мадонну», которую купил Николай; это произведение Перуджино никогда не выходило из палаццо одного свойства, которое наконец впало в бедность, и Николай купил картину очень дешево, за 35 000 франков, что для картины Перуджино, самой лучшей той эпохи, за подлинной подписью художника, даже и без старинной рамы — сущие пустяки. Орлов познакомил мужа с Аффендульево, который почти всякий день обедал у Орлова, с тех пор как тот узнал, что экс-король питается одними оливками» (Там же. С. 379–380).

...звезда и толстый эполет приводят их в... замешательство... — *Звезда* — знак высших орденов в Российской империи. Подразумевалось, что человек со звездой имеет чин не ниже 4-го класса Табели о рангах. *Эполет* (*фр.* epaulette) — наплечный знак различия; эполеты — парадные погоны офицеров, украшенные позументами, бахромой и т. п. к стр. 14

...лакей в богатой ливрее. — *Ливрея* — форменная нарядная одежда швейцаров и слуг в богатых домах. к стр. 18

...барыня... приказала просить вас к себе и прислала за вами карету. — Пошлость разворачивающихся перед Пискаревым видений обнаруживается вполне при сравнении с черновой редакцией «Ревизора» (строками, относящимися к сцене хвастовства Хлестакова): «А какой со мною недавно анекдот случился <1 нрзб.> Меня одна графиня очень того... Один раз приезжает ко мне карета, убрано все это великолепнейшим образом, камердинер весь в золоте входит ко мне: Вы Иван Александрович... Я... и вдруг не говоря мне ни слова завязывают мне глаза, сажают в карету. Я признаюсь, я сначала даже немного испугался. [Только] привозят к дому великолепнейшему, берут меня под руки и чувствую, что ведут меня по вызолоченной лестнице, по сторонам вазы, все это со вкусом. Наконец приводят

в великолепную комнату, вдруг развязывают глаза и что ж я вижу: передо мной красавица, вообразите, в полном совершенстве, одета как нельзя лучше. Шляпа на ней в перьях, бриллианты сияют. Белизна лица. Лицо просто ослепительно… Ну само собою разумеется, что тот же час воспользовался». (Анекдот, вероятно, был заимствован Гоголем у В. Т. Нарежного; см. «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова. Сочинение Василия Нарежного». СПб., 1814. Ч. 3. Гл. «Успехи в любви и науках».)

к стр. 20 *…воздушные летящие газы, эфирные ленты…* — *Газ* — прозрачная шелковая ткань. *Эфирные ленты* — т. е. легкие, воздушные.

к стр. 21 *Камер-юнкер* — придворное звание (степенью ниже камергера), которое получали молодые аристократы, состоявшие на гражданской службе.

Камергер — высшее придворное звание (для лиц, имевших чин 3-го и 4-го классов). Отличительный знак камергера — ключ на голубой ленте.

к стр. 22 *…сидели тузы за вистом, погруженные в мертвое молчание.* — *Вист* — карточная игра, в которой участвовало четверо. Играли обычно за столом, обтянутым зеленым сукном, на котором мелом записывались взятки. Считался игрой степенных, солидных людей.

к стр. 23 *Чухонка* — финка. После немцев финны были самым большим по численности нерусским населением Петербурга.

к стр. 24 *…персиянина… который всегда… просил нарисовать ему красавицу.* — А. О. Смирнова, как бы прямо поясняя этот эпизод гоголевской повести, писала: «С искусством не позволено обращаться без уважения. Это надобно оставить французам, которые <*не закончено*> для турецких и египетских пашей, которые за них платили большие цены» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 202).

к стр. 25 *…рука… стиснутая волосяным браслетом!* — *Волосяной браслет* — браслет из сплетенного человеческого волоса.

к стр. 28 *Квартальный надзиратель* — полицейский чиновник, в ведении которого находился определенный квартал города.

Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту… — Православное вероучение признает самоубийство тягчайшим грехом и запрещает отпевать, поминать, а также хоронить внутри церковной ограды наложивших на себя руки (за исключением достоверно душевнобольных). *Охта* — бывшее предместье Петербурга, где находилось старое кладбище (название получило по реке Охте, притоку Невы).

…одетый каким-то капуцином… — Имеется в виду служитель похоронного бюро (как правило, это были отставные солдаты-инвалиды), одетый в длинные одежды, напоминающие монашеские; *капуцин* (от *ит.* cappuccio — капюшон) — монах католического ордена, носивший плащ с капюшоном.

…красный… гроб бедняка… — Сосновый гроб, не обитый материей.

...хвалят Булгарина... Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове. — *Булгарин* Фаддей Венедиктович (1789–1859), *Греч* Николай Иванович (1787–1867) — литераторы и журналисты, издатели газеты «Северная Пчела»; их нравоописательные романы пользовались успехом у широкого читателя. *Орлов* Александр Анфимович (1791–1840) — автор многочисленных повестей и романов, часть из которых была написана как продолжение булгаринских романов о Выжигине. Произведения Орлова в 1830-х гг. служили мишенью для насмешек литературных критиков, особенно Булгарина. А. С. Пушкин иронически сравнивал двух «гениев» — Булгарина и Орлова в памфлетах «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», напечатанных в 1831 г. к стр. 29

...какие-нибудь «Филатки», которыми очень оскорбляется их разборчивый вкус. — *«Филатки»* — популярные водевили из простонародной жизни «Филатка с детьми» П. И. Григорьева 1-го (поставлен на сцене Александринского театра 23 ноября 1831 г.) и «Филатка и Мирошка — соперники, или Четыре жениха и одна невеста» П. Г. Григорьева 2-го (поставлен 30 ноября того же года). Особенно большим успехом у демократического зрителя пользовался второй из названных водевилей, продержавшийся в репертуаре до 1850-х гг.

Кабриолет — одноконный экипаж, управляемый самим седоком. к стр. 30

...кучею брадатой родни. — Т. е. родственников купеческого сословия. Носить бороду чиновникам, состоящим на государственной службе, запрещалось.

...превосходно декламировал стихи из «Димитрия Донского»... — *«Димитрий Донской»* — трагедия в стихах В. А. Озерова (1769–1816); поставлена в 1807 г.

...анекдот о том, что пушка сама по себе, а единорог сам по себе. — В записной книжке князя П. А. Вяземского этот анекдот звучит следующим образом: «“Никогда я не могла хорошенько понять, какая разница между пушкою и единорогом», — говорила Екатерина II какому-то генералу. “Разница большая, — отвечал он, — сейчас доложу Вашему Величеству. Вот изволите видеть: пушка сама по себе, а единорог сам по себе”. “А, теперь понимаю”, — сказала Императрица» (*Вяземский П. А.* Старая записная книжка. Л., 1929. С. 93). *Единорог* — старинное русское артиллерийское орудие, получившее свое название от изображенного на нем мифического зверя с одним рогом на лбу. (См. также коммент. П. Г. Паламарчука в изд.: *Гоголь Н. В.* Арабески. М., 1990. С. 414.)

«Ох, ох! суета, все суета! что из этого, что я поручик?» — Герой вспоминает известное изречение из Книги Екклезиаста: «Суета сует... — всё суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» (гл. 1, ст. 2–3).

...улицу табачных и мелочных лавок... — *Мелочная лавка* — лавка, где продавались хозяйственные товары. В записной книжке к стр. 31

1846–1851 гг. в разделе «Черты городов» Гоголь отметил: «Мелочные лавчонки, где продавался чай, деготь, сахар и хомуты».

...не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны»... — *Шиллер* Иоганн Фридрих (1759–1805) — немецкий поэт, драматург, теоретик искусства Просвещения; автор *«Истории Тридцатилетней войны»* (1793) и народной драмы *«Вильгельм Телль»* (1804).

...не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы... — *Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1775–1822) — немецкий писатель-романтик, композитор, художник. На *Офицерской улице* (ныне улица Декабристов) в доме Брунста Гоголь жил в 1831–1832 гг.

...знал по-немецки только «гут морген»... — *Гут морген* (искаж. *нем.*) — Доброе утро.

к стр. 32 *Рапé* — высший сорт французского нюхательного табака.

к стр. 34 *Мейн фрау!.. — Вас волен зи дох?.. — Гензи на кухня!* (искаж. *нем.* — Meine Frau! — Was wollen Sie doch? — Gehen Sie in die Küche!). — Моя жена! — Что вам угодно? — Ступайте на кухню!

к стр. 37 *Торнюра* (*фр.* tournure) — фигура, осанка.

Гавот — старинный французский танец в умеренном темпе.

к стр. 38 *Главный штаб* — высший орган военного управления в России.

Государственный совет — высший законосовещательный орган Российской империи, члены которого назначались Императором; собирался в Зимнем дворце.

«Северная Пчела» — первая крупная частная газета в России, политическая и литературная, издававшаяся в Петербурге Ф. В. Булгариным (с 1825 по 1830 г. единолично, с 1831 по 1859 г. совместно с Н. И. Гречем). В 1825–1830 гг. газета выходила три раза в неделю, с 1831 г. — ежедневно. Тираж ее доходил до 10 тысяч экземпляров. Деятельность газеты контролировалась правительством.

Контрольная коллегия — Министерство статистики и отчетности.

...отличился в мазурке... — *Мазурка* — бальный танец в быстром темпе.

...величиною в арку Главного штаба... — Имеется в виду арка здания Главного штаба на Дворцовой площади, построенного в 1823 г. по проекту архитектора К. И. Росси (1775–1849).

к стр. 39 *...строящеюся церковью...* — Речь идет о лютеранской церкви Свв. Петра и Павла, заложенной в августе 1833 г. по проекту архитектора А. П. Брюллова (1798–1877), брата «великого Карла» (Брюлловы были протестантами), и отличавшейся необычной по тем временам архитектурой. В черновой редакции статьи Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени» (1834) говорится: «Но и в гладкой, простой архитектуре сколько можно найти нового. Этому доказательством может служить прекрасная лютеранская кирка, строящаяся Брюлловым, архитектором, который доселе у нас один только показал

решительный истинный талант. Жаль, что ему до сих пор не поручено еще ни одно колоссальное дело».

Лафайет Мари Жозеф (1757–1834) — маркиз, французский генерал и политический деятель, участник Войны за независимость в Северной Америке; в период июльской революции 1830 г. командовал Национальной гвардией, содействовал вступлению на престол Луи-Филиппа.

...форейторы кричат и прыгают... — *Форейтор* — верховой ездок, управлявший передней парой лошадей, запряженных цугом (друг за другом).

Нос

Впервые напечатано в журнале «Современник» (1836. Т. 3) с редакционным примечанием А. С. Пушкина: «Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись».

Первоначально повесть предназначалась Гоголем для «Московского Наблюдателя», но была отвергнута журналом как произведение «пошлое». В этой редакции фантастический характер сюжета (исчезновение носа) объяснялся в финале сном майора Ковалева. Готовя повесть для пушкинского «Современника», Гоголь отказался от этой традиционной мотивировки, заменив ее авторским ироническим послесловием. Редактируя «Нос» для третьего тома своих «Сочинений» (1842), Гоголь вновь переделал конец повести: сократил послесловие, внес в последнюю главу ряд новых эпизодов (разговор Ковалева со слугой Иваном, поездка в кондитерскую, встреча со штаб-офицершей Подточиной и ее дочерью).

Отправляя повесть в «Московский Наблюдатель», Гоголь опасался цензурного вмешательства. «Если в случае ваша глупая цензура привяжется к тому, что нос не может быть в Казанской церкви, — писал он 18 марта 1835 г. М. П. Погодину, — то, пожалуй, можно его перевести в католическую. Впрочем, я не думаю, чтобы она до такой степени уж выжила из ума». По требованию цензуры Гоголю все-таки пришлось перенести встречу майора Ковалева с носом из Казанского собора в Гостиный двор.

В первоначальном наброске действие повести отнесено к 1832 г. В окончательной редакции Гоголь отбросил указание на год, точно обозначив лишь дату пропажи носа — 25 марта (Благовещение — один из важнейших православных праздников). В то же время в повести упомянуты волновавшие петербургское общество в начале 1830-х гг. события, придававшие ее сюжету правдоподобный характер: «опыты действия магнетизма», которыми занималась в 1832 г. некая г-жа Турчанинова, высланная полицией из Петербурга за шарлатанство (отчет о расследовании ее опытов был помещен

в «Журнале Министерства Внутренних Дел» за 1832 г.); история о «танцующих стульях» в Конюшенной улице, будоражившая Москву и Петербург в конце 1833 — начале 1834 г. О последней сохранилось немало свидетельств современников. В дневнике А. С. Пушкина имеется следующая запись от 17 декабря 1833 г.: «В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих к ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать, дело пошло по начальству. Кн. В. Долгорукий нарядил следствие. Один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно. Об этом идут разные толки» (*Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. С. 273).

Князь П. А. Вяземский писал по этому поводу своему другу А. И. Тургеневу 4 января 1834 г. из Петербурга: «Здесь долго говорили о странном явлении в доме конюшни придворной: в комнатах одного из чиновников стулья, столы плясали, кувыркались, рюмки, налитые вином, кидались в потолок; призвали свидетелей, священника со святою водою, но бал не унимался» (Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 3. СПб., 1899. С. 254–255).

Подобные явления в нашу эпоху получили наименование полтергейста (от *нем.* Poltergeist — игра духов). М. Н. Лонгинов, у которого Гоголь был в то время домашним учителем, рассказывал в своих воспоминаниях: «...как теперь помню комизм, с которым он передавал, например, городские слухи о танцующих стульях в каком-то доме Конюшенной улицы, бывшие тогда во всем разгаре» (Гоголь в воспоминаниях современников. 1952. С. 72).

к стр. 40 *...надписью: «И кровь отворяют»...* — Ср. рассказ известного бытописателя Петербурга М. И. Пыляева: «Если кто потрудился бы пройти лет пятьдесят назад с карандашом в руке по главным улицам Петербурга, тот собрал бы богатый запас диковинок из литературы вывесок... На углу Владимирской и Невского проспекта над цирюльнею красовалась: “Здесь бреют і крофь а творяют”» (*Пыляев М. И.* Замечательные чудаки и оригиналы. (Репринтное воспроизведение изд. 1898 г.). М., 1990. С. 333–335). В старину цирюльники помимо стрижки, бритья и проч. занимались еще и лечением — рвали зубы, ставили банки, пиявки, отворяли, т. е. пускали, кровь.

к стр. 41 *Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром...* — Т. е. он ожидал прихода полиции. Форма полицейского состояла из зеленого мундира с красным стоячим воротником.

к стр. 42 *...спросить стакан пуншу...* — *Пунш* (*англ.* punch) — крепкий спиртной напиток, приготовляемый из рома (или вина) с сахаром, лимонным соком или фруктами и употребляемый обычно в горячем виде.

к стр. 43 *Обер-полицмейстер* (обер-полицеймейстер) — здесь: начальник полиции Петербурга.

...коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. — По указу 1809 г. титулярный советник (чин 9-го класса) мог быть произведен в чин 8-го класса (коллежский асессор), дававший право на личное дворянство, лишь при условии окончания университета или сдачи экзамена по установленной программе. На Кавказе этот чин получить было намного легче, чем в русских губерниях. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин писал о Кавказе: «Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином асессорским...» (*Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. С. 365).

...никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. — Коллежский асессор соответствовал чину майора в Табели о рангах. Существовал указ Екатерины II (от 15 ноября 1793 г.) о том, чтобы все «статские чины впредь ни в каких случаях не именовали себя воинскими чинами». В общественном мнении военные чины стояли выше гражданских. к стр. 44

...продававшую манишки... — *Манишка* — накрахмаленный нагрудник, преимущественно из белой ткани, приложенный или пришитый к мужской сорочке.

Бостон — карточная игра, носившая спокойный характер и не связанная с риском большого проигрыша; была популярна в чиновничьей среде.

...носил множество печаток сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано: середа, четверг, понедельник и проч. — В старину письма запечатывались небольшими печатками, на которых вырезывались дворянские гербы их владельцев, инициалы, символические знаки, дни недели и проч.; носились как брелок на цепочке от часов. *Сердоликовый* — из сердолика — полудрагоценного камня красного или красно-желтого цвета.

...если удастся, то вице-губернаторского, а не то — экзекуторского... — *Вице-губернатор* — второе по значению лицо в губернии, помощник (заместитель) губернатора. Имел чин не ниже 6-го класса Табели о рангах. *Экзекутор* (*лат.* exsecutor) — должностное лицо, исполнявшее хозяйственные и дисциплинарно-полицейские обязанности. В зависимости от характера учреждения чиновник 8–10 классов.

Плюмаж — украшение из перьев на головном уборе. к стр. 45

Казанский собор — кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери в Петербурге, построенный в 1801–1811 гг. архитектором А. Н. Воронихиным (1759–1814). Расположен на углу Невского проспекта и набережной Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова).

Гайдук — здесь: выездной лакей в богатом доме, обычно высокого роста. к стр. 47

...надворный советник... которого он называл подполковником... — В Табели о рангах чин надворного советника соответствовал подполковнику.

Столоначальник — заведующий «столом» (отделом) в канцелярии, обычно чиновник 7-го класса.

Сенат — высший правительственный орган Российской империи, осуществлял надзор за деятельностью чиновников и государственных учреждений.

...обремизивался... — карточный термин, означающий, что игрок не добрал установленного числа взяток, проигрался.

к стр. 48 *Управа благочиния* — городское полицейское управление, приводившее в исполнение распоряжения администрации и решения судов; возглавлялось обер-полицеймейстером.

Газетная экспедиция — отделение газеты, занимавшееся приемом объявлений и их рассылкой.

к стр. 49 *Лакей с галунами... — Галун* — нашивка из золотой или серебряной тесьмы.

...отпускается в услужение... — В газетах того времени запрещено было упоминать о продаже крепостных. А. И. Герцен писал по этому поводу, что в России «торг людьми идет не хуже, как в Кубе или в Малой Азии. Правда, стыдливое и целомудренное правительство запретило объявлять о продаже людей. В газетах скромно и бессмысленно печатают: "Отпускается в услужение кучер, лет 35, здорового сложения, с окладистой бородой и честного поведения, или девка, лет 18, прекрасного поведения и годная на всякую службу"» (*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 12. М., 1957. С. 103).

Переторжка — торговка.

к стр. 51 *...есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос.* — Подразумевается, вероятно, искусство ринопластики (от Rhin, Rhinos — нос; и plassen — образовать; *нем.*), пособие по которой было издано в 1821 г. в Петербурге: «Ринопластика, или Искусство органически восстановлять потерю носа, исследованное в первоначальном оного состоянии и чрез новейшие способы производства усовершенствованное доктором Карлом Фердинандом Грефом, королевско-прусским тайным советником... С шестью гравированными картинами. С немецкого перевел штаблекарь Александр Никитин. Печатано иждивением Медицинского департамента Министерства Внутренних дел» (СПб.: В Медицинской типографии, 1821).

к стр. 52 *Синяя ассигнация* — пятирублевая ассигнация синего цвета.

...скверный ваш березинский... — Имеется в виду дешевый сорт нюхательного табака.

Частный пристав — начальник полицейской части, объединявшей несколько кварталов.

к стр. 53 *...все, что относится к обер-офицерам, но на штаб-офицеров никак не должно нападать. — Обер-офицеры* — младшие офицерские чины в русской армии (от прапорщика до капитана). *Штаб-офицеры* — старшие офицерские чины в русской армии (от майора до полковника).

Четверток — четверг. к стр. 55

Дилижанс (*фр.* diligence) — многоместный экипаж для регулярной перевозки почты, пассажиров и их багажа; применялся до развития железных дорог.

Съезжая — полицейский участок. к стр. 56

Бортище — дюжина.

Смирительный дом — исправительное учреждение, в котором отбывали наказание приговоренные за разного рода провинности и преступления.

Красная ассигнация — десятирублевая ассигнация красного цвета.

...занимал... лучшую квартиру в бельэтаже. — *Бельэтаж* — парадный второй этаж в зданиях-особняках, квартиры в нем были самыми дорогими и престижными. к стр. 57

...голосом... чрезвычайно уветливым и магнетическим... — *Уветливый* — ласковый, приветливый; «уветливость, снисхождение» (гоголевские материалы для «объяснительного словаря» русского языка). к стр. 58

Острая водка (царская водка) — азотная кислота.

Александра Григорьевна — выше Гоголь назвал ее Палагеей Григорьевной. к стр. 59

Магазин Юнкера — модный магазин на углу Невского проспекта и Большой Морской. к стр. 60

...в Таврическом саду... когда еще проживал там Хозрев-Мирза... — *Хозрев-Мирза* (1813–1875) — персидский принц, возглавлявший посольство в Россию после убийства в Тегеране А. С. Грибоедова, бывшего русским послом в Персии. Во время пребывания в Петербурге (с августа по октябрь 1829 г.) проживал в Таврическом дворце, при котором был разбит обширный *Таврический сад*, открытый для публики. к стр. 61

Раут (*англ.* rout) — званый вечер без танцев в великосветском обществе.

...чуть не дернул по всей комнате босиком тропака... — *Тропак* (трепак) — русская народная пляска в быстром темпе с притопыванием.

Par amour (*фр.*) — по любви. к стр. 63

...в хорошем юморе... — здесь: в хорошем настроении.

Гостиный двор — торговый ряд на Невском проспекте.

Портрет

Впервые напечатано в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 2. Повесть получила отрицательный отзыв В. Г. Белинского: «“Портрет” есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 280).

Во второй половине 1830-х гг. Гоголь значительно переработал повесть. Новая редакция «Портрета», в которой, по словам писателя,

«осталась одна только канва прежней повести... все вышито по ней вновь» (из письма к П. А. Плетневу от 17 марта 1842 г.), была впервые опубликована в третьей книжке «Современника» за 1842 г. С. П. Шевырев писал Гоголю 26 марта 1843 г.: «Во время болезни я прочел и «Портрет», тобою переделанный. Ты в нем так раскрыл связь искусства с религией, как еще нигде она не была раскрыта. Ты вносишь много света в нашу науку и доказываешь собою назло немцам, что творчество может быть соединено с полным сознанием своего дела».

Среди возможных прототипов гоголевского ростовщика называют известного в Петербурге ростовщика-индейца, которого описывает в своих мемуарах актер П. А. Каратыгин: «Бронзовое лицо его было татуировано разноцветными красками, черные зрачки его, как угли, блистали на желтоватых белках с кровяными прожилками» (*Каратыгин П. А.* Записки. Т. 1. Л., 1929. С. 264). В образе художника, живущего в Италии и приславшего на выставку свое гениальное произведение, усматривают черты А. А. Иванова, чей подвижнический труд над картиной «Явление Мессии» стал для Гоголя образцом преданности искусству (см. об этом: *Машковцев Н. Г.* Гоголь в кругу художников). Черты Иванова угадываются и в другом персонаже повести — идеальном старце-художнике, аскетически равнодушном к жизненным благам. В очерке «А. Иванов» (1858) А. И. Герцен писал: «Жизнь Иванова была анахронизмом; такое благочестие к искусству, религиозное служение ему, с недоверием к себе, со страхом и верою, мы только встречаем в рассказах о средневековых отшельниках, молившихся кистью, для которых искусство было нравственным подвигом жизни, священнодействием, наукой» (*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. Т. 13. С. 323).

к стр. 65 *Щукин двор* — один из петербургских рынков.

...фламандский мужик... — Имеется в виду фламандская школа живописи, отличавшаяся подчеркнутым интересом к натуре. Самые выдающиеся представители школы — Рубенс Питер Пауэл (1577–1640) и Ван Дейк (см. коммент. к с. 70).

...портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке... — *Хозрев-Мирза* — См. коммент. к с. 61.

...отпечатанных лубками на больших листах... — Речь идет о лубочных картинках — особом виде псевдонародного творчества, завезенного на Русь из Германии в середине XVI в. Лубочный лист (или лубочная картинка) представляет собой графическое изображение с пояснительной надписью. Персонажи лубка, как правило, одеты в немецкое платье. Они нарисованы грубо, иногда раскрашены. Часто кроме прибауток в лубке использовались евангельские тексты. Лубочные картинки были необычайно популярны в народе. После введения в 1839 г. цензуры на него лубок постепенно исчезает.

Миликтриса Кирбитьевна — персонаж популярной сказки о Бове Королевиче, иллюстрированной лубочной картинкой.

...торговка-охтенка с коробкою, наполненною башмаками. — *Охтенка* — жительница Охты, предместья Петербурга — См. коммент. к с. 28.

Еруслан Лазаревич — популярнейший герой переводной сказки, бытовавшей на Руси в течение трех столетий. Его имя сделалось нарицательным именем лубочного богатыря. к стр. 66

Объедала и обпивала — Имеется в виду популярная лубочная картинка «Славный объедала и веселый обпивала».

Фома и Ерема — шутливые персонажи русского фольклора и лубочных картинок, олицетворявшие глупость и нелепость. Песня об их похождениях целиком составлена из пословиц.

Беленькая — двадцатипятирублевая ассигнация белого цвета.

Лоскутный продавец — торговец лоскутами, т. е. остатками и обрезками различных тканей. к стр. 67

Четвертачок — четверть рубля, двадцать пять копеек. к стр. 68

Пятнадцатая линия на Васильевском острове — Улица, ставшая благодаря близости Академии художеств излюбленным местом проживания художников. к стр. 69

Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец... как раз попадешь в английский род. — В этих словах старого профессора живописи содержится намек на английского портретиста Джорджа Доу (1781–1829). Приглашенный в 1819 г. Императором Александром I для создания в Зимнем дворце портретной галереи героев 1812 г., Доу вскоре сделался модным и преуспевающим портретистом. Он писал необыкновенно быстро, используя помощников, умел польстить и угодить заказчикам (см.: *Машковцев Н. Г.* Гоголь в кругу художников. С. 51–52). Всего Дж. Доу вместе с двумя молодыми живописцами Александром Поляковым и Василием Голике написано 336 портретов. Оценка Гоголем творчества Дж. Доу напоминает суждение о нем художника А. Г. Венецианова (1780–1847; Гоголь познакомился с Венециановым в первой половине 1830-х гг.). В записке «О предосудительных поступках английского художника Дова», составленной в 1827 г. совместно с литератором Б. М. Федоровым и художником Е. И. Гейтманом, Венецианов писал: «Довом управляет одна корысть — и он в выигрыше, а публика пожертвовала может быть сотнями тысяч рублей за то, что иностранец умел ее обманывать... Дов имеет отличные дарования, но манер его бойкий, более декорационный, нежели близкий к той окончательности и простоте, которой требует верное изображение натуры и в которой великие портретисты, Тициан, Вандик, Рембрандт и другие, оставляли образцы для подражания, ни в коем случае не мог быть полезен для русской школы художников... Он завел род фабрики портретной и лишил через то многих художников русских их занятия... и к самому совершенствованию молодых художников и портретной живописи прекратилась возможность» (*Фомичева З. И.* А. Г. Венецианов-педагог. М., 1952. С. 34–35; *Леонтьева Г. К.* Алексей к стр. 70

Гаврилович Венецианов. Л., 1988. С. 150). В 1828 г. Дж. Доу покинул Россию.

Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. — *Рафаэль* Санти (1483–1520) — итальянский живописец эпохи Высокого Возрождения. *Гвидо* Рени (1575–1642) — итальянский художник эпохи Позднего Возрождения. *Тициан* (Тициано Вечеллио, около 1476/1477 или 1489/1490–1576) — итальянский живописец, глава венецианской школы Высокого и Позднего Возрождения. *Фламандцы* — фламандская школа живописи. См. коммент. к с. 65.

к стр. 71 *Антики* — гипсовые слепки с античных скульптур.

Психея — в античной мифологии олицетворение человеческой души, изображалась в виде бабочки или прекрасной девушки. История любви Психеи и Амура (Эрота), бога любви, — популярный сюжет в литературе и живописи XVIII — начала XIX в.

к стр. 72 *...об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и все еще почитал его неоконченным и который, по словам Вазари, был, однако же, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства.* — Речь идет о портрете Моны Лизы (Джоконды) итальянского художника *Леонардо да Винчи* (1452–1519). Один из первых историков искусства, Джорджо *Вазари* (1511–1574), в «Жизнеописании Леонардо да Винчи» сообщает, что художник работал над этим портретом четыре года, но так и оставил его незавершенным.

Это были живые, это были человеческие глаза! — По словам Вазари, глаза Джоконды имеют «тот блеск и ту влажность, какие мы видим в живом человеке» (*Вазари Дж.* Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М., 1970. Т. 3. С. 26).

к стр. 74 *...старик пошевелился...* — Возможно, в изображении оживающего портрета демонического существа отразились впечатления Гоголя от одного из номеров балаганных представлений, традиционно устраивавшихся на протяжении XIX в. в Петербурге на Масленицу (к концу века эти представления были запрещены). «Очень гладко проводилось превращение предметов в живых людей, чему способствовала тщательная работа бутафоров... Особенно удавался эпизод, когда Пьерро принимался рисовать на грифельной доске голову демона, которая вдруг поворачивалась и оживала» (Русские народные гулянья по рассказам А. Я. Алексеева-Яковлева в записи и обработке Евг. Кузнецова. Л.; М., 1948. С. 70).

Фантом (*фр.* fantôme) — призрак, видение.

...на каждом было выставлено: «1000 червонных». — Червонный (червонец) — русская золотая монета трехрублевого достоинства.

к стр. 77 *...в отдаленном углу Коломны...* — *Коломна* — один из окраинных районов Петербурга.

...князя Кутузова портрет... — *Кутузов* Михаил Илларионович (1745–1813), светлейший князь Смоленский, полководец, генерал-фельдмаршал. Портрет Кутузова висит в комнате помещицы Коробочки в «Мертвых душах». к стр. 78

Громобой — герой баллады В. А. Жуковского «Двенадцать спящих дев» (Ч. 1 — «Громобой», 1810), человек, продавший душу дьяволу. к стр. 79

Манкен (*фр.* mannequin) — манекен, кукла, при помощи которой можно воспроизводить различные позы человеческого тела; служит художнику моделью. к стр. 80

...зашел к ресторану-французу... — т. е. к ресторатору, содержателю ресторана. к стр. 81

Прошелся по тротуару гоголем... — т. е. франтом, подняв голову. *Гоголь* — водоплавающая птица из семейства утиных. В гоголевской записной книжке 1842–1844 гг. среди «уток нырков» дается описание «гоголя большого»: «В большую утку, белого цвета с красными перьями. Около головы вроде манжет, ноги в заду к самому хвосту... Плывет гордо и быстро, поднявши длинный нос... Ныряет далеко и под водою долго».

...отправился... к одному издателю ходячей газеты... — Намек на Ф. В. Булгарина. Статья «О необыкновенных талантах Чарткова» представляет собой памфлет на журнальную деятельность Булгарина, печатавшего в «Северной Пчеле» подобные оплачиваемые рекламы.

Вандик (Ван Дейк) Антонис (1599–1641) — голландский живописец, особенно прославившийся портретами. к стр. 82

...деньги, хотя некоторые из нашей братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою. — Имеется в виду прежде всего С. П. Шевырев, который, как писал Гоголь в статье «О движении журнальной литературы, в 1834 и 1835 году», «гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара».

C'est charmant! Lise, Lise, venez ici! (*фр.*) — Это очаровательно! Лиза, Лиза, подойди сюда! к стр. 83

Комната во вкусе Теньера... — *Теньер* (Тенерис) Давид (1610–1690) — голландский художник, преимущественно писавший жанровые сцены.

...quelle jolie figure! (*фр.*) — Какое прелестное лицо!

Мсьё Ноль. — Согласно записке «Путешествие Александры Осиповны», представляющей собой дневник осмотра римских достопримечательностей А. О. Смирновой под руководством Гоголя в 1843 г., в конце января этого года они посетили студию жившего в Риме с 1840 по 1843 г. немецкого архитектора Эдуарда ван дер Нюлля (Nüll) (1812–1868), о чем в гоголевской заметке сохранилась соответствующая запись: «Noll. Via Gregoriana, 13. 4 piano». (Об Э. Нюлле см.: *Noack F.* Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters. Berlin; Leipzig, 1927. Bd. 2. S. 428; *Джулиани Р.*

Гоголь в Риме//Вестник Московского ун-та. Серия 9. Филология. М., 1997. № 5. С. 31). Однако имя художника Ноля в «Портрете», вероятно, не имеет отношения к немецкому архитектору и призвано указывать исключительно на «нулевое» значение модного иностранного живописца. Ср. реплику начальника отделения в «Записках сумасшедшего» (1835): «Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты? ведь ты нуль, более ничего»; а также слова Гоголя в письме к А. О. Россету от 28 ноября 1847 г.: «Вы знаете, что я весь состою из будущего; в настоящем же есть *нуль*».

к стр. 87 *Superbe, superbe!* (*фр.*) — Великолепно, великолепно!

к стр. 88 *Quelle idee delicieuse!* (*фр.*) — Какая восхитительная мысль!

Это Корредж. — *Корреджо* (наст. фамилия Аллегри) Антонио (ок. 1489–1534) — итальянский живописец эпохи Высокого Возрождения.

к стр. 89 *...чтобы в глазах виден был Марс...* — *Марс* — в римской мифологии бог войны, здесь: олицетворение суровости и мужества.

...кто метил в Байрона... — *Байрон* Джордж Гордон (1788–1824) — английский поэт-романтик, член палаты лордов; создал тип «байронического» героя — разочарованного мятежного, не понятого людьми индивидуалиста.

Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы... — *Коринна* — героиня романа французской писательницы Анны Луизы Жермены де Сталь (1766–1817) «Коринна, или Италия» (1807). *Ундина* — в германской мифологии водяной дух, русалка; героиня одноименной повести немецкого писателя-романтика Фридриха ла Мотт Фуке (1777–1843), переведенной в стихах В. А. Жуковским. *Аспазия* (Аспасия; ок. 470 до Р. Х.) — возлюбленная афинского стратега и законодателя Перикла, отличавшаяся умом, образованностью и красотой; в ее доме собирались поэты, художники и философы.

к стр. 90 *Микель-Анжел* — *Микеланджело* Буонарроти (1475–1564), итальянский архитектор, скульптор, живописец и поэт, создатель окончательного проекта собора Св. Петра и один из руководителей его строительства.

к стр. 91 *Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure!* (*фр.*) — Есть что-то необыкновенное во всей его внешности!

Кисть его хладела... и он нечувствительно заключился в... давно изношенные формы... — О современном Гоголю примере такого же оскудения дарования писал, в частности, в 1835 г. в письме в Рим к сыну Александру Иванову профессор живописи Петербургской Академии художеств Андрей Иванович Иванов. Случай, описанный А. И. Ивановым, относится именно к тем художникам (А. Е. Егорову и В. К. Шебуеву), под непосредственным руководством которых в 1830–1833 гг. обучался живописи в Петербургской академии художеств сам Гоголь (см. коммент. к с. 12 — *Перуджинова Бианка*). «Я писал тебе... — сообщал Андрей Иванов сыну, — о занятиях художников г. Шебуева, г. Егорова, г. Сазонова, меня и моего зятя, А. Е. Сухих, для Троицкой церкви Измайловской

гвардии... Самая слава, гремевшая кстати и некстати, их до того избаловала, что уже им показалось, что все, что они не сделают, должно быть принято беспрекословно за хорошее... Но на сей раз вышло противное. Скоро по освящении церкви приглашает президент Академии <А. Н. Оленин> работавших художников к себе на квартиру... Бумага... была следующего содержания: "Государь недоволен образами, написанными в Троицкую церковь г. Шебуевым, г. Егоровым... почему и приказал возвратить образа художникам, их написавшим, истребовав от них полученные задатки... образа же отдать написать другим художникам"... Надобно после оного продолжать взятые ими на себя работы для академической церкви и показать себя достойными носимого ими звания — это тяжелая обязанность, после столь долголетних занятий по живописи, когда укоренился уже навык писать фальшиво предметы, и манера столь же фальшивая, чтобы угодить кому-либо мягкостью, круглостью, мягкостью красок, словом, не делать так, как представляется предмет, а все по навыку...» (письмо от 4 августа 1835 г. из Петербурга в Рим) (Русский Художественный Архив. 1892/1893. С. 168–171; Мастера искусства об искусстве. М., 1969. Т. 6. С. 164).

...не стоял ни за пуристов, ни против пуристов... — Пуристами в 1820–1840-е гг. называли группу немецких живописцев во главе с Ф. Овербеком (1789–1869) и П. Корнелиусом (1783–1867), известными также под названием «назарейцев» (от Назарета — места рождения Иисуса Христа) (см.: *Машковцев Н. Г.* Гоголь в кругу художников. С. 56). к стр. 93

...изобразить отпадшего ангела. — По свидетельству П. В. Анненкова в письме к братьям от начала июля 1841 г., летом этого года Гоголь общался в Риме со скульптором А. В. Логановским, «сделавшим по заказу государя-наследника статую "Абадонна, плачущий уединенно о потере блаженства"» (Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 605). Осенью 1841 г. художник А. А. Иванов извещал своего друга художника Г. И. Лапченко: «Пименов сделал "Нищего, просящего милостыню", а Логановский "Абадонну". Оба теперь начинают высекать их из мрамора» (*Боткин М.* Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–1858. СПб., 1880. С. 139). к стр. 95

Василиск — мифическое существо, убивавшее своим взглядом. к стр. 96

...демон, которого идеально изобразил Пушкин. — Речь идет о стихотворении «Демон» (1823). к стр. 97

Гарпия — в греческой мифологии крылатое чудовище с головой женщины и туловищем птицы, олицетворение злобы и мести.

...аукционная продажа... — В описании аукциона, по-видимому, отразились впечатления Гоголя от аукционной продажи так называемого Русского Музеума «отечественных древностей» П. П. Свиньина, открывшейся во второй половине марта 1834 г. и закончившейся летом того же года (историю распродажи этого музея см.: *Модзалевский Б. Л.* Объяснительные примечания к стр. 98

к Дневнику Пушкина // Дневник Пушкина. 1833–1835. М.; Пг., 1923. С. 147–150). Перечисление вещей аукционной продажи, «набросанных горою на полу», предваряет в «Портрете» рассказ о ростовщике Петромихале (имя ростовщика в первой редакции, содержащие намек на Петра I — *Петра Михайлова* в его заграничной поездке), а содержимое кладовых Петромихали, где «кучами были набросаны... вазы, всякий хлам, даже мебели... старое негодное белье, изломанные стулья, даже изодранные сапоги», прямо напоминает заваленную хламом комнату «скряги» Плюшкина в шестой главе первого тома «Мертвых душ», — который, в свою очередь, имеет с ростовщиком «Портрета» несколько общих черт. В одной из черновых редакций сохранился отрывок из описания имения Плюшкина, также позволяющий предполагать, что в его основу были положены впечатления Гоголя от аукционной продажи Русского музея Свиньина: «Изб было столько, что не перечесть. Они были такое старье и ветхость, что можно было дивиться, как они не попали в тот музей древностей, который еще не так давно продавался в Петербурге с публичного торга, вместе с вещами, принадлежавшими Петру Первому, на которые, однако ж, покупатели глядели сомнительно». (В собрании Свиньина действительно были вещи, якобы принадлежавшие Петру I: «Трюмо из орехового дерева с барельефами, превосходной отделки. Бесценное произведение державных рук Петра Великого»; «Ковш, жалованный Петром I Комиссару Жукову»; «Инструмент от токарного станка Петра Великого». Краткая опись предметов, составляющих Русский Музеум Павла Свиньина. 1829 года. СПб., 1829. С. 19, 32, 138; см. также: Краткая опись предметов, составляющих Русский Музей П<авла> С<виньина>. 1829 года // Отечественные Записки. 1829. Ч. 38. Июнь. № 110. С. 331, 344; Ч. 39. Июль. № 111. С. 77; *М. Р.* Санктпетербургские Ведомости. 1834. 15 марта, № 61. С. 235–236.) О сомнительной принадлежности Петру I вещей из музея Свиньина В. М. Строев писал в «Северной Пчеле»: «Я с нетерпением ожидал продажи тех редкостей, коих историческая достоверность подвержена сомнению. Что делать с XIX веком? Избаловался до крайности; ничему не верит на слово... Где найти доказательств? Их нет, милостивые государи, а *на нет и суда нет!..* Покупайте вещи под теми именами, какими их окрестили в Русском Музеуме...» (*<Строев В. М.> В. В. В.* Продажа Русского Музеума // Северная Пчела. 1834. 17 апреля. № 87. С. 346).

...погруженные в зефиры и амуры... — Измененная цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «Сам погружен умом в зефирах и амурах...» (о помещике, любителе крепостного театра, промотавшем свое состояние).

к стр. 99 *...старые мебели... с грифами, сфинксами и львиными лапами...* — Роскошная модная мебель с точеными ручками и ножками в виде грифов (легендарное животное с туловищем льва и орлиной головой), сфинксов, львов и т. п.

Кенкет — масляная лампа-бра.

Ресторирован — реставрирован.

...отставных... капельдинеров... — *Капельдинер* — театральный служитель, проверяющий у посетителей входные билеты, указывающий места, следящий за порядком и проч. к стр. 101

...царствованию... государыни Екатерины Второй. — *Екатерина* II Алексеевна (1729–1796) — российская Императрица с 1762 г. к стр. 102

...Дант не мог найти угла в своей республиканской родине... — Ср. в гоголевском конспекте книги английского историка Г. Галлама «Европа в Средние века» 1830-х гг.: «В одной из революций, произведенных... разветвлением заговоров, Флоренция изгнала из стен своих Данта Алигиери, юного гражданина, имевшего должность в магистрате и державшего сторону Bianchi, искавшего убежища при дворе принцев джибелинских. При начале республик ломбардских их ссоры взаимные и домашние были ограничиваемы посредничеством императора, и потеря этого влияния, может, была одна из причин, доведших Италию до такого состояния в продолжение XIII века» (раздел «Италия»). 6 апреля 1837 г. сам Гоголь писал Императору Николаю Павловичу: «Участь поэтов печальна на земле: им нет пристанища, им не прощают бедную крупицу таланта, их гонят, — но венценосные властители становились их великодушными заступниками». к стр. 104

Грандисон — добродетельный герой романа английского писателя С. Ричардсона (1689–1761) «История сэра Чарльза Грандиссона» (1754). к стр. 105

...все-таки будет tableau de genre... — Имеется в виду популярный в то время в Европе tableaux de genre (*фр.*) — жанровая картина — изображение «нравов или случайностей», сцен из простого, повседневного быта современного общества. В строках Гоголя слышится отголосок его полемики с художником А. А. Ивановым по проблеме соотношения картин высокого, «эпохического» содержания с современной «жанровой картиной». Гоголь полагал, что «историзм», т. е. глубокое содержание, кроется подчас и в самой повседневности (и что, напротив, формальная принадлежность картины к «историческому» жанру еще не означает ее глубокого содержания). Именно во второй половине 1830-х гг. — с приездом в Рим Гоголя — в творчестве Иванова появляются новые, неожиданные для него «жанровые картины». Неожиданным для Иванова этот жанр был потому, что о «хорошеньких сценах» tableaux de genre сам он всегда отзывался резко критически — как о «рабских копиях с натуры, лишенных всякого содержания», «пестрых картинках», — видя в них для художника «совершенное разрушение... размен всех сил на мелочи и вздоры в угодность развратной публике». Жанровыми картинами, исполненными «достойного» для исторического живописца смысла, стали, с одной стороны, рисунки художника к немой сцене «Ревизора» (1841), с другой — акварели «Октябрьский праздник в Риме» (1842) и др. См. также коммент. к с. 205 — *«Не знаю, должно быть, иностранка»*. к стр. 107

Не в гостиную я понесу мои картины, их поставят в церковь. — 17 февраля 1843 г. Г. П. Галаган в письме к матери из Рима излагает содержание одной из бесед в кругу друзей — художника А. А. Иванова, поэта Н. М. Языкова, славянофила Ф. В. Чижова и Гоголя: «...вместе с просвещением, заняв у иностранцев обычаи и одежду, мы неприметно подвергнули и нашу Православную Церковь переменам, вовсе к ней не идущим... Мы увлеклись модой, совсем забыли про наши святые храмы Киева или Москвы. Пора нам перестать думать, что все иностранное хорошо... Икона только тогда может называться иконой, когда она удержала в себе весь свой первобытный тип... Пусть картины украшают стѐны наших гостиных, но им не место в церкви» (*Гусева Е. Н.* Воспоминания Г. П. Галагана о Н. В. Гоголе//Памятники культуры. Новые открытия. Л., 1986. С. 68).

к стр. 114 *Вервие* — веревка.

Шинель

Впервые напечатано: Сочинения Николая Гоголя. Т. 3. СПб., 1842.

По свидетельству П. В. Анненкова, первоначальный замысел повести возник еще до отъезда Гоголя за границу в 1836 г. Мемуарист вспоминает, как «однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья рублей в двести (ассигнациями). В первый раз, как на маленькой своей лодочке пустился он по Финскому заливу за добычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он находился, по его собственному уверению, в каком-то самозабвении и пришел в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидал своей обновки. Ружье было стянуто в воду густым тростником, через который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его были тщетны. Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружье, возвращен он был к жизни, но о страшном событии он уже не мог никогда вспоминать без смертельной бледности в лице... Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслию чудной повести его «Шинель», и она заронилась в душу его в тот же самый вечер» (*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1989. С. 55).

В основу сюжета легли также личные впечатления Гоголя, испытавшего сильную нужду по приезде в Петербург. 2 апреля 1830 г. он сообщал матери, что, будучи не в состоянии заказать себе

теплую одежду, «привык к морозу и отхватал всю зиму в летней шинели». А. С. Данилевский называл В. И. Шенроку «несколько лиц, послуживших, по его предположению, прототипами некоторых произведений Гоголя: Акакий Акакиевич — Юдин, о котором он часто рассказывал Гоголю. Юдин заходил к ним. Это было несчастнейшее создание» (*Шенрок В. И.* Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский//Вестник Европы. 1890. № 2. С. 612–613).

По словам А. Т. Тарасенкова, Гоголь «любил сам переписывать, и переписывание так занимало его, что он иногда переписывал то, что можно было иметь печатное. У него были целые тетради (в восьмушку почтовой бумаги), где его рукой каллиграфически были написаны большие выдержки из разных сочинений...» (*Тарасенков А. Т.* Последние дни жизни Н. В. Гоголя. М., 1902. С. 7). Дошедшие до нас выписки Гоголя 1830–1840-х гг. имеют глубоко содержательный характер и связаны с его осуществленными и неосущественными замыслами. Это такие выписки, как «Выбранные места из творений св. отцов и учителей Церкви», «Церковные песни и каноны», «Сочинения Ломоносова и Державина», конспекты книг Г. Галлама «Европа в средние века», П. С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства в 1768–1773 гг.» и др. Имеется также свидетельство Г. П. Данилевского о том, что еще в 1820-х гг. Гоголь — «страстный поклонник всего высокого и изящного» — «тщательно переписывал для себя на самой лучшей бумаге с рисунками собственного изобретения выходившие в то время в свет поэмы» А. С. Пушкина (см.: *Данилевский Г. П.* Соч. СПб., 1901. Т. 14. С. 121).

Гоголь приступил к работе над повестью в 1839 г. Дошедшая до нас черновая редакция, в которой герой еще не назван по имени, озаглавлена «Повесть о чиновнике, крадущем шинели». Судьбу Акакия Акакиевича Башмачкина (Акакий (*греч.)* — незлобивый) исследователи нередко соотносят с житием преподобного Акакия Синайского (см.: *Макогоненко Г. П.* Гоголь и Пушкин. Л., 1985. С. 318–321; *Де Лотто Ч.* Лествица «Шинели»//Вопросы философии. М., 1993. № 8). Указывалось также на связь гоголевского героя со св. Акакием из сорока мучеников Севастийских (см.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 3. С. 477–478).

Ф. М. Достоевскому приписывают слова: «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”» (см.: *Рейсер С. А.* «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”» (История одной легенды)//Вопросы лит. М., 1968. № 2; *Бочаров С., Манн Ю.* «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”» //Вопросы лит. М., 1968. № 6; *Рейсер С. А.* К истории формулы: «все мы вышли из гоголевской “Шинели”» //Поэтика и стилистика русской литературы. Л., 1971; *Долотова Л.* Достоевский или Тургенев?//Вопросы лит. М., 1972. № 11).

Капитан-исправник — начальник уездной полиции, избиравшийся из дворян. к стр. 117

к стр. 118 *Квартальный офицер* — то же, что квартальный надзиратель (см. коммент. к с. 27).

к стр. 120 *Пряжка в петлицу* — почетный знак, выдававшийся за выслугу лет на гражданской службе.

...носят на головах... русские иностранцы. — Речь идет об уличных торговцах, продававших свой товар с лотков, которые они носили на голове.

Стремешка — штрипка — тесьма, пришитая внизу к штанинам брюк и продеваемая под ступню.

к стр. 121 *Штурмовой вист* — карточная игра.

Фальконетов монумент — памятник Петру I в Петербурге («Медный всадник») работы французского скульптора Этьена Мориса Фальконе (1716–1791); открыт в 1782 г.

...с четырьмястами жалованья... — Подразумевается годовое жалованье титулярного советника.

к стр. 122 *Серпянка* — бумажная ткань редкого плетения.

...называли ее капотом. — *Капот* — женская или мужская верхняя одежда без перехвата в талии.

к стр. 126 *...натряхивал из рожка... табаку...* — *Рожок* — здесь: табакерка, сделанная из воловьего рога.

к стр. 127 *...серебряные лапки под аплике...* — Апплике *(фр.)* — накладное серебро.

к стр. 129 *...кошку, лучшую какая только нашлась в лавке...* — О происхождении кошечьего меха в петербургских лавках см. заметку Гоголя в записной книжке 1841–1844 гг., появившуюся в сентябре 1841 г. после бесед с братом поэта Н. М. Языкова, Петром Языковым: «*Жаровка* — [бывшая] пустынь; был прежде монастырь. Торгует кошками. Бывает ярмонка кошья летом. Купцы из Жаровки рассылают закупа<ть> кошек комиссионеров по деревням. Торг идет меной: меняют их у крестьян на боровки, пронизки стеклянные и всякие ожерелья.... Жаровка Корсунского уезда, Симбирск<ой> г<убернии>. Серая кошка лучше. Чорная, белая и сорока. Кошечьи меха идут в Китай, меняют на чай. У стародавних помещиков налагается на крестьян кошечья подать в пользу девичьей, по коше с дому. Всякой мужик несет серую кошку, из которых потом шьют девкам шубы».

к стр. 130 *...вынул шинель из носового платка...* — В XVIII–XIX вв. носовые платки были иногда значительных размеров, величиною с наволочку. Ср.: в романе И. И. Лажечникова «Ледяной дом» Тредиаковский, «уложив в свой табачный носовой платок богатую пару платья, ему подаренную, и свою «Тилемахиду», отправился с этим сокровищем домой» (*Лажечников И. И.* Ледяной дом. 2-е изд. М., 1838. С. 142–143).

к стр. 132 *Ванька* — согласно Толковому словарю В. Даля, в Москве и Петербурге так назывался «зимний легковой извощик на крестьянской лошаденке и с плохой упряжкой, который не стоит на бирже, а стережет ездоков по улицам».

Эспаньолка — короткая остроконечная бородка.

Капельдинер — здесь: лакей. к стр. 137

Ваше превосходительство — обращение к чинам 3-го и 4-го классов.

Жаба — здесь: устаревшее название ангины. к стр. 140

Десть — единица счета писчей бумаги, 24 листа (в современной метрической системе — 50 листов). к стр. 141

Bonjour, papa (*фр.*) — добрый день, папа. к стр. 143

Коляска

Впервые напечатано: Современник. 1836. Т. 1.

Повесть написана в 1835 г. и первоначально предназначалась для альманаха, который намеревался издать А. С. Пушкин. Получив повесть от Гоголя, Пушкин писал о ней в первой половине октября 1835 г. П. А. Плетневу: «Спасибо, великое спасибо Гоголю за его “Коляску”, в ней альманах далеко может уехать...» (*Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. С. 241).

Сюжет «Коляски» обычно ставят в связь с анекдотом из жизни хорошо известного Гоголю графа М. Ю. Виельгорского, о котором его зять писатель граф В. А. Соллогуб рассказывал: «Он был рассеянности баснословной; однажды, пригласив к себе на огромный обед весь находившийся в то время в Петербурге дипломатический корпус, он совершенно позабыл об этом и отправился обедать в клуб; возвратясь, по обыкновению, очень поздно домой, он узнал о своей оплошности и на другой день отправился, разумеется, извиняться перед своими озадаченными гостями, которые накануне, в звездах и лентах, явились в назначенный час и никого не застали дома. Все знали его рассеянность, все любили его и потому со смехом ему простили; один баварский посланник не мог переварить неумышленной обиды; и с тех пор к Виельгорскому ни ногой» (*Соллогуб В. А.* Воспоминания. М.; Л., 1931. С. 296–297).

Современная Гоголю критика почти не отметила «Коляску». Откликнулся на ее появление лишь В. Г. Белинский в рецензии на первую книжку «Современника». Указав на достоинства повести, в которой «выразилось все умение г. Гоголя схватывать эти резкие черты общества и уловлять эти оттенки, которые всякий видит каждую минуту около себя и которые доступны только для одного г. Гоголя», критик тем не менее замечал: «Но пьеса все-таки не больше, как шутка...» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 490–491). Н. Г. Чернышевский считал «Коляску» одним из «слабейших» произведений Гоголя.

Со стороны писателей, напротив, можно наблюдать прямо-таки восторженные отзывы о повести. «...Как непосредственен, как силен Гоголь и какой он художник! — писал А. П. Чехов в начале мая 1889 г. А. С. Суворину. — Одна его “Коляска” стоит двести тысяч рублей. Сплошной восторг и больше ничего» (*Чехов А. П.* Полн. собр. соч.

и писем: В 30 т. Письма. Т. 3. М., 1976. С. 202). Л. Н. Толстой считал «Коляску» лучшим произведением Гоголя, «верхом совершенства в своем роде» (*Толстой Л. Н.* О Гоголе//Собр. соч.: В 22 т. Т. 15. М., 1983. С. 327).

к стр. 146 *Четверть* — русская мера длины, равная четвертой части аршина (около 18 см), применявшаяся до введения метрической системы.

...модный дощатый забор... В других местах все почти плетень... — Целый ряд рисунков различных видов плетеных заборов сохранился в гоголевской «Книге всякой всячины, или подручной Энциклопедии» (*РГБ.* Ф. 74. К. 5. Ед. хр. 1. Л. 89).

Декокт — густой отвар из лечебных трав.

к стр. 147 *Свайка* — старинная русская игра, в которой играющие броском втыкают большой толстый гвоздь или шип с широкой головкой (свайку) в лежащее на земле кольцо. Ср. у Н. М. Языкова: «Нашу праздность тешит свайка... Православная игра! Тяжкий гвоздь, стойком и плотно, Бьет в кольцо; кольцо бренчит...» (*Языков Н. М.* К А. Н. Вульфу//Сочинения. Л., 1982. С. 109).

Соберутся... на рынке с ковшиками мещанки... — Вероятно, под «ковшиками» подразумеваются «кошики» — корзины, кошёлки.

к стр. 148 *...на выборах...* — т. е. на выборах уездных предводителей дворянства, капитан-исправников и других дворянских должностных лиц.

к стр. 149 *Фрикасеи* — фрикасе, жареное или вареное мясо с приправой.

Желеи — желе; здесь: студень из рыбы или мяса, заливное.

Лафит — сорт французского вина.

Мадера — сорт сладкого крепкого вина (по названию острова, где произрастает виноград, из которого выделывается это вино).

к стр. 151 *...длинные, как... солитер...* — *Солитёр* — ленточный червь, паразитирующий в теле человека и животных, длиной до 10 м.

к стр. 152 *Роберт* (роббер) — термин карточной игры, означающий круг из трех партий.

Штаб-ротмистр — офицерский чин в кавалерии русской армии, выше поручика и ниже ротмистра. Введен в 1801 г.

к стр. 154 *Бонвояж* (от *фр.* bon voyage — счастливого пути) — четырехместная карета.

к стр. 155 *Подпоручик* — обер-офицерский чин в русской армии между прапорщиком и поручиком, соответствовавший гражданскому чину 13-го класса; присваивался по окончании военного училища.

Записки сумасшедшего

Впервые напечатано с подзаголовком «Клочки из записок сумасшедшего» в сб.: Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. СПб., 1835. Ч. 2.

Повесть написана осенью 1834 г., однако замысел ее возник, вероятно, в 1832 или 1833 г. П. В. Анненков вспоминает, как в первый свой приход к Гоголю застал у него «пожилого человека, рассказывавшего о привычках сумасшедших, строгой, почти логической последовательности, замечаемой в развитии нелепых их идей. Гоголь подсел к нему, внимательно слушал его повествование... Бóльшая часть материалов, собранных из рассказов пожилого человека, употреблены были Гоголем потом в “Записках сумасшедшего”» (*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. С. 50–51).

В 1852 г. доктор А. Т. Тарасенков, наблюдавший Гоголя во время его предсмертной болезни, завел разговор с ним о «Записках сумасшедшего»: «Рассказав, что я постоянно наблюдаю психопатов и даже имею их подлинные записки, я пожелал от него узнать, не читал ли он подобных записок прежде, нежели написал это сочинение. Он отвечал: “Читал, но после”. — “Да как же вы так верно приблизились к естественности?” — спросил я его. “Это легко: стоит представить себе”...» (*Тарасенков А. Т.* Последние дни жизни Н. В. Гоголя. Изд. 2-е. М., 1902. С. 11). По воспоминаниям школьных товарищей Гоголя, он дважды в Нежине искусно притворялся помешанным: один раз — чтобы избежать наказания; другой — чтобы получить свободное время для литературных занятий (см.: Гимназия высших наук и лицей кн. Безбородко. СПб., 1881. С. 198; Гоголь в воспоминаниях современников. С. 43).

Исследователи прослеживают связь «Записок сумасшедшего» с незавершенной комедией Гоголя «Владимир 3-ей степени» («Владимирский крест»). Герой ее — чиновник-честолюбец, мечтающий о получении ордена, по замыслу писателя, должен был сойти с ума и вообразить себя Владимиром 3-ей степени. В рассуждениях Поприщина об «испанских делах» нашли своеобразное преломление действительные исторические события 1833 г.: смерть короля Фердинанда VII и последовавшая за этим борьба за испанский престол, в которой принимали участие заинтересованные иностранные государства, в частности Англия и Франция. События эти подробно освещались в «Северной Пчеле» (в газете был специальный отдел, который так и назывался: «Испанские дела»). Упоминание о том, что «Великий инквизитор... действует... как орудие англичанина», возможно, заключает в себе также намек на одну из высших масонских степеней — великий инквизитор, или, полнее, великий инспектор инквизитор командор (с этой темой связано замечание Поприщина о директоре канцелярии: «...это масон, непременно масон...»).

В сюжете повести, возможно, отразилась история отставного офицера Петра Андреевича Габбе, влюбившегося в 1833 г. в жену

генерал-губернатора Новороссийского края князя М. С. Воронцова и вообразившего себя отпрыском русских царей (см.: *Козлов С. Л.* К генезису «Записок сумасшедшего»//Пятые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990. С. 12–15).

В переписке собачек, вероятно, нашло отражение содержание писем к Гоголю его сестры Елисаветы, обучавшейся вместе с сестрой Анной в петербургском Патриотическом институте. «Когда брат не бывал с нами, — вспоминала Елизавета Васильевна, — мы часто писали ему, и мои письма всегда были наполнены пустяками: я была в дружбе с собаками и всегда переполняла свои письма рассказами о своих любимицах, передавала ему от них поклоны и прочее» (*Быков Н. В.* Отрывок из записок Елисаветы Васильевны Быковой, родной сестры Гоголя//Русь. 1885. № 26. С. 6).

В. Г. Белинский назвал «Записки сумасшедшего» «психической историей болезни, изложенной в поэтической форме, удивительной по своей истине и глубокости, достойной кисти Шекспира...» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 174).

к стр. 158 *...очиниваю перья для его превосходительства.* — До изобретения стальных перьев писали гусиными. Очинка перьев в департаментах лежала на обязанности самых мелких чиновников, которые иногда делали карьеру умением очинивать перья «по руке» (по вкусу) своего начальника.

...гражданских и казенных палатах... — *Палата* — название многих административных учреждений: *гражданская* — высшее в губернии судебное учреждение; *казенная* — ведомства Министерства финансов.

к стр. 159 *Дегатированное* (декатированное) сукно — обработанное паром или горячей водой для предотвращения усадки ткани.

к стр. 160 *«Этот дом я знаю... Это дом Зверкова». Эка машина!* — Дом Зверкова на Екатерининском канале у Кокушкина моста был первым пятиэтажным домом в Петербурге; Гоголь жил в нем с конца 1829 по май 1831 г. *Машина* — старинное произношение слова «махина».

«Пчелка» — газета «Северная Пчела» (см. коммент. к с. 48).

Эка глупый народ французы! Ну, чего хотят они? — Намек на революцию 1830 г. и последующие политические события во Франции.

к стр. 161 *...описанное курским помещиком.* — *Курский помещик* — возможный намек на один из псевдонимов Ф. В. Булгарина «чухонский помещик» (см.: *Золотусский И. П.* Поэзия прозы. М., 1987. С. 153).

«Душеньки часок не видя...» — Строки из стихотворения поэта и драматурга Н. П. Николева (1758–1815). Некоторые его стихи попали в популярные песенники.

...разве из каких-нибудь разночинцев... или из унтер-офицерских детей? — Унтер-офицер — чин младшего командного состава из солдат в русской армии, первый после рядового и ефрейтора. к стр. 162

Ручевский фрак — фрак от Руча (Рутча), модного петербургского портного.

Играли русского дурака Филатку. — Водевиль «Филатка и Мирошка» (см. коммент. к с. 28).

...водевиль с забавными стишками на стряпчих... — Стряпчий — губернский чиновник, помощник прокурора. Стряпчими в быту называли также ходатаев по частным судебным делам.

...все эти экивоки и придворные штуки... — Экивоки (*фр.* equivoques) — здесь: уловки, ухищрения. к стр. 163

«Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другим есть одно из первых благ на свете». Гм! мысль почерпнута из одного сочинения, переведенного с немецкого. Названия не припомню. — В первоначальном варианте значилось: «...переведенного с немецкого Лабзиным». По предположению С. Л. Козлова, в первых строках собачьей переписки цитируется начальная фраза очерка П. А. Габбе «О способности говорить и молчаливости», напечатанного в прибавлении к № 21 «Московского Телеграфа» за 1825 г. (подпись: Петр Г. б. е.): «Способность сообщать другому свои мысли и чувства есть без сомнения один из путей к счастию». к стр. 165

...ma chère... (*фр.*) — дорогая.

Артишоки — травянистое овощное растение, употребляемое в пищу в качестве изысканного блюда, деликатеса. к стр. 167

Куртизан — ухажер, поклонник.

...через плечо голубая лента... — Голубая лента — знак ордена Св. Андрея Первозванного, высшей награды в Российской империи, как военной, так и гражданской. к стр. 169

...пожалован генерал-губернатором, или интендантом... — Генерал-губернатор — начальник одной или нескольких губерний, обладавший высшей военно-административной властью. *Интендант* — военнослужащий, заведующий делами хозяйственного снабжения.

...ходил под горы. — Имеется в виду род народного увеселения — ледяные горы, с которых катались на санях или в лодках, обитых сукном. Здесь же торговали напитками и сластями. Балаганные представления и народные гулянья «под горами» (т. е. вокруг ледяных гор) устраивались в Петербурге на Дворцовой и Адмиралтейской площадях. к стр. 170

Филипп II (1527–1598) — испанский король, известный своей жестокостью. к стр. 171

Экстракт — здесь: выписка, краткое изложение какого-либо документа.

...аренды, аренды хотят эти патриоты! — Аренда — здесь: высочайше жалуемый ежемесячный доход (до 1837 г. жаловались земли). к стр. 172

к стр. 174 *...по всей Европе чугунные дороги...* — *Чугунные дороги* — железные дороги, которых в России в то время не было. Первая железная дорога между Петербургом и Царским Селом была открыта в 1837 г.

...это должны быть... гранды... — *Гранд* — наследственный титул высшего дворянства в Испании.

...рыцарский обычай при вступлении в высокое звание... — Посвящаемого в рыцари ударяли по плечу плашмя шпагой или мечом.

...земля сядет на луну. — В бредовых размышлениях Поприщина, по всей видимости, нашла отражение мировая сенсация — якобы сделанные известным английским астрономом Джоном Гершелем необыкновенные открытия. В 1834 г. в Нью-Йорке вышла анонимная брошюра, в которой сообщалось, что Гершель с помощью мощного телескопа обнаружил на Луне атмосферу, животный и растительный мир и, наконец, разумных существ, напоминающих людей. Брошюра была переведена на французский и немецкий языки. В европейской прессе разгорелась ожесточенная полемика по поводу «открытий» Гершеля. В русском переводе две брошюры анонимного автора вышли в 1836 г. Эта мистификация могла быть известна Гоголю по французским источникам (см.: *Макогоненко Г. П.* Гоголь и Пушкин. С. 157–161).

...английский химик Веллингтон... — Никакого английского химика Веллингтона не было — был герцог Веллингтон (1769–1852), главнокомандующий англо-голландской армией в битве при Ватерлоо (1815); в 1834–1835 гг. — министр иностранных дел Англии.

к стр. 175 *...на голову капать холодною водою.* — Один из старинных способов лечения душевнобольных.

...не попался ли я в руки инквизиции... — *Инквизиция* — судебная организация, учрежденная Римско-католической Церковью в начале XIII в. для борьбы с инакомыслием.

Полинияк (Полиньяк) Огюст Жюль Арман (1780–1847) — французский государственный деятель; будучи премьер-министром при Карле X, подписал указы о роспуске палаты депутатов и упразднении свободы печати, что послужило непосредственным поводом к июльской революции 1830 г.

Великий инквизитор — верховный судья инквизиции.

к стр. 176 *...у алжирского дея под самым носом шишка?* — *Алжирский дей* — титул пожизненного правителя Алжира; здесь: намек на низложение французами в 1830 г. последнего алжирского дея Гусейна-паши.

Рим

Впервые напечатано с подзаголовком «Отрывок» в журнале «Москвитянин» (1842. № 3).

Замысел повести восходит к задуманному и начатому Гоголем зимой 1838/39 г. роману «Аннунциата». Описания римских впечатлений появляются в письмах Гоголя к А. С. Данилевскому, М. П. Балабиной и сестрам в 1838 г. М. П. Погодин 10 марта (н. ст.) 1839 г., на второй день по приезде в Рим, записал в своем дорожном дневнике: «Гог<оль> читал Мадон<н>a degli fiori» (*РГБ.* Ф. 231. Разд. I. К. 39. Ед. хр. 2. Л. 12). (Мадонна degli fiori, или dei fiori — Богоматерь с цветами; название католического изображения Пресвятой Богородицы; *ит.*) 5 декабря 1839 г. А. И. Тургенев, будучи в Петербурге, также записал в дневнике: «...К Валуевым: здесь Жук<овский>, Гогель, Плетнев. Гогель читал... главу из Италии...» (*Гиллельсон М.* Н. В. Гоголь в дневниках А. И. Тургенева//Русская литература. Л.,1963. № 2. С. 139; цитируется с уточнением по автографу: *ИРЛИ.* Ф. 309. Ед. хр. № 319. Л. 23). Главы «Аннунциаты» Гоголь прочел также в начале февраля 1840 г. в Москве в доме Аксаковых. Т. Н. Грановский писал тогда же Н. В. Станкевичу: «*Февраля 20-го.* Вчера была среда и чтение у Киреевских... Главное украшение вечера был отрывок из романа, еще не конченного, читанный Гоголем. Чудо. Действие происходит в Риме. Это одно из лучших произведений Гоголя, если только он доведет до конца так же хорошо» (письмо от 12–24 февраля 1840 г.) (Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897. Т. 2. С. 383–384). Весной 1840 г. Грановский сообщал также Я. М. Неверову о Гоголе: «...При мне читал он первую главу романа, взятого из итальянской жизни — Аннунчиата. Талант его еще выше стал» (Там же. С. 401). Напротив, А. И. Тургенев отозвался о чтении Гоголя критически: «21 февраля <1840>... с Сверб<еевой> к Киреевским: там слышал статью Гоголя о римской Аннунцияте: я бы не с этой стороны желал видеть и следить римлян и Рим. Конечно, и в этом много истины, но всеми ли истинами должно заниматься эстетическое чувство? — Устал, уехал» (*Гиллельсон М.* Н. В. Гоголь в дневниках А. И. Тургенева. С. 139). В 1841 г. во 2-м номере журнала «Москвитянин» (ценз. разр. 31 янв. 1841 г.) появилось сообщение, подписанное профессором русской словесности Ришельевского лицея в Одессе К. П. Зеленецким (возможно, написанное М. П. Погодиным), что у Гоголя «есть несколько готовых повестей: о чиновнике, укравшем шинель, Мадонна dei fiori, и пр.» (Москвитянин. 1841. № 2. С. 616). В начале февраля 1842 г. «Рим» был окончен и дважды прочитан автором, сначала — у Аксаковых, затем — на литературном вечере у князя Д. В. Голицына (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 144).

16 марта 1842 г. В. П. Боткин писал А. А. Краевскому: «В 3-м № Москвитянина помещен большой отрывок из романа Гоголя: “Рим”. Это так хорошо, что сказать нельзя. Что за язык, что

за краски, что за колорит! Между колоритом и манерою Брюллова и языком и колоритом Гоголя сходство необыкновенное. Как освещают они свои картины! Какая смелость в постановке и очерке фигур! У обоих все, до чего ни коснутся они, все становится рельефно и пластично. У Гоголя фоном картин всегда служит возвышенное поэтическое созерцание: оно сообщает яркому колориту его идеальность и воздушную прозрачность; не будь этого созерцания, колорит сверкал бы только, а не грел. Вы изумитесь, как возмужало его искусство, как окреп его резец, — но оставляю вас насладиться самому. Покажите мое письмо Виссариону» (Письма В. Г. Белинского и В. П. Боткина к А. А. Краевскому//Отчет Имп. Публичной библиотеки за 1889 год. СПб., 1893. Приложения. С. 47).

1 апреля 1842 г. П. А. Плетнев извещал Я. К. Грота: «Во вторник чтение было в кабинете Государыни. Читали “Рим” Гоголя. Вот чудо-то! Прочитай его в № 3 Москвитянина, да непременно вели перевести на шведский язык для какой-нибудь газеты. Это даст высокую идею о русской литературе» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 512). О чтении «Рима» великой княгине Ольге Николаевне 7 апреля 1842 г. П. А. Плетнев извещал Я. К. Грота в письме от 8 апреля: «Мы все читали Гоголя “Рим”...» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 2. С. 515).

Примечательно, что римский карнавал Гоголь прямо сопоставляет в своих письмах с русской Масленицей. 2 февраля (н. ст.) 1838 г. вслед за рассказом А. С. Данилевскому о римском карнавале он замечает: «Маминька пишет, что и у нас есть маски». Три месяца спустя, 28 апреля (н. ст.), о карнавале — «то, что называется у нас масленицею» — Гоголь рассказывает сестрам. Таким образом, есть полное основание описание карнавального веселья в «Риме» ставить в один ряд с ранними гоголевскими изображениями ряженья в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» — в повестях «Вечер накануне Ивана Купала», «Сорочинская ярмарка». В 1840–1841 гг. строки о «карнавальных масках» и «скрывшейся за ними» молодежи, которая «раз в год хочет безотчетно завеселиться», появляются в черновой редакции восьмой главы первого тома «Мертвых душ». Очевидно, что, создавая «Рим», Гоголь постоянно думает и о русском ряженье.

Есть переклички у изображаемого Гоголем в «Риме» итальянского карнавала и с его ранними петербургскими впечатлениями. 8 февраля 1833 г. Гоголь писал матери из Петербурга: «Каково вы провели масленицу? Уж верно не так, как здесь ее проводят. Теперь только Матрена с супругом <Яким Нимченко и его жена Матрена — слуги Гоголя> возвратилась из балаганов и, крестясь от страха, рассказывает, как при ее глазах разрезали человека на несколько частей, даже кровь лилась, и он, как ни в чем не бывало, ожил и начал ходить, кривляться и паясничать, как прежде...» В «Петербургских записках 1836 года» мелькает также у Гоголя — после описания зимнего театрального «карнавала» — упоминание о вывеске

ярмарочного балагана, с нарисованным на ней «пребольшим рыжим» нечистым «с топором в руке». Соседство «топора» и нечистого обнаруживается и в «Риме», в образе «радушного исполнителя всех возможных поручений» Пеппе, у которого «нос» был «как большой топор» и которому однажды приснилось, «что сатана потащил его» за этот «нос». Страсть к игре того же Пеппе, избавившая его от «кровавой сцепы» с толстым Рафаэлем Томачели, находит соответствие в ранней гоголевской выписке «Нечто о русской старинной масленице» из книги иностранного путешественника по России XVI в. П. Одерборна «Жизнь царя Иоанна Васильевича Грозного». Эту выписку Гоголь сделал из «Московского Вестника» за 1827 г.: «Масленица начинается за 8 дней до Великого Поста; в продолжение ее обжорство, пьянство и убийство только и слышны... Страсть к игре невероятна. Русской проигрывает все, даже жену, детей и наконец становится рабом или с отчаяния убивает своего счастливого соперника» («Книга всякой всячины»). В самом журнале также читаем: «Слово Carneval происходит от caro valet, т. е. мясо дорого [точнее: carne, vale — мясо, прощай; *лат.*]. В обыкновенные времена ни одна честная женщина во всей Италии не показывается из окошка, но в это время карнавала они не только ложатся на окнах, украшенных коврами драгоценными, но кидают конфекты и пряники в нарядную толпу беснующегося народа... Масленица напоминает мне итальянский карнавал, который в то же время и таким же образом отправляется... Карнавал тем только отличается от масленицы, что в Италии день и ночь в это время ходит дозором конная и пешая городская стража и не позволяет излишнего буйства» (О старинной русской масленице//Московский Вестник. 1827. Ч. 1. С. 354–355). Все это говорит о том, что карнавальную жизнь Рима Гоголь отнюдь не идеализирует (подробнее об этом см.: *Виноградов И. А.* Пьеро, Коломбина и Арлекин: К истории создания «Тараса Бульбы» и «Ревизора» Н. В. Гоголя//Русская литература. Л., 1999. № 1. С. 36–44).

Прототипом Аннунциаты называют прославленную красавицу из Альбано, дочь бедного местного винодела Витторию Кальдони. Ее рисовали и лепили Овербек, Г.Раух, Торвальдсен, Тенерани и другие римские знаменитости. Позднее она вышла замуж за друга А. А. Иванова художника Г. И. Лапченко и уехала с ним в Россию (см.: *Алпатов М.* Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество. М., 1956. Т. 1. С. 70).

Альбанка — жительница Альбано, города на берегу одноименного озера в 30 км от Рима. к стр. 177

Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений. — Известен источник этого гоголевского образа: «В одной из зал Ватикана с витрины готова броситься на входящего посетителя изумительно сделанная мраморная пантера» (*Десницкий В. А.* Задачи изучения жизни и творчества Гоголя //Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 2.

С. 67). Настоящим сравнением Гоголь выражает мысль о кроющейся порой в ослепительной красоте смертельной опасности.

Кастель-Гандольфо — местечко неподалеку от Альбано. Дорога туда обсажена дубами.

к стр. 178 *Миненти* (*ит.* minente — благородный) — *Минентe* — мелкое и среднее дворянство.

...фраскатанских женщин... — из Фраскати, городка, расположенного в горах в 10 км от Альбано.

...англичанина в... непроникаемом макинтоше... — *Макинтош* (*англ.* mackintosh) — пальто из прорезиненной ткани, непромокаемый плащ.

Ищерь — «Ищерь — горячий уголь, коренное русское слово» (из письма Гоголя к М. П. Погодину от конца февраля — начала марта 1842 г.).

Диана — в античной мифологии: богиня луны и охоты, подательница растительного и животного плодородия.

Юнона — в античной мифологии: супруга Юпитера, богиня брака и материнства.

Гверчино (*ит.* косоглазый) — итальянский художник Джованни Барбиери (1591–1666), известный под этим прозвищем.

Караччи — итальянские художники братья Агостино (1557–1602) и Аннибале (1560–1609) Караччи. Наиболее известны их росписи галереи Фарнезе в Риме. По возвращении на родину из-за границы в 1848 г. Гоголь привез с собой копию изображения Спасителя, написанного Аннибале Караччи (ныне находится в музее-заповеднике Н. В. Гоголя в с. Гоголево Шишакского р-на Полтавской обл. — бывш. с. Васильевка Миргородского уезда Полтавской губ.); воспроизведено: Гоголь на родине. Альбом художественных фотографий и гелиогравюр. Полтава, 1902.

Maestro di casa (*ит.*) — домоправитель, дворецкий.

к стр. 179 *Бембо* Пьетро (1503–1556), итальянский писатель, автор трактата «Рассуждение в прозе о народном языке».

Джиованни делла Casa (1470–1547) — итальянский поэт, архиепископ. Автор поэмы «Галатео» (о поведении человека в частной жизни). Сочинения его были изданы посмертно.

...читавший... не иначе как с сильными восклицаниями... в чем состояла почти вся художественная оценка и критика... — Ср. воспоминания княжны В. Н. Репниной о том, как Гоголь в Риме рассказывал ей о нежинском профессоре греческого языка Х. Н. Иеропесе: «Он читал студентам Гомера, которого никто из них не понимал. Прочитав несколько строк, он подносил два пальца ко рту, щелкнет и, отводя пальцы, говорит: «чудесно!» — с сильным греческим выговором» (Русский Архив. 1890. № 10. С. 229).

«Dio, che cosa divina!» (*ит.*) — Боже, какая божественная вещь!

«Diavolo, che divina cosa!» (*ит.*) — Дьявол, какая божественная вещь!

Броколи (брокколи) — разновидность цветной капусты.

Olio di ricino (ит.) — касторовое масло. В конце февраля — начале марта 1842 г. Гоголь, отвечая на вопрос М. П. Погодина об этом слове, писал: «Я не знаю, почему Шевырев переправил ricino, у меня было olio di rigido [т. е. горчичное масло]. Впрочем, он, верно, имел резон».

...монсиньоры бывают трех родов... — *Монсиньор* (монсеньор, *фр.* monseigneur — мой господин) — ваша светлость, ваше высочество, ваше преосвященство; здесь: католический епископ.

...почти то же, что кардиналы... — *Кардинал* — высший после папы сан в Католической церкви.

Улица Корсо — центральная улица Рима.

Вилла Боргезе — дворец и парк на окраине Рима, славившиеся собранием произведений античного искусства.

...напряженными произведениями необузданной французской музы... — Имеются в виду произведения В. Гюго и других французских романтиков 1830-х гг. Характеристику этой школы см. в статье Гоголя «Петербургская сцена в 1835–36 г.». к стр. 180

Остерия — ресторан, гостиница.

«Ma quest'è una cosa divina!» (*ит.*) — Но что это за божественная вещь! к стр. 182

Боттега — слуга в кафе.

...о чахоточных журналишках... «Diario di Roma», «il Pirato» (*ит.*) — «Римский ежедневник», «Пират». О литературно-театральном журнале «Pirato», издававшемся в Милане с 1835 по 1891 г., П. В. Анненков, в частности, писал: «Тороплюсь рассказать вам мое знакомство и целую неделю дружбы с миланским журналистом, издателем театральной газеты «Пират», господином Регли, получающим подарки от Доницетти, Тальони и от всех певцов и певиц, проезжающих через Милан. Он, вот изволите видеть, совсем не так желчен, как иные прочие. На мое замечание о пошлости итальянской журналистики и о путанице этих мягких фраз в разборах и отчетах, которые словно занавеска, колеблемая ветром у окна, и открывают внутренность комнаты и не открывают, он объявил мне, что это дело условное, что это вещь, непонятная для иностранца, но что есть похвальные фразы, выражающие осуждение! Пуф! Так, например, сказать: «опера вообще нравится» значит сказать, что опера никуда не годится, да и сам он, Регли, имел историю с любителем танцовщицы, про которую откровенно сказал, что она заслуживает внимания. Можете теперь представить, сколько надо употребить восторга и энтузиазма при разборе вещи действительно достойной похвалы» (*Анненков П. В.* Письма из-за границы. С. 36).

...анекдоты... о Термопилах и персидском царе Дарии. — *Термопилы* (Фермопилы) — ущелье; здесь в 480 г. до Р. Х. произошло сражение греков с персами. *Дарий* — Дарий I — персидский царь (VI в. до Р. Х.), прославившийся укреплением и расширением своего государства. При нем начались греко-персидские войны.

к стр. 183 *...действие камер...* — Французского парламента.

к стр. 184 *Гольдони* Карло (1707–1793) — итальянский драматург, создатель национальной комедии.

к стр. 185 *...типографически движущейся политики...* — П. В. Анненков 7 февраля 1842 г. писал из Парижа: «Политические брошюры распространяются страшно, так распространяются, что одному человеку уже и вычитать нельзя, что появляется в неделю. Я только хожу да посматриваю на окна книжных магазинов, где каждый день появляется новая афишка. Вчера возвещали о брошюре "Я бью стекла"; третьего дня: "Счет пощечин, полученных Францией"; сегодня: "Памфлет и история". Плюнешь всякий раз, да и отойдешь прочь!» (*Анненков П. В.* Письма из-за границы. С. 58).

к стр. 186 *...литература прибегала к картинкам и типографической роскоши, чтоб... привлечь... охлаждающееся внимание.* — В том же письме из Парижа от 7 февраля 1842 г. П. В. Анненков замечал: «Книгопродавцы прибегли с горя к картинкам и великолепным изданиям, чтоб завлекать охладевшую публику; новый роман Сулье: «Если б молодость ведала! Если б старость могла!» издается еженедельно листками, со всею типографскою роскошью, и Бог знает, когда кончится» (*Анненков П. В.* Письма из-за границы. С. 58). Отметим, что письмо Анненкова было впервые опубликовано в № 3 «Отечественных Записок» за 1842 г., вышедшем в свет 1 марта (цензурное разрешение 28 февраля). Цензурное разрешение № 3 «Москвитянина» за 1842 г., где был впервые напечатан гоголевский «Рим» — 11 марта 1842 г. Исходя из близкого сходства цитируемых отрывков, следует предположить, что либо Гоголь воспользовался при создании повести статьей Анненкова, либо Анненков, проживавший с Гоголем в Риме весной — летом 1841 г., слышал ранее повесть в авторском чтении (и, возможно, сделал при этом какие-то записи). Последнее предположение представляется более вероятным, так как о «типографической роскоши» Гоголь упоминал уже в рецензии на альманах В. А. Владиславлева «Утренняя заря», опубликованной в 1842 г. (с подписью: NN) в № 1 «Москвитянина» (цензурное разрешение 6 января). Это упоминание находится в начальных строках гоголевской рецензии, не попавших в печать (они были исключены из рецензии М. П. Погодиным и сохранились в автографе, опубликованном лишь в 1902 г.): «Начнем блестящим изделием типографической роскоши, легким сверкающим цветком, приветствующим наступающий 1842-й год». В соответствии со строками «Рима» Гоголь в рецензии на «Утреннюю зарю» (написанной, вероятно, по просьбе Погодина) как бы демонстративно игнорирует литературную (откровенно слабую) сторону альманаха, останавливаясь лишь на «типографической роскоши» и портретах красавиц. Соответствующий (критический и при этом обширный) разбор произведений, вошедших в альманах, вынужден был сделать (вычеркнув несколько ни к чему не обязывающих строк Гоголя) сам редактор «Москвитянина»

Погодин. См. также коммент. к с. 201 – *...освистывает гроб покойник...*

Странностью неслыханных страстей, уродливостью исключений из человеческой природы силились повести и романы овладеть читателем. — В статье «Петербургская сцена в 1835–36 г.» Гоголь писал о европейском репертуаре петербургских театров: «Что сильнее бросается в глаза: каторга, убийство. Чем можно испугать и произвести судороги, что движет эшафот кровавою тенью. Вся мелодрама состоит из убийств и преступлений». В заметке «О театре», сохранившейся в записной книжке Гоголя 1842–1850 гг., он также отмечал: «Искусство упало. Высокие доблести, величие духа, все, что способно поднять, возвысить человека, являются редко. Все или карикатура, придумываемая, чтобы быть смешной, или выдуманная чудовищная страсть, близкая к опьянен<ию>, которой авто<р> старается изо всех <сил> дать право гражд<анства>, составляют содержание нынешних пьес».

В самой науке... желание выказаться, хвастнуть, выставить себя... — В письме из Парижа от 7 февраля 1842 г. П. В. Анненков писал: «...Публичные лекции знаменитейших профессоров Парижа... посещаемые всеми классами народа, принадлежат к числу парижских зрелищ, во-первых, по отсутствию, по крайней мере в философских и литературных лекциях, строгой науки, а во-вторых, по необычайному старанию профессоров сделать чтения свои как можно остроумнее, пестрее, замысловатее» (*Анненков П. В.* Письма из-за границы. С. 57).

Альфиери Витторио (1749–1803) — итальянский поэт, автор сборника памфлетов, эпиграмм и сатир на французскую революцию («Мизогалл», 1799).

Tutto fanno... ti danno (*ит.*). — Все делают, ничего не знают, все знают, ничего не делают; французы — вертопрахи, чем больше им отвешиваешь, тем меньше они тебе дают за это.

...не сошлась итальянская природа с французским элементом. — В неозаглавленной вступительной заметке первой половины 1840-х гг. к русскому переводу новеллы П. Мериме «Души в чистилище» (1834) Гоголь так же определял и соотношение с «французским элементом» славянской народности: «Имя Мериме не было так часто на устах Европы, как других, менее награжденных дарами гения, но более плодовитых писателей, которые более метили на эффект и желание удивить, изумить во что бы то ни стало, которые [из<-за> этого поднимались на дыбы и далеко отшатнулись от истины, высокой в необходимой простоте своей]... Почувствовать и угадать дух славянский — это уже слишком много и почти невозможно для француза. По природе своей эти две нации не сходятся между собою в характере».

Широкко (сирокко) — знойный юго-восточный ветер. к стр. 188

...чудесно кругливишийся купол... — Купол собора Св. Пет- к стр. 189
ра в Риме. По воспоминаниям А. О. Смирновой об осмотре ею

римских достопримечательностей под руководством Гоголя в 1843 г., в конце января этого года они в течение недели совершали прогулки по Риму, причем «Гоголь направлял их так, что они кончались всякий раз Петром <т. е. собором Св. Петра>. «Это так следует, — говорил он, — на Петра никак не наглядишься, хотя фасад у него и комодом»…. А. О. С<мирно>ва всходила с Гоголем на Петра, и когда сказала ему, что ни за что не решилась бы идти по внутреннему карнизу церкви (который так широк, что по нему могла бы проехать карета в четыре лошади), он отвечал: «Теперь и я не решился бы, потому что нервы у меня расстроены: но прежде я по целым часам лежал на этом карнизе, и верхний слой Петра мне так известен, как едва ли кому другому. Когда вглядишься в Петра и в пропорции его частей, нельзя надивиться довольно гению Микель-Анджело"» (*<Кулиш П. А.> Николай М.* Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2. С. 2–3).

Ponte Molle — мост через Тибр в 3 км от Рима.

Piazza del Popolo — Народная площадь.

Monte Pincio — гора Пинчо, холм на окраине Рима.

Ветурин понесся по улице… — *Ветурин* — извозчик.

…брамантовского стиля. — *Браманте* Донато (1444–1514) — итальянский художник, архитектор, автор первоначального проекта собора Св. Петра.

к стр. 190 *…поддержать con onore i doveri di marito…* (*ит.*) — поддержать с честью обязанности супруга.

…какому-то приору… — *Приор* (*лат.* prior — первый, старший) — настоятель небольшого католического монастыря; в широком смысле — должностное лицо.

к стр. 191 *Тит Ливий* (59 г. до Р. Х. — 17 г.) — римский историк.

Тацит (ок. 55 г. — ок. 120 г.) — римский историк.

к стр. 192 *Травертин* — пористый известняк.

Бернини Джованни (1598–1680) — итальянский скульптор, художник и архитектор.

Борромини Франческо (1599–1667) — итальянский архитектор и скульптор.

Сангалло — итальянские архитекторы Джулиано да Сангалло (1445–1516), Антонио да Сангалло Младший (1483–1546); последний — один из руководителей строительства собора Св. Петра (после Рафаэля и Б. Перуцци).

Деллапорт (Порта Джакомо делла; 1541–1608) — итальянский архитектор, завершавший в 1588–1590 гг. возведение купола собора Св. Петра.

Виньола (Джакомо Бароццио; 1507–1573) — итальянский архитектор.

к стр. 193 *…роскошь XIX столетия… выведшая на поле деятельности… кучи мастеровых и лишившая мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анжелов…* — Эта мысль была высказана Гоголем еще в «Арабесках» — в открывающей этот сборник статье «Скульптура,

живопись и музыка» (1834; статья предполагалась Гоголем, в числе немногих, к переизданию в 1850–1851 гг.): «Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений, над которыми ломает голову наш XIX век. Все составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства». Об этом же Гоголь размышляет и в заключительной главе книги «Выбранные места из переписки с друзьями».

Синие блузы — традиционная французская народная одежда. к стр. 194

Cinquecento (*ит.*) — Чинквеченто, «пятисотые годы»; этим тер- к стр. 195 мином обозначается обычно творчество итальянских художников XVI в.

...пустынние римские поля... — Имеется в виду римская Кампанья. «Кампаниею назывались в древности окрестности Капуи и Неаполя, теперешняя Terra di lavoro. Во время последних императоров имя Кампании получило более обширное значение; Кампания обнимала почти весь Лациум. Отсюда произошло нынешнее имя значительной части древнего Лациума — Campagna di Рота. В отличие от древней Неаполитанской Кампании, эта новая Римская Campagna, соответствующая древнему Лациуму, может быть называема Кампаньей» (Древний Лациум и нынешняя Римская Кампанья//Московские Ведомости. 1852. 8 апр. № 43. С. 439).

...статуи Латранского Иоанна... — Имеется в виду старин- к стр. 196 ная базилика Св. Иоанна в Латерано на окраине Рима, украшенная статуями Спасителя, Иоанна Предтечи, Отцов Церкви.

Долго, полный невыразимого восхищенья, стоял он перед таким видом... — П. В. Анненков и Ф. И. Иордан, общавшиеся с Гоголем в Риме, в своих воспоминаниях одинаково указывали на то, что описание в повести «Рим» вечерней «сияющей» панорамы римских окрестностей, открывающихся с террасы виллы в Альбано, возникло у писателя непосредственно под впечатлением от смерти молодого архитектора М. А. Томаринского, приехавшего в Рим в начале 1838 г. и скончавшегося здесь от скоротечной злокачественной лихорадки в мае–июне 1841-го (*Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 75–76; *Иордан Ф. И.* Записки. М., 1918. С. 161). Гоголь оказался в Альбано именно после того, как, пережив сильное потрясение от смерти Томаринского, был увезен туда Анненковым (на похоронах Гоголь не присутствовал). По свидетельству Анненкова, позднее в Альбано приехали Иордан и А. А. Иванов; по воспоминаниям Иордана, они отправились туда все вместе: «...Гости, бывшие у меня вечером в день... похорон, П. В. Анненков, Н. В. Гоголь, А. А. Иванов... предложили мне поехать с ними за город, чтобы развлечься. Н. В. Гоголь, любуясь на чудный закат солнца, описание которого, вероятно, понадобилось ему для какого-нибудь из его произведений, не имея с собою ни пера, ни бумаги,

видимо, старался запечатлеть в своей памяти представившуюся нам чудную картину»; Анненков при этом прямо указывал на соответствующее место в повести: «Долго, полный невыразимого восхищенья, стоял он перед таким видом...» и т. д. Описание «изумительного вида на Рим и всю его Кампанью» в лучах «пурпурного» заката, созерцаемого с горы Альбано, завершается в гоголевском «Риме» тем же образом, который был воплощен во второй редакции «Тараса Бульбы» в великолепной «картине католического богослужения». Это снова образ «веельзевула» — «повелителя мух», дополненный здесь упоминанием о болезни, от которой умер Томаринский: «...Потухали вмиг померкнувшие поля... огнистыми фонтанами подымались... мухи, и неуклюжее крылатое насекомое... известное под именем дьявола, ударялось... ему в очи. Тогда только он чувствовал, что наступивший холод южной ночи уже прохватил его всего, и спешил в городские улицы, чтобы не схватить южной лихорадки». Значимо для понимания настоящего образа и само место, описываемое Гоголем, — поля римской Кампаньи: именно здесь был похоронен Томаринский. Более того. Разговор о месте погребения Томаринского, состоявшийся между Гоголем и Иорданом, должен был еще раз заставить Гоголя задуматься о характере «чудного» обаяния католического Рима. «За обедом Ф. И. Иордан, сообщая несколько семейных подробностей о покойнике, заметил: "Вот он вместо невесты обручился с римской Кампанией". — "Отчего с Кампанией?" — сказал Гоголь. "Да неимущих иноверцев хоронят иногда здесь просто в поле". — "Ну, — воскликнул Гоголь, — значит надо приезжать в Рим для таких похорон"» (*Анненков П. В.* Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года. С. 78). Можно предположить, что после этого разговора Гоголь и наблюдал картину вечерней римской Кампании. См. также коммент. к с. 177 — *Никакой гибкой пантере не сравниться с ней...*

к стр. 197 *...целый город царственных купцов...* — Речь идет о Венеции, ставшей в XV в. одним из центров мировой торговли. В статье «О преподавании всеобщей истории» (1833) Гоголь писал: «...на юге возникает порождение крестовых походов — страшная торговлею Венеция, эта царица морей, эта чудная республика, с таким замысловатым и необыкновенно устроенным правлением. Все богатства Европы и Азии невидимо перешли в ее руки, и как папа религиозною властью, так Венеция непомерным богатством повелевала Европою». В 1204 г. по интригам Венеции крестоносцами был разрушен Константинополь. «...Со времени взятия Константинополя... начинается ее эпоха величия» (гоголевский конспект книги английского историка Г. Галлама «Европа в Средние века» 1830-х гг.).

к стр. 198 *...Великий Перст...* — Реминисценция библейской Книги Исход, повествующей о египетских казнях: «И сказали волхвы фараону: это перст Божий» (гл. 8, ст. 19).

...бедного генуэзца, который один убил свою отчизну... — Подразумевается Христофор Колумб (1451–1506). В статье «О преподавании всеобщей истории» Гоголь размышлял о судьбе Венеции:

«Духовный деспот (Римский папа. — *И. В., В. В.)* употреблял все силы убить ее торговлю, но все было напрасно — пока наконец генуэзский гражданин не убил ее открытием Нового Света».

...не умерла Италия... — Размышления Гоголя о «вечном владычестве» Италии над миром повторяют соответствующие положения лекции М. П. Погодина, опубликованной 1834 г. в первом номере основанного С. С. Уваровым «Журнала Министерства Народного Просвещения». «Рим, — писал Погодин, — силою своего оружия, силою физическою, покорил себе древний мир. Но в свою очередь он состарился... и престол Марка Аврелия занят диким Герулом... Не встать, казалось бы, Риму из своих развалин. Нет — именно в то же время основывается другая власть Римлян, и Григорий VII, вращая в руках своих меч духовный, призывает к своему суду Царей и народы, и Рим делается опять столицею мира. Но и духовная власть склоняется к падению... униженные Первосвященники лишаются своей власти над народами, принявшими новое учение, и средний Рим пал. Но в ту минуту как отважный Профессор жжет Папскую буллу, Микель-Анджело сводит купол в церкви Св. Петра, Рафаэль пишет Преображение, слышится новая музыка, и Рим делается всемирным храмом Искусства. Неужели здесь нет никакой судьбы?.. Не имеют ли все сии происшествия... явственных признаков какого-то высшего происхождения? Не чувствуем ли мы, рассматривая оные, что в явлениях мира сего действуют не одни люди, а еще Кто-то?» (О всеобщей истории. Лекция г. *Погодина* при вступлении в должность Ординарного Профессора в Императорском Московском Университете //Журнал Министерства Народного Просвещения. 1834. № 1. С. 38–39).

Квириты — древнее наименование римских граждан. к стр. 200

...в Дженсано народ убирал цветочными коврами улицы... — *Дженсано* — городок близ Альбано, где на 12-й день после празднования Пресвятой Троицы справляли праздник цветов. В 1778 г. братьями Леофредди был найден остроумный способ соединения в мозаичную картину лепестков и листочков разных цветов и разработана «технология» их хранения в сырых прохладных гротах, выбитых в скалах (см. об этом: *Паклин Н. А.* Русские в Италии. М., 1990. С. 59). Описание этого праздника содержится в письме Гоголя к сестрам от 30 июня (н. ст.) 1838 г.: «...я вам расскажу кое-что о празднике, который был на днях в 30-ти верстах от Рима... праздник этот называется fiorata, то есть цветочный. Вообразите, что все улицы в городе были устланы и вымощены цветами. Но не подумайте, чтобы цветы были набросаны просто. Совсем нет. Вы не узнаете, что это цветы; вы подумаете, что это ковры разостланы по улице и на этих коврах множество разных изображений, и все это выложено из цветов: гербы, вазы, множество разных узоров и даже наконец портрет папы. Вид удивительный. Все улицы, окна, двери — все это было полно народом. По всем этим цветам должна была пройти процессия, начиная от двух церквей, и обойти весь город».

...накануне Светлого Воскресенья... пицикаролы... убирали свои лавчонки... — Речь идет о так называемом «празднике колбас». В. В. Стасов 18/30 апреля — 2 мая 1852 г. писал своей тетке А. А. Сучковой о своем тогдашнем пребывании в Риме: «В Субботу вечером, накануне Пасхи, я был в кондитерской Nazzari... рассуждали о смерти Гоголя, стихах Некрасова и письме <В. П.> Боткина, написанных по этому случаю, как вдруг прибежал к нам живописец Иванов... и рассказал, что сейчас же надобно ехать по всему Риму смотреть *праздник колбас.* Взяли коляску и поехали мы *впятером* по всем улицам римским, где только есть большие колбасные, — а в итальянских городах они на каждом шагу. Вы не вздумайте судить о них по Петербургским — и сравнения никакого нет с нашими. — Нет... итальянская колбасная лавка может быть сравнена только *разве* с мясной лавкой в Лондоне, а это почти что все равно, что Парижская кондитерская... В Италии нет таких окон, таких стекол, напротив колбасные лавки скорее *темные,* потому что загромождены до такой степени, но какая чистота, а главное — какая живописность! В Пятницу же и Субботу Страстной недели, в Риме, эти лавки в самом деле в настоящем своем празднике, точно театр в бенефис. У дверей и потом в лавке выставлены упирающиеся в высокий потолок толстые колонны из кругов сыра, темно-зеленые (потому что наружная корка у пармезана этого цвета) и перевитые зеленью. Весь потолок представляется точно резной выпуклый (как во всех итальянских palazzi XIV, XV и XVI веков), потому что плотно и сжато навешаны целые сотни маленьких окороков и толстых болонских колбас. Свиное сало... стоит по стенам, точно квадратные большие белые полотна, со звездочками и разными фигурами из цветной бумаги, налепленными на них. Над маслом точно настоящие скульпторы работали и вылепили, и вырезали из него сто разных групп, орнаментов, статуй и фигур маленьких: из него сделаны и *агнец* Пасхальный, и Иисус Христос, и апостолы, и фонтаны, из которых бьет вода, — обложено все зеленью, свежею и яркою, а сосиски висят везде в лавке и в дверях на улицу цепями, гирляндами. Бесчисленные маленькие восковые свечки горят везде между сырами, зеленью, белым блестящим салом и делают в этой лавке такой свет, какой бывает в бальной зале. Но, что всего лучше, в этой *бенефисной,* расцвеченной всеми красками и сияющей комнате, это *перспектива яиц,* прямо против самых дверей. На аршина 1 $^1/_2$ от полу, в четвероугольной пещерке, прорытой между салом и ветчинами, лежат в один ряд бесчисленные яйца, в глубине пещерки установлено зеркальцо, которого никогда не увидишь сам и не догадаешься, если не расскажут; делается от этого зеркала перспектива яиц точно в версту длиной, вся освещенная опять-таки огоньками; еще с улицы увидишь эту прелесть и остановишься поневоле с десятками мальчиков, девочек и чудесных самых римлянок стоять у дверей, рассматривать этот необыкновенный итальянский праздник колбас. В этот вечер я вылезал 50 раз, я думаю, из коляски —

смотреть каждую лавочку, и еще больше те лица и те глаза, которые разглядывали эти лавочки» (Сборник Пушкинского Дома на 1923 год. Пг., 1922. С. 267–268). *Пицикароло* (*ит.* pizzicagnolo) — мясник, колбасник; хозяин продовольственной лавки.

il popolo (*ит.*) — народ. к стр. 201

Эдикт — в Древнем Риме: предписание, приказание должностного лица.

...освистывает гроб покойника... — П. В. Анненков в одном из своих «Писем из-за границы», написанном 3 сентября 1841 г. во Флоренции (спустя полтора месяца после отъезда из Рима 19 июля) и опубликованном в том же году в № 10 «Отечественных Записок» (ценз. разр. 30 сент.), замечал: «Буйные порывы римской черни, случающиеся очень часто и напоминающие времена итальянских республик средних веков, значительны тем, что это обыкновенно осуждение какого-нибудь преступления, не подлежащего законам. Так, когда принчипе <князь; *итал.*>Дориа обольстил девушку обещанием жениться на ней и привел к смерти обманом и изменой, народ своротил погребальную процессию жертвы с настоящей дороги и заставил ее пройти мимо дворца принчипе, который после этого и уехал из Рима. Да и сам я был свидетелем, как жестоко был освистан гроб другого принчипе, Пиомбино, не любимого за скупость и который запер свою великолепную виллу Людовизи и не пускал никого смотреть знаменитые статуи и фрески. Освистали мертвого, освистали совершенно, хоть полиция наверное знала, что Пиомбино будет освистан» (*Анненков П. В.* Письма из-за границы. С. 31). Роман Дориа, окончившийся смертью девушки, относится к 1838 г. Об этом случае Анненков, приехавший в Рим весной 1841 г., вероятно, слышал от самого Гоголя, который 7 ноября (н. ст.) 1838 г. писал М. П. Балабиной: «Другой роман. Один из фамилии Дориев влюбился до безумия в одну девушку-сироту хорошей, впрочем, фамилии, а главное — прекрасную собою. Все дело было между ними улажено, и через неделю свадьба, как вдруг Дорий получает известия, заставляющие его ехать в Геную. Он просит свою невесту переехать на время в монастырь, потому что он не желал бы ее видеть до тех пор в свете. Уезжает в Геную; оттуда пишет письмо, довольно страстное; жалуется на обстоятельства, которые заставляют его пробыть немного долее; описывает ей великолепие своего генуэзского дворца и приуготовления, которые он делает к принятию ее. Из Генуи Дориа поехал в Париж и оттуда написал письмо, менее страстное, и наконец уведомил ее, что свадьба не может между ними состояться, что она должна позабыть его, что дядя его не соглашается на этот союз. Бедная невеста не сказала ни слова на это, никаких укоризн, но через пять дней умерла. Тело ее было выставлено в одной из римских церквей. Она и мертвая была прекрасна». В бумагах П. А. Кулиша сохранились неопубликованные воспоминания о Гоголе графа А. К. Толстого, касающиеся этого случая: «А. К. Толстой о Гоголе: ...когда умерла невеста Дория, транстеверяне отправили посольство

к родственникам — сожаление — ко дворцу — ругательствами — швыряли в окна. (Рас<с>просить вновь.)» (*РГБ*. Ф. 74. К. 11. Ед. хр. 56. Л. 1).

к стр. 202 *nobile* (*ит.*) — знатный человек, дворянин.

...*far allegria* (*ит.*) — веселиться.

...*древних антологических стихотворениях.* — Антологиями назывались в начале XIX в. определенные (немногочисленные) сборники произведений античных авторов, состоящие из коротких стихотворений чувственного характера. См. характеристику этого жанра в гоголевской «Учебной книге словесности для русского юношества» (1845), в разделе «О поэзии лирической»: «Она обширна и объемлет собою всю внутреннюю биографию человека, начиная от его высоких движений, в оде, и до почти прозаических и чувственных в мелком антологическом стихотворении...»

к стр. 203 ...*o quanta allegria!* (*ит.*) — О, какое веселье!

...*E una porcheria* (*ит.*) — Одно свинство.

к стр. 204 ...*«O bella!»* (*ит.*) — О красавица!

к стр. 205 *«Не знаю, должно быть, иностранка». — Римляне всех, кто не живет в Риме, называют иностранцами... хотя бы они обитали в десяти милях от города.* — Предположение о том, что встреченная юным князем незнакомка является «иностранкой», явно тревожит героя, принадлежащего, как замечает автор, к одной из древнейших римских фамилий и вполне разделяющего ту «гордость римским именем, вследствие которой часть города, считая себя потомками древних квиритов, никогда не вступала в брачные союзы с другими». Князь про себя повторяет: «Она римлянка. Такая женщина могла только родиться в Риме». В апреле 1838 г. Гоголь писал М. П. Балабиной: «Знакомы ли... вы с транстеверянами, то есть с жителями по ту сторону Тибра, которые так горды своим чистым римским происхождением... Никогда еще транстеверянин не женился на иностранке (а иностранкой называется всякая, что только не в городе их)...» (Трастевере — район Рима на правом берегу Тибра.) С замыслом «Рима» перекликается содержание жанровой акварели А. А. Иванова «Жених, выбирающий кольцо для невесты» (1839; авторское повторение этой акварели принадлежало Гоголю и было подарено им в 1844 г. А. О. Смирновой). На акварели изображен трастеверянин, его невеста-альбанка (из Альбано — города в 30 км от Рима) и ее матушка. Очевидно, что женитьба трастеверянина на альбанке — живущей еще далее «десяти миль от города» — представляет собой его грехопадение. Завершение этого сюжета можно увидеть у того же Иванова в созданных им одновременно с «Женихом...» жанровых рисунках «Пристань на Ripetta с угловой Мадонной и поющей перед нею Ave Maria толпой» — с образами кающегося мужчины на коленях и женщины с младенцем. Здесь вновь обнаруживаются переклички с гоголевским «Римом». Молодой римский князь у Гоголя дважды встречает здесь свою красавицу-альбанку: первый раз на карнавале — во время «удивительно счастливое» для любовных «интриг» (по замечанию Гоголя в письме к А. С. Данилевскому

от 2 февраля (н. ст.) 1838 г.); второй раз — по завершении карнавала, за «полтора часа… до Ave Maria», т. е. до начала богослужения, до начала покаяния. Следует при этом подчеркнуть, что время совпадающего с русской масленицей карнавала — разгар всеобщего «танца» — это в свою очередь не праздник, а неделя, являющаяся, согласно установлениям Церкви, преддверием Великого поста, началом подвигов воздержания. «Наступающие дни Масленицы, — пишет преподобный Феодор Студит (759–826), — обыкновенно считаются у людей какими-то праздничными, по причине бывающих тут пиров и гуляний, не разумея, что дни сии чрез воздержание от мясоястия возвещают об общем воздержании, а не о пресыщении и пьянстве» (Добротолюбие. М., 1901. Т. 4. С. 505). И именно в это время римский князь встречает свою красавицу, — причем, по замыслу Гоголя, это не является для него случайностью, поскольку герой, подобно многим другим веселящимся обитателям Рима, не следует установлениям Церкви (в письме к М. П. Балабиной от апреля 1838 г. Гоголь даже упоминает о прямом запрещении папой Григорием XVI карнавала в Риме в 1837 г.). Герой, напротив, «наслаждается» лицезрением римских «соблазнительных граций» «во время церемоний и празднеств» — т. е. во время религиозных праздников и богослужений.

Развитая Гоголем (в «Риме») и Ивановым (в цикле жанровых акварелей) тема имела для них особый смысл. Браки с итальянками заключали в Риме многие из их русских друзей-художников. Примечательна судьба уважаемого Ивановым О. А. Кипренского, незадолго до смерти перешедшего в католичество, чтобы жениться на своей натурщице Мариучче Фалькуччи. Прославленной красавицей из Альбано Витторией Кальдони (ставшей прототипом гоголевской красавицы-«пантеры» Аннунциаты) увлекался сам Иванов. На Виттории женился друг Иванова, художник Г. И. Лапченко. Сам же Иванов советовал в конце 1830-х гг. Лапченко отказаться от мысли о женитьбе и «не жертвовать собой». «Ее оставление Италии и дома родительского, невежественное насильство матери, которую непременно ты должен будешь принять в сердце твое вместе с супругой, может быть, и другие недостатки, коих влюбленный глаз не видит, суть также весьма не благоприятны твоему счастию». Более драматическими были отношения между художником Ф. А. фон Моллером, общим приятелем Гоголя и Иванова, и его возлюбленной Амалией Лавиньи, семья которой беззастенчиво эксплуатировала художника. В феврале 1842 г. Иванов писал Гоголю о взаимоотношениях Моллера с его натурщицей: «Как бы желал я их развести для пользы искусства, для его здоровья, для целости денег и чтоб очистить от позорного дому». В конце февраля у Амалии родился сын, а в мае 1843-го она умерла. «Амалия вот уже неделя, как не существует, — пишет Гоголю Иванов. — Священник перед выносом ее тела сильно сказал горбатой (ее матери), другим бабам и сводням, при сем находившимся, что это она причиною ее смерти, и что если она и этого не чувствует, то он надеется, что это послужит другим матерям разительным примером, как

продавать и торговать своими дочерьми. Теперь, Николай Васильевич, надо положить конец этому глубоко-неприятному делу, истощив весь ум, чтобы сказать обо всем этом фон Моллеру...» Сходные высказывания встречаются в ивановских письмах и позднее: «Пименов <Николай Степанович, русский скульптор> женился на римлянке <католичке Корнелии Нибби>, вопреки всем моим возражениям». Встречаются они и у Гоголя — см. письмо к В. А. Панову лета 1841 г. (об «итальянской любовнице» последнего, Джюлии). Все это в целом отзывается и сюжете гоголевской «Женитьбы», законченной в 1842 г., само действие которой (сватовство) разворачивается... в пост.

...оставалось до Ave Maria. — т. е. до начала вечернего богослужения. *Ave Maria* (*ит.*) — начало католической молитвы к Пресвятой Деве.

к стр. 206 *Разве для того зажжен светильник, сказал Божественный Учитель, чтобы скрывать его и ставить под стол?* — Перефразируются следующие слова Спасителя: «Никтоже (убо) светилника вжег, в скрове полагает, ни под спудом, но на свещнице, да входящии свет видят» (Лк. 11, 33). Вопреки «возвышенным» романтическим размышлениям героя, сравнивающего, ни много ни мало, женскую красоту с светом Божественного откровения, сам Гоголь намеревался подчеркнуть в «Риме» прежде всего внеморализм исповедуемого римским князем эстетического «законодательства». Как явствует из содержания повести, предполагаемая женитьба князя на красавице-альбанке должна была стать его прямым «грехопадением» — преступлением обычая римлян заключать браки только между представителями своего рода (см. коммент. к с. 192 — *«Не знаю, должно быть, иностранка»*). Отмечено, что имя красавицы «Рима» означает в переводе «благовещение» (*лат.* Annuntiatio; *ит.* Annunciazione) (*Виролайнен М. Н.* Гоголевская мифология городов//Пушкин и другие: Сборник статей, посвященный 60-летию со дня рождения С. А. Фомичева. Новгород, 1997. С. 235). Однако Гоголю, познакомившемуся в 1838 г. с итальянским поэтом Дж. Белли (1791–1863), было, вероятно, известно и то, что в сонетах Белли Нунциата — прямо «вопреки» своему имени — девица легкого поведения. Примечательны и упоминания в «Риме» о римских Теттах, Туттах и Наннах, «служивших моделями для живописцев». В цензурном экземпляре № 3 «Москвитянина» за 1842 г. (с повестью Гоголя), подписанным цензором Н. И. Крыловым, после слов: «Тут были всех родов модели»; были исключены следующие строки: «были такие, который позволяли писать с себя одно только лицо, были такие, который позволяли писать с себя грудь и плечи, в чем однако же каялись всякой раз на исповеди духовнику, и наконец такие, который раздевались с ног до головы, в чем даже и не исповедывались» (Бодрова А. С. «...Поправки были важные...»: К истории текста повести Н. В. Гоголя «Рим» // Гоголь: Материалы и исследования. М., 2009. Вып. 2. С. 10). 5 февраля (н. ст.) 1839 г. Гоголь писал А. С. Данилевскому из Рима: «Я живу... в том же доме и той же улице... Те же самые знакомые лица вокруг меня... Так же

раздаются крики Анунциат, Роз, Дынд, Нанн и других в шерстяных капотах и притоптанных башмаках...» Двойственный образ «гибкой пантеры» Аннунциаты (см. коммент. к с. 166 — *Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений*), такое же двойственное отношение Гоголя к красотам католического Рима (см. коммент. к с. 184 — *Долго, полный невыразимого восхищенья, стоял он перед таким видом...*) — обнаруживают, в числе прочего, скрытую параллель между итальянским князем и петербургским художником Пискаревым, между красавицей «Невского проспекта» и красавицей римского Корсо.

...*«Che bestia!»* (*ит.*) — Какое животное! к стр. 207

Куриал — судейский чиновник. к стр. 208

Факино (ит. facchino*)* — носильщик.

...*вместе с своей куджиной...* — *Куджина* (*ит.* cugina) — кузина, двоюродная сестра.

...*Пеппе... Джузеппе...* (*ит.* Giuseppe) — Иосиф. к стр. 209

...*eccelenza...* (*ит.*) — Ваше сиятельство.

...*tre Ladroni...* (*ит.*) — Трех разбойников. к стр. 210

...*via della stamperia...* (*ит.*) — Улица печатников.

...*у самой Trinita...* (*ит.*) — у храма Пресвятой Троицы.

...*«Ecco me, eccelenza!» (ит.)* — Вот я, ваше сиятельство! к стр. 212

...*il vero Romano...* (*ит.*) — истинный римлянин.

...*в Гету жидам...* — *Гета* (*ит.* ghetto) — название еврейских кварталов в итальянских городах. Римское гетто — первое в Италии; образовано в середине XVI в. после буллы папы Павла IV и просуществовало до середины XIX в. А. А. Иванов черпал здесь, в частности, этнографический материал для картины «Явление Мессии». «...В пятницу вечером и в субботу утром меня можно видеть в Гетто», — писал он сестре в сентябре 1836 г. (цит. по: Мастера искусства об искусстве. М., 1969. Т. 6. С. 302; датировка письма уточнена).

...*в Транстеверской стороне Рима...* — за Тибром, на правом берегу реки. к стр. 213

...*церковь S. Pietro in Montorio* (*ит.*). — храм Св. Петра в Монторио, на юго-западной окраине Рима.

Игорь Виноградов, Владимир Воропаев

Том IV

Завязка «Ревизора»

Горьким словом моим посмеюся.
Иеремия, гл. 20, ст. 8
(Надпись
на надгробном памятнике Гоголю)

Сороковой день по кончине Гоголя, 31 марта 1852 года, пришелся на понедельник Светлой седмицы Пасхи. В этот день после заупокойной обедни и панихиды на могиле писателя в Свято-Даниловом монастыре друзья Гоголя, С. Т. Аксаков, М. П. Погодин, С. П. Шевырев, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, читали за поминальной монастырской трапезой последнее напечатанное при его жизни произведение — статью «Светлое Воскресенье». Кто-то плакал. Но настроение и атмосфера были не скорбные, а торжественные, пасхальные. Тут же, вспоминал М. П. Погодин, «начали говорить о надгробном памятнике, о надписях... Одна получила полное одобрение, возбудила даже восторг: до такой степени выражалась ею жизнь покойника! Из пророка Иеремии (20, 8): "Горьким словом моим посмеюся"» (*<Погодин М. П.> М. П.* Поминовение по Гоголе (Отрывок из письма в Петербург) // Москвитянин. 1852. № 8. Отд. 7. С. 140).

Действительно, не только в словах, но и в самой судьбе пророка Иеремии, восклицавшего: «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею!..» (Иер. 15, 10), который за свои обличения и пророчества заслужил только неприязнь своих соотечественников, можно почерпнуть многое к пониманию того служения, каким стремился принести пользу своей земле творец «Ревизора» и «Мертвых душ». Это отнюдь не «переосмысление» художественного наследия Гоголя в свете якобы случившегося с ним в последние годы жизни «переворота» и начавшегося лишь тогда обращения к религии. Ко времени создания «Ревизора» Гоголь — автор знаменитого «Тараса Бульбы», страшного «Вия», проникнутых глубокой верой в Божественный Промысл историко-философских статей «Арабесок»... Есть и такое свидетельство, что в 1830-х годах он вступил в Петербурге в члены «Общества распространения Православия» (*Лугаковский В.* Гоголь в польской литературе//Лит. Вестник. 1902. № 1. С. 30). (Под этим, возможно, подразумевалось тесное сотрудничество Гоголя в 1834 году с министром народного просвещения С. С. Уваровым.) Сама атмосфера, в которой создавался «Ревизор», убеждает в том, что неоднократные уверения Гоголя в неизменности «главных положений» его миросозерцания на протяжении всего творческого пути заслуживают полнейшего доверия.

Как известно, главным «оппонентом» этой точки зрения является современник Гоголя популярный критик западнической ориентации В. Г. Белинский. В 1871 году Ф. М. Достоевский в письме к Н. Н. Страхову от 5 мая (н. ст.) писал по поводу публицистической деятельности критика: «Смрадная букашка Белинский (которого Вы до сих пор еще цените) был немощен и бессилен талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 208). Тем не менее долгое время под влиянием зальцбруннского письма Белинского к Гоголю 1847 года, а еще более под воздействием оценки, данной этому письму в 1914 году В. И. Лениным как «одному из лучших произведений бесцензурной демократической печати» (*Ленин В. И.* Из прошлого рабочей печати в России//Полн. собр. соч.: В 55 т. М., 1961. Т. 25. С. 94), творчество Гоголя делилось на две части. С одной стороны, гоголевские произведения, и прежде всего «Ревизор» и «Мертвые души», истолковывались как прямая политическая сатира, направленная на свержение самодержавия, с другой — утверждалось мнение, будто вследствие изменившегося у писателя в конце жизни мировоззрения он вступил в противоречие со своим гением. В силу внелитературных причин этот взгляд уже со второй половины XIX века возобладал в публицистике и ученых статьях о Гоголе. Надо ли говорить, что основательных научных требований к аргументации такой концепции почти не предъявлялось, так что даже возражения самого писателя против трактовки его произведений в революционно-демократическом духе во внимание не принимались. Пожалуй, в наше время едва ли не впервые представляется возможность непредвзято взглянуть на содержание гоголевской комедии.

Незаменимым подспорьем здесь являются собственные комментарии Гоголя к своей пьесе. Как бы предчувствуя непонимание комедии у своих современников, писатель начал делать объяснения к «Ревизору» сразу по его завершении. К первому изданию пьесы 1836 года он предпослал заметку «Характеры и костюмы. Замечания для гг. актеров»; в том же году написал письмо о постановке «Ревизора» к А. С. Пушкину («Отрывок...» из этого письма был опубликован им в 1841-м); тогда же, в 1836 году, был начат «Театральный разъезд после представления новой комедии», напечатанный в 1842-м. Тесно связана с содержанием и сценической историей «Ревизора» написанная в то время Гоголем статья «Петербургская сцена в 1835–36 г.». К эпохе первой постановки пьесы восходит (по свидетельству Гоголя в письме к И. И. Сосницкому от 2 ноября (н. ст.) 1846 года) и драматическая «Развязка Ревизора», которая сделалась известной друзьям Гоголя в 1846 году. В 1846 году, вероятно, был написан еще один автокомментарий — «Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует "Ревизора"» (последние два произведения были опубликованы посмертно). Во всех этих текстах, большинство из которых почти современны самой комедии,

содержатся если не исчерпывающие, то, по крайней мере, наиболее существенные характеристики героев пьесы. Дополнительные черты к пониманию гоголевских художественных типов можно извлечь из его писем, духовно-нравственных произведений, «Выбранных мест из переписки с друзьями», «Авторской исповеди», записных книжек. Вряд ли можно — как это делалось до последнего времени — приниматься за разбор гоголевской комедии, не выслушав прежде самого Гоголя, не обратившись — с доверием — ко всем этим авторским пояснениям.

Возражая против политического, тенденциозного истолкования своей пьесы, Гоголь писал: «...Разве всяк из нас приступает к произведенью писателя, как пчела к цветку, затем, чтоб извлечь из него нужное себе? Нет, мы ищем во всем нравоученья для *других*, а не для себя». Очевидно, именно нежелание принимать нравственный урок комедии на собственный счет обусловило то обстоятельство, что «Ревизор» — это напоминание о необходимости каждому «нравственной ревизии» перед лицом своей совести — по-настоящему не был понят зрителями. Идея воскрешения «мертвых душ», обращенная в пьесе к каждому человеку лично, религиозный призыв к очищению нравов, восстановления «узаконенного порядка» и «невидимая брань» с мистически реальным злом, превращалась под пером революционно-демократической критики в прямую проповедь уничтожения и человеконенавистничества. Попытка же Гоголя остановить такое, несовместимое с подлинной культурой, «употребление» его комедии выдавалась вопреки здравому смыслу за умаление ее «общественного звучания». (Отметим, что такую же судьбу в руках распространителей противообщественных учений разделили в XIX–XX веках, вместе с гоголевскими произведениями, весьма многие явления отечественной культуры, не исключая текстов Священного Писания. В этой связи Гоголь в неотправленном письме к В. Г. Белинскому 1847 года прямо упоминал о «нынешних ком<м>унистах и социалистах, [объясняющих, что Христос по]велел отнимать имущества и гра<бить>тех, [которые нажили себе состояние]».)

Ситуация, надо сказать, складывалась парадоксальная. Ибо проповедуемое радикальными истолкователями гоголевской комедии разрушение основ традиционной культуры и намерение строить в дальнейшем общественное здание без опоры на эти духовные основы, пожалуй, нигде — среди всех созданий художественной литературы — не подвергалось столь уничтожающей критике, как в самом «Ревизоре». Достаточно сказать, что весь комизм пьесы проистекает именно из того, что автор изображает в ней заведомую невозможность установления нормальных гражданских отношений (а также «уродливость» жизни в целом) в обществе, руководствующемся исключительно «вещественными» соображениями. Городничий, получив известие о прибытии ревизора, почти уверен в «благополучном» для его административных «грешков» исходе дела: «Бывали

трудные случаи в жизни, сходили, еще и спасибо получал». Напрасно, считает Гоголь, в этой атмосфере нравственной и духовной неразвитости применение каких-либо внешних средств — законнического исчисления «всех возможных случаев уклонений» или проведения социальных реформ и «ревизий». Они лишь дают повод к новым, более ухищренным, злоупотреблениям. «Общество тогда только поправится, когда всякий частный человек займется собою и будет жить как христианин...» — утверждал Гоголь. Именно в этом напоминании о «краеугольном камне» общественного благоустройства — порой отвергаемом, как сказано в Евангелии, или предаваемом забвению строителями, — заключается глубокое социальное и культурное значение гоголевской комедии.

Было бы, однако, неправильным видеть в содержании «Ревизора» одну лишь идею земного строительства. В конечном счете это означало бы возвращение к истолкованию комедии в политическом духе, против чего возражал Гоголь. В гораздо большей мере гоголевская комедия готовит своего зрителя для «гражданства небесного». И здесь писатель превосходит все ожидания. Действительно, современники и потомки Гоголя могли ли ожидать от «человека, не носящего ни клобука, ни митры, смешившего и смешащего людей», что он заговорит в образах своей комедии об освобождении падшего человека от рабства страстям и демонам, о Страшном суде, о пути в Небесную Отчизну? Кажется, лишь интуитивно, вопреки тому, что писалось, говорилось и думалось об этой пьесе, зрители ощущали — и с течением времени все более — ее соотнесенность с иной реальностью. Секрет непреходящей современности «Ревизора» и загадка гоголевского «горького смеха» заключается именно здесь. Самим Богом, писал Гоголь в «Мертвых душах», было определено ему идти рука об руку с его «странными героями» и «озирать всю громадно несущуюся жизнь... сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы». Скорбной, сострадательной любовью к «бедной душе человека, которую губят со всех сторон и которую губит он сам», «Ревизор» и открывает каждому в его жизни «строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны». Потому-то комедия, сама исполненная глубокой пророческой тайны (часть которой уже и исполнилась в наши дни), предстает перед нами не только верным зеркалом далекого прошлого и злободневного настоящего, но и прямым предвестием грядущих времен.

* * *

Обратимся к истории создания «Ревизора». В месяцы, непосредственно предшествовавшие его написанию, Гоголь переживает высокий духовный подъем. Как вспоминал позднее один из друзей Гоголя, известный историк и фольклорист М. А. Максимович, с которым писатель после трехлетнего перерыва встретился в Киеве в августе 1835 года, Гоголь поразил его тогда своей глубокой религиозной настроенностью. Вспоминая о прогулках Гоголя

по старому Киеву и его святым местам, Максимович писал: «Нельзя было не заметить перемены в его речах и настроении духа; он каждый раз возвращался неожиданно степенным и даже задумчивым... Я думаю, что именно в то лето начался в нем крутой поворот в мыслях — под впечатлением древнерусской святыни Киева, который у малороссиян XVII века назывался "Русским Иерусалимом"» (имеется в виду Киево-Печерская лавра; *Максимович М. А.* Письма о Киеве и воспоминания о Тавриде. СПб., 1871. С. 55–56). По свидетельству самого Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями», именно к этому времени относится одно «необыкновенное», по его словам, «душевное событие», которое ознаменовало новую ступень в его нравственном образовании и еще более углубило в нем дар изображать «пошлость пошлого человека». Какого рода было это событие — одна из загадок гоголевской биографии. Однако то, что сказано об этом Гоголем, позволяет отчасти проникнуть в эту тайну, и мы на этом еще остановимся.

Вернувшись осенью 1835 года в Петербург, Гоголь приступает к работе над «Мертвыми душами», а затем, в поразительно короткий срок, почти за месяц, с конца октября по начало декабря, создает «Ревизора». Примечательно, что перед этим он с большим удовольствием прочел вышедшую тогда первую статью о нем В. Г. Белинского — «О русской повести и повестях г. Гоголя», в которой мог почерпнуть настоящую «программу» будущего «Ревизора». Говоря в статье о значении «беспощадного», бичующего юмора, критик писал: «...Надобно... чтобы люди иногда просыпались от своего бессмысленного усыпления и вспоминали о своем человеческом достоинстве... надобно... чтобы гром иногда раздавался над их головами и напоминал им о их Творце... надобно... чтобы за пиршественным столом, посреди остатков безумной роскоши, среди утех беснующейся Масленицы... торжественный звук колокола возмущал внезапно их безумное упоение и напоминал о храме Божием, куда каждый должен предстать с раскаянием в сердце...» (Белинскому эти размышления навеяли повести князя В. Ф. Одоевского; *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. С. 177–178). Неудивительно, что после завершения комедии в «Петербургских записках 1836 года» появляются у Гоголя такие строки: «Спокоен и грозен Великий пост. Кажется, слышен голос: "Стой, христианин, оглянись на жизнь свою"». Они прямо предваряют позднейшее истолкование Гоголем своей комедии в «Развязке Ревизора» — пьесе, которою он предполагал в 1846 году заключить отдельное издание «Ревизора» в пользу бедных: «...этот настоящий ревизор, о котором одно возвещенье в конце комедии наводит такой ужас, есть... настоящая наша совесть, которая встречает нас у дверей гроба». Эту нравственную цель комедии — стремление разбудить уснувшую совесть человека, заставить каждого заглянуть в собственную душу — Гоголь подчеркнул и в 1842 году, поставив на титульном листе «Ревизора» эпиграф-пословицу «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» и вложив

в уста городничего знаменитую реплику: «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!..» В этом же заключается и главный смысл многочисленных гоголевских «комментариев» к пьесе. Очевидно, проповедническая установка «Ревизора» объяснялась религиозным осмыслением Гоголем своего художнического призвания. Спустя три недели после первой постановки комедии на сцене Александринского театра он отправляет М. П. Погодину письмо (от 10 мая 1836 года), в котором отчетливо звучит осознание писательства как высокого, «пророческого» служения: «Писатель современный, писатель комический, писатель нравов должен подальше быть от своей родины. Пророку [нет приюта] нет славы в отчизне. Что против меня уже решительно восстали теперь все сословия, я не смущаюсь этим, но как-то тягостно, грустно, когда видишь против себя несправедливо восстановленных своих же соотечественников, которых от души любишь...» Само удаление из отечества за границу для дальнейшего писания «Мертвых душ» Гоголь осмысляет как своеобразный уход в «затвор», в «монастырь» — предуготованный ему Провидением. На это он указывает в «Авторской исповеди», в письмах к друзьям, в первоначальной редакции «Театрального разъезда...»: «Я удалюсь... пустыня мне нужна...» Еще за полтора года до отъезда за границу, в первой редакции повести «Портрет», в судьбе молодого художника Гоголь как бы предопределил свою будущую судьбу: «Этот художник... оторвавшись от друзей, от родных, от милых привычек, бросился без всяких пособий в неизвестную землю; терпел бедность, унижение, даже голод... был бесчувствен ко всему, кроме... искусства». Свою последующую жизнь в Италии Гоголь в письме к А. С. Данилевскому от 15 апреля (н. ст.) 1837 года прямо называет «художнически-монастырской». 28 ноября (н. ст.) 1836 года он писал М. П. Погодину: «Бросивши отечество, я бросил вместе с ним все современные желания... Не дело поэта втираться в мирской рынок. Как молчаливый монах, живет он в мире не принадлежа к нему, и его... душа умеет только беседовать с Богом».

Понятно, почему в «Театральном разъезде...» писатель утверждал, что видеть в его комедии «злую сатиру», направленную на то, чтобы «поколебать основные законы правленья», есть близорукость. На этом Гоголь будет настаивать неоднократно в продолжение всей своей жизни. Очевидно, что Гоголь изначально рассчитывал вовсе не на политическое, но на нравственное воздействие комедии. Вера в исправление русского человека, воскрешение его души никогда не покидала Гоголя. В этих своих духовных устремлениях он не случайно надеялся встретить поддержку и сочувствие у самого Государя. Известно, что только благодаря Императору Николаю I «Ревизор» и был разрешен к постановке и печатанию. Государь присутствовал и на премьере комедии. За экземпляр «Ревизора», поднесенный Императору, Гоголь получил в то время бриллиантовый перстень. Вскоре после постановки Гоголь отвечал в «Театральном разъезде...» своим недоброжелателям: «Великодушное правительство

глубже вас прозрело высоким разумом цель писавшего». В опубликованной посмертно статье «Петербургская сцена в 1835–36 г.» он не без оснований замечал: «Благосклонно склонится око монарха к тому писателю, который, движимый чистым желанием добра, предпримет уличать низкий порок, недостойные слабости и привычки в слоях нашего общества и этим подаст от себя помощь и крылья его правдивому закону». Самому Императору Гоголь в 1837 году (18 апреля н. ст.) писал: «Вы склонили Ваше Царское Внимание к слабому труду моему, тогда как против него неправо восставало мнение многих. Глубокое чувство благодарности кипело тогда в сердце Вашего подданного и слезы, невыразимые слезы, каких человеку редко дается вкушать на земле, струились по челу его». С надеждой получить «ободрение и помощь от правительства, доселе благородно ободрявшего все благородные порывы», Гоголь создавал и свои «Мертвые души» (согласно строкам его письма к С. С. Уварову весной 1842 года).

В самом деле, если, имея в виду общечеловеческий, пророческий смысл «Ревизора», сравнить отношение Гоголя к российской и европейской действительности, то с очевидностью обнаружится, что обличение русских «плутов» вовсе не означало для писателя неприязни к России в целом и поклонения перед западноевропейскими порядками, как это было во многом свойственно западникам, превозносившим гоголевскую комедию за «политическую тенденцию». Согласно признанию Гоголя в «Авторской исповеди», в «Ревизоре» он «решился собрать в одну кучу все дурное в России к стр. 201 и за одним разом посмеяться над всем». О том, с какой целью он это сделал, Гоголь объяснял в «Театральном разъезде...»: «...странный вопрос: “зачем?”... Зачем один отец, желая исторгнуть своего сына из беспорядочной жизни, не тратил слов и наставлений, а привел его в лазарет, где предстали пред ним во всем ужасе страшные следы беспорядочной жизни?» «...Бывает время, — пояснял в 1846 году Гоголь в одном из «Четырех писем к разным лицам по поводу “Мертвых душ”», — когда нельзя иначе устремить общество... к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости...»

Говоря в «Театральном разъезде...» об этих «общественных ранах» России, Гоголь добавлял: «...Внутри... свирепствует болезнь... она может взорваться...» Во второй половине 1840-х годов Гоголь, вспоминая опять о чреватых социальными «взрывами» «общественных ранах» России в преддверии прокатившейся по Европе волны революций, писал, в частности, об Англии: «По крайней мере, нужно заглянуть в те мины, где готовятся близкие взрывы» (письмо к П. В. Анненкову от 20 сентября (н. ст.) 1847 года). В статье «Страхи и ужасы России» он также замечал: «В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся в России. В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасенью...»

Главной «дорогой к спасенью» Гоголь считал незамутненное нравственное сознание русского человека. В «Переписке с друзьями» он говорил о «Мертвых душах», что они «не потому так испугали Россию… чтобы… раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни», но потому лишь, что представили читателю его «пошлость». При этом Гоголь восклицал: «Явленье замечательное! Испуг прекрасный! В ком такое сильное отвращенье от ничтожного, в том, верно, заключено все то, что противуположно ничтожному». А потому — «“Хуже мы всех прочих” — вот что мы должны всегда говорить о себе», — заключал Гоголь в статье «Светлое Воскресенье». На обвинения критиков «Ревизора» в непатриотизме и вражде автора к России Гоголь отвечал: «…Гордыми сделало нас европейское наше воспитание… скрыло нас от самих себя… всякий из нас ставит себя чуть не святым, а о дурном говорит вечно в третьем лице…» («Театральный разъезд…»). Итак, следовало бы, по Гоголю, зрителям его комедии, «прежде чем замечать отношение ее к целому обществу», обратить каждому взгляд на самого себя. Ибо именно так, по признанию писателя, он и создавал свои отрицательные образы: беспощадным анализом и обличением в себе собственных пороков и недостатков. Понятно, почему такой же требовательный взгляд на себя и является, по Гоголю, настоящим «ключом» к «шкатулке» «Ревизора». «…Герои моих… произведений... — замечал он, — будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства непривлекательного, неизвестно почему близки душе…» «Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пиэсе: все до единого согласны, что этакого города нет во всей России, не слыхано, чтобы где были у нас чиновники все до единого такие уроды; хоть два, хоть три бывает честных, а здесь ни одного. Словом, такого города нет. Не так ли? Ну, а что, если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас?» («Развязка Ревизора»).

Каким же образом связано позднейшее истолкование Гоголем уездного города «Ревизора» как «душевного города», а его чиновников — как воплощения бесчинствующих в нем страстей с историей создания пьесы? Ответ на этот вопрос кроется, как кажется, в загадке того «необыкновенного душевного события», которое произошло с Гоголем незадолго до начала работы над «Мертвыми душами» и «Ревизором» и объяснению которого он посвятил позднее в «Переписке с друзьями» целое письмо.

Как писал здесь Гоголь, «главное существо», или «главное свойство», его таланта, замеченное и оцененное только Пушкиным, заключалось в умении очертить «пошлость пошлого человека». Это умение, признавался Гоголь, в свое время углубилось в нем «еще сильней от соединенья с ним некоторого душевного обстоятельства». «Но этого, — прибавлял Гоголь, — я не в состоянии был открыть тогда даже Пушкину». В чем же заключался характер этого связанного с нравственным образованием «душевного

обстоятельства», о сути которого Гоголь не мог поведать даже Пушкину?

Гоголь писал: «Я… от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим героям… Я оторвался… от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской маски, под которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с той гадостью, которая всем видна».

Если открыть Евангелие, которое Гоголь, как, впрочем, многие его современники, знал едва ли не наизусть, можно обнаружить, что гоголевские слова об автобиографической основе его сатирических образов перекликаются с повествованием об одном из чудес, совершенных Спасителем, а именно об изгнании легиона бесов из одержимого в стране Гадаринской: «И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море» (Мк. 5, 12–13).

С этим повествованием гоголевский рассказ перекликается сразу несколькими мотивами. Во-первых, словами о самом осуществляемом с Божьей помощью изгнании. «…Я не люблю моих мерзостей... — писал Гоголь, — и изгоню их, и мне в этом поможет Бог». Во-вторых, упоминанием об изгнании «такого множества, в каком, — замечал он, — я еще не встречал доселе ни в одном человеке». (Слово «легион», то есть отряд в шесть тысяч человек, употребляется в Евангелии именно для обозначения великого множества.) В-третьих, и в Евангелии, и в исповедальном рассказе Гоголя речь идет об изгнании через «переход», «передачу» (в свиней — в отрицательные, отталкивающие художественные образы). «…Взявши дурное свойство мое, — писал Гоголь, — я преследовал его в другом званьи и на другом поприще… Если бы кто увидал те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся… Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной». Наконец, перекличка с евангельским рассказом слышна и в гоголевском упоминании о возможном самоубийстве. «Я не любил никогда моих дурных качеств, — писал Гоголь, — и если бы небесная любовь Божия не распорядила так, чтобы они открывались передо мною постепенно и понемногу… — я бы повесился».

«Не подумай, однако же, после этой исповеди, — замечал Гоголь, — чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои…» Понять высоту нравственного подвига писателя, его честность перед самим собой и меру душевной чистоты помогает одна из выписок Гоголя, сделанных им зимой 1843/44 года из журнала «Христианское Чтение». Человеку, читаем здесь, «признаться в том, что он грешник, значит признаться только в том, что он человек». Когда же

«мы внимательно пересматриваем беспорядки жизни нашей, тогда яснее и познаем их, тогда и чувствуем горестнее их преступность, тяжесть, мерзость». Нелишне напомнить и совет Гоголя в том же письме «Переписки» — следующий, кстати, сразу после слов об исповеди, — взглянуть каждому «хорошенько на самого себя». Позднее, 18 декабря (н. ст.) 1847 года, Гоголь признавался С. П. Шевыреву: «Я думал, что если не пощажу самого себя и выставлю на вид все человеческие свои слабости и пороки и процесс, каким образом я их побеждал в себе и избавлялся от них, то этим придам духу другому не пощадить также самого себя».

В конце 1840-х годов один из младших современников Гоголя, Д. К. Малиновский, спрашивал писателя: «Скажите, Николай Васильевич... как так мастерски вы умеете представлять всякую пошлость. Очень рельефно и живо!» Легкая улыбка показалась на лице Гоголя, и после короткого молчания он тихо и доверительно сказал: «Я представляю себе что» бес «большею частью так близок к человеку, что без церемонии садится на него верхом и управляет им, как самою послушною лошадью, заставляя его делать дурачества за дурачествами». «Суетных образованных молодых людей, — добавлял Малиновский, — Николай Васильевич любил называть *щелкоперами* и говорил, что они большею частью незнакомы с бесом потому, «что сами для него вовсе неинтересны, и он их оставляет самим себе без всякого внимания с своей стороны, в полной уверенности, что они не уйдут и сами от него...» (*Малиновский И. Д.* Знакомство Гоголя с моим отцом // Записки Общества истории, философии и права при Императорском Варшавском университете. 1902. Вып. 1. С. 90).

Кстати сказать, Малиновский, воспользовавшись замечаниями Гоголя, написал даже обширную статью «О том, как надо разуметь смешное в произведениях Гоголя», которую в конце апреля — начале мая 1850 года передал, по-видимому, самому писателю. Малиновский предпринял здесь разбор повестей «Записки сумасшедшего», «Нос», «Невский проспект», «Портрет», «Шинель» и книги «Выбранные места из переписки с друзьями». В определении комического он, в частности, замечал, что «смешным является несообразие... с высшим Разумом и Волею», и самая «страшная, нравственная несообразность» есть та, «когда дьявол осетывает душу (осетовать — взять верх при нападении, одолеть. — *И. В.*) и душа становится его жилищем» (*Малиновский Д. К.* О том, как надо разуметь смешное в произведениях Гоголя // Н. В. Гоголь и Православие. М.: К единству! 2004. С. 430–478).

Имея в виду это рабство «пошлого» человека страстям и демонам, сам Гоголь в статье «Нужно любить Россию» писал: «Уже крики на бесчинства, неправды и взятки — не просто негодованье благородных на бесчестных, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека;

уже и те, которые приняли добровольно к себе в домы этих страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами, и не знают, как это сделать...» Эти же мысли Гоголь повторяет и в «Развязке Ревизора». «Лучше... сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни... да побывать теперь же в безобразном нашем городе... в котором бесчинствуют наши страсти... Клянусь, душевный город наш стоит того, чтобы подумать о нем, как думает добрый Государь о своем государстве! Благородно и строго, как он изгоняет из земли своей лихоимцев, изгоним наших душевных лихоимцев!» «И бич в руках... которым можно выгнать их, — продолжает здесь Гоголь. — Смехом, мои благородные соотечественники! Смехом...»

С. П. Шевырев сразу по выходе в свет «Переписки с друзьями» писал Гоголю, что его комический талант следует обратить «на самого дьявола»: «Смейся... над дьяволом: смехом твоим ты докажешь, что он неразумен... все глупости людей от него... Ведь даже не одна Россия, но весь мир может войти в твою комедию!»

Очевидно, что Шевырев, как бы предполагая в Гоголе дар «наступати на змию и на скорпию и на всю силу вражию» (Лк. 10, 19), советовал ему избрать ту дорогу, какой писатель давно уже следовал. 7 октября 1835 года Гоголь обращался к Пушкину: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь... духом будет комедия из пяти актов, и, клянусь, будет смешнее» беса. (Пушкин дал тогда Гоголю сюжет «Ревизора».) 27 апреля (н. ст.) 1847 года Гоголь отвечает Шевыреву: «...С давних пор только о том и хлопочу, чтобы после моего сочинения насмеялся вволю» человек над бесом.

Конкретный анализ отдельных образов гоголевской комедии подтверждает сделанные наблюдения и позволяет проникнуть в суть ее пророческого замысла.

Еще в 1903 году Д. С. Мережковский обратил внимание на то, что характеристика Гоголем беса в письме к С. Т. Аксакову от 15 мая (н. ст.) 1844 года прямо соответствует сущности «ничтожной натуры» Хлестакова в комедии (см.: *Мережковский Д. С.* Судьба Гоголя//Новый Путь. 1903. № 1. С. 40). «...Вы не упускайте из виду, — пишет Гоголь, — что он щелкопер и весь состоит из надуванья... Он точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад — тут-то он и пойдет храбриться... Мы сами делаем из него великана...» Как явствует из гоголевского «Предуведомления для тех, которые пожелали бы сыграть как следует "Ревизора"», бес «управляет» Хлестаковым через его «ребяческое тщеславие», «желание порисоваться», которыми «более или менее заражены все люди» и которое «бывает у многих умных и старых людей, так что редкому на веку своем не случалось в каком-либо деле отыскать его».

Очевидно, не следует напрямую отождествлять беса с Хлестаковым, как это получилось, например, у Мережковского. Сам Гоголь открыто возражал против такого отождествления беса с человеком.

Он писал: «...Мы все еще действуем не собственно против нечистой силы, подталкивающей на грехи и заблуждения людей, но против самих людей...»

Итак, хотя бес в гоголевской комедии — в отличие, скажем, от народной вертепной драмы — действует, как и в жизни, невидимо, следует, однако, признать его, в соответствии с замыслом писателя, еще одним из «главных действующих лиц» «Ревизора».

Говоря об этом скрытом, «мистическом» замысле комедии, Мережковский отмечал, что «ежели не зрители, то действующие лица чувствуют какую-то ошеломляющую, сонную мглу, фантастическое марево», распространяемое бесом (*Мережковский Д. С.* Судьба Гоголя. С. 50). «Как это, в самом деле, мы так оплошали», — восклицает в заключение комедии судья Ляпкин-Тяпкин. «Точно туман какой-то ошеломил», бес «попутал», — добавляет Земляника.

Не замеченной Мережковским осталась, однако, вторая и, как представляется, наиболее важная составляющая «мистического замысла» «Ревизора». В самом деле: почему же бес «попутал» чиновников? В чем секрет его власти над «пошлым» человеком?

На этот вопрос отвечает сам городничий в комедии: «Вот, подлинно, если Бог захочет наказать, так отнимет прежде разум». Эту мысль повторяет и автор в черновых набросках «Театрального разъезда...», написанных сразу после первой постановки «Ревизора»: «...Отнял Бог разум у тех, у которых его достало <только> на то, чтобы превратно толковать <закон>...» В этом и заключается «общая завязка» гоголевской комедии: в наказание за грехи Бог попускает чиновникам впасть в обольщение лукавого.

Такой вывод дает возможность подойти к пониманию основ авторского замысла. Ибо обстоятельства появления в уездном городе «Ревизора» мнимого «значительного лица» — обольщение чиновников на счет Хлестакова, участие в этом нечистой силы и попущение Божие как первопричина обольщения — прямо повторяют предсказанные в Новом Завете обстоятельства явления в мире к концу времен такого же мнимого «лица» — лже-Христа, «антихриста»: «...тогда откроется беззаконник... которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи...» (2 Фес. 2, 8–11). Очевидно, «фантастическое марево» хлестаковской лжи и похвальбы — вместе с самообольщением чиновников — и составляют или замещают в комедии всю «силу», «знамения» и «чудеса» самозваного «ревизора». К ощущению последних времен — когда «люди будут издыхать от страха и ожидания *бедствий,* грядущих на вселенную...» (Лк. 21, 26), — призвана, вероятно, обратить зрителя и та атмосфера страха, которая с первой реплики городничего заполняет всю пьесу. Напомним в этой связи о смерти от страха губернского прокурора в десятой главе первого тома

«Мертвых душ», встревоженного слухами о «подосланном чиновнике из канцелярии генерал-губернатора для произведения тайного следствия», или такую же участь миргородского Хомы Брута в «Вии», «пропавшего ни за что» перед явлением подземного мстителя.

Согласно этому прообразовательному замыслу комедии, тщеславное желание Хлестакова сыграть в провинциальном городе роль «значительного лица» встречает себе подготовленную почву — порождаемые встревоженной совестью чиновников мнительность и страх перед самой возможностью появления такого «лица». «У страха глаза велики», — гласит народная пословица. Все способно теперь явиться значимым в глазах испуганных до суеверия чиновников. От страха даже виденные городничим во сне крысы («грезилась страшная чепуха», поясняет Гоголь в черновой редакции) могут послужить знамением ревизора. («Истинный и добрый христианин никогда не бывает суеверен и не верит пустякам», — замечал Гоголь в период создания «Ревизора» в письме к матери от 10 ноября 1835 года. Напомним слова А. С. Пушкина о своем герое в «Пиковой даме» (1833): «Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков».)

«Степень» же испытываемых чиновниками «боязни и страха», как прямо указывает Гоголь, зависит от «великости наделанных каждым грехов» («Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору»). «Страх ожидания, гроза идущего вдали закона» являются, таким образом, не только завязкой, но и самым содержанием гоголевской пьесы — совершаемым в ней над героями-чиновниками возмездием. «...Сами они наказалися страхом чрез самих себя... — замечал Гоголь о своих современниках в письме к Н. М. Языкову от 26 декабря (н. ст.) 1844 года, — в этом страхе увидят они Божье наказанье себе: верный знак, что далеко отбежали они от Бога; ибо кто с Богом, у того нет страха». «Кто омрачается боязнью, — повторяет он в статье «Близорукому приятелю», — ...от того, значит, уже отступилась святая сила. Кто с Богом, тот глядит светло вперед...»

Участие в «Ревизоре» в качестве невидимого действующего лица «скрытого мага» беса осуществляется и через «городских сплетников» Бобчинского и Добчинского, которые из тщеславного желания быть в центре общего внимания первые распустили слух о Хлестакове-ревизоре. (Исполнением актерами их ролей, вместе с ролью Хлестакова, менее всего был удовлетворен Гоголь.) Именно тщеславие делает из этих героев, — если опять иметь в виду апокалиптический подтекст пьесы, — предсказанных в Евангелии лжепророков грядущего лже-«ревизора», — которые явятся, «*чтобы прельстить, если возможно, и избранных*» (Мф. 24, 24). «Что касается до сплетней, — пишет Гоголь А. О. Смирновой 6 декабря 1849 года, — то не позабывайте, что их распускает» бес, «а не люди, затем, *чтобы смутить и низвести с того высокого спокойствия, которое нам необходимо для жития жизнью высшей...* (курсив наш. — *И. В.*).

Человек от праздности и часто сглупа брякнет слово без смысла, которого бы и не хотел сказать. Это слово пойдет гулять; по поводу его другой отпустит в праздности другое, и мало-помалу сплетается сама собою история без ведома всех. Настоящего автора ее безумно и отыскивать, потому что его не отыщешь... Помните, что все на свете обман, все кажется нам не тем, чем оно есть на самом деле. Чтобы не обмануться в людях, нужно видеть их так, как велит нам видеть их Христос... Трудно, трудно жить нам, забывающим всякую минуту, что будет наши действия ревизовать не сенатор, а Тот, Кого ничем не подкупишь и у Которого совершенно другой взгляд на всё». Последние строки письма прямо повторяют истолкование «Ревизора» в «Развязке»: «...Взглянем на себя не глазами светского человека, — ведь не светский человек произносит над нами суд, — взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами Того, Кто позовет на очную ставку всех людей...» Появление в заключительной сцене комедии вестника о настоящем ревизоре естественно, таким образом, завершает апокалиптическую тему гоголевской пьесы, охватывающей ее от явления в мир антихриста до Второго Пришествия Христова и Страшного суда.

Обратим внимание на то, что апокалиптический подтекст присущ и целому ряду других ранних гоголевских произведений, в частности, опубликованных в сборнике «Арабески» (1835) — «О преподавании всеобщей истории», «Портрет», «Жизнь», «Последний день Помпеи». По замечанию Д. И. Чижевского, отчасти это, вероятно, объясняется тем, что некоторыми современниками Гоголя конец света ощущался в самой непосредственной близости. Популярный тогда в России немецкий мистик И.-Г. Юнг-Штиллинг, влияние которого испытал, в частности, Александр I, в своем толковании на Апокалипсис, «Победной повести», предсказывал его в 1836 году — в год выхода в свет «Ревизора» (*Чижевский Д.* Неизвестный Гоголь. С. 140; ср.: <*Ширинский-Шихматов С. А., князь.*> Записка о крамолах врагов России/Сообщил священник М. Я. Морошкин//Русский Архив. 1868. № 5. Стб. 1352; Повествование священноархимандрита отца *Фотия* <*Спасского*>//Русская Старина. 1894. № 7. С. 164–171, 182–186; № 8. С. 430–434).

Можно предположить, что, создавая пьесу, Гоголь прямо имел в виду эти настроения. Это следует как бы из самого финала комедии. Но при этом очевидно и то, что в целом с хилиастическим толкованием Апокалипсиса Юнгом-Штиллингом, который полагал, что «дух Христов сохраняется и сохранится до конца мира» только в протестантской «богемо-моравской, гернгутерской братской церкви» (см.: *Чистович И.* История перевода Библии на русский язык//Христианское Чтение. 1872. № 4. С. 704), замысел «Ревизора» не имеет ничего общего. Напротив, содержание гоголевской пьесы прямо противоположно этим взглядам. Архимандрит Фотий (Спасский), подавший в 1824 году Императору Александру I записку «О революции под именем тысящелетнего Христова царствия,

готовимой к 1836 году в России чрез влияние тайных обществ и англичан-методистов», в частности, писал: «1836 год назначили враги веры и спокойствия временем для новыя веры и церкви, и какого-то нового царя...» (Повествование священноархимандрита отца *Фотия <Спасского>*//Русская Старина. 1894. № 8. С. 433–434). Гоголь в статье «О преподавании всеобщей истории» отмечал: «...Цель моя — образовать сердца юных слушателей... чтобы... не изменили они своему долгу, своей Вере, своей благородной чести и своей клятве — быть верными Отечеству и Государю». По свидетельству А. О. Смирновой, Гоголь неприязненно относился к масонам; он ставил их в один ряд с модными гадалками: «Гоголю были равно ненавистны Ленорманы и масоны» (М. А. Ленорман — французская гадалка) (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 59). В 1830 году, при принятии присяги на верность Государю, сам Гоголь, согласно установленному порядку, дал подписку «о непринадлежности его к масонским ложам» (см.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. Т. 1. С. 296).

Заметим, что логическую завершенность «Ревизор» получает лишь в том случае, если появление здесь вестника о новом, настоящем ревизоре будет понято зрителем или читателем в духовном смысле. В противном случае комедия оказывается как бы «без конца», — на это указывает главный герой «Развязки Ревизора». Ибо ничто не препятствует чиновникам «разыграть» всю ее с начала, проведя или подкупив любого нового «светского» ревизора, будь то «сенатор» или «ничтожный» Хлестаков.

На возможность такого «бесконечного» продолжения гоголевской пьесы в исследовательской литературе порой указывалось как на свидетельство политического изъяна «бюрократической системы государственного аппарата» старой России, зараженного взяточничеством и не способного бороться с этим явлением. Отсюда делался вывод о закономерности изменения ее социальных форм. У Гоголя, однако, речь шла не о необходимости изменения наружного порядка вещей, но о насущной потребности любого социального организма в нравственном воспитании его членов. В неотправленном письме к В. Г. Белинскому 1847 года он замечал: «...Думают, что преобразованьями и реформами... можно поправить мир... Но... броженье внутри не исправить никаким конституциям... Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство». (Это ответ на слова Белинского о том, что России нужны «права и законы, сообразные не с учением Церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение».) 22 декабря (н. ст.) 1844 года Гоголь писал С. Т. Аксакову по поводу участия его сына, Ивана Аксакова, в астраханской ревизии: «Если Иван Сергеевич смекнет... что внушить повсюду отвагу на добрые дела... и... заставить

человека, даже плутоватого, сделать доброе дело еще картиннее, чем заставить доброго сделать доброе дело, — …если он… это смекнет, то *наделает много добра*».

Гоголь скептически относился к мысли о возможности исправить мир с помощью всевозможных внешних «ревизий» — от полицейского государственного надзора до революционной «чистки». «А вы думаете, легко воров выгнать? — обращался он в конце жизни к последователям Белинского. — Царь, который только и думает о том, как их выгнать, да и тот не может, — Царь, у которого и войско, и вся сила есть. Как же вы хотите, без всякой силы и власти, это сделать? Что спьяна передушите всех, думаете поправить? Думаете, лучше будет погибнуть? Те, которых шеи потолще, останутся. Что, те святые, что ль? Еще больше станут допекать друг друга».

В статье «Занимающему важное место», написанной в результате бесед с графом А. П. Толстым, бывшим одесским генерал-губернатором, а впоследствии обер-прокурором Святейшего Синода, Гоголь писал: «Вы очень хорошо знаете, что приставить нового чиновника для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, значит сделать двух воров наместо одного. Да и вообще система ограничения — самая мелочная система… Эта… система… могла образоваться только в государствах колониальных, которые составились из народа всякого сброда, не имеющего национальной целизны и духа народного…»

Кстати говоря, действительно, как бы с целью «приставить нового чиновника» для ограничения «прежнего в его воровстве» и была введена в России Петром I должность прокурора — этого, по словам Петра, «ока Государя». («…Он — око закона», — отмечал Гоголь в записной книжке.) Необходимость же в этом появилась вследствие того, что, по воле монарха, упразднившего в то время патриаршество, духовенство «упало» тогда в России (*Карамзин Н. М.* О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. С. 104). По убеждению Гоголя, Петр I насильственно перенес на русскую почву тот порядок, который сложился на Западе вследствие глубокого падения и угасания религиозности и призван был хоть как-то заменить утраченное: «…Разлив гражданских законов произошел сам собою, встретивши повсюду пустые, себя не ограждавшие места. Мода подорвала обычаи, уклонение духовенства от прямой жизни во Христе оставило на произвол все частные отношения каждого человека в его частном быту. Законы гражданские взяли то и другое, как оставленных сирот, под свою опеку…» («Занимающему важное место»). Противоестественность перенесения этих «законов» в Россию Петром заключалась, по Гоголю, в том, что ими уничтожалось живое, духовное начало нравственности. Необходимо, утверждал писатель, «чтобы гражданскому закону отдано было… только то, что должно принадлежать гражданскому закону, чтобы обычаям возвращено было то, что должно оставаться во власти обычаев, и чтобы за Церковью вновь утверждено было то,

что должно вечно принадлежать Церкви». Гоголевская критика петровских преобразований — и в частности, принятой в эпоху Петра европейской «системы ограничения», — очевидно, и заключается в образе взяточника-прокурора в одиннадцатой главе «Мертвых душ», умирающего от страха губернаторской ревизии. На это же указывает и упоминание в седьмой главе поэмы о петровском «зерцале», стоящем на столе председателя гражданской палаты. Такие настольные «зерцала» — трехгранные призмы с помещенными на гранях указами Петра I — ставились в государственных учреждениях начиная с Петровской эпохи, «яко зерцало пред очьми судящих». Это «зерцало» предписывало «обретающимся во всех судных местах всего государства судьям и пришедшим пред суд чинно поступать» — «понеже суд Божий есть». Однако формальное напоминание о «суде Божием» отнюдь не мешало чиновникам (как показывает Гоголь и в «Миргороде», и в «Мертвых душах», и в «Ревизоре») почти открыто предаваться административным «грешкам».

Следует подчеркнуть, что и сам страх, который испытывают чиновники в «Ревизоре» при известии о приезде «значительного лица», нельзя назвать спасительным, — это не тот страх, что, пробуждая совесть человека и обращая его взгляд на самого себя, приводит к перемене жизни. Страх ревизии ввергает проворовавшихся чиновников лишь в еще большее лицемерие, заставляя их изворачиваться и лгать с большей изобретательностью. Из заметки «Характеры и костюмы» следует, что прямую «выучку» таким страхом прошел городничий — «постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек» (вероятно, Гоголь подразумевает здесь, что люди, преданные исключительно житейским попечениям, бывают, по выражению Евангелия, «мудрейши... сынов света в роде своем»; Лк. 16, 8). Как явствует из признания самого городничего, он обманул на своем веку «трех губернаторов»: «Что губернаторов! Попа на исповеди надул, рассказал совсем другое» (по сути, это совершенно равнозначно тому, что судья, по словам Земляники, «больше десяти лет как не исповедывался» — эта и предшествующая реплики героев об исповеди остались у Гоголя в рукописи). Лицемерие и нераскаянность в возрастающей степени становятся как бы главными чертами натуры героя. На лицемерие городничего и указывает далее Гоголь в заметке «Характеры и костюмы», отмечая, что он «хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно». Таким образом, вопреки преследуемой ревизией цели, приводит она, по наблюдениям писателя, к результатам прямо противоположным. Всем этим Гоголь ставит под сомнение мысль об исключительном значении в деле гражданского благоустройства законнических, полицейских мер — мер внешней государственной «ревизии», отнимающей «доверье к благородству человека» и подменяющей и вытесняющей собой нравственное образование общества. «Нет, власть, — пишет он в отдельном наброске, — действуй прямо. Укажи нам всем долг наш, но не связывай в то же время и рук наших и не бесчесть нас

обидным подозреньем. Говори с нами благородным голосом, и будет благороден ответ».

Интересно, что вполне «по-гоголевски» — с мыслью о воскрешении «мертвых душ» и сознанием необходимости пробуждения в человеке памяти о «небесном гражданстве» — поступал, будучи на посту генерал-губернатора, во время своих «ревизий» упомянутый граф А. П. Толстой. По воспоминаниям А. О. Смирновой, «раз он поехал в уездный город и пошел в уездный суд, вошед туда, помолился пред образом и сказал испуганным чиновникам, что у них страшный беспорядок. "Снимите-ка мне ваш образ! О, да он весь загажен мухами! Подайте мел, я вам покажу, как чистят ризу". Он вычистил его, перекрестился и поставил его в углу. "Я вам изменю киоту, за стеклом мухи не заберутся, и вы молитесь; все у вас будет в порядке". Ничего не смотрел, к великой радости оторопелых чиновников; и с чем приехал, с тем уехал и, возвратившись, рассказал жене, что все там в порядке». «Я думаю, — добавляла А. О. Смирнова, — что такие губернаторы лучше тех, которые все принимают en serieux <всерьез; *фр.*> и всякое лыко в строку» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 226).

Очевидно, до самых последних дней жизни Гоголь продолжает размышлять над проблемами, затронутыми им в «Ревизоре». Незадолго до смерти, осенью 1851 года, он даже устраивал авторское чтение своей комедии для московских актеров. Его не оставляла мысль о возможности нравственной «ревизии» для русского общества. Своеобразным продолжением комедии — развивающей действие с момента появления «настоящего ревизора» — можно назвать речь генерал-губернатора в заключительной главе второго тома «Мертвых душ», обращенную к погрязшим в неправде и взяточничестве чиновникам города Тьфуславля: «Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего теченья... никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как ни ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народ вооружался против врагов, так должен восстать против неправды... Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятье какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку». — Разве не из этой же русской среды, как бы продолжал Гоголь в другом наброске к поэме, «мелькнули Суворовы, Мордвиновы, Чичаговы, Орловы, Румянцевы и ряды героев самоотверженья, которых не уместит на страницах своих подробнейшая летопись».

Сделанные наблюдения позволяют сформулировать вывод о сущности гоголевских сатирических образов. Начав в 1830-х годах свое «пророческое» служение с обличения явных грехов: воровства, взяточничества и др., Гоголь уже в то время, черпая материал

из собственной души, изображал их как наглядное проявление стоящей за ними общечеловеческой «пошлости». Не случайно знаменитое начало гоголевской комедии, состоящее из реплик разных героев, напуганных вестью о ревизоре: «“Как ревизор?” “Как ревизор?”… “Господи Боже! еще и с секретным предписаньем!”», — так напоминает состояние души человека, застигнутого врасплох внезапно открывшимся ему смыслом *неизбежного* ответа Богу за прожитую жизнь. Судя по объяснению Гоголя в «Развязке Ревизора», создание его комедии, вероятно, именно так и начиналось — с тревожного «монолога» «душевного города» автора, воочию представившего себя пред «Тем, Кто позовет на очную ставку всех людей»: «“Что вы говорите?” “Неужели?” “Нет?” “Он будет сюда?”» (строки первой черновой редакции «Ревизора»). Поэтому и апокалиптический финал «Ревизора» Гоголь считал возможным и необходимым обратить не только против очевидного беззакония, но и каждому человеку — не видящему своих грехов и «о дурном говорящему вечно в третьем лице» — против самого себя. Добавим, что по этому же самому, напоминая своим современникам в «Авторской исповеди» об «ответе Небу», который они должны дать за исполнение своего долга, Гоголь в заключение «Мертвых душ» намеревался применить эту мысль «Ревизора» не только к явным грешникам, но, в частности, — и не в меньшей мере — к тем, кто, устрашившись царящего зла, оставил данное ему в мире поприще. В бумагах писателя сохранился набросок к окончанию поэмы, представляющий обличение Богом на Страшном суде этих неверных и малодушных чиновников и «управителей». В написании этого отрывка Гоголь опирался на строки Откровения св. Иоанна Богослова, где говорится о равном наказании таких людей наряду с прочими грешниками: «И сказал Сидящий на престоле: …Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц… участь в озере, горящем огнем и серою» (гл. 21, ст. 5, 7–8). Это именно пророчество, очевидно, и послужило Гоголю основой вспыхнувшей вдруг перед ним картины окончательного Суда и последней «ревизии» мертвых душ.

«“Зачем же ты не вспомнил обо Мне, что Я на тебя гляжу, что Я [тебя] твой? Зачем же ты от людей, а не от Меня ожидал награды [и] вниманья и поощренья? [Зачем ты не смущаясь] [Зачем не шел ты до конца, закрывши глаза на людей и смотря только] Какое бы тогда было тебе дело дото<го>, как издержит твои деньги земной помещик, когда у тебя Небесный Помещик? [Если бы о <кончилось>] Кто знает, чем бы кончилось, если бы <ты> до конца дошел, не устрашившись? Ты бы удивил величием характ<ера>, [ты бы оставил] ты бы наконец взял верх и заставил изумиться; ты бы оставил имя, как вечный памятник доблести [чтобы] и добра [рыдали потом] и роняли бы ручьи слез потом <1 нрзб.> о тебе [и чувств<овали>] [почувств<овав> до<бро>] и как вихорь ты бы развевал в сердцах пламень добра”.

Потупил голову устыдившийся управитель и не знал, куды ему деться.

И [многие вслед за ним понурили головы] много вслед за ним чиновников и благородных, прекрасных людей [понурили], начавших служить и потом бросивших поприще, печально понурили головы».

Содержание этого отрывка истолковывается нами на основании автографа (*РГБ.* Ф. 74. К. 1. Ед. хр. 43. Л. 2). Прописная буква во фразе: «...что Я на тебя гляжу...» проясняет его содержание (обличение Богом на Страшном суде малодушных чиновников и управителей) и позволяет атрибутировать отрывок как набросок к окончанию «Мертвых душ». В соответствии с этим и другие слова отрывка, означающие Бога: «Я», «Мне», «Меня», «Небесный Помещик», — написанные в черновом автографе со строчных букв, — выделяются нами сообразно с традицией буквами прописными. В черновых автографах Гоголя слова, которые традиционно принято писать с прописной буквы, порой встречаются написанными со строчной — такое недифференцированное написание свойственно для церковнославянской орфографии.

* * *

Трагический, «чудовищно-мрачный» финал «Ревизора» и его еще более трагический и тревожный подтекст, конечно же, резко отличают гоголевскую пьесу от традиционного жанра комедии. Тем не менее «Ревизор» назван автором «комедией». Это ставит перед нами вопрос об особом понимании Гоголем этого жанра. В статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» «Переписки с друзьями» он несколько страниц посвятил разбору комедий своих предшественников; этот анализ проливает свет и на гоголевскую драматургию, прежде всего «Ревизора».

Главный упрек Гоголя современной комедии в этой статье — отсутствие «взгляда в душу человека», осмысления представляемых на сцене «смешных сторон общества». Будучи внешним проявлением глубоких наболевших ран своего времени, они при таком освещении вызывают у зрителя лишь «легкую насмешку». С другой стороны, недостаток трагедии, заключающей в себе высокую нравственную мысль, состоит, по Гоголю, как раз в обратном — в отрыве от современности, в «незнаньи человека под условием взятой эпохи и века». Можно предположить, что Гоголь в своей драматургии стремился преодолеть указанные недостатки. Вероятно, в соединении достоинств обоих жанров — современности комедии и «нравственной силы» трагедии — и мыслил он создание «истинно общественной комедии», которую (употребляя пришедшее ему кстати суждение князя П. А. Вяземского о комедиях Д. И. Фонвизина и А. С. Грибоедова) расценил бы одновременно и как «современную трагедию» («...комедии Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума»... весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя

современными трагедиями»). В «Развязке Ревизора» Гоголь прямо говорит об этом устами главного героя: «Что ж в самом деле, как будто я живу только для скоморошничества?.. Нет... речь... о том, чтобы в самом деле наша жизнь, которую привыкли мы почитать за комедию, да не кончилась бы такой трагедией, какою... кончилась эта комедия...» — Надо сказать, трагизм гоголевской «комедии» почувствовал по-своему даже В. Г. Белинский, — понимая всё, однако, лишь в политическом значении — ища, как всегда, «нравоученья для *других*, а не для себя». В статье «Александринский театр. Щепкин на Петербургской сцене» (1844), критик замечал: «...Разделение театральных пьес на трагедии и комедии в том смысле, как вы его понимаете, ложно. «Ревизор» Гоголя столько же трагедия, сколько и комедия. Что чувствуете вы, когда в последнем акте торжествующий городничий "распекает" купцов?... Представьте... себе такого человека действительно генералом... захочется ли вам смеяться?..» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: в 9 т. М., 1981. Т. 7. С. 505).

Итак, комедия-трагедия. Напомним, что одним из важнейших признаков различения этих жанров в древности было участие «богов» — они являлись только в трагедии. Финал гоголевского «Ревизора» — это именно появление Бога в комедии. Диалог на эту тему Гоголь разворачивает между героями «Театрального разъезда...»: «Но смешно то, что пьеса никак не может кончиться без правительства. Оно непременно явится, точно неизбежный рок в трагедиях у древних... Что ж? тут нет ничего дурного, дай Бог, чтобы правительство всегда и везде слышало призванье свое быть представителем Провиденья на земле и чтобы мы веровали в него, как древние веровали в рок, настигавший преступленья».

С новейшим жанром трагикомедии гоголевская «комедия-трагедия» перекликается только в слове. Непременно благополучная концовка трагикомедии и развязка «Ревизора» — вещи прямо противоположные. «Несмотря на... комическое... положенье многих лиц... — делится своими впечатлениями герой «Развязки Ревизора», — в итоге остается... что-то чудовищно мрачное, какой-то страх от беспорядков наших. Самое это появленье жандарма, который, точно какой-то палач, является в дверях... все это как-то необъяснимо страшно!»

Конечно, не новая ревизия для провинциальных чиновников ужасает этого зрителя, но «примененье к самому себе» — тревожная мысль об ожидающем каждого Суде и расплате. «...Показать темной моей братии, живущей в мире, играющей жизнью, как игрушкой, что жизнь — не игрушка» (из письма Гоголя к о. Матфею Константиновскому в апреле 1850 года) — эту-то мысль и преследовал Гоголь созданием «Ревизора».

Хотя в статье о русской поэзии Гоголь совсем не упоминает о «Ревизоре», но многое из того, что он говорит о комедиях своих предшественников, можно прямо отнести на его счет. Гоголь как бы сам указывает здесь на свое преемство в изображении «дурных наших

народных качеств и свойств» в драматическом жанре. Обращает на себя внимание гоголевская характеристика героев Фонвизина и Грибоедова: героев «Недоросля» Гоголь называет героями «непросвещенья», «Горя от ума» — «дурно понятого просвещенья». Прилагая это деление к героям самого Гоголя, можно сказать, что и в этом отношении его комедия обладает большей степенью обобщения, ибо герои ее и «непросвещены», а значит, и «просвещены дурно».

«Непросвещенье» для Гоголя — это прежде всего оторванность человека от Церкви. Само слово «просвещение», пишет Гоголь в одноименной статье «Выбранных мест...», «взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие».

В эту-то «тьму», невежество неверия, и погружены гоголевские герои. Чего стоит реплика «просвещенного» чтением пяти-шести новейшего «глубокомыслия» книг судьи Ляпкина-Тяпкина, когда он отвечает на обвинения городничего в неверии: «Да ведь сам собою дошел, собственным умом». По поводу этого парадокса современного человека Гоголь позднее прямо заметит в «Переписке с друзьями»: «Во всем он усумнится... в правде, в Боге усумнится, но не усумнится в своем уме». («Он... безбожник только потому, что на этом поприще есть простор ему выказать себя», — поясняет Гоголь в «Предуведомлении для тех, которые пожелали бы сыграть как следует "Ревизора"».) Далек от истинного просвещения и «плут» Земляника, ибо вряд ли можно угодить Богу богоугодными заведениями, где больные «как мухи выздоравливают». Да и сам взяточник-городничий — что «в вере тверд и каждое воскресенье бывает в церкви», — укравший целую церковь при том же богоугодном заведении и считающий борьбу с грехом вольтерьянством... «С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием Церкви, ни обычаями старины, от которых удержалось в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место», — пишет Гоголь о героях «Недоросля», и к ним словно прилагая развязку своей комедии.

Кстати добавить, что согласно монтировке первой постановки «Ревизора» на сцене Александринского театра в 1836 году (см. в т. 7 наст. изд.), к заступничеству Государя от произвола городничего обращалось, в числе других просителей, не принятых Хлестаковым, и лицо духовного звания — пономарь «в костюме Кутейкина из комедии Недоросль» (в «дьячковских» сапогах и парике «с косичкою»), — прямой «прототип» гоголевского семинариста Хомы Брута. Надо подчеркнуть, что именно власть законного монарха представляет «ревизор» Хлестаков в уездном городе. Предполагая дать ему взятку, чиновники, например, рассуждают: «Опасно... раскричится: государственный человек. [Скажет: "что вы, кому вы, да как вы смеете, хотите, чтоб я изменил Государю?"]». В то же время обращение духовного лица к мнимому ревизору означает, вероятно, и апокалиптическое «прельщение избранных». Согласно строкам

черновой редакции, герои комедии помещики Бобчинский и Добчинский, как лица прельщаемые и прельщающие, получив известие об инкогнито-ревизоре, намеревались даже отправиться с этой вестью прямо к местному протопопу. Желание прельщенных, чтобы их помянули у престола самого царя — для них как бы престола Самого Бога (вопреки заповеди: «Не надейтеся на князи, на сыны человеческия...»; Пс. 145, 3), в свою очередь, высказывает в комедии Бобчинский, когда обращается к Хлестакову с неожиданной — вроде бы совершенно нелепой и вызывающей лишь смех — просьбой помянуть его имя в Петербурге (в *Санкт*-Петербурге) у разных «вельмож», — сказав, если случится, «и Государю, что вот, мол Ваше Императорское Величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский». Для гоголевских героев это, очевидно, и означает: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи...»

«Непросвещеньем» своим гоголевские провинциальные типы, а в не меньшей мере и «приезжий из столицы» Хлестаков, и подают руку грибоедовским героям «дурно понятого просвещения»: «принятия глупых светских мелочей наместо главного», следования европейскому вольнодумству, пустому секуляризованному образу жизни с его городским бездельем, потребительством и «просвещенной» роскошью. Сравнивая героев «Горя от ума» и «Недоросля» — упоминая, в частности, о превозносимых Фамусовым обычаях его круга: преклонении перед иностранщиной, либеральных замашках и «мастерстве» пообедать, Гоголь замечает: «Так же наивно, как хвалится Простакова своим невежеством, он хвалится полупросвещеньем...» Этими же «достоинствами» столичной «цивилизации» хвалится Хлестаков в «Ревизоре»: «Да, деревня... тоже имеет свои пригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом!» В этой «просвещенности» не отстает от своего барина и его слуга Осип: «Право, на деревне лучше... лежи весь век на полатях да ешь пироги... Ну... конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего». «В существе своем, — продолжает Гоголь в статье о русской поэзии характеристику Фамусова (и вместе Хлестакова), — это одно из тех выветрившихся лиц, в которых, при всем их светском comme il faut <комильфо; *фр.*; буквально: как надо, как следует>, не осталось ровно ничего, которые своим пребываньем в столице и службой так же вредны обществу, как другие ему вредны своей неслужбой и огрубелым пребываньем в деревне».

«...Хочу, чтобы наш дом был первый в столице и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти...» — мечтает в свою очередь в «Ревизоре» Простакова-городничиха, «просвещенная» «совершенным comme il faut» Хлестаковым и теми светскими романами, которые удалось ей прочесть между хозяйственными хлопотами. Так характеризует эту героиню Гоголь в заметке «Характеры и костюмы»: «...Провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная вполовину на романах и альбомах, вполовину на хлопотах в своей кладовой и девичьей».

Подчеркнем здесь еще раз, что если смотреть на гоголевских героев исключительно сверху вниз, с чувством несомненного собственного превосходства, то понять проблемы, которые ставит, изображая своих «уродов», Гоголь, будет невозможно. К числу таких ускользающих от поверхностного рассмотрения проблем или загадок человеческой души относится и это — на первый взгляд, только комическое — сочетание в героине «Ревизора» черт узкой практичности и романтической, «возвышенной» мечтательности (в этом она как бы предвещает собой в одном лице будущих гоголевских помещиц — «хозяйственную» Коробочку и «нехозяйственную» Манилову в первом томе «Мертвых душ»). Следуя пожеланию Гоголя исполнителям его комедии замечать прежде всего «общечеловеческое выражение» каждой роли, попробуем извлечь такой урок и из этой характеристики.

Гоголь много размышлял о том, что человеку, погруженному в повседневную житейскую суету, свойственно искать утешения в призрачной мечтательности. За полгода до создания «Ревизора», 12 апреля 1835 года, он, в частности, писал матери, огорченной неудачей с осуществлением в Васильевке, патриархальном родовом имении Гоголей, вполне «мечтательного» проекта — заведения доходной «фабрики кож» (шарлатан-«заводчик» этой фабрики бежал, растратив деньги; Гоголь же с самого начала считал этот проект нереальным): «Я видел, что все предприятие было до крайности детское... Вы имеете прекрасное сердце и, может быть, это настоящая причина, что вас нетрудно обмануть. Я очень постигаю вас. Я знаю, что ваша вся жизнь была в заботах, что вы вечно должны были бороться с критическими обстоятельствами. От этого не мудрено, что душа ваша ищет успокоения в мечте и что вы любите предаваться ей как верному другу и не мудрено, что она вас завлекает иногда. Вам нужен советник, который бы практическим образом глядел на жизнь».

Еще более проясняют характер главной героини «Ревизора» строки письма Гоголя к М. П. Балабиной от 7 ноября (н. ст.) 1838 года, где он тоже предупреждает свою бывшую ученицу о ложной мечтательной духовности: «Конечно, не спорю, иногда находит минута, когда хотелось бы из среды табачного дыма и немецкой кухни улететь на луну, сидя на фантастическом плаще немецкого студента... но... та мысль, которую я носил в уме об этой чудной и фантастической Германии (являющейся «в сказках Гофмана». — *И. В.*), исчезла, когда я увидел Германию на самом деле... Я знаю, есть эта земля, где все чудно и не так, как здесь; но к этой земле не всякие знают дорогу. Вы, кажется, теперь стараетесь отыскивать эту дорогу... Трудно, трудно удержать середину, трудно изгнать воображение и... обратиться к настоящей прозе... труднее всего согласить эти два разнородные предмета вместе — и жить вдруг и в том и в другом мире».

В соответствии с этими гоголевскими размышлениями можно заключить, что мечтательность, нетрезвое стремление вознестись

над «прозой» жизни, — представляющие собой, по Гоголю, попытку утолить духовный голод пищей, не сродной духу, и приобщает его героиню к плодам новейшего «полупросвещенья». По содержанию и истокам этого «полупросвещенья» можно догадываться и о том, на каких «возвышенных» романах воспитана гоголевская «провинциальная кокетка». «Ну, отчего не пишут у нас так, как французы пишут, например, как Дюма и другие? — восклицает подобная ей «светская дама» в «Театральном разъезде...» — Я не требую образцов добродетели; выведите мне женщину, которая бы заблуждалась... предалась, положим... непозволенной любви; но представьте это увлекательно... чтобы я побуждена была к ней участьем... полюбила ее... отчего у нас в России все еще так тривиально?»

В таком же свете Гоголь изображает и страсть Анны Андреевны к нарядам (согласно еще одной ее характеристике в заметке «Характеры и костюмы», «она четыре раза переодевается в разные платья в продолжение пьесы»). В этом она, очевидно, задает тон и остальным дамам уездного города. Замечание об их «костюмах», сделанное в 1836 году, Гоголь как бы прямо продолжил в одной из «городских» глав первого тома «Мертвых душ»: «В нарядах вкусу было пропасть... как будто на всем было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж!»

Помимо мечты о петербургском «амбре», «увлекательных» романов и «парижских» нарядов, на пристрастие героини к «дурно понятому просвещенью» указывает также роскошная мебель красного дерева в ее доме (об этом также свидетельствует монтировка первой постановки «Ревизора» на сцене Александринского театра). Очевидно, что в основании тщеславной мечты городничихи о том, чтобы ее дом «был первый в столице», лежит то, что он уже «первый» — в смысле роскоши — в уездном городе. Но щепетильная, мечтающая о «хорошем обществе» Анна Андреевна будто не замечает того, что многие из ее «просвещенных потребностей» удовлетворяются прямо за счет «доброхотных приношений» купцов и взяток ее мужа. И это еще одна сторона лицемерной, мнимо «возвышенной» и мнимо «образованной» жизни, исследуемая писателем в «Ревизоре». Позднее, размышляя над этим в «Переписке с друзьями» в масштабах губернского города и целой России, Гоголь в статье «Что такое губернаторша» писал: «...Гоните эту гадкую скверную роскошь, эту язву России, источницу взяток, несправедливостей и всех мерзостей, какие у нас есть». «...Большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, — замечал он в статье «Женщина в свете», — произошла... от расточительности их жен...»

Возвращаясь к характеристике Гоголем комедий его предшественников, заметим, что в еще одном герое «дурно понятого просвещенья» — грибоедовском Скалозубе — «глупом фрунтовике», уверенном, что можно исправить мир, сменив Вольтера фельдфебелем то есть, очевидно, собой), «но при всем том удержавшем

какой-то свой особенный философски-либеральный взгляд на чины» как на «необходимые каналы к тому, чтобы попасть в генералы», по всему угадывается сам гоголевский городничий с его своеобразной «критикой» вольтерьянства и мечтой о Петербурге и генеральстве. Понятно, в чем заключается, по Гоголю, «либерализм» этих героев-«фрунтовиков», поставивших служение своему «я», своему тщеславию — рабство страстям выше служения Отечеству. Ибо настоящая свобода состоит, по словам Гоголя, вовсе «не в том, чтобы говорить произволу своих желаний: *да*, но в том, чтобы уметь сказать им: *нет*», — мысль, принадлежащая уже к истинному просвещению: «И хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках...» (И ходил я на просторе, свободно, потому что дознавался Твоих повелений, — потому что не стесняли меня тогда мои страсти; Пс. 118, 45). Во взгляде же на чины как на средство удовлетворения своего тщеславия — и на возможность «не пропускать того, что плывет в руки» — городничий опять-таки ничем не отличается от обличаемого им вольнодумца (и, вероятно, «вольтерья́нца») судьи. «Философия» его, в свою очередь, являет собой результат новейшего «просвещения».

Очевидно, что и вывод Гоголя о героях «Недоросля» и «Горя от ума» во всем подходит к его собственным героям: «Все лица комедии... русские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди броженья новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них; не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоуменье насчет того, чем должен быть русский человек». Пожалуй, исключенье можно сделать лишь для одной дочери городничего, в которой однажды проглядывают вдруг черты глубокого нравственного достоинства — когда она с возмущением отвергает чересчур смелые «любезности» Хлестакова, прямо называя наглость наглостью и не задумываясь над тем, что перед ней «значительное лицо», которого трепещет ее отец и которое может составить «выгодную партию» для нее самой. Впрочем, и в ней уже заметна изрядная доля «пошлости». Словно прямо к ней относятся слова Чичикова в «Мертвых душах» о встреченной им по дороге губернаторской дочке: «Она теперь, как дитя... она может быть чудо, а может выйти и дрянь...»

* * *

Хлестаков как представитель «дурно понятого просвещенья» — «сделавшего нас ни русскими, ни иностранцами» — напоминает еще одного литературного персонажа. Хотя сам Гоголь на эту параллель нигде прямо не указывает, но если учесть, что Хлестаков, по определению автора, «принадлежит к тому кругу, который... ничем не отличается от прочих молодых людей», то не будет безосновательным и такое сравнение.

Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?

«Да. Там из наших чиновников никто так не одевается. Платье заказываю Ручу, триста рублей за пару».

Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный
И по Балтическим волнам
За лес и сало возит нам...

«И сукно такое важное, аглицкое! рублей полтораста ему один фрак станет...»; «Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать — и куды!.. пошел кутить...»

Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной...

«Ведь мой отец упрям и глуп... как бревно. Я ему прямо скажу: как хотите, я не могу жить без Петербурга... теперь не те потребности: душа моя жаждет просвещения».

Образ Хлестакова в этом отношении хорошо поясняют характеры других героев Гоголя, в частности, сыновей помещика Петуха в третьей главе второго тома «Мертвых душ», тоже желающих вкусить «просвещенья столичного». — «Понимаю, — замечает по этому поводу Чичиков, — кончится дело кондитерскими да булеварами...» — Как у Пушкина: «...Надев широкий боливар,/Онегин едет на бульвар...» «Дурак, дурак! — обсуждает про себя Чичиков намерение Петуха перебраться в город, — промотает все, да и детей сделает мотишками. Именьице порядочное... а как просветятся там у ресторанов да по театрам...»

Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру...
...«С хорошенькими актрисами знаком»...
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток,
Пред ним *roast-beef* окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.

«Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа...»

Напомним также из «Евгения Онегина» строки о том,

...как сельские циклопы
Перед медлительным огнем
Российским лечат молотком
Изделье легкое Европы...

Тем более что в черновике у Пушкина прибавлено: «Работы Иоахима». «Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты...» — восклицает в «Ревизоре» Хлестаков.

По словам Гоголя в «Переписке с друзьями», Пушкин «хотел было изобразить в Онегине современного человека и разрешить какую-то современную задачу — и не мог». В этой связи опять вспоминается рассказ Гоголя о том, что одному Пушкину удалось верно определить главное свойство его таланта — «дар выставлять так ярко пошлость жизни... чтобы та *мелочь*, которая ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в глаза всем».

Действительно, «мелочь» в поэме Пушкина являет себя во много раз «крупнее», помещенная под увеличительное стекло гоголевской комедии. Но нет ли в ней и разрешения той «современной задачи», которую, по размышлению Гоголя, ставил поэт в «Евгении Онегине»? Продолжим сравнение героев.

Нетрудно заметить еще одну черту, роднящую Хлестакова с пушкинским «Чайльд-Гарольдом», — хандру и скуку.

«Скучно, брат, так жить, — признается «душе Тряпичкину» Хлестаков, — хочешь наконец пищи для души. Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться».

...Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся...

«Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой». «Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать или придет фантазия сочинить что-нибудь...»

...Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а все без толку...

Примечателен еще один гоголевский штрих к характеристике хандры Хлестакова, который, через косвенное свидетельство современника, может быть поставлен в прямую связь со скукой пушкинского героя. Напомним эпизод во втором действии комедии в гостиничном номере, где Хлестаков, томимый вынужденным бездействием, насвистывает сначала из «Роберта» (оперы французского композитора Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол»; роскошные постановки этой оперы шли в Петербурге), потом «Не шей ты мне, матушка» (романс А. Е. Варламова на слова Н. Г. Цыганова)

и, наконец, «ни се ни то». Известный поэт и критик Ап. Григорьев в автобиографической новелле «Роберт-Дьявол» (1846), посвященной впечатлениям от этой оперы (и, в частности, тому, как она помогла ему избавиться от хандры), писал: «...Я страдал самой невыносимой хандрой... не «зензухтом» немца <Sehnsucht — тоска; *нем.*>... не сплином англичанина... но безумной пеленой, русской хандрой, которой и скверно жить на свете, и хочется жизни... той хандрой, от которой русский человек ищет спасения только в цыганском таборе, хандрой, создавшей московских цыган, пушкинского Онегина и песни Варламова» (*Григорьев А.* Воспоминания. М., 1988. С. 178). Знаменательно, как в рассказе современника гоголевского героя соединяются в одно целое «русская хандра», постановки «Роберта-Дьявола», песни Варламова и пушкинский Онегин.

Не здесь ли и заключается «современная», по определению Гоголя, «задача» «Евгения Онегина»? И не поставлена ли была эта «задача» перед мысленным взором Гоголя самим поэтом?

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому *сплину*,
Короче: русская *хандра*
Им овладела понемногу;
Он застрелиться, слава Богу,
Попробовать не захотел,
Но к жизни вовсе охладел.
Как *Child-Harold*, угрюмый, томный
В гостиных появлялся он...

Думается, прямо к разрешению загадки разочарования байронического героя Пушкина, или, говоря словами самого поэта, к отысканию причины его «недуга» («Недуг, которого причину/Давно бы отыскать пора...»), и обращался Гоголь в статье о русской поэзии, когда писал: «...Некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету очарованье и стало модным... потом с тяжелой руки Байрона пошло в ход разочарованье, порожденное, может быть излишним очарованьем...»

Следуя этому высказыванию в осмыслении пушкинского и гоголевского «Чайльд-Гарольдов», можно, кажется, постичь наконец загадку их недуга. Ибо именно «очарованье», упоение соблазнами мира — крайней степенью которого является, согласно Гоголю, пристрастие обоих «цивилизованных» героев к модной роскоши (не случайно в этом смысле и упоминание Гоголем имени Шиллера — поэта, а также одного из главных идеологов европейского торгово-промышленного прогресса), и порождает в них тягостное «похмелье» уныния и скуки — «разочарованье».

Нельзя не предположить, что и в этом Гоголь видел действие тех же невидимых «страшных врагов душевных», о которых писал в «Развязке Ревизора» и отдельном письме «Выбранных мест...».

Я беса «называю прямо» бесом, — заявлял он в письме к С. Т. Аксакову от 16 мая (н. ст.) 1844 года, — и «не даю ему... великолепного костюма a la Байрон... приводить в уныние — это его дело».

Весьма примечательно, что в статье о русской поэзии при характеристике Лермонтова — этого, по определению Гоголя, певца «безочарованья, родного детища байроновского разочарованья» — вновь появляются строки об изгнании нечистого духа посредством его художественного изображения. «Признавши над собою власть какого-то обольстительного демона, — пишет Гоголь о «безрадостном» Лермонтове, — поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться... В неоконченном его стихотворенье, названном "Сказка для детей", образ этот получает больше определительности... Может быть, с окончанием этой повести, которая есть его лучшее стихотворение, отделался бы он от самого духа...»

По словам одного из исследователей конца XIX века, Н. М. Павлова (см.: Русский Архив. 1890. № 1. С. 140), и Пушкин оставил нам «добрую заповедь, чтобы всякий из нас постарался как можно скорее разделаться с Онегиным», этим

...печальным сумасбродом,
Иль сатаническим уродом,
Иль даже демоном моим.

В поэме «Езерский» (1832–1833), оставшейся в рукописях поэта и предназначавшейся ко включению в «Евгения Онегина» (отрывок из поэмы — «Родословная моего героя» — был опубликован в 1836 году в третьем томе «Современника»), Пушкин писал:

Мне жаль, что мы руке наемной
Дозволя грабить свой доход,
С трудом в столице круглый год
Влачим ярмо неволи темной,
И что спасибо нам за то
Не скажет, кажется, никто...
Что наши селы, нужды их
Нам вовсе чужды — что науки
Пошли не в прок нам; что спроста
Из бар мы лезем в tiers-etat <третье сословие; *фр.*>,
Что будут нищи наши внуки...
Что не живем семьею дружной...
Старея близ могил родных,
В своих поместьях родовых,
Где в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава...

«...Уныние — жалкая дочь безверья в Бога...» — писал в 1846 году Гоголь в статье «Страхи и ужасы России». «Уныние есть истое искушение духа тьмы... — замечал он также ранее в «Правиле жития

в мире». — Оно есть следствие недостатка любви нашей к Богу... Бог есть верховное веселие, а потому и мы должны быть также светлы и веселы». Сестре Анне 15 июня 1844 года он писал: «Прежде всего ты должна поблагодарить Бога за ту тоску, которая на тебя находит. Это предвестник скорого прихода веселья в душу твою. Тоска эта — следствие пустоты, следствие бесплодности твоего прежнего веселья». Предостерегая от обольстительного, доводящего до хандры упоения, Гоголь советовал: «Запасаться нужно в хорошее время на дурное и неурожайное: умерять дух нужно в веселые минуты мыслями о главном в жизни — о смерти, о будущей жизни, затем, чтобы легче и светлее было в минуты тяжелые» (записная книжка 1846–1850 годов).

Очевидно, именно в неспособности к такому трезвому взгляду на жизнь и заключается, согласно представлениям Гоголя, трагизм положения главного героя комедии — городничего. Благодаря позднейшим гоголевским автокомментариям становится возможным глубже понять характеристику этого героя, данную в 1836 году в заметке «Характеры и костюмы». «Переход» его, замечал здесь Гоголь, «от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души». В «Предуведомлении для тех, которые пожелали бы сыграть как следует "Ревизора"» Гоголь поясняет: «Переходя от страха к надежде... увидевши, что ревизор в его руках... он предается буйной радости при одной мысли о том, как понесется отныне его жизнь среди пирований, попоек... Поэтому-то внезапное объявление о приезде настоящего ревизора для него больше, чем для всех других, громовой удар, и положенье становится истинно трагическим». (Так же, заметим, будет предаваться отчаянию Чичиков в заключительной главе второго тома «Мертвых душ», когда после любования своей фигурой в модном фраке попадет внезапно в острог. Стремительный переход от упоительного «очарованья» к крайнему «разочарованью» — не умеряемых памятью смертной, вероятно, также должен был, в соответствии с размышлениями Гоголя, подчеркнуть духовную неразвитость героя.)

Зная о тесной связи, проводимой Гоголем между настроениями «очарованья» и «разочарованья», можно предположить, что «бес благородный скуки тайной» — не единственный, под чьим «управлением» находится Хлестаков. Несомненно, некий «дух» действует в нем и тогда, когда он обольщает и «очаровывает» своих уездных слушателей полуфантастическими картинами «земного рая» новейшей цивилизации. «Это вообще лучшая и самая поэтическая минута в его жизни — почти род вдохновенья», — замечает Гоголь. Такого «очарованья», собственно, и «следует» ожидать от него как от лица, играющего, в свете апокалиптического подтекста пьесы, роль обольстителя последних времен.

Можно заметить при этом, что прельщение, в которое ввергает слушателей Хлестаков, становится для них тем более неотразимым,

а положение их — тем более трагичным, что при отсутствии духовных критериев, прочных навыков различения добра и зла, приобретаемых внутренним воспитанием, герои, подменившие это воспитание соблюдением светского «комильфо» и пустым лицемерием, оказываются совершенно беспомощны в оценке проповедуемого Хлестаковым «просвещения» и потому, «очарованные» авторитетом правящего Петербурга, готовы и семисотрублевые арбузы на балах столицы принять за нечто «священное» и должное. «Диавол... перестал уже и чиниться с людьми... — писал Гоголь в статье «Светлое Воскресенье» об этом господстве мнимых ценностей, — глупейшие законы дает миру... и мир... не смеет ослушаться». Как остроумно заметил о гоголевском городничем Ф. М. Достоевский, он «хоть Хлестакова и раскусил, и презирает его», но «так и остался до сих пор в той же самой уверенности про арбуз» и «рад хоть и в арбузе почтить добродетель» (*Достоевский Ф. М.* Дневник писателя. 1876//Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1981. Т. 22. С. 11).

В то же время следует сказать по поводу Хлестакова, что и без участия беса герой как «суетный образованный молодой человек»-«щелкопер» своим внутренним содержанием вполне отвечает возложенной на него роли. Напомним свидетельство Д. К. Малиновского о том, как Гоголь говорил, что молодых людей, подобных Хлестакову, нечистый дух «оставляет самим себе без всякого внимания с своей стороны, в полной уверенности, что они не уйдут и сами от него...».

Весьма знаменательна в этом свете характеристика Гоголем внутреннего «образования» Хлестакова в той же заметке 1836 года «Характеры и костюмы»: «Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли». Если сравнить это определение с другими высказываниями Гоголя той поры, то обнаружится, что указанная примета вовсе не принадлежит исключительно Хлестакову как некое карикатурное свойство, но представляет собой, по наблюдениям писателя, одну из наиболее типичных черт современного «цивилизованного» человека вообще.

В статье «Об архитектуре нынешнего времени» (1834) Гоголь писал: «Век наш так мелок, желания так разбросаны по всему, знания наши так энциклопедически, что мы никак не можем усредоточить на одном каком-нибудь предмете наших помыслов и оттого поневоле раздробляем все наши произведения на мелочи и на прелестные игрушки». Потому-то, писал позднее Гоголь, современный человек, «развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли во все стороны... не в силах встретиться прямо со Христом» («О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности», 1846).

Таким образом, обольстительная мелочность и развлекающее многообразие «изобретений роскоши» являются, согласно выводам Гоголя, не только причиной, но и следствием рассеяния ума современного человека. А потому борьба за исцеление от болезни

и изменение наружных форм быта должна начинаться с внутреннего воспитания.

«Это энциклопедическое образование публики... — пишет Гоголь в 1846 году в статье «О “Современнике”», — уже не так теперь потребно… Уже все зовет ныне человека к занятиям более сосредоточенным…» В письме к В. Г. Белинскому 1847 года он повторяет: «Это поверхностные энциклопедические сведения разбрасывают ум, а не сосредоточивают его».

Еще в 1830-х годах «огромному раздроблению жизни и познаний» современного человека Гоголь противопоставлял благотворное «владычество одной мысли». Об эпохе Средних веков он, в частности, писал: «С мыслию о Средних веках невольно сливается мысль о крестовых походах… ни одна из страстей… не входят сюда: все проникнуты одной мыслию — освободить Гроб Божественного Спасителя!.. Владычество одной мысли объемлет все народы» (статья «О Средних веках», 1834). О картине Брюллова он тогда же замечал: «Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который… чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы…» («Последний день Помпеи», 1834).

Очевидно, что характеристика Хлестакова как человека, не способного «остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли», исполнена у Гоголя самого глубокого смысла, раскрываемого в самой комедии.

Укажем, что упоминаемое Гоголем в статье об архитектуре «усредоточение помыслов» находит себе прямое соответствие в святоотеческой традиции, где собирание помыслов, или мысленная борьба с мирскими соблазнами, с приходящими во время молитвы отвлекающими образами и движениями мысли, именуется также трезвением, или блюдением ума. Оно-то и открывает человеку его зависимость от падших духов. Гоголевское представление о нечистом духе как обольщающем помысле отразилось уже в самых ранних произведениях — в поэме «Ганц Кюхельгартен», в незавершенной повести «Страшный кабан»... Это же представление отметила, в частности, в своем дневнике Е. А. Хитрово (запись от 3 марта 1851 года): «Когда бывало сказано: “Диавол прииде”, он <Гоголь> говорил: “т. е. помышление”. Потом говорил: «Этим душам так все ясно, что они натурально и диавола могут видеть. Такая чистота может у того быть, кто познал всю глубину мерзости”» (<*Хитрово Е. А.*> Гоголь в Одессе. 1850–1851//Русский Архив. 1902. № 3. С. 556). Такое же представление Гоголь воплотил в четвертой главе второго тома «Мертвых душ», в размышлениях Чичикова: «…Можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжогло денег… И кто творец этих вдруг набегающих мыслей?» Об этом же Гоголь упоминал в первой редакции «Портрета»: «Это тот черный дух, который врывается к нам даже в минуты самых чистых и святых помышлений».

Непосредственно с мыслью об аскетическом «трезвении» соотносится у Гоголя и характеристика частного пристава в «Шинели»,

что «бывает... всякое воскресенье в церкви, на все смотрит и молится в то же время» (очевидно, что по наружности набожный частный пристав лишь принимает вид молящегося, пребывая при этом в рассеянии). Размышление о борьбе с помыслами во время молитвы встречается в одном из набросков незавершенной драмы Гоголя из истории Запорожья (1839–1841): «Отречение от мира совершенное. А между тем рисуется прежнее счастие и богатство... как будет молиться, как припадать к иконе: “все буду плакать и ничего, никакой пищи бедному сердцу, не порадую его никаким воспоминанием”». Представление о гибельном рассеянии ума во время храмовой молитвы или во время иного — тоже религиозного — служения в значительной мере определяет замыслы и других ранних произведений Гоголя: «Пропавшей грамоты», «Ночи перед Рождеством», «Тараса Бульбы», «Вия», «Невского проспекта», «Портрета». В «Размышлениях о Божественной Литургии» Гоголь, поясняя слова Спасителя о похищении диаволом из сердца человека семени Божественного слова, напоминал, что такое сердце «уподобляет Спаситель земле при пути», где эти семена «тут же бывают расхищены птицами — налетающими злыми помышлениями...». Сам Гоголь в тяжелую минуту исповедовался о. Матфею Константиновскому: «Иногда кажется, как бы от всей души молюсь, то есть хочу молиться, но этой молитвы бывает одна, две минуты. Далее мысли мои расхищаются, приходят в голову незваные, непрошеные гости и уносят помышленья Бог весь в какие места...» (письмо от 9 ноября 1848 года). (Не будем, однако, и в данном случае спешить с однозначными выводами относительно самого Гоголя. «Неоднократно Гоголь говорил о своей душевной черствости, о маловерии своем, о том, что он не может долго сосредоточиваться в молитвенном настроении. Все это — признаки истинно-христианского смирения...»; *Розанов Н.* Гоголь как верный сын Церкви. М., 1902. С. 9–10).

Одним из «промежуточных», предварительных средств, способных хотя бы отчасти вывести человека из замкнутого круга «очарованья» — «разочарованья» и, сосредоточив, направить к Богу — источнику истинного утешения для страждущей души, Гоголь считал высокое искусство, благотворное влияние которого прямо противопоставлял рассеивающему воздействию ремесленной роскоши. 15 апреля (н. ст.) 1837 года он, в частности, писал своему земляку и другу А. С. Данилевскому из Рима: «Что сказать тебе вообще об Италии? Мне кажется, что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам... вряд ли где сыщешь землю, где бы можно так дешево прожить. Никаких <безделок> и ничего того, *что в Париже вкус голодный изобретает для забав* (курсив наш. — *И. В.*)... Но зато для наслаждений художнических... картин, развалин и антиков смотреть на всю жизнь станет». Именно в этом письме Гоголь называет свою жизнь в Италии «художнически-монастырской».

Ранее, в статье «Скульптура, живопись и музыка» (1834), Гоголь, размышляя о засилье «прихотей и наслаждений, над

выдумками которых ломает голову наш XIX век», писал: «Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей и — бросились в музыку». Заметим себе эти строки как еще одну возможность проникнуть в характер музыкальных интересов Хлестакова, в частности, его увлечения упоминаемыми им в сцене вранья, наряду с «Робертом-Дьяволом», «Сумбекой» (балет А. Блаша), «Фенеллой» (опера З. Обера) и «Нормой» (опера В. Беллини). Увлечение это, как увидим, чрезвычайно далеко от безусловного одобрения его автором «Ревизора».

В самом искусстве Гоголь устанавливает точно выверенную духовную иерархию, своего рода «лествицу» восхождения. Музыка, отмечает он в той же статье, «могущественней и восторженней под бесконечными, темными сводами катедраля, где тысячи поверженных на колени молельщиков стремит она в одно согласное движение». По свидетельству А. О. Смирновой, Гоголь «очень любил» концерты, «но только духовную музыку и ходил к певчим» (*Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. С. 60). «Пост в Петербурге есть праздник музыкантов... — замечал он в «Петербургских записках 1836 года» (Великим постом, о котором пишет здесь Гоголь, разрешались главным образом духовные концерты; упоминаемые же в «Ревизоре» оперы в это время не ставились). — Когда согласный ропот четырехсот звуков раздается под дрожащими сводами, тогда, мне кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновенным содроганьем».

Вне же духовного направления музыка и искусство в целом не способны, по убеждению Гоголя, противостоять рассеивающему влиянию ремесленной цивилизации и могут также выступать в ряду обольщений и пустой разорительной роскоши. Эти мысли позволяют довольно точно установить, в соответствии с гоголевской оценкой, степень положительного и отрицательного в меломании Хлестакова.

Так, если петербургская публика, по словам Гоголя, была «права», когда в 1830-х годах оставила безобразную мелодраму и пустой подражательный водевиль — и предпочла им оперу и балет, то последние обладают еще весьма относительной ценностью. «Балет и опера — царь и царица петербургского театра, — писал он в пору создания и первой постановки «Ревизора». — Они явились блестящее, шумнее, восторженнее прежних годов... Люди такие, которых никто не подозревал в музыкальном образе мыслей, сидят неотлучно в... «Роберте», «Норме», «Фенелле»... До сих пор не прошел тот энтузиазм, с каким бросился весь Петербург на живую, яркую музыку «Фенеллы», на дикую, проникнутую адским наслаждением музыку «Роберта»... и упоенные зрители позабыли... что есть род зрелищ... более возвышенный, более отвечающий глубоко обработанному вкусу... что существует величавая трагедия, вдыхающая невольно высокие ощущения в согласные сердца... что есть комедия — верный список общества, движущегося перед нами, комедия

строго обдуманная...» Позднее, в статье «О театре...», Гоголь добавлял: «Театр и театр — две разные вещи... Отделите... собственно называемый высший театр от всяких балетных скаканий, водевилей, мелодрам и тех мишурно-великолепных зрелищ для глаз, угождающих разврату вкуса или разврату сердца... Частое повторение высокодраматических сочинений... заставит нечувствительно характеры более устоиваться в самих себе, тогда как наводнение пустых и легких пьес, начиная с водевилей и недодуманных драм до блестящих балетов и даже опер, их только разбрасывает, рассеивает...» В записной книжке 1845–1846 годов он отмечал: «50 раз должно ездить на одну и ту же пиэсу. Музыку чем слышишь более, тем глубже входишь в нее. Картина, чем более в нее вглядываешься, тем хочется более глядеть, и с этим никто не спорит, хотя редко понимает. А слово, высшее всего, считается ничтожным».

Прямо заставляет вспомнить о святоотеческом «трезвении ума» определение Гоголем в «Переписке с друзьями» главной сути русской поэзии, возвышающейся в своих лучших созданиях над модными «очарованьями» и «разочарованьями»: «Вновь повторяю... в лиризме наших поэтов есть... что-то близкое к библейскому, — то высшее состояние... которое чуждо движений страстных и есть твердый возлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости». Гоголь объяснял этот «возлет» и «трезвость» тем, что «наши поэты видели всякий высокий предмет в его законном соприкосновеньи с верховным источником лиризма — Богом...».

«...Новизна изобретена теми, кто скучает...» — замечал Гоголь в письме к М. П. Балабиной от 15 марта (н. ст.) 1838 года из Рима. И продолжал: «...Но вы же знаете сами, что никто не может соскучиться в Риме, кроме тех, у кого душа холодна, как у жителей Петербурга, в особенности у его чиновников...» К этому гоголевскому пониманию скуки как источника стремления к новизне — и новизне подчас прямо «антихристовой» (по выражению Гоголя в письме к М. П. Погодину от 1 февраля 1833 года о петровских преобразованиях в России) — можно привести еще одно косвенное свидетельство Ап. Григорьева — из его поэмы «Встреча» (1846):

...Добрая хандра
За мною по пятам бежала,
Гнала, бывало, со двора
В цыганский табор, в степь родную
Иль в европейский Вавилон,
Размыкать грусть-кручину злую,
Рассеять неотвязный сон.

(*Григорьев А. А.* Одиссея последнего романтика: Поэмы. Стихотворения. Драма. Проза. Письма. Воспоминания об Аполлоне Григорьеве. М., 1988. С. 48.)

Образ «цивилизованного» Петербурга также вызывает у Гоголя пророческие ассоциации с Вавилоном (см.: *Смирнова Е. А.* Поэма

Гоголя «Мертвые души». Л., 1987. С. 70–72) — городом роскоши, торговли и блуда, и будущее европейской цивилизации видится ему в свете прямо апокалиптическом — так, как это предсказано о судьбе Вавилона в Откровении св. Иоанна Богослова.

Трагизм Гоголя заключался, однако, в том, что как глубокий религиозный мыслитель он почти не был понят своими современниками, а его художественное творчество было истолковано превратно. Только немногим, за исключением ближайших друзей, М. П. Погодина, С. П. Шевырева, С. Т. Аксакова, В. А. Жуковского и некоторых других, было очевидно пророческое призвание Гоголя. Как вспоминал бывший студент Московской духовной академии протоиерей С. С. Модестов, «о Гоголе даже на классе Священного Писания читал лекции известный архимандрит Феодор Бухарев, причислявший Гоголя чуть не к пророкам-обличителям, вроде Иеремии, плакавшего о пороках людских» (Из воспоминаний протоиерея *С. С. Модестова* // У Троицы в Академии. 1814–1914. Юбилейный сборник исторических материалов. М., 1914. С. 121). В. А. Жуковский 19 апреля (н. ст.) 1845 года, в письме к графу А. Ф. Орлову, говоря о Гоголе как об «одном из самых оригинальных русских писателей», замечал: «Прибавлю еще одно: Гоголь и по характеру и по своей жизни человек самый чистый, а по своим правилам враг всякого буйства: он вполне христианин. За все это я ручаюсь» (*ГАРФ.* Ф. 109. Оп. 72. 2-я эксп. № 130. Л. 5; опубл., с неточностями: *Лемке М.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения Собств. Е. И. Величества Канцелярии. 2-е изд. СПб., 1909. С. 170). Для большинства, однако, эта сторона Гоголя осталась закрытой, и даже его попытка заявить о себе «Перепиской с друзьями» как о художнике-христианине была встречена враждебно.

Во многом, думается, именно этим непониманием и объясняется трагический «исход» Гоголя из литературы и жизни, ознаменованный предсмертным сожжением второго тома «Мертвых душ». И понят этот шаг может быть тоже только в свете всего религиозного служения Гоголя на поприще светского писателя — от дерзновенно принятого на себя апостольского: «Бых… беззаконным яко беззаконен… да приобрящу беззаконныя» (1 Кор. 9, 20–21); до горького и грозного — Иеремии: «Врачевахом Вавилона, и не исцеле: оставим его и отидем кийждо в землю свою, взыде бо к небеси суд его…» (Иер. 51, 9). Подобно своему герою — благочестивому художнику «Портрета» — Гоголь, изобразивший «мертвые души» с целью духовного преображения своих современников, в конце жизни, несмотря на такое намерение, не захотел и «притронуться к кистям и краскам, рисовавшим эти богоотступные черты». И, пожалуй, в этом самоотвержении и предупреждении заключается не меньший подвиг писателя, признававшегося в «Авторской исповеди»: «Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный

предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем, чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего».

В начале XX века нежинский профессор И. И. Иванов указывал: «Слово писателя — такое избитое выражение, — но чтобы понять гоголевский смысл его, — надо миновать всех писателей, все литературы, — подняться до Евангелия, вспомнить, что значит «отвергнуться себя», «взять крест свой» — ради проповедуемой истины. Такова мысль Гоголя, и во свидетельство он может призвать всю свою жизнь» (*Иванов Ив.* Гоголь человек и писатель. Киев, 1909. С. 8–9).

Игорь Виноградов

Комедии

В том «Комедии», завершающий четырехтомное прижизненное Собрание сочинений Гоголя 1842 г., вошли: комедия «Ревизор» (с приложениями — «Отрывком из письма, писанного автором вскоре после первого представления "Ревизора" к одному литератору» и «Двумя сценами, выключенными как замедлявшие течение пьесы»); комедия «Женитьба»; комедийные сцены и отрывки: «Игроки», «Утро делового человека», «Тяжба», «Лакейская», «Отрывок»; и «заключительная статья всего собрания сочинений» — «Театральный разъезд после представления новой комедии». Позднее Гоголь написал еще два приложения к «Ревизору» («Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует "Ревизора"» и «Развязка Ревизора»), которые не были им опубликованы. Они помещаются в конце настоящего тома.

Тексты печатаются по изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т./Сост., подг. текстов и коммент. В. А. Воропаева, И. А. Виноградова. М.: Русская книга, 1994. В отдельных случаях текст заново сверен с автографами и прижизненными изданиями. В комментариях использованы мемуарные свидетельства современников Гоголя, переписка, записные книжки писателя, черновые редакции, разыскания предыдущих комментаторов.

Ревизор

Впервые напечатано: Ревизор. Комедия в пяти действиях, соч. Н. Гоголя. СПб., 1836. Второе, исправленное издание вышло в 1841 г.; здесь же были помещены «Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления "Ревизора" к одному литератору» и «Две сцены, исключенные как замедлявшие течение пьесы». В окончательной редакции «Ревизор» вошел в 4-й том Сочинений Н. В. Гоголя 1842 г.

Начало работы над пьесой обычно связывают с письмом Гоголя А. С. Пушкину от 7 октября 1835 г.: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию». По признанию Гоголя в «Авторской исповеди» (1847), сюжет «Ревизора» дал ему Пушкин. Летом 1833 г. поэт сам был принят за ревизора в Нижнем Новгороде. От Пушкина Гоголю также были известны похождения П. П. Свиньина, выдававшего себя в Бессарабии за крупного столичного чиновника (см.: Осип Максимович Бодянский в его дневнике 1849–1852 гг.//Русская Старина. 1889. № 10. С. 133–134). В бумагах Пушкина сохранился набросок: «[Свиньин] *Криспин* приезжает в губернию NB на ярмонку — его принимают за ambassadeur (посланника; *фр. — Ред.).* Губернатор

честный дурак. — Губернаторша с ним кокетничает. — Криспин сватается за дочь» (*Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 5. М., 1975. С. 460. См. также: *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. 8. Кн. 1. М; Л.: АН СССР, 1938. С. 431). Заметим, впрочем, что П. П. Свиньин не всегда являлся «самозванцем». Как явствует из докладной записки министра народного просвещения А. С. Шишкова 1826 г., Свиньин при его поездке на Кавказ был действительно наделен полномочиями тайного «ревизора» (см.: *Шишков А. С.* О главнейших распоряжениях министерства народного просвещения с июня 1824 года по январь 1826 года//Русская Старина. 1896. № 9. С. 580–581).

6 декабря 1835 г. Гоголь сообщал М. П. Погодину об окончании комедии «третьего дни», то есть 4 декабря. «Да здравствует комедия! — писал он. — Одну, наконец, решаюсь давать на театр, прикажу переписывать экземпляр для того, чтобы послать тебе в Москву, вместе с просьбою предуведомить кого следует по этой части. Скажи Загоскину (в ту пору директор московских театров. — *И. В., В. В.),* что я буду писать к нему об этом и убедительно просить о всяком с его стороны вспомоществовании...» Гоголь просил также содействия В. А. Жуковского и графа М. Ю. Виельгорского, благодаря хлопотам которых комедию прочел в рукописи и одобрил Император Николай I; по другой версии, «Ревизор» был прочитан царю во дворце (см.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования. Т. 1. С. 309–312). 29 апреля 1836 г. Гоголь писал М. С. Щепкину: «Если бы не высокое заступничество Государя, пьеса моя не была бы ни за что на сцене, и уже находились люди, хлопотавшие о запрещении ее».

18 января 1836 г. Гоголь читал комедию у В. А. Жуковского. Князь П. А. Вяземский на следующий день сообщал А. И. Тургеневу: «Вчера Гоголь читал нам новую комедию "Ревизор" петербургский департаментский шалопай, который заезжает в уездный город и не имеет чем выехать в то самое время, когда городничий ожидает из Петербурга ревизора... Весь этот быт описан очень забавно и вообще неистощимая веселость... Читает мастерски и возбуждает un feu roulant d'eclats de rire dans l'auditoire (беглый огонь раскатов смеха в аудитории; *фр. — Ред.).* Не знаю, не потеряет ли пьеса на сцене, ибо не все актеры сыграют, как он читает. Он удивительно живо и верно, хотя и карикатурно, описывает наши moeurs administratives... (административные нравы; *фр. — Ред.)*» (*Вяземский П. А.* Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 162). По свидетельству И. И. Панаева, А. С. Пушкин «во все время чтения катался от смеха»; из присутствовавших один только барон Е. Ф. Розен «не показал автору ни малейшего одобрения и даже ни разу не улыбнулся» (*Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М., 1950. С. 65).

Премьера «Ревизора» состоялась 19 апреля 1836 г. на сцене Александринского театра в Петербурге. Накануне вышло и первое отдельное издание комедии (разрешена к печати цензором А. В. Никитенко 13 марта 1836 г.). Спектакль имел блестящий успех. Городничего играл И. И. Сосницкий, Хлестакова — Н. О. Дюр.

«...Общее внимание зрителей, рукоплескания, задушевный и единогласный хохот, вызов автора... — писал князь П. А. Вяземский, — ни в чем не было недостатка» (*Вяземский П. А.* Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 143). Император Николай Павлович, присутствовавший на представлении, хлопал и много смеялся, а выходя из ложи, сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне — более всех!» (Исторический Вестник. 1883. № 9. С. 736; запись П. П. Каратыгина со слов своего отца, актера П. А. Каратыгина. См. также: *Вольф А.* Хроника петербургских театров. Т. 1. СПб., 1877. С. 50). А. В. Никитенко, бывший на третьем представлении, отметил в дневнике 28 апреля 1836 г.: «Комедия Гоголя “Ревизор” наделала много шуму... Государь даже велел министрам ехать смотреть «Ревизора». Впереди меня, в креслах, сидели князь А. И. Чернышев и граф Е. Ф. Канкрин. Первый выражал свое полное удовольствие; второй только сказал: “Стоило ли ехать смотреть эту глупую фарсу”Многие полагают, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается» (*Никитенко А. В.* Дневник. Т. 1. М., 1955. С. 182).

Даже самые горячие поклонники Гоголя не вполне поняли смысл и значение комедии, большинство публики восприняло ее именно как фарс. При очевидной для всех удаче премьеры какое-то непонятное чувство недоумения и растерянности охватило артистов и зрителей. Характерно признание актера П. И. Григорьева, исполнявшего роль судьи Ляпкина-Тяпкина: «...эта пиэса пока для нас всех как будто какая-то загадка. В первое представление смеялись громко и много, поддерживали крепко, — надо будет ждать, как она оценится со временем всеми, а для нашего брата, актера, она такое новое произведение, которое мы (может быть) еще не сумеем оценить с одного или двух раз» (Литературное наследство. Т. 58. М., 1952. С. 548). А. Я. Панаева (Головачева), дочь известного актера Александринского театра Я. Г. Брянского, вспоминала: «...все участвующие артисты как-то потерялись; они чувствовали, что типы, выведенные Гоголем в пьесе, новы для них и что эту пьесу нельзя так играть, как они привыкли разыгрывать на сцене свои роли в переделанных на русские нравы французских водевилях» (*Панаева А. Я.* Воспоминания. М., 1972. С. 37).

Интересно свидетельство П. В. Анненкова, подметившего необычную реакцию зала на пьесу: «Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в полном смысле слова), словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостью. Однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два... раздавался общий смех. Совсем другое произошло

в четвертом акте: смех по временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был какой-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей» (*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. С. 59–60).

Разительным контрастом с этим, казалось бы, несомненным успехом звучит горькое признание Гоголя: «...“Ревизор” сыгран — и у меня на душе так смутно, так странно... Я ожидал, я знал наперед, как пойдет дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня. Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое» («Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления “Ревизора” к одному литератору»).

Гоголь был, кажется, единственным, кто воспринял первую постановку «Ревизора» как провал. Несмотря на настойчивые просьбы А. С. Пушкина и М. С. Щепкина, он отказался от предполагавшегося участия в постановке пьесы в Москве и вскоре уехал за границу. Много лет спустя он писал В. А. Жуковскому из Неаполя: «Представленье “Ревизора” произвело на меня тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего» (из письма от 10 января (н. ст.) 1848 г.). Гоголя не удовлетворило прежде всего несоответствие старых сценических водевильных приемов игры совершенно новому характеру и духу пьесы, не укладывающейся в рамки обычной комедии. Автор настойчиво предупреждал: «Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно быть преувеличенного или тривиального даже в последних ролях» («Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует “Ревизора”»). В спектакле же, по словам Гоголя, «вышла именно карикатура». Персонажи в исполнении актеров Александринки были настолько смешны — даже чисто внешне, — что зрители воспринимали происходящее на сцене отстраненно. Публика смеялась над теми, кто заведомо смешон, указывая пальцем на пороки и недостатки, которых у себя не находила из-за их чрезмерной выпяченности, утрированности.

Между тем глубинный замысел Гоголя был направлен как раз на противоположное восприятие. Вовлечь зрителя в происходящее на сцене, дать ему почувствовать, что город, выведенный в комедии, в той или иной мере присутствует в каждом городе России, а чувства, страсти и пороки чиновников — в душе каждого из нас — вот главная цель комедии. Гоголь обращается ко всем и каждому. Именно в этом и заключается громадное общественное значение «Ревизора». Устремить зрителя не на *«порицанье* действий другого, но на *созерцанье* самого себя» (из письма Гоголя к В. А. Жуковскому от 10 января (н. ст.) 1848 г.) — в этом смысл обращенной к залу

знаменитой реплики городничего «Чему смеетесь? Над собою смеетесь!..» и эпиграфа-пословицы «На зеркало неча пенять, коли рожа крива», появившихся позднее, в издании 1842 г., а также своеобразных комментариев к пьесе — «Театрального разъезда» и «Развязки Ревизора».

к стр. 217 *На зеркало неча пенять, коли рожа крива.* — Эта народная пословица разумеет, кроме собственно зеркала, Евангелие, о чем современники Гоголя, принадлежавшие к Православной Церкви, прекрасно знали. Духовное представление о Евангелии как о зеркале давно и прочно существует в православном сознании. Так, например, святитель Тихон Задонский, один из любимых писателей Гоголя, сочинения которого он перечитывал неоднократно, говорит: «Христианине! что сынам века сего зеркало, тое да будет нам Евангелие и непорочное житие Христово. Они посматривают в зеркала и исправляют тело свое и пороки на лице очищают... Предложим убо и мы пред душевными нашими очами чистое сие зеркало и посмотрим в тое: сообразно ли наше житие житию Христову?» (Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. Т. 4. М., 1889. С. 145; Репринтное издание. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. 1994).

Св. праведный Иоанн Кронштадтский в дневниках, изданных под названием «Моя жизнь во Христе», замечает «нечитающим Евангелия»: «Чисты ли вы, святы ли и совершенны, не читая Евангелия, и вам не надо смотреть в это зерцало? Или вы очень безобразны душевно и боитесь вашего безобразия?..» (Полн. собр. соч. протоиерея Иоанна Ильича Сергиева. Т. 5. СПб., 1893. С. 380; Репринтное изд. СПб., 1994).

В выписках Гоголя из Святых Отцов и учителей Церкви находим запись: «Те, которые хотят очистить и убелить лице свое, обыкновенно смотрятся в зеркало. Христианин! Твое зеркало суть Господни заповеди; если положишь их пред собою и будешь смотреться в них пристально, то оне откроют тебе все пятна, всю черноту, все безобразие души твоей». Примечательно, что и в своих письмах Гоголь обращался к этому образу. Так, 20 декабря (н. ст.) 1844 г. он писал М. П. Погодину из Франкфурта: «...держи всегда у себя на столе книгу, которая бы тебе служила духовным зеркалом»; а спустя неделю — А. О. Смирновой: «Взгляните также на самих себя. Имейте для этого на столе духовное зеркало, то есть какую-нибудь книгу, в которую может смотреть ваша душа...» (из письма от 28 декабря (н. ст.) 1844 г.). См. также коммент. к с. 462.

к стр. 218 *Сквозник* — «хитрый, зоркий умом, проницательный человек, пройда, пройдоха, опытный плут и пролаз» (словарь В. И. Даля); также название сорта чая. Чай этого сорта упоминается в черновой редакции первого тома «Мертвых душ», где помещица Коробочка говорит Чичикову: «...А что ж вы переворотили чашку. Ведь это сквозник по 10 рублей фунт. Выкушайте, батюшка, чашечку.

Я нарочно приготовила покрепче». 28 апреля 1836 г. М. С. Щепкин писал И. И. Сосницкому из Москвы: «...ты пишешь, чтобы послать 4 фу<нта> хорошенького чаю, но ведь чай есть Маюкон, цветочный и Сквозник, и всех сих сортов бывают хорошие и похуже, и потому я не знаю, какого выслать...» Согласно письму Сосницкого Щепкину от 30 мая 1836 г., о посылке Щепкиным чая (возможно, сорта «сквозник») Гоголь был извещен (см.: Лит. наследство. Т. 58. С. 552). Можно предположить, что и само фамильное прозвище своего будущего героя Гоголь «подслушал» во время своего пребывания проездом в Москве летом и осенью 1832 г. В комедии «Женихи» (1833) встречается, в частности, слово «кулебяка», почерпнутое в 1832 г. Гоголем в Москве у С. Т. Аксакова. (Беседы с Аксаковым послужили также Гоголю основой для упоминания в «Вии» в 1834 г. о рыбной ловле, об охоте на стрепетов, крольшнепов и дроф, также замечание в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» об охоте героя на перепелов «под дудочку» и употребление здесь слова «качка» — утка.) Со Щепкиным в 1832 г. Гоголь также близко сошелся и даже делился с ним творческими планами (он познакомил тогда Щепкина с своей незавершенной комедией «Владимир 3-ей степени»).

Дмухановский (от *укр.* дмухати — дуть, сквозить) — Первоначально фамилия городничего была Сквозник-Прочухановский. Согласно малороссийской поговорке, внесенной Гоголем в «Книгу всякой всячины», «прочухана дать (высечь, проучить)».

Осип (Иосиф; это же имя носит в гоголевской повести «Рим» «радушный исполнитель всех возможных поручений» Пеппе, или Джузеппе — т. е. Иосиф). — В образе Осипа, вероятно, нашли отражение черты слуги Гоголя Якима Нимченко. «По воспоминаниям, был очень привязан к Гоголю, любил делать ему наставления в духе Осипа, но страдал слабостью к напиткам, чем иногда доводил поэта до раздражения» (*Чаговец В. А.* *<Примечание>*//Из семейной хроники Гоголей (Мемуары О. В. Гоголь-Головни). Ред. и примеч. В. А. Чаговца. Киев, 1909. С. 64).

...сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. — И. С. Тургенев, присутствовавший 5 ноября 1851 г. на чтении комедии самим автором, вспоминал: «С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в самом начале пиесы): “Пришли, понюхали и пошли прочь!” — Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить — обыкновенно разыгрывается на сцене “Ревизор”» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 545–536). к стр. 221

...министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены. — *Министерия* — здесь: верховная власть, правительство. к стр. 222

к стр. 226 *В эмпиреях* — в блаженстве.

...штандарт скачет... — *Штандарт* — флаг с гербом или полковое знамя в кавалерии (штандарт-юнкер — носитель флага или полкового знамени, кавалерист).

к стр. 228 *Пошли к Почечуеву...* — *Почечуй* — геморрой. Ср. в письме Гоголя к В. А. Жуковскому от 12 ноября (н. ст.) 1836 г.: «Будьте всегда здоровы и веселы и да хранит вас Бог от почечуев и от встреч с теми физиогномиями, на которые нужно плевать...»

...в партикулярном платье... — в штатском.

к стр. 229 *...получить нотицию...* — получить извещение.

Подорожная — дорожный паспорт.

...на Василья Египтянина. — В месяцеслове такого святого нет. Ср. в письме к Гоголю матери начала 1830-х гг.: «Еще один обряд у малороссиян. На масляной, в четверг, всегда бывает женский праздник, называемый Власьем, хотя никогда и не бывает тогда того святого имени...» (Соч. *Н. В. Гоголя.* 10-е изд. Т. 7. СПб., 1896. С. 903). В черновой редакции было: «Перед Воздвижением приехал». Празднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня совершается 14 сентября (ст. ст.).

к стр. 230 *«Деяния Иоанна Масона»* — книга английского писателя Дж. Масона (1705–1763) «Познание самого себя, в котором естество и польза сея важныя науки, равно и средства к достижению оныя, показаны», переведенная на русский язык И. Тургеневым и изданная Н. И. Новиковым в 1783 г.; впоследствии неоднократно переиздавалась.

Габерсуп (*нем.* Hafersuppe) — овсяный суп.

к стр. 231 *...в частном доме...* — *Частный дом* — полицейский участок, в котором размещался частный пристав со своей канцелярией; здесь же располагалось арестантское отделение — съезжая.

Аршин — старинная русская мера длины, равная 0,71 м.

к стр. 235 *...на прогоны...* — *Прогоны* — плата за проезд.

...елистратишка простой... — Низший гражданский чин, коллежский регистратор.

к стр. 236 *...пойдешь на Щукин...* — *Щукин двор* (см. коммент. к с. 65).

к стр. 237 *Картуз* — здесь: плотный бумажный пакет.

Шерамыжник (*фр.* cher ami — дорогой друг; так обращались бежавшие в 1812 г. из России французы к крестьянам с просьбой о хлебе и ночлеге) — обманщик, плут, проходимец.

Штосы срезывать — выигрывать. *Штос* (*нем.*) — азартная карточная игра.

В овошенных лавках ничего не дают в долг. — *Овошенная лавка* — торгующая мелочным товаром — хлебом, табаком, селедкой и т. п.

...из «Роберта»... — «Роберт-Дьявол», опера французского композитора Дж. Мейербера (наст. имя и фамилия Якоб Либман Беер; 1791–1864), приобретшая европейскую известность; в России поставлена в 1834 г. на сцене Большого театра в Петербурге.

Иохим Иоганн Альберт (1762–1834) — известный каретный мастер в Петербурге. к стр. 238

Обнаковенно (*искаж.*) — обыкновенно. к стр. 240

...в приватном доме... — В частном доме. к стр. 245

Фриштик (*нем.* Frühstück) — завтрак, закуска. к стр. 247

Мадера — сорт сладкого крепкого вина (по названию острова, где произрастает виноград, из которого выделывается это вино).

Шантрет — шатен (с каштановыми волосами). к стр. 250

Лабардан (нем. Laberdan) — балык из трески, дорогостоящая новинка для гурманов. Почт-директор К. Я. Булгаков в 1826 г. писал брату: «В субботу я тебе послал рыбу свежего лабардану, привезенного мне из Колы (граф Воронцов ужасный до нее охотник). Не знаю, тебе понравится ли, ежели сказать тебе, что это то же, что и треска. Впрочем, можешь попотчевать тестя и приятелей» (Русский Архив. 1903. № 7. С. 417). к стр. 253

...нет ли у вас каких-нибудь развлечений... где бы можно было... поиграть в карты? — Азартные карточные игры были запрещены законом, но фактически были общераспространенным явлением.

...выпонтировал... — Выиграл в карты, понтируя. Понтер (*фр.* ponte) — игрок, делающий ставку против банка. к стр. 254

...забастуешь тогда, как нужно гнуть от трех углов... — *Забастовать* — здесь: перестать увеличивать ставку; *гнуть от трех углов* — увеличивать ставку втрое (загибая углы карт).

Вояжировка (от *фр.* voyage) — путешествие, поездка.

...comprenez vous... (*фр.*) — Понимаете ли. к стр. 255

«Женитьба Фигаро» — комедия французского драматурга П. О. Бомарше (1732–1799), опубликованная в 1784 г. В данном случае речь идет, по всей видимости, об опере В. А. Моцарта (1756–1791) «Свадьба Фигаро» (1786), премьера которой состоялась в 1836 г. на сцене Большого театра в Петербурге. к стр. 256

«Норма» — опера итальянского композитора В. Беллини (1801–1835). В России поставлена в 1835 г.

Барон Брамбеус — псевдоним Осипа Ивановича Сенковского (1809–1858), редактора журнала «Библиотека для Чтения».

«Фрегат "Надежда"» — повесть А. А. Бестужева-Марлинского (1797–1837), опубликованная в 1833 г.

«Московский Телеграф» — журнал, издававшийся Н. А. Полевым (1796–1846) с 1825 г.; закрыт по указанию Императора Николая I в 1834 г.

Смирдин Александр Филиппович (1795–1857) — петербургский книгопродавец, издатель журнала «Библиотека для Чтения».

«Юрий Милославский» — исторический роман М. Н. Загоскина (1789–1852), опубликованный в 1829 г.

Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа... — Ср. в переписке братьев Булгаковых: «Ели черепаховый суп, изготовленный в Ост-Индии и присланный мне Воронцовым из Лондона. к стр. 257

Теперь до такой степени совершенства дошли в рассуждении кушанья, что готовые обеды от Роберста в Париже посылают в Индию в каких-то жестяных посудах нового изобретения, где они сберегаются от всякой порчи» (Русский Архив. 1903. № 1. С. 81).

к стр. 265 *...что ни слово, то Цицерон с языка слетел.* — *Цицерон* Марк Туллий (106–43 до Р. Х.) — римский политический деятель, славившийся красноречием.

к стр. 267 *Бонтон* (*фр.* bon ton — хороший тон) — изысканность в обращении, светскость.

к стр. 272 *Приказ общественного призрения* — учреждение по делам благотворительности, занимавшееся также ссудо-сберегательными операциями.

к стр. 273 *Да если этак и Государю придется, то скажите и Государю, что вот мол... в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.* — По свидетельству современника, в антракте представления «Ревизора» в Александринском театре между Государем Николаем Павловичем и артистом Петровым, исполнявшим роль Бобчинского, состоялся следующий разговор: «А! Бобчинский. Так, так и сказать, что в таком-то городе живет Петр Иваныч Бобчинский? — Точно так, Ваше величество... — ответил тот бойко. — Ну, хорошо, будем знать, — заключил Государь, обратившись к другим присутствующим на сцене» (Воспоминания Леонида Львовича Леонидова: За полсотню лет назад. 1835–1843//Русская Старина. 1888. № 4. С. 228–229).

к стр. 274 *Целковый* — серебряная монета в один рубль.

...чтобы так, как фельдъегеря, катили... — *Фельдъегерь* — военный или правительственный курьер для доставки особо важных документов.

к стр. 276 *...у меня сиделец не будет есть...* — *Сиделец* — лавочник, продавец, находящийся на жаловании у купца.

к стр. 280 *...«О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек!..»* — Начальные строки «Оды, выбранной из Иова» М. В. Ломоносова (1711–1765).

к стр. 282 *...Карамзин сказал: «Законы осуждают».* — Начало стихотворения из повести Н. М. Карамзина (1776–1826) «Остров Борнгольм»: «Законы осуждают предмет моей любви...» Стихотворение получило распространение в виде популярного романса.

к стр. 288 *Кавалерию повесят тебе через плечо.* — *Кавалерия* — здесь: орденская лента, которую носили кавалеры высших орденов.

...голубую лучше. — Голубая лента — знак ордена Св. Андрея Первозванного, высшей награды в Российской империи, как военной, так и гражданской.

...две рыбицы: ряпушка и корюшка... — Рыбы семейства лососевых; любимое лакомство петербуржцев.

Амбре (*фр.*) — благоухание.

к стр. 294 *От человека невозможно, а от Бога все возможно.* — Перефразированная цитата из Евангелия, где говорится о спасении

охваченных страстью любостяжания: «у человек сие невозможно есть, у Бога же вся возможна» (Мф. 19, 26).

...с эштафетой... — С эстафетой, с нарочным (гонцом). к стр. 295

Жуирую (*фр.* jouir) — наслаждаюсь. к стр. 296

Моветон (*фр.* mauvais ton) — человек дурного тона. к стр. 298

...в Почтамтскую улицу, в доме под нумером девяносто седьмым, поворотя на двор, на третьем этаже направо. — Во время написания «Ревизора» Гоголь жил на Малой Морской, в доме № 97, вход со двора, на третьем этаже.

Какой репримант неожиданный! — *Репримanд* (*фр.* reprimande — выговор, неожиданность) — здесь: урок, неожиданный оборот.

Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору

Впервые напечатано: Москвитянин. 1841. Ч. 3. Кн. 6.

Посылая С. Т. Аксакову 5 марта (н. ст.) 1841 г. из Рима текст «Отрывка...» и «Двух сцен, выключенных при первом издании как замедлявшие течение пьесы» для второго издания «Ревизора» Гоголь замечал: «Здесь письмо, писанное мною к Пушкину по его собственному желанию. Он был тогда в деревне. Пиеса игралась без него. Он хотел писать полный разбор ее для своего журнала и меня просил уведомить, как она была выполнена на сцене. Письмо осталось у меня неотправленным, потому что он скоро приехал сам. Из этого письма я выключил то, что, собственно, могло быть интересно для меня и для него, и оставил только то, что может быть интересно для будущей постановки «Ревизора», если она когда-нибудь состоится. Мне кажется, что прилагаемый отрывок будет нелишним для умного актера, которому случится исполнять роль Хлестакова. Это письмо под таким названием, какое на нем выставлено, нужно отнесть на конец пиесы, а за ним непосредственно следуют две прилагаемые выключенные из пиесы сцены».

Дюр Николай Осипович (1807–1839) — комический актер Александринского театра. Гоголь преподнес ему печатный экземпляр «Ревизора» (1836) с дарственной надписью: «Николаю Осиповичу Дюру от Автора». к стр. 302

...чем-то вроде Альнаскарова... — *Альнаскаров* — герой комедии Н. И. Хмельницкого (1789–1845) «Воздушные замки» (1818).

...comme il faut... (*фр.*) — Соответствующий правилам светского приличия (*букв.*: как надо, как следует).

Сосницкий Иван Иванович (1794–1871) — актер Александринского театра. к стр. 304

На слугу тоже надеялся... — Роль Осипа исполнял Александр Иванович Афанасьев (ок. 1808–1842).

Рязанцев Василий Иванович (1800–1831) — комический актер, выступавший на московской, а с 1828 г. — на петербургской сцене.

Две сцены, выключенные при первом издании как замедлявшие течение пьесы

Впервые напечатано: Ревизор. Комедия в пяти действиях. Соч. Н. Гоголя. М., 1841 (первая сцена); Москвитянин. 1841. Ч. 3. Кн. 5 (вторая сцена). См. коммент. к «Отрывку из письма, писанного автором вскоре после первого представления “Ревизора” к одному литератору». Вместе обе сцены впервые напечатаны в приложениях ко второму изданию «Ревизора» (1841).

к стр. 307 *...проживал за ремонтом...* — *Ремонт* — закупка лошадей для полка.

...обложенная блондочкою... — *Блонда* — шелковое кружево.

к стр. 308 *Румянцев-Задунайский* Петр Александрович (1725–1796) — граф, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией в войне с Турцией 1770–1774 гг.

к стр. 309 *...генерал-аншеф тогдашний, Потемкин...* — *Потемкин* Григорий Александрович (1739–1791), государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал. После присоединения Крыма (Тавриды) к России получил титул светлейшего князя Таврического.

Квартирмистр (квартирмейстер) — офицер, заведовавший размещением войск на постой.

...золотой эксельбант. — *Эксельбант* (аксельбант) — плетеный наплечный шнур на мундире (принадлежность парадной военной формы).

Портупея — в офицерском снаряжении: пояс или перевязь для сабли или шашки.

Женитьба

Впервые напечатано: Сочинения Николая Гоголя. Т. 4. СПб., 1842.

Первые наброски комедии относятся к 1833 г. Она называлась тогда «Женихи», героями ее были помещики, а действие происходило в деревне. По сообщению М. П. Погодина в № 1 «Московского Наблюдателя» за 1835 г., Гоголь читал ему отрывки из пьесы «Провинциальный жених». 4 мая 1835 г. Гоголь вновь прочел комедию у Погодина. Тогда же она получила окончательное название — «Женитьба». Осенью этого года Гоголь намеревался отдать ее в театр, но отказался от своего намерения.

По просьбе М. С. Щепкина он вновь готовил комедию для театра весной 1836 г., однако и на этот раз постановка не состоялась. 30 мая 1836 г. И. И. Сосницкий писал М. С. Щепкину из Петербурга: «“Женитьбу” ты раньше осени не получишь. Николай Васильевич ее взял переделать. Я побранил его за беспечность. Вообрази, что он читал мне пьесу так, как она у него была написана прежде, как и ты знаешь ее. Две прекрасные сцены не могут искупить целой комедии. А комедии-то и нет. Сюжета никакого. Бог знает зачем люди приходят и уходят. Он мне в оправдание говорит, что она

у него написана три года назад. Я ему отвечаю, что зритель и критик этого не хочет знать, хоть бы она была писана 10 лет назад, а потребует от вас отчета — почему вторая пьеса еще слабее первой? Ну, он согласился со мною и обещал переделать всю совсем. Я ему дал некоторые смешные идеи об обычаях купеческих невест. Он берет комедию с собою и месяца через два ее вышлет» (*Михаил Семенович Щепкин.* Жизнь и творчество. М., 1984. Т. 1. С. 311–312).

29 декабря (н. ст.) 1838 г. Гоголь читал «Женитьбу» в Риме на вечере у великого князя Александра Николаевича, о чем в журнале путешествия наследника цесаревича графом В. Ф. Адлербергом была сделана запись: «Вечером 17 декабря господин Гоголь, приобретший уже некоторую репутацию в русской словесности комедией *Ревизор*, имел честь читать драматическое произведение под названием *Женитьба*» (*Маркина Л. А.* Живописец Федор Моллер. М., 2002. С. 34). Запись об этом чтении Гоголя сохранилась также в дневнике В. А. Жуковского: «17(29) декабря, суббота. Вечер у Великого Князя, неудачное чтение Гоголя...» (Дневники В. А. Жуковского//Русская Старина. 1902. № 10–12. С. 448–449).

Работу над «Женитьбой» Гоголь продолжил в 1841 г. Тогда она и была закончена. Премьера комедии состоялась в Петербурге 9 декабря 1842 г., в Москве — 5 февраля 1843 г.

Об отношении Гоголя к браку А. В. Быкова дочь сестры Гоголя Елизаветы Васильевны вспоминала: «Моя мать Елисавета Васильевна была любимою сестрою дяди... И сколько она принесла ему горя своим замужеством! Не думайте, чтобы дядя имел что-либо против отца, нет, он его очень любил и уважал; но в последние годы своей жизни стал относиться к браку вообще враждебно. Брак, по его мнению, был несчастием, от которого он хотел уберечь любимую сестру. "За Олю я покоен, — говаривал дядя о другой своей сестре, Ольге Васильевне, — она замуж не выйдет". Тетя по-видимому оправдывала надежды брата. Жизнь вела уединенную в нашем родовом имении Васильевке-Яновке, лечила крестьян травами, которые привозил и присылал ей из Петербурга дядя, а в свободное время молилась Богу... Такой образ жизни как нельзя больше был по душе набожному дяде, набожность которого в последнее время его жизни возрастала все более и более. Тетя Оля думали тоже идти в монастырь и намерение ее встретило со стороны дядя сочувствие, но дядя умер, тетя вскоре встретила Головню... Сама стала Головнею... Только третья сестра писателя Анна Васильевна осталась девушкою и ею умерла» (*В.* Нечто о Гоголе//Новое Время. 1901. 29 сент. № 9185. С. 3; см. также: Воспоминания о Гоголе А. В. Быковой//Лит. Вестник. 1902. № 1. С. 133–134).

В комедии, возможно, нашел отражение рассказ И. И. Срезневского о философе Г. С. Сковороде, как тот, влюбившись однажды в хуторянку Лёну, сбежал от нее прямо из-под венца (см.: *Срезневский И. И.* Майор, майор! Рас<с>каз//Московский Наблюдатель. 1836. Ч. VI. № 2 (Март, кн. II) (цензурное разрешение —

10 апреля 1836 г.). С. 205–238; № 3. (Апрель, кн. I) (цензурное разрешение — 30 апреля 1836 г.). С 435–468; № 4. (Апрель, кн. II). (цензурное разрешение 19 мая). С. 721–736). Гоголь мог прочесть этот рассказ перед самым отъездом за границу в 1836 г.

к стр. 312 *Яичница.* — Младший современник Гоголя Г. П. Данилевский, посетивший в год смерти писателя гоголевские места, писал: «Я вспомнил рассказ одного моего знакомого. Этот знакомый, приехав на станцию возле Миргорода, отправился на постоялый двор и к прискорбию своему узнал, что там ничего не готовили съестного. В досаде он кликнул хозяина. «Нет ли у вас хоть яичницы?» «Я-сь... к вашим услугам... я сам... *Яичница!*» Это была точно фамилия содержателя постоялого двора, и мой знакомый примирился со скудостию его припасов, вспомня о герое “Женитьбы”» (*Данилевский Г.* Хуторок близь Диканьки//Московские Ведомости. 1852. 14 октября № 124. С. 1277).

к стр. 313 *...пропустил мясоед.* — Т. е. дождался поста, когда не венчают. *Мясоед* — дни, в которые разрешено вкушение мясной пищи.

к стр. 318 *Алгалантьерство* — адмиралтейство.

к стр. 319 *Купердягина* — Ср. в записной книжке Гоголя 1842–1844 гг.: «Сквалыга — скупердяй».

к стр. 321 *Экспедитор* — чиновник, возглавлявший экспедицию — подразделение в составе министерства.

к стр. 324 *...по министериям истаскалась...* — *Министерии* — здесь: правительственные учреждения, департаменты.

Балтазар Балтазарович. — С такими редкими именем и отчеством в России был известен барон Балтазар Балтазарович фон Кампенгаузен (1772–1823), уроженец Лифляндии, дипломат, первый государственный контролер (с 1811 г.), министр внутренних дел (в 1823 г.).

к стр. 331 *Dateci del pane... portate vino!* (*ит.*) — Дайте хлеба... принесите вина!

к стр. 349 *Аматёр* — любитель.

к стр. 351 *...в мой профит...* — В мою пользу. *Профит* (*фр.* profit) — прибыль, барыш, выгода.

Эдакое мыслёте он всякий день пишет. — *Мыслете* — название буквы «М» в старой русской азбуке. Писать мыслёте — здесь: выделывать ногами зигзаги, вензеля.

к стр. 354 *...скоро будет екатерингофское гулянье.* — См. описание подобного гулянья в письме Гоголя к матери от 30 апреля 1829 г.: «...все удовольствие состоит в том, что прогуливающиеся садятся в кареты, которых ряд тянется более нежели на 10 верст и притом так тесно, что лошадиные морды задней кареты дружески целуются с богато убранными гайдуками. Эти кареты беспрестанно строятся полицейскими чиновниками и иногда приостанавливаются по целым часам для соблюдения порядка, и все это для того, чтобы объехать кругом Екатерингоф и возвратиться чинным порядком назад, не вставая из карет. И я было направил смиренные стопы

свои, но, обхваченный облаком пыли и едва дыша от тесноты, возвратился вспять». *Екатерингоф* — дворец и парк, подаренные Петром I своей супруге Екатерине. В 1823 г. здесь построен первый в России цепной висячий мост.

Драматические отрывки и отдельные сцены

с 1832 по 1837 год

10 сентября (н. ст.) 1842 г. Гоголь писал Н. Я. Прокоповичу, занятому в Петербурге изданием его сочинений: «Порядок статей последнего тома ты, я думаю, знаешь. "Ревизор", потом "Женитьба"... потом на одном белом листе: "Драматические отрывки и отдельные сцены с 1832 по 1837 год", а на другом, вслед за ним: "Игроки" с эпиграфом, потом всякая пиэса с своим заглавным листом: "Утро делового человека", "Тяжба", "Лакейская", "Сцены из светской жизни" (так первоначально назывался «Отрывок». — *И. В.*, *В. В.),* "Театральный разъезд после представления новой комедии"». Не получая ответа от Н. Я. Прокоповича, Гоголь 22 октября (н. ст.) 1842 г. отправляет новое письмо, где еще раз излагает порядок следования произведений заключительного тома собрания.

Игроки

Впервые напечатано: Сочинения Николая Гоголя. Т. 4. СПб., 1842.

Первые наброски комедии относятся, вероятно, к 1836 г. 10 сентября (н. ст.) 1842 г., высылая Н. Я. Прокоповичу «Игроков», Гоголь писал: «Я немного замедлил высылкою остальных статей. Но нельзя было никак: столько нужно было сделать разных поправок! Посылаемую ныне "Игроки" в силу собрал. Черновые листы так были уже давно и неразборчиво написаны, что дали мне работу страшную разбирать». В письме от 22 октября (н. ст.) Гоголь просил Н. Я. Прокоповича включить в текст «одно выражение, довольно значительное, именно, когда Утешительный мечет банк и говорит: "На, немец, возьми, съешь свою семерку". После этих слов следует прибавить: "Руте, решительно руте! просто карта-фоска!" Эту фразу включи непременно. Она настоящая армейская и в своем роде не без достоинства».

В записной книжке Гоголя 1841–1844 гг. находим список карточных терминов, заготовленных, очевидно, для «Игроков». В другую записную книжку, начала 1841–1846 гг., Гоголь заносит объяснения двух слов, встречающихся в комедии: «иора» и «замухрышка» (от последнего слова образована Гоголем мнимая фамилия одного из мошенников; см. коммент. к с. 372).

Премьера «Игроков» состоялась в Москве 5 февраля 1843 г. (в один вечер с «Женитьбой»); в Петербурге — 26 апреля.

к стр. 369 *Дела давно минувших дней.* — Эпиграф взят Гоголем из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820).

к стр. 370 *...до сих пор рябит в глазах проклятый крап.* — *Крап* — едва заметные знаки, наносимые шулерами на оборотную сторону карты (рубашку).

к стр. 371 *Красуля* — красненькая, десятирублевая ассигнация.

Выжига — выплавленный из золотой или серебряной вещи металл.

к стр. 372 *...валяй под самый Ярослав.* — *Ярослав* — Ярославль.

к стр. 376 *Пароле* — удвоение ставки. «*Пароле* или с углом — выигрывает втрое» (записная книжка Гоголя 1841–1844 гг.).

...пять рублей мазу! — *Маз* — прибавка к ставке.

Атанде — остановка в игре для подсчета.

Талия (от *фр.* tailler — метать банк) — две колоды карт для игры, а также промет всей колоды до конца или до срыва банка.

к стр. 380 *Двумя тысячами готов асикурировать...* — *Асикурировать* — поручиться.

к стр. 381 *Понтёр* — тот, кто ставит на карту при игре в банк.

к стр. 385 *Астрея* — в греческой мифологии: богиня справедливости, обитавшая среди счастливых людей Золотого века.

к стр. 388 *Опекунский совет* — управление благотворительных учреждений, принимавшее капиталы на хранение за проценты.

к стр. 391 *Приказная строка* — презрительное прозвище чиновников.

Пароле пе — увеличение ставки «вдвое против *пароле*» (записная книжка Гоголя 1841–1844 гг.).

Плие — загнутая карта, на которую поставлен выигрыш.

к стр. 392 *Ва-банк* — ставка на всю сумму, лежащую в банке.

Руте, решительно руте! просто карта фоска! — *Руте* (от *фр.* route — дорога) — положение, при котором игрок выигрывает подряд несколько карт. *Карта фоска* (*фр.* carte fausse) — обманчивая карта.

к стр. 394 *Теремтете!* (*венг.* Teremtette) — Черт побери!

к стр. 395 *...Бурцов иора, забияка.* — Из стихотворения Д. В. Давыдова (1784–1839) «Бурцову» (1804). А. П. Бурцов — гусарский офицер. В записной книжке Гоголя 1841–1846 гг. есть объяснение слова «иора»: «Иорник — маленький чиновник, который денег не заплотит, маленький подлец. Другой не заплотит, потому что денег нет, а иора не заплотит, потому что не хочет. Иора герой».

к стр. 396 *Замухрышкин.* — Ср. в записной книжке Гоголя 1841–1846 гг.: «Замухрышка, <1 нрзб.> в деревне — малорослый».

к стр. 398 *...выписной из Кяхты.* — Кяхта — центр русской торговли с Китаем.

к стр. 401 *Яр* — модный ресторан в Москве.

Утро делового человека

Впервые напечатано: Современник. 1836. Т. 1; с подзаголовком «Петербургские сцены».

Сцены извлечены Гоголем из задуманной в 1832 г. комедии «Владимир 3-ей степени» («Владимирский крест»). В письме к А. С. Пушкину от 2 марта 1836 г. Гоголь назвал пьесу «Утро чиновника». При жизни Гоголя на сцене не ставилась.

к стр. 406 *Ренонс* — пропуск хода в карточной игре при отсутствии нужной масти.

Робер (роббер) — См. коммент. к с. 143.

к стр. 409 *Теперь возьмите... бумагу: красиво! хорошо!..* — В образе Ивана Петровича Гоголь воплотил мысль, высказанную им в «Петербургских записках 1836 года». Здесь, в черновике статьи, как о достойном порицания типе он упомянул о «чиновнике канцелярии, который вместо того, чтобы исполнять священные обязанности наложенной на него должности, думает только за тем, чтобы красиво была написана бумага...» Позднее эти размышления отразились в образе Акакия Акакиевича Башмачкина в «Шинели». (Подробнее см. в сопроводит. статье к т. 3 наст. изд.)

к стр. 410 *...хорошо поет Мелас.* — *Мелас* — солистка итальянской оперной труппы, игравшей в 1829–1831 гг. в Петербурге.

Тяжба

Впервые напечатано: Сочинения Николая Гоголя. Т. 4. СПб., 1842.

Пьеса представляет собой переработку одной из сцен «Владимира 3-ей степени» («Владимирского креста»). 14 октября 1839 г. Гоголь читал «Тяжбу» в доме Аксаковых. Позднее С. Т. Аксаков вспоминал: «...При многих гостях, совершенно неожиданно для нас, объявил Гоголь, что хочет читать. Разумеется, все пришли в восхищение от такого известия, и все соединились в гостиной. Гоголь сел за боковой круглый стол, вынул какую-то тетрадку, вдруг икнул и, опустив бумагу, сказал, *как он объелся грибков.* Это было начало комической сцены, которую он нам и прочел. Он начал чтение до такой степени натурально, что ни один из присутствующих не догадался, что слышит сочинение» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 118).

И. И. Панаев, присутствовавший на этом чтении, рассказывал, что Гоголь согласился читать только после долгих упрашиваний С. Т. Аксакова: «Он нехотя подошел к большому овальному столу перед диваном, сел на диван, бросил беглый взгляд на всех, опять начал уверять, что он не знает, что прочесть, что у него нет ничего обделанного и оконченного... и вдруг икнул раз, другой, третий... Дамы переглянулись между собою, мы не смели обнаружить при этом никакого движения и только смотрели на него в тупом

недоумении. “Что это у меня? точно отрыжка?”— сказал Гоголь и остановился. Хозяин и хозяйка дома несколько смутились... Им, вероятно, пришло в голову, что обед их не понравился Гоголю, что он расстроил желудок... Гоголь продолжал: “Вчерашний обед засел в горле, эти грибки да ботвиньи! Ешь, ешь, просто черт знает, чего не ешь...” И заикал снова, вынув рукопись из заднего кармана и кладя ее перед собою... “Прочитать еще *Северную Пчелу*, что там такое?..” — говорил он, уже следя глазами свою рукопись. Тут только мы догадались, что эта икота и эти слова были началом чтения драматического отрывка, напечатанного впоследствии под именем “Тяжбы”. Лица всех озарились смехом, но громко смеяться никто не смел... Все только посматривали друг на друга, как бы говоря: “Каково? каково читает?” Щепкин заморгал глазами, полными слез. Чтение отрывка продолжалось не более получаса. Восторг был всеобщий; он подействовал на автора» (Гоголь в воспоминаниях современников. С. 214–215).

Шутку с чтением «Тяжбы» Гоголь повторил (или, вероятнее, предварил) в доме А. Г. и Е. Г. Чертковых. Их дочь С. А. Ермолова позднее вспоминала: «...Однажды он начал икать и говорил: “чорт возьми, как я у вас объелся, напала икота”, и далее разный вздор. “Да перестаньте же”, — говорят ему. “Что же вы мне мешаете”, — отвечает Гоголь. Оказалось, что это было началом его какой-то повести» (<*Бартенев П. И.*> Воспоминания С. А. Ермоловой о Гоголе. Из записной книжки «Русского Архива»//Русский Архив. 1909. № 6. С. 301).

Премьера комедии состоялась в Петербурге 27 сентября 1844 г.

Надоела мне эта «Северная Пчела»: точь-в-точь баба, засидевшаяся в девках. — О «Северной Пчеле» см. коммент. к с. 36. Ср. одно из «выражений Кольчугина» (московского книгопродавца) в записной книжке Гоголя 1842–1844 гг.: «Журнал долго не выходит. — Эти журналисты с своими книгами, как девушка с платонической любовью: люблю, люблю; а все ничего нет». О подобном потребительском отношении к литературе Гоголь писал, в частности, сестрам весной 1843 г.: «Крестьянин вырабатывает трудом и потом средства своей жизни, а мы кушаем да поджидаем гостей, да выдумываем, куда бы поехать, где бы лучше поразвлечь себя и чем бы именно поразвлечь себя, да почитаем приятную книгу...» к стр. 388

...штаметовые юбки... — из штамета (стамета) — шерстяной ткани. к стр. 392

Лакейская

Впервые напечатано: Сочинения Николая Гоголя. Т. 4. СПб., 1842.

Сцена восходит к незавершенной комедии Гоголя «Владимир 3-ей степени» («Владимирский крест»), создававшейся в 1832–1833 гг.

Работа над отрывком относится к 1839–1840 гг. Премьера состоялась в Одессе 11 февраля 1851 г. во время пребывания там Гоголя.

к стр. 422 *Ну, зачем ты тут баишься?* — *Баиться* — мешкать.

«...какой-нибудь от инфантерии». — Генерал от инфантерии (пехоты).

...бон жур... (*фр.*) — Добрый день.

...коман ву франсе... (искаж. *фр.*) — Как вы себя чувствуете.

к стр. 423 *...выкурит обыкновенного бакуну...* — *Бакун* — табак низшего сорта.

Отрывок

Впервые напечатано: Сочинения Николая Гоголя. Т. 4. СПб., 1842.

«Отрывок» представляет собой сцены незаконченной комедии «Владимир 3-ей степени» (1832–1833), переработанные в 1840–1842 гг. 26 ноября (н. ст.) 1842 г. Гоголь писал Н. Я. Прокоповичу: «Насчет намерения твоего назвать “Светскую сцену” просто “Отрывком” я совершенно согласен, тем более что прежнее название было выставлено так только, в ожидании другого». Вначале пьеса имела названия: «Сцены из светской жизни», «Сцена из светской жизни».

Впервые «Отрывок» поставлен (под названием «Собачкин») на сцене Александринского театра в Петербурге 21 апреля 1860 г.

к стр. 427 *Послушай, перестань либеральничать.* — В первоначальной редакции вместо этих слов было: «Все это масонские правила. Все это от Рылеевских стихов». Из дальнейшей реплики Марьи Александровны — «...влюбился в потаскушку, дочь какого-нибудь фурьера, которая занимается, может, публичным ремеслом» — можно предположить, что речь идет о непристойных стихах К. Ф. Рылеева на тему «хождения к девкам»: «К Лачинову» (1818), «Заблуждение» (1820), «Нечаянное счастие» (1820 или 1821) и др.

к стр. 428 *...declaration...* (*фр.*) — здесь: признание в любви.

к стр. 429 *Фурьер* — чиновник по снабжению, фуражир.

Карташка — квартальный надзиратель. См. коммент. к с. 27.

к стр. 434 *...как бы не позабыть книжку...* — *Книжка* — бумажник.

к стр. 435 *...Шатобрианом пахнет.* — *Шатобриан* Франсуа Рене (1768–1848) — французский писатель.

Театральный разъезд после представления новой комедии

Впервые напечатано: Сочинения Николая Гоголя. Т. 4. СПб., 1842.

Пьеса написана в апреле — мае 1836 г. под впечатлением первой постановки «Ревизора»; переработана в 1842-м. 27 июля (н. ст.) 1842 г. Гоголь писал Н. Я. Прокоповичу по ее поводу: «Она написана сгоряча, скоро после представления “Ревизора”, и потому немножко

нескромна в отношении к автору. Ее нужно сделать несколько идеальней, то есть чтобы ее применить можно было ко всякой пиэсе, задирающей общественные злоупотребления, а потому я прошу тебя не намекать и не выдавать ее, как написанную по случаю "Ревизора"». Спустя полтора месяца, в письме к тому же Прокоповичу от 10 сентября (н. ст.), Гоголь замечал, что пьеса доставила ему много хлопот, но, добавлял он, «она заключительная статья всего собрания сочинений и потому очень важна и требовала тщательной отделки». Еще через месяц, 22 октября (н. ст.), «статья» наконец была закончена и выслана в Петербург Н. Я. Прокоповичу.

Пьеса представляет собой своеобразный ответ Гоголя критикам «Ревизора». В нее вошли некоторые отзывы о комедии, печатавшиеся в журналах и газетах, — как отрицательные, так и положительные. Высоко оценил «Театральный разъезд» В. Г. Белинский. «В этой пьесе, поражающей мастерством изложения, — писал он, — Гоголь является столько же мыслителем-эстетиком, глубоко постигающим законы искусства, которому он служит с такою славою, сколько поэтом и социальным писателем» (*Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 6. С. 384).

«Театральный разъезд» Гоголь для сцены не предназначал. Однако к 50-летию со дня смерти писателя, 20 апреля 1902 г., пьеса была поставлена в Мариинском театре в Петербурге.

...ресторан... подал свежий зеленый горох... — Ресторан — здесь: содержатель ресторана. См. также коммент. к с. 76. к стр. 438

Коцебу Август Фридрих (1761–1819) — немецкий драматург. Его пьесы ставились в школьном театре в Нежине. к стр. 441

Аристофан (ок. 446–385 до Р. Х.) — древнегреческий комедиограф. к стр. 443

...Société, mon cher! (*фр.*) — Общество, мой милый! к стр. 453

...эта комедия вовсе не картина, а скорее фронтиспис. — Фронтиспис — рисунок, помещенный слева от титульного листа книги. к стр. 459

Иностранная коллегия — ведомство иностранных дел. к стр. 461

Оно, вот изволите видеть, оно здесь больше, так сказать, с маральной стороны. — «Мараль — запачканность» (записная книжка Гоголя 1841–1845 гг.). к стр. 462

Квинтильяновским манером — Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35 — ок. 96) — римский оратор и теоретик ораторского искусства. к стр. 464

Приложение

Позднейшие дополнения к «Ревизору»

В настоящем разделе помещаются два приложения к «Ревизору», написанные Гоголем в 1846–1847 гг. и оставшиеся неопубликованными при жизни писателя.

Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора»

Впервые напечатано Н. С. Тихонравовым в кн.: «Ревизор. Первоначальный сценический текст...». М., 1886. Написано ок. 1846 г.

к стр. 473 *...вечный гвоздь, сидящий в голове.* — «Если все вешать на одном гвозде, так уже следует запастись по крайней мере хорошим гвоздем...» — говорил Гоголь П. В. Анненкову при встрече в Бамберге в 1846 г. (*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. С. 108).

к стр. 479 *Одни понемногу приходят в положение, данное для немой картины...* — Описание немой сцены перекликается с объяснением Гоголем картины А. А. Иванова «Явление Мессии» в статье «Исторический живописец Иванов» (1846). Ср.: «...на одних уже полная вера; на других — еще сомненье; третьи уже колеблются...» В бумагах Гоголя сохранился картон с рисунками А. А. Иванова к «Ревизору» (немая сцена).

<«Ревизор с Развязкой. Комедия в пяти действиях с заключением». Дополнения к предполагаемому благотворительному изданию пьесы>

Предуведомление

Впервые напечатано: </Кулиш П. А.> Николай М./ Записки о жизни Н. В. Гоголя. СПб., 1856. Т. 2.

Написано в 1846 г. Предназначалось для благотворительного издания «Ревизора с Развязкой» (см. коммент. к «Развязке Ревизора»).

Развязка Ревизора

Впервые напечатано: /Гоголь Н. В./ Сочинения. Т. 5. М., 1856.

Написано в 1846 г. «Развязкой Ревизора» Гоголь предполагал сопроводить новое издание комедии. 24 октября (н. ст.) 1846 г. он писал С. П. Шевыреву: ««Ревизор» должен быть напечатан

в своем полном виде, с тем заключением, которое сам зритель не догадался вывесть. Заглавие должно быть такое: «Ревизор с Развязкой. Комедия в пяти действиях с заключением. Соч. Н. Гоголя. Издание четвертое, пополненное, в пользу бедных». Играться и выйти в свет «Ревизор» должен не прежде появления книги «Выбранные места»: иначе все не будет понято вполне». В тот же день Гоголь писал М. С. Щепкину: «...вы должны взять в свой бенефис «Ревизора» в его полном виде, то есть следуя тому изданию, которое напечатано в полном собрании моих сочинений, с прибавлением хвоста, посылаемого мною теперь». Две недели спустя, 2 ноября (н. ст.), Гоголь обращается с просьбой к П. А. Плетневу: «В Петербург приедет Щепкин хлопотать о постановке «Ревизора»... Прими Щепкина как можно получше... А «Ревизора»... поднеси... на процензурованье... присоединивши к тому и «Развязку Ревизора»... «Ревизор» должен выйти вдруг разом и в Петербурге, и в Москве, в двух изданиях (на московском выставится четвертое, на петербургском — пятое)... От графини Анны Михайловны Виельгорской ты получишь «Предуве́домленье к Ревизору», из которого узнаешь, каким бедным собственно принадлежат деньги за «Ревизора» и каким образом должна быть им произведена раздача».

В тот же день 2 ноября (н. ст.) 1846 г. Гоголь послал графине А. М. Виельгорской и С. П. Шевыреву упомянутое «Предуведомленье...», которое предполагал поместить в начале книги.

«Развязка Ревизора» не получила разрешения театральной цензуры. «Что же касается собственно до пиесы, – писал А. М. Гедеонов (директор петербургских императорских театров) в ноябре 1846 г. П. А. Плетневу, — то по принятым правилам при Императорских театрах, исключающих всякого рода одобрения артистов — самими артистами, а тем более венчания на сцене, она в этом отношении не может быть допущена к представлению» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. 1. СПб., 1896. С. 961–962). В свою очередь Плетнев извещал Гоголя 21 ноября 1846 г.: «Твою пьесу «Развязка ревизора» пропустили, но только к печатанию, а не к представлению, затем что увенчивать на сцене артисты товарища своего, по правилам нашей дирекции, не имеют права...».

Возможно, создавая сцену увенчания «первого комического актера», Гоголь руководствовался своими парижскими впечатлениями, о которых писал 25 января (н. ст.) 1837 г. Н. Я. Прокоповичу: «Я был не так давно в Theatre Francais (Французском театре. — *И. В., В. В.*), где торжествовали день рождения Мольера... В этом было что-то трогательное. По окончании пьесы поднялся занавес: явился бюст Мольера. Все актеры этого театра попарно под музыку подходили венчать бюст. Куча венков вознеслась на голове его. Меня обняло какое-то странное чувство. Слышит ли он и где он слышит это?..»

Данное Гоголем в «Развязке Ревизора» истолкование уездного города как «душевного города», а его чиновников как воплощения

бесчинствующих в нем страстей, сделанное в духе святоотеческой традиции, явилось неожиданностью для современников и вызвало неприятие. М. С. Щепкин, которому предназначалась роль Первого комического актера, прочитав новую пьесу, отказался играть в ней. 22 мая 1847 г. он писал Гоголю: «...до сих пор я изучал всех героев «Ревизора» как живых людей... Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу такой переделки: это люди, настоящие живые люди, между которыми я взрос и почти состарился... Вы из целого мира собрали несколько лиц в одно сборное место, в одну группу, с этими людьми в десять лет я совершенно сроднился, и вы хотите их отнять у меня».

Между тем гоголевское намерение вовсе не предполагало того, чтобы сделать из «живых людей» — полнокровных художественных образов — некую аллегорию. Автор только обнажил главную мысль комедии, без которой она выглядит как простое обличение нравов. «"Ревизор" — "Ревизором", — отвечал Гоголь М. С. Щепкину около 10 июля (н. ст.) 1847 г., — а примененье к самому себе есть непременная вещь, которую должен сделать всяк зритель изо всего, даже и не "Ревизора", но которое приличней ему сделать по поводу «Ревизора"».

Столкнувшись с неприятием «Развязки» в кругу друзей, Гоголь отказался от ее публикации. Задуманное им издание «Ревизора» с «Развязкой» в пользу бедных не состоялось.

«Развязка Ревизора» органически вытекает из всего предшествующего творчества Гоголя. Об этом свидетельствует тот факт, что идеи, высказанные здесь, были изложены ранее Гоголем — почти в той же последовательности — в одиннадцатой главе «Мертвых душ» за пять лет до написания пьесы (см. коммент. в изд.: *Гоголь Н. В.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 3–4. С. 553–554). Значение «Развязки» оказывается, таким образом, гораздо шире, чем просто истолкование «Ревизора», она представляет собой некий автокомментарий ко всему гоголевскому творчеству.

Одной из главных причин неприятия Щепкиным гоголевской «Развязки Ревизора» являлась близость Щепкина к партии «западников». С В. Г. Белинским, например, в 1846 г. Щепкин совершил даже продолжительную поездку в Одессу и в Крым. 29 мая 1846 г. С. Т. Аксаков писал сыну Ивану по поводу посещения в Калуге М. С. Щепкиным и В. Г. Белинским А. О. Смирновой: «Как мне досадно, что я не предупредил Ал<ександру> Ос<иповну> насчет Белинского и даже Щепкина: жаль, что ты этого не сделал. Мне больно, что она допустила их, наравне с тобою, в свое короткое общество и удостоила Белинского спора, когда следовало только сказать, что она не хочет слушать его мнений об этом предмете. Щепкин тоже довольно гадок и еще больше смешон, проповедуя отчаянные западные идеи, как я слышал» (*Аксаков И. С.* Письма к родным. 1844–1849. М., 1988. С. 629–630). 1 июля 1846 г. И. С. Аксаков отвечал отцу: «...Я сказал ей свое мнение о Белинском и о Щепкине

(тенденцию сего последнего я давно знаю, но он при мне об этом ни слова)...» (Там же. С. 262). В свою очередь, С. П. Шевырев 14 июня 1847 г. сообщал Гоголю о М. С. Щепкине: «Он, как думаю, находится под разными влияниями издателей “Современника», тебе не сочувствующих. В нем есть какая-то перемена не совсем в его выгоду как художника и как старика».

Близость Гоголя и Щепкина, находившегося в постоянных дружеских отношениях с представителями западнической партии — В. Г. Белинским, Т. Н. Грановским, А. И. Герценом, Н. П. Огаревым, М. А. Бакуниным, И. С. Тургеневым, И. И. Панаевым и др., — не следует преувеличивать. В доме земляка М. С. Щепкина Гоголь нередко встречал людей, взгляды которых не разделял. Князь А. И. Урусов, в частности, свидетельствовал: «Все, что было лучшего в мыслящей России, не миновало общества и знакомства М. С. Щепкина. Пушкин питал к нему дружеское расположение. Рукою великого поэта написаны первые строки “записок актера Щепкина”, которые он тогда же начал, по настойчивым убеждениям Пушкина. С Лермонтовым Михаил Семенович сблизился во время недолгого пребывания его в Москве, перед смертью. Дружба Щепкина и Гоголя известна всем, кто читал письма последнего. Белинский, Кудрявцев, Грановский были в доме Щепкина своими людьми. За тем же столом сиживали Герцен, Огарев и Бакунин. Горячее чувство связывало покойного с Шевченкой. Словом, от Пушкина до Тургенева, в его гостиной сходились люди самых противоположных направлений...» (<*Урусов А. И., князь*>. Русская сцена. Кончина Щепкина//Библиотека для Чтения. 1863. Июль. С. 120).

Примечательно, однако, что М. С. Щепкин, съездивший в 1853 г. в Лондон к А. И. Герцену — подобно тому, как это сделал позднее, в 1857 г., художник А. А. Иванов, — в свою очередь, не был удовлетворен встречей с издателем «Колокола», призывал его прекратить эту газету и уехать в Америку. (Щепкин привозил и читал тогда же Герцену сохранившиеся главы второго тома «Мертвых душ».) Несмотря на высказанное в 1847 г. неприятие «Развязки Ревизора», позднее, после кончины Гоголя, Щепкин, по-видимому, пересмотрел свое отношение к этой пьесе. В 1852 г. Г. П. Данилевский сообщал: «Недавно... мы имели случай присутствовать при чтении М. С. Щепкиным у одного из здешних литераторов неизданной пьесы Гоголя «Развязка Ревизора». В двух местах при чтении слезы нашего гениального комика, выведенного под собственным именем в числе действующих лиц, прерывали чтение. В других местах всеобщий смех покрывал слова его не раз. Особенно комически вышло в чтении место, где один из судей «Ревизора», обращаясь попеременно то к одному действующему лицу, то к другому, то наконец ко всей публике, спрашивает: «*Разве у меня рожа крива? крива разве у меня рожа?”* Последнее лирическое место, последняя ария этой маленькой оперы, если можно ее так назвать: *“Отдадим смеху его прежнюю силу!”*— вызвала единодушный восторг» (<*Данилевский Г. П.*>

Д. Петербургская жизнь. (Письма в редакцию «Московских Ведомостей»)//Московские Ведомости. 1852. 23 сент. № 115. Литературный отдел. С. 1189).

к стр. 485 *Асмодей* — демон.

...a la lettre... (*фр.*) — Буквально.

к стр. 490 *...достанет ли у кого-нибудь из нас тогда духу спросить: «Да разве у меня рожа крива?»* — Здесь Гоголь, в частности, отвечал писателю М. Н. Загоскину, который особенно негодовал против эпиграфа, говоря при этом: «Да где же у меня рожа крива?»

Вторая редакция окончания «Развязки Ревизора»

Впервые напечатано в кн.: *Гоголь Н. В.* Сочинения. 10-е изд. Т. 6. М.; СПб., 1896.

Написано в 1847 г. В этой редакции Гоголь уточняет свою позицию в ответ на упреки друзей, в первую очередь М. С. Щепкина.

Экивоки (фр. equivoques) — здесь: намеки, недоговоренности

...сам Государственный совет боится. — *Государственный совет* — высший законосовещательный орган Российской империи, члены которого назначались Императором; собирался в Зимнем дворце.

Игорь Виноградов, Владимир Воропаев

Содержание

Том III
Повести

Том IV
Комедии

Драматические отрывки и отдельные сцены

Приложение
Позднейшие дополнения к «Ревизору»

Комментарии

Том III

Том IV

УДК 820 (73)
ББК 76.006.5
Г58

Гоголь Н. В.

Г58 Полное собрание сочинений и писем: В 17 т. Т. 3: Повести; Т. 4: Комедии / Сост., подгот. текстов и коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева. — М.: Издательство Московской Патриархии, 2009. — 688 с.

Третий и четвертый тома повторяют состав соответствующих томов прижизненного (1842 г.) издания «Сочинений» Н. В. Гоголя, продуманного писателем с особым тщанием.

ISBN 978-5-88017-087-6
ISBN 978-5-88017-091-3

Николай Васильевич
ГОГОЛЬ

Полное собрание сочинений и писем
в семнадцати томах

Том III
Повести

Том IV
Комедии

Составление, подготовка текстов и комментарии:
И. А. Виноградов, доктор филологических наук,
старший научный сотрудник
Института мировой литературы РАН

В. А. Воропаев, доктор филологических наук,
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова,
председатель Гоголевской комиссии
Научного совета
«История мировой культуры» РАН

Художественное оформление:
В. А. Белан, А. В. Белан

На фронтисписе портрет Н. В. Гоголя
работы А. А. Иванова (1841)

Издательство Московской Патриархии

Главный редактор
протоиерей Владимир Силовьев

Заведующая редакцией
Т. А. Тарасова

Редактор
Т. А. Соколова

Выпускающие редакторы
А. А. Боровик, О. А. Темнова

Технический редактор
З. С. Кондрашова

Корректоры
Н. П. Бахолдина, Т. А. Горячева

Верстка
М. А. Алимпиев

Подписано в печать 02.10.2009. Формат 60 × 90/16.
Объем 43,0 п. л. + цв.вкл. (0,125 п. л.) Печать офс.
Тираж 1000 экз. Заказ № 7468

Издательство Московской Патриархии
119435, Москва, Погодинская ул., 20/2

Оптовый отдел реализации:
(499) 246-20-85, 246-52-08
Магазин: (499) 245-30-68
E-mail: books@rop.ru
Http://www.rop.ru

При участии ООО
Агентство печати
« Столица »

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова,14